



НИКОЛАЙ ЛЯШЕНКО

РУССКОЕ СОЛНЦЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга собрана автором из того, что он относит к своему «избранному». По этой причине так широк диапазон жанров: от романа до совсем короткого документального рассказа.

Несомненно, главным произведением является роман «Русское солнце», в котором автор отразил непростой период русской истории, изломистую эпоху от начала первой мировой войны до революции. На мой взгляд, роман ценен, прежде всего, тем, что не повторяет уже известное, в нем художественно осмысливается, приоткрывается еще одна страница происшедших драматических событий начала века, рассматривается взаимосвязь человеческой судьбы и истории государства .

Этот роман был опубликован во всероссийском журнале «Южная звезда».

В повести «Крест» - в 2014 году произведение было удостоено губернаторской премии имени А. Губина - автор обращается уже к событиям Великой Отечественной войны. Это драматическая история одновременно и о любви двух молодых людей, и о любви к Родине.

В повести «Всплеск», которая увидела свет в конце восьмидесятых годов, автор остается верен себе, своей неспешной манере повествования - показа жизни на этот раз современников. А современники эти - и сельские жители, и горожане. Страна, в которой они живут, сегодня осталась в прошлом, в истории под названием СССР, но вопросы, которые стояли перед каждым человеком тогда, никуда не делись... В этом - непреходящая современность литературных произведений, а безвозвратно минувший антураж, в котором жили герои,

придает этой повести статус исторического, а оттого более ценного, чем просто художественное произведение, документа.

Также реалистичны, наполнены любовью к жизни, стране, малой родине представленные в сборнике рассказы. В них отображены разные герои и коллизии, но одна мораль: превыше всего в этом мире - нравственность и верное служение своей Отчизне.

Заканчивается сборник коротким документальным рассказом, впервые опубликованным давным-давно в книге, адресованной школьникам. Тогда он назывался «Степной корабль», теперь автор включает его в книгу под названием «Запахи из детства». Этот рассказ - признание в любви. В любви к земле, к людям, живущим на ней, к хлебному полю, труду. И он вбирает в себя все, что так дорого автору и о чем он пишет в своих больших и малых произведениях...

На мой взгляд, эта книга будет интересна как взрослым, так и подросткам и станет хорошим подспорьем учителям, сеющим доброе и вечное, невзирая ни на что...

*Виктор Кустов, член СП России,
главный редактор журнала «Южная звезда».*

РУССКОЕ СОЛНЦЕ

ПРОБУЖДЕНИЕ ЧУВСТВ КНИГА ПЕРВАЯ

ГЛАВА 1

Жену Трофим Мещеряков похоронил, прожив с ней пять лет. К тому времени он хозяйствовал сам - родители померли, старший брат Федор отделился раньше, на Блошицын хутор. Не одна молодуха была не прочь пойти за Трофима, тем паче, что жена детей ему не оставила. Однако он не очень-то торопился жениться вновь. Любопытным на этот счет коротко и неопределенно отвечал: «Успеется». И непонятно было, чего выжидает, чего же ему надо. Ведь век бобылем не проживешь, дом без хозяйки - не дом. Так может подолжаться год, ну, от силы - два, а там волком завоешь. Нет, никак не с руки жить одному. Да и хозяйство на одних плечах тянуть ох как нелегко.

Так рассуждали люди, а Трофим точно и не слышал подобных речей. Даже к вдовушкам ночами не заглядывал. А спустя время и вовсе удивил Трофим честной народ. Прожив три года один, привез из Калача молодую жену, и была та - цыганкой.

Кто был на ярмарке в Калаче, рассказывали, будто дело обстояло так. Увидел Трофим, как дюжий цыган, в годах уже, хлестал кнутом молодую цыганку, - провинилась, знать, чем-то - остановился. Цыган раздувал по-бычиному ноздри и громко сопел. К тому же был крепко пьян. Цыганка не кричала, не сгибалась под ударами, закусилась от боли губы и только

закрывала одной рукой глаза, другой же пыталась лоскутами кофточки прикрыть груди.

Трофим очутился подле цыгана и ударил его кулачищем в челюсть. Тот, щелкнув зубами, отлетел, выронил кнут, но на ногах устоял. Из разбитых губ по подбородку стекала кровь, капала в пыль. Трофим приложился по второму разу, цыган упал и уже не поднялся, корчился в пыли, загребая ее растопыренными пальцами.

Взяв оцепеневшую цыганку за руку, Трофим молча потащил ее за собой. Несколько цыган что-то кричали ему, угрожающе размахивали руками, однако приблизиться к Трофиму не решались. А он шел, будто угрозы и проклятья, сыпавшиеся ему вслед, его не касаются. Поднял сжавшуюся цыганку на руки, усадил на подводу и уехал с ярмарки.

Как бы ни было, цыганка прижилась в его доме. И кем она была ему - женой ли, работницей, - непонятно. За ворота не выходила, а что делала в доме, о том можно было только гадать. Да и сам Трофим не часто показывался на людях.

А потом и вовсе всяким догадкам пришел конец.

Обвенчал их батюшка в церкви. Стала цыганка его женой законной, как говорится, Богом и судьбой данной.

Приезжали к Трофиму после цыгане из табора. Как уж там у них складывался разговор, но факт остался фактом - расстались они с миром. Полились из Трофимова подворья тягучие жалостливые песни: слышали их соседи, и хоть не понимали ни слова, слеза сама накатывалась на глаза.

Чем сумел ублажить Трофим цыган, что оставили ему Зину (имя у нее самое что ни на есть русское оказалось), - никто не скажет. То ли против Бога побоялись идти, как-никак Трофим и цыганка венчаны в церкви, то ли поняли - меж ними любовь загорелась - догадки не загадки, точного ответа на них нет.

Родила Зина Трофиму мальчика.

На радостях три дня поил мир счастливый отец. Многие к нему заглядывали - поздравить с сыном и выпить стаканчик-другой. Всем был рад Трофим, куда делась его замкнутость и сдержанность. Принародно обнимал и целовал жену. Так

целовал, словно вот только что, сейчас допустила она его до себя, словно и не жил с ней целый год целовал, как целует парень девку где-нибудь за левадой, наконец-то дорвавшись до желанных губ милашки.

Не привыкли к такому мужики. Как только женились, так и забывали про поцелуи да всякие там нежности. Миловались с женами грубовато, и напоминало это, скорее, некую последнюю работу, какую тоже надо сделать, завершая длинный свой трудовой день. Если кто по ночам и нежничал, лаская жену поцелуями, то об этом умалчивал, не рассказывая про такое ни при каких обстоятельствах. Вроде как и неприличными считались такие нежности.

- Хороша у меня женушка? - который раз спрашивал хмельной от чарки и счастья Трофим, обнимая Зину. И ему кивали, отвечали согласно:

- Хороша, Трофим! Ой, хороша! - и пили дармовой самогон вволю.

- Ладную бабу умыкнул себе Трофим у цыган! - завистно цокали языком мужики.

Зина и корову научилась доить, и серпом жать, - всему, что положено уметь делать женщине-крестьянке.

Все у них ладно шло с Трофимом. Он ее жалел, работой перегружаться не позволял. Сам же правил хозяйством не покладая рук, однако усталости по нему не замечалось.

Подрастал Нефодька - так окрестил сынишку батюшка в церкви, - радовал отца с матерью. Мальчонка очень походил на мать: смугл, быстр в движениях, ловок, глазенки так и горят угольями, и уже видно было: вырастет из него добрый хлопец.

Через три года после Нефодьки дочка родилась, Груня.

Жить бы да радоваться счастливой семье, да беда всегда неожиданно приходит.

Едва исполнилось Груне полтора года, молнией убило Зину. Залезла она на хату, верх побелить, заодно и сажу потрусить, а тут туча, пустяковая совсем, нашла. И громыхнуло-то всего ничего, может, раза два, а вот надо же - попала молния в Зину. И в землю ее закапывали, и простыней мокрой оборачивали - ничего не помогло...

Трофим был в это время в поле, а когда приехал - не заплакал, помертвел, почернел весь, на добрый десяток лет в момент постарел. Стоял над женой, оцепенев, намертво закусив губы, долго-долго все смотрел, смотрел на совсем не мертвое, с высохшими капельками меловой побелки, лицо Зины.

Правду говорили люди: блюдет Трофим верность жене. Только не первой. Та не оставила следа в его сердце, хоть и прожил с ней пять лет. Забылась, стерлась в памяти. Зину же не мог забыть. Как остался с малыми детьми в тридцать четыре, так и жил, не помышляя больше ни о какой женитьбе. За детьми следил справно, и ухожены они были не хуже, чем при живой матери.

А время шло своим чередом.

Вот уже и Нефодька подрост, отходяв две зимы в школу, стал помощником отцу. Вербинкой вытягивалась и Груня.

Не стар был еще Трофим годами, однако как-то сдал. Не силой - этому мог позавидовать любой парубок, - нутро будто оборвалось, будто придавило душу тяжким камнем и не сдвинуть тот камень уже никогда. И только дети теплили его душу, не давали ей застыть совсем.

Не угадаешь, как жизнь человеческая повернется.

Во время ледохода утонул Аким Котляров - пытался пьяным перейти речку. Молодой своей жене Наталье оставил годовалого сына Ванюшку да старую, под сгнившей соломой, вросшую под самые оконца в землю, хату. И еще полдюжины кур, прятавшихся на ночь на чердаке, лазивших туда через дыру под стрехой, - даже захудалого курятника во дворе не имелось. Одно название, что двор.

Вот с таким богатством и с дитем на руках осталась Наталья.

Тяжко причитала-голосила Наталья, оплакивая Акима.

- Как бы руки не наложила на себя, сердешная, - жалеючи, тревожились бабы.

А голос ее, леденящий, пронзительный и высокий, временами взвивался так высоко, что слышать было невмочь.

Хоть шаром покати в хате - ни крошки. Дело-то к весне. А какой весной хлеб, тем более у Акима Котлярова? Даже во

дворах гораздо покрепче оставалось к этому времени лишь семенное зерно. Его трогать - упаси Боже.

Три ночи мрачней тучи просидел Трофим, закоптив само-садом хату, а после четвертой привел Наталью к себе в дом. В руках нес закутанного в полушубок Ванюшку.

И опять людская молва мыла Трофиму косточки: кто осуждал, кто просто не понимал, кто отозвался с уважением - доброе у Трофима Мещерякова сердце.

Нефадей с Груней к нежданно появившемуся братцу привязались сразу. Худенький, прозрачный - как только душа в теле держалась! - он не умел даже громко плакать: лишь глазенки у него влажнели, и он беззвучно всхлипывал. Ничего, отпоили парным молоком, смылась с лица бледность, порозовели щечки, налилось маленькое тельце. Уже через месяц потешно топал Ванюшка по хате в сшитых из овчины пинетках, взбирался Трофиму на руки, терся о его бороду и что-то щебетал, как галчонок. Трофим большой своей рукой поглаживал Ванюшкину голову, и губы его подрагивали.

- Хоть и молода годами, все одно, теперь для вас она мать. Так и зовите, - сказал детям через время, и те приняли это как должное. Тихая, печальная Наталья пришлось им по душе.

ГЛАВА 2

Колокольным звоном церковей плывет над Россией тысяча девятьсот шестнадцатый год.

Пол-Европы задыхается в пороховом дыму.

Тысячи солдат враждующих армий уже успели вдохнуть отравляющих газов. Тысячи их уже лежат в братских и оди-ночных могилах, возле дорог и просто в поле, в лесах и у пере-прав, на городских площадях и сельских кладбищах...

Звонят колокола в России, воздавая хвалу славному вой-ску царя-батюшки, призывая к новым победам во славу Бога, царя и Отчества!

Звонят колокола и в далеком от фронта Подгорье.

- Аннушка, ты куда-то собираешься? - удивленно спро-сил Николай Иванович Астапов племянницу, увидев, как

та расчесывает волосы, задумчиво рассматривая себя в зеркале.

- В церковь, - ответила Аня, низко повязывая платок.

- В церковь? - удивился Николай Иванович. - Прости, Аннушка, но я что-то не понимаю... Неужели ты...

- Нет-нет, дядюшка, Бог здесь ни при чем, - улыbnулась племянница. - Я очень люблю слушать хор певчих. В каждой церкви свой особый расклад голосов. Если не обращать внимания на смысл слов, то слушать церковное пение - истинное наслаждение. Это очень красиво...

Николай Иванович посмотрел на нее. В низко повязанном платке выглядела сейчас Аня целомудренно.

- Так я пойду? - Аня поцеловала дядюшку в щеку.

- Иди, Аннушка.

Николай Иванович расположился в старом кресле с газетами, которые ему, хоть и с опозданием, привозили из Калача.

Газеты Николай Иванович не читал - бегло просматривал. Читать в них, собственно, было нечего. Изо дня в день одно и то же. Победные вести с фронта; снимки улыбающихся офицеров и нижних чинов, вероятно, подобранных специально, намуштрованных позировать перед объективом; бесконечные восхваления царю и воинству российскому; патриотические призывы сражаться с германцем только до победного конца. Последнее непременно звучало лейтмотивом в многочисленных статьях.

Внимательно и скрупулезно Николай Иванович изучал в «Русском слове» лишь списки награжденных и убитых офицеров - не промелькнет ли имя Аркадия Николаевича Астапова, поручика.

В свое время мечтал Николай Иванович видеть сына студентом Петербургского университета, в котором когда-то учился и он сам. Аркадий решил иначе... Буквально перед войной окончил Алексеевское военное училище.

Понимает Николай Иванович, читая письма сына: не все так ладно да гладко на фронте, как о том пишут газеты. И постоянно старый учитель ощущает страх за своего единственного сына. Пуля не разбирает, где рядовой, а где офицер, ей все равно, чью жизнь оборвать.

Будучи студентом Петербургского университета, Николай Иванович 3 апреля 1881 года был очевидцем последней в России публичной казни. Казнили народовольцев, «перво-мартовцев», убивших царя Александра II. То было ужасное зрелище.

Тимофей Михайлов дважды срывался с виселицы. Толпа, запрудившая площадь, в центре которой был сооружен эшафот, заволновалась, напирая на оцепление, грозно загрохотала, требуя помиловать осужденного. Часть солдат из оцепления тоже не выдержала, выступила с таким же требованием. Их тотчас убрали с площади. И не будь вокруг эшафота плотных шпалер войск, толпа разнесла бы и эшафот, и палачей.

В третий раз веревка выдержала, тело Михайлова закачалось в петле.

После казни Астапов пришел в маленькую квартиру на Съезжинской улице, которую снимал с однокурсником Яковом Гаевичем, и не раздеваясь упал на кровать. И все шептал: «Какая дикость!.. Какая дикость!..»

Поздно вечером появился Яков - злой, возбужденный, глаза горят.

- Скажи, Яков, зачем они убили царя? Скажи?! Разве возможно что-либо изменить в истории, подтолкнуть или затормозить ее движение, выбить хотя бы звено в ее цепи и заменить новым? Ведь это невозможно! Только напрасно заплатились жизнью... Во имя чего, во имя каких идеалов?.. С какой варварской дикостью их казнили!

- Нет, дорогой друг, ты жестоко ошибаешься! - заиграл Яков желваками на смуглых щеках. - Их жертва не напрасна. Они совершили великий подвиг, совершили во имя счастья народа. И тем счастливы сами, с тем и приняли мученическую смерть! Ты видел их лица? Это были лица людей, познавших истинное счастье. Заговорят, заговорят еще бомбы! Падет в страхе на колени самодержавие, и тогда продиктуют ему свои условия последователи сегодняшних героев! - Лицо Якова покраснелось. - И нам менять звенья в цепи истории! Слышишь, Астапов, нам! Нам продолжать святое дело павших. Позор жить улиткой, укрывшись трусливо в собствен-

ном панцире. Нет, уважаемый, борьба не напрасна. И в этой борьбе с царизмом приемлема только бомба!

- Но, Яков, та же история показывает, что еще никому не удавалось создать государство всеобщего благоденствия. Вспомни хотя бы примеры революций в Англии, Франции. Заканчивались они неизбежно поражением. Моря напрасной крови...

- Эх, Астапов! История борьбы только начинается. Превыше поражения - не бесконечная закономерность. Это лишь уроки, которые надлежит учитывать в нынешнее время и в будущем. Цари ведь тоже люди, и тоже боятся смерти, даже более, чем мы с тобой, простые смертные. Страх, всеобъемлющий страх перед возмездием рано или поздно принесет свои плоды. И тогда мы взрастим новые сады в России - сады свободы!

- Кто это - мы?

- Мы - это честные сыны России! Есть они, Астапов, в нашем Отечестве, много их. Готовых пожертвовать собственной жизнью ради светлых идеалов воли и свободы народа.

Гаевич познакомил Николая со студентами, собиравшимися на тайные собрания.

Поначалу он мало что смыслил в тех спорах, но жадно прислушивался к противоречивым мнениям.

После казни «первомартовцев» он ощущал в себе смутную неудовлетворенность собственной жизнью. Мучительно раздумывал о своем «я», о том, что представляет он в обществе, какую роль предназначен играть в жизни вообще, и в чем заключается сам смысл его существования как живого существа, человека, частицы общества, и что он должен взять от него, от общества, и что - дать взамен.

- Послушайте! Нам давно следует уяснить себе четко и ясно - только крестьянство наша главная опора! Только сохранением и развитием крестьянских общин мы сможем перейти к социализму! Это - истина, в которую могут не верить только слепцы. Капитализма в России нет и не будет. Это выдумка. Сравнить развитие общества в России и, к примеру, в таких странах, как Англия и Франция, - совершеннейший абсурд. Прежде всего надо вывести нашего мужика из темноты, дать

ему грамотность, и тогда само время создаст предпосылки для постепенного перехода к социализму! - запальчиво говорили одни.

И Астапов соглашался с ними. Все верно, только в просвещении народа его будущее.

Другие говорили жестко, мороз пробежал по коже от их слов. Они утверждали:

- Сюсюканье! Лепет несмышленного младенца! Вот как раз вы слепы. Как вы не можете понять, что при существующем режиме в России сама идея добиться чего-либо путем просвещения крестьян является абсурдной. Надо добиваться изменения политического режима в стране, добиваться свободы совести, слова. Но для этого существует лишь одно средство - террор. Только так! Жесточайший террор, который вынудит самодержавие пойти на уступки!

- Но позвольте! Чего добились террористы, убив Александра Второго? Совершенно ничего! Только заплатились жизнью многие. А сколько казней было до этого? Всякое насилие есть зло, и с ним бороться надо, но не отвечать злом на зло, здесь необходимы терпеливые и усердные воздаяния добра за зло, и только в таком случае будет положительный результат, - возражали сторонникам террора противники какого бы то ни было насилия.

Те горячились в ответ:

- Проснитесь! Прошло ваше время «хождения в народ». Только бомба есть главный аргумент нашей революционной борьбы!

Астапов внимательно прислушивался к спорившим и начинал постепенно понимать - кто есть кто. В нем все более росло согласие с теми, кто был убежден, что весь корень зла - сплошная неграмотность крестьянства. Воинственных речей натура его не воспринимала.

На одном таком собрании Астапов познакомился с Верой Страховой, курсисткой Высших женских курсов. Познакомил их Яков Гаевич, который был равнодушен к Вере.

Как-то Николай Иванович проводил Веру с собрания. Потом они стали встречаться. Подолгу бродили по Питеру. Боевитая, деятельная Вера в такие часы делалась кроткой и

задумчивой. О возникших чувствах Николай и словом не обмолвился, страшился быть отвергнутым.

Он все реже приходил на студенческие нелегальные собрания, а потом и вовсе перестал их посещать. Яков аевич, убежденный сторонник террористических актов, ничего по этому поводу не сказал, только хмурил брови и почти совсем перестал с ним разговаривать. Потом, не объясняя причин, съехал на другую квартиру, где вскоре и был арестован.

Мучаясь страхом, Николай ждал: вот-вот нагрянет полиция и к нему. Сжег все бумаги, какие могли заинтересовать жандармов. Но время шло, полиция Астаповым не интересовалась.

Гаевича сослали в Сибирь...

Астапов решил бросить университет и уехать куда-нибудь подальше, в глушь, дабы таким своим поступком принести хоть какую-нибудь пользу, живя на этом свете.

С ним уехала и Вера Страхова.

Так оказались они в Подгорье.

Поначалу было невыносимо, хотелось бросить все и опять уехать в Питер. Потом пообвыклись, все реже приходили мысли об отъезде. Осели окончательно и жили тихо и неприметно, обучая грамоте крестьянских детей.

Смутно доходили в село вести из столицы. Спустя несколько лет докатилась весть о казни в Шлиссельбургской крепости пятерых студентов за подготовку покушения на Александра III.

Умерла Вера от чахотки, когда сын Аркадий, родившийся здесь, в Подгорье, заканчивал гимназию в Калаче.

Позже Аркадий уехал в Москву, в Алексеевское военное училище. Николай Иванович остался один. Жил в маленькой квартирке при школе.

Трудно привыкнуть к одиночеству, но хочешь этого или не хочешь, никуда не денешься, привыкать надо. Долгими вечерами, не зажигая лампы, сидел в кресле, думал о своей почти уже прожитой жизни.

Встряхнулся, очень обрадовался приезду Ани, дочери брата, жившего в Туле.

На родину, в Тулу, Николай Иванович ездил не часто. Отец с матерью давно умерли, брат же более чем холодно от-

носился к неудачливому, как он считал, Николаю Ивановичу. Так что, по сути, ничто не связывало его уже с родными местами. Разве что щемящие воспоминания о далеком детстве.

Родители, в большинстве своем, обычно уверены, что они хорошо знают своих детей. Не был исключением и Николай Иванович. Однако в какие-то моменты чувствовал: многое в сыне скрыто от него. И чем взрослее становился Аркадий, все более убеждался в том. Обычная история взаимоотношений отцов и взрослеющих детей. Обычная и в то же время всегда болезненная для родителей, для которых все большая с возрастом самостоятельность сына и дочери воспринимается с горечью. Дети начинают жить своей жизнью, своими помыслами, и зачастую они, в большей или меньшей степени, отличны от родительских.

Мысль, что сын не до конца откровенен с ним, тревожила Николая Ивановича. После смерти матери Аркадий замкнулся в себе.

Однажды - это было летом, после окончания сыном гимназии, - Николай Иванович случайно обнаружил на столе в его бумагах прокламацию.

Похолодев от страха, он еле дождался сына - тот любил часами бродить по окрестным холмам.

Едва Аркадий переступил порог, Николай Иванович молча протянул ему листок. Аркадий без тени смущения или удивления взял прокламацию, тщательно сложил ее и сунул себе в карман.

Николай Иванович ожидал, что сын заговорит, объяснит причину появления в их доме злополучного листка (несомненно это случайность - так, по крайней мере, очень хотелось Николаю Ивановичу), но тот молчал, и он не выдержал:

- Аркадий, откуда эта бумажка?
- Листовка? - невозмутимо отреагировал тот.
- Да, да! Листовка! Или еще как она там называется, черт бы ее побрал! - резко заговорил Николай Иванович.
- Послушай, папа, какая разница, откуда она у меня? Допустим, мне привезли ее из Воронежа. Что тут такого? - совершенно спокойно отвечал Аркадий.

- Как что? - негодуяюще воскликнул Николай Иванович. - Ты понимаешь, что говоришь? Да разве ты не представляешь, какие могут быть последствия, не дай Бог, об этом узнают? Выбрось сейчас же эту бумажку! Слышишь?! Немедленно! Нет, нет, сожги ее. Или нет, дай ее мне, я сам это сделаю.

- Ни выбрасывать, ни сжигать я ее не буду, - твердо отрезал сын.

- Ну, знаешь!..

- Успокойся, папа! Не надо делать трагических жестов. Если хочешь - это не случайность. Я, может, вполне разделяю взгляды тех, кто написал листовку. И еще. Пойми, я ведь уже взрослый человек, и разве у меня не может быть своих взглядов, своих принципов, своих мыслей, наконец?!

Николай Иванович схватился за голову и расхаживал по комнате:

- Я понимаю, ты молод, у тебя происходит брожение мыслей, но тебе необходимо понять главное. Ты закончил гимназию, и впереди у тебя университет. Все остальное надо выбросить из головы! А это... Это у тебя пройдет, поверь мне. Только университет! В молодости я тоже, так сказать, увлекался идеями... Все это проходит с возрастом. Да, да, поверь мне! И у тебя пройдет. Нельзя, Аркадий, ничего изменить в этой жизни, пойми. Только время, само время может внести в нее какие-то изменения.

Аркадий не перебивал отца, и тот продолжал внушать:

- Ведь ты попросту можешь испортить себе жизнь. Понимаешь - жизнь!

Лицо сына было непроницаемо. Николай Иванович неожиданно умолк, его остановила эта удивительная непроницаемость сына. Интуитивно чувствовал: Аркадий скептически выслушивает отца. Но то, что услышал Николай Иванович в ответ, просто убило его.

- Папа, в университете я учиться не буду.

- Как? - растерялся Николай Иванович и сел на стул.

- Я так решил. Это ты хочешь, чтобы я там учился. Это твоё желание. Но не мое. Не ты ли учил меня, что каждый человек волен делать свой собственный выбор и принуждение здесь противоестественно?

- Да, но... - пытался возражать потрясенный Николай Иванович, но нужных слов не находилось.

Аркадий говорил негромко, но с решительностью в голосе, и Николай Иванович изумился своему открытию. Мальчик, его сын - уже не мальчик, вполне взрослый человек, имеющий собственные суждения, отстаивающий их без всплеска юношеской горячности, уверенно и рассудительно. Боже мой, как неумолимо летит время!

- Это во-первых, - все же чувствовалось, Аркадий волнуется, но старается держаться спокойно. И это ему удавалось. - Что касается брожения моих мыслей, ты прав. Но, по-моему, более удивительным было, если бы в оем возрасте его не происходило. Не так ли? И насколько они, мысли, устоявшиеся, пока судить в общем-то рано. Рано в силу моего возраста. Однако я все-таки не считаю, что мои планы - заблуждение. Относительно твоих слов: «Ничего нельзя изменить в этой жизни», - позволю себе не согласиться с тобой. Девятьсот пятый год разве ничего не дал?

Николай Иванович растерянно и изумленно слушал сына.

- Во многом ты отстал от современности, многого, прости, не понимаешь. Просто не представляешь...

«А он ведь в чем-то прав», - с горечью согласился Николай Иванович.

Еще большей неожиданностью, чем отказ учиться в университете, явилось решение сына стать офицером.

Так и не смог Николай Иванович понять сына. Было ясно, что, надев золотые погоны офицера армии государя российского, станет Аркадий исполнительно-ограниченным человеком. Но, с другой стороны, исчезла опасность увлечения сына революционными идеями.

С трудом привыкал к тому, что его родной сын - офицер. Изменений особых в характере Аркадия Николай Иванович, однако, не заметил и понемногу стал успокаиваться. Раньше очень боялся, что интеллигентность и впечатлительность натуры сына заглушатся военной муштрой и на первый план выпятятся слепая и бездумная подчиненность всяким там воинским артикулам. Слава Богу, этого не произошло, и мнение

об офицерах, какое сложилось у Николая Ивановича много лет назад, стало понемногу изменяться. Но все равно, армию, оружие, тем более пущенное в ход, считал противоестественным самому понятию - человек.

...Убаюкиваемый своими мыслями, Астапов задремал. Газета выпала из рук.

Как вернулась Аня, он уже не слышал.

ГЛАВА 3

Народу в церкви - не протолкнуться. Воскресенье.

Неразлучная тройца друзей - Нефодька Мещеряков, Митька Суров и Мишка Алабушев - стоят в толпе рядышком, вертят по сторонам головами и перешептываются.

- Гляди-ка, нос у батюшки сегодня какой красный, точно сопля у индюка, горит.

- Хряпнул перед службой, чего ж ему не гореть, вот и горит.

- Вот же поповская харя! С утра хлещет!

- Это он для голоса. Слышь, как выводит, того и гляди свечки затухнут. Ну и голосище!

- Бугай!

- Точно!

- А пузо-то! Крест не висит, а плашмя лежит на ем, на пузе.

- Сало трескает да первачком запивает.

- Сало! Каждый день курочку скушивает.

- Вот житуха! Вот так бы, попом, а?!

- Голос писклявый. Тоже мне поп нашелся!

- Не писклявей, чем у тебя.

- А эти, будто телушки в стаде, подмукивают.

- Псалмы.

- Слов что-то не разобрать.

- А на что тебе они, слова? Так слушай, без слов.

- Гля, гля, вон, видишь?! Ах, как перекрестилась... Мне бы ей пальчиком ткнуть в то место! Ух!..

Старухи шикали на тройцу и дергали их за рубахи. Разве можно балаболить в храме Божьем!

Грешно ляскать языком в церкви. Но разве простишь столько времени тихонько, не пошевелясь, не перебросившись с дружками словечком, тем более когда вокруг столько девах!

Затем и явились сюда, в церковь, чтоб позыркать на них, поозорничать глазами. Где в другом месте можно собрать столько девок враз? Ни одна улица вечером столько не собирает. Тут же - пожалуйста. Выбирай кралю, подморгни ей, и если она смущенно опустит ресницы, покраснеет, а потом зыркнет на тебя опять, с этакой улыбочкой не улыбочкой, считай, дела в порядке. Смело можешь вечером подкатиться к ней.

У троих друзей зазнобушек таких, чтоб ухажериться с ними по-всамделишному, еще пока не заимелось. Хотя и не пацаны, в среднем брать на круг - почти по девятнадцати. Но пусть и не прикипело пока сердце ни к одной, смелость и кровь играли вовсю, - иной раз, набравшись духу, запускали за пазуху руку, касаясь, как горячих углей, упругих девичьих груди, не стиснутых никакими лифчиками.

- Нефодька, слышь, смотри - Шурка как на Гаврюху Кротова глаза пялит. А! Переспала с ним, дурочка, а он теперь нос воротит, - наклоняется к другу Митька Суров.

- Точно?

- Ну!

- Почему знаешь?

- О! Почему знаешь?! Все знают, один ты такой тугоухий, ничего не слышишь.

- На Нефодьку тоже нет-нет, да и постреливает, - подал голос Мишка Алабушев.

- Отстрелялась по нем. Эх ты, Нефодя, такую девку и... Обставил тебя Гаврюха!

- Я-то при чем? Чего меня обставлять, я с ней не...

- Не! К тебе ж подлащивалась, будто не знаешь.

- Не знаю.

- Бреши!

- Ладно тебе, помолчь.

- Говорят, будто понесла, - монотонно, без выражения пробубнил Мишка.

- Кто говорит? - спросил Нефадей.

- Да говорят...

Все трое привстали на носках, чтобы увидеть Шуркин живот, будто на нем было написано, действительно ли она переспала с Кротовым.

- Рано еще, - знаяще заключил Митька. - Погодь, он все одно вздуется, дай время, деваться ему некуда. От же паразит! Шурка - деваха ничего, жаль. Обманом взял, гад! - хотел сплунуть, но, вспомнив, что в церкви, сглотнул слюну.

- Откуда ты все знаешь? - посомневался Нефадей.

- Знаю. Это ты ничего не знаешь.

- Не мешало бы ему и по мордасам дать за такие дела. А? - заключил Мишка.

Суров тут же загорелся.

- А что! Давайте седня и отвалим ему? Выйдем из церкви, и за шкирку! Ну?

- Можно, - согласно покивали Нефодька с Мишкой.

Так скоропостижно друзья вынесли решение и теперь дожидались конца службы, чтобы исполнить его, - проучить Кротова. По годам Гаврюха Кротов должен быть в армии, но, видать, потряс папаша гаманком перед кем следует, и сыночек остался дома - болезни нашлись какие-то. Отец у Гаврюхи прижимистый, на такое же дело денег не пожалел. И вообще на сыночка денег не жалеет.

Часто Гаврюха похвально обновками и ухмыляется пренебрежительно, поглядывая на босых хлопцев, которые, хоть уже и бегали к девкам, обуви же не имели. Если у кого и были сапоги, так то - богатство, берегли их, носили по праздникам. В будние дни нечего зря подметки стирать.

Ну, а Кротов - тот босой не ходил. И сапоги у него - и хромовые, и яловые, и ботинки. Но больше всего любит щеголять в хромовых. Даже летом, в жару. Да еще напялит на них блестящие черные галоши с красивой малиновой байкой внутри. Давал иногда потрогать внутренность галош своим дружкам. Те восхищенно цокали языками, поглаживая мягкую, ласкающую пальцы подкладку.

Ясное дело, водился Гаврюха с такими же, как он, сынками из зажиточных. Правда, и из голопузых кое-кто крутился в его компании. Те вертелись вокруг Гаврюхи, как

шавки, которым нет-нет, да и бросят кусочек хлебца. Тем и удерживал их возле себя.

По натуре Гаврюха трус. Но в то же время драки любил. Со стороны на них смотреть. Стравливал своих прихлебышей с хлопцами победней и наблюдал, стоя в сторонке, как те кроვენят друг другу носы. Если же дело оборачивалось таким макаром, что и ему могли поднести кулак к носу, спешно ретировался, оставляя свою братию. Это тактика такая, объяснял он потом с умным, глубокомысленным видом своим побитым дружкам.

Лицом Кротов красив, но девчата не жалуют его. Все дело в носе - Гаврюха сильно гундявит. К тому же из нутра у него воняет, как из свинячьего закутка. Может, и правда потому не взяли Гаврюху в солдаты, что легкие гнилые. Только по роже что-то не верится, чтоб они гнили у него. Чахоточные - они худые да бледные, этот же - пампушка сдобная. Просто, видать, порода у него такая вонючая, у отца тоже, как у дитяти малого, нос соплвится, разговаривает так же - гу-гу.

Служба уже заканчивалась, когда широкая спина какого-то дядьки сдвинулась в сторону и впереди него Нефадей увидел незнакомую девушку. Он поразился ее лицу. Чем оно поразило его, Нефадей и сам толком не понимал. Почему-то сразу вдруг стало жарко.

Выражение задумчивости, мягкой печали, какой-то светлой и какой-то... - Нефадей не смог бы и объяснить какой, - застыло на лице девушки. Рот едва заметно приоткрыт, и виден крохотный белый треугольник ее зубов. Лоб чуточку нахмурен, и морщинки, одна побольше, другая совсем почти незаметная, пересекают его. А глаза... Разве скажешь, какие они?... В них что-то... Взглянешь - не оторвешься.

Чья же она? Что приезжая - точно. К кому приехала?

Митька что-то шептал Нефадею на ухо, дергал его за рукав, но тот не реагировал и очнулся лишь, когда исчезли и широкая спина дядьки, и лицо девушки.

Служба закончилась, все двинулись к выходу. Нефадей во все стороны крутил головой, но девушки нигде не было видно.

- Ты чего? - затормошили его дружки.

А он ничего вразумительного не смог им ответить и лишь махнул рукой:

- Так...

Вышли из церкви.

Вокруг Кротова крутились человек семь его дружков, и втроем затевать разговор, который вероятнее всего должен закончиться дракой, было как-то не с руки. Пришлось приглашать хлопцев с Цурилки, - так называлась улица, на которой жила троица - и те, поняв, в чем дело, без лишних слов присоединились.

Решили так: Нефадей потолкует с Гаврюхой один на один. А если тому на помощь кинутся его дружки, тогда вмешаются и остальные.

- Поговорим, Гаврюха? - подошел Нефадей к Кротову.

Все молчали. Слушали, наострив уши.

- О чем, Нефодя? Чтой-то нема охоты мне с тобой балакать сегодня, - нарочито лениво, с ухмылочкой, ответил Гаврюха, поигрывая концом тонкого ремешка, которым была подпоясана рубаха.

- А это уж хочешь не хочешь - придется, - недобро прищурил глаза Нефадей.

- Што это ты так сурьезно? - уже без ухмылки спросил Кротов, чуя: быть драке, и улизнуть на сей раз будет не так просто.

- Отойдем в сторонку, я тебе полюбовно объясню, в чем дело. А не дойдет до тебя, тогда... Идет? Иль боишься? - Нефадей говорил с улыбкой, будто беседовал с закадычным дружком о чем-то приятном.

Гаврюха понял: дело пахнет для него дохлым, но никак не мог взять в толк, чего, собственно, ради вызывает его Нефадей на разговор с глазу на глаз.

- Ладно, пошли побалакаем, ежли так желаешь, - как можно равнодушной согласился Кротов и оглянулся на своих притихших дружков, подморгнув им, чего никто из противной стороны не заметил.

Гаврюхино окружение как-то облегченно вздохнуло - не такой уж и трус Гаврюха, если с самим Нефодькой не боится балакать.

- Только вы, господа хорошие, не вздумайте встрять. А то оно, знаете... Как бы пожалеть потом не пришлось, - предупредил их Нефадей. - Тут разговор особый, и не вашего ума дело слышать его. - Повернулся к своим: - Приглядывайте за ними.

- Так как насчет Шурки Корнеевой? - хмуро спросил Гаврюху, когда отошли к дальнему углу церковной ограды.

Тому и боязно, что так далеко отошли, с другой стороны - это и хорошо. Дружки не услышат, если начнет Нефадей угрожать, а ему, Гаврюхе, придется изворачиваться, чтоб не получить с ходу по зубам.

- Ты про что? Не пойму... - улыбался Гаврюха.

- А понимать тут нечего. Было с ней? Чего молчишь? Ну?!

Кротов понял - Нефадей, как видно, не собирался шутить. Лихорадочно соображал, что ответить, как правильно ответить. Сказать: «Ничего не было» - нельзя, не поверит. Слушок уже пополз по селу. За брехню уж точно врежет без промедления. И какое ему дело, черномазому цыгану, до Шурки! Чего ж отворотился, когда Шурка млела по нему? Про то тоже все хлопцы и девки знали, что млела. А теперь нашелся, заступничек!..

- Было... Так я при чем? Глаза кособочит, зовет ими, а мне что? - И ощерился: - Мужик известно что делает, если баба сама набивается. Сам понимаешь...

- Так уж и сама? - потемнели глаза у Нефадея.

- Точно... Сама.

- А на сеновал кто кого тащил, она тебя или ты ее? Ну?!

- Да брось, Нефодя... - забегал глазами Кротов.

- Я те брошу! Забрюхатела Шурка, так ты теперь, гнида, морду воротишь от нее? А?! - Нефадей схватил Кротова за грудки, притянул к себе. Тот побледнел и зажмурился. - Да понимаешь ли ты, гад, узнает ее отец про то, прибьет Шурку!

Вообще-то Нефадею не так уж и жалко Шурку Корнееву. Считал, сама виновата. Не захотела - проглотил бы Гаврюха слюнки да с тем и остался. Так что до сегодняшнего дня у него и в помине не было вступить за нее. И если б не Суров и Алабушев, вряд ли бы он затеял этот разговор с Гаврюхой. Однако, начав его, распалил себя, - Шурка явилась лишь поводом,

чтобы разжечь неприязнь к Кротову, которого Нефадей терпеть не мог за кичливость и лукавую его натуру. Давно горело желание дать ему крепенько пару раз в ухо. И вот время пришло, кажись.

Вдруг затылок раскололся страшной болью, в глазах полыхнуло сплошным огнем. Нефадей обмяк, закачался, шагнул к ограде, пытаясь ухватиться за кованые прутья. Ударили еще раз, теперь в лицо. В носу хрустнуло, кровь брызнула на праздничную рубаху.

Не зря предупреждал Нефадей своих, чтоб те посматривали за Гаврюхиными прихлебателями. Не усмотрели, проворонили. Один из дружков Кротова, подкравшись из-за угла ограды, скрытого сиренью, предательски ударил Нефадея палкой в затылок.

Нефадей упал.

Он уже не видел и не слышал, как подскочил к нему Мишка Алабушев и попытался было поднять друга. Но поднимать было уже некогда, завязалась драка. К кротовским подоспело на помощь еще несколько человек, и они оттеснили цуривших от лежащего Нефадея.

Привел его в себя женский крик.

Открыв глаза, Нефадей увидел стоящего над ним Гаврюху со злорадной усмешкой, готового ударить носком блестящих галош прямо в голову, и рядом - вцепившуюся в него ту самую девушку, которую видел в церкви.

- Прекратите!!! Это же варварство! Да прекратите же! - кричала она, оттаскивая Кротова от Нефадея.

И драка вдруг враз утихла. Противники рассыпались. Стали поодаль двумя группами и наблюдали, что будет дальше.

Такого в Подгорье еще не видано, чтобы девушка лезла в гущу драки. Такой поступок, удивительный для подгорьевских хлопцев, просто ошеломил, охладил их боевой пыл. Тем более, девушка была не из местных. Судя по тому, как одета, - городская.

Девушка наклонилась, приподняла голову Нефадея. Подскочил Митька, хотел помочь поднять друга, но девушка отрицательно покачала головой, и он, нерешительно потоптавшись, отошел в сторонку.

Девушка спросила:

- Вам очень больно?

Нефадей не ответил. Лицо девушки близко-близко. Он чувствовал ее дыхание, но никак не мог поверить, что все это ему не чудится.

- Вы меня слышите? - спросила она еще раз, провела ладонью по его лбу, щеке.

- Слышу... - прошептал он, боясь спугнуть это чудесное видение. Встать на хотелось, он бы так и лежал, видя это чудное лицо, ощущая ладони - мягкие, нежные, совсем не такие, как у сельских девчат.

Потрогал распухший нос, скривил губы в улыбке:

- Не болит. Немножко...

Поднялся, поддерживаемый девушкой. Было какое-то необъяснимое, необыкновенное ощущение от прикосновения ее рук. И он улыбался.

Она не поняла его улыбки и спросила, как можно улыбаться после всего, что случилось.

- Ерунда, - заулыбался он еще пуще, словно получил великое удовольствие от того, что его так отдубасили. Правда, в то же время было стыдно - девушка видит его жалким, поверженным.

Глядя на его окровавленные губы, растянувшиеся в улыбке, Аня тоже невольно улыбнулась.

И от этой улыбки боль у Нефадея точно стаивала, утекала.

Две группы недавних противников глазели на них изда- лека. Лишь Суров и Алабушев стояли поближе.

- Чего они? - с тревогой спросила девушка.

- Да это дружки мои. Боятся, чтоб мне еще примочек не добавили, - пояснил Нефадей.

- Неужели опять полезут в драку?

- Да нет... Теперь уже не станут.

Нефадей знал: драки, по крайней мере сегодня, уж точно не будет. Боевой пыл перегорает быстро.

- Вам далеко идти? - спросила девушка.

- Да нет. Рядом.

Хоть и жил Нефадей порядочно от церкви, по подгорьевским понятиям верста - не расстояние.

- Вам, наверное, трудно будет дойти. Я помогу?

Нефадей очень удивился. Она собирается его довести, будто он ходить не может, будто дружки не стоят рядом. А домой идти сейчас решительно не хотелось. Так бы и стоять рядом с девушкой, и смотреть на ее лицо, слушать необыкновенный ее голос.

- Ерунда! Жаль вот рубаху. Мать на праздник сшила. Первый раз надел и...

- Речка ведь рядом, давайте простирнем ее, пока кровь совсем не засохла? - предложила девушка.

Нефадей смутился:

- Да неудобно как-то... Зачем вам? - но с тайной надеждой очень желал, чтобы пошли они к речке. Посмотрел на Мишку с Митькой. Те по-прежнему стояли вдаль, не решаясь подойти. Притихшие стояли и все остальные. Диво не диво, а посмотреть было на что. Смелая городская барышня платочком вытирала разбитые Нефодькины губы и нос.

- Чо за фыфа такая? Откель тут у нас объявилась? Во, паскуда, будто своо брата родного обихаживает! - прогундявил Гаврюха и добавил матюк. Дружки промолчали. Гаврюха сплюнул: - Ладно, пошли. По другому разу досчитаемся.

Все потихоньку начали расходиться, оглядываясь на все еще стоявших у церковной ограды Нефадея и незнакомую девушку.

Суров и Алабушев не уходили.

Нефадей махнул им рукой, и те - молодцы! - поняли его жест сразу, тоже двинулись вслед за остальными.

- Пойдемте, - тронула девушка Нефадея за локоть. - А то, может, к нам зайдете? Вы знаете Николая Ивановича, учителя? Я его племянница. Зайдем?

- Нет, нет! - испуганно замотал головой Нефадей. - Лучше на речку.

Не хватало еще, чтобы учитель увидел такую расписную Нефадееву рожу. Учителя в селе уважали, а молодые, такие, как Нефадей, кроме почтения испытывали к нему и какую-то уважительную боязнь - учитель! Нет, если уж и стирать рубаху, то лучше на речке.

- Хорошо, на речку так на речку, - согласилась девушка.

До речки шли молча.

Девушка опустила руку в воду:

- Ой, какая чистая вода! И какая теплая!

Нефадей нерешительно переминался с ноги на ногу, смущаясь снимать рубаху.

- Снимайте, снимайте! - потребовала девушка. - Я ее сейчас мигом! Думаете, не умею стирать?

Ему было неловко, он покраснел, но рубаху все-таки снял и пока держал в руках.

- Может, лучше я сам?..

Девушка решительно взяла рубаху из его рук.

- Вам будет трудно. Вам, наверное, мои руки не внушают доверия? - улыбнулась.

- Что вы! У вас руки хорошие... - Сказав эти слова, Нефадей засмутился еще больше и почувствовал, как загорелось у него лицо. Никогда еще не приходилось ему так говорить о девичьих руках. Никогда...

Девушка опять улыбнулась и стала стирать. Делала она это удивительно ловко, используя вместо мыла глинистый речной ил.

Рубаха отстиралась, и ее повесили сушиться на растущую у самого берега вербу.

Нефадей умылся, ощупал лицо. Поглядел на свое отражение в воде и остался даже доволен. Нос хоть и припух изрядно, и начал заплывать правый глаз, но в общем вид терпимый, могло быть и похуже.

Сели на густую, словно сотканное рядно, траву.

- Мы еще и не познакомились, - сказала девушка и протянула руку: - Меня зовут Аня.

Взгляды их на миг встретились. Нефадей опустил глаза, поспешно, будто она была раскаленной, пожал протянутую девичью руку:

- Нефодька. - Поправился: - Нефадей, стало быть.

- Редкое имя. Не-фа-дей, - произнесла по слогам Аня.

- Назвали так... Батюшка где-то выкопал. В селе у нас никого больше так не зовут.

- Вам, наверное, приходится много работать? - взглянула Аня на его руки.

Он подвигал ими, словно ища, куда бы спрятать.

С задубевшей кожей, с желтыми, отполированными от работы мозолями, с темной каемкой вокруг ногтей, в сравнении с нежными руками Ани выглядели они грубо обработанными кусками сучковатого дерева. Умевшие выполнять любую, самую тяжелую работу, сейчас они, его руки, мешали Нефадею. Он стыдился их и убрал с коленей. Пожал плечами:

- Бывает...

- А вы не очень разговорчивый... - Она заметила, как он убрал руки. - У вас сильные руки, хорошие руки, таким рукам можно только позавидовать.

У Нефадея поползли вверх брови. Его рукам завидовать?! Интересно она говорит. Вот жил на свете и не знал, что можно завидовать таким рукам, как у него. Чему в них завидовать?

Он невольно положил руки опять на колени и посмотрел на них, будто видел впервые. Чему завидовать? Корявые руки. Непонятно... И опять убрал руки.

Аня с любопытством наблюдала за изменениями на его лице.

- Если хотите знать, физический труд - это труд, достойный самого высокого уважения. Вот, например, Лев Николаевич Толстой трудился всю жизнь. Любил косить, пахать. А мог бы этого и не делать, ведь был помещиком. Однако не чурался физического труда. И вообще не мыслил свою жизнь без движения. На коньках катался, верховую езду любил, на велосипеде ездил почти до самой смерти. Вы читали его сочинения?

Что за человек такой, этот Толстой, Нефадей и слыхом не слыхивал. Спрашивает, читал ли... За плечами два класса, какой тут книжки читать! Да и что в них поймешь? Пробовал как-то раз читать, брал книжку у Павла Козуба. Тот рассказывал, больно в ней интересно написано про то, как Кутузов французов побил. И вправду интересно написано, только много непонятного. Пока страницу осилишь, аж в глазах рябит, в висках ломить начинается. Всякие генералы да маршалы, фамилии и не выговоришь, а то и по-нашему написано, вовсе непонятно к чему. Словом, перепуталось все в голове, кто, за чем, что да почему, куда и откуда - сплошная полова, не про-

сеешь мозгами. Так и не закончил Нефадей ту книжку, назад отнес Павлу.

Стало вдруг стыдно, что он так и не дочитал книжку, не помнил даже названия. Хорошо только помнил красный красивый переплет. Да понравился портрет Кутузова с черной повязкой на глазу. Бумага лощеная, скользкая, блестит. Павел еще предупреждал всячески, чтоб, ни Боже мой, не слюнявил пальцы, когда листки переворачиваешь. И руки чтоб мыл перед тем, как взять книжку...

- Не болит? Сейчас лучше? - осторожно дотронулась Аня кончиками пальцев до его припухшего носа.

- Нет! Совсем не болит, - мотнул головой Нефадей.

Аня недоверчиво покачала головой.

Прикосновение ее пальцев - точно угли кто раскаленные поднес к щеке.

- Какая дикость, выяснять отношения кулаком! Неужели недостаточно слов? Вы разве не согласны со мной?

- Согласен. Только... - Нефадей помялся.

- Что - только?

- Ежели слов не понимают, тогда как?

- И все равно нельзя утверждать свою правоту силой.

- Значит нельзя, - покорно согласился Нефадей. Опять стало почему-то стыдно.

- Вы только не обижайтесь на меня, что так говорю. Может, и действительно в каких-то случаях необходимо применять силу. Из-за чего вы?

- Да тут такое дело... Гаврюха - тот, в калошах который, - он... У них батрачкой Шурка, ну он и... А эта Шурка, значит, Корнеева, того... значит, после вышло, что она... Батка ее дознается, прибьет девку! А Гаврюха, как узнал - хвост в сторону, я, мол, ни при чем. Жаль Шурку-то. Вот и хотел ему почистить харю. Так он же, гад! Из-за угла дружки его втихаря меня и вдарили. Ничего... Мы еще посчитаемся.

Аня нахмурилась.

- И что же с Шуркой этой теперь будет?

- Не знаю...

- Какая подлость!.. А если Шуркин отец скажет отцу этого Гаврюхи обо всем? Как же так, почему он на ней не женится?

Нефадей криво усмехнулся:

- Толку-то, что скажет. Разве станут Кротовы родниться с Корнеевыми? Ни в жизнь.

- Кротовы зажиточные?

- А то! Станут с голытьбой знаться.

- Бедная Шура!

- Бедная... Отстегает батька вожжами, да куда денется, будет с внуком. Может, еще попадется потом Шурке какой-нибудь мужичишка. Всяко бывает, помрет у кого-нибудь жена, например...

- Какая дикость!..

Аня замолчала и, о чем-то задумавшись, смотрела на тихую гладь речки.

Нефадей встал, потрогал рубаху. Она была еще мокрой. Аня не пошевелилась. Опять сел рядом.

- Аня... - Первый раз произнесенное вслух ее имя волнующе отдалось в его ушах. - Расскажите о Толстом.

Она встряхнулась, улыбнулась. Вот и хорошо, отвлеклась Аня. Ну ее, эту Шурку. Не она первая, не она последняя, всех не пережалеешь.

Аня рассказывала о Толстом. Нефадей украдкой поглядывал на нее. Ни с кем Аню даже сравнить нельзя.

Рубашка высохла. Нефадей надел ее, и они медленно пошли вдоль берега речки.

- Вам нравится ваше село? - спросила Аня.

Нефадей никогда не задумывался над этим.

- Я впервые здесь, и мне сразу понравилось.

Село раскинулось в котловине меловых холмов, которые назывались здесь горами. Улицы от центра разбегались лучами, каждая чуть ли не на добрый десяток километров, и каждая являла собой как бы отдельное длинное сельцо. Назывались они своеобразно. Были тут и Цуривка, и Край, Гиндовка, Краснянка, Глинице, Заброд. Центр назывался Слободой.

Хаты побелены крейдой - мелом, которого здесь навалом, покрыты почти сплошь соломой. Где-нибудь лишь проглянет железная крыша - у зажиточных.

Тихая неширокая речка полукольцом огибала село. Возле холмов левый берег весь в кручах, обнажавших красновато-

бурую глину, приезжали за которой и издалека: из нее получались отличные глечики и глиняные миски - первойшая посуда в крестьянском доме.

К югу от села холмы расступались, там уходила к горизонту степь, край которой терялся в дымке. Где-то там начинались казачьи станицы.

Когда село образовалось - никто толком не знал. В незапамятные времена селились здесь и выходцы с Украины. Потому и мелькают в речи подгорьевцев украинские слова. Однако все считаются русскими, так и в бумагах пишутся. И украинских фамилий уже мало встречается, с течением времени переиначились на русский лад.

В Слободе, на пустыре за церковь, собирался базар. Приезжали на него из окрестных сел и хуторов, и даже казаки с Дона, верст за семьдесят, одетые в штаны с лампасами, а на голове у каждого - картуз с красным околышем и лакированным козырьком.

Весной и осенью по улицам ни пройти, ни проехать. Жирный чернозем от растаявшего снега и дождей разбухал, как дрожжи, превращаясь в тягучую хлябь. В такое время - только верхом, на телеге не везде проедешь. Выложена булыжником лишь площадь перед церковью. Грейдер до Калача грунтовый, такая же на нем грязь дремучая, непролазная. В такое время подгорьевцы сидят по домам, попивая самогон из свеклы - чуть ли не в каждом дворе самогонный аппарат. Первач получался добрый, что тебе спирт, горит голубоватым, почти невидным пламенем.

Дальше Калача бывать Нефадею не доводилось.

Первый раз город ничем особым его не поразил, разве что велосипедами. Да если не считать еще паровоза, хрюкавшего и отдувавшегося паром, как объевшийся боров. Когда паровоз гуднул, Нефадей испугался и аж присел, весь съезжившись. Гудок был резкий и неприятный. Ох и посмеялся тогда над Нефадеем отец! Он специально привез сына на вокзал, чтобы показать это чудище. Короче, не понравился паровоз: страшный, чумазый, ни с того ни с сего орет благим матом, точно его режут. А если неожиданно гаркнет - и вовсе зайкой может сделать.

Сейчас, идя рядом с Аней, Нефадей и вспомнил про паровоз, подумал, что он-то и привез ее.

- Не думала, что попаду сюда, к вам. А вот пришлось... - задумчиво, будто про себя, произнесла Аня. - Вы в Воронеже бывали?

Нефадей отрицательно мотнул головой.

- В Калаче был, а дальше не приходилось.

- Слушайте, Нефадей, а не хотелось вам никогда уехать куда-нибудь далеко-далеко?

- А куда ехать-то? - не понял он ее.

- Что вы! - воскликнула Аня. - Куда ехать... Мир велик. Как хочется увидеть другие страны! Побывать, например, в Италии...

Аня смотрела куда-то вдаль, мимо Нефадея, прищутив глаза и улыбаясь, будто видела вдали эту Италию, в которой ей так хотелось побывать.

Нефадею стало тоскливо от ощущения своей ничтожности и никчемности. Закинув за голову руки, Аня стояла и тихонько покачивалась на носках. Было такое впечатление, что вот-вот, еще секунда, она раскинет руки, риподнимется над землей и полетит.

Не было сил оторвать от нее глаз...

Когда расставались, Аня сказала:

- А вы очень хороший собеседник! - Нефадей скислил лицо, но она подняла руку и посмотрела прямо в глаза: - Нет! Нет! Я серьезно. У вас удивительное умение слушать. Вы сами даже не знаете, этим обладает далеко не каждый. - Ее рука была в его руке. - Приходите к нам. Я буду рада. Кроме вас я, собственно, пока никого и не знаю в селе, вы первый, с кем я познакомилась. Приходите.

- До свидания... Аня.

Что могло сравниться с тем, что испытывал сейчас Нефадей! Он готов был сейчас благодарить того, кто исподтишка ударил его по затылку. Не случись такого, не было бы знакомства с Аней. И, удивительно, уже нет места злости к Гаврюхе Кротову.

Все ушло, отодвинулось.

О другом мысли.

ГЛАВА 4

- Батюшки-светы! - ахнула Наталья, увидев лицо сына. - Да кто ж тебя так-то?!

- А! Ерунда! - махнул рукой Нефадей.

- Изуродовали лицо, а ему ерунда! - всплеснула мать руками.

- Заживет, как на собаке. Вы, мама, не расстраивайтесь.

Вот так-так! Видела Наталья - нисколько Нефадей не огорчен, еще и улыбается невесть с чего.

- Господи! Смеешься-то чему?

- Чего ж мне теперь, плакать? - улыбался Нефадей. Обнял ее за плечи. - Ну, мама Наташа, успокойтесь. Будет... Подумаешь, синяк. Пройдет!

Как Нефадей ни протестовал, мать уложила его в постель. Смазала нос и губы неприятно пахнущей мазью, нашла старую медную кружку, налила в нее воды и поставила на подбитый глаз.

- Придерживай ее рукой.

- Да не надо! Так пройдет, ну что вы... - пытался Нефадей возражать. Мать взглянула на него строго, и он подчинился. Лежал на спине, одной рукой поддерживая кружку. Металл приятно охлаждал кожу.

Возле крутился Ванюшка и все пытался влезть на кровать. Нефадей всегда, как только входил в хату, подхватывал братишку на руки и подбрасывал его, довольного, до потолка. Сейчас он почему-то не сделал этого, и Ванюшка похныкивал.

- Сыночек, Нефоду больно, пожалей его. Вот так. - Наталья подняла мальчонку, поднесла к Нефадею. Ванюшка хныкать вмиг перестал, осторожно погладил брата по голове. - Вот и молодец, выздоровеет братка, тогда и поиграет с тобой. А пока ты не лезь к нему, поди, поиграй сам.

Ванюшка, однако, от кровати не отошел, с любопытством смотрел на Нефадея, соображая, для чего тому поставили на глаз кружку.

Вошел Трофим. Следом впорхнула Груня. Брови отца вытянулись кверху:

- Что за лазарет?

- Да уж! Полюбуйся вот, как сына изукрасили, - сказала Наталья. - И не признается, кто. Может, тебе похвалится. Пришел довольный, рот до ушей. Тут плакать надо, а он смеется. Радость, поглядите-ка, какая, чуть глаз не выбили!

- А ему, мама, наверно, так и нравится, - с ехидцей встала Груня.

- Не твоего ума дело! Помолчи лучше, - оборвал ее брат.

- Но, но! Ты не очень-то мне хорохорься! Герой... - цыкнул Трофим. Сел на лавку, достал кисет. Ванюшка сейчас же взобрался к нему на колени, и пришлось кисет опять спрятать в карман. - Дурья твоя башка... Кто ж тебя так отходил?

Трофим спросил, но знал - сын вряд ли скажет, и потому ответа не ждал. Спросил так, для остротки.

Нефодька рос шепутным, подраться для него - что через губу сплюнуть. Частенько доставалось и ему. Но никогда он не жаловался отцу на своих обидчиков. Никогда не видел Трофим и слез у сына в таких случаях. Трофим в душе радовался - растет не размазней. Знал от людей: не боялся Нефодька в одиночку драться сразу против двух, трех, отбивался до конца, до разбитого носа, но о пощаде не молил. Сам же слабого не бил никогда и не позволял делать того и своим дружкам. И за это сверстники уважали Нефодьку - как друзья, так и недруги.

Смотрел Трофим на сына и видел: тот, подрастая, все больше становится похожим на покойницу Зину. Смуглый, с вьющимся густым чубом, те же припухшие губы, высокий лоб, горящие быстрые глаза из-под чуть насупленных бровей, тот же с легкой горбинкой нос... Груня, та больше пошла в него, Трофима, и кожа у нее посветлей, и волосы не такие темные, а лицом и вовсе не похожа на мать.

Любил Трофим сына, но внешне не выказывал своих чувств. Не часто баловал лаской, но чтоб бить сына - никогда. Случалось, схватит кнут или вожжи и грозитя высечь набедокурившего Нефодьку так, что тот и сесть не сможет. Однако дальше слов дело не шло. Сын знал это и не очень-то боялся отца. Уважал, но не боялся.

- Молчишь, значит? - посмотрел Трофим на сына, который внимательно уставился здоровым глазом в потолок.

- А чего говорить-то? - нехотя ответит тот и приподнял голову, попил из кружки, поставив ее потом опять на подбитый глаз.

- Ну-ну... То-то и оно, что нечего... - Трофим помолчал, потом неожиданно спросил: - Постой, а что люди сказывают, будто видели тебя на речке с... С кем это? Аль, может, брешут?

- Уже донесли... Успели! Кто это сказывает? Ты, небось? - Нефодька сердито глянул на сестру. Кружка едва не свалилась на пол.

- А хочь бы и я! - с вызовом сказала Груня. - Идем с подружками, глядь, Нефодька наш гуляет. Присмотрелись, - ба-тюшки! - с барышней городской прохаживается.

- Ух... - сморщился Нефадей и покраснел. - Языком бы поменьше ляскала!

- Я ляскаю? - обиделась Груня. - Что видела, то и кажу! Понял?! Ляскаю...

- Ладно вам, - остановил препирательства детей Трофим. Хитро сощурил глаза: - Стало быть, с барышнями гуляешь... Да еще не с какими-нибудь нашими Дуньками, а с городскими! И чья же она будет?

Нефадей не стал скрытничать:

- Учителя нашего племянница. В гости приехала...

- Ага! - не нашелся, что и сказать, Трофим. - Ясно... В гости, значит...

Поднялся, неопределенно хмыкнул, и с Ванюшей на руках прошел на другую половину хаты. Обернулся, качнул головой: - Аника-воин!

Следом заспешила и Груня.

- Лежи, Нефодюшка, лежи... - Наталья ласково погладила его, как маленького, и он благодарно сжал ее руку.

Поутру, чуть свет, заявился Митька Суров.

- Ты бы пораньше припожаловал! А то запоздал что-то, первый петух уже кукарекнул, - поддел его Трофим.

- Так, дядь Трофим, можно б и пораньше. Только вот, думаю, спят еще. Обожду, дай, зайду попозже. Вот и припозднился. Извиняюсь! - весело балаболит Митька. - О-е-ей! Вот так-так, вот так да! - радостно восхитился, увидев Нефадеву

физиономию. - Вчера совсем не такая рожа у тебя была! А сегодня... Да! Вот это я понимаю, синячище!

- Ты чего радуешься, дура? - не очень охотно откликнулся Нефадей, недовольно глядя на не давшего поспать Митьку.

Вчера вечером он долго не мог уснуть. Все ворочался, вспоминая до самых мельчайших подробностей знакомство с Аней.

- Я радуюсь? - выпучил глаза Митька. - Все чего-то тебе мерещится, Нефодька. А вообще-то, по-моему, ни разу еще у тебя не было такой печатки.

- Тебе, может, тоже поставить за компанию?

- О! Ты уж сразу... - обиженно протянул Митька и тут же выпалил: - Давай, рассказывай лучше!

- Чего рассказывать?

- Как чего? От! - опешил Митька. - Ты никак шутикуешь, Нефодька. Ты брось это... - Потребовал: - Рассказывай! - и приготовился слушать, подавшись весь к Нефадею, приоткрыв от любопытства рот.

- Отстань ты! - отмахнулся Нефадей.

- А еще друг... - покривил губы Митька. - Сам, понимаешь ли, с мамзелей к речке потелепал, на товарищей своих - тьфу, и еще спрашивает, чего ему рассказывать? Будто нечего!

Митьке уж очень не терпелось узнать все поподробней. По натуре он был страшно любопытный, дотошность его доводила Нефадея порой до того, что он грозился дать другу в ухо, дабы тот не ковырялся, где ему не следует.

Таков был Митька - хоть обижайся, хоть не обижайся на него. Наверное, он и сам не знал, зачем это ему надо доковыриваться до мелочей.

Например, ночью сегодня он тоже спал плохо. Мерещились Нефодькина побитая физиономия и эта удивительная городская барышня, что расстроила драку и так обихаживала друга, приводя его в чувство. Откуда она взялась... Прямо с неба свалилась. И надо же! Вмиг послушались ее. Потом, небось, битых два часа с Нефодькой по бережку речки прохаживались. О чем же они столько времени речи вели? Вот это-то больше всего и интересовало Митьку. Он прямо сгорал от лю-

бопытства. Удивительное дело, пошла с Нефодькой, будто тот ей ровня, а не замызганная «деревня».

Еле дождался Митька сегодняшнего утра и помчался к Мещеряковым, даже не умывшись, чтобы побыстрее удовлетворить свое неумное любопытство. Только попробуй удовлетвори его, если Нефодька отмахивается от вопросов, как от пчел, и ничего не желает рассказывать. Лучший друг называется! Вот с Грунькой Митька о чем хочешь может говорить. Только рот разевай, слушай. Впрочем, Груне он не осмелился бы сказать такие слова, от щекотливых намеков в которых стыдливо прыскали другие девки. Груня, она...

- Ты знаешь, кто такой Лев Толстой? - перебил Нефодька Митькины мысли. Приподнялся, сел.

- Чего, чего? - опешил Митька.

- Про Толстого, говорю, слышал?

- О! Про что это ты? Не очухался еще после вчерашнего?

- Дурак, - с ласковой снисходительностью произнес Нефадей. - Живешь и ничего не знаешь. Голова ты пустая, языком только трещать, хуже сороки болтливой, а про Льва Николаевича услышал, так zenки вылупил.

- Ух ты... Льва Николаевича! Он что - князь, господин какой, а может, чего доброго, друг твой? - съязвил Митька. - Голова пустая... У тебя самого-то много ли в ней? Давно ли грамотеем таким стал, а? Что, с городской мамзелей постоял рядом, так сразу ума палату набрался?

Нефадей мимо ушей пропустил ехидные слова друга.

- Толстой - великий писатель, понял? Книжки писал. И про войну, и про мир. Про эту самую войну с французами, когда Кутузов их всех почти перебил, написал толстенную книжку. Толще, чем ладонь, - для большей убедительности ткнул под нос другу свою крепкую ладонь, и тот рассматривал ее с любопытством, как будто видел впервые и как будто это была не ладонь, а и впрямь книжка. Нефадей продолжал, неспешно взвешивая каждое слово: - Графом был. Но простой. За плугом лучше тебя умел ходить. За это царь и невзлюбил его. - Нефадей понизил голос: - В безбожники определил и всем попам наказал, чтобы те прокляли его и в церковь не пускали. Не по нутру, значит, царю, чтоб граф

в земле ковырялся да с мужиками по-свойски балакал. Вот так-то...

- Ух ты... Это кто ж тебе про такое понарасказывал? Эта самая... да? - тоже понизил голос Митька. - А зачем он такой граф? Охота ему было...

- Охота! Простой, я ж тебе сказал, нравилось ему так. Он всех за людей считал, даже такого дурака, как ты, хоть и граф был, - раздраженно ответил Нефадей.

- Как зовут ее?

- Аня...

Что и говорить, не помнится Митьке такого, чтоб кто-то из подгорьевских хлопцев так запросто гулял с городскими барышнями. Наговорила ему всякого, чего тот сроду и не слышал. Ишь вон, про графа какого-то уж больно складно рассказывает. Но неужели Нефодька смирился, что поколотили его? В другой раз вскипятился бы дружок и уж точно поклялся бы отомстить Гаврюхе. Митька знает. А тут - сидит себе с синяком, спокойный и не ерепенится. С чего бы? Нешто струсил? Но такого с Нефодькой не может быть. В это Митька ни за что не поверит. Стало быть, всему причиной эта самая Аня? Ну и дела... Враз переменялся дружок...

Глаз у Нефадея заплыл. Не помогла и медная кружка. Лицо тянуло на одну сторону, точно привесили туда увесистую гирию. Он поглаживал опухоль, прикидывая, когда же она спадет.

- С неделю походишь с картинкой, - заключил Суров.

Нефадей удивленно посмотрел на него: тот будто угадал его мысли.

- Да, с неделю, - согласился со вздохом он.

- Слушай, а с Гаврюхой чего делать дальше? А?

- Что делать? Как-нибудь при случае отквитаюсь. Да ну его!

- Эх ты! При случае... - с укоризной сказал Митька. - Теперь он задерет нос! Как же! Вон как Цыгану харю набок своротил! - Посожалел: - Шурку жалко. Опозорил, подлюга, девку.

- А что это ты о ней так пекешься? Родня что ли?

- Не родня, так что? - возмутился Митька. - Пусть насмеются, по-твоему? Батрачка не человек, выходит? - Он воз-

бужденно замахал руками перед Нефодькиным носом. - Эти живоглоты! Уй... - Не находя слов, рубанул воздух рукой: - Давить их, гадов, надо!

- Успокойся. Давило! Уж не ты ли собираешься давить? Сядь.

- Хочь бы и я! Ты что думаешь? - не успокаивался Суров. - Взять да подпалить Кротовых, да заодно и Кондратюков с ними! Тоже сволота! Тогда б и другие запрыгали!

Прошлой весной Петр Кондратюк переиначил по-своему межу и отгяпал у Суровых добрых полдесятины земли. Ездил Митькин отец и в уезд, после того, как тут, в Подгорье, не уладили тяжбу, но и там ничего не добился. Хоть и не считался Суров захудалым хозяином, однако тягаться с Кондратюком оказалось не под силу. К тутому кошельку закон больше расположен. Порастратился Суров изрядно, а толку никакого. С досады пропьянствовал два дня и успокоился. Что поделаешь, видно, плетью обуха действительно не перешибить. Но в душе затаилась ненависть к Петру Кондратюку. И теплилась надежда, что придет срок - даст Бог! - и тогда отольется Кондратюку все.

Нефадей в душе согласен с Митькой, но думал об этом как-то вяло. А Гришку, сына Петра Кондратюка, он точно так же не переносил, как и Гаврюху. Но сейчас неприязнь куда-то ушла, отдалилась, вытеснилась другим чувством, заполнившим его со вчерашнего дня.

Что касается Шуры Корнеевой, было к ней какое-то двоякое чувство. С одной стороны, будто и жалко ее, с другой же - виновата и сама, что дозволила, не устояла перед Гаврюхой. В то же время Шура вроде девка не такая легкомысленная, чтоб вдруг, ни с того ни с сего, поддаться Кротову. А вообще-то черт их там знает, как оно у них вышло. Может и разомлела, когда Гаврюха полез с нежностями. Но что он гад, то гад еще тот! Слизал сливки, котяра, наелся, и теперь Шурка ему не нужна. Батяню своего боится, чего тут неясного. Узнает тот про Шурку, Гаврюху взгреет, но чтоб женить на ней - такого не может быть. Ничего... Перемелется. Не станет же дядька Петр убивать свою дочку.

А то, всяко бывает, может, и женится Гаврюха. Но - нет, вряд ли, в лесу быстрее все передохнет. Что могут дать Шурке

в приданое, когда у дядьки Петра у самого, считай, голый зад. Не везет - жена одних девок ему несет. Мальчонку все ждал Корнеев, но сын не получался, хоть умри.

Шурка - самая старшая у Корнеева. Невзрачная и угловатая, каких-нибудь два года назад она расцвела вдруг враз, будто обдало ее живительной водичкой. И никакие жалкие тряпки-доноски после матери не могли скрыть формы девичьего тела - молодого, свежего, расцветшего.

Скромная и застенчивая - пошла в мать, - она не позволяла хлопцам тех вольностей, какие позволяли ее подружки, собираясь вечерами на улице. И хлопцы, поначалу нахальничавшие, после уже вели себя с Шурой чинно.

Дружила она с Груней, хоть та была и помоложе, изредка заглядывала к Мещеряковым.

Нефадей нет-нет, а замечал на себе Шурин взгляд, брошенный будто невзначай, и смутно догадывался, что это неспроста. Но когда заговаривал с ней, она отвечала холодно и неохотно. Шура вообще была тихоней, замкнутой.

И вот скромницу Шуру охмурил этот гундосый Гаврюха. - Чего ж она еще тебе говорила? - опять заговорил об Ане Митька, у которого взрыв негодования против Кротовых и Кондратюков так же мгновенно исчез, как и появился.

Нефадею сейчас не хотелось разговаривать об Ане. О ней лучше думать. Но настырный Митька так просто не уйдет, не узнавши того, что в данный момент очень его интересует. А интересоваться может самое неожиданное.

- С Мишкой вчера вечером на какую улицу ходили? - попытался деликатно уйти Нефадей от Митькиного, поставленного в лоб, вопроса.

- А-а... - скучно протянул Суров. - На Краснянке были сначала, у Таньки Собкалихи возле двора собрались. Семечки ползгали да разошлись. Басы в гармошке у Петьки Токаря запали, тягает ее, а они пицат и пицат. На Гиндовку поперлись, а там одна Дашка хромая с Галькой Сухоручихой, знаешь, такая лупоглазая, ну что весной у них клуня сгорела, и больше никого из девок. Ну и домой пошли. Хотели на Край, да Мишка говорит - спать хочу, вот и не пошли. Так каких еще брехенок слышался от нее? - опять повернул на свое.

- Но-но! Брехенек! - одернул его Нефадей. - Знаешь, сколько она всего знает! Врать ей незачем.

- Ну да, не станет, - тут же согласился Митька. - Ученая, не то что ты. Откуда ж она?

- А я почему знаю? Не спрашивал.

- О! А о чем же ты ее спрашивал?

- Отстань!

- Ладно, успокойся, эт я так. Надолго приехала?

- Да что ты меня все спрашиваешь? Не знаю! Шел бы ты, Митька...

- Пойду, пойду, только не брыкайся. Я ж по-товарищески интересуюсь. А хороша... эта Аня. Твоя... - добавил Митька многозначительно и с удовольствием зрил, как покраснел Нефадей. И еще подлил: - Небось, сердчишко затрусилось, а? - Ждал, сейчас Нефадей точно облает его, а то и замахнется. Отодвинулся подальше.

Нефадей, однако, прореагировал спокойно. Посмотрел куда-то мимо и вздохнул. Не глаз сейчас болел у Нефодьки, не глаз...

- Митька! - подал голос Нефадей.

- Ась? - встрепенулся тот.

- Верно, она хорошая? Ты ж видел ее...

- Хорошая... - без всякой подначки отвечал Митька. Кажется, не очень надо сейчас шутить с другом. В особенности, когда речь про учителю племянницу. - Только знаешь, Нефодька, не надо это самое... думать о ней, она...

- С чего ты взял, что думаю о ней? - холодно произнес Нефодей. - Совсе и не думаю.

- Обо мне, стало быть, думаешь? Выходит так? - покривил губы в усмешке Суков. - Не бывает такого, дружок, чтоб такая, как она, - и с хлопцем. Не бывает, Нефодя... Душу зря травишь.

Ох и взъерепенился Нефадей! Митька моментом отскочил от него.

- Ты что!!! - Зверские глаза у Нефадея. - Я нисколько не думаю о ней, а ты! Ну-ка, шкрябай отсюдава! Умник сопливый! Щас как дам!

Суков поспешно ретировался к дверям. Напоследок оглянулся на Нефадея и скорчил рожу, покрутив пальцем у виска.

Дальше цеплять дружка было опасно, уж сейчас он точно мог дать в рожу кому угодно, и Митьке тоже, не задумавшись. Со всем сдурел Цыган. Вот ведь как бывает, западет чего человеку в башку, совсем дураком становится, никого слушать не хочет.

Суоров ушел.

Нефадей отвернулся к стенке и ногтем колупал красный глаз у белого лебедя, нарисованного на полотняном ковре. Лебедь плыл рядом с лебедихой, а сам смотрел на Нефадея, будто тоже хотел сказать: дурак ты, Нефадей.

ГЛАВА 5

Несколько дней Нефадей не выходил.

Без всякой указки перебрал на базу подгнившую снизу дверь, переложил часть стенки из камня, которая отделяла от соседей, - выперла она в одном месте пузом и грозила завалиться, сделал крышку на копанку, вырытую в низине огорода. Вычистил в базу на штык и наносил новой земли, перемешав ее с глиной и соломой, тщательно утрамбовав. И так прикладывал руки во дворе еще до всяких мелочей, где надо было что-то подправить, подогнать, подновить.

Поужинав, спать Нефадей ложился рано, однако отец с матерью слышали, как всю ночь он ворочается...

Суоров не заглядывал, знать, обиделся на друга. Мишка Алабушев также не казал глаз.

Когда опухоль спала и остался лишь фиолетовый синяк в желтом обрамлении, Нефадей отправился к Павлу Козубу. Вернее, не к нему, а к его жене, Лизавете. Павел сейчас воевал где-то с германцами.

Пригибаясь под низкой притолокой, Нефадей вошел в хату, поздоровался:

- Здравствуйте в вашей хате!

- Здравствуй, - удивилась его приходу Лизавета, возившаяся с рогачами у печи.

Он вытащил из-за пазухи и положил на стол сверток. Уселся на лавку, пригладил волосы, потрогал под глазом.

- Что это? - спросила Лизавета. Она все силилась понять, зачем припожаловал Нефадей, и стояла сейчас у печи, отставив рогачи, поглядывая на гостя.

- Так... Десяток яиц и фунт сала.

Нефадей знал: без мужа Лизавета перебивается трудно- вато - двое детей, и, идя к ней, захватил этот сверток. Сало и яйца взял тайком от родителей. Разве объяснишь им, зачем они ему спонадобились.

Павел Козуб хоть и родился в Подгорье, всю жизнь прожил тут, пока не забрали его на войну, от подгорьевских мужиков отличался сильно. Земли держал самый минимум, остальную продал Петру Кондратюку.

Было две страсти у Павла, и им он отдавал все свое время.

Купил как-то по случаю на базаре у казака старое шомпольное ружье и так пристрастился к охоте, что стала она, считай, главным его занятием. Тогда-то и продал он добрую половину своей земли.

Днями, а то и с ночевой бродил окрест, добывая зайцев и лис зимой, дикую птицу - весной и осенью. Не однажды случилось завалить и волка. Поваживался какой-нибудь настырный серый к хозяину, таскал из хлева овец, - непременно звали Павла. И Козуб выручал. Устраивал засаду искусно, волчий нюх не улавливал человеческого запаха. Павел сокрушался, что ружье у него одноствольное и притом шомпольное - пока зарядишь, сигарку выкурить успеешь. И все собирался купить двустволку, но все как-то не получалось, да и жаль было расставаться с хоть и старой, но доброй, метко стрелявшей шомполкой.

Шкуры он выделывал сам, научился шить волчьи дохи, которые неплохо шли на продажу. Заказывали Павлу и лисьи воротники. И Павел выполнял заказ как нельзя лучше. Будто попадалась ему лиса специально именно такой расцветки, какую заказывали.

К другой страсти мужа Лизавета относилась с предубеждением. Стал он читать книжки. Пускай бы себе читал, тешился, да дело все в том, что Павел покупал понравившуюся ему книжку, сколько бы она ни стоила. Повадился частенько ездить в Калач и привозить оттуда книжки. Больше ничегошеньки его там не интересовало. И как ни старалась Лизавета отучить мужа от такого убыточного его пристрастия, ничего у нее не вышло.

Книг в доме становилось все больше, и Павел сколотил для них застекленный шкаф с полками.

Уходя на фронт, сложил их в сундук и велел жене зорко следить, - Боже упаси! - чтоб не завелись в сундуке мыши и не погрызли такое богатство. Именно так и сказал - «богатство». «Тоже нашел богатство!» - подумала тогда Лизавета, однако, чтобы не расстраивать уходящего на войну мужа, промолчала.

- Я вот зачем зашел, Лизавета, - перешел Нефадей к делу. - Може, есть какая-нибудь книжка писателя Толстого, так ты дай почитать, а?

Он пытливо смотрел на Лизавету. Была она помоложе мужа, тридцать еще не скоро, однако морщинки уже разбежались из уголков глаз и лицо слегка привяло. И все это менее чем за два года. Гораздо моложе выглядела Лизавета, когда Павел был дома...

- А гад ее знает, есть такая или нету, - ответила Лизавета, раздумывая, стоит ли разрешать Нефадею рыться в книжках.

С одной стороны, если найдет нужную, так и хорошо. Ведь за то, чтобы прочитать какую-то книжку, принес сала и яиц. Глядишь, разохотится, как ее Павел, начнет их читать все подряд и опять принесет чего-нибудь. Книжка что, ничего ей не сделается, ее не убудет, прочитает - принесет назад. Но вот, с другой стороны, случись, пропадет хоть одна, тогда не поздоровится ей от Павла. Скажет: «Просил - береги. А ты?» «А что я? - будто отвечала сейчас Лизавета Павлу на его слова, которые он скажет, когда придет с фронта. - Книжками прикажешь детей кормить?»

«Ладно, ничего с ними не станется», - решила Лизавета и открыла сундук:

- Смотри.

Книг было много, и поначалу Нефадей листал их, с интересом рассматривая картинки, но затем стал читать только названия и автора - если все их рассматривать, просидишь не один час. Да и неудобно, Лизавета скажет: расселся тут, как дома.

И вот она! Так: «Л.Н. Толстой. Казаки». Что-то не упоминала Аня про такое название.

Больше никакой другой книжки Толстого в сундуке не оказалось.

- Так я возьму вот эту? - окликнул Нефадей Лизавету.

Та обернулась, выпрямилась, одернула юбку.

- Ладно, бери. Смотри только, не потеряй! Да не искурите ее там, чего доброго, а то мне Пашка живо голову оторвет.

- Не бойсь. Я ее никому и в руки не дам. - И для больше убедительности перекрестился: - Ей-Богу!

Поинтересовался:

- Павел-то пишет?

- А как же, пишет... С неделю как письмо было.

- И чего ж у них там?

- Да чего... Воюет, пишет, помаленьку. Вши, говорит, допекают сильно. Вот и все... Чего ж ему еще писать? Воюют и воюют, какие там у них еще новости. Да и не напишешь всего, чего хочешь. Не дозволяют, проверяют, чай, письма. Вернется сам, спаси его Христос, тогда и порасскажет. Когда ж она только замирится, проклятая война эта! Не слыхать ничего про то, в Слободе мужики ничего не сказывали? Може, с Калача новости какие кто привез? А?

- Ничего такого не слышно...

- С глазом чтой-то у тебя?

- Не видишь, что ли?

- Вижу... Опять не поделили чего... И охота вам кулаками махать? Женить-то тебя скоро батька собирается?

- Ты чего, сдурела? На што оно мне, жениться?

- Да все на то ж. Для чего и все женятся. Девок щупать надоело, небось? Хочется и поболе?

- Тю! Затеяла речи! Надо оно мне очень!

- Так уж и не надо! Ох, и брешешь ты, Нефодька. У само-го, чай, сны не сны снятся, жаром ночами исходишь. Совсем мужик, а телком-сосунком прикидываешься.

- Будет тебе!

- Ладно, будет так будет, - согласилась Лизавета.

- Ну, бывай! Я пошел.

Выходя из хаты, еле успел пригнуться, чтоб не стукнуться о низкую притолоку.

Лизавета засмеялась, шутейно толкнула в спину:

- Заходи еще, коли интерес к книжкам заимелся!

И не понять, что уловил Нефадей в ее голосе. Что-то все-таки в нем было такое...

Нефадей засел за книжку, твердо решив одолеть ее до конца, и как можно скорей.

На удивление, читалось легко и быстрее, чем предполагал.

Забегали несколько раз Суров с Алабушевым, звали вечером на улицу, но Нефадей отказывался, на игрища друзья уходили без него.

Отец хмыкал, видя, как жжет Нефадей вечерами керосин, сидя над книжкой, однако не укорял. Пусть читает... К книжкам Трофим относился с уважением.

Груня, та уже заневестилась, нарядившись, по вечерам сидела с подружками у ворот и лузгала семечки.

Стихийно улица стала собираться и у двора Мещеряковых. Петька Токарь тоже иногда приходил со своей хромкой, басы он подправил, и они уже не западали. Суров Митька никуда не ходит, сидит здесь, частушки слушает. Все из-за Груньки. Расцвела, совсем ладной девкой стала. Многие уже пялят на нее глаза.

Бесконечная кадриль за воротами, хихочки да взвизгивания вперемежку с частушками раздражали Нефадея. Но такой уж закон в Подгорье - у кого возле двора собиралась улица, тот не смел отваживать ее и возмущаться. Каждый, считай, двор, у кого невестилась в доме девка, должен был пережить шумливую улицу. Выходила девка замуж, и перемещалась улица к следующим дворам, где подрастали новые невесты.

Нефадей зажимал уши ладонями и переносился на Кавказ, в казачью станицу. И будто видел Нефадей воочию и Марьяну, и Лукашку, и дядю Ерошку. Сочувствовал Оленину, которого в станице все, кроме дяди Ерошки, как-то чуждались, - барин. Не понимал, зачем Марьяна с ним будто играет. Дура тоже, чего ей еще б надо!

Лукашку Нефадей невзлюбил. Оленин подарил ему коня, а он, видите ли, после этого еще и неприязнь к нему затаил. А за что? Оно-то вроде и понятно: Оленин вокруг Марьяны начал кружиться да про любовь ей толковать, тут Лукашку и за-

ело. Случись Нефадею оказаться на Лукашкином месте, как бы он стал? Да... В общем-то непросто винить Лукашку, но все ж он какой-то... Чеченца убил и радуется - крест, может, дадут, деньги заплатят родные чеченца - за его тело. Жалко, ни за что ни про что человека убил... Но и то верно, как казаки говорили, попадись Лукашка тому же чеченцу, тот бы тоже не задумался, продырявил Лукашкину башку враз.

Только не очень понятно, чего ради понесло Оленина на Кавказ, в эту станицу? Жил припеваючи, а все чем-то недоумен. И чего ему надо?.. В Марьяну влопался по уши, будто красивших не знал. Те, видите ли, ему не такие были, хоть и ровня, и богатые. Барин, одним словом...

Вот ведь как люди устроены: не знал эту Марьянку, ничего, жил, а увидел - и покою лишился. Казачка простая, а вот влюбился.

Из-за чего, интересно, человек любит другого человека? Взять и словами объяснить - чтоб просто и понятно. Можно ли? Только есть ли они, такие слова, простые и доступные? Нефадею кажется, что не знает он таких слов. Любит человек и любит. И не спрашивай его о том - за что. Не объяснишь тут никак. Может, и не придумали еще люди таких-то слов? А может, они и вовсе не нужны, слова такие? Чувствует в себе человек, вот и все тебе слова.

Наталья не вытерпела:

- Чего читаешь, хочь бы порассказал нам, сынок? А то б вслух почитал, послушали бы?

Матери отказать Нефадей не мог. Вкратце рассказал о прочитанных страницах. Отец тоже прислушался. Далее Нефадей стал читать вслух.

Все, что происходило в книжке, мать принимала близко к сердцу.

- Та Божичко! Взят и стрелил человека, ровно зверя какого! - жалела она убитого чеченца.

Отец рассудительно говорил ей:

- То ж выдумка все. Писателя все выдумывают. Из головы берут.

- Ну да! - не соглашалась мать. - Попробуй такое придумай. Кто брешет, сразу видно, а тут жизнь прописана, как есть. - Рас-

суждала: - Може, и сейчас живы та Марьяна да Лукашка, идол, ему б только стрелить. Дядька Ерошка умер, конешно, старый уже тогда был. А Оленин не иначе в генералах сейчас ходит. Старый такой, вся грудь в крестах, и лысый, наверно. Ты читай, сынок, читай дальше. Чи выйдет она за Лукашку потом?

Последние страницы отдавали тоской. Уезжал Оленин из станицы с какой-то виной, неведомой виной, внутренней, хоть вроде и не провинился ни перед кем, никому плохого не сделал. Уезжал, а казакам было безразлично. Может, всплакнула только Марьяна потихонечку, таясь ото всех, или порывался Лукашка - теперь некому морочить голову его невесте. Кто знает, про то не написано в книжке...

Под впечатлением «Казаков» в доме были, особенно Наталья, еще несколько дней. Она вздыхала и все переспрашивала Нефадея, не написано ли еще книжки, где говорилось бы о дальнейшей жизни и казаков, и того же Оленина, несчастного барина, которого Наталья жалела очень.

Нефадей пожимал плечами, этого он не знал.

Он пока так и не решился пойти к учителю, чтобы повидаться с его племянницей. В нем словно что-то стонулось с места, и это «что-то» не давало покоя. Даже когда спал, был напряжен, беспокоен. Все это вместе взятое являло одно - ожидание встречи. С Аней. И страх перед встречей. Непонятный страх. Не похожий на тот, когда действительно чего-либо пугаешься.

Выходил за ворота - теперь почти каждый вечер возле Мещеряковых собиралась улица, - но, посидев там немного, шел в хату. Ему было скучно.

В первый вечер, когда он вышел, Митька с Мишкой попробовали подтрунить над ним.

- А что, хоть на толички прибавилось в голове после книжки? Вон она, голова-то у тебя, - вспухла! Гляди, а то лопнет как переспелый арбуз, и будешь тогда ходить с треснутой башкой. Не шутейное это дело, ума много набираться. Как бы конфуз не вышел!

Нефадей не злился, отвечал шуткой:

- А у нас дома кадушка на пятнадцать ведер есть. В голове что не поместится, туда буду складывать. - Потом уже серьез-

но: - Дуралеи, от книг все на свете идет! Не было б их, может, и мы бы уже давно на свете перевелись.

- До чего ж умный ты стал, Нефодька! Прямо страшась нас. Хочь бери, да самим читай, чтоб в живых остаться.

- Поскальтесь, поскальтесь... - усмехался Нефадей.

- Да! Но... Куда уж нам! - ехидничали Суров с Алабушевым. - Мы и без книжек обойдемся... Тебе вот никак нельзя! - и многозначительно переглядывались.

Нефадей смотрел на них без улыбки. Поднимался и уходил.

- Бать, вы бы мне купили сапоги, что ли... Заодно и штаны, - попросил как-то Нефадей отца. - А то и ходить стыдно.

Штаны у Нефадея имелись, правда, из холстины и выкрашены неровно. Однако до сей поры ходил в них вполне довольный. А тут подавай ему враз и штаны, и сапоги.

- Обойдешься чуток, - ответил Трофим сыну. - К осени поближе справим. Щас не к спеху тебе.

Но Наталья, слышавшая разговор, убедила Трофима, чтобы просьбу сына выполнил сейчас, а не тянул до осени.

Ночью, лежа рядом с мужем, тихонько увещевала:

- И то, правду говорит Нефодя. Доколь же ему в холстине да босиком шастать. Эт для нас с тобой он ищю дите, а для других вполне жених уже.

- Куды там, жених! - усмехнулся Трофим.

- Вот тебе и куды! - возражала Наталья. - Тебя в сколько-то годы батька оженил?

- Ну ты скажешь... То ж не я сам, меня женили - не спросили. Его ж в шею никто не гонит.

- Верно, в шею не надобно гнать. Само подоспеет...

Трофим, лежавший на спине, повернулся к жене:

- Что-то непохоже, чтоб с кем-то голубился. Книжку за-теялся читать...

Не все досказал Трофим. Про учительву племянницу умолчал - скажет ли что Наталья?

- Ничего-то ты не видишь! - возбужденно зашептала она. - Точно сказано, все вы мужики незрячие. По нему Шура Корнеева вздыхала, а он и не замечал. Стало быть, не нравилась ему. А сейчас, сдается мне, Николая Ивановича племянница

у него на уме. Думаешь, отчего он книжку стал читать? Только не понимает, глупенький, не ровня она ему. Скажешь, да разве поймет... Скорей бы уехала... Может, и успокоился бы.

- Вот оно что... - пробурчал Трофим таким тоном, будто все, что сказала ему сейчас жена, было и действительно для него новостью первоуслышанной.

Оба помолчали.

Потом Трофим спросил:

- Слышь-ка, Наталья, сказывают Шурка понесла от Гаврюхи?

- Да всяко болтают...

- Поди, Петр и не знает еще про дочку.

- Узнает...

- Н-да... Не везет так не везет Корнееву.

- Да, да... Так ты уважь Нефадею, купи, раз просит...

- Ладно, - согласился Трофим.

ГЛАВА 6

Аня поселилась в комнате Аркадия, в ней он жил, когда приезжал в Подгорье к отцу - сначала из Калача, где учился в гимназии, и позже - из Москвы, будучи юнкером Алексеевского военного училища.

Все в ней оставалось так, как было при Аркадии. Стояла узкая железная кровать с жестким матрацем, набитым конским волосом, и такой же жесткой подушкой, которую Николай Иванович хотел заменить на мягкую пуховую - Аня пожелала оставить старую. Над кроватью висела карта земных полушарий. Когда лежишь на спине, Антарктида приходится чуть выше подбородка. От ее белого, неживого цвета будто веет вечным холодом.

Аня подолгу смотрела на огромный материк, обрамленный на карте тонкой, словно подчеркивающей ужасный там холод, синей линией, и думала: почему влечет людей в это громадное холодное пространство, угрюмое и безмолвное, отчего так стремятся люди ступить на некую магическую точку - полюс? Что движет ими? Смогла бы и она так - отправиться в неизвестность, в белый мрак, где шансов выжить и достичь

желанной цели гораздо меньше, чем погибнуть? Каков он, этот счастливый миг великой радости - осуществление мечты всей жизни?.. Испытает ли она, Аня, когда-нибудь такой миг, будет ли он в ее жизни?..

Возле окна - придвинутый вплотную к стене стол с грудой лежащих в беспорядке книг, журналов, тетрадей и отдельных листов бумаги. В отличие от стола, полки книжного шкафа, стоящего рядом, уставлены аккуратными рядами книг, подобранными по одинаковому формату на каждой полке. Шкаф, как и стол, был сколочен грубовато, но грубоватость скрадывалась вставленными в створки шкафа стеклами.

Кроме карты, на стене висел портрет Симона Боливара - выдающегося полководца Латинской Америки.

Вот и все убранство комнаты.

Николай Иванович поддерживал в ней идеальную чистоту - нигде ни пылинки.

Аня присела на кровать, скрестила руки на груди и задумалась.

В Подгорье она уже вторую неделю. Как непредсказуемо порой складываются обстоятельства... Кто мог предположить, что окажется она здесь, в этом селе, о котором всего и знала, что там живет ее дядя, видела которого лишь однажды. Он приехал в Тулу вместе с женой и почти уже взрослым Аркадием, пробыв в гостях очень мало, меньше недели.

За те немногие дни Аня подружилась с Аркадием. Он, несмотря на значительную разницу в возрасте, вел себя с ней без снисходительности старшего, и она потянулась к нему. Почувствовала в нем друга, близкого, понимающего ее.

Когда они уезжали, тайком всплакнула, очень жаль было расставаться с Аркадием.

Много позже, повзрослев, Аня поняла, что послужило причиной поспешного отъезда Николая Ивановича и его семьи. Все из-за ее отца. Но тогда она не понимала этого и была очень обижена на Николая Ивановича, увозившего с собой Аркадия.

Анин отец, Борис Иванович, нотариус, почитывающий Прудона после вечерней рюмки ликера, чувствовавший в своей душе бунтарское начало, для которого, по его мнению, еще

не настал тот знаменательный час, когда проявится оно во всей своей практической действенности, считал своего брата Николая Ивановича мармеладным интеллигентом, страшась почувствовать вкус горчинки общественных противоречий и потому удалившимся в глушь, дабы улиточная скорлупа его души, Боже упаси, не треснула, - подобно смерти! - задетая все более и более бродившими дрожжами конфликтного времени.

Нет, как брата он его воспринимал, родственные узы для обоих были частью их крови, однако как человека, интеллигента, старающегося отмежеваться от нынешнего, напряженного в грозном предчувствии времени, уважать не мог, и этого не скрывал.

Аня окончила гимназию, но радости не испытывала, скорее наоборот.

Было беспричинно противно, все вокруг казалось мелочным, лживым, она с ужасом думала, что живет беспринципно, подчиняясь какой-то тягучей силе, которая обволакивала ее мутной оболочкой. Хотелось встряхнуться, сбросить с себя одежды, нагишом выбежать на дождик, чистый, с бьющими струями и свежими раскатами грома, пахнущего острым запахом электрических искр, похожих на те, которые получались на уроках физики в гимназии.

Она была недовольна собой во всем - упрекала себя в лени, в бездействии, в хаотичности никуда определенно не направленных мыслей. Она ведь чего-то стоила, она должна что-то делать в жизни, быть нужной людям, чувствовать в себе личность и знать, на что способна.

Кому она могла рассказать о своем состоянии, которое было смутным для нее самое? Отцу? Матери?

В доме царил дух отчужденности.

Аня для отца все еще была глупенькой девочкой, миленькой, аккуратненькой, по-своему он любил ее и мимоходом поглаживал по головке, как забавную куколку. И невероятно удивился, когда она со взрослыми интонациями объявила, что собирается поступить на краткосрочные курсы сестер милосердия, чтобы затем отправиться в действующую армию или, в том случае, если не повезет, ухаживать за ранеными в госпитале.

Борис Иванович поначалу даже не возмутился, похаживал по комнате, заложив руки за спину, и все повторял: «Так-так!» - поглядывая на дочь, стоявшую с горевшим лицом, на котором читалась непоколебимая решительность. Потом он остановился напротив и, наклонившись к ней, все так же держа руки за спиной, тихо и мягко сказал:

- Ты дура, - выпрямился и внимательно рассматривал лицо дочери, будто не видел его давно и сейчас изучал, что в нем появилось новое. Затем снова заходил по комнате, нервно жестикулируя руками, срываясь на повышенные тона: - Черт поberi! Кто тебя надоумил? Понимаешь ли ты, какую чепуху производишь?

- Никто меня не надоумил. Я сама, - отвечала Аня тихо.

- Сама! Ах-ах, вы посмотрите только - сама! Какой патриотизм... Глупая девочка! Война не для тебя, ты еще ребенок и не представляешь, какими помоями тебя окатят, едва ты сунешь нос в это грязное месиво человеческих страданий. Ты задохнешься, ты утонешь, захлебнешься в дерьме! Да-да, в дерьме! Я не преувеличиваю, говоря так.

Борис Иванович давно сделал выбор для дочери - юридические курсы в столице. Он восхищался знаменитым адвокатом Плевако и очень сожалел, что в свое время не стал адвокатом сам. Женщин сейчас принимали на юридические курсы - времена меняются, - и видеть для него свою дочь китом юриспруденции - не иначе! - мечта, осуществление которой было бы для Бориса Ивановича почти тем же, как если бы он сам вдруг стал величиной, сопоставимой со знаменитым Плевако. Слава дочери - его слава. Сначала курсы, далее - университетское образование, так он решил, этого хотел. И вдруг сюрприз - сестра милосердия! Бред гимназистки, начитавшейся романтических высокопарных лозунгов, которыми сейчас так обильно потчуют всю Россию. Ни в коем случае!

- По-твоему, другие могут, я же не смогу, не выдержу? - возразила Аня.

- Да дело даже не в том, что не выдержишь! Выдержишь, пусть так. Но ты пропитаешься вонью. Твоя душа будет развращена, и ты никогда не отмоешься. Кругом грязь, блуд, воровство, кругом все гниет! Ты должна обойти все это, не сопри-

касаться ни в коем случае! Война окончится, будут перемены, большие перемены, общество обновится, новые принципы будут определять жизнь страны. И тогда ты войдешь в это общество, его принципы станут твоими принципами!

Борис Иванович, говоря так, играл на высоких душевных порывах дочери и своими словами не противоречил им, разъясняя лишь правильный выбор точки и времени их приложения. Ограничиться одним: «Я тебе запрещаю!» - он не мог себе позволить, дочь должна согласиться с ним, уверовать в полную правоту отца. По прошествии времени Аня скажет ему спасибо, и он будет горд, что сумел направить устремления своей дочери на истинный путь. Пришла в голову очень подходящая фраза: «Подлинный патриотизм - не поддаться всеобщему сумасшествию, сохранить выдержку и отдать себя истории в ее высший момент великих свершений!»

Борис Иванович смотрел на дочь, пытаясь понять, какое впечатление произвела последняя его фраза. Кажется, она не восприняла ее с должной глубиной понимания. Ребенок! Со-всем еще ребенок.

Аня слушала отца и терзалась вопросами. Да, она не знает, что ее влечет, смутно представляет свое будущее, но и так - сидеть сложа руки, - допустимо ли? Ждать конца лета и ехать потом на юридические курсы, которые predeterminedил ей отец? Она не хочет этих курсов. Жить, дышать, есть - и быть в стороне от жизни. Она где-то рядом, будто соседняя улица, куда Аня не вышла, а смотрит на нее издали. Гадко, противно.

Недавно, без всякой цели, Аня пришла к вокзалу.

На привокзальной площади, прислонившись спиной к стене, вытянув прямо в пыль култышки отрезанных до колен ног, сидел солдат.

Засаленная шинель без пуговиц, с прожженными дырами, надета на голое тело. Фуражка с оторванным козырьком лежала у ног солдата. Изредка прохожие бросали в нее монету и солдат что-то бормотал и крестился. Заросшее щетиной лицо было серым, будто припорошенным пылью.

Аня, остановившись в сторонке, с мучительным состраданием смотрела на солдата. Потом подошла ближе и бросила в фуражку все деньги, какие при ней имелись.

Солдат вскинул глаза, взгляды их встретились. Аня в испуге отшатнулась. В глазах солдата, почерканных красными жилками, была ненависть, угрюмая звериная ненависть.

Аня не помнила, как добежала до дома. В розовом платье, в белой шляпке чувствовала себя точно голой, ее трясло.

- Почему ты молчишь? - раздраженный тем, что его слова плохо доходят до дочери, спросил Борис Иванович. - Отвечай! Наконец ты поняла всю нелепость своего необдуманного желания? Я хочу тебе добра, Аня. Через год-два ты будешь благодарить своего отца, что он удержал тебя от ужасной ошибки. Через год-два перед тобой откроются...

- Я не хочу ехать ни на какие юридические курсы, - перебила она.

Он схватился обеими руками за голову и замотал ею, словно она раскалывалась от невыносимой боли.

- Дура!.. - застонал он. - Дура!.. Какая же ты дура!.. - затряс руками перед Аниным лицом и закричал, брызгая слюной: - Я тебя заставлю! Ты должна слушать отца! Я заставлю!

- Не поеду, - отрезала Аня, побледнев.

Борис Иванович не узнавал дочь. Такая строптивость в сопливой девчонке!

- Нет, ты поедешь, - понизив голос до шепота, захлебнулся от бешенства отец.

- Не поеду, - опять повторила Аня и отвернулась от отца, лицо которого нехорошо исказилось в гневе.

- Поедешь... - прошипел он.

- Ни за что!

Оба были возбуждены, оба - коса на камень.

- Идиотка! - других слов у него уже не находилось.

- Хорошо! Я поеду. Но только не туда. Я совсем уеду из дома!

- Анна, не дури! - Борис Иванович понял: - дочь не шутит. - Куда это, интересно знать, ты поедешь?

- К Николаю Ивановичу, твоему брату! - Такой ответ пришел Ане в последнюю секунду.

- Вот как? - мгновенно остыл Борис Иванович. Он быстро сообразил: что ж, возможно, это не так уж и плохо. Побудет там недельки две, одумается, глядишь, пора будет и в

столицу. Дурь у дочери уляжется, и все будет в порядке. Но сдаваться сегодня он не хотел. Сказал: - Поговорим завтра. Я устал. Ты меня очень расстроила.

Ушел к себе в кабинет. Там, наедине с собой, Борис Иванович отдавался сокровенным мыслям.

Матери было безразлично, как поступит дочь, - она занята своим ротмистром, который попивал «Смирновскую» в доме Астаповых, уже не стесняясь мужа Клавдии Петровны. Наглость ротмистра компенсировалась едкими выпадами Бориса Ивановича в адрес самодержца. Жандарм смеивался, и иногда они с Астаповым почти дружески потягивали ликерчик, лениво перебраниваясь. На Бориса Ивановича, бывало, находило - лень. Лаврентий Павлович все пытался приобщить своего собрата к смирновской, и безуспешно. Борис Иванович в кои-то годы обнаружил вдруг: глоток смирновской вперемежку с глотками ликера благотворно действует на нервную систему - успокаивает. И если в меру, даже голова не побаливает после.

...Аню отпустили к Николаю Ивановичу в Подгорье с условием - через две недели она вернется, обдумав там, в сельской тиши, свои, необдуманные сейчас, устремления.

Где-то шла война, люди калечили, убивали друг друга; где-то в Туле был дом, куда Аню не тянуло, там - каждый занят собой - сосуществовали родители; в Туле у вокзала сидел безногий солдат, который ненавидел Аню - почему? Земля неспешно вращалась, неся на своем теле моря, страны, миллиарды суетливых людей, любивших, ненавидевших, умиравших, рождавшихся. И маленькой точкой на Земном шаре было Подгорье с тихой речкой. И Аня - микроскопическая пылинка этой точки. Огромный мир и маленькая пылинка - живая, думающая, мучающаяся бесконечными вопросами. Как морские волны, они накатывались на Аню, омывали сознание, не давая ему дремотного спокойствия.

Никого в Подгорье она не знала, и от этого Аня не страдала, сейчас ей люди были не нужны, она хотела быть только с собой - о многом надо было спросить себя, на многое ответить

себе. Ей достаточно общения с дядей, который не докучал разговорами, им обоим хорошо от одного только присутствия друг возле друга.

Милый дядя, милый Николай Иванович! Он так не похож на отца. Она шептала слова извинения - когда-то, маленькой девочкой, Аня обиделась на Николая Ивановича, что он так скоро увез из Тулы Аркадия. И сейчас корила себя за ту детскую обиду. Никого ей сейчас не надо, кроме дяди, ни о ком она не думает и не хочет, разве что... Нет, иногда она думает... Об этом смуглом скуластом Нефадее, похожем на цыгана. Пригласила его прийти, он же что-то и не кажет глаз. Видимо, позабыл об Анне, занят другими заботами. А их у него, конечно же, немало. Об этом говорили его руки - сильные, с несходящими мозолями. Как он сейчас, прошло ли его лицо?.. А она с ним, дурочка, завела разговор о Толстом... Больно нужно ему.

Как она испугалась за Нефадея, когда увидела лицо этого Гаврюхи, искаженное довольной, злорадной ухмылкой победителя, готового до конца расправиться с поверженным, лежащим у ног противником. Страх пронзил ее тогда: еще секунда, и носок сапога в блестящей галоше ударит в окровавленное лицо парня, лежащего на земле. И этот страх заставил ее вцепиться в Гаврюху.

Дикость... Какая дикость - бить человека!

Нефадей... Смешной молодой человек. О рубашке, измазанной кровью, переживал больше, чем о разбитом лице. «Рубашку жалко...» Хм... Вот она думает о нем, а он, интересно, вспомнил хоть раз о ней? Но почему он должен вспомнить?..

Порой все так неожиданно...

Может, ей все же хотелось опять увидеть Нефадея? Может, может быть...

Аня потрогала Антарктиду, провела по ней несколько раз пальцем, погладила ладонью. Земля Королевы Мод... Странное какое название. Кто так назвал эту землю? И о ком он думал, тот человек, когда называл ее таким необычным именем?

Симон Боливар смотрел умными, немного печальными глазами. Какие-то полководческие думы терзали его, и он, поглощенный ими, морщил лоб, а в то же время видел и Аню,

девушку из двадцатого века: русоволосую, так непохожую на девушек Латинской Америки.

- Аннушка, о чем ты там скучаешь?

- Я вовсе не скучаю, дядя, я читаю.

Аня взяла с полки первую попавшуюся книгу и раскрыла, не глядя на страницу, а смотря в одну точку, невесомо застывшую в особом Анином пространстве.

ГЛАВА 7

Дом Кротовых стоит на высоком фундаменте и своими большими окнами с черными ставнями свысока поглядывает на соседей - хаты, жмущиеся оконцами поближе к земле. На нем надета шапка, скроенная из кровельного железа, украшенная по углам и на дымовой трубе жестяными петухами, выкрашенными в оранжевый цвет, которые, кажется, вот сейчас всхлопнут крыльями и закукарекают на все село.

Сама крыша - зеленая, даже не зеленая, а жгуче-зеленая. Такого цвета - спины упитанных речных лягушек среди лета. Стены побелены сильно подсиненным мелом - васильковые стены.

Если взглянуть на дом с небольшого расстояния, чтобы он вмещался в поле зрения весь, - от земли до крыши, - ощутишь в глазах рябь, настолько контрастны его цвета.

Ни у кого в Подгорье нет дома такой яркой расцветки.

Из самого Воронежа выписывал Поликарп Тимофеевич краски, и денег на то не жалел. Зайди внутрь дома, опять зрябит в глазах. И стены, и двери, и потолок - тоже яркие краски. К ним Кротов питал слабость. Красить любил сам.

- Удовольствие имею от такого дела, - говорил он. - И душа радуется, аж петь охота!

Кривились мужики, больно уж приторным елеем веяло от таких Поликарповых слов. Все привыкли видеть его вечно недовольным, все ему не так, лишнюю копейку работнику никогда не заплатит. А тут, ишь ты, умиляется. На краску денег ему не жалко.

Крепкий хозяин Поликарп Кротов, и походка у него крепкая, тяжеловесная, под стать его положению. В доме его слово

- закон. И жена Меланья, и сын Гаврюха, и дочка Настя, и старая Акулина - мать Поликарпа, не смеют перечить. Давно уж главенствует он в доме, с тех пор как отправился в мир иной его отец, умерший в одночасье, среди бела дня - резал за обедом арбуз и, ахнув, упал, похрипел полчаса и был готов.

Сильно плакал Поликарп на похоронах. Как же, отец родной, не дядьку чужого хоронили. Для людей плакал-убивался сын, для него же самого слезы были легкие, не давили печалью великой, несли облегчение, будоражилась тайная от людей радость - теперь он хозяин! Он!

Крут был отец, натерпелся Поликарп от него вволю, и сам унаследовал ту крутость. Но с сыном и дочкой все ж был помягче, нежели в свое время с ним отец.

Старая Акулина не в счет в этой жизни. Она свое отжила. Ей водочки в праздник поднеси - в том ее и вся радость сейчас. Сидит себе, бурчит что-то по нос в углу, за печкой, а отведаёт рюмочку - спит день-деньской.

Меланья, та больше молчит. Да и какие ей разговоры вести, чувствует свою вину: всю жизнь, считай, хвораю. Кой-как хоть Гаврюху с Настькой родила - и на том спасибо. Все травы да коренья какие-то пьет, а толку никакого. Не хуже, не лучше ей от них, в одной поре держится, только лицом с годами стареет, а так - как высохла лет пятнадцать назад, такой сушеной воблиной и до сей поры осталась.

Что в ней болит, сама толком не знает. Привозил Поликарп когда-то докторов, и не однажды, все ж хотелось иметь жену здоровую, в теле, чтоб спать с ней, как говорится, не спалось, а больше любилось. Только все равно не раздумянилась Меланья от докторских пилюль, не налилась телом, ходила по дому тенью, бесшумно, все больше раздражая Поликарпа дощатой своей статью, горбыль - круглое дерево против женушки.

Потихоньку перестал с ней спать, она молчала, и Поликарп решил: пускай молчком-сопком так и живет себе Меланья, и он ее не будет трогать, и она чтоб не противничала насчет бабьих потребностей, которые к тому же, судя по всему, стали для нее воспоминаниями. Так обоим лучше.

С годами Меланья точно и говорить разучилась. Все больше - взглядом. Иной раз посмотрит Поликарп на жену, и вро-

де жалко станет ее, - лицом Меланья до сих пор неплоха, Гаврюшка в нее пошел. Но потом скоро и озлится: не баба, а так, доска сохлая, обструганная. Чего жалеть, живет и пускай себе живет!

Силенок у Поликарпа Тимофеевича еще дай Бог, кровь играла, и монахом он, разумеется, не жил. Нанимал батрачек, понятно, и не только для работы. Поартачившись, те смирялись. Поликарп Тимофеевич особыми обхаживаниями приглянувшейся бабенки себя не утруждал, брал нахрапом, больше надеясь на свою силу. А бабе - куда денешься, не будешь же кричать на все село, в первую очередь ославляя себя: как всегда, в таких случаях винят больше женщину. Обходилось тихо, и на том слава Богу. Узнает муж - прибьет, не будет разбираться, чья тут первая вина. А идти против Кротова - что воду против ветра лить.

Вроде и все знали в Подгорье про кобелиную Поликарпову прыть, однако помалкивали, вслух о том не распространялись: не пойман - не вор. Ни одна еще жена не призналась мужу в непреднамеренном грехе.

Меланья, бедная, все видела, про все знала. Вроде и была безучастной к мужнину распутству, однако нет-нет, да и замечал он лихорадочный блеск в ее глазах. И от греха подальше отправлял тогда очередную батрачку под благовидным предлогом со двора, нанимал другую. Долго у Кротова они не задерживались - до первого Меланьиного блеска в глазах. «Чем черт не шутит, мало ли что у бабы на уме», - рассуждал Поликарп, подобру-поздорову рассчитываясь с очередной усладой.

Несмотря на свою прижимистость, здесь он платил прямо-таки по-божески. Каждый выполнял свое дело, рассуждал Кротов, за каждое дело платят, чего еще? Никаких обид не должно быть. Но про то мало кто знает, крепко держат бабенки язык за зубами - во сколько Кротов оценил их работу.

Попробовала было устыдить сына старая Акулина, да он живо отбил у нее охоту касаться его дел:

- Цыть, старая! Расшебуршилась! Надоело за печкой в тепле сидеть, може, в хлеву сподручней будет?

Прикусила язык в момент.

Один, нынче уже покойник, Аким Котляров, залив глаза, орал с бесшабашной смелостью:

- Кнур! Жеребец, тудыть его в узду! Он всех ваших баб перепробовал! А вы, в душу вашу мать: «Поликарп Тимофеевич! Поликарп Тимофеевич!» Эх, вы... Индюки голландские! Харю ему боитесь почистить, молитесь на него. Его б, кнура, похолостить, да то хозяйство собакам кинуть! Нехай бы жрали да Поликарпа хвалили - до чего ж оно у него большое! Как у бугая! Чего смотрите? Тьфу! Козлы рогатые!..

Мужики стыдливо отводили глаза. Делали вид, чего, мол, с Акима, дурака, взять. Нажрался, вот и несет чушь несусветную. В душе ж понимали: прав Аким, и еще как прав...

А тот, протрезвев, готов был пасть Кротову в ноги: прости, спьяну наболтал. Великодушный Поликарп Тимофеевич зла не держал, - пустые слова, чего спьяну не наболтает человек! - не гнал Акима, давал работу.

Заикнулся однажды, что хотел бы взять Наталью, пустяшное дело - по дому присмотреть, прибраться, Меланье помочь у печки.

- Не, Поликарп Тимофеевич, ты мне такую басню не сказывай. Можешь выгнать меня, но Наташка моя не пойдет к тебе, - твердо сказал Аким.

А хороша была у Акима Наталья!.. Подумывал Поликарп: подошла б ко двору, ой как подошла бы... Аким же уперся как бык. Ничего, подойдет время, голод не тетка, придет наниматься и Наталья. Или попросит чего... Выручит Поликарп, не откажет, как не выручить живого человека, особенно такого, как Наталья. Ждал.

Аким утонул, а Наталью забрал Трофим Мещеряков.

Все. Матюкнулся Поликарп да и приказал себе выкинуть ее из головы.

С недавних пор появилась на кротовском подворье Шура Корнеева.

Пришел ее отец, Корнеев Петр, помялся, попереминался с ноги на ногу, говорит:

- Слыхал, Поликарп Тимофеевич, вроде нужна тебе по дому девка работающая?

- Нужна, - сказал Кротов. - Меланья моя совсем хвора, а Настька еще сопливая, надо сварить, постирать, ну и еще чего по мелочи. По дому работа, не со скотиной управляться. - Пытливо посмотрел на Корнеева: - Что, жинку свою никак надумал определить ко мне в работницы?

- Да не, - замотал головой Корнеев. - Куда ей! Дома колготы хватает. Девки-то мал-мала меньше, будь они неладны... Да и опять надумала того... Може, дай Бог, на энтот раз парнишечка случится. - Вздохнул жалобно: - Все девок да девок несет, куды их, прямо напасть какая... Ты ж знаешь...

- Знаю, знаю, - посочувствовал Кротов.

- Старшенькую мою взял бы, а? Все полегше б мне было, - вымолвил с надеждой Корнеев. Вскинул просяще глаза: - Она девка у меня работающая, Шурка-то. И послушная. Кого хошь спроси, Поликарп Тимофеевич, все тебе скажут. Да и сам-то ты не слепой, не в лесу, на виду у всех девка растет. Взял бы, а?..

- Так, так... - произнес в раздумье Поликарп. - Значит, говоришь, работающая?

- Точно, работающая! - усердно закивал Корнеев. - Упреку по ней от тебя никакого не будет.

- Больно молода она у тебя еще, - не говоря ни «да», ни «нет», сказал Кротов. - А мне нужна такая, чтоб толк в хозяйстве понимала, знала, что к чему. И сполняла чтоб все, как скажу. На молодую девку надежда знаешь какая...

Конечно же, знал Поликарп Тимофеевич дочку Корнеева. Правду говорит Петр, Шура и точно работающая, послушная.

- Ладно, - наконец согласился Кротов. - Так уж и быть, уважаю тебя, Петр Терентьич, присылай.

- Когда? - обрадованно заулыбался тот.

- Да хочь завтра и присылай. Чего ж ждать, коли договорились, - сказал Кротов и хотел идти, считая разговор законченным.

- Поликарп Тимофеевич... - голос у Корнеева какой-то нутряной, придавленный.

- Чего еще? - недовольно обернулся Кротов.

- Ты... это самое... Она, понимаешь... Ей и замуж еще выходить... Девка она еще, как есть, и...

- О чем это ты? - нахмурился Поликарп. - Что-то не пойму я тебя, Петро. Загадки разгадывать я не мастак. Понял?

- Да нет, я ничего... Просто я... - смущенно промямлил Корнеев, отворачивая глаза в сторону. - Ну, прощевай. Спасибо тебе, Поликарп Тимофеевич, уважил.

- Прощевай, - сухо бросил Кротов и ушел, уже не обернувшись.

На другой день Шура работала у Кротовых.

А через время по селу пополз слухок: побаловался с Шуркой Гаврюха и кончилось то баловство ясно чем - понесла.

Поликарп Тимофеевич призвал сына, спросил в упор:

- Стало быть, правда?

Гаврюха насторожился, сразу смекнул, о чем спрашивает отец, однако пока изобразил непонимающие глаза:

- Что правда, батя?

- Но-но! Ты мне брось дуриком прикидываться! Спрашиваю - отвечай!

- Правда, батя...

Вилять было бесполезно. Гаврюха стоял перед отцом, опустил глаза, внутренне сжавшись, приготовился к самому худшему. Строг отец, тяжела его рука. Возьмет ежели в руки вожжи, отходит, будь здоров, надолго запомнится.

- Правда! - повторил вслед за сыном отец. В его словах Гаврюха не уловил строгости, за которой бы крылась угроза неизбежного наказания. - Правда... - опять повторил Поликарп Тимофеевич и взял сына за подбородок: - Ладно! - больно сжал подбородок и оттолкнул. - Коли так, женись на Шурке. Вот такое мое будет слово. Срамиться Кротовым на все село - негоже! С Нефодькой Мещеряковым из-за чего подрались?

- Та!..

- Ну?..

- За Шурку заступаться начал...

- Ага!.. Дурка ты! А с Нефодькой помирись, понял? Повинись, ежели того требуется! И чтоб мне с ним ни-ни больше. Лучше подружись с ним, а гонор свой под хвост спрячь. Покамест... Все понял?

- Понял, батя.

Все что угодно ожидал Гаврюха, но того, что сказал отец сейчас... Однако теперь остается только одно - подчиниться его воле.

Подивились такому раскладу в Подгорье. Посудачили люди промеж собой, всяк по-своему. Раз не стали ждать до осени, затеялись играть свадьбу летом, стало быть, верно - некуда деваться, точно Шурка «чижолая». Но вот почему Поликарп Тимофеевич женит своего Гаврюху на Шуре с радостью даже, без малейшего недовольства - загадка для всех. Считай, брали дивчину без приданого, откуда ему взяться, у Корнеева-то и перины доброй в доме не имелось.

А уж Корнеев радовался! И радости своей не скрывал, даже фигурой распрямился, сутулые плечи выровнялись, грудь - хоть в гренадеры записывай. Судьба, кажись, наконец смилостивилась на ним. Еще бы! Породниться с самим Кротовым!

ГЛАВА 8

На завалинке, обелив об стенку кожух, который не снимал и летом, сидел дед Халимей и щурился, греясь на полуденном солнце. Завидев Нефадея, протер слезившиеся глаза и окликнул:

- Эй! Рекрут! Подь ко мне.

Нефадей подошел.

- Какой я рекрут, дедушка? В армию меня еще не забирают.

- Не забирают, так все одно заберут, - сказал дед. - Все вы рекрута, все государеву службу откушаете. Не слышать ли, не свернули шею германцу?

- Воюют...

- Во! А ты говоришь, не рекрут! Не хватит царю солда тушек, и вас, зеленых, почнут на подмогу брать. Война, она дюже много кровушки требует, на всех проливать ее хватит.

Дед оглядел Нефадея, почмокал беззубым ртом.

- Чей будешь?

- Мещерякова Трофима сын.

- А... Мамка-то цыганка была, так?

- Да.

- Геть, шалава! - клюкой отпихнул дед кошку, тершуюся о его ноги, обутые в валенки с обрезанными голенищами. - Шастала б на горище! Мыши там жир нагуливают, а она, падлюка, тут отирается. Совсем обленилась, сатана! Вот я тебе!

Кошка увернулась от дедовой клюки и, будто дразня его, улеглась на другом краю завалинки. Халимей, возмущенный такой наглостью животины, запустил в нее клюкой. Вакнув, кошка мигом перепрыгнула через ворота во двор.

Нефадей взял клюку, принес деду.

- Никакого проку от шалавы! Только с котами весной обтираться здорова да благим матом от удовольствияев орать. Скотиняка непотребная! - разошелся на кошку дед. И заключил характеристику ленивой кошки узорным матюком. Чего-чего, а такие узоры дед был мастер плести. И тут же забыв по кошку, поинтересовался:

- Ну, а табачок у тебя, рекрут, водится?

- Найдется.

- А чего ж ты стоишь, скалишь зубы? - рассердился дед. - Давай, закрутай сигарку, угощай деда.

Нефадей скрутил и деду, и себе. Прикурил, протянул Халимею. Тот затянулся блаженно и покашлял, бухикая, как из бочки. Из глаз потекли слезы.

- Хороший табачок! - похвалил Халимей, постукивая грудь. - Свой?

- Свой.

- Молодцы! А то у Романа Хухри куплять, так он буркуну дюже подмешивае много. Буркуну щепотку на стакан треба. Роман, вонючая его душа, аж пять сыплет. Три яйца за стакан, ирод, еще требует. Вот Терешка, царствие ему небесное, два брал и буркуну самую чуть добавлял. Хороший мужик был...

- Так он же живой, Терешка!

- Живой? - удивился Халимей. - Кто ж тогда на Крещение помер?

- То ж бабка, мать его.

- А-а... Тоди я обшибся, выходит. - И великодушно изрек: - Тоди, пусть живет Терешка. Ха-ароший мужик! В са-

мый раз буркуну мешает. Ты сидай, сидай, рекрут. Побалакай с дедом. Покурим табачку, и пойдешь. Будто балакают, Поликарп Кротов женит своего сына? Так чи правда та балакачка?

- Правда, женит.

- Угу, значит, до осени нетерпличка случилась у них.

- Вроде того...

- Чего не сидаешь?

- Та я постою, дедушка.

На завалинку не сядешь, весь обелишься. А Нефадей был в новых штанах. Купил ему-таки отец, и сапоги тоже, не какие попада, а хромачи, гармошкой блестят на ногах.

- Ну постой. Ты молодой, ноги крепкие, еще насидишься, как я, дрючок трухлявый. Раньше, скажу тебе, в рекрута уходили - землю родную целовали да с отцом-матерью навек прощевались. Не шутейное дело, двадцать пять годов службу надоть было править, не все возвратались. Сейчас - тьфу, кабы не война - не служба, а краткость одна. Когда ж токи побьют этого германца немецкого! Мы в Крымскую кампанию, как полезли на нас три державы, так думали... - ухватился дед Халимей за любимого конька, пошел вспоминать боевые дела давно минувших дней.

Память у деда была отменная. Только он безбожно врал. Часто повторяясь, один и тот же эпизод рассказывал по-разному. Когда деда ловили на этом, он невозмутимо отвечал такому Фоме неверующему:

- Не хочешь, не слухай. У тебя, погляжу, дюже ума много в чавуне, не знаешь, куда употребить его. В хорошей голове ум - мед, сладко от него всем, а у тебя - тухлый колодец, людам рыгнуть хочется. Правда хороша, а сказка, може, красивше. Короста ты, а не умник! Иди обчешись лучше, не мешай людам справно балакать.

Нефадей послушал дедовы байки, докурил сигарку и отправился по улице дальше.

- Благодарствую, рекрут, за табачок! - довольный нежданно подвернувшимся слушателем, поблагодарил Халимей. Через ворота опять перелезла кошка, и его внимание переключилось на нее.

Услышав о предстоящей свадьбе Гаврюхи Кротова и Шуры Корнеевой, Нефадей, как и многие в Подгорье, был тоже немало удивлен. Силился понять, почему так легко решилась судьба Шуры - старший Кротов ничего так просто не делает. Чуял Нефадей здесь какой-то умысел, но какой?

Однако, как бы там ни было, факт есть факт, и оставалось только порадоваться за Шуру: не будет теперь она ославленной на все село, запятнанной несмываемым девичьим грехом, после которого и думать о замужестве было бы просто нельзя. Вряд ли бы кто позарился на испорченную девку, так бы и сидела до конца дней одна, оплакивая свою судьбу. В Подгорье на этот счет обычаи строги.

Гаврюха сам подошел к Нефадею, тихий, смирный, без кичливости.

- Так что по глупости получилось, Нефодя. Не будем про то говорить-вспоминать. Ни к чему такое, в недругах быть. На свадьбу обязательно приходи, приглашаю. Ей-Богу, хочется, чтоб и ты погулял у меня. Ну, а за старое, так давай без обиды, извиняюсь за то.

Вот те и на... Совсем переменялся Гаврюха, прям человеком стал. Своим ли только умом дошел, или же тут без отцовской указки не обошлось?

- Ладно, забудем старое, - ответил Нефадей. - Може, и приду.

- Ну, как же! Обязательно приходи. Слышишь! Никаких там «може».

Про разговор с Гаврюхой Нефадей рассказал друзьям. Суков посокрушался:

- Эх, зря ты, Нефодька, должок Гаврюхе не отплатил! Не квиты вы пока что. Или в должниках ходить тебя больше устраивает?

- А ну тебя... - вяло отмахнулся Нефадей. - Женится ж, извинился, чего ж теперь, зачем зря кулаки чесать. Лишнее это.

- Не узнаю тебя, - сморщился Митька. - По мне, например, я б не забыл, сполна рассчитался при случае. На то они и долги, чтобы не забывать про них. Или книжечек начитался, овечкой смирной стал? Не видел больше учителю племянницу?

- Помолчи лучше, - хмуро сказал Нефадей.

Мишка похлопал Сурова по плечу:

- Будет тебе, расхорохорился! По тебе, так правда, чуть чего - харю набок. Говорят же тебе, извинился Гаврюха, чего еще? Ну, а барышня... - Митька захихикал.

Нефадей ткнул его под ребра, тот хихикать перестал, но улыбался подковыристо.

- Вы! - в сердцах сплюнул Митька. - Добряки херувимные! Тоже мне, нюни-манюни распустили: «Гаврюха извинился!» Как был он гадом, так и остался, поняли? Уши развесили... Черт с вами, как хотите. Грамотеи...

Сегодня будний день, а Нефадей вырядился в обновки. В новых сапогах, фабричных штанах, рубашке, той самой, что стирала Аня, чувствовал он себя неловко. Одежда будто сковывала движения, казалось, сковывала даже мысли.

Нефадей миновал Слободу, поглазел на кресты церкви с сидящими на них рядом галками и голубями, и пришел к речке.

Сел на бережке на траву, погладил рукой. Здесь они сидели тогда с Аней... Бывал он на этом месте уже не раз, его тянуло сюда. Сидел, уставившись в ленивую, словно застывшую воду. Сидел долго. Он не услышал шагов сзади, только остро вдруг почувствовал за спиной чье-то присутствие. Резко оглянулся.

Позади - Бог ты мой, глазам не верилось! - стояла улыбающаяся Аня. Нефадей вскочил на ноги.

- Вы... - выдохнул он и ничего не мог больше произнести.

- Вот так случайность! Здравствуйте, - протянула Аня ладошку. - А я иду, думаю, кто это здесь сидит? Подошла поближе и сразу узнала. По рубашке. А я вас, Нефадей, ждала. Почему вы так и не пришли ко мне?

Он смутился, ответил честно:

- Боялся...

- Боялся? Чего? - изумилась Аня.

- Не знаю... - тихо ответил Нефадей.

- Что вы, право... Такая ли уж я страшная...

Он уловил в ее голове тоже смущение. С похолодевшим сердцем сказал:

- Вы, Аня, хорошая... - Воздуха стало мало, будто он вдруг куда-то исчез. - Красивая... - и ужаснулся своим словам. Сказал святую правду, но смел ли сказать ее?

Аня легонько тронула его за руку, сказала просто:

- Погуляем? - и у него отлегло от сердца. Он ожидал почему-то, что Аня рассердится. - Здесь хорошо, правда? Тихо... Я часто прихожу сюда. Вас вспоминаю... Помните, как вы не хотели, чтобы я постирала рубашку? Вот... Видите, оказывается, я и стирать умею, не такая я уж и белоручка. Вы теперь верите, что я не белоручка?

Помнил, все помнил Нефадей, каждое слово, каждый ее шаг, каждый жест. Да разве скажешь ей об этом, о том, сколько думал о ней, как рисовал в воображении встречу. Язык деревянный, не свой, чужой, только и сумел вымолвить кое-как не то «угу», не то «ага». А у Ани голос плавный, напевный, с округлым выговором - слушал бы, слушал... Бесконечно.

В тонком длинном платье, плотно облегавшем талию, казалась Аня еще прекрасней, чем в первую их встречу. Какой-то воздушной, легкой.

- Сегодня праздник какой? - спросила она, конечно же, заметив, как одет Нефадей.

- Праздник? - не понял он, потом догадался, почему Аня так спрашивает. - Нету никакого праздника...

Аня поняла, что своим вопросом добавила смущения Нефадею, сразу перевела на другое.

- С этим несносным Гаврюхой больше не встречались?

- Видел. На свадьбу приглашал, женится он на Шурке, извинялся...

- Вот как? Шура рада?

- Не знаю. Может и рада, может и нет. Деваться ей все одно некуда.

- Да... - вздохнула Аня. - Если не любит его... Вы пойдете к ним на свадьбу?

Нефадей пожал плечами.

- Я чего-то недопонимаю, наверное, однако знаете, мне кажется, в таких случаях... - Аня не закончила фразу, встряхнула головой.

Была она сегодня без платка. Волосы - больше все ж они белесые, чем русые, - стекают на плечи, рассыпавшись. Ни одна девушка в Подгорье не носила так волос, у всех косы. Ни Боже, обрезать их, - грех, пальцами затычут, лахудра, мол, бесстыжая, совсем съехала с ума. Дурные люди... У Ани волосы - что против них коса!

- Да ничего тут такого и нет, если пойти, - начал объяснять Нефадей. Смущение и неловкость понемногу оставляли его. - У нас обычное дело - подраться. А через три дня и не помнить о той драке. Зло если б держали, так перебили давно друг друга.

Так да не так объяснил Нефадей про драки, просто неохота было вести о них речь. На самом деле и зло было, и тайлось оно до поры до времени, и при случае подстерегали друг друга, наслаждаясь мезтью, не позволяя себе снисхождения.

- Гаврюха извинился, пускай уж, не стану я ему портить настроение перед свадьбой. Ну, а прихлабаев его проучить уж как-нибудь при случае придется.

- И все-таки мне не нравится этот ваш Гаврюха, противный тип.

- Какой же он мой! - обиделся Нефадей. - Да и не пойду я ни на какую его свадьбу. Зачем она мне сдалась?

- Я не так выразилась, - обеими руками взяла Аня его руку у локтя. - И обидеть вас не хотела, честное слово. Просто я видела тогда его лицо, в нем жажда: бить и бить. И глаза самого настоящего животного. Драки - это же действительно пещерная дикость! Как люди не поймут...

- Почему ж не поймут, - не согласился Нефадей. - Понимают. Только никак не получается без них, драк. Не могут люди без того, чтоб горло не передавить другому. И всегда так будет, никуда не денешься. В крови, наверно, у людей сидит все это.

Аня остановилась, задумчиво произнесла, вглядываясь в его лицо:

- Своеобразная у вас философия...

- Чего, чего? - не понял Нефадей.

- Философия, говорю, у вас своеобразная, - повторила Аня и, видя, что Нефадей не понимает смысла фразы, поясни-

ла: - Ну, как бы вам объяснить, Нефадей... То есть, у вас свое, довольно своеобразное понятие о жизни людей, о их взаимоотношениях.

Так сказать, как сказала сейчас Аня, Нефадей, убей его, никогда бы не смог. Было удивительным, как можно из обычных слов складывать особые, будто бусы из них. Все одно к одному, подогнано, не царапает слух. Получается ж у Ани... И слова знает, какие слышит Нефадей впервой. Эти незнакомые слова - как самые красивые бусинки.

- Какое там у меня понятие! - воскликнул. - Нету у меня никакого понятия, - и у него было сейчас лицо огорченного ребенка.

Аня рассмеялась:

- Вот это здорово! Нету понятия. Есть!

- Сам я вообще-то не любитель кулаками махать. Это уж так - если чересчур ретивые зацепят. Тут хочешь - не хочешь, а приходится, - высказался Нефадей насчет своего личного взгляда на драку. - Затронут, так любой не стерпит. На что цари, и те промеж собой в ладу не живут. Вон наш с германским не поделили чего-то. Война - та же драка, только между царями. Говорят, у германского царя родственника - то ли брата, то ли свата - убили, вот он и озлился. С того и началась война. И кто ж убил того родственника, будь он неладный! Ну так все равно, что ж теперь, из-за того народ на народ посылать? Чтоб как собаки сцепились? Сколь уж наших подгорьевских поубивало. Царям-то хорошо сверху смотреть, пуля до них не долетит. Взяли б и помирились, неужто им, царям, народу своего не жалко?

- Видите ли, Нефадей, дело тут вовсе не в убийстве герцога, - звали его, кажется, Франц-Фердинанд, а убили его в Сараеве, - дело тут совершенно в другом.

- Как в другом? - удивился Нефадей. - Все говорят, из-за того и началась война.

Он смотрел на Аню и опять подумал о себе, насколько коряво, как в своей речи, так и во внешности, выглядит рядом с ней. До знакомства с Аней Нефадей жил, нисколько не задумываясь о многих вещах, о таких, например, о каких вели они разговор в первый день знакомства и сейчас. Точнее, о

них он просто не знал. И вдруг появилась Аня... Вместе с ней появились вопросы, на которые не так-то просто ответить.

- В том, - разъясняла она ему, - что это убийство явилось лишь чисто внешним поводом для начала военных действий между Германией и Россией. Действительная же причина здесь, если сказать просто и кратко, такая. Две страны столкнулись, не найдя общий язык в вопросе о сферах влияния.

- Откуда вы все знаете? - не удержался Нефадей.

- Да уж знаю, - непонятно для него ответила она. - Только вы ошибаетесь, Нефадей, знаю я до обидного мало. Это вам так кажется - все. - Вздохнула. - Так мало... Ничегошеньки я почти и не знаю... - Встрепенулась: - А давайте перейдем на тот берег? В бор сосновый. Нет, лучше на холм взберемся, ладно?

Через мостки перешли речку, миновали сосновый бор и стали карабкаться по довольно крутому склону холма. Аня подала руку, Нефадей с волнением сжал ее легонько, и они, рука в руке, запыхавшись, взошли на холм. Если бы можно, если бы только она сказала, Нефадей на руках донес ее до вершины. Но и ее рука в его руке была для него великим благом. Он держал в руке самое-самое ценное, что только было для него на этом свете. Так он думал сейчас.

Подгорье лежало под ними - словно в блюдечке с отбитым в одном месте краем, с трех сторон окружено белобокими холмами. Они напоминали неведомых существ, улегшихся вокруг села да так и уснувших навсегда.

Здесь, на вершине холма, росла пушистая серебристая полынь, горьковато пахнувшая. Ветерок приглаживал ее, и она словно дышала.

Аня села, обхватила колени руками, положила на них голову. Нефадей опустился рядом. Молча смотрели в раскинутую перед ними даль. Переглянулись и снова застыли.

Спускаясь, у подножия холма Аня вдруг громко рассмеялась и побежала вниз. Ветер облепил платьем ее ноги, Нефадей испугался, как бы она не упала, перегнал ее и остановился, широко расставив руки. Аня с разбегу натолкнулась на него, Нефадей покачнулся, обхватил ее за плечи. Мгновение оба стояли не шелохнувшись, часто дыша, Аня

уткнулась ему в грудь, а он так и замер, не опуская рук. Подняв голову, она легонько оттолкнула его и, отступив на шаг, вдруг спросила:

- Вы теперь не будете меня бояться? Вы придете к нам?

- Я приду к вам, Аня...

- Завтра приходите.

- Завтра?.. - в раздумье произнес Нефадей.

- Не сможете? У вас какие-то дела?

- Да... Вообще-то смогу, только не знаю, когда вернусь.

Отец посылает к дяде Федору, брату своему, он живет в Блошицыном хуторе. Скоро хлеб косить, снопы с поля возить, а у нас в арбе у двух колес спицы треснули, менять на новые надо. Дядя Федор по такому делу мастер, отец и велел отвезти колеса, чтоб подправить. Не знаю даже, когда управлюсь...

- Далеко отсюда хутор?

- Девять верст.

- Нефадей, а можно, я с вами поеду?

Уж не ослышался ли он? И она еще спрашивает - можно! О, он уже представлял, как они едут, сидят рядышком на облучке. Утро, солнце, тихо, тепло, кругом ни души. Ленивой трусцой бежит по рыжей дороге Дымок.

- Только я рано выеду...

- Думаете, я просплю? Возьмете?

- Я за вами заеду.

Нефадей с вечера почистил Дымка, расчесал ему гриву, обнял коня за шею, поласкал.

- Завтра, Дымок, мы с тобой поедem к дяде Федору. И с нами поедет Аня. Понял? Аня...

ГЛАВА 9

В начале апреля, после излечения в госпитале в Одессе, Аркадий Астапов был направлен в одиннадцатый армейский корпус.

О своем ранении отцу он не писал. Зачем расстраивать старика, да и рана, как считал Аркадий, была пустяшной - осколком пробило мякоть левого бедра. Кость не задета, и после двух месяцев госпиталя ходил он, не хромяя.

Ранен был Астапов при наступлении четвертой стрелковой дивизии, в которой он служил, на Чарторийск. После госпиталя опять собирался вернуться в свою дивизию, однако начальство распорядилось по-своему.

К месту нового назначения Аркадий ехал неохотно. В четвертой дивизии был с самого начала войны, привык уже, там оставались товарищи по оружию, там его рота, сильно поредевшая тогда, при наступлении на Чарторийск. Бои разгорелись жестокие, полк Аркадия столкнулся с вышколенным полком самого германского кронпринца. Наступление, довольно неплохо подготовленное, для немцев явилось большой неожиданностью. В результате потрепанный полк кронпринца был окружен и пленен. На участке второй и четвертой дивизии немецкие войска удалось отбросить на запад до местечка Колки, у которого наступление русских войск было все же остановлено.

В том бою, когда Аркадия ранило, погиб его денщик, Афанасий Нефедов, веселый, неунывающий, бывший швейцар из Петербурга.

Аркадий любил его, любили и солдаты в роте: как начнет тот рассказывать байки о своих петербургских господах, рота хваталась за животы. Особенно нравилось слушать о похождениях любвеобильной хозяйки дома, в котором служил Аркадий. Тут он так расписывал ее, разогревая воображение солдат, что те аж стонали, вспоминая своих оставленных дома жен и невест. Кляли войну, потихоньку, с оглядом, и царя Николашку, затеявшего ее, желали быстрейшего замирения с германцем и мечтали о том дне, когда вернутся домой, под родную крышу.

В такие минуты в сердцах кидали на бруствер ненавистную винтовку, втыкая ее штыком в землю, и глухо роптали, нося всех «их благородиев».

- На что мне за него лоб подставлять? Цок пулька - и нету меня! - говорил угрюмый бородатый забайкалец Никифор Хлипин. - За тем и везли меня через всю Расею? А я, может, не хочу так-то, чтоб пулю в лоб. И зачем мне стрелять в немца, его ж тоже оторвали от хозяйства, такой же бедолага, как и я. Эх!

- Оно так, Никифор, только ты потише с такими речами, прознает зараза Крыжный, не миновать тебе трибунала, - предостерегали товарищи.

- Прознает? Пусть прознает... Разобраться, так на том свете каждому из нас все равно, от чьей пули помрешь. Дождется он, Крыжный этот наш... Дурак не понимает, что, бывает, и сзади, в затылок, пуля попадает...

Прав оказался Хлипин, в одном из боев нашла пуля и Крыжного. Точно под обрез фуражки попала, в затылок.

Видели солдаты: бежит Хлипин, винтовка в его руках - игрушка, бой идет страшный, а он будто довольный, угрюмое лицо в непонятной улыбке. Тоже не добежал Хлипин до конца боя, снарядом в клочья разнесло, нашли после только сапог с торчащей костью. Большой размер носил Никифор, по нему и догадались, кому принадлежал сапог.

Двойное чувство владело Аркадием, когда узнал о гибели Крыжного. С одной стороны - жалко, человек ведь, с другой - будто испытывал какое-то облегчение. Закономерный финал Крыжного, следовало и ожидать, что кончит он подобным образом.

Скороспелый зеленый прапорщик, вчерашний гимназист, он прибыл в роту Аркадия и принял первую полуроту. Не хватало офицеров, случалось, и на роту ставили таких желторотых, только-только надевших офицерские погоны. Безукоризненно выглаженный, вылощенный, он поначалу произвел на Аркадия приятное впечатление. Розовощекий, с едва пробивавшимся пушком над верхней губой, казался он совсем-совсем мальчиком, от него так и исходил запах материнского молока.

И Аркадию подумалось: как жаль будет, если убьют этого мальчика, с юным пылом рвавшегося на фронт, чтобы защитить Отечество. Сколько слез прольет его мать, оплакивая своего сыночка. Аркадий старался опекать, хоть как-то предостеречь юного прапорщика от чрезмерно бесшабашной смелости. Сколько он повидал уже смертей таких вот юношей, гибнущих по собственной глупости, в безрассудной своей храбрости презиравших смерть.

Крыжный оказался, однако, человеком мнительным, держался сугубо официально, и Аркадий с огорчением распо-

знал за всем этим гонористый, эгоистичный характер своего подчиненного, ослепленного властью над людьми, упоенного ею до безумной жестокости.

До Аркадия стали доходить слухи о рукоприкладстве этого зеленого юнца. Он вызвал его и строго отчитал. Крыж-ный затаился, озлобившись на командира роты. Солдат уже не бил, однако несколько их из роты попали под трибунал за неподобающие высказывания в адрес государя, за что Аркадия вызывали к полковому начальству и сделали жестокий разнос, обвинив в попустительстве нижним чинам. Штабс-капитана, к которому до этого был представлен, ему не дали.

- Ваше благородие, - сказал тогда денщик Афанасий, - я бы на вашем месте вызвал бы его и один на один пересчитал ему ребра. Чтoб неповадно было в следующий раз. Без свидетелей. Докажи потом. Никто б ему не поверил!

Астапов невесело усмехнулся:

- Мордобитием, Афанасий, еще никто не доказывал правоты. Это мерзость. Человека можно запугать, унижить, кулаком довести до состояния животного, однако и сам в таком случае уподобишься такому же животному. Нет, Афанасий, так не годится...

- Да с такой свиньей по-другому и нельзя ж, ваше благородие! - доказывал возмущенный денщик. - Стольких ребят сгубил, гад! - Нефедов высказывался прямо, не боялся Астапова, уважал его, знал: командир роты - человек, солдата никогда не обидит. Видел денщик и скептицизм, с каким поручик относится к войне. - Доиграется он, точно! - зло помахал Афанасий пальцем, будто перед ним стоял прапорщик Крыж-ный. - Доиграется! Жалко мне вас, ваше благородие, из-за такой твари и вы страдаете!

- Но-но, Афанасий! Ты мне прекрати так, он все ж офицер. Понял? И я офицер. Ты что же, черт побери, совсем не боишься меня? Ведь за такие слова тебя уже можно и под трибунал.

- Не боюсь, ваше благородие, - простодушно признался Афанасий. - Вы офицер, но свой, не такой, как эти ироды. Вас солдаты любят.

- Так уж и любят? - Все ж приятно Астапову слушать такие слова о себе.

- Любят, ваше благородие. Вот за вами и под пули не страшно идти. Выгнали б вы Крыжного, как-нибудь сделали, чтоб перевели его, можно ведь, а? И вам бы спокойней, и рота поклонилась бы вам. А то, правда, неровен час... как бы чего не случилось с ним...

- Ладно, иди, Афанасий, что-то ты мне слишком много советов надавал. Не кажется тебе так? - Астапов попытался придать голосу строгость, сделал холодные глаза. Но Афанасия не проведешь, тот прекрасно знал своего поручика. Не злится он сейчас на денщика, просто, видимо, хочется ему побыть одному...

К осени пятнадцатого года укрепленная полоса каждого из противников имела три-четыре линии окопов полного профиля с бесчисленными ходами сообщения. Передний край был опутан колючей проволокой из пятнадцати-двадцати рядов кольев. Отгородившись таким образом друг от друга, противники все глубже зарывались в землю.

Каждый день велись артиллерийские дуэли, но лениво. Татакали пулеметы, тоже нехотя, и только когда шел поиск, обе стороны взрывались бешеной стрельбой из всех видов оружия.

Бесконечное сидение в окопах, вши, инфекция разлагали армию. Как чирей, в солдатах зрело негодование против самых высочайших особ, росло понимание бессмысленности войны. Офицеры от безделья играли в карты, потихоньку спивались: сухой закон, принятый в начале войны, для них словно не существовал, достать спиртное - не проблема; тупели, вдаваясь в распутство и разгул.

Одиннадцатый армейский корпус, где Аркадию Астапову предстояло продолжить службу, находился в резерве неподалеку от Каменец-Подольска.

Войска жили ожиданием перемен в боевой обстановке Юго-Западного фронта, в состав которого входил и одиннадцатый армейский корпус. Дело в том, что в конце марта главнокомандующим фронтом вместо Иванова был назначен генерал-адъютант Брусилов, командовавший до этого вось-

мой армией того же Юго-Западного фронта. Генерал Брусилов был популярен в войсках, его восьмая армия сыграла основную роль в Галицийской битве в начале войны, когда австро-венгерские армии потерпели крупное поражение, сражаясь в Карпатах и под Перемышлем, стойко вела оборонительные бои - противник тогда большими силами перешел в наступление.

Кроме того, слухи и догадки подогревались еще и тем, что вскоре после назначения Брусилова войска Юго-Западного фронта посетил царь Николай II. Посетил он и резервный одиннадцатый армейский корпус.

Офицеры, присутствовавшие на столь знаменательном событии, подробно рассказывали Астапову о нем.

Смотр, правда, чуть было не окончился неприятностью. Несколько германских аэропланов попытались прорваться к выстроенному корпусу. Однако русские аэропланы и зенитные батареи, предусмотрительно стянутые в район смотра, отогнали противника.

Просочились слухи и о том, будто первого апреля в Могилеве в Ставке Верховного Главнокомандующего, коим являлся Николай II, состоялся военный совет.

Конечно, все это были слухи, домыслы, однако Аркадий, вкупе осмыслив такие факты, тоже, как и многие в армии, решил, что, видимо, готовится большое наступление.

Армии фронтов по приказу Верховного Главнокомандующего готовились щедро пролить кровь. Готовилось летнее наступление шестнадцатого года.

Аркадия назначили командиром роты в полк, которым командовал полковник Брюн - из прибалтийских немцев. Батальонным командиром был подполковник Клямин, добряк, низенький, округлый, с пенсне на носу.

Подполковник снискал известность еще и тем, что мог пить сколько угодно, совершенно не пьянея. В таком случае у него лишь потела лысина, которую он промокал зеленым батистовым платком, да багровело лицо и чаще обычного соскакивало с переносицы пенсне без него подполковник казался беспомощным поросеночком, безуспешно ищущим сосок матери. Пенсне, болтавшееся на шнурке, самолично изготов-

ленном Кляминим из самого что ни на есть обыкновенного шнурка от ботинок, водружалось на переносицу, и поросенок исчезал, уступая место мастеру употребления спиртных напитков. Речь подполковника не менялась, он не нес пьяной околесицы, только слова выговаривал чересчур четко и медленно, стараясь не съесть окончания.

У подполковника была дама сердца из передвижного лазарета, не в пример своему полковнику сухая и выше его на голову. Дама сердца в расположении батальона редко появлялась; при случае, обычно по средам, полковник садился на коня и сам ехал на свидание.

Поговаривали, что она-то и научила своего Клямина при сильном подпитии употреблять стакан воды с несколькими каплями нашатыря - после этого человек трезвеет чуть ли не мгновенно. Однако, как ни подсматривали за подполковником, уличить его в таком методе отрезвления никто не мог. Ну, а батистовый зеленый платок, без которого командир батальона был как без рук, - хоть портянкой вытирай лысину! - точно подарок дамы, все об этом знали, подполковник и не скрывал. На платке вышиты красными нитками инициалы «З. Б.», что означало «Зоя Борщева» - так звали старшую сестру милосердия.

Нашатырь попробовали было употреблять и другие, надеясь не отстать от Клямина по числу выпитых стаканов спиртного, однако после того, как их внутренности чуть не вывернуло наизнанку, сдались - тягаться с подполковником в подобном соревновании было делом безнадежным.

Когда Астапов прибыл в батальон и разыскал дом, в котором размещался командир батальона, застал он его полуодетым, сидящим на куче тряпья на деревянной кровати и сладко зевающим.

Щелкнув каблуками, Аркадий представился. Подполковник перестал зевать, почесал шумно грудь сквозь прореху несвежей нижней рубашки и, встав, пододвинул стул, поставив его напротив кровати, на которую уселся снова.

- Садитесь, садитесь, дорогой Аркадий Николаевич! Значит, прибыли к нам... Приятно, приятно... Ни черта не шлют офицеров, беда - треть офицерского штата до сих пор не уком-

плектована. И это в резерве! А ну-ка сейчас в окопы? Хоть плачь, унтеров на взвода ставь. Черт бы их побрал! - потряс кулаком Клямин. - Откуда, простите, Аркадий Николаевич, прибыли? Называйте меня просто Алексеем Кузьмичем.

В доме с серым земляным полом пахло плесенью, от самого Алексея Кузьмича несло винной бочкой. Подполковник с прищуром сквозь пенсне откровенно разглядывал вновь прибывшего поручика.

- Из госпиталя, из Одессы. До того командовал ротой в четвертой дивизии. Под Чарторийском был ранен в ногу, - коротко сказал о себе Аркадий. Добавил откровенно: - Хотел снова вернуться в свой полк, но, увы, направили к вам.

- Да вы, голубчик, боевой офицер! - довольно воскликнул подполковник и посмотрел на грудь Аркадия, где красовался «Георгий». - Хотите коньячку?

Аркадий замотал головой, но Алексей Кузьмич и слушать его не стал.

- Бобков! Черт рыжий, где ты запропал? - крикнул подполковник.

Явился рыжий денщик, тоже заспанный, в расстегнутой гимнастерке без ремня.

- Чего? - равнодушно спросил и погрыз грязный ноготь.

- Ах ты, каналья! Как разговариваешь! Доведешь ты меня, рыжая морда, отправлю туда, где Макар телят не пас! Достукаешься у меня!

- Чего, ваше благородие, изволите? - слегка проснулся солдат и перестал грызть ногти, вытянул руки по швам.

- Так-то, - примирительно сказал подполковник. - Живо тащи коньяк и... где Ганна?

- Где ж ей быть, со скотиной управляется, - махнул в окно денщик.

- Возьми у нее огурцов соленых да капусты. Маслом, идиот, не забудь полить! Живо!

- Слухаю, вше блародие, - промямлил рыжий денщик и, опять сунув палец в рот, без спешки отправился выполнять приказание подполковника.

«Вольно же ведет себя этот Бобков со своим командиром», - подумал Астапов.

- Тетеря сонная, вечно спать хочет, палец вместо соски всегда во рту держит. А вот не могу прогнать, не поднимается рука. Спас он меня однажды. Если б не этот рыжий черт снулый, проткнул бы меня штыком австрияк, давно бы черви ели мою печенку. В бою Бобков только и просыпается. А так ничего солдат... Привык, знаете, к нему. Вы не горюйте, Аркадий Николаевич, привыкнете и вы у нас.

- Придется...

- Привыкнете... Я рад, честное слово, очень рад, что вас направили ко мне. Опытных боевых офицеров в батальоне раз-два и обчелся. Корпус понес большие потери в боях, отвели в резерв на пополнение, а все равно до сих пор с офицерами туго. Как же, резерв, обойдутся! Вот так и рассуждают там. - Клямин показал пальцем в потолок. - Да еще, наглецы, и забирают у нас. Вот такие дела, Аркадий Николаевич... Готовимся, учим солдат. По секрету скажу, сдается мне, предстоят жаркие дела. Слыхали, Брусилова командовать фронтом назначили?

- Да, знаю.

- Генерал не в пример Иванову, этой застенчивой тетушке, боевой. Когда сняли Иванова, говорят, слезу по-бабьи пустил перед Брусиловы - обидели, как же. За царем теперь, в его свите, тенью ходит. Наказали... Ах, черт! Бобков? Скоро ли ты?

Клямин напоминал Аркадию купца Мирошников из Калача, торговавшего пшеницей и кожами, - внешне совершенно не походил на военного человека, к тому же, как знал Аркадий, кадрового. Там не менее неряшливый подполковник все более нравился, чувствовалась в нем добрейшая душа, даже когда он кричал на своего денщика, в голосе у него не было злости.

Наконец явился Бобков, неся бутылку коньяка, глиняную миску с огурцами и капустой, и стаканы, кое-как сполоснутые.

- И все? - возмущился подполковник.

- Счас... - Следом денщик принес хлеб, колбасу и консервы, которые открыл тут же на столе плоским ножом, сделанным из австрийского штыка.

Сели за стол.

Подполковник взглянул на топтавшегося возле стола Бобкова и прогнал его:

- Иди! Ганне помог бы!

- Счас, помогу, - согласился денщик и удалился, смакуя свой вкусный палец.

Сдвинув стаканы, Алексей Кузьмич налил по половине и вопросительно посмотрел на Астапова. Тот прикрыл свой стакан ладонью - подполковник налил и так слишком много, к таким дозам Аркадий не привык. К большому его удивлению, Клямин не поставил бутылку на стол, а налил себе до краев.

- За знакомство, Аркадий Николаевич! - поднял стакан с усмешкой. - За нашу верную службу государю нашему! - Чокнулся: - Словом, за вас первый стакан, Аркадий Николаевич!

- Спасибо!

Опорожнив стакан за два глотка, Клямин шумно фыркнул, покрякал и аппетитно захрустел огурцом.

- Аркадий Николаевич, вы, простите, из каких будете? Не обижайтесь, что я так прямо спрашиваю. Знаете, не привык к салонному этикету.

- Да нет, ничего, я не обижаюсь, Алексей Кузьмич. Мои родители - учителя в селе, в Воронежской губернии. Мать умерла, отец и сейчас живет там.

Аркадий с интересом наблюдал за подполковником - сейчас у того скосятся глаза и начнет заплетаться язык. Но ничего подобного не происходило. Более того, Алексей Кузьмич даже посвежел лицом.

Зазвонил телефон.

- Не дадут спокойно позавтракать, черти! - нехотя взял трубку Клямин. - Что? Але, але! Вы, князь, ей-Богу, как ребенок! Изолируйте их. Если не пройдет через несколько дней и выявятся еще случаи, отправьте в госпиталь. Да, да! Могли бы и не беспокоить меня. Действуйте, князь! - Подполковник взял бутылку. - Тьфу! - хитро посмотрел на Астапова и налил ему чуть-чуть: - Хватит, поручик?

- Хватит, хватит, Алексей Кузьмич! - поспешил тот взять стакан.

Себе подполковник вылил остальное. Бутылки как не бывало.

- Князь Торский, командир четвертой роты. Чистюля! Вшей боится и инфекций. У него в роте запоносили несколько солдат, вот он и в панике. Не знает, что делать! Испугался, как бы сам не наклевал в штаны. Дизентерия мерещится. Ну, еще по одной, поручик?

Выпили и по второй. Клямин сидел как стеклышко. У Аркадия же в голове слегка зашумело.

- А что, часты случаи дизентерии? - спросил он.

- Бывает... Как на войне без дизентерии... Вши, дизентерия, тиф - неперенные спутники войны. Но в общем-то пока терпимо. Слава Богу, неплохо выручает Всероссийский земский союз со своими поездами-складами и поездами-банями. Вы каким училищем выпускались, поручик?

- Алексеевским.

- Голубчик вы мой! Я тоже вышел из его стен. Бобков, черт тебя дер! Еще тащи коньяка! Ах, Аркадий Николаевич, какая приятная для меня неожиданность! Нет-нет! Ни в коем случае не отказывайтесь! Мы непременно должны выпить еще по глотку в честь такого замечательного совпадения. Неважно, что я выпущен из училища гораздо раньше вас. Неважно! Обязательно по глоточку! Я ведь командир ваш, поручик, могу и приказать. Ну-ну, не обижайтесь, шучу, Аркадий Николаевич, шучу. Но по глоточку непременно!

На столе стараниями Бобкова появилась еще одна бутылка коньяка. Аркадий пригубил, Клямин же опять опорожнил полный стакан. Лицо подполковника слегка начало багроветь, глаза же оставались чистыми - глаза трезвенника.

Поговорили о батальоне, Клямин вкратце охарактеризовал каждого офицера и подал руку поднявшемуся Аркадию.

- Ну, с Богом, поручик! Принимайте свою роту, а вечером - ко мне. Я вас представлю. Сейчас, погодите, я вызову из вашей роты кого-нибудь из офицеров. - Подполковник вытащил батистовый зеленый платок и промокнул вспотевшую лысину...

Вечером Астапова ждала приятная неожиданность. Еще утром, когда подполковник Клямин называл фамилии офицеров батальона, Аркадий, услышав фамилию Артемов, поду-

мал, не Владимир ли это Артемов, однокашник по училищу. Впрочем, мало ли Артемовых, фамилия довольно распространенная.

Ознакомившись с ротой, произведшей на него удовлетворительное впечатление, Астапов, когда стемнело, отправился к командиру батальона.

Вечер по-весеннему теплый, дверь в доме была открыта, через ее освещенный проем валил табачный дым, слышались гитара и хрипловатый голос, певший какой-то романс. Во дворе пахло навозом, слышно было, как жует корова и похрюкивает свинья. В ближнем окне увидел Ганну, хозяйку. Она расчесывала перед зеркалом черные длинные волосы. Рядом с ней стояла девочка лет двенадцати, видимо, ее дочь, и сбоку, подняв голову, смотрела на мать.

Не верилось, что недалеко совсем находится противник. Тихо, мирно.

Переступив порог, Аркадий невольно зажмурил глаза от света яркой лампы.

- Ба! Аркадий! Какими судьбами! - услышал знакомый голос.

Артемов! Владимир Артемов! Вот так встреча!

Навстречу с широко раскинутыми руками шагнул штабс-капитан, стиснул Аркадия в объятиях, оторвал от пола, крутнул вокруг себя. Затем опустил Астапова на пол, отступил на шаг, хлопнул по плечу, обернулся к офицерам:

- Господа! Поручик Аркадий Николаевич Астапов! Мой однокашник. После училища не виделись ни разу. Господа, какая радость!

Подполковник Клямин сидел с сияющим лицом.

- Теперь вы не жалеете, Аркадий Николаевич, что попали в наш полк?

- Я рад, - ответил Аркадий сдержанно.

- Поручик Астапов, командир второй роты, - встал Клямин и взял его под локоть, совсем не по-военному, словно приятеля, представляя офицерам.

Их фамилии Аркадий запоминал плохо, обратил лишь внимание на поручика князя Торского, о котором уже слышал от командира батальона.

Князь был строен, тонок в талии, лицо узкое, нервное, с особым аристократическим оттенком бледности, как бы подчеркивающей титул поручика. Он подал вялую холодноватую руку, Аркадий крепко сжал ее, отметив про себя: «Безвольная, будто неживая», - и почувствовал, как рука князя вздрогнула и словно ожила, сухие пальцы напряжинились и тоже ответили пожатием, цепким, сильным. На бледных скулах поручика проступил легкий румянец. Такой румянец бывает у людей, больных чахоткой. Темные глаза Торского горели странным огнем. Каким-то страдальческим и одновременно едким.

- Рады вас принять в боевую нашу семью, - ровным голосом, без выражения сказал Торский и взял в руки гитару.

Когда выпили коньяка, Торский запел незнакомый Аркадию романс. Голос его преобразился, пел поручик, полузакрыв глаза, откинув назад голову. Голос страдал, дрожал, сходил до шепота, лицо князя еще более побледнело. Прекрасно, проникновенно пел поручик, слушать его было истинным наслаждением.

Но, конечно же, самой большой радостью для Аркадия была встреча с Артемовым.

- Поздравляю, Владимир, ты уже штабс-капитан!

- Спасибо. Мелочь, в наше время это такая мелочь, Аркадий, - с легким кокетством и несколько вроде виновато сказал тот. - Как ты?

С Артемовым они не были в училище особо близки. Но здесь встретились как хорошие друзья, искренне обрадовавшись такой приятной случайности оказаться в одном батальоне, оба командиры рот, - Владимир командовал первой. Должность командира третьей роты была вакантной, временно ее замещал прапорщик Зеленцов, из вольноопределяющихся.

- Господа! Минуточку внимания! - поднял стакан Клямин. В левой руке он держал скомканный батистовый платок, который уже не прятал в карман, чтобы не утруждать себя излишними движениями. Лицо Клямина устойчиво багровело, а лысина требовала частного промокания, что он и делал между словами. - Давайте отвлечемся от настоящего и немного заглянем вперед. Я предлагаю выпить, господа, за послевоенное время!

- Хм! - громко хмыкнул подпоручик Ямбович.

- Вам не нравится тост? - поправляя пенсне, взглянул на него подполковник.

- Почему же, - поднял стакан тот. - Только когда оно будет - послевоенное время? И какое? Можем ли мы сейчас представить это?

- Каким оно будет, представить действительно трудно. Однако будет мир, вот что важно само по себе. Это главное - мир. И мы - армия с зачехленным оружием.

Поручик Торский отложил в сторону гитару, сказал ровно:

- Конец войне не видно. И что-то непохоже, чтобы это великое противостояние скоро прекратилось.

- А я думаю, скоро фронты зашевелятся, и так называемое, как вы говорите, великое противостояние придет в движение, - ответил ему Клямин.

- И придет желанная победа? - вставил Ямбович, с прежней язвительно-снисходительной улыбкой.

- Да, подпоручик, не будьте скептиком, нам нужна только победа, только она даст нам мир, - с холодными нотками произнес подполковник. - Вы еще молоды и...

Ямбович поежился под жестким взглядом подполковника и поджал губы, а тот, не договорив, выпил, никого не дожидаясь, и швырнул стакан на стол.

- Могли бы вести себя и скромнее, - неприязненно сказал Ямбовичу Торский.

Тот не ответил.

Установилась неловкая пауза.

- Нам нужна не столько победа, сколько мир, - прервал ее Зеленцов. - В этом я с вами полностью согласен, Алексей Кузьмич. Хорошо вы сказали - армия с зачехленным оружием.

- По-вашему, мир с Германией хоть сейчас? - спросил молчавший до сих пор Артемов.

- Было бы вполне неплохо, - ответил Зеленцов.

- Ну, знаете... Столько пролито крови, и - мир! На каких, интересно, условиях?

- На приемлемых для обеих сторон.

- Знаете, прапорщик, это пахнет... пораженчеством. Война до победного конца - этого хочет русский народ!

- Не скажите... - Зеленцов говорил негромко. - Пораженчество заключается не в том, что люди хотят мира, устали от войны, пораженчество - в слепом упорстве посылать на смерть все новые и новые тысячи солдат. А народ, штабс-капитан, вы знаете плохо. Народ - это еще не мы с вами.

Артемов побледнел.

- Я вам рекомендую, прапорщик, подобные мысли оставить при себе! Не советую... Сейчас война...

- Господа! Прекратите! Что вы в самом деле! - остановил их Клямин. - Давайте лучше выпьем! Нашли тему для спора. Князь, спойте нам, облагородьте музыкой наши зачерствелые души.

- Из Томска, недоучившийся студент, - склонился к Аркадию Артемов. - С полмесяца как появился у нас. Рассуждает как социал-демократ. Доложить Брюну, он быстренько примет к нему меры, не то что наш размазня-подполковник. Этому Зеленцову место в Сибири, откуда неизвестно какими судьбами он попал сюда...

- Стоит ли докладывать командиру полка? По-моему, в этом нет никакой необходимости.

- Ты что, разделяешь мнение Зеленцова?

- Разве это похоже на меня?

- Ладно, Аркадий, к черту этого прапоришку! Столько не виделись с тобой... Кстати, Брюн какое впечатление произвел? Ты ему представлялся?

- Сказал два слова. Кажется, он из Прибалтики?

- Да. Но патриот России до мозга костей. Немного даже либерал.

- Вот как?

- Когда царь высочайше соизволил повелеть ввести в действующей армии телесные наказания для нижних чинов властию командира полка и выше, Брюн отнесся к этому без восторга.

- И тем не менее разрешил в полку телесные наказания, - вставил громко князь Торский, сидевший рядом.

- А как же вы хотели? - тут же откликнулся Ямбович. - Прикажете миндальничать с солдатами? Да они вам вконец

на голову сядут! А отведает разгильдяй розог, шелковым станет! И другим неповадно.

- Господа! Что-то у нас сегодня разговоры не те, - сказал подполковник, хмурясь.

Его словам никто не внял.

- Двадцать пять розог за одно лишь опоздание на поверку? - сузил глаза Торский, сверля ими Ямбовича. Ноздри у князя побелели. - Вас никогда не пороли, подпоручик? Что бы вы сказали тогда?

Ямбович вскинул удивленные брови, таких слов от Торского он явно не ожидал.

- Не говорите чепухи, поручик.

- Это не чепуха, вам бы следовало знать, чего стоит даже один удар розги.

- Пойте лучше свои романсы, князь! - вскипел Ямбович.

- Спасибо! Сейчас спою.

Торский дурашливо запел скабрезную частушку из окопного солдатского репертуара. Ямбович демонстративно отвернулся.

Все офицеры уже были изрядно хмельны.

- Не пойму я князя, - шепнул Артемов Аркадию. - Станный какой-то... А ты как относишься к введенным наказаниям?

- Отрицательно.

- В принципе, я тоже... Однако как держать дисциплину? Дисциплина в армии катастрофически падает. Розги и мордобой, конечно, не метод вдалбливания солдату прописных истин, но...

- Уважение.

- Что, уважение?

- Уважение к нижнему чину, тогда и он ответит тем же.

- Ты смеешься, Аркадий. Я должен уважать какого-то придурка из своей роты? Уволь...

- Придурков нет, есть солдаты. Которые, кстати, и составляют армию. Которые тысячами умирают за веру, царя и Отечество.

На лице Артемова удивление, непонимание, вопрос.

- Гм! - не нашелся что сказать он.

- Знал я одного сторонника мордобития. Мы сейчас пьем с тобой коньяк, он же лежит под крестом. Шальная пуля в затылок. Представляешь?

Зеленцов прислушивался к их разговору, Торский брэнчал на гитаре, уронив голову на грудь, но не пел. Ямбович с другими офицерами играли в карты, кто-то уже похрапывал, сидя на стуле. Подполковник Клямин уронил пенсне и хлопал себя по груди, ища его, в этом ему помогал сидящий рядом подпоручик Костенко - офицер из роты Астапова, с которым командир батальона был в дружеских отношениях. Зеленый батистовый платок лежал на столе, весь мокрый.

Из сеней показалась рыжая физиономия денщика Бобкова; убрав со стола кое-какие тарелки, он вынес их и, оглянувшись - на него никто не обратил внимания, - крадучись, нырнул в дверь, ведущую на половину Ганны, хозяйки дома, у которой лампа была погашена уже давно.

Разошлись под полночь.

Аркадий сделал вывод: дружной офицерской семьи в батальоне нет. Есть люди, сведенные обстоятельствами войны, - безразличные или же вынужденные теперь друг друга. Радость встречи с Владимиром Артемовым потускнела.

Перед наступлением, назначенным на двадцать второе мая, Брусилова по прямому проводу вызвал начальник Генерального штаба Алексеев.

- Алексей Алексеевич, вы не находите, что ваше решение начать атаки противника сразу во многих местах несколько необычно? Не разумнее ли отложить наступление вашего фронта и сосредоточить войска и артиллерию на одном участке? Ведь практикой войны доказана целесообразность именно такого ведения наступления - на одном участке.

Брусилов был раздражен.

- У меня все готово к наступлению, войска и артиллерия сосредоточены на выбранных ударных участках. Я верю в успех.

Алексеев продолжал нажимать:

- Подобного изменения действий войск вашего фронта желает сам царь. Я, Алексей Алексеевич, лишь передаю мнение государя.

- Изменять план наступления я отказываюсь наотрез! - вскипел Брусиров. - В противном случае прошу меня сменить. Откладывать день или даже час наступления не нахожу возможным, ибо войска уже стоят в исходном положении для атаки. Пока мои распоряжения дойдут до фронта, артиллерийская подготовка начнется. Вы понимаете это?

- Но...

- Войска при частых отменах приказаний неизбежно теряют доверие к своим командирам, поэтому настоятельно и немедленно прошу сменить меня!

- Успокойтесь, Алексей Алексеевич!

- Не надо меня успокаивать!

- Право же, не горячитесь. Государь уже лег спать и будить его неудобно. А вам советую - подумайте.

Главкомандующий Юго-Западным фронтом разозлился вконец, резко ответил:

- Сон царя меня не касается, и больше думать мне не о чем. Прошу сейчас же дать ответ.

Алексеев помычал в трубку и, помедлив, сказал:

- Ну, Бог с вами, делайте как знаете. А я о нашем разговоре доложу государю императору завтра.

На рассвете двадцать второго мая на назначенных участках Юго-Западного фронта началась артиллерийская подготовка.

И следом пошла матушка-пехота.

Усевая поля, холмы, овраги своими телами.

Поливая майскую теплую землю горячей кровью.

За веру, царя и Отечество!

Рванулся из окопа поручик Астапов, поднимая свою роту.

Государь в этот час еще почивал у себя в Ставке в Могилеве.

ГЛАВА 10

На востоке, за дальними холмами, готовилось выглянуть солнце.

Воздух теплый, свежий и прозрачный, еще не разбавленный белесым зноем дня, размывающим четкость горизонта. Дышится легко, ощутимо, будто пьешь бодрящий напиток,

щедро разлитый над землей. Невидимые в нежно-радостной сини высокого неба, своими песнями приветствуют утро жаронки.

По укатанной грунтовой дороге бричка катит легко, без тряски. Дымок и без понуканий бежит резво.

Еще с вечера Нефадей помыл бричку, положил в нее свежего сена, сверху накрыл чистым рядном.

Нефадей на коленях в передке брички, Аня - позади него, сидит, подобрал под себя ноги, вполоборота к спине Нефадея.

Село осталось позади, ехали вдоль гряды холмов по пойменным лугам, раскинувшись по обеим сторонам речки. Слева за речкой луга переходили в степь, там, где-то далеко, как рассказывал Ане Нефадей, начинались казачьи станицы и тек полноводный Дон.

Вечером Аня легла рано, но ночь провела беспокойно, все боялась проспать. Встала, едва-едва начало светать. Так рано встречать утро ей доводилось редко. Ступала на цыпочках, стараясь не потревожить дядю. Однако он тоже уже не спал.

- Я, Аннушка, всегда встаю чуть свет, привык. Люблю встречать утро в самом-самом его зачатии. Удивительное это ощущение - видеть рождение нового дня!

Они вышли на крыльцо.

Сумеречный свет нес в себе какую-то таинственную торжественность и словно говорил: остановитесь, прислушайтесь, всмотритесь, вы присутствуете при великом таинстве - рождается свет, рождается день!

Было волнующе и светло на душе.

«Как мы порой слепы, как мы обкрадываем себя!» - подумала Аня. Хотелось крикнуть громко-громко: «День! Ты слышишь меня, новый день, я - Аня, встречаю тебя, я жду твоего солнца!»

Николай Иванович нежно обнял ее, поцеловал в висок. Он видел ее глаза. Они сейчас - от Бога.

Когда Нефадей за ней заехал, Аня была уже готова.

- Вверяю ее вам, молодой человек, в надежде, что вы окажетесь достойным кавалером, - шутливо улыбнулся Николай Иванович, отчего щеки у Нефадея мгновенно стали цвета занявшейся зари.

- Он будет достойным кавалером! - в том ему сказала Аня. - Правда же, Нефадей?

Тот с беззащитной простодушностью ответил:

- Буду, - и совсем смутившись, опустил глаза.

- Ну, с Богом! - тоном, будто они отправлялись за тридцать земель, напутствовал их старый учитель.

- Можно, я подержу вожжи? - попросила Аня. - Вы меня поучите править?

- Наука тут нехитрая, - передал Нефадей вожжи. - В какую сторону поворачивать, ту и надо потянуть вожжу. А остановиться - обе вместе. Тпру, Дымок, - и он станет.

Аня сидела рядом, близко, касаясь Нефадея плечом, и он мысленно, как живую, благодарил бричку, что она такая узкая.

- Аня, а я читал книжку Толстого. Называется «Казачи», - сказал он.

- Правда? - Она явно обрадовалась. - Ну, вы молодец, Нефадей! Понравилась?

- Понравилась. Матери вслух читал, она просила, - ей тоже понравилась. Хотел взять про войну и про мир, вы что рассказывали, да нету такой книжки у Козуба.

- А кто такой Козуб?

- Есть у нас один... Любит книжки читать, сундук целый их накупил. Только нету его сейчас дома, забрали, на фронте. Книжку я у Лизаветы, жены его, брал.

Про сало и яйца, которые дал Лизе, Нефадей, разумеется, умолчал.

- Хороший человек, наверное, этот Козуб?

- Павел? Неплохой мужик... За книжки готов все отдать.

- Значит, хороший...

- Выходит так... - Нефадею почему-то не по душе пришлось, что Павел заочно понравился Ане.

- Мама у вас добрая?

- Я ее мамой Наташей зову. Она у нас молодая совсем. А родную мать убило молнией.

- Как же так случилось? - с огорчением и сочувствием спросила Аня.

Нефадей рассказал, как появились в их доме Наталья с Ванюшкой.

- Я вам завидую, Нефадей... - сказала Аня, выслушав. - У вас такие отец, мать... У меня все не так...

Он не понимал, чему такому можно завидовать. Живут, вроде, как все люди... Но что правда, то правда, отца с матерью Нефадей любил, не у всех были такие родители... А у Ани, выходит, родители другие. Какие ж они тогда?

Спросить постеснялся, но с этой минуты у него появилась неприязнь к незнакомым людям - родителям Ани.

Она сидела, примолкнув. «Думает о них», - сделал вывод Нефадей и постарался отвлечь ее.

- Вот так же, наверное, ехал когда-то Оленин, барин тот, на Кавказ... - сказал, посмотрел на Аню.

- Да, да... - машинально ответила она, как он понял, совершенно не восприняв смысла услышанной фразы.

- Аня... - тронул ее за локоть. - А зачем Оленину понадобилось ехать на Кавказ, в эту станицу? Я что-то так и не понял. Мать говорит, что от безделья. Но как так можно, вдруг взять собратсья и уехать? Почему? Отец же сказал, мол, каждый сходит с ума по-своему, так и этот Оленин. С какого ума? Непонятно... Жил, богатый, все у него было, и ни с того, ни с сего уехал. Чего ему не хватало...

- Не хватало. Ему действительно не хватало. Понимаете, он жил среди праздных людей, сам был точно таким, вращался в светском обществе, отдавался удовольствиям. Однако его мучили мысли, что он живет не так, что жить так - пошлость. Праздная жизнь, удовольствия - все это стало противным Оленину. Он захотел понять себя, кто он, что за человек. И он не уехал, он просто бежал от этой светской духоты, он желал жить среди настоящих людей, а не среди титулов, состояний, поместий. Ему казалось, что на Кавказе он увидит таких людей, поймет, разберется в себе.

- Что ж, по его, так только на Кавказе и живут люди? Кто ж тогда те, что живут в других краях?

- Оленин по натуре был мечтательным человеком, его влекло куда-то, он и сам толком не знал - куда. А того, что было рядом, не хотел замечать. Рядом тоже были люди, не только

праздная светская знать. Простые трудолюбивые люди. Однако, как видите, Оленин уехал. Собственно, выбор его, думаю, случаен, с таким же успехом он мог уехать и в другое место. Ему был важен сам факт - уехать подальше.

Аню, признаться, поразило, что Нефадей задумывается над такими вопросами, на которые не так-то легко ответит и искусственный человек.

- Ну вот он приехал, пожил там, в станице, и опять уехал. Выходит, опять потянуло его назад? Посмотрел: мол, нет, лучше вернусь, откуда приехал. Струсил, что ли... Опять не совсем понятно с ним, с Лениным этим. Из-за Марьяны? Если б она согласилась, то, может, и остался бы?

- Все равно бы уехал, возможно, только позже. Марьяна в итоге отвергла его любовь, но если бы этого и не произошло, все равно Оленин не смог бы там жить. Для казаков он был человеком пришлым, чуждым. Они не приняли его. Да и они ему были чужими, и попытки снизойти к ним, до их понимания, ни к чему не привели. Оленин - барин, светский человек, и очень любил прежде всего себя, обманываясь, думая, что любит и других людей. И Марьяну он не любил... Это было нечто другое. В ней он больше любил свою мечту. То есть опять-таки его любовь была обращена к себе же.

- Не любил? - удивился Нефадей. - Интересно... Почему ж не любил? Он ей такие слова говорил... Выходит, обманывал?

- В какой-то степени - да. Марьяна любила его больше, но она была умней Оленина и заглушила в себе чувство, знала, с ним ей не быть никогда.

- Не ровня ему...

- Да дело не в этом даже...

- А в чем же?

- Не знаю, как и объяснить вам, Нефадей. Наверное, я и не сумею. Это как-то надо... прочувствовать, что ли... Не обижайтесь, я правда не знаю, как объяснить...

- Так и получается: люди разные, одни - господа, а другие... И не суй носа, сразу отвадят. Вот и не ровня получается... Мы с вами тоже не ровня... - Сказав так, Нефадей не на шутку испугался, как бы Аня не обиделась. Упрекнул себя за язык.

Аня, однако, рассмеялась:

- Ой, ну что вы такое говорите, Нефадей! Какая же мы неровня? Мы с вами вот едем, сидим рядышком, разговариваем, а вы такое сказали. Вы здесь у меня единственный и самый настоящий друг. Правда!

- Друг... - еле слышно повторил Нефадей.

Дымок сбавил бег и перешел на неторопливый шаг. Нефадей про себя похвалил Дымка - ни к чему торопиться. Ехать бы и ехать так, рядом с Аней... до самого Кавказа, где когда-то барин Оленин влюбился в простую казачку Марьяну. Все равно не верил Нефадей, что Оленин не любил ее. Любил, еще как любил! А она... Но Бог с ними, то было давно, и правда ли?

Дядя у Нефадея был человеком веселым.

- О! Нефодька, чи ты невесту до нас на смотрины привез? А? От так молодец! - первым делом воскликнул он, встречая гостей, чем немало их смутил.

- Скажете, дядь, тоже, - покраснел Нефадей. - Колеса вот привезли, отец велел. Ступицы в них негожие, заменить надо.

- Колеса? - разочарованно произнес дядя Федор. - Тьфу, колеса! Я думал, на свадьбу явились нас приглашать, а он мне - колеса! Ладно, ладно, подправим, чего ж, раз батька велел. - Обратился к Ане: - Ты, дивчина, гляжу, не наша, с городу?

- Будет тебе языком плести! - одернула дядю Федора жена, крупная, статная тетка Сима. - Совсем засмущал ребятков.

- Ты, мать, не встречай, когда серьезные люди о серьезных делах балакают, - с напускной назидательностью отговорился тот. - Лучше послухай со стороны, пользительней оно будет. Так с городу?

- Да, - кивнула Аня. - Из Тулы.

- Из Тулы?! - присвистнул дядя Федор. - Ото так! И к кому ж приехала? Что-то я и не припомню, кто ж из наших, подгорьевских, сродственников в Туле имеет.

- К Николаю Ивановичу, учителю, - вместо Ани ответил Нефадей.

- Я ж, дорогой племянничек, не тебя спрашиваю, - пожурил его с вкрадчивой ласковостью дядя Федор. - Вот тет-

ка твоя послушалась меня, стоит и не мешает разговору, и ты покамест постой. Мне с дивчиной охота побалакать, а с тобой опосля. - Повернулся опять к Ане: - И как же тебя звать?

- Аня.

- Аня? А я - Федор Степанович. Гарная ты дивчина, Аня! Так, Нефодька? - Тот стрельнул на дядю глазами. - Не зыркай, не зыркай! И имя гарное у тебя - Аня. Ага. - Тетка Сима опять что-то хотела сказать, но дядя Федор предостерегающе поднял руку. - К Николаю Ивановичу приехала. Душевный человек твой дядя... Ну, а самовара тульского не привезла? Добрые самовары там, в Туле, умеют делать. У нас в хате тож самовар стоит, ваш, тульский. Распалишь, как локомотив пыхтит. Добрый самовар. В Калаче таких и нету. Знаешь, где купил? Аж в Таловую ездил, станция такая, там и купил у одного на постоялом дворе. Похоже, стянул он его где-то, самовар не новый, глаза у того ханурика бегают, быстрее бы всучить его кому. А тут я. Давай, говорю. Вот так по дешевке и купил я самовар. Локомотив! Новый, он, може, и хуже б еще попался. Из Тулы, значит... Да, не до самоваров щас там, видать. Заместо самовара все орудия делают. Война, будь она трижды неладна! - Дядя тьфукнул и некрасиво сплюнул под ноги.

Тетка Сима укоризненно покачала головой и устала на мужа строгие глаза.

- С дороги подморились, надо и подкрепиться, - сказал как о деле решенном.

- Мы совсем не устали, Федор Степанович, и есть не хотим, - попыталась отговориться Аня.

- Как так не уморились и есть не хотите? - не захотел тот и слушать. - Они не заморились! И есть не хотят! Десять верст целых проехали! Пусть будет по-вашему - не заморились, а есть - никаких, и слышать не хочу, когда встанете из-за стола, тогда поверю. Давай, Нефодька, распрягай Дымка, та и сядем за стол.

Тетка Сима подошла к Ане, стоявшей в нерешительности, доверительно взяла за руку.

- Поснидайте с нами, а там отдохнете с дороги. Хоть и не так далеко, а все ж пока доедешь, уморишься.

- Знаете, а мы быстро доехали, даже и не заметили, - сказала Аня.

- Оно так, когда вдвоих. А одному дуже нудливо. Давайте, Анечка, я вам щас полью на руки. Щас, рушник вынесу, подождите.

- Тетя Сима, меня не надо на «вы» называть, ладно? - сказала Аня, когда та поливала ей.

- Ну, тоди так и ладно. Так и буду называть - Анечкой. Правда, гарное у тебя имечко, мне нравится очень. Как же ты удумала к нам приехать? Знаешь, стало быть, Нефодьку?

- Знаю. Мы уже третий раз встречаемся. Я кроме него ни с кем в селе и не знакома.

- Ото! Третий, говоришь? Ну-у...

- Я сама-то и напросилась, мне здесь все интересно. Утро такое чудесное было!

- Утра летом - они такие, глаз радуется, и душа песню спивает. Вот и хорошо, что приехала, - и тебе в диковинку, и Нефадею повесельше.

Стол накрыли во дворе, под раскидистой старой яблоней. Неподалеку топилась сложенная из камня печь, увенчанная на конце дымовой трубы старым, без дна, ведром. От стоявших на печи чугунков шел вкусный запах.

Парком дымилась отварная картошка, стояла большая миска с ячневой кашей, потел боками глечик молока, блестели капельки на стеблях помытых, только что сорванных с грядок лука и чеснока, румянились корочкой ломти хлеба, и густо пах мед - сотовый, нарезанный в миске большими кусками. Такого меда, в сотах, Ане не доводилось еще и видеть.

- Кхм, кхм! - оглядел стол Федор Степанович.

Тетя Сима поняла мужа без всяких слов. Но с места не сдвинулась и продолжала сидеть. Взглянув на жену, Федор Степанович удостоверился, что одними междометиями тут не обойдешься.

- Мать, кажись, чегой-то не хватает?

- Сиди, сиди, - сказала она неприступно. - Всем всего хватает, одному тебе муляет.

- Не, мать, ты хоть гляди на меня, хоть не гляди конфуз-но, а при таком случае требуется. Гости такие у нас, грех,

мать. Неуважение получается, прям-таки некультурно как-то получается.

- У мертвого из души вытянет! - безнадежно махнула рукой тетя Сима и спустилась в погреб.

- Горилочку возьми, да наливку вишневую не забудь, чтоб не пришлось ворочаться следом, - бросил Федор Степанович вдогонку жене.

На столе появилась бутылка самогона, заткнутая кукурузным початком, и графин из зеленого стекла с вишневой наливкой.

- Теперь будто все на месте, - сказал довольный Федор Степанович. - Горилки нам с тобой, мать, а наливочки молодым плесни.

- Солнце поднялось, уже такое жаркучее, туда дальше и совсем запечет, а он - горилки. Колеса-то как ладить будешь посля?

- Хо, колеса! Как миленькие слажу! Жарко? Ничего... Жар, как говорится, костей не ломит. Так говорю, дочка?

- Да, есть такая пословица, - ответила Аня. Ей было забавно наблюдать, как настойчиво, но весело, шуткой, добился Федор Степанович желаемого.

- Наливай, мать! Видишь, Аня и то со мной согласная.

- Сам наливай! - Потом спохватилась: - Ладно, ладно, погодь, а то знаю тебя, ты нальешь, себя не обидишь!

Аня как ни отнекивалась, немного пригубила вишневки - все Федор Степанович. Нефадей тоже выпил чуть-чуть.

- Мать, - помолчав не более полминуты, заговорил Федор Степанович. - Ну-ка заглянь в глечик, сдается мне, жаба там пузыри в молоке пускает.

- Федор, перестань молоть непотребное! - прикрикнула на него тетя Сима.

Он повернулся к Ане.

- В погребе у нас прохладно, жабам там днем раздолье, вот они и сигают в глечики, как пить захочут. Сигнет в молоко, напьется, а вылазить неохота, в молоке, оно, конечно, ей больше нравится, чем по земляному полу ползать. Раскинет лапки и лежит на пузе, жирует, пузыри пускает. А возьмешь глечик, она - нырь на дно и сидит, прижухла. Я раз пить за-

хотел - в погреб, взял глечик и пью. В нем жаба - я, понятно, не знал - на дне сидела. Ну, она с перепугу - сиг, да прямо в глотку мне! Чуть не захлебнулся. Кой-как за лапки вытащил, проклятую. Вот такую чуть смерть не принял от жабы.

- Не слухай ты его, Аня, брехуна старого. Он набрешет, дорого не возьмет, - успокоила тетя Сима девушку. - Нету никакой жабы, пей молоко, не бойся. А ты помолчь, с аппетиту людей сбиваешь!

- Ничего, я не брезгливая, - улыбалась Аня. Веселый человек Нефадеев дядя.

Прыскал и Нефадей. Кроме него никто не заметил, как дядя под шумок опрокинул еще стаканчик и теперь потребовал снова:

- Ну, наливай, мать, еще по разу, и будет. Верно говоришь, жарковато сегодня. А про жабу, Аня, я и вправду чуток того... по-культурному ежели сказать, малость сморозил. Но на Украине, откуда предки наши, - жабы там в почете.

Это точно, рассказывали. Сажают ее в глечик, чтоб не скисло молоко. Жабы, они холодные, у-у!

Хорошо было Ане за таким столом, с этими простыми людьми. Разве сравнить их с теми, кто бывал у них дома в Руле - жеманные, вычурные, напыщенные. Как хорошо, что она приехала в Подгорье, узнала Нефадея, Федора Степановича, тетю Симу...

- В хату, може, пройдете, там попрохладней, отдохнете? - предложила тетя Сима, когда встали из-за стола.

- Да нет, - Аня посмотрела на Нефадея.

- Не, мы на улице побудем, - сказал он.

- В садок сходите, вишни там уже начали буреть, покислите, - сказал Федор Степанович. - Не то на речку сгуляйте, она недалече, ты ж знаешь, Нефодька, вон, за огородами сразу. Я б щас сам скупался с пребольшим удовольствием, да колеса меня твои, Нефодька, ждут. А батька сказал, чтоб сегодня и привез их назад?

- Ага.

- Ишь! - хмыкнул дядя и ничего больше не сказал.

- Может, подмогнуть вам, дядь Федь? - спросил его Нефадей.

- Ступайте, ступайте, не надо мне подмоги, я сам управлюсь.

Аня и Нефадей ушли в сад.

Федор Степанович не спешил браться за колеса.

- Ты думаешь робить их? - не выдержала тетя Сима, видя, как муж слоняется по двору, не в меру наморщив лоб, о чем-то раздумывая.

- Погодь ты, - отмахнулся он. - Успеется.

- Да когда ж успеется! - всплеснула она руками. - До ночи Нефадей ждать будет? А потом в ночь и поедут? Голова ты неразумная!

Федор Степанович ничего не ответил, заспешил за ворота, услышав там скрип телеги.

- Эй, Галавоня! Едешь куда?

- На мельницу!

- О! Ты-то мне и нужен! Заедь к брату моему, Трофиму, и передай, что Нефадей сегодня не приедет, у меня переночует, потому как завтра только сделаю колеса. Понял? Да скажи, чтоб к учителю сходили, к Николаю Ивановичу, предупредили - Аня, племянница его, тоже приедет завтра. Скажут пусть, что все в порядке, беспокоиться нечего, мол, у Федора Мещерякова она с Нефодькой, племянником его, задержалась. Так ты понял? Сполнишь, как сказал?

- Отчего ж, перескажу, все одно мимо ехать.

- Ну спасибо тебе, Галавоня! Назад будешь ехать, загляни ко мне, чаркой угощу. А то, може, сейчас?

- Не, сейчас жарко, ехать надо.

- Тогда ехай! Спасибочки тебе, што в нужный час попался. Не забудь, смотри!

- Не забуду.

Тетя Сима, слышавшая весь этот разговор, подступила к мужу:

- Чи ты сказився, дурень старый! Залил лупалки, так теперь ему и делать ничего не охота. Знала, напоила б я тебя! Колодезной водой! Ведро заставила б выпить!

- Постой, не шуми особливо, - миролюбиво остановил он ее кипучую, нервную речь. - Не понимаешь конфигурации момента, так спросила б лучше, чем попрекать та нерву портить. Себе,

та к тому ж и мне. Колеса плевое дело перебрать, на полдня работы. Поняла? - Она ничего не понимала. - Не к такому уж спеху они Трофиму и нужны. Тут закваска идет с другой стороны. Не поняла?

Нет, опять ничего не понимала тетка Симка.

- Дальше слухай, раз тугая на догад. Долго чтоб не объяснять, спрошу так: с кем приехал Нефадей?

- С Аней. И дальше чего ж?

- Ох, и непонятливая ты, мать! - начал понемногу сердиться Федор Степанович. - Узрела хоть, как он глаза на нее ставит?

- Вроде... чегой-то и правда он на нее глядит, и то похмурится, то будто засветлеет. Я было подумала, да... Городская ведь...

- Вроде! Подумала! Ну и что, что городская, не с того теста сделана, что ли? Поняла теперь правильную мою линию? Пускай погуляют сегодня, переночуют у нас, завтра еще побудут, а к вечеру и поедут домой. У нас тут тихо, благодать, глаз чужих нету, стеснения им меньше. Сама-то, дура, забыла, как была молодой? Помнишь, как я тебя?.. Эх! Был я хлопец холостой! Ну, а теперь поди принеси, я еще чарочку выпью. Ты уже теперь у меня понятливая, разумная. В нутрях что-то скушно, две там всего, третью добавлю, може, чуток полегче, повеселей станет. Иди, иди, Сима, уважь мужа своего.

Когда Нефадей с Аней вернулись и все сели обедать, Федор Степанович, который на сей раз за столом вел себя, по мнению тети Симы, вполне чинно, не став даже выпрашивать чарочки, почесал затылок и, глядя на Нефадея, спросил:

- Домой сегодня думаешь?

- Сегодня. Отец сказал, чтоб сегодня.

Федор Степанович помялся и с некоторой виноватостью сказал:

- Сегодня - это хорошо... Да незадача получается, не успею я колеса-то сегодня сладить. За день разве мыслимо успеть. Он, батька твой, будто не знает, что с ними два дня возни, не мене. Придется подождать, переночуете у нас, а завтра и поедете. Думаю так, что до завтрашнего полудня закончу.

Нефадей растерянно посмотрел на дядю, на Аню.

- Переночевать? Я-то ничего. Аня вот... Дядя о ней беспокоиться сильно будет. Не, мы поедем. Я потом сам завтра колеса заберу.

- Аня, а все ж лучше оставайтесь, а? Не нравится у нас?

- Нравится, Федор Степанович, - искренне ответила Аня. - Мне очень нравится у вас, только... Дядя будет беспокоиться. Он же ничего не знает, я сказала, что вернусь сегодня.

- А то б осталась?

- Если б он знал, осталась. А так он всю ночь не будет спать. Надо ехать.

- Ерунда! - торжествуя воскликнул Федор Степанович. - Порешили, остаётся! Дядя твой уже знает, что ты в целости и сохранности, что ночевать будешь у нас. И батька твой, Нефодька, знает.

- Как?.. - Глаза у Ани удивленные, непонимающие. Федор Степанович мастер говорить загадками.

- Так! Галавоня, наш хуторской, поехал на мельницу. Как вы ушли, он и уехал. Я ему и наказал, чтоб предупредил всех там, что вы останетесь у меня. Так что дядька Федор у тебя, Нефадей, человек рассудительный и предусмотрительный. Скажи ему спасибо, что он есть у тебя.

- Спасибо, - пробубнил племянник; не надо было быть особо наблюдательным, чтоб увидеть Нефодькино счастливое лицо.

- Ну, Федор Степанович! - рассмеялась Аня, погрозив пальцем. - До чего же вы предусмотрительный!

- Я такой! - похвалил себя тот и похлопал ладонью по груди.

- Вам в хате постелить? - спросила тебя Сима, когда начало смеркаться.

- В хате! Кто ж летом спит в хате, - вмешался дядя Федор. - То одни бабки с дедами и летом с печи не слезают. Молодым на воле, на свежем воздухе лучше спится.

- Я в бричке лягу, - сказал Нефадей.

- А тебе тогда, Анечка, здесь, под яблоней постелим. Сенца натрусим, пахнет оно страсть как духмянно, не воздухом, адикалоном дышать будешь, - решил за нее Федор Степанович.

- С удовольствием! Я никогда не спала на сене.

- Не спала? Теперь поспишь, вспомнишь потом когда-нибудь опосля, как гостевала у нас, на сене спала. Лучшей постели летом никакой не бывает. Давай-ка, мать, неси подушки, а я пока за сеном схожу.

Дышит ночь щедро оставленным солнцем теплом.

Не спят, заливаются радостными трелями проснувшиеся сверчки - теперь их время. Никак не наладят свой хор разногласные квакуны. Бесшумной тенью мелькнет летучая мышь. Вскрапнет лошадь, пасущаяся на лугу. Пискнет ночная пичуга и долго потом молчит, прислушиваясь.

Распрямились в нетерпеливом ожидании травы - умыться свежей росой. Темными копнами яблонь и груш замерли сады. Веет с полей поспевающим колосом.

Дыхание, локоть к локтю - касание, замерло сердце, глаза - в небо, прочертила последний свой путь звезда, когда же опять упадет, загадать бы желание, успеть бы... Желание...

И луна светлая, но все ж ночь, раз-другой споткнулась Аня, капризно-шаловливо воскликнула:

- Ну же, Нефадей! Руку мне дали б хоть, а то растянусь сейчас. Вы хотите, чтобы я упала?

- Вы тут... Раздевайтесь, берег чистый, удобно будет, - оставил Нефадей ее руку, когда подошли к речке, тайком смотрел на Анино лицо. Лунный свет, улыбка на нем и глаза в полумраке. Ее глаза... - А я вон туда, - показал за кусты камыша.

- Ой, ой, хорошо! - вошла она в воду.

- Аня, плывите сюда! - крикнул.

- Сейчас! - Раз! Зажмурив глаза, бросилась в объятья воды. - Прелесть! Какая прелесть вода!

Их разделяет лишь вода. Белеет гибкое Анино тело в темной воде, протяни руку - вот оно. Нет, не может вытянуться рука. Не стыд - ощущение неверия в чудо. Аня и он, звездное небо над ними... Плеснула ему в лицо. Легонько - он тоже. Вьются в воде их тела, смелее, смелее и ближе, - брызги, счастливые глаза.

- Ой, перестаньте, не надо, а то я утону! - смеется Аня. - Поплаваем тихо. До чего же ласковая вода!

Вволю накупались, поплыли назад, пора одеваться.

- Я волосы намочила! - без огорчения сказала Аня. Нефадей стоит рядом с ней, оделся он скоро. - Ну ничего, высохнут.

Стекают капельки по ее лицу. Подолом своей рубахи он вытер его.

- Не надо, зачем вы... - смутилась Аня.

- Надо, мокрое ж... - Его пальцы касаются ее щек, носа, шеи.

- Пошли? - взяла его опять за руку. - Нефадей... А давайте на «ты»?

- Аня...

- Пошли, пошли, чего вы остановились? Смотрите, смотрите! Звезда упала! - Огорченно: - Падает быстро, не успеешь и желание загадать... Нефадей... Ты веришь, что если загадаешь желание, оно может исполниться?

- Не знаю. Как-то не думал, - не загадывал он еще их никогда, не было у него больших желаний, чтоб страстно мечталось об их исполнении. А сейчас?..

- А я почему-то верю... Хоть и понимаю, ерунда все это. Просто хочется верить...

И ушли от них слова. Шли молча, рука в руке, осторожно вел Нефадей Аню, напряжинивался, оберегая, чтоб не споткнулась, не упала. И оба нет-нет да и вскинут к небу глаза, - может, ждали падающей звезды, чтоб загадать желание?

ГЛАВА 11

Впереди, на неприятельской стороне, горело село.

Роты батальона шли красиво - цепь за цепью.

Бросок через нейтральную полосу - и передние цепи уже у проволочных заграждений противника. Мощный артиллерийский огонь разметал заграждения, но все равно не мог пробить в них сквозные бреши, искореженная полоса заграждения из более чем десяти рядов колючей проволоки оставалась серьезным препятствием.

Потрясенный артподготовкой противник пока молчал.

Казалось, еще минута-две - и роты, перескочив заграждения, ворвутся в первые траншеи противника, и дальше их уже не остановить.

Едва передовые цепи достигли заграждений, заработала вражеская артиллерия и пулеметы.

Где только что стояла стена разрывов от нашей артиллерии, вновь расцвели черные взрывы, теперь уже от снарядов противника. Пулеметный огонь усугубил положение наступающих. Батальон увяз в полосе заграждений, сразу же понес большие потери. Боевые порядки рот перемешались.

- Вперед! Только вперед! Не останавливаться! - передал по цепи Астапов. Он понимал: если рота замешкается, прижмется к земле на полосе заграждений, здесь она и останется, в течение нескольких минут все будет кончено.

- За мной! Вперед, ребята!

Только бы добежать до окопов, только бы добежать! Там уже будет легче, там не будет артиллерии противника, нос к носу с врагом, и тогда - кто кого.

Не слыша в грохоте разрывов собственного голоса, падая, в клочья изорвав о проволоку мундир, не видя в дыму и пыли, идет ли за ним рота, - лишь несколько солдат бежали рядом с беззвучно оскаленными в крике ртами, - Астапов, размахивая револьвером, рвался вперед. Под ноги ударила пулеметная очередь. Не останавливаясь, поручик метнулся вправо и, повернув голову, совсем близко, слева от себя, увидел блиндаж, на удивительно белой бетонной лобовой стене которого хищно чернела амбразура, огрызающаяся прерывистыми короткими языками пламени.

В несколько прыжков Астапов оказался сзади блиндажа. Дверь его была распахнута. На мгновение остановившись, рядом с собой увидел двух своих солдат. Один из них торопливо отстегивал гранату. Руки у солдата тряслись, казалось, он возится с гранатой целую вечность.

- Да кидай же! - не выдержав, закричал Аркадий.

В проеме двери показалось перекошенное от ужаса лицо, и следом грохнул взрыв. Немца подбросило, он упал с разможенным затылком. Аркадий прыгнул в дымившийся проем двери.

Остановился, озираясь. Хлопнул выстрел, пуля обожгла ухо. И тут Аркадий увидел немецкого офицера. Тот сидел на полу с окровавленным животом, привалившись спиной к стенке блиндажа. Одной рукой зажимал живот, другая держала пистолет. После выстрела слабеющая рука офицера опустилась, и теперь он снова поднимал парабеллум, с искаженным от боли и злобы лицом. Аркадий оцепенел и с ужасом смотрел на круглый черный зрачок пистолета, казалось, нацеленный ему прямо в переносицу.

Кто-то сильно толкнул его в бок, Аркадий упал.

- В душу гроб мать! - Солдат, кинувший гранату, носком выбил у офицера пистолет и всадил ему в грудь штык.

Офицер нутряно хлипнул, изо рта у него обильно потекла кровь, обеими руками он схватился за штык и захрипел.

Солдат, бросив воткнутую в грудь немца винтовку, кинулся к Астапову, помог подняться. Того била мелкая дрожь.

- Какого рожна, ваше благородие! - грубо облаял солдат своего командира. - Чего лупали глазами, не стреляли! На тот свет захотелось?

Потом, сообразив с кем разговаривает, сразу остудился:

- Извиняйте, ваше благородие, вгорячах матюкнулся... - Вытащил из груди затихшего уже немца винтовку и вытер штык о брюки того.

- Ничего, братец. Спасибо тебе. Ты жизнь мне спас, представлю к награде.

- На што она мне, награда, - криво усмехнулся солдат. - Грех на душу взял, человека убил, а мне - награда... - Тронул носком сапога убитого: - Сам же ты, дурак, виноват, не бросил пистолет, как же мне тебя было не убить?

Все, успокоился, уже на том свете, бедолага. И эти тоже, - на полу лежало еще два трупа.

- Как фамилия?

- Усачев, ваше благородие.

- Пошли, Усачев, отсюда. Что-то там наверху?

У входа, раскинув крестом руки, лежал убитый солдат, тот, что был рядом с Усачевым в момент, когда он кидал в блиндаж гранату.

- Наш? С нашей роты?

- Наш, ваше благородие...

- Фамилия?

- Не знаю, только с пополнения он, два дня и пробыл в роте...

Батальон, понеся большие потери, все же проскочил по лосу заграждений и выбил немцев из первой линии их обороны. Бой перекинулся к селу и в само село.

В огородах крайних домов прапорщику Зеленцову оторвало под самый пах обе ноги. Обрубленное тело корчилось в предсмертных конвульсиях. Над Зеленцовым на коленях стоял, в годах уже, солдат с размотанными, измазанными кровью и землей бинтами и пытался ими перевязать прапорщика. Перевязывать было нечего - сплошное месиво развороченного мяса, крови и костей.

- Оставь, братец, ему уже не поможешь, - сказал солдату Астапов, вглядываясь в обескровленное, искаженное предсмертной гримасой лицо Зеленцова.

- Как же так? Как же так?! - с мольбой смотрел солдат на поручика. И опять засуетился с бинтами, измазав руки хлеставшей кровью. - Ваше благородие, я сейчас! Я сейчас! - перевернул обрубок тела Зеленоцова на спину - конвульсии пружиной бросали его тело по земле. - Сейчас, сейчас я перевяжу. Я сейчас, я сейчас! - заладил бесконечное свое «я сейчас» солдат, возя бинтами по красному месиву.

Зеленцов дернулся и успокоился. Кровь перестала хлестать - текла ленивым ручейком. Солдат всхлипнул и опустил руки.

- Василий Григорьевич... зачем же ты так... - заупокойным рыдающим голосом, от которого Астапову стало зябко и подкатила к горлу тошнота, укорил солдат мертвого уже прапорщика.

Мелькнула мысль: «Почему солдат называет его Василием Григорьевичем? Знает близко?» Но спрашивать солдата не стал.

- Поднимайся, Степанов, пошли, - тронул солдата за плечо, оказавшийся рядом Усачев. - Побегли ближе к домам, а то быстро нас срежут тут.

Солдат поднялся и, все оглядываясь на убитого Зеленцова, побежал за Астаповым и Усачевым.

Рота Аркадия вела бой уже на улицах села.

Огромными трескучими кострами пылали дома. По улице среди взрывов и пламени металась обезумевшая лошадь. Осколком, как бритвой, ей располосовало брюхо, вывалившиеся кишки волочились по земле. На всем скаку лошадь наступила на них задними ногами и упала, перевернувшись через хребет, опять вскочила, но ноги не держали, и лошадь повалилась набок, вытягивая шею, с диким ржанием опять и опять пытаясь подняться.

Заскочили во двор. Посредине - воронка от снаряда. Возле погребка лежал старик с седой окровавленной бородой, а рядом - женщина с грудным ребенком. Мать лежала на боку, приживая запеленатого ребенка к груди.

Осколок, ударив женщине в спину, насквозь прошел и ее, и ребенка. Обстрел начался неожиданно, не успели добежать до погреба...

Волей-неволей к виду убитых солдат на фронте привыкают. Но старик, женщина, ребенок... Астапова потрясли эти три смерти.

В горящий дом ударил снаряд, осыпав всех искрами. Астапову запорошило глаза, и он, оборванный, измазанный, грязным кулаком протирал их, укрывшись за каменный сруб колодца в углу двора.

К полудню бой начал утихать. Немцы отошли, оставив и вторую линию обороны. Здесь они обосновались с комфортом. В офицерских блиндажах и пол, и стены, и потолок обшиты тесом, в некоторых стены даже оклеены обоями. Почти домашний уют. Да еще с оставленным в спешке запасом разнообразных горячительных напитков.

Роты убитыми и ранеными потеряли почти половину своего состава. Летучему лазарету дел было по горло.

Поручику Торскому пуля навывлет пробилась грудь и задела легкое. Ямбовича ранило в шею - касательное ранение, однако идти в лазарет он отказался, остался в строю. У Владимира Артемова - ни царапины. У Астапова - тоже, если не считать изодранных в кровь коленей и царапины на ухе.

Денщика его, застенчивого, как девица, который приглянулся Аркадию сразу по прибытии в роту, ни среди убитых, ни среди раненых не оказалось. Усачев, находившийся все время возле поручика, сказал:

- Шарахнуло, видно, беднягу, прямым попаданием шестидюймовки, одна фамилия от него у писаря только и осталась...

- А что, Усачев, будете моим денщиком?

- Желаете, буду, - без особого энтузиазма ответил Усачев.

- Зовут вас как?

- Андреем будто.

- Почему будто?

- Я тут и позабыл давно, как меня кличут, - Усачев да Усачев.

- А по бабушке?

- По бабушке? - удивился Усачев. - Зачем по бабушке?

- Ну как же, я должен знать.

- Его тоже так звали. - Усачев смотрел на поручика уже с любопытством.

- Стало быть, договорились, Андрей Андреевич?

- Договорились, ваше благородие, - с заметным оживлением закивал солдат.

- Еще раз хочу сказать вам спасибо, Андрей Андреевич. Не вы, быть бы мне сейчас...

- Не стоит, ваше благородие, того вспоминать. Обошлось, и слава Богу. - Усачев чувствовал себя явно неловко.

Офицеры батальона собрались в просторной землянке. У всех осунувшиеся лица, настроение подавленное. У одного Ямбовича лицо просветленное. Он - герой дня: раненый подпоручик отказался отправиться в тыл и после гибели Зеленцова остался командовать третьей ротой.

- Господа, у нас даже есть музыка! - весело воскликнул он, увидев граммофон, и поставил бравурный немецкий марш.

- Уберите это дерьмо, подпоручик! - раздраженно бросил ему Костенко - командир взвода роты Астапова.

- Пожалуйста! - Ямбович ленивым, замедленным движением снял пластинку. - Только почему вы так раздражены,

при чем здесь я, если вы не в духе, уважаемый подпоручик? - Тон снисходительно-презрительный - Костенко был в том же звании, что и Ямбович, но гораздо старше возрастом, а командовал пока только взводом. Своим положением командира роты Ямбович гордился.

- А я никак не пойму, отчего, собственно, вам так весело? Наслаждаетесь своим благородством?

У Ямбовича задрожала нижняя челюсть:

- Вы оскорбили меня, - тихо сказал он, зло глядя на Костенко. - Если бы не война, я вызвал бы вас на дуэль, господин Костенко. А сейчас я вправе потребовать от вас извинений.

- Да пошли вы, знаете куда! - сплюнул Костенко и посмотрел на подполковника Клямина. Тот кисло сморщился, длинно выругался и отвернулся: - Вы бросьте замашки спесивого кадетика. Дуэль! Ха-ха-ха! Ямбович, давно прошли те времена благородных дураков, убивающих друг друга за такие мелочи, вроде громкого сморкания в присутствии дамы. И не корчите из себя девственную институтку!

- Прекратите, идиоты! - не закричал, завизжал Клямин, потрясая руками. Таким его видели не часто. Налившиеся кровью глаза горели бешенством. - Нашли время!

- Впрочем, ладно. Извините, Ямбович, - сказал Костенко, решив не доводить дело до крайностей, - он уважал Клямина. - Все мы ходим под одним Богом. Все...

Ямбович, кажется, был удовлетворен. Удивительно быстро он мог переходить от одного настроения к другому.

- И дали же мы им сегодня, господа! - захлебываясь от восторга, по-мальчишески, словно речь шла о потасовке гимназистов, окончившейся разбитыми носами, рубанул он ладонью, как саблей, воздух. - Ну и драпали они!

- Дали... - невесело усмехнулся Артемов. - Еще одна такая атака, как сегодня, и от моей роты останется один ее номер. Кроме меня и Елагина, в роте нет ни одного офицера. Что делать, Алексей Кузьмич?

Тот сегодня пил из немецких бутылок, и лысина у него не потела, батистовый зеленый платок пока лежал в кармане. Вопрос Артемова был ему неприятен, Клямину было вообще сейчас все противно. Подвижной летучий лазарет, в котором

служила Зоя Борщева - неизвестно где, и подполковник томился, не имея никаких сведений, и пытался разузнать по полевой связи. Тревожился за Зою: подвижные лазареты разворачивались у самой передовой и нередко подвергались артобстрелам.

Подполковник никогда не имел семьи, к женщинам относился с легкостью, не снисходя до того, чтобы хоть одна запала в его сердце. Встретив же здесь, на фронте, некрасивую Зою Борщеву, - многие офицеры, узнав об их связи, презрительно фыркали: докатился подполковник, самой лучшей рыбой считает воблу! - открыл вдруг в себе другого человека, который раньше был неведом ему; подполковник понял, что любит Зою, и что раньше не любил никого. Мечтали с Зоей: вот кончится война, он уйдет в отставку, поселятся в маленькой деревушке в Курской губернии, где у Зоиных родителей имелось небольшое имение. Клямин устал, он хотел покоя, маленького счастья и чуть-чуть денег; он уже видел русоволосых милых своих детей - двух мальчиков и двух девочек, он решил (разумеется, с Зоей), что у них будет четверо детей, не меньше. Он не будет пить, жить будет тихо, отдавая себя всего детям и жене. Но сейчас идет война и он не может отставить стакан - ему страшно, все чаще в голове навязчивая мысль, что его убьют. Зоя успокаивала, а за чрезмерное употребление высокоградусных напитков не нудно журила, понимая: не отучить Клямина здесь, на войне, от дурной привычки.

И вот сейчас, после боя, мрачные мысли о судьбе Зои скребли душу. А эти желторотые щенки - со своей спесью!

- Ставьте на взвода фельдфебелей. Будем надеяться на пополнение.

- А если нет и фельдфебелей?

- Черт возьми! Ставьте унтеров!

- Ясно... Придется унтеров... - с кислым выражением лица сказал Артемов. - Когда ж оно прибудет, пополнение...

Ямбович изумленно смотрел на подполковника.

- Алексей Кузьмич, на взвод - и унтеров?! - Растерянно оглядывал собравшихся. - Это почти тот же солдат! Сравнять с офицером - дико!

- Не так дико, как вам кажется, - с несвойственной ему до сегодняшнего дня жестокостью проговорил командир батальона. - Понадобится - поставите и солдат! Если они к тому времени у вас останутся... Наш долг - победить. Любой ценой, любыми средствами и быстрее. Вы присягали царю и Отечеству? Вот так-то. И свой долг офицера мы должны выполнять до конца. И того же солдата заставить прочувствовать на своей шкуре, как нелегко и непросто быть офицером. И здесь... - Клямин прервал фразу и подумал: зачем все это он говорит? Кому это нужно? Да провались все пропадом! Они - командиры рот, пусть и думают. Его дело приказать. Не родит же он, в самом деле, им взводных. Впрочем, какого черта! Пусть делают что хотят! Плевать на все. - Пробуйте, пробуйте, господа офицеры, германские трофеи. Все ж дерьмо. Как по-вашему? Наши коньяк и водка ни в какое сравнение не идут - лучше. Пейте, господа...

Ямбович ничего не возразил подполковнику. Он его сейчас просто презирал - размазня и неотесанность, откуда берутся такие офицеры в русской армии, Боже! Повертел раненой шеей и сморщился от боли. Решил сегодня выпить побольше, чтобы алкоголь сыграл роль обезболивающего наркоза. Он чувствовал себя натурой тонкой и по складу ума - намного выше здесь присутствующих.

- Ямбович, он откуда, кто он? - тихонько спросил Аркадий Артемова.

- А черт его знает! Говорят, отец у него ювелир, в Ростове, что ли. Словом, точно не знаю. Он не очень-то раскрывается. Ну, как тебе французский коньяк? Мне кажется - ничего. О черт, вдруг завтра опять приказ наступать... С кем? Ужасные потери...

- Ты Торского не видел?

- Нет. Господа, кто последним видел Торского? Сильно его?

- Как вы считаете, штабс-капитан, навывлет в грудь - это сильно или нет? - ответил кто-то из роты Торского. - Князя ранило в начале боя, едва он выскочил из окопа. Вскоре и отправили в тыл. Ничего, в сознании был, мы с ним прощались, обещал опять к нам вернуться.

- Зеленцова, бедного, пополам перерезало... Сколько он у нас? Месяца два, не более, пробыл. Первый бой, и... - Аркадий обвел взглядом офицеров, из роты Зеленцова был лишь один.

- Н-да, - произнес Артемов. - Вот тебе и мир с приемлемыми условиями для обеих сторон...

- Не надо так говорить о погибшем, - хмуро посмотрел на Артемова Костенко.

- Помилуйте?!

- Вы говорите с сарказмом, будто его гибелью вы даже удовлетворены.

Подполковник взял Костенко за плечо:

- Не будем сегодня об убитых. Вы пейте, пейте, господа, неизвестно, что будет завтра. Не говорите о смерти. Ради Бога!

- Вы ошибаетесь, - как можно корректней постарался ответить Артемов Костенко, заводиться у него не было никакого желания. Сейчас нельзя, Ямбович - и тот сидит, прикусив язык, хотя на роже написано самодовольство героя. - Глубоко ошибаетесь, мне искренне жаль Зеленцова. Искренне.

Странное состояние владело сейчас большинством офицеров. И возбуждение, и апатию в равной степени испытывали они. Это было особенное состояние двойственности ощущений.

Застенчивый денщик Астапова нашелся. В госпитале, осмотрев его раздробленную кисть руки, без труда определили - самострел.

- Зачем вы это сделали? - с уничтожающей вежливостью к обреченному солдату спросили на скоротечном суде. - Вы опозорили своим поступком звание славного русского солдата! Подло струсили! В грозный час испытаний у Отечества нет пощады к трусам!

- Боялся, что убьют... - морщась от боли, лепетал перед судом солдат. До него еще не дошло, что песенка его спета. - Дома у меня ребят малых трое, никак нельзя мне погибать...

Его расстреляли. Как ни боялся он этого, погибнуть ему пришлось. От своей, русской пули. Трое ребят все же оказались без отца.

- Эх, дурья его голова, с близкого расстояния стрелял. Хоть бы догадался ствол винтовки тряпкой какой прикрыть... - прокомментировал Усачев.

- Для чего это тряпкой? - осведомился Астапов.

- Не так бы рану обожгло, и меньше крупинок пороха на нее попало. А то сразу видно, сам себя стрелял, - говорил Усачев с сочувствием к солдату. Никто в роте из солдат открыто не осудил самострела. Все угрюмо молчали.

- Вот оно как... - задумчиво произнес Астапов. - Порох, чтоб, значит, не попал... - и больше ничего не сказал.

Усачевым он доволен: тот был немногословен, вел себя с поручиком без особого подобострастия, но, как показалось Астапову, уважал своего командира и должность денщика исполнял добросовестно.

С Артемовым у Аркадия сложились будто и приятельские отношения, однако каждый из них чувствовал какую-то прохладцу по отношению к другому. В батальоне же их считали близкими друзьями, и сами они не давали повода, чтобы опровергать это.

Аркадий иногда задумывался о себе: каков он сейчас? С тех пор, как началась война, после увиденных бесчисленных человеческих страданий, с которыми сталкивался каждодневно, он чувствовал себя словно в каком-то тягучем ужасном сне, затянувшемся на годы, будто реальность раздвоилась и он ненастоящий живет рядом с собой же - тем, кто действительно представлял из себя именно настоящего Аркадия Николаевича Астапова. Он усиленно раздумывал, что с ним произошло, что в нем изменилось, откуда такое странное ощущение зыбкости его «я», и когда он почувствует, наконец, в себе четкую единственность собственной личности. Что это - сейчас? Некий внутренний спор с самим собой, в попытке разобраться в истине? Но какой? Или же это обыкновенное движение психики, неуправляемой, подспудно растерянной, столкнувшейся в лоб с ворохом жуткой действительности?

Отмахивался раздраженно - самокопание, глупейшее занятие!

Однако как ни отмахивайся, голова - не лабораторная склянка, которую можно при желании сделать стерильной, изгнать из нее мысли.

Гимназия... Юность... Как давно это было. Он молод, но с тех пор, кажется, прожил длинную-длинную жизнь. Но что странно, время прошло какой-то серой однотонной лентой, как в кинематографе, а он - живой аппарат, пропустивший ее через себя, - незапоминающуюся, бессюжетную.

«Спартак» - любимая его книга. Аркадий читал и перечитывал ее снова и снова. Юношеское воображение переносило его в далекие времена, он сражался рядом со Спартаком против Красса и горько переживал поражение - казалось, он тоже погибает вместе с вождем рабов.

Однажды даже написал восторженное письмо, полное восхищения и благодарности за прекрасную книгу, Раффаэло Джованьоли - писателю, сражавшемуся когда-то в армии Гарибальди. Но так и не отправил - не знал адреса.

Спартак, Гарибальди, Боливар... Аркадий восхищался ими, много знал о них. Они были великими людьми и великими полководцами, сражавшимися за свободу. И все более в нем крепло - он станет военным человеком, ему необходимы военные знания, они обязательно будут нужны. Должно, должно же прийти то время, когда вновь забурлит Россия, взвьется флаг свободы, зовущий на борьбу, и он, Аркадий, станет под тот флаг, - уверенный в себе, готовый идти на бой. Вот тогда-то и понадобятся военные знания. Он видел себя, представлял себя - впереди, под пулями, смелым и гордым, увлекающим за собой революционных солдат новой спартаковской армии.

Листовка, случайно попавшая ему в руки, укрепила его в этом решении. Есть революционеры, они готовятся, зовут на борьбу, и грянет час, когда Аркадий будет с ними, он будет нужен им. Передовые офицеры всегда были в России, готовые сразиться с самодержавием. вспомнить хотя бы декабристов.

...Как давно это было.

Надев шинель, он словно облачился в своеобразную скорлупу - розовые юношеские мечтания бледнели, расплывались. И, выйдя из училища с золотыми офицерскими погонами на плечах, Аркадий вдруг с ужасом осознал, что ничем не отличается от других выпускников, и задал себе кричащий вопрос: зачем он стал офицером?! Кем он стал?!

Начавшаяся война в какой-то мере сняла груз мучительных сомнений. Однако вопрос, постоянно присутствующий в Аркадии, живущий в нем будто неотъемлемой частью организма: «Кто? Кто я есть, настоящий Аркадий Астапов?» - не вытравился, оставался.

Война. Идет война. В любую минуту может оборваться жизнь. Надо просто жить, пока не убит, так сказать, физиологически существовать. А дальше... Что-то будет и дальше.

Аркадий, не подозревая о том, стоял у порога своего второго открытия - открытия собственной личности.

Наступательные бои продолжались. Пополнение, плохо обученное, плохо вооруженное, не компенсировало больших потерь. Новобранцы, не нюхавшие пороха, сразу вводились в бой и в сравнении с обстрелянными солдатами несли наибольшие потери. Офицеров не хватало. Несмотря на слезные мольбы подполковника Клямина, командир полка полковник Брюн отделялся обещаниями, раздраженно отмахиваясь от него, как от назойливой мухи. Брюн явно не терпел Клямина и комплектовал его батальон вновь прибывшими офицерами в последнюю очередь. Отчитал, как мальчишку, подполковника за его замашки - ставить командирами взводов фельдфебелей и даже унтеров. Тот разговор, состоявшийся между офицерами батальона после первого боя, стал известен Брюну в подробностях.

- Помилуйте! Что же мне делать в таком случае? - пытался оправдываться Клямин. - У меня не хватает чуть ли не половины офицеров.

- Но и такие действия командира батальона не делают ему чести! - отрезал Брюн, так и не сказав конкретно, какой же должен быть выход в создавшейся ситуации.

Раздосадованный Клямин вернулся в батальон и обозвал подпоручика Ямбовича слюнтяем, страдающим недержанием мочи. Тот, на удивление офицеров и самого Клямина, в амбицию не ударился. Выслушал оскорбительные для себя слова с усмешкой, демонстративно не пожелав вступать в пререкания со своим командиром, промолчал, удалившись с написанным на лице удовлетворением.

Общительный Клямин, любивший компанию, теперь все больше искал уединения, оставаясь в обществе своего рыжего денщика Бобкова, с которым чувствовал себя гораздо свободней, нежели среди офицеров батальона. И постепенно самоустраивался от командования батальоном, что некоторым командирам роты было на руку.

Дисциплина в батальоне падала.

В одном из боев рыжий денщик Бобков был убит, и Клямин, ни от кого не таясь, плакал над его трупом. За Бобковым приехала Ганна, в доме которой квартировал Клямин, когда батальон стоял в резерве. Она просила дозволения отдать ей тело Бобкова, чтобы схоронить его в своем селе. Подполковник разрешил.

Рослая Ганна, на лице которой не было ни слезинки, сама подняла тело убитого и положила в телегу. Низко поклонилась подполковнику, благодаря. Вокруг стояли солдаты с хмурыми лицами, наблюдая за всем этим. Казалось противостественным, как милостивая Ганна могла любить конопатого невзрачного Бобкова. Но, значит, было в нем что-то такое, чего кроме Ганны никто не замечал, раз приехала за ним за десятки верст. Много, много непонятого в людях...

Муж у Ганны погиб в первый год войны, короткое счастье ей выдалось и с Бобковым. Что переживала, что чувствовала эта простая украинка, увозя с собой бездыханное тело того, кто совсем недавно был живым, дорогим для ее сердца?

Клямин, едва выдавалась возможность, спешил к своей Зое Борщевой и, расставаясь с ней, возвращался в батальон с тяжелыми предчувствиями, что видит ее в последний раз. И все пил, пил, не пьянея, пытаясь заглушить в себе разъедающую душу постоянную тревогу. Для него уже ничего не существовало ценного на этом свете, кроме Зои. Он жил ею. И надеждой - быстрее бы кончилось это проклятое побоище.

Армии противников, сшибаясь, яростно измалывали друг друга. Крутились и крутились страшные кровавые жернова, жадно требуя все новых и новых порций человеческих жизней.

Молох войны не знал усталости.

Отец прислал письмо с категорическим требованием немедленно возвращаться домой. У Ани тоскливо сжалось сердце - домой ей не хотелось. И она решила остаться на несколько дней.

- Дядя, я поеду с Мещеряковыми жать хлеб. Вы... не против? Всего несколько дней. А отцу я сегодня же напишу, пусть обо мне не беспокоится. Вы мне разрешаете?

- Аннушка, разве можно это запретить. Разумеется, разрешаю. Человек должен знать, как дается хлеб крестьянину. Плохо мне будет без тебя, когда уедешь... А отцу, правильно, напиши сегодня же.

Жатва! Самый главный в году праздник для крестьянина! Праздник, ждут которого с великим волнением и надеждой - каким он удастся, отзовется ли радостью налитых тяжелых колосьев, или же придет горьким разочарованием скудного урожая.

Удались в этом году хлеба в Подгорье.

Шумят, волнуются добрым колосом пшеничные поля, приласканные разудалым ветерком. Кланяется низко высокая рожь щедрой земле, взрастившей ее, давшей ей живительную силу.

Ждут созревающие поля своего хозяина - крестьянина. Вот-вот явится он, и закопнеют они часто весомыми охаживаемыми снопами.

Жатву решили провести артельно. Второй год уже делали так. Работа шла гораздо спорей и быстрее, чем в одиночку. Трофим Мещеряков, Суров Пантелей, Алабушев Григорий и в прошлом году Корнеев Петр косить начали сообща - те поля, которые быстрее подошли, не считаясь, чьи они, Мещеряковых ли, Алабушевых; и так, пока косили одно поле, подходили другие. Управились, на удивление себе же, скоро. А в этом году, чтоб не кланяться тому же Кротову или Кондратюку, сложившись, еще весной купили собственную жатку.

- Теперича покривятся Кондратюк с Поликарпом! - радовался Корнеев, когда привезли жатку из Калача, похаживая

вокруг нее, поглаживая, - новенькую, пахнущую свежей краской. - Теперича мы сами короли! От, пойдет дело, только конык меняй!

Кротов с Кондратюком за аренду жаток драли, не стыдясь ни Бога, ни черта. Узнав о том, что мужики, сговорившись, купили жатку, - зачинщиком был Трофим Мещеряков, - поскрипели зубами, втайне надеясь, что выйдет у тех разлад. Глядя на Мещерякова и его сообщников, их примеру последовал и еще кое-кто в Подгорье.

Едва дочку Шуру засватали за Гаврюху Кротова, Корнеев заявил:

- Так что, мужики, выхожу из артели. Буду сам по себе, сват, Поликарп Тимофеевич, обещался помочь. На што мне теперь с вами. Извиняйте, и возвратите мою долю за жатку сполна.

- Как то есть сполна? - возмутился Трофим Мещеряков. - Чего ты мелешь, Петро? - Все знали: добрую половину доли Корнеева заплатил за него Трофим.

- А так. Сколько стоит жатка - поделите на четыре, и туюто четверть положено мне, - не моргнув бесстыжими глазами, потребовал Корнеев.

- Падлюшная ж ты душа, Петро Терентьич! - подступил к нему Суров. - Зачал кротовский зад лизать, так хочь не до конца совесть погань!

- Отдай ему, Трофим, что положено, и нехай катится, - сказал Алабушев. - Понял?! - подступил к Корнееву. - Тилипай отседова помаленьку, а то, ох, озлюсь, ребра не пришлось бы тебе у Кандачки починять! Геть с глаз, сучка вошастая!

Корнеев перетрусил не на шутку и, получив, что ему действительно причиталось, ходко исчез с Трофимова двора. Шел домой и вслух матюкался, что не удался фокус, рассчитанный на дурака.

Пелагея, жена Корнеева, узнав от людей про мужнину выходку, чуть не побила его.

- Как же ты им в глаза теперь глянешь, харя ты бесстыжая! Ославился, паразит двуногий! Самой-то теперь стыд какой от людей! Поросячьи твои блымки! Скотина ты безмозглая! - всячески поносила она его, наступая с рогаком.

Петр хорошо помнил, каким грозным оружием является рогач в руках у Пелагеи, и отступил, отбиваясь попавшимися под руку граблями.

- Но-но! Кура общипанная! Расквохталась! Отойдь, шалава, брось рогач! Не то как вдарю граблями щас, будет тебе, что шведу Полтава!

«Полтава» вконец взбесила Пелагею, и только быстрые ноги спасли Петра от гнева жены. Охолонув, она за рогач, правда, больше не хваталась, но пилила муженька нещадно, хуже выщербленной пилы. И долго еще не могла успокоиться. Петр сопел и помалкивал, косился на рогач - не всегда от него надежда на быстрые ноги. Сопел и обзывал жену про себя.

Кондратюк пообещал после страды вернуть Корнееву когда-то оттяпанный нахально добрый клин земли: «Може, и правда твоя, Петро Терентьич, може, и взаправду приключилась ошибка, возверну, чтоб не мыслил обо мне погано, будто разбойник я какой. С уважением полным, Петро Терентьич, возверну. Люди-то мы свои, грех чураться один одного».

От радости, что жизнь так неожиданно смилостивилась над ним, Корнеев чуть не плакал умильными слезами. Чаше даже стал молиться на образа - Бог все видит, Бог все знает, вспомнил и про него, про Петра. Ну как тут не радоваться! Теперь они родня с Поликарпом Тимофеевичем, сам Кондратюк с почтением по батюшке величает. Держаться да держаться их надо, они в обиду не дадут. Глядишь, с Божьей помощью и удастся стать крепко на ноги, выбиться в люди. А Пелагея, дурная, пускай погавкает пока, на любую собаку находится ошейник, с ним потом враз она смирнеет, трошки умней становится. Признаться, все же стыдно вато трохи перед мужиками, особливо перед Трофимом, - правильный мужик он, ну да будет стыд обить себя, стыд не хлеб, сытым от него не будешь. Забудется все... А нет, так и плевал он с прищирком на всякие там совестливые балакачки. О, скоро, скоро совсем пойдет другая жизнь! Пелагея б вот только мальчонку родила. Тудыть бы этих девок!

Но, вспомнив о Шуре, из-за которой, собственно, все так ладно и складывается, Петр в душе помилился и дочкам. Ну как еще одна в добрые люди пойдет! Не-е, хороша ты все ж, жизнь!

Свадьбу сыграли перед самой страдой, спешно.

Непривычные в Подгорье к таким свадьбам, летом. Игралют свадьбы обычно поздней осенью и зимой.

Мчатся лихие тройки, снег из-под копыт метелью метет, румяные от мороза жених и невеста - в санях, а за ними - свадебный поезд. Звенят колокольчики, заливаются переборами гармошка, добро, звонко поются свадебные песни на свежем воздухе, вкусно пьется самогонка, согревая и веселя душу. Станут горячие кони, прыгнут с саней хмельные гости, и вот уже круг - мелькают в дробном переплясе ноги, трамбуют скрипучий снежок. Кто кого перепляшет! Грянет веселый смех - частушки-прибаутки, соленые, едкие, смешливые, задорные. Хватаются за животы - веселится, гуляет народ. Пошел кто-то гоголем навприсядку под «Барыню» вокруг красавицы-лебедушки в цветастом полущалке. Бряк - упал! Барахтается в снегу, хохочет круг - не получился из танцора гоголь, так, гусь домашний, которому место в хлеву. Кто следующий? Кто гожд статью в пару с лебедушкой? Кто? Выходи!

И дальше понесся свадебный поезд по улицам села!

Стоят в воротах бабки и деды, щуря старческие свои глаза, любуясь веселой свадьбой. И нет-нет, шевельнутся в далеком потайном карманчике памяти воспоминания - когда-то и мы вот так. Ой, лихо времечко, времечко-то как пролете-ело! Тройкой бегучей проскакало...

Не день, не два гуляется свадьба, к концу недели лишь притихает, заморились дорогие гостечки, не чуют ног от перепляса, а головы - от знатного первача. Теперь - живите, молодые, в ладу да согласии, славно гулялось-пилось на вашей свадьбе, меду вам месяц, любитеь-трудитеь, деток починайте! Счастья вам в доме! Живите, добра наживайте!

Нет, непривычна в Подгорье свадьба летом. Ну что это за свадьба! Пыль клубится, на лицо садится, рот не открыть - за кашляешься, зачихаешь. Голос в ней теряется, гармошка, и та задыхается. Топнешь ногой - брызгами пыль, так и обдаст всех, точно жижей. Лошади храпят, щекочет в носу у них пыль. Жарко, исходят лошадиные бока едуче-дурно пахнущим потом. Карябает, не лезет в горло теплая бурьячная само-

гонка. Ох и противна, аж глаза плачут! Да что там и говорить! Не то, совсем не то - свадьба летом.

И все ж широко раскрутился Кротов, куда и жадность делась, не жалел денег. Дал и свату своему, Петру Корнееву, чтоб приданого Шуре подкупил, чтоб не стыдно ему от людей дочку со двора провожать было. Вынесли и кровать никелированную с шишечками, дюжину подушек двумя горками сложили на ней, застлав пуховой периной и двумя ватными одеялами с батистовым верхом, одно голубое, другое - розовое. Скрыня была - так в Подгорье сундук со свадебным приданым называется - тяжела, тоже, видать, добра напихано в нее. Платье на невесте - на городской манер, из Калача привезли. Питья и еды всяческой - столы ломились. Все, кто хотел, могли зайти на свадьбу и гулять от пуза, всех Поликарп радушно встречал. Не узнать Поликарпа - нет человека добрей и приветливей. Что с ним случилось, - удивляться и осталось.

А уж на Петра Корнеева глянуть - на седьмом небе от радости. Обнимаются, челомкаются со сватом, точно други закадычные с бесштаных времен.

Пелагея сдержанней мужа, но тоже радуется за дочку: хоть и топырится живот шестым месяцем, не одну рюмку пригубила за счастье молодых.

Меланья, та посмурней, веселья у ней помене, да, видно, и рад бы человек, да болести проклятые мучат, не отпускают бедную мать и на сыновней свадьбе.

Ни Трофим, ни его товарищи на свадьбу не пошли, отговорились под всякими предлогами, хоть и лично были каждый приглашены самим Поликарпом Тимофеевичем. Лебезиво явился с приглашениями и Корнеев, сделав вид, что ничего у него с мужиками и не произошло. Точно из солидарности с родителями не были на свадьбе и Нефадей с дружками. Но тут никаких объяснений не требуется, тут все понятно.

Люди рассказывали, будто Шура на свадьбе сидела с потухшими глазами. Досужие, кто отличается любопытством ко всему, и в любом случае все подмечают.

- Сдается мне, не будет Шуре счастья в кротовском доме, - сказала Наталья, услышав рассказы о как в воду опущенной невесте. - Може, чувствует, бедная, оттого и невесело ей на душе.

- Все-то тебе сдается, - так прореагировал на эти слова жены Трофим.

- Сдается, Трофим. Ой, сдается...

- Ну, забалакали! - вставила свое слово Груня, бывшая на свадьбе - с Шурой они подружки. - Так и будут, как все, жить. Чего им! А люди начали уже, вот дурные!

- Не встревай, зеленая еще людей обсуждать! - отбрил дочку Трофим. - Поди лучше, глянь, где Ванюшка. Опять, небось, пострел на стенку взобрался. Не дай Бог завалится, пришибет мальчонку. Ну ты скажи, ровно кто тянет его на эту стенку, будь она неладна!

Груня надула губы и отправилась высматривать шаловливого братца. Тот, размахивая лозинкой, без штанов, в длинной рубашонке носился по верху стенки, изображая из себя лихого кавалериста. Завидев сестру, с ничего хорошего не предвещавшим лицом, остановился и оглядывался беспокойно - как бы улизнуть. За эту стенку Ванюшке доставалось не однажды, но что делать, если она влекла его непреодолимо, и всякий раз, когда во дворе никого не оказывалось, в мгновение ока он взбирался на каменный ее гребень - было высоко, чуточку страшно и хорошо.

Сняв сморщившегося от досады Ванюшку со стенки, Груня задрала ему рубаху и пару раз шлепнула по голому месту. Ванюшкино лицо скислилось, готовое пустить слезу - не от боли, от обиды. Груне стало жалко его, она присела, обняла мальчишку, прижала к себе, целуя надутые щечки.

- Ванечка, ну что ты такой балованный! Нельзя ж на нее лазить. Бухнешься и расшибешься. Ну ее, не лазь больше. Страшно!

- Не бухнусь, - с полной ответственностью заявил, шмыгая носом, Ванюшка, слезы уже отступили из его глаз. - И ни сколечко я не боюсь!

Что ты будешь делать с ним! И, словно извиняясь за шлепки, Груня спрашивала:

- Тебе не больно? Я ж не сильно, Ванечка... Не больно, правда?

- Не-е, - протянул Ванюшка. - Мамке не сказывай. - Ее он боялся больше, чем кого-либо. Та, заловив его на стенке, не

сюсюкала, если шлепнет, долго потом приходится потирать то место. Отца же Ванюшка вовсе не боялся - никогда и пальцем не тронет.

- Ладно, не скажу. Только ты не будешь больше лазить на стенку? Не будешь? - все допытывалась Груня.

Поразмыслив, Ванюшка ответил не сразу, но честно:

- Буду...

Вот те и на! Груня засмеялась и опять осыпала маленького брата поцелуями. Он - как одуванчик, как тут не приласкаешь!

Опустив Ванюшку, Груня задумалась.

Что правда, то правда - невеселая была Шура на своей свадьбе. А Гаврюха сидел рядом с ней сияющий. И красивый он, и статный, а... Отчего у него изо рта так неприятно пахнет, смрад какой-то? Брр... Теперь муженьком Шуриным будет... Вот как оно вышло все. Ничего такого не говорила подружка Груне, да только знала та, без всяких слов знала: вздыхала Шура по Нефадею, а тот будто слепой, ничего не замечал. Порывалась сколько раз Груня сообщить по секрету брату про то, да побаивалась, он мог и тумака дать чувствительного, чтоб не лезла не в свое дело.

Смотрела Груня по подружку и затаенно мечтала, представляла себя в свадебном платье, а рядом - Митька Суров. Вот тоже дурной! Такой разухабистый с другими, а с ней будто подменяют его, телком становится, не говорит, а мычит, слова, что ли, позабыл? А раньше такой был балаболка, ущипнет, за косу дернет... Обняв ее как-то раз, в горячке не в губы, а в нос поцеловал и как ошпаренный потом отскочил. Груня не успела оттолкнуть его, но сказала, что дюже он нахальный; будет если и дальше таким, съездит ему по физиономии.

А Нефадей совсем сдурел. Ох и сдурел... Все племянница учительева. Страдает, аж глаза ввалились. Думает: если молчит, никто и не догадывается. Да о том все знают. Тоже секрет! Мать с отцом промеж собой, Груня слышала, об этом и то балакали. Втюрился в нее по самые уши... Гарненькая Аня эта, барышня, вся какая-то из себя миленькая, хорошая, в ней будто... загадка какая есть. Городская, куда до нее...

Кавалерист Ванюшка опять скакал на стенке, гикая, со свистом разрубая воздух лозинкой. Груня посмотрела на него и улыбнулась, ругаться не стала. Хочется мальчонке - пускай. Не такая уж и высокая стенка, если и свалится с нее. Дите, что с него взять. Дите...

Груня чувствовала себя человеком вполне взрослым.

Поля были далековато - за Канцедаловым лесом, поэтому выехали после обеда, чтобы с утра следующего дня начать жать.

Груню с Ванюшкой Трофим хотел оставить дома - некому за скотиной смотреть, но дочка заупрямилась и тоже поехала. Сама сбегала к старикам Алабушевым и попросила, чтобы они заодно приглядели и за их двором. Те согласились.

- Шустрячка! - только и сказал Трофим. Но с одобрением. Бойкая растет девка - это неплохо.

И еще одна новость у Трофима с Натальей.

- Бать, - обратился к отцу зардевшийся Нефадей. - Вы, это... не против, если и Аня с нами поедет?

- Какая Аня? - с деланным удивлением спросил Трофим.

- Ну... будто не знаете!

- А! Так бы сразу и сказал, - продолжал Трофим подтрунивать над сыном. - Как же, знаем, знаем... - Повернулся к Наталье, по привычке покручивая усы: - Что скажешь на это, мать?

Она посмотрела на смущающегося сына. Неловкая для него минута - так-то стоять перед родителями. Трофим тоже - нет, чтоб сразу, без всяких там, - вводит сына в краску.

- А чего говорить, пусть, ежели желает. Рады помощникам.

Нефадей шумно сопнул и довольно заулыбался. Мама Наташа у него молодец.

- Жара, пылюга, а она ведь непривычная к этому... - уже серьезно сказал Трофим. - Намается только девка.

- Ничего, Ванюшку-то берем, и она стерпит. С ним будет забавляться, лес рядышком, родник там, ничего, - развеяла Наталья сомнения.

Расположились табором на опушке леса.

Туда-сюда - солнце засобиралось на покой.

Непоседливый Ванюшка нагишом носился со своей неизменной лозинкой, никак не давался матери в руки, чтобы надеть рубаху.

Лошадей спутали и пустили пастись неподалеку.

Нефадей с дружкой отправились в лесной яр и принесли оттуда каменья, из которых сложили подобие печки.

Женщины - Наталья Мещерякова, Дарья Алабушева и Антонина Сурова - затеялись готовить ужин. Аня присоединилась к ним.

- Умеешь? - предложила ей Наталья чистить картошку.

- Конечно! - взяла нож Аня.

- Ну и хорошо.

Мужики пошли к полю, пообминали колоски, пожевали восковые зерна.

- Добрый хлеб! - порадовались.

Груня и ее сверстница Галя Алабушева о чем-то секретничали, уединившись за возами. К Ане они еще не привыкли и как-то стеснялись ее, потому и не потянули с собой.

Женщинам понадобилась вода, Нефадей с приятелями взяли ведра и опять ушли в лес, к роднику. Наносив в деревянную бочку воды, решили напоить лошадей.

Аня ничем сейчас не напоминала городскую чистенькую барышеньку. Разве что нежные руки...

Наталья, когда Аня пришла к ним, немедленно открыла сундук и вытащила подходящую одежду. Завела Аню в хату и заставила переодеться.

- Не-не, скидывай все с себя, - стояла на своем Наталья; засмущавшаяся Аня отговаривалась: «Ну зачем вы...»

- Вот юбка, будет тебе как раз. Мы с тобой, гляди-ка, одинаковые. Кофточку на, свободная, в ней не будет так жарко. Платочком повяжись - и не напечет, и голова чистая, а то пылюги у нас хватает. И туфельки свои тоже скидывай, враз ноги собьешь. Вот тебе чувяки, в них ноге удобней будет...

- Сейчас суп пшеничный сварим, кулеш по-нашему называется, с дымком, сальцом приправим, - говорила позже Наталья, хлопоча у большого, уже парившего казана. - Тебе доводилось, Аня, пробовать такого супу в поле, на ветерке?

- Нет, Наталья Ивановна. Я первый раз вот так, в поле.
- Вот и попробуешь. Вкусный он здесь, вкусней, чем дома.
Эй, Дарья, ты луку-то прихватила? А то я, кажись, забыла.
Вот голова...

- А то! Как же без лука-то, - принесла Дарья в подоле золотистые луковицы. - И чеснока прихватила.

- Куда столько-то несешь?

- Как куда? - удивилась Дарья. - После кулеша, с соличкой, лучок - он сладенький. Да и чесноку кто, може, захочет.

- Чарку выпьешь, Наталья, потом сама луку тоже запросишь! Вприкуску с чесноком. Да! - поддержала Алабушеву Антонина.

- Ото, чарку! Вы что, - поморщилась Наталья, - взяли?

- Мы не взяли, так, думаешь, мужики наши про то запамятовали? Кабы не так! Тута память у них первейшая. Эт ночью они аный раз забывают, что мужики. На бочок - и храпеть скорей, ленивцы. Переработались, окаянные! Тут памороки им будто кто отбил, от бабы своей, от живой да теплышкой, отпихиваются. Кабы им молодую, такую, как ты, Наталья, тоди б они враз завурушились. От Адамово племя! Взяли... Сама видела, мой в солому, в задок телеги прятал.

- Антонина! - укоризненно покачала Наталья головой, глазами показала на Аню. - Язык-то...

- А чего язык? - сделала невинные глаза Сурова. - Чего я такого сказала? - И засмеялась: - Пусть девка слушает, ежели попала промеж нас, языкучих. Аня, слушь-ка, правильно говорю? Глупого человек в голову не возьмет, мимо ушей пропустить, а умное само западет. Так? Я в твои года Митьку уже родила, и не то еще уже слышала и видела. Ты на нас, баб темных, не серчай, чего ежели сморозим.

- Что вы... Говорите, о чем хотите, пожалуйста, на меня не обращайтесь внимания, - сказала Аня, склонив голову, будто внимательно выковыривает в картошке глазок, - чтобы женщины не заметили ее пунцовых щек после слов Суровой насчет ленивых ночью мужиков.

- Вот и молодчина! - похвалила Аню Антонина.

Наталья погрозила улыбающейся Антонине пальцем: все ж, прикуси язычок!

- Выходит, откажешься от чарки, и лучка не пожелаешь? А зря! - гнула свое Сурова.

- Нам, старым, можно, - подхватила Дарья. - Нам не целоваться.

- Фу! Бабки старые, трухлявые. И правда, куда вам! По сорока скоро стукнет, - подковырнула женщин Наталья, тоже приняв их шутливый тон.

- Бабки не бабки, а доживешь до нашего, скажешь тогда: ах, где ж вы, годочки мои молодые! - с притворным вздохом нашла что ответить Дарья. - Скоро там, кипит?

Сели вечерять. Правы оказались Антонина и Дарья: переглянувшись, мужики гмыкнули, и Пантелей Суров пошел к телеге, извлек из-под соломы неполную четверть.

Выпила и Наталья немного, сморщилась, закашлялась и от другого раза отказалась категорически.

Молодые обошлись без чарки, да им и не предлагали. Правда, Дарья Алабушева выразительно посмотрела на Аню, мол, капельку, но та замотала головой, и Дарья одобрительно улыбнулась ей.

Ели из больших деревянных мисок, по трое на каждую, тоже деревянными ложками. Шумно, с прихлебом, подставляя лопать хлеба, чтоб не капать, пока несли ложку ко рту.

Аня оказалась за одной миской с Нефадеем и Натальей. Сидела между ними, подвинувшись ближе к ней. Боком ощущала приятное тепло от ее бедра.

Трапезничали молча, с серьезными лицами - уважение к столу, к куску хлеба, которому знали истинную цену. Ванюшка - и тот сидел между коленей отца сосредоточенный, наморщив от усердия лоб. Тоже, как и взрослые, старался не пролить ни капли, но ложка скользила по горбушке хлеба и иногда не слушалась мальчишку, суп капал на рубаху. В таких случаях Ванюшка задирает голову и виновато смотрел на отца. Трофим откладывал ложку и гладил сына по выгоревшим волосам - не беда, сынок, а что стараешься - молодец.

Выпили по последней, по третьей - за начало страды. И все. Отложили чарки за ненадобностью. Теперь - работа. Нелегкая, с потом, с мозолями, но радостная для души - хлеб! До

конца страды - ни глотка. Иначе после нее и работник не работник. Потом изойдет, все жилы понадорвет, а дела - пшик. Добрая работа и зелье - не товарищи.

Митька с Мишкой - те вылупили глаза, все рассматривали Аню. Она старалась не замечать их взглядов, но все равно они очень смущали. Хлопцы видели ее так - бок о бок - только сегодня, им было любопытно за ней наблюдать, какая ж она, как поведет себя.

Митька бросал косяки на Груню, та на них не реагировала, будто Митька для нее пустое место, и он переживал - чего это она сегодня такая? Невдомек парню, все замечала Груня: и взгляды его настороженно-ласковые, и беспокойство. Но не могла ж она так, при всех, когда и мать, и отец рядом, отвечать? Приметят - со стыда сгоришь. Да кто-нибудь посмеется еще, пошутит. Тогда и вовсе хоть сквозь землю проваливайся. Вот повечеряют, смеркнется совсем, разойдутся все понемногу, тогда можно и в глаза друг дружке смотреть, никого не бояться. Смотреть и молчать, глаза сами говорят, что вслух сказать хочется.

Алабушеву Мишке сейчас проще на свете жить, моложе он дружков своих.

Горит костерок, отгоняя темноту, скользят неясные тени по лицам сидящих вокруг него. Тускнеет на западе вечерняя заря, все больше на небе смелеющих звезд.

«Фьюить! Фьюить! Фьюить!» - доносится с полей.

- Что это? - спросила Аня.

- Перепела перекликаются, - пояснил Алабушев-старший.

- А какие они, перепела?

- Какие? Серенькие, как курочки махонькие. Завтра живых посмотришь. Я сетку взял, поставим ее раненько на меже, будут они перебегать с поля на поле - и в сетку. На вертеле поджарим, пальчики оближешь - царское кушанье, обеденье! - пообещал Алабушев.

Мужчины после ужина закрутили толстые, в палец, самокрутки и дымят, умиrotворенные, смакуя крепкий самосад.

Их сыны уже покурили тайком, отойдя в кусты. Теперь сидели со всеми вместе у костра.

- Царское! - пыхнул дымком Пантелей Суров. - Он, царь, разве ест такое вот, людское? Ему, небось, кушанья выписывают заморские всякие.

- Скажешь! Чего ж он, не такой человек, как мы с тобой? - возразил Алабушев.

- А то такой! Куда там! Помазанник Божий, не человек он, Бог на земле. Вот! - не согласился Пантелей.

- Не-е, такой же смертный, не вечный, вон сколько их прошло на Руси, царей-то. Человеки такие ж... - не соглашался Алабушев.

Мещеряков pokrutil ус, покачал головой, сказал:

- Кабы был человеком, не стал бы столько людей русских на убийство посылать. Из одного Подгорья нашего сколько уже нет...

- Так германцы лезут, чего ж ему делать, царю? Вот и посылает войско. Как тут быть?

- Ну да, посылает. Меж собой цари не поладили, а простой люд кровью из-за того захлебывается. Не хотят мириться, спеси у каждого поболее, чем ума.

- Тут оно, правда твоя, Трофим. Спрашивается, чего б не замиришься да все войско по домам не распустить? Дальше так - мужики на свете переведутся, всех перебьют, бабы одни останутся.

- Та ему плевать на мужиков всех! Ему чего, Николашке, ему ж ничего! Как жировал, так и жирует, - возмущенно сказал Пантелей. - Помазанник Божий! Говорят, теперь будут брать и кому сорок три?

Трофим усмехнулся:

- Говорят! Уже забирают. Митрохе Селявкину сколько? Как раз сорок три. Забрали! А Сычев Антоха? Тоже уже там.

- И до нас, глядишь, доберутся, - сплюнул Пантелей.

- До нас, може, и не доберутся, а вот им... - кивнул Трофим на притихших своего и сынов Пантелея и Григория.

Вздروгнули женщины, посмотрели на своих детей. Страшные сейчас слова сказал Трофим. Да Боже, неужто явится беда, дойдет очередь и до их сыночков? Спаси да прони, Господи, затуши ты войну ту проклятую.

Стрекочет шестернями жатка. Над ровной стеной пшеницы взлетают ее зубчатые крылья, подминая стебли к острой косе. После жатки остаются лежать на колючей стерне охапки срезанных тяжелых колосьев.

На металлическом пружинящем сиденье жатки - Трофим Мещеряков. Ведет коней Мишка Алабушев.

Остальные - с ручными косами. Идут в одном ряду. Из всех сил стараются Нефадей и Митька. Негоже никак осрамиться перед старшими. Скованное с утра, развихлялось сейчас плечо, взмах косой - рассчитанный, несуетливо-спешащий, и ложится рядом скошенная пшеница. Косы у них в руках особенные, не обычная литовка, которой косят траву. Над стальным полотном - длинные, тонкие, острые на конце, гладко отшлифованные деревянные круглые прутья. Аня сначала не поняла, для чего они. Коса казалась громоздкой и неудобной. Потом посмотрела, когда косари взмахнули косами, и сразу поняла. Зубья захватывали рядок стеблей, срезанные, они не падали как попало, а поддерживались зубьями. Косарь, проведя косу до конца, выворачивал ее легким натренированным движением, и колосья соскальзывали с зубьев, ложились в аккуратный ровный рядок. После жатки же рядок был не такой ровный. Однако куда косарям тягаться с ней, на глазах растут ряды за жаткой.

Нефодька с Митькой не отстают от старших Сурова и Алабушева.

Женщины вяжут снопы.

Аня рядом с Натальей. Возле крутится Ванюшка, высоко, как гусенок на холодном снегу, поднимает босые ноги. Стерня колетса, но мальчик никак не хочет надевать чуваки. Ладно, махнула рукой Наталья, пускай привыкает босиком. Он больше возле Ани, все норовит помочь ей. Вечером, когда его уложили, Аня села у Ванюшкиного изголовья и рассказывала ему сказки. Ванюшка оттого теперь и ластился к Ане, эта тетя обещала ему рассказать сказки еще. И он с нетерпением ждал вечера, старался вовсю, собирая колосья и отдавая их в сноп Ане.

Вязать снопы - вроде дело нехитрое, однако у Ани поначалу никак не получалось, сноп разваливался. Наталья терпе-

ливо показывала, как нужно плести перевясло, в каком месте охватить им сноп и как правильно заправить концы перевясла, чтобы держались они крепко.

У Ани стало постепенно получаться. Тут главное - уловить движения рук, почувствовать, что перевясло сплетено достаточно туго, правильно сложить охалку колосьев, чтоб сноп получился в самый раз, и не слишком тяжелый, и не худой.

Работа пошла споро, и Аня радовалась - не зря приехала. Поможет людям.

Стало припекать поднявшееся солнце. Загудела спина, заныли руки, пот скатывался по лбу, скользил по бровям, попадал в глаза. Ладони горели. Аня подумала: сумеет ли она выдержать весь день? Стыдно-то как будет, если не сможет. Нет, она должна выдержать. Вот что бы то ни стало!

Наталья сходила к возам, принесла вязаные шерстяные перчатки, протянула Ане.

- Возьми, надень. С утра не стала давать, знала, начнешь отказываться. Бери.

В перчатках работать гораздо удобней, ладони от жестких стеблей не горели.

Почаще стали отдыхать, Наталья первой садилась на сноп:

- Чуток передохнем.

И, удивительное дело, ломота в руках начала постепенно затихать, не так гудела спина, меньше стало пота. Аня поняла - она выдержит.

Женщины затанули песни - одну, другую. Песни старинные, украинские, привезенные сюда, в Подгорье, когда-то далекими предками. Слов Аня не знала, но потихоньку, голосом, тоже стала подпевать.

Веселей спорилось дело с песней!

Аня ощущала в себе необыкновенную радость - огромную, светлую, как раздольная песня. Впервые в жизни она видела, своими руками чувствовала - как вот здесь, на поле, начинается хлеб, который знала она до сегодняшнего дня только на столе.

Постукивают на стыках рельс колеса, мерно покачивается вагон, бегут за окном поля, дома, деревья.

Аня сидит у окна, положив локти на стол, задумчиво смотрит на каждую секунду меняющиеся за стеклом картинки.

Вот и пролетели быстрые дни ее пребывания в Подгорье. Кажется, только что приехала она, и вот уже поезд мчит ее назад, в Тулу.

Распрощалась Аня со всеми тепло. С Натальей они обнялись - за те несколько дней, что были на жатве, к ней привязалась особенно.

- Вспоминать будем тебя, Анечка, - говорила Наталья. - Дай тебе Бог счастья в жизни! Может, и свидимся еще когда, всякое бывает. Вдруг да надумаешь опять приехать к нам в Подгорье.

Нефадей предложил отвезти в Калач на станцию. Отца не пришлось спрашивать, тот сам сказал:

- Ты, парень, вот что: запрягай Дымка и отвези Аню до самого поезда. Уважительная она девка...

У Николая Ивановича приболели ноги, и Аня уговорила его остаться дома - он намеревался тоже поехать в Калач.

Все двенадцать верст до Калача разговор как-то не клеился.

Они стояли у вагона, скоро поезд тронется.

- Нефадей... знаешь, я... благодарна случаю, что встретила тебя, - сказала Аня. - А ты книжки читай, обещаешь?

Он молча взял ее руки.

Ударил колокол.

Аня приподнялась на носках и поцеловала Нефадея в щеку, поднялась в вагон.

Нефадей стоял, безвольно опустив руки.

Поезд тронулся, вагон медленно поплыл мимо Нефадея.

- Я напишу тебе, слышишь, Нефадей?! - крикнула Аня. - Ты мне ответишь?

Он усиленно закивал головой. Вот уже исчезло и Анино лицо. А он все кивал, кивал...

Стучат, стучат колеса. Аня смотрит в окно и вспоминает...

Отец изучающе оглядел Аню и молчал, ожидая, что скажет дочь. На него это было непохоже. Аня приготовилась к бурной сцене, этого не произошло. Отец отступился? Быть может, он начал понимать свою дочь?

Нет, ничего подобного Борис Иванович не испытывал. Он ждал оправданий Ани, чересчур загостившейся у брата. Дочь, однако, молчала, и не было видно, что она собирается что-либо пояснить. И Борис Иванович не выдержал. Натура у него была импульсивная.

- Надеюсь, у тебя выветрилась за это время глупая блажь из головы?

- Папа, почему - глупая? - миролюбиво сказала Аня. - Мы ведь с тобой достаточно поговорили еще до моего отъезда. И зачем снова...

- Стоп-стоп! - перебил отец. - Ничего я знать не хочу! Вижу, ума в голове у тебя не прибавилось! Так вот, дорогая дочь, завтра же, слышишь, завтра, собирайся в Петербург. Я поеду тоже с тобой. Завтра! - хлопнул ладонью по столу, считая разговор законченным.

- Папа... - Аня посмотрела на него с решительностью во взгляде. - Завтра я пойду на курсы сестер милосердия. - Старалась говорить спокойно, но голос дрожал.

- Никуда, черт возьми, ты не пойдешь! - закричал Борис Иванович и ударил кулаком по столу: - Я тебя попросту не выпущу из дома! И перестань наконец доводить своего отца до крайностей! Иначе я!.. - Борис Иванович рванул галстук, освобождая ворот. Часто задышал, лицо налилось кровью. - Не смей так разговаривать со мной! Я твой отец! У тебя никакого уважения к собственному отцу!

- Я тебя уважаю, папа, но если ты сделаешь так, я уйду из дома, - тихо сказала побледневшая Аня. - Слышишь, уйду, и учти - навсегда. Я твоя дочь, но я не игрушка, чтобы со мной поступали, совершенно не считаясь с моими желаниями.

Борис Иванович не сел, упал на стул, кинув вытянутые руки на стол. Что случилось с его тихой, обычно уступчивой до-

черью? Это невыносимо слушать. И она, как видно, не шутит. Бог ты мой, как быстро дочь выросла...

- Черт с тобой! Делай, что хочешь! - махнул он рукой и пошел мимо Ани в другую комнату. В дверях остановился, повернулся, устало посмотрел Ане в глаза: - Иди на свои курсы, куда хочешь иди, я теперь тебе запрещать ничего не буду. Но боюсь, что этот твой дурацкий патриотизм - или что там еще у тебя? - скоро перегорит и ты жестоко будешь страдать после за свои ошибки, - и затворил за собой дверь.

Окончив курсы, Аня стала работать в одном из госпиталей. Чувствовала себя удовлетворенной, хотя уставала зверски, и к концу дежурства, особенно ночного, валилась с ног. Но зато кончились сомнения. Девочка Аня ушла, есть взрослая Аня, вплотную столкнувшаяся с ужасами войны.

Первое время чуть не падала в обморок от вида ран - грязных, гниющих, дурно пахнущих. Ее тошнило, она зажимала нос, и казалось - никогда не сможет привыкнуть спокойно смотреть на это месиво крови, грязи, костей. Приходила домой, падала на кровать, но и во сне ее преследовали видения ран - осколочных, пулевых, колотых.

Потом втянулась и была рада, что сумела превозмочь себя. К запахам обоняние ее будто притупилось, вид истерзанного, окровавленного человеческого тела уже не вызывал тошноты и отвращения.

Раненых было много, они все поступали и поступали - на фронте шли сильные бои. Госпиталь переполнен. Тяжелый спертый воздух, казалось, застыл, и никакой ветер не способен всколыхнуть его. Открытые форточки нисколько не освежали. А потоку раненых все не видно конца.

Вот умирает совсем молоденький солдат, ничем ему уже нельзя помочь, у него разворочена брюшная полость. Он лежит и часто дышит, капельки пота скатываются по его опавшим восковым щекам, на которых грязнится редкая серая щетина; солдат без сознания, руки его скребут по животу. Аня подходит, убирает руки, положив их за спину, он их вырывает оттуда, опять их приходится держать, иначе солдат сорвет бинты. Живот у раненого синюшный, кожа натянута, бинты пропитались грязно-бурой сукровицей. Солдат постанывает,

облизывает спекшиеся черные губы и дышит все чаще и мельче. Рук уже не вырывает. Аня отпускает их и уходит в дежурную комнату. Присутствовать при смерти выше ее сил.

Через полчаса солдат затихает, и вскоре его уносят. Скольких уже вынесли вот так: тихо, несуетно, просто.

- Сестра! Сестра! - зовет другой раненый, только с операции.
- Пятка, проклятая, жжет! Спасу нет! - жалуется. Он еще не знает, что его пятка вместе со ступней лежит сейчас в тазу. Его не успели вынести из операционной, режут другого бедолагу и поэтому таз оставили, в него еще три ступни вполне поместятся.

- Успокойся, миленький. Потерпи немного, жечь скоро перестанет. - Аня гладит горячий мокрый лоб, солдат закусывает от боли губы и старается не стонать. - Сейчас сделаю укол, и тебе станет легче. Ты поспишь. Вот-от так...

Аня вводит морфий, раненый, поворочавшись еще немного, притихает. Когда он проснется и совсем придет в себя, горько заплачет беззвучными слезами. Такие слезы - страшные. И пока не выплачется солдат, ставший алекой, никакие утешения не помогают. В них он будет нуждаться после; нежный девичий голос, ласковые руки помогут перенести шок.

А кто счастливчик, у кого руки-ноги целы и рана заживает хорошо, тот уже любит сестричкой и старается задерживать ее руку в своей. Женская рука - маленькая, мягкая - как награда, как подтверждение, что все страшное позади и он, солдат, жив и будет жить.

И каждому надо отдать частицу тепла своего сердца. Не жалеть его, быть щедрой.

- Сестрица, посиди со мной, - просит унтер, которому не спится.

Ночь, в палате полумрак. Раненые спят. Кто-то похрапывает. Тот, что лежит у двери, скрипит зубами и беспокойно мечется головой по подушке, ему снится нехороший сон. Другой вскрикивает во сне и будто старается в кого-то вцепиться растопыренными пальцами - тоже мучат кошмары. Плосколицый казах блаженно сложил на груди двумя белыми коконами культи своих рук и посапывает как ребенок, на его лице счастливая улыбка - что этому снится? Взовется то в одном, то в другой углу палаты крепкое словцо - от боли, от того, что

приснилась атака или фельдфебель, у которого самое первое слово для солдата - тяжелый кулак. Со всхлипами стонут оперированные днем, у них не сон - глубокое забытие от морфия.

Воздух в палате густой, насыщенный запахами лекарств, пота и человеческого мяса, раскроенного скальпелями хирургов.

Аня проходит между койками, поправляет сползшие одеяла, раскинутые руки, удобней укладывает под головы подушки.

У унтера перебиты обе кости предплечья правой руки. Раздробленные кости уже начали срастаться, но криво, ладонь вывернута и бесчувственна - поврежден нерв. Унтер знает, что спишут подчистую, скоро домой. Его обуревают мысли о семье, он уже представляет, как переступит порог родного подворья и навстречу ему бросится со слезами радости иссохшая за войну жена с выводком ребятишек. Привалило ей счастье на зависть соседкам, хоть покалеченный, но вернулся хозяин в свой дом живым. Да все ж беда, негожая у него рука, самая нужная - правая. Отойдет ли, оживут, зашевелиятся пальцы? Вот это-то больше всего и мучит унтера: с одной рукой поднимать хозяйство - дело гиблое.

- Не спится? - присаживается Аня у его изголовья.

- Не, не идет сон, сестричка, - вздыхает унтер. - Гляну на свою расковырку - муторно, рашпилем по сердцу. Куда я гош с такой-то рукой...

- И совсем зря вы так. Отойдет ваша рука, вот увидите. Главное, она у вас целая. Заживет. Ну, небольшое искривление будет, но все равно работать ею сможете. - Улыбнулась, успокаивая унтера: - Не отчаивайтесь, все будет у вас хошо.

- Спасибо тебе, сестричка, на добром слове, - задрожали ресницы у раненого. Всего-то несколько слов - много ли человеку надо. - Прилегла б и ты, измаялась, бедная...

- Ничего, я выносливая. Приляжешь, потом еще хуже, голова чугунная и соображает плохо. Лучше не спать.

- К озими сейчас поля готовят... Не успею, видать, я к севу. Сколько годков-то тебе, сестричка? Вижу, молоденькая совсем?

- Что вы! Я уже старая! - рассмеялась Аня. - Гимназию уже окончила.

- Гимназию... Молодчина ты у нас, сестричка, любит тебя наш брат солдат. Тяжело тебе...

- Всем сейчас тяжело. А знаете, я этим летом на жатве была. Снопы вязала. Не верите? Меня даже хвалили, говорят, совсем неплохо у меня получалось.

- Ишь... Вот ты какая у нас! Знаешь, стало быть, как хлебушек в поле растет. А я вот закрою глаза - и поле передо мной стоит, шепчет, будто ждет меня. Добрая ты душа, сестричка. Светлей от тебя нам. Зовут-то как?

- Аня.

- Аня... И имя у тебя радостное. Теплое такое... Иди, отдохнай, Аня, а то заговорил я тут тебя. Так говоришь, оживет рука-то моя?

- Конечно!

Вслед Ане смотрят благодарные глаза успокоенного унтера.

В дежурной комнате она села за стол, подвинула поближе лампу и достала письмо от Аркадия, пересланное ей дядей. В который раз перечитала.

Аркадий благодарил Аню за письмо, писал, что не представляет, какая она сейчас, ведь видел ее, когда была совсем девчужкой. Хорошо, что написала, он надеется, теперь будут переписываться регулярно. Спрашивал, каким ей глянулось Подгорье, понравилось ли там. И опять благодарил, что навестила его отца; ему так одиноко, с тех пор как умерла мать, он сильно сдал.

О себе Аркадий писал скупо, сообщал, что идут сильные бои, войска несут значительные потери. Все устали от войны, мечтают о скорейшем мире, но что-то никаких проблесков на этот счет не видно... Осторожно, полунамеком, было сказано и о том, что среди солдат растет недовольство, они начинают роптать, на фронте появились пропагандисты, именующие себя большевиками, несколько человек в дивизии арестовано и предано суду.

Все ж Аркадий в какой-то степени рисковал, сообщая такие сведения, но письмо не почеркано цензурой, видимо, все письма проверять она уже не успевала.

Решение Ани пойти работать в госпиталь он прокомментировал так: «Самостоятельность выбора, вопреки мнению окружающих - уже положительно. Для самого себя. Пусть ты ошибся, пусть ты разочарован, но зато этот выбор - твой, и тебе самому обдумывать дальнейшие свои шаги. Раз ты решила так, Аня, следовательно, тебе это нужно, ты над этим думала. Действуй, как считаешь правильным. Чужое мнение выслушай и прими к сведению, руководствоваться же им не всегда стоит. Руководствуйся движениями своей души, как подскажет совесть, как ты сама чувствуешь, то есть как должно быть, по-твоему.

Сестры милосердия выполняют нелегкую работу, сколько они делают для нас, солдат! И как горько сознавать, что они так же гибнут здесь, как гибнут и солдаты. Смерть воина-мужчины в бою тяжела, смерть же женщины - жутко. Но будем надеяться на лучшее будущее. Ты молодец, Аня, желаю всяческих тебе успехов! Хотя... Какие успехи, когда идет война. И все ж, не будем отчаиваться...».

Ответ Аня уже отправила и теперь ждала письмо от Аркадия.

Два письма написала и в Подгорье, одно - дяде, другое - Нефадею Мещерякову.

Письмо дяде получилось длинное, обстоятельное, писалось легко. Когда же начала писать Нефадею, мысли разбредлись, слова никак не собирались в предложения, и письмо получилось какое-то сумбурное, непоследовательное, точно писалось наспех, хотя это не так. Аня сидела над ним долго. О многом ей хотелось сказать, но ничего из этого, по сути, не вышло, она чувствовала слова, какие должна сказать Нефадею, но на бумаге они не получались. Аня была недовольна собой и хотела порвать письмо, но потом все же отправила его - не сразу, лежало оно еще с неделю.

С нетерпением теперь ждала ответа. Особый привет в письме передала милой Наталье Ивановне. Ах, как было хорошо там, у Канцедалова леса... Придется ли еще хоть раз в жизни испытать прелесть страды...

Отец, кажется, смирился с Аниным самовольством. Иногда даже изволил интересоваться, как у нее идут дела.

Теперь Борис Иванович при случае в кругу своих знакомых хвастался своей патриоткой дочерью, забыв, что совсем недавно противился ее решению работать в госпитале.

Дома он бывал редко, поглощенный кипучей деятельностью, не только как нотариус, но и член всяких обществ, союзов, товариществ. На его лице блуждала заговорщицкая улыбка; по вечерам, уединившись в кабинете, возбужденный какими-то своими мыслями, разговаривал вслух сам с собой.

Иногда несколько ночей кряду дома не ночевал.

Аню вызвали к госпитальному начальству.

- Тяжеловато, Анна Борисовна?

- Ничего, я уже привыкла, втянулась.

- Как вы смотрите на то, если мы вас переведем?

- Куда?

- Уважаемые граждане нашего города организовали пансионат для выздоравливающих офицеров. Нам предписано послать в этот пансионат несколько сестер.

- Мне бы не хотелось...

- Надо, Анна Борисовна. Сейчас мы не принадлежим себе, мы выполняем приказы. Надо!

Аня, разумеется, не знала, что ее отец приложил определенные усилия и свое влияние, чтобы перевести ее в этот недавно организованный для господ офицеров пансионат.

О таких своих действиях Борис Иванович умолчал и после. Знал, дочь будет недовольна, чего доброго, и оскорбится. Ее характер понемногу он начал понимать.

Но хоть так, инкогнито, постарался сделать для дочери облегчение. За недолгое время работы в госпитале она осунулась, вид у нее был очень усталый. Она - его дочь, и как любой добропорядочный отец, он обязан позаботиться о ней.

Борис Иванович от души был доволен удавшимся маневром.

Аня стала работать в пансионате.

Хочешь не хочешь, лежит не лежит сердце к муженьку, а надо было привыкать жить в кротовском доме.

Гаврюха на ласки не скупился, более того, в нем все время зудело нетерпение, ночь для него, неутомонного, была слишком коротка, утром он уже ждал следующей и весь день ходил в сладостном возбуждении, предвкушая блаженство, до которого дорвался и никак не мог насытиться. Теперь Шура - его жена законная, ни от кого таиться не надо, с полным правом мог требовать от молодой женушки, чтобы усаждала мужа своего вволю.

Горька женская доля - делить супружеское ложе с нелюбимым. Да приходится терпеть. Не застонешь при нем от невыносимой муки, не умоешься жгучими слезами, покорной должна быть мужу, хозяин он и повелитель теперь. Не сбежишь никуда от постылого, для отцовского дома Шура теперь - отрезанный ломоть, сдыхали.

- Ну, чего ты лежишь ледащая такая? - тискал Гаврюха ночь напролет застывшую Шуру. - Шевелись, хоть трошки! - дышал противно в лицо, от чего ее тошнило. - Так и будешь лежать кулем? - злился.

- Наморилась я... Поспим давай, малость хоть... - умоляюще просила Шура, стараясь отвернуться, чтобы не слышать частого удушливого дыхания мужа.

- Гы-гы! - щерился Гаврюха. - От чего наморилась? От такого не уморяются, такого все время хотят. Уморилась... Ничего! Постареешь, тогда отдохнешь. А пока мы молодые, до старости вся жизнь еще наша. - И требовательно тормозил: - Шурка, да шевелись же!

Целый день потом ходила она разбитой, невыспавшейся, приближающуюся ночь ждала с содроганием.

Как подумает, что жить ей с Гаврюхой всю жизнь, - сердце заходится. Но что делать, что? Кому пожалуешься, кто ее поймет? А не вышла б за Гаврюху, осталось бы одно - в петлю. Кому б нужна была? Отец прибил бы под пьяную руку - точно.

Теперь надо терпеть, привыкать. Проклинала ту минуту, когда Гаврюха сграбастал ее, заткнул рот и насильно сделал свое дело.

Работой Шуру особо не обременяли, что правда, то правда. Ее дело - наварить, убраться по дому.

Свекровь указаниями не докучала, была не сварливой, разговаривала мало и своими тоскливыми глазами всегда смотрела мимо Шуры. Иногда только задержит на ней взгляд и пошевелит губами; не разберешь, чего они шепчут.

Настя обходилось с Шурой по-доброму, помогала управляться. Разница в годах меж ними небольшая, и еще до замужества Шуры они немного дружили. И сейчас Шура осталась для Насти вроде старшей подружки.

- Не по сердцу он тебе, Шур? - сочувствующими глазами смотрела Настя.

- Не надо, не спрашивай... - кривила губы Шура.

- Не буду, прости, - обнимала ее Настя за плечи.

Не похожа Настя ни на кого из Кротовых. Будто и не дочь Поликарпа Тимофеевича и тихой больной его жены Меланьи. Обходительная, ласковая, глаза немножко с грустинкой, словно что-то не дает покоя Насте и она постоянно раздумывает над этим. А улыбнется - тепло от ее улыбки. В движениях вроде и нетороплива, а все у нее получается споро. Вот-вот тоже заневестится, наливаается, округляется девичья фигура, еще немного - и вовсе расцветет, не одни глаза заглядятся, не одно сердечко вострепнется.

Настя - радость для Шуры в новом доме, который отныне стал и ее домом - на всю жизнь.

Поликарп Тимофеевич называл Шуру дочкой. Когда разговаривал с ней, вечно хмурое лицо его с глубокими морщинами на лбу просветлеало.

Старая Акулина поначалу недовольно высказала сыну:

- Балуете девку, Поликарп. Неожее такое дело, ровно барыня она какая у вас. Никуда не годится так-то, невестка у вас больше отдыхает, чем работу робит. Мне, как вспомню себя, свекровь со свекром ни минуты продыха не давали. А вы блаженные, дюже вольницы ей много от вас. Да я, бывалоча, чуть присяду, так...

- Прикуси язык! - оборвал ее сын. - Твое дело смерти дожидаться, поняла? Услышу еще раз, пеняй на себя! На хлеб и воду захотела, карга старая!

Бешено кругнулись в орбитах глаза у сына, и старая Акулина примолкла, сидела в своем углу за печкой и шамкала

беззубым ртом, крестясь, пустив старческую мутную слезу. Страшен ее сын в гневе, спаси, Христос, больше чего ему говорить. Не то и впрямь исполнит свою угрозу. Он такой, повторяться не любит.

Плакала Акулина и вспоминала своего Поликарпа крохотным дитенком. Как ласкала, целовала его, голенького, розовенького, своего первенца. Давно это было... И вот дождалась, на старости лет куском хлеба родной сын попрекает.

Шуру после этого Акулина невзлюбила и зло шипела на нее, но поначалу побаивалась, что та пожалуется Поликарпу. Однако Шура молчала, и старая бабка стала шпынять ее уже без опаски. Ей доставляло это мстительное удовольствие.

- Бабушка, что я вам плохого сделала? За что вы на меня так? - пыталась Шура поговорить с той, не понимая, чем она так не угодила старой Кротихе.

- У-у, злыдня! Сгинь с глаз! - брызгала слюной бабка. - Блудница проклятая!

Шура возненавидела ее. «Хоть бы ты захлебнулась, змея, свой желчью!» - желала старухе. И если бы престарелая Кротиха умерла вдруг сейчас, Шуре нисколько бы не было ее жалко.

Отец Шурин от радости, что так удачно выдал дочку замуж, был на седьмом небе. Сбывались его мечты, начал он выбиваться в люди, становился в один ряд с Кротовым и Кондратюком, те приняли его, сразу же крепко подмогнули, и стал себя Петр Корнеев очень уважать и занят был теперь одними мыслями: быстрее бы сравняться с ними во всем.

На Пелагею посматривал свысока и взял моду покрикивать на нее - и по делу, и без дела. Она вроде как поубавила воинственности и, кажется, теперь во всем слушалась мужа. Но нет-нет, да и поведет взглядом в угол возле печки, где стоят рогачи, - когда очень уж расходится муженек. Тот начинал сбавлять - помнились ему те рогачи.

Скоро должна родить Пелагея. Непременно сына! В этом Петр был сейчас почему-то уверен как никогда. Как и плохое, хорошее - оно тоже, если уж пойдет, то одно к одному. А сейчас у Корнеева наступила сплошная счастливая полоса, о которой он мечтал, может, еще с тех пор, как у мамки титьку сосал.

- Вот она, жизнь, пришла! Эх! - часто восклицал, довольный до слез, стоя перед Пелагеей, который раз ощупывая живот и прикладывая к нему ухо. - Смотри у меня! - грозил жене, предупреждая: если и на этот раз сделает она, не дай Бог, ошибку, уж он ее!

- Отойдь! Не лапай! - отгоняла его Пелагея. - Грозильник! Сам хлопяток не можешь робить, так молчал бы лучше. А то расцвиринчался, что воробей под стрехой. Мне б не допускать тебя до себя, так быстрее толк получился б! - подначивала. У Петра вытягивалось лицо. Хоть понимал: шутит жена, но от ее слов неприятно скребло где-то под ложечкой.

- Эт, ты того... ты брось болтать, а то я... Ишь, она! - терялся он словами.

- Э-э... До чего ж дурная у тебя башка, Петро! - скучнела Пелагея. И тоже с надеждой: - Даст Бог, хлопяток выйдет... - Ей тоже очень хотелось сына.

А ночью Пелагея с Петром не ссорились, жили в ладу, ночью у них полное взаимопонимание. Тут главенствовал Петр, командир в таком деле он был лихой, и упрекавшая его днем Пелагея безропотно шла в подчинение - душа млела. Да если б только душа. Баба была она еще в соку.

Собрался Поликарп Тимофеевич на ярмарку в Калач, прикупить кой-чего. Гаврюха было тоже с отцом, но тот велел оставаться ему дома.

- Нечего делать там всем гамузом. Что купить, сам знаю. Может, и ночевать там придется. Так что вместо меня в доме оставайся, пора и тебе в хозяйство вникать как следует, не дите уже. Все равно будешь там ходить да рот разевать, галок ловить, толку от тебя никакого... А Шурка со мной поедет. Вот она нужна, глядишь, присмотрит что стоящее, чего я не догляжу. Баба, она и есть баба, глаз у ней наметанный.

Расстроился Гаврюха сильно, но отцу не перечил - бесполезно, да и отлает еще вдобавок. А хорошо на ярмарке, Гаврюху медом не корми - дай потолкаться среди людей, поглазеть на разношерстную толпу да пошиковать, соря денешками, услаждая себя всякими развлечениями.

Жену свою, Меланью, Поликарп Тимофеевич и забыл, когда последний раз брал с собой в Калач. Она и не просилась.

Никогда ничего не заказывала купить. Кротов если и покупал что для нее, то по собственному разумению.

На ярмарке встретили Мещеряковых. Трофим Степанович приехал с женой и старшим сыном.

Кротов, завидя Мещеряковых, разулыбался, с каждым поздоровался за руку. Со стороны можно было подумать, что встретились самые близкие родственники, которые Бог весть когда виделись. Он сразу же начал уговаривать Трофима и Наталью заглянуть в трактир и посидеть там за полуштофом водочки, покалякать о том о сем, культурно послушать граммофон. Поликарпу Тимофеевичу очень нравилась эта штукавина, и он собирался купить себе точно такой.

Трофим Степанович начал отнекиваться, но Кротов был настойчив, легонько укорил, что и на свадьбу, де, не пришли, и сейчас, мол, отказываетесь - обижаете. Ни Наталья, ни Трофим не нашлись, что на это ответить, и пришлось принять предложение Кротова.

Они ушли, оставив Нефадея и Шуру возле лошадей.

Кротов приехал на рессорном шарабане, запряженном доброй парой коней, Мещеряковы - на бричке с Дымком в упряжи.

Лошади у коновязи всхрапывали, переступали ногами и мотали головами, дергая поводья. Нефадей взял из брички охапку травы, бросил своим и кротовским, освободил им уздечки. Кони сразу успокоились, наклонились к траве, захрумкали.

Шура пугливо наблюдала за Нефадеем, сидя в шарабане. Он подошел, облокотился о его передок. Улыбнулся. Смущенной улыбкой ответила и Шура.

- Гаврюха чего ж не приехал? - поинтересовался Нефадей.

- Свекор велел ему дома оставаться.

- А... - протянул Нефадей и не знал, о чем говорить дальше.

Тщательно свернул самокрутку, закурил.

- А Груня? - в свою очередь спросила Шура.

- Что Груня?

- Она почему не приехала?

- Так с Ванюшкой кому? А с собой его братъ - наморится пацан только. Она егозилаь - поеду, батя прикрикнул слегка - успокоилась. Ничего, в следующий раз поедет...

Нефадей затягивался глубоко, дым пускал тонкой струйкой вверх, чтоб не попадал на Шуру. Бросил как бы вскользь взгляд на ее уже заметный живот. Она покраснела и, как показалось Нефадею, попыталась втянуть живот.

- Ну, как ты счас? - спросил Нефадей, лишь бы не молчать.

- Так... - Голос у Шуры дрогнул, она опустила глаза, в них заблестели слезы. - Живу... - сказала, словно сглотнула горячий комок. Подняла глаза и тоскливо посмотрела на Нефадея.

От ее взгляда у него защемило в груди, захотелось вдруг погладить Шуру по непокрытой голове.

- Не обижают? - Сейчас Нефадей очень пожалел, что не поквитался с Гаврюхой за ту драку у церкви.

- Нет, не обижают, - тускло сказала Шура.

Ей хотелось, чтобы Нефадей подольше стоял вот так у линейки, чтоб подольше не приходили его родители и свекор. Она смотрела на Нефадея жадно, давно не видела его, а он, казалось, тяготится, что остался с ней наедине.

- А я за тебя тогда, у церкви, с Гаврюхой хотел потолковать, - сказал Нефадей. - По-хорошему. Ну, а меня... Зря старался, и без меня вышло ладно.

Шура о той драке, конечно же, знала. Груня рассказала, как крепко Нефадея избили, и что он в тот день с приезжей барышней у речки прохаживался. Ушла Груня, а Шура всю ночь проплакала, стонала так, будто ее избили. И кажется готова была умереть лишь за то, чтобы оказаться на месте учительской племянницы - хоть на денек, хоть на часок.

От признания Нефадея у Шуры подкатил к горлу комок. Столько сил требовалось, чтобы сдержать слезы.

Совсем не догадывается Нефадей, о чем думает, что испытывает сейчас Шура.

Лошади управились с травой и опять нетерпеливо встряхивали головами, названивая уздечками. Нефадей снова бросил им по охалке.

Шура не сходила с линейки, сидела, наклонившись вперед, обхватив колени руками. Встреча с Нефадеем для нее и мучительна, и радостна - светлый лучик словно коснулся замерзшего сердца, потеплил его, и оно шевельнулось, напомнив, что оно живое, больно, тоскуче.

Кругом водоворотилась людская толчея, шумная, пе-
страя - ничего этого Шура не замечала, видела лишь Нефадея.

А он не знал, куда себя деть. То подправил упряжь на Дымке, то обошел вокруг брочки, внимательно осмотрев колеса, щепочкой затолкав во втулки вылезшую колесную мазь; опять закурил, покашливая, зажмуривая глаза - крепкий самосад продирает горло. На Шуру, казалось, не обращал внимания.

Наконец вернулись Поликарп Тимофеевич и Трофим Степанович с женой.

У мужчин лица покрасневшиеся, походка потяжелела.

Наталья шла чуть позади. По-девичьи стройная фигура плавно, с особой женственной мягкостью покачивалась в такт неспешному шагу. Лицо загорелое, чистое, молодое. Проходившие мимо мужики приостанавливались и оглядывались - хороша! И не подумаешь, что эта ладная молодка - жена одного из идущих впереди нее мужчин, степенных, уже в годах.

Нефадей невольно залюбовался матерью. Одетая по праздничному, она казалась сейчас какой-то особенной, чуточку даже незнакомой.

Странно получается, ехали сюда - ничего такого Нефадей не замечал, а здесь, среди людей, вдруг произошло такое открытие. Чудно получается... Так и хочется пойти навстречу и сказать ей какие-нибудь хорошие слова, а она в ответ улыбнется и станет еще красивей.

«Мама, мама...»

Когда Кротов потащил их с Натальей в трактор, Тимофей сначала недоумевал, с какой такой стати Поликарп обхаживает его, друзьями-товарищами вроде никогда не числились. Верно, начнет сейчас высказывать обиду, что не пришли на свадьбу его Гаврюхи.

Кротов, однако, об этом больше и не заикнулся. На заказ оказался щедрым и оплатил его сам, не позволив Трофиму даже вытащить гаманок.

Граммофонная труба шипела и женским голосом на цыганский манер жаловалась на молодца-зазнобу, который обманул девку, а потом бросил ее и подался к другой.

- Скажи ж ты, хитрая штуковина! - повосторгался граммофоном Поликарп. - Вроде ничего такого и нету - ящик с медной трубой да кружок черный крутится, а человеческим голосом поет! Придумают же умные головы! Погляжу сегодня, попадетса, куплю непременно. Ишь, как плачет, зараза! За сердце щипает, впору самому слезу капнуть.

- Купи, купи, - сказал Трофим. - Чего ж не купить, у тебя от таких затрат не убудет.

Поликарп не изменился в лице, на нем все та же благодушная улыбка.

- Да оно б и у тебя, Трофим Степанович, не убыло. Тоже не худо живешь, гаманок, верно, пустым не бывает. Мог бы и себе позволить поистратиться слегка, у тебя ведь в доме, - Кротов взглянул на Наталью, - жена молодая, да дочка скоро на выданье. Бабочки молодые, они страсть как любят музыку такую-то. Правда, Наталья Ивановна? Ох, и благодарили б они тебя, Степанович!

- Купи ты, я пока погожу. Не до музыков покамест. Хоть и правильно говоришь, гаманок не пустой, только лишнего в нем нету. Да и не нужно оно мне, лишнее, от него человек душой начинает вывихиваться, от лишнего-то, - в упор посмотрел на Поликарпа и покрутил по привычке усы.

Кротов взял угловатую зеленую бутылку, налил в стаканы.

- Я не буду, - отставила стакан Наталья.

- Чего так? - поднял брови Кротов. - Капельюшечку-то? Смотри, не самогонка наша - слеза!

- Нет. Пейте сами.

- Не принуждай, Поликарп Тимофеевич, не будет она, правда, - сказал Трофим, посмотрел на жену. Та смущенно опустила глаза, зарозовела щеками.

Поликарп перевел взгляд с одного на другого. У него мелькнула догадка.

- Уж не того ли?.. Никак собрались?

Трофим тоже слегка смутился.

- Собрались, - ответила Наталья за мужа. - Не старый, чай...

- Так за это тогда и выпьем! - подхватил стакан Кротов. - Поднимай, Трофим! Ну а ты, Ивановна, водички сладенькой, коли нельзя чего крепче. Дело хорошее, сына желаю вам! А коли дочку хотите, пусть она на свет является. А следом - и еще.

Казенная водка приятно загорячила нутро.

- Я тоже вот жду, - жуя закуску, говорил Кротов. - Дедом скоро стану. Жизнь, она быстротекучая, туда-сюда, глядь, внуки подошли, старость, значит, на порог явилась.

- Тебе еще до старости... - махнул рукой Трофим и насмешливо покривил губами. - Молодому, небось, не угнаться в этих самых делах! - намекнул на те Поликарповы способности, которые ни для кого в Подгорье не были секретом.

- Скажешь... - напечалил Поликарп лоб. - Ушло времечко, ушло... Лежу, Трофим Степанович, ночью, не сплю, не идет сон, тело ломит, кости тоскуют, а внутрих шкарябается, рак будто клешней ворочает. И вроде не болит ничего прямо, чтоб знатье, к примеру, что печенка там или легкие занеможились, отказываться стали дело свое справлять, а не пойму, стронулось что-то, наперекосяк будто стало, давит, не дает покою. А ты... Не-е, к закату клонится. Страх иной раз подступит - неужель скоро? И не жил, а уж пора готовиться. Туда...

- Будет тебе напущать на себя, - усмехнулся Трофим. - По твоей жизни еще столько проживешь. А смерти бояться - каждый ее боится, кому ж охота в землю ложиться. Есть там рай или нету, все одно на этом свете лучше. Так?

- Так... Меланья моя сколько вон годов мучится, а тоже неохота туда-то, все надежду имеет, коренья, травы всякие пьет, - посожалел Кротов о своей жене и подумал, что долго же хвороба никак не может одержать в ней верх.

- Уродилась пшеничка? - без всякого перехода спросил Кротов, когда выпили по второму разу. Спросил, будто не знает, какая она удалась в этом году. - Быстро, смотрю,

управилась? - намекнул на артельную работу Трофима с соседями.

- Гуртом любое дело способней править. Слава Богу, дождь не помешал, свезли снопы, осталось чуток домолотить. Уродился хлебушек...

Интересуется Кротов, ишь, не по нутру ему затеянная Трофимом артель. Вида не кажет, но про себя злобится, это уж точно, знает Трофим. Пускай его, побесится, а то привык, чтоб в ножки ему кланялись. Правда, Трофим никогда не снисходил до такого, как ни бывало тяжело, обходился, картуз перед такими, как Кротов, не снимал.

- Каждый год выдавался бы такой, - не удержалась Наталья, вспомнив, как бедствовала с покойником Акимом.

- Кабы... - усмехнулся Кротов. - Каждые два года неурод, считай, - сказал так, словно давал понять: на следующий год готовьтесь потуже затянуть пояса. «Точно грозит, идол толстомясый!» - с неприязнью посмотрела Наталья на Поликарпа. Он поковырялся толстым пальцем в зубах, и вроде скользнула у него усмешка. - Ко мне обратились, давно уже и обмолотились бы. - У Кротова имелась молотилка. - Петр Корнеев, родственник мой теперешний, быстрее вас управился. Помогли б и вам... Цепами - дело долгое.

Трофим сказал без обиняков:

- Знаю твою помощь, Поликарп Тимофеевич. Сначала поможешь, а потом три шкуры сдерешь. Уж мы сами как-нибудь. Дома больше останется, нету охоты в амбары тебе добавлять. Они и так у тебя ломаются. Погодим пока.

Кротов опять постарался скрыть раздражение, прикрыв его добродушной улыбкой.

- Говоришь, Трофим, так, будто живодер я какой. Зря, зря ты... Я с людьми по-божески. Другие спасибо говорят.

- Не от хорошего говорят. Приспичит, волк овечкой блеет. Помягчее б тебе, Поликарп Тимофеевич, с людьми. Терпение, оно у всех разное.

Лицо у Кротова побагровело, он чуть не сорвался, но сумел взять себя в руки. Наталья умоляюще посмотрела на мужа: «Не затевайся с ним, ну его!»

- Не терпишь ты меня, Трофим, не терпишь... Отчего так? Нам с тобой делить нечего, хозяйство у тебя тоже справное, могли б по-человечески, по-товарищески меж собой жить, а ты все ерепенишься.

- По-человечески. Ты сам-то с собой обходишься по-человечески?

Наталья боялась, что спор сейчас, подогретый выпитым, выльется, не дай Бог, в открытую стычку: чего доброго, дойдет до кулаков.

Но боялась Наталья напрасно, оба в руках себя держали и даже старались говорить ровно, спокойно, не повышая голоса.

- Обхожусь, Степанович, обхожусь. Как же себя-то обижать? Не бывает так, чтоб человек сам против себя шел. Только доброе дело и для людей делаю, а кому завидно, тот и злится. Я к людям по-доброму, и они ко мне тоже. А за бесплатно, Трофим Степанович, в других городах, на юге, где жарко, говорят, и стакан воды не выпьешь. Вот...

- Ну, с такими, как Корнеев Петро, ты можешь...

- Он родич теперь мне близкий, ему грех не помочь.

- Помогай...

- Не туды мы повернули, Трофим Степанович, наш с тобой разговор. Зачем нам так, подначивать друг дружку? Давай все ж по-хорошему, по-товарищески будем. Кошка с собакой норовят укусить, поцарапать один другого, а бывает, что и дружат, водой не разольешь, в конуре одной спят, из миски одной хлебают. Всякое бывает!

- Бывает. Только мы с тобой не кошка с собакой - люди. В одной конуре нам не жить и из миски одной не хлебать. А кусаться и царапаться, правильно сказал, негоже. Потому как - люди мы. И взаправду, затеялись мы не по делу, делить нам с тобой нечего. Давай, наливай, Поликарп, остальное, да иди пора, а то мы с тобой всю ярмарку просидим. Походить надо, посмотреть, кой-чего купить.

Так до конца и не понял Трофим, зачем же его все ж Поликарп так усиленно тянул в трактир. Никакого разговора по существу не произошло. Просто поиграли на самолюбии друг друга - и только. Что-то Кротов недосказал, ради чего, наверное, и приглашал в трактир.

Вышли они из трактира отяжелевшие и разговаривали мирно, спокойно, будто и не было обоюдных едких слов.

Поликарп в душе был, в какой-то мере, удовлетворен. Никогда с Мещеряковым так откровенно они не разговаривали, кое-что выяснилось, и это надо было принять к сведению. На людях явной недоброжелательности меж ними не заметно.

И это хорошо. Прямо, слишком прямо Трофим, не на руку ему будет эта прямота. Время, оно такие иногда фокусы выдает, что сам фокусник не в силах разгадать. А Трофим простоват, раз-другой загадается загадкой, да и поймет, по какому ветру нос надо держать. Подгорьевские мужики прислушиваются к Мещерякову, уважают его, отсюда и вывод - в ссоре с ним ни в коем разе нельзя быть. Кое-когда и поддакнуть ему, ежели понадобится, уступить, может, и против воли. Зато потом окупится.

Кротов с Шурой пошли по одним торговым рядам, Мещеряковы - по другим. Поликарп высматривал, не попадет ли у кого граммофон.

На пыльном пяточке перед торговыми рядами появился инвалид с гармошкой. Был он крепко выпивши и резко рвал гармошку, хрипло выкрикивая частушки-прибаутки. Вокруг него сразу собралась толпа зевак.

На этом пяточке Трофим когда-то отнял свою Зину у избивавшего ее цыгана. Вспомнив сейчас об этом, Трофим вздохнул. Наталья уловила этот вздох.

- Что, Трофим?

- Ничего. - Потом признался: - Зину здесь я увидел...

Наталья незаметно от Нефадея погладила мужнину руку.

О Зине вслух вспоминали хоть и не часто, но память о ней берегли. В сундуке, пересыпанные табаком, бережно хранились цветастый сарафан и кофта, которые были на Зине в тот последний день ее жизни. Стараниями Натальи могила Зины была всегда ухожена. На Пасху навещали ее всей семьей. Смотрели и за Акимовой могилой.

*Моя милка, как бутылка,
А я сам, как пузырек!
Немец трахнул по затылку,
Я царю - под козырек!*

- выдавал инвалид, весело подмигивая мутными глазами. Сквозь толпу к нему протискивался урядник. Инвалид заметил его, но нисколько не испугался и продолжал:

*На горе стоит точило,
Под точилом борона!
Царь поехал на кобыле,
А царица - б... она!*

- выкрикнув последние слова в лицо урядника, который цепко схватил инвалида за плечо, ударил кулаком по мехам. Гармошка резко взвизгнула и умолкла. Инвалид покачнулся на деревянной ноге и чуть не упал. Толпа притихла.

- В каталажку захотел, скотина?! - с силой тряхнул урядник инвалида и замахнулся на него.

Толпа глухо зароптала и подступила ближе.

Урядник тащил гармониста за собой, тот упирался, деревянная нога чертила в глубокой пыли канавку.

- Не трожь, харя тыловая! Отпусти, говорю! - кричал инвалид, вырываясь из цепких рук урядника. - Сам пойду, если так желаешь! Мне один хрен, где валяться - под забором или в каталажке! Отцепись, твою мать!

Толпа загородила дорогу уряднику. Он запыхался, фуражка сползла на затылок, шашка мешала, путалась в ногах. Урядник отпустил инвалида и, вращая налитыми кровью глазами, заорал:

- Разойдись! Чего рты разинули?! Разойдись, приказываю!

- Не ори! Разорался, петух! - выкрикнули из толпы.

- Разъел харю, гад! Отпусти инвалида, не трожь, он на войне ногу оставил, а ты отсиживаешься тут, кабанюка!

Урядник затрясся, шаря рукой по кобуре.

- Разойдись!!! Не то! - Кобура никак не расстегивалась.

- Гляди-ка, револьверт, сука, тянет. Неужто стрельнет?

Трофим подскочил, сжал уряднику запястье:

- Не балуйся. Хочешь, чтоб башку тебе снесли?

Урядник поморщился от боли и выругался.

- Сволота! Развоевался! Тут он герой! - возмутились в толпе.

- Гуляй отседова подобру-поздорову! - толкнул Трофим урядника в спину. - Иди и не оглядайся!

Толпа расступилась, урядник с искаженным от злобы лицом быстро пошел прочь.

- Подмогу сейчас вызовет!

- Сматывайся, солдатик, а то попадешься им - печенку отобьют, как пить дать!

- Всем надо расходиться!

- Да он со страху в штаны наложил, какая там подмога! Подмываться пошел!

- Ну его, от греха подальше пошли.

Люди поспешно расходились.

- Надо было тебе к нему лезть! - упрекнула мужа Наталья. - Так и беды недолго накликать.

Трофим сдвинул брови.

- По-твоему, стоять и блыпать? А стрельнул бы сдуру? Убить же мог кого под горячую руку.

- Ну пошли, пошли, вдруг вернется, да не один.

Они двинулись вдоль рядов.

После полудня поехали домой. Подарки купили всем. Нефадею - черный пиджак и фуражку, тоже черную, с лакированным козырьком, которую он сразу надел.

- Зачем, может не надо, бать? - попробовал он возражать против пиджака. - Столько отвалили!

- Носи, сынок! - похлопал сына по плечу Трофим, оглядывая его в новом пиджаке. Он сидел ладно на Нефадее, сразу сделал его солидным, значительным. - А денег, сынок, никогда не жалеи, ежели на дело.

Кротов уехал раньше Мещеряковых.

Направил коней не по шляху, мимо Ильинки, а через гору, где дорога похуже, но короче.

Граммфона Поликарп Тимофеевич не купил, ни одного не продавалось на ярмарке. Заходил опять в трактир, но как ни упрашивал, хозяин наотрез отказался продать свой. Не позарился и на двойную цену.

Сегодня Пиликарп Тимофеевич был щедр, деньгами сорил не желяючи. Шуре купил обновок, столько и таких отродясь она не видывала. Одета теперь с ног до головы, все было - и на лето, и на осень, на зиму и весну. Купил еще свекор перстенок, не какой-нибудь дешевенький, сработанный

из меди, с камнем из бутылочного стекла, а настоящий - золотой, с бирюзовым камешком. Велел здесь же, на ярмарке, надеть колечко на палец. Камешек искрился, переливался гранями.

- Нравится? - довольный, спросил Поликарп Тимофеевич, разглядывая перстенок.

- Нравится... - Шура не верилось, что это на ее пальце надето такое чудо. Она была ошарашена обилием подарков, на которые свекор не скупился для нее, перстенок же вообще смутил Шуру, смотрела на него испуганными глазами. Кто имел такой в Подгорье? Что-то и не припомнить...

- В самый раз, не давит? - покрутил свекор перстенок на Шурином пальце. - Как тут и был!

- Спасибо, батя! - поблагодарила Шура.

- Я для тебя, дочка... Для тебя мне ничего не жалко... - вроде как смущенно сказал свекор.

Настороженность, внутренняя боязнь, которые испытывала Шура к Поликарпу Тимофеевичу, показались ей сейчас несправедливыми с ее стороны. Свекор был весел, поглядывал на Шуру ласково, даже морщины на его лице будто разгладились, одна доброта на нем, никакой другой тени.

Кони легко вынесли линейку на гору, ровным платом уходившую дальше до самого Подгорья. По обеим сторонам проселка тянулись сжатые поля, желтея стерней, разбавленной зеленью пожнивной травы.

У небольшого леска Поликарп Тимофеевич свернул с проселка и направил коней туда.

- Передохнем малость, - пояснил. - Перекусим. Я-то хоть в тракторе немного жевнул, а ты, наверно, совсем проголодалась.

Проголодалась Шура - видно, а что передохнуть - всего-то версты четыре отъехали от Калача. Можно б и до дома потерпеть. Но не будешь же перечить свекру. А домой спешить - что там, на Гаврюху смотреть, все время чувствовать на себе его похотливый взгляд?

Въехали в лесок, остановились на крохотной полянке, трава на ней уже присохла, порыжела - кончалось лето.

Достали из линейки рядно, расстелили, разложили снедь, запасаю ею Поликарп Тимофеевич на ярмарке, не забыл и водки купить несколько бутылочек, чистой как слеза.

Шуре Поликарп Тимофеевич не налил, выпил полбутылки сам и, лениво поковырявшись в закуске, сидел, щурясь на нежаркое солнце. Посматривал на невестку - та, поев с аппетитом, хотела собирать оставшееся.

- Погодь, - остановил ее. - Успеется...

Шура опять села напротив свекра, вытянув вдоль рядна ноги, рассматривала перстенок.

У Кротова задрожали веки, он взял бутылку и опять жадно глотнул из нее, швырнул недопитую в траву.

Шура подняла голову, посмотрела на свекра. Глаза его горели, резко очертились ноздри.

Отбросив рядно, он вдруг стал на колени и склонился над Шуриными ногами. Руки его сжали щиколотки, потом скользнули под юбку, прыгающие пальцы гладили колени, поползли по бедрам.

У Шуры перехватило дыхание, широко открытыми глазами она смотрела на крепкий побагровевший затылок свекра.

Он резко откинул подол юбки и лицом упал на оголенные белые ноги, завозил по ним губами. Потом выпрямился, часто дыша, обдал Шуру перегаром, - обезумевшие глаза свекра, казалось, вот-вот выскочат из орбит.

Поддерживая одной рукой под спину, он опрокинул Шуру, впился в ее губы. Дрожащими, как в лихорадке, руками гладил бедра, округлый живот, рванул на груди кофточку.

Омертвевшая Шура не в силах была шевельнуть ни рукой, ни ногой. Они не подчинялись ей, их точно парализовало. И не закричать - спазмы перехватили горло.

Трудно, с усилием выдохнула:

- Господи, что вы делаете!

- Шуронька, доченька, рыбонька, золотая моя! Не бойся! Ты не бойся меня! Я не обижу, я только... Счас... счас... Озолочу тебя... Чего захочешь куплю... Купаться в счастье будешь... Ничего не пожалею для тебя...

Тяжелым телом свекор придавил Шуру к земле.

- Нельзя ж... нельзя... Мне скоро ведь... - молила она, задыхаясь.

- Ничего... ничего... Я помаленьку, я легонько... - обезумевший свекор проглатывал слова, больно прижав своими зубами ее губы. - Родишь... Внука... Легонечко, я легонечко... Шуронька... Рыбонька...

Омерзение, боль, ненависть терзали тело, душу. Оцепеневшая, точно разбил ее мгновенный паралич, Шура закрыла глаза. Беззвучные слезы катились из-под ресниц...

ГЛАВА 15

Писем Мещеряковы ни от кого отродясь не получали. И вдруг - письмо! Поначалу не верилось даже: им ли оно, не ошибка ли какая вышла? Но - нет, так и написано: «Мещерякову Нефадею Трофимовичу».

Письмо оказалось от Ани.

Наталья подивилась, задумалась: стало быть там, в своей Туле, Аня помнит Нефадея, раз написала... Не оборвалась ни точка меж ними, протянулась через дали сотневерстные письмом неожиданным.

Только для кого неожиданным? Для Нефадея? Вряд ли... Ждал, видать, его. Схватил конверт, полыхнул лицом.

Скрытен Нефадей, в себе все носит, но представляет Наталью, каково ему, что творится в его душе. Не приедь Аня, так бы и жил себе спокойно, время подошло - свою подгорьевскую дивчину какую заприметил, все бы ладом и шло, как у всех. Да только не угадаешь в жизни, что завтра с тобой будет. Вот и у него...

«А может... А вдруг...», - как хотелось Наталье поверить в чудеса! Но тут, в случаях таких, чудеса обычно дальней дорожкой хаживают. Издали, может, и увидишь их, помечтаешь, а поближе попробуешь подойти - мучить только себя. В сказках чудеса бывают, а на свете - правда горькая.

Особенными глазами смотрела на брата Груня. Сейчас он был для нее в первую очередь человеком, получившим письмо. Сгорала от любопытства, что же пишет Аня. Но разве скажет Нефодька! Может, и про нее, про Груню написала что-нибудь?

Оказывается - да, написала. Всем Аня передавала приветы, и Груне тоже.

- Так уж прямо и тебе? - допытывался у Груни Митька Суров. Уж кому-кому, а ему в первую очередь сообщила она о письме.

- Не веришь? - обиделась Груня. - Нефодька так и сказал: и тебе, Груня, привет.

- А сама читала? - не унимался неверящий Митька.

- Не, не читала. Нефодька разве даст!

- Так он и сбрехать может! А ты уши развесила.

- Дурной ты, Митька! Вечно у тебя... - поморщилась Груня. Вот человек! Ни во что ему не верится!

Хотела сказать Митька несколько резких слов и потом уйти, но тот разгадал ее намерение и заговорил примирительно:

- Грунь, не обижайся. Ясное дело, не мне ж она передала привет. Кому ж как не тебе, ты ж Нефодькина сестра... А кабы была не его...

- Опять ты! - не язык у Митьки, а колючка. Помимо воли ехидничает.

- Грунь, ну-у... - превратился Митька в сущего ягненка. Лицо виноватое, а глаза смотрят на Груню так, что разве повернешься, уйдешь... Ох уж эти глаза!

Не весна на дворе, осень дышит, а у Груни с Митькой сейчас все наоборот. Для них наступила весна, их весна, первая весна двух сердец. И снег ли, дождь ли идет, в них весенний цвет.

Словом, письмо из Тулы явилось событием не только для Нефадея.

Что касается Нефадея, прочитал он письмо не сразу. Спрятал за пазуху и долго ходил, не находил себе места, казалось, на груди у него лежит не письмо, а горячий уголек. Вытаскивал, рассматривал конверт, красивые буквы на нем, нюхал даже - пахло клеем, но ему казалось, что конверт хранит запах Ани. Было удивительным: столько пропутешествовав, письмо точно пришло по назначению, к нему, к Нефадею. «Нефадею Трофимовичу» - читал который раз. Это значит он - Нефадей Трофимович.

И было почему-то боязно распечатать конверт, вытащить письмо. Маялся, никак не решался. Наконец ушел на речку, сел на берегу и вытащил конверт из-за пазухи. Пальцы дрожали, когда распечатывал его.

Читал вслух, всматриваясь в каждое написанное слово, вслушивался в него, произносимое его голосом, но которое родилось из-под пера Ани. Чудился Анин голос, вся она представлялась перед глазами, точно сидела рядышком.

Скованности слов, отчего письмо было несколько суховатым и чем была Аня недовольна, когда писала, Нефадей не почувствовал. Главным для него было само письмо, содержание же его являлось фактом второстепенным.

Письмо! От нее! Ему!

Он касался губами листка бумаги и краснел.

Написать ответ оказалось делом непростым. Уединившись, чтобы никто не мешал, Нефадей вывел карандашом: «Здравствуй, Аня!» - и остановился. Обнаружил вдруг, что не знает, о чем писать и как писать дальше. Изгрыз весь карандаш, но следующая строчка никак не начиналась. Как их пишут, письма? Как? Этого он не представлял и мучился.

Долго рассматривал написанные первые два слова и ужасался. Буквы корявились, вихлялись в разные стороны, будто гуськом шли с крепкой попойки, не в силах даже держаться друг за дружку. Каждая брела сама по себе, как ей вздумается. Карандаш был химический, Нефадей слюнявил его, и от этого буквы были какими-то грязными, замызганными. Стыдно за такие буквы. Нет, так не годится. Надо писать чернилами, тогда буквы, может, будут поопрятней и поустойчивей.

Дома чернил не водилось, и Нефадей собрался пойти к Николаю Ивановичу попросить их, а заодно и ручку. Однако в последний момент решительности не хватило, боязно что-то стало. Еще начнет учитель спрашивать, зачем да почему понадобились они Нефадею, а что он ответит? Соврать не сможет, а правду сказать... Словом, оробел.

Как бы невзначай Нефадей спросил у дружков, не завалюсь ли у кого чернил. А то, может, вдобавок и ручка есть?

Те понимающе переглянулись. Разумеется, Митька поведал Мишке, что Нефодьке пришло письмо аж из самой Тулы.

Ну, а от кого, можно и не спрашивать. И так ясно. Как и для Груни, Нефадей в глазах дружков выглядел необыкновенным человеком. Шутка ли, лично получить письмо! Как какой-то там!.. Даже определения не находилось - какой такой.

- Матери, что ли, надо? - умышленно безразлично спросил Митька. - Красить чего надумала, а? У нас нету, - сказал так и будто потерял всякий интерес к вопросу Нефадея. Мол, раз нету, можешь и не отвечать, зачем они понадобились матери.

- Ничего не красить! - досадливо поморщился Нефадей.

- Не красить? - сразу ожили Митькины глаза. - Гм... А для чего ж тогда?

- Для чего, для чего! Раз нету, нечего и говорить дальше.

Мишка Алабушев напустил на себя важный вид и выдал значительно:

- Ежели для дела... - Подумал, почмокал губами. - Ежели для дела, могу дать, у нас есть. И два пера новых есть. Батька года два назад купил. А для чего, спроси его, и сам не знает. Тебе нужно? Или кому?

- Мне, мне. Пошли, дашь.

- Прямо сейчас?

- А чего ж? Жалко стало?

- Тю! - обидчиво сморщился Мишка. - Тоже скажешь! Жалко! Ты лучше скажи, зачем тебе?

- Надо! - начал раздражаться Нефадей.

Мишка отошел на несколько шагов и загыгыкал,

- Тогда не дам! Раз не говоришь. Ему как другу, а он - надо! Не дам!

- У-у... - процедил Нефадей, словно у него внезапно заболел зуб. Врезать бы сейчас Мишке, но тогда точно, паршивец, не даст. На нервах, подлец, играет.

- Но-но! - осадил Алабушева Суров. - Расскалится! Человеку нужно, значит, дай. И нечего допытываться! - прямо таки приказание с угрозой в Митькином голосе. - Правда, Нефодь?

- Тогда ладно, пошли, - смилостивился Мишка. Он не понял, дурака валяет Митька или взаправду так говорит, на полном серьезе.

Когда в руках у Нефадея оказалась желанная ручка с новеньким блестящим пером и чернильница, Митька все же еще поинтересовался:

- Никак писать чего надумал? - спросил добродушно, не назойливо. И вроде себе: - Чего бы он писал...

И тот не смог ни соврать, ни промолчать.

- Письмо.

- А-а-а... - дружно, враз протянули Митька с Мишкой и допытываться, кому письмо, не стали. Переигрывать в шутке - дело паскудное. Шутки всякие бывают, в данный же момент понимали - на этом надобно ставить точку.

В последнее время дружба между ними троими не то чтобы охладела, а как-то вроде меньше в ней стало тяги друг к другу. Раньше не было дня, чтобы друзья не встречались. Теперь же, случалось, не виделись почти неделями - и ничего.

Нефадей, тот на улицу не ходил. А если и придет, посидит часок, послушает гармошку и уходит домой. С девчатами никакого баловства, никаких шуток.

Танька Собкалова и так, и сяк глаза на него ставит, а ему хоть бы хны. Вздыхает Танька - хоть плачь, а толку никакого. Вокруг нее Петька Токарь, гармонист, увивается, меха в гармошке скоро изорвет, а она - нет, Нефодька ей глянулся.

У Митьки Сурова Груня на уме. Кончились перегляделки, гуляют вечерами за селом, подальше от людских глаз.

Придут на улицу, встретятся там и скорей норовят улизнуть.

Поругивает Трофим Степанович дочку, когда загуляет - та, явится за полночь, на цыпочках шмыгнет в постель. А Наталья, добрая душа, заступается. Зря, мол, шумишь, подошло Грунино время звездами с дружкой своим сердечным любоваться, подошло...

- Мала совсем еще! - никак не хочется соглашаться Трофиму с доводами жены. - Соком налилась, а в голове зелень сплошная! Охмурит какой быстрый и нюнькайся потом!

- Не охмурят, - успокаивала Наталья мужа. - Груня у нас молодцеватая, зря ты так на нее. И Митька Суков хлопец сурьезный. Не позволит плохого.

- Сурьезный! - иронично ахал Трофим. - Балаболка он! Нашла сурьезного. Шустрый больно, такие и...

И опять защищала Наталья, теперь Груниного ухажера:

- Не, Трофим, то на первогляд так кажется. Хлопец он ничего. До нашей Груни он без баловства.

- По-твоему, так все ангелочки.

- Я ж не про всех, Трофимушка. А про хороших людей грех плохое и думать. Все у них ладно, не переживай ты так.

Я ж вижу.

- Ладно так ладно.

Хотелось верить Натальиным словам, и Трофим им верил. Во многом он верил своей жене больше, чем самому себе. И это была не назойливость с ее стороны; просто два человека нашли, дополнили друг друга, стали обоюдно нужными. И уже и в мыслях даже не разделить их.

Нежданно-негаданно совсем другими глазами, точно застило их раньше туманной пеленой, глянулась Мишке Алабушеву Настя Кротова. Раскрыл хлопец широко глаза, чувство такое, словно умылся в чистом роднике, проснулось в них, смотрели они на Настю изумленно, несмелые и влюбленные. Издали пока, робко, без надежды. Заметит дивчина, посмеется - тогда? Сквозь землю провалиться от стыда. И смелость здесь - не великая подмога.

Но напрасно так страшится Мишка откровенных прямых взглядов, которыми можно столько сказать, что и тысячей самых лучших слов не выразить - слишком бледными будут выглядеть слова. Чувствует, догадывается Настя про Мишкины мысли и тоже откликается на них. Но так же, как и хлопец, сгорает от смущения.

Письмо не давалось Нефадею, хоть убей. Сколько всяких слов на свете, каждое само по себе стоящее, подходящее, а как начнешь их складывать в цепочку, одно за другим, топырятся они, как ежики, толкаются меж собой, никак не найдут своего места. Разговариваешь, не думая, складно, легко получается, а начнешь стараться, чтоб еще покрасивей получилось, ну ничегошеньки не выходит.

К тому же ручка в пальцах так и норовит взбрыкнуть необъезженной кобылкой, сбросить с себя седока - чернильную

каплю. Та, глядь, и распласталась на белой бумаге жирной кляксой, подмяв под себя ближние буквы. Горе! И смех, и грех. Как быть?

Перо и ручку кое-как удалось подчинить, чтоб слушались более или менее, а вот слова... Разбегались они от Нефадея, как тараканы от света, и никак не удавалось собрать их в кучу.

Полручки изгрыз, вымарал не один листок, а толку никакого. Ни с места. Легче день за плугом походить, чем сочинить письмо на одном листке.

Но сам, должен сам написать! При таких письмах помощники еще большая помеха.

Мучился несколько дней. Стукнуло в голову пойти к Лизавете Козуб и покопаться в книжках, может, в какой и попадется, как пишутся они, письма эти.

- Давненько не кажешься! - встретила улыбчиво Лизавета.

С тех пор, как отнес ей «Казаков», не взял Нефадей никакой другой книжки, - некогда было читать, дел дома по горло.

- Никак соскучилась? - пошутил.

- А то! - играя глазами ответила она. - Не соскучилась бы, так и не спрашивала. Проходи, проходи! Присаживайся, - приглашала как самого дорогого гостя.

Нефадей протянул сверток - опять кой-чего принес, - сел на лавку.

Лизавета стала посреди хаты и, скрестив на груди руки, смотрела на гостя, улыбаясь во все лицо.

- Чего ты? - Нефадей почувствовал, что пунцовеет.

- Рада тебе, вот и смотрю!

Вот те и раз... И сказать ей на это нечего.

- Книжки опять хочу посмотреть. Можно?

- Можно, Нефодя, можно...

Порывшись в книжках, полистав страницы, ничего подходящего про письма в них не нашел.

Вот незадача...

Сидел в раздумье над сундуком. Вспомнились слова Ани: «А ты книжки читай, обещаешь?» После ее отъезда не прочитал ни одной. Действительно, время было такое, что некогда

читать. Сейчас с работой поуправились, надо попросить у Лизаветы какую-нибудь книжицу.

Выбрал «Ледяной дом» Лажечникова. Заинтересовали картинки и название. Что за дом такой, ледяной?

- Возьму вот эту?

- Бери, - Лизавета отвечала певуче, протяжно. Глаза блестят, тени вокруг них. Такие глаза у тех, у кого жар начинается от простуды.

Странная Лизавета сегодня - то смеется, то хмурая такая.

Дверь в хате прикрывалась неплотно, вся перекосячилась - навесы распатались.

- Перебирать надо, зимой с такой дверью...

- Да кто ж мне ее переберет? - горестно ответила Лизавета. - Хоть бы свекор был живой... А так... Кому я нужна? А сама, какой из меня плотник. - Нерешительно тронула Нефадея за плечо: - Ты б и помог. Я б отблагодарила, ты не думай...

Не просьба, мольба в ее голосе. Как можно отказать, не помочь солдатке?

- Чего ж не помочь. В следующий раз приду и сделаю. С инструментом приду.

- Когда ждать-то?

- Ну-у... Не знаю... Ладно, дней через пяток.

- Ага. Значит через пять. Я прям и не знаю, как благодарить тебя...

Лизавета проводила Нефадея до калитки.

- Погодь благодарить. Пока на словах-то. Когда сделаю, тогда и благодари. Не боишься соседей? Среди бела дня прихожу, видят. Подумают еще чего, языкастые.

Она шутливо толкнула его в спину.

- А ты днем не приходи. Вечером. Тогда никто и не увидит.

- Не выгонишь? - подыграл Нефадей.

- С распростертыми объятями приму! Такого молоденького... Никого я не боюсь, Нефодя. Ежели кому охота языки чесать - пусть их. Наплевать! Что ж мне теперь... Им хорошо, а тут гвоздь некому забить. Плевала я!

- Так значит жди.

- Буду...

Шел Нефадей домой, а перед ним все стояли Лизаветины большие глаза. Тяжело ей, бабе одной, с детишками...

Дня за три письмо все ж осилил. Получилось чисто, без клякс. Буквы не ахти какой каллиграфии, но ни в какое сравнение не шли с теми, что получались поначалу.

О чем он писал? Собственно, и писать-то было не о чем. Новости? Какие могут быть новости в Подгорье - тихо, спокойно текут дни. Правда, все ж происшествие было - для Подгорья весьма значительное, особенно для богомольных старушек.

Дед Халимей, забывший, когда последний раз ходил в церковь, вдруг надумал осчастливить ее своим посещением. Ничего тут удивительного нет, надумал дед и надумал посетить храм Божий, может, грехи какие заявился отмолить - мало ли что. Но то ли по забывчивости, то ли намеренно зашел он в церкву, стал, а картуз не снял. К тому же стоял нетвердо, покачивался, хлебнул перед этим.

Старухи так и ахнули, главное, смотрели на деда и жестами показывали на картуз. А деду хоть бы хны. Не крестится, стоит истуканом, кривыми глазами Божьи лики рассматривает, ухмыляется в ответ старухам, а картуз и не думает снимать.

Заметил Халимея и батюшка. Голос даже у него изменился, задрезжал металлом от возмущения, глазами деда насквозь прожигает.

А дальше дед такой номер отчебучил, что хоть стой, хоть падай. Протиснулся поближе к батюшке, ощерился беззубым ртом и приставил палец к виску, покрутил. Батюшка поперхнулся и махнул кадиллом, хотел, видать, запустить им в Халимея. Да вовремя одумался, скандал бы вышел вообще не-сусветный.

Старухи схватили богохульника за шиворот и вышвырнули из церкви. На паперти Халимей оглянулся на разъяренных старух и обляял их трехэтажным матюком. Те чуть не попадали, задохнувшись от гнева.

Оказавшийся рядом Кондратюк дал совсем свихнувшегося с ума Халимею пинка и тот растянулся плашмя на зем-

ле, пересчитав пузом ступеньки. Старухи кинулись толпой на поверженного деда и, наверное, убили его, если бы мужики не отогнали.

Исцарапанный, искровяненный, Халимей кой-как поднялся и, еще раз матюкнувшись, поковылял домой.

Все сделали вывод: тронулся умом Халимей.

Побитый дед больше недели не поднимался с постели. Костерил на чем свет стоит и попов, и Бога, и всех, кто ходит в церковь.

Бабка к деду не подходила - чтоб он сдох, идол проклятый! И зажимала уши руками. Образа закрыла рушниками, чтоб Матерь Божья не видела и не слышала ужасного срама. Плакала и вслух желала своему дураку супругу собачьей смерти.

- Курва ты безмозглая, - огрызался дед. - Как же, умру! Жди! Я и тебя, каргу костлявую, переживу. Назло. Батюшка твой, боров пузатый, сдохнет быстрее меня, и я еще посмеюсь над ним. Как черви жрать его будут. Дохлятины много с него.

Сердце у бабки останавливалось от таких речей.

- Будешь вечно в геенне огненной жариться на том свете! - грозила карами. - Паскудник! Ужо накажет тебя Бог мукой лютой, собачий сын!

- Бог? Га-га-га! - осклабился Халимей. - Нету на меня вашего Бога. Я его... - и завернул такое непотребное словцо, что бабка аж зажмурилась, - вашего Бога!

Бабка выскочила в ужасе во двор.

- Пужают! - уже сам с собой разговаривал Халимей. - Я пужанный! Трижды пужанный! Бог... Кабы он был, рази допустил бы, чтоб люди так мордовались на белом свете? Бог... Червяки сожрут, вот и весь Бог. А ежели он есть, так паскуда тогда. Напасти на человека напускает всякие. Ни дыхнуть, ни ойкнуть. Напужали... И пожарюсь! Таких там много, как я, скушно не будет.

И все ж страх похолодил грудь Халимея, когда представил он, как будет жариться на огромной сковородке, которая, наверно, больше, чем все Подгорье, вместе взятое.

Чтоб согнать с себя такую нахлынувшую страхоту, дед потужился мозгами и родил витиеватую, опять непотребную

для Бога фразу, которая раньше никогда на ум не приходила. И сразу стало легче, страх пропал.

«А може, я и взаправду тронулся? - подумал Халимей. И успокоил себя: - Ничего, и тронутый еще поживу!»

Теперь Халимея считали полным дураком и на его речи не обращали внимания. Какой с дурака спрос? Мелет языком неведомо чего.

О том, что уже обмолотились, Нефадей тоже сообщал Ане. Подумал и передал приветы от всех, кого Аня знала, хоть никто о том его не просил.

Вот так, понемногу, и получилось письмо.

Поколебался и приписал: «Как ты уехала, Аня, будто поскучнело наше Подгорье. И холмы крейдяные наши вроде как стали не такими белыми, посерели чуток будто».

Написал письмо, отправил и задумался. А что ж теперь дальше? Напишет Аня еще одно письмо, и он тоже опять напишет. А потом? Что потом? Этого представить никак не мог. Туман. Увидит ли еще когда Аню? И опять: увидит, допустим - и?..

А тут еще пошли дожди, совсем тоскуче.

Обещания своего починить Лизавете Козуб дверь Нефадей не забыл. В условленный день взял необходимый инструмент и отправился на Гиндовку, где жила Лиза.

- Куда это ты? - поинтересовалась Наталья, видя его сборы.

- Лизавета Козуб дверь просила перебрать, негожая стала совсем, дверь-то, - не стал отпираться Нефадей.

- Дверь? - Ему показалось, что мать произнесла слово как-то странно, с тревогой, что ли. Впрочем, мало ли ему что кажется. - Просила, значит... Что ж, подмогни, без мужика ей, и верно, не управиться.

Пока домесил по грязи до Гиндовки, не раз помянул небесных святых - с неба который день не прекращалось нудное мелкое сево. Тягучий чернозем налипал на сапоги пудовыми ошметками - не идешь, а волоком тянешь ноги. Одежда стала волглой, топорщилась, холодила спину. Ну и погодка! В такое время самый раз сидеть на печи да лузгать семечки. А тут - тащись...

Сапоги Нефадей снял в сенях.

- Та не скидывай, проходи! - запротестовала Лиза. Но он не послушал ее. Добрых две лопаты грязи тащить в хату ни к чему. - Я их зараз вымою.

- Зачем их мыть, все одно назад по грязи идти.

- Не, вымою. Подсохнут пусть, - стояла Лизавета на своем.

Ладно, раз ей так дюже хочется, пусть моет, не жалко.

С Нефадея капало.

- Ой, да ты весь промок! Счас я, счас Павликову одежду старенькую достану, переоденься. А твоя возле печи пока пусть посушится.

Он отнекивался, но пришлось подчиниться решительной Лизе, не ставшей его и слушать. Переоделся за печкой.

- Здоровый ты какой!.. - оглядела его Лиза, будто первый раз видела. Павликова одежда для Нефадея была маловата. - Ну ничего, не на улицу ж тебе идти, верно? Поснидаешь сначала, может?

- Не, не хочу. Потом.

- Потом так потом, - не стала Лиза настаивать.

Одета она была, словно в церкву собралась. Юбка новая, кофточка сиреневая, тесноватая для Лизаветиных грудей. Ситец натянулся, топырясь острыми бугорками сосков, того и гляди лопнет.

Нефадей отвел взгляд.

Ишь, вырядилась... Подрумянилась, волосы замысловатым узлом закрутила. Собралась куда? В такую грязь? Думала, раз дождь, так не придет он? Помолодела вся, девка, да и только, будто и не она родила двоих детей.

Спросил:

- А где ж дечишки?

- К свекрови свела, пусть побудут там пока. Помочь тебе?

- Помощница... Сиди уж. Придется ладить прямо в хате, намусору малость.

- А, подмету! Как тебе удобней, так и пусть.

Часа два повозиться с дверью пришлось. Теперь она прилегала плотно, как новая.

- Ну, спасибочки тебе, Нефодюшка! - благодарила Лиза, открыв и закрыв дверь несколько раз и оставшись довольной. - Теперь за стол.

Отказываться Нефадей не стал, перекусить не мешает.

Стол Лиза застелила белой скатертью. Движения ее быстры, легки. Ловко, с удивительной мягкостью взлетали и опускались руки, ставя на стол миски и тарелки. Одежда не скрывала, подчеркивала упругость Лизиного тела.

Нефадей невольно залюбовался ею.

Наклонившись, кладя на стол ложки, Лиза своей тяжелой грудью будто ожгла Нефадееево плечо. Он напрягся, удерживая на коленях непослушные руки, по которым стрельнуло, как бывает, когда ударишься локтем.

Лиза, обмахнув ее рушником, водрузила на середину стола бутылку магазинной водки, села сама напротив Нефадея.

- Ну, наливай, - сказала, подвинув бутылку, и смотрела на Нефадея в упор, подперев подбородок руками, с блуждающей улыбкой на лице.

Он взял бутылку и разлил в стаканы, уставив глаза в скатерть. Под Лизиным взглядом чувствовал себя дрожащим ягненком, только-только увидевшим свет. Захотелось побыстрей уйти из этой хаты, где, казалось, все смотрит на него с загадочной настороженностью.

- Спасибочки большое! - еще раз поблагодарила Лиза, подняв стакан, и потянулась им к Нефадеевому.

Стекло тонко дзинькнуло, Нефадей в ответ только мотнул головой и опрокинул стакан в широко открытый рот так, словно его мучила жажда и в стакане была не водка, а вода. Вкуса не почувствовал и удивился - раньше, когда иной раз приходилось выпивать, пил медленно и с содроганием.

Закусывали молча.

Глаз Нефадей не поднимал. Насупил брови, наморщил лоб, сам того не замечая. И все время осязаемо ощущал на себе Лизаветин блуждающий взгляд.

Молчание становилось для Нефадея прямо-таки казнящим.

Лиза по второму разу налила сама.

- Нефодюшка, - не сказала, пропела: - Смурной чего такой? - И огорчилась: - Не угодила чем, аль как?

Он с трудом заставил себя поднять глаза.

- Никакой не смурной. С чего взяла? - старался говорить тоном бывалого мужика, которого нисколько не смущают женские чары, - полное безразличие.

- Тогда еще выпьем, давай? Повесельше станешь, ну?

Теперь водка была водкой. Нефадей сморщился, зафыркал. Лиза, сама не закусив, сунула ему в рот своей вилкой огурец и рассмеялась дробным смешком.

- Уф! - На глазах у Нефадея аж слезы.

Выпитая водка расслабила. Ягненком себя уже не чувствовал. И не так страшно было теперь заглянуть в Лизины глубокие глаза. Они точно глубокие, как копанка, со дна которой и дном видны звезды. Смотреть в такие глаза и боязно, и тянет. А Лиза подставляет их, мол, смотри, не бойся, не страшные они, мои глаза, присмотрись получше, что ты в них видишь? Лучше только присмотрись...

«Домой! Надо идти домой!» - приказал себе Нефадей. - Пора, давно пора!» Но с лавки не встал и от третьего стакана не отказался.

Пустую бутылку Лизавета отставила на край стола. На сей раз она себе налила лишь на донышко.

«А я уже, кажись, немного того... опьянел», - отметил Нефадей и почувствовал, как его грудь распирает неведомая сила. Выпил свои полстакана и закурил.

Хата Лизаветина сейчас казалась уютной, тепло в ней, и уходить не хотелось. За окнами так же моросило, стекла плакали тихо скатывающимися капельками дождя.

Нефадей спросил о Павле. Лиза сказала о нем скупой, отделалась несколькими словами: воюет, мол, чего ему там на фронте, про книжки спрашивал, не пожгла ли, а больше, что можно сказать про Павла?

- Все. Пошел я, - поднялся Нефадей, пересилив себя.

Пошел за печку переодеваться. Чуть покачивало. Ноги ступали легко, но поватнели.

Услышал совсем рядом дыхание. Резко обернувшись, увидел Лизу.

Она часто дышала, влажные губы будто сводило судорогой.левой рукой Лизавета чиркнула по пуговицам кофточки и высвободившиеся груди с набухшими коричневыми сосками упруго толкнулись к Нефадею.

Его словно ударили ножом между лопаток, сердце хлюпнуло и пропало.

Белые груди резали глаза, и они зажмурились. Губы нашли горячий сосок, сильные руки готовы были сломать трепетное женское тело.

Лизавета пятилась, обхватив Нефадея за шею руками. Опрокинулась на кровать, увлекая его за собой...

«А Аня?!» - выстрелом в мозг, и он, казалось, разлетелся на мелкие кусочки. И уже был неспособен родить никакую мысль.

...Домой Нефадей заявился, когда уже совсем смерклось.

Мать посмотрела хмуро, и он, чтобы избежать возможных расспросов, пряча глаза, побыстрее завалился спать.

Мучился, казнил себя, боялся и подумать об Ане.

А спустя еще несколько дней, кляня себя, пробирался вечером огородами к Лизаветиной хате.

Впервые узнавший женщину - человек слепой, безрассудный. Но так ли виновата в том женщина, сделавшая мальчика мужчиной...

Неисповедимы - не пути Господа, - поступки человеческие.

- Ждала! Измаялась, ждучи! Сокол ты мой ясный! - обвиняется Лизавета жаркой змеей с порога. - Ненаглядный мой... любимый... счастье мое... - увлекает, тянет в теплую постель.

И поплыл, утонул опять Нефадей в жгучих ласках. Сиротливо отступились угрызения совести, безжалостно отброшенные прочь.

Поздно ночью, крадучись, боясь чужих глаз - домой.

Дожди с перерывами все лили и лили, и Нефадей возвращался от Лизы заляпанный грязью, тайком утром отчищаясь от нее.

- Куда эт ты шалаешься вечерами в такую непогодь? - недобро спросил отец, когда в один из вечеров, стараясь неза-

метно ушмыгнуть из дому, в очередной раз наострился Нефадей к своей зазнобе.

- А чо, нельзя? - в свою очередь нагло вато спросил Нефадей.

- Нельзя! Все можно, да только дома сидел бы лучше, чем грязь месить да в дом тащить!

- Наташил... - отбрыкивался Нефадей. - К дружкам сходить нельзя.

- К дружкам! Деваху, небось, какую заимел? С дружками до полночи? Не бреши, парень. Или вдову какую зацепил?

- Тоже скажете...

Мать в разговор не вмешивалась.

- Поране заявляйся, не то правда никуда не пуцу! - бросил отец вслед нырнувшему в дверь сыну. Сказал Наталье: - Должно, женить его подумать надоть. Не то искобелится, сукин сын.

Она грустно улыбнулась и опять промолчала.

- Павел вернется, прознает, что тогда? - говорил Нефадей, когда в минуты просветления между Лизаветиными ласками к нему робко стучались угрызения совести: - Мне-то... Я казак вольный, а ты...

- Не знаю... Прибьет, должно. И тебя не пожалеет, шахрахнет из ружья из-за угла.

Нефадей подскакивал на кровати:

- А чего ж зовешь, привечаешь меня? Сама ж с панталыку меня сбила! Неужто не боишься? Ведь и правда прибьет, если дойдет до него.

- Дойдет, - спокойно соглашалась Лиза. - От людей рази чего скроешь? Только ничего мне не страшно, Нефодюшка. Я смерти не боюсь. Я, может, с тобой только и узнала бабье свое счастье. Так что теперь и помереть не страшно. Знаю, побалуешься и захочешь бросить меня, не нужна я тебе буду. Старая для тебя, чего уж там... Только так просто не отпущу тебя, учти. Карябаться буду, кусаться, зубы пообломаю за любовь свою, чтоб подольше был со мной. А потом пусть убивают.

От Лизаветиных слов становилось жутковато.

- Дура... А дитенки твои? - терялся Нефадей, не находя что и сказать.

Лизавета плакала.

Приходилось успокаивать ее.

Загоралась она быстро и пылала пламенем, которого у нее хватило бы с избытком на нескольких, наверное, таких, как Нефадей.

- Мой! Мой! Мой! - иступленно повторяла и повторяла. - Знать больше ничего не хочу! Солнышко мое красное! - обвиняла жаркими руками, прижимала к себе, словно привязывала.

Слезы, ласки, безрассудное половодье чувств, всплеском, стремниной, кружат, несут, не оттолкнуть, нет сил уйти от них, тянут, влекут в беспокойную бурливую глубину.

Права была Лизавета, от людей разве что может скрыть тайну.

Их с Нефадеем тайна загуляла на языках досужих баб. Разумеется - и у мужиков, у тех тоже уши имеются.

Первым, от кого Нефадей узнал жданную уже новость, был Гаврюха Кротов.

- Смотрю, похудал малость! - осклабился он своим дурно пухнувшим ртом. - С такой бабой, глади, скелетом скоро станешь! - продолжил Гаврюха с гаденькой улыбкой.

- Ну, дальше? - самый бы раз смазать сейчас по Гаврюхиной гундявой роже. Но сдержался Нефадей, хоть и выиграло в нем оскорбленное чувство так и не оплаченного долга.

Гаврюха словно не замечал исказившегося Нефадеева лица, поощрительно, по-свойски, похлопал по плечу:

- Ненасытная, должно, Лизуха. Продых хоть дает? А? Нефодь? Или без него требует своего? - гоготнул и, сощурившись, сказал, мгновенно убрав улыбку: - Не я болтаю, Нефодя. Что слышал от меня сейчас, люди про то трезвонят. Так-то. Вот тебе и дальше... - смотрел довольно, в глазах же холодный блеск.

Пополз по Подгорью слушок про них с Лизаветой. Жди теперь с часу на час бури дома. Непременно разыграется, и еще как разыграется. Но этого гундявого надо отбрить враз. Сейчас, чтоб отпала у него охота грязь языком месить.

Рывком притянул Гаврюху к себе. Тот побледнел, заморгал часто.

- Не отплатил я тебе должок, так очень даже могу, если пожелаешь. Гавкнешь еще хоть раз где-нибудь, зубов недо- считаешься. Понятно говорю?

Кротов порядком испугался, но марку попытался выдер- жать до конца.

- Мне-то что, лапайся с ней сколько угодно, я помолчу, заткнусь. Не во мне только дело, рты-то уже раззявили, всем их не заткнешь. И зря ты на меня так. Я ж по-хорошему тебе сказал. Предупредил, чтоб ты знал, поосторожней был.

Нефадей оттолкнул Гаврюху. Потер ладонь о рукав, слов- но она была испачканная.

- Тилипай, давай, без спотыкачки, да пошвыдче, пока я добрый. И помни, что сказал тебе! Не то! Предупредитель...

Повторного напоминания брать ноги в руки Гаврюха не стал дожидаться.

- Будь ты неладный! Когда только перестанет! - ворочал- ся Трофим в постели, проклиная бесконечный нудный дождь. На непогоду кости отзывались ноющей болью - давал о себе знать ревматизм.

- Прорвало будто, - завздыхала тоже не спавшая Ната- лья. - И откуда только берется в небе столько воды!

- Не иначе разгневался на что наш Господь Бог, вот и льет без меры. На низу воды в колено уже, - сказал Трофим. Часть огорода Мещеряковых, расположенного в низине, при силь- ных дождях всегда заливало.

- Управились хоть, слава Богу, вовремя. На день-два за- держались и были бы сейчас наши буряки под водой.

Ноют? - погладила Наталья мужнины колени.

- Ноют... Тоскуют, едрить их! Места никак им не най- дешь. Боюсь, как бы совсем не свалиться.

- Скоро, может, перестанет слякотнява, успокоятся.

Скрипнула тихонько дверь.

- Явился... - услышал скрип Трофим. - Полуношник. Слышь-ка, - тронул жену, - балакачку донесли, Нефадей наш будто с Лизаветой Козубихой того... Побрехать людям, так медом их не корми. Нешто он и взаправду с ней-то?

- Не брешут... - не сразу ответила Наталья. - Правда то...

- Ты што? - подхватился Трофим на кровати, враз позабыв о своих суставах. - Правда?!

- Да. Ходит он к ней. С того дня, как двери ее ладил. Чуяло мое сердце. Сманила хлопца, бесстыжая...

- Ах ты ж, паскудник! Я ему сейчас покажу, как с чужими бабами гулять! Девок ему мало, щенку! На замужних раззявился!

- Остынь, - удержала Наталья. - Не трогай его сейчас, ночь, разбулгачишь всех. Ванюшка с Груней проснутся. Ей такое слушать ни к чему. Завтра уж с утра и перетолкуешь с ним.

- Перетолкую! - потряс кулаком Трофим, но жену послушал. - Я так с ним перетолкую, враз туда дорогу позабудет! Ну, щенок! Молоко мамкино на губах еще не обсохло, а тоже туда. К бабам в постельку теплую! Ишь, потянуло! Нашел... Хоть бы вдова, а то!.. Сраму теперь не оберешься. Она-то, шалапутная, Лизавета, каким местом думает?! Ох и лахудра!

- Она и виновата. А на него и не шуми сильно. Поманула, он и размяк. Много ли ему надо, хлопцу...

- Поманула. У-ух! - скрежетал зубами Трофим Степанович.

Теперь и вовсе - какой сон. Преподнес сыночек сюрприз. Что ж, утром разговор будет особый!

Наталье тоже не до сна. Так и проворочались с бока на бок до утра.

Утром, отправив Груню под благовидным предлогом к Суровым, попросить смолы для дратвы, куда она пошла с радостью, Трофим без обиняков спросил сына:

- Блудишь?

Тот понял: вот и до отца дошло. Отпираться бесполезно.

Ответил нагло, вспыхнув, сверкнув глазами:

- Маленько!

Такого ответа - без зазрения совести, с вызовом - Трофим от сына никак не ожидал и даже слегка растерялся. Думал, что Нефадей смутится, будет готов провалиться сквозь землю. А он... Паршивец!

- Я т-те сейчас покажу - м-маленько! - задергалась у Трофима щека. Потянулся к кнуту, сырмятному, плотно сплетен-

ному, в добрых два пальца толщиной, висевшему на гвозде у двери.

Наталья побледнела, в волнении прижала к груди сжатые в кулаки руки.

Нефадей резко поднялся с табуретки, ногой отшвырнул ее в сторону, засунул руки в карманы, исподлобья горящими глазами смотрел на отца.

Тот снял кнут и медленно пошел на сына.

Не вынимая рук из карманов, побелевший Нефадей тихо, но требовательно произнес:

- Батя, повесьте кнут на место.

Худые скулы Нефадея заострились еще больше.

Безмолвно до этого стоявшая Наталья бросилась к мужу, повисла на его руке:

- Брось, Трофим! Опомнись! Да что же это, Господи! - оглянулась на Нефадея.

Увидев ее глаза, он обмяк, сел на табурет и положил вздрагивающие руки на колени. Если бы отец сейчас ударил его, Нефадей бы и не шевельнулся.

Наталья отобрала кнут из Трофимовых рук.

Муж отдал поспешно, будто ждал этого момента, казалось, отдал с облегчением. Сел на лавку за стол, долго сворачивал самокрутку, просыпая на выскобленный стол табак.

Наталья стояла, прислонившись к углу печи, взгляд - на мужа, взгляд - на Нефадея.

Трофим, пока прикурил, сломал несколько спичек. Запыхтел сигаркой, заполняя хату сизовато-синим дымом.

Слышно было, как монотонно шумит за окном мелкий просяной дождь.

- Неладно ты делаешь, Нефадей, - искури полцигарки, сказал Трофим после долгого молчания, уставив на сына жесткий взгляд. - Негожее это дело - к чужой жене подначиваться. Паскудное это дело.

- Знаю, батя, - поднял голову Нефадей. - Знаю...

- Ну, - сдул Трофим просыпавшийся на стол табак, - коли знаешь, руби ту веревочку. Не позволю, чтоб мой сын хуже самого последнего вора был. Не позволю. Не знаю, как оно там

промеж вас зачалось, кто кого сбаламутил - сманил, только кончай свою с ней валандачку. Чтоб и близко ноги твоей возле Лизаветиной хаты не ступало. Вот так! - пристукнул ладонью по столу.

- Попробую, батя, - ответил Нефадей, втягивая носом дым. Ему нестерпимо хотелось курить.

Наталья невольно подалась вперед, заметив, как Трофим покривил в хмурой усмешке губами.

- И пробовать нечего! Никак чтоб боле! - повысил тот голос.

- Ладно, - поднялся Нефадей.

- Куда?

- Покурю пойду.

- Да кури в хате, дождь там ведь, - сказала Наталья.

- Не, я на дворе. - В хате Нефадей никогда не курил. И вообще при отце с матерью не курил.

- Пусть проветрится малость, ему в самый раз сейчас, - не поддержал Трофим Степанович жену. Смягчился: - Табаку дать?

- Есть...

Дни текли однообразно, как осенние тучи на мутном небе.

Вечерами иногда заглядывали дружки, садились, играли в карты. Чаще заскакивал Митька. Погода на улице - мразь, и кроме как самому прийти к Мещеряковым, ничего другого ему сейчас не придумывалось, чтобы увидеться с Груней.

Митька с Мишкой вели себя, будто и слыхом не слыхивали о делах-делишках своего друга с Лизкой Козубихой. Ни словом, ни взглядом, ни намеком. Соображают. Иначе Нефадей тут же выставил бы их за порог.

Дел по дому немного, и он подолгу возился с Ванюшкой. Тот с подкупающей детской привязанностью хвостиком следовал за Нефадеем, не отставая ни на шаг.

Неожиданно Нефадей открыл в себе способность, о которой раньше и не подозревал. Как-то взял липовый чурбачок и попытался вырезать медведя. Получилось. Нефадей вертел фигурку зверя в руках и сам не верил, что это сделал он, своими руками.

Ванюшка, понятно, от медведя в восторге.

Нефадей разохотился, и у маленького братца появился целый зверинец - волк, петух, лиса, заяц.

- А сделай нашего Дымка! - попросил Ванюшка, не удовлетворившись уже имеющимися зверятами.

Просьба была исполнена. Дымок получился, хорошо получился. На него Нефадей вдобавок посадил всадника с пикой в руках и саблей на боку.

Отец с матерью тоже разглядывали вырезанные фигурки и неверяще смотрели на сына - неужто он сам смог? Ловко!

- А нашу мамку сможешь? - не отставал Ванюшка.

- Давай попробуем, - загорелся Нефадей.

Голову матери он решил вырезать из липы, чуть ли не в натуральную величину. Корпел долго, испортил не одну заготовку, все никак не получалось. Непохожей выходила мать, и все тут.

И все ж получилось! Показал матери. Она всплеснула руками:

- Скажи ж ты! Я, что ли? Ну до чего ж у тебя золотые руки, сынок!

Он и смущенный, и довольный похвалой матери.

Отец на похвалу поскупился, но, увидев Нефадеино творение, сказал:

- Похожа... - поставил бюст на полку, справа от божницы. - Не игрушка. Пускай тут и стоит.

Недовольно засопевшему Ванюшке пояснил:

- Грех ее по полу таскать, понял? Мамка она наша. Со зверюшками своими играйся, а ее не трожь.

- Да уж в другое место куда бы поставил, а то у божницы, - зарделась Наталья. - Рядом с Матерью Божьей... Не место там...

- Самое место! Матерь Божья - женщина, ты тоже женщина, мать наша, чем хуже ее? А? Не, самое место, - не принял Трофим доводов жены.

Смастерил Нефадей и возок на колесиках, такой, чтоб и Ванюшка умещался на нем. Усадив в возок своих зверюшек, тот без усталости катал их по хате, поглядывая на брата. Нефадей понимал, чего хочет Ванюшка и, усадив его тоже в возок,

превращался в резвого коня, носился по хате, понукаемый маленьким братцем, несказанно довольным.

Наталья пошумливала на них, но разве не наполнилось радостью ее материнское сердце в такие минуты. Вот и ладно, вот и хорошо, кажись, выронила из Нефодькиной головы эта безалаберная Лизавета. Ну ровно дите он сейчас, да и только!

А с Лизаветой у Натальи разговор был... Улучила, когда Козубиха в Слободу шла, встретила, будто невзначай навстречу попала, не разминуться, на улице ни души, в самый раз затеять разговор.

Остановились. Поздоровались. Посмотрели друг на дружку, обоим ясно, одним здрастканьем не разойдутся.

- В Слободу никак направилась?

- В Слободу, - кивнула Лизавета.

- В такую-то грязюку? Пеши пока дойдешь, ноги все потрываешь. И когда ж только солнце проглянет...

- Проглянет, куда оно денется. Грязюка... За керосином в лавку иду, - тряхнула Лизавета пустым жестяным бидоном, который держала в руке. - Дожила, ни капли в каганце. Впотьмах сижу. Дай, думаю, все ж схожу в Слободу, грязько и неблизко, да когда она кончится, слякотнява эта? И не дождешься.

- А раньше впотьмах тебе будто сподобней было? - подковырнула Наталья. Намек не намек - как хочешь понимай. - Раненько каганец гасила.

Глаза в глаза - две женщины почти одинакового возраста.

- Гасила. - Кокетство в голосе Лизаветы. - Без надобности он был, каганец-то.

- Бесстыжая ты, Лизавета! - напрямую выпалила Наталья.

- А ты меня не стыди.

- Что ж мне тебя, целовать прикажешь? В пояс поклониться? - с издевкой спросила Наталья.

- Ничего-то ты не понимаешь, - влажно блеснули у Лизаветы глаза.

- Ха-ха! Не понимаю. Все я понимаю! Сблатыкала хлопца, бессовестная, и довольная! Невтерпеж стало? Мужик вернет-

ся, зенками-то своими нахалющими как на него взглянешь? Ох, Лизавета... Прибьет он тебя, и за дело. Не стыдно? На хлопца позарилась, на молоденького... Годов-то тебе сколь, голова твоя бесшабашная? Ну и нашла б мужика по себе, коль невмочь терпеть. Так нет, Нефодьку сбила. Замарала парня, ох замарала!

- Не причитай! - Мимолетную слезливость Лизавета согнала с себя. - Как Павлу в глаза посмотрю, мое дело, поняла? И не тебе судить меня. Хоть ты и вроде матери Нефадею. Тебе хорошо за Трофимом, а вспомни, как с Акимом жила! Много ли ласки видала? То-то и оно... Я, может, только сейчас и уверовалась, что я девка.

- Девка! - насмешливо воскликнула Наталья.

- Да, девка. Не смейся. Нас, баб, приведет мужик к себе в дом, как скотину бессловесную, и живи, терпи. Лишь бы ему хорошо, а что с тобой, никто не спросит - баба, она и есть баба. А она тоже человек. Вот так, Натаха.

- Ну, на Павла тебе обижаться...

- Я и не обижаюсь. Только... Ладно, стыди, плюй в глаза, вытерплю. Я все вытерплю. Не понять тебе...

- Куда уж мне!

- Туда. Запер Нефадея, знаю, наверное и я так бы сделала, будь на твоём месте. Но все одно не удержите, прибежит он ко мне. А я буду ждать. Поняла? Не баловство у меня к нему.

- У тебя. А у него-то?

- Он сам знает.

- Лиза-а... Оставь, не трожь парня! Самой же спокойней будет.

- За меня нечего беспокоиться, я сама побеспокоюсь. А он... Придет - не выгоню...

- Господи, грех-то, грех! Одумайся, сама не ведаешь, что творишь. Ох, не кончится добром... Лиза, подумай, парня-то хоть пожалей, не наводи на него беду. Охолонься, ну, поплачь, поревы, полегчает, не трогай только его. Раз заходитесь по нем твое сердце... Лиза? Разве зла ему желаешь, не добра? Лиза?

Покривились Лизаветины губы, задрожали.

- Пошла я...

- Лиза! - уже мольба неприкрытая в Натальином голосе.

- Не знаю, Наталья. Иди, не спрашивай...

Покачивается пустой бидончик в руках Лизаветы, пошла, с трудом отрывая сапоги от раскисшей вязкой земли. Ссутулилась спина, будто старуха шла, не молодая женщина.

Наталья смотрела вслед. Долго смотрела. Перекрестилась:

- Господи, что деется на земле... Льет-то, льет!

Небо прояснилось, ударили первые морозцы, сковали земную хлябь. Начали срываться робкие снежинки. Зима дышала уже близко, вот-вот заявится хозяйничать. Нагонял тоску, завывал в трубе северный ветер.

Ночь. Ворочается Нефадей. Вязкая темень, едущая для беспокойной души, как ржа.

Муторно, зябко, тревожно. Смутно.

Путаются, царапаются мысли. Жгут крапивой.

Отогнать, не думать ни о чем, забыться, уснуть. Настырные - не уходят, топчутся в голове, топчутся по душе.

Днем легче, днем - свет, тусклый, осенний, но свет. И Нефадей не один, рядом - близкие люди, дело, хоть какая-то забота, мелочь, но отвлекает. Вечер, наползает длинная тьма, затихает все, взлают изредка ни с того ни с сего собаки, и опять тихо. Повывает ветер в трубе - сам по себе, отдельно от тишины...

Второе письмо от Ани - облегченье? Нет. Там у Ани - какой-то знакомый, Виктор. Раненый офицер, поручик, интересный человек - делится с Нефадеем Аня. Интересный... Ну да, он офицер! А он кто, кто есть он, Нефадей? Зеленый, глупый, полуграмотный, из какого-то затурканного Подгорья, не казавший носа дальше пыльного городишка Калача. Ясненько, понятненько...

Будто два человека толкнутся в Нефадее. Спорят, не терпят друг друга, стараются побольше ужалить один другого. И к кому из них Нефадей склонен больше? К кому?

Слышит утробный ветер и Лиза Козуб. Навевает он острые тоскливые думы. В открытую сказала Наталье, кто для сердца Нефадей, вихрем враз всполошивший заводь дремавших бабьих чувств. Судить - не убить, выкинуть из сердца - нож острый и то благодать.

Спрашивала себя после разговора с Натальей: так ли думаю, как говорю? И отвечала: и так, и не так. Что думаю, словом сказать можно, а что чувствую - не высказать. Горит огонь, не спрашивай, горяч ли он. Такой вот он, огонь, случился. Бабы - дуры. Так что ж с того? На то они и бабы - страшно, насмерть обжечь может, а все одно, тянется прямо в пламень, без оглядки.

- Сучонка ты срамная-а! - плюется на Лизавету све-кровь. Режет ее обида болочая за сына своего, Павла. - Чтоб глаза твои повывлазили, скотиньяка проклятая!

Не прячет глаз блудливая Лизавета, обесстыдела совсем. Еще и огрызается:

- Прикусили б язык, мама! Рассучились! Грех вам такое-то молоть.

- Не мать я тебе! Не желаю, чтоб так называл меня больше поганый язык твой!

Двое детей у Лизаветы, совсем сдурела баба.

Осенние стылые ветры разгулялись над нахохлившимся в предзимье Подгорьем.

Слушает их Лизавета, постанывает в ночи.

Сопят спящие дети, взбрыкивают во сне, неведомы им грешные думы их матери.

ГЛАВА 16

Воздух пропитан порохом, гарью пожарищ, сладко-приторным запахом разлагающихся трупов.

Солнце, жара, мухи, пыль.

Армии Юго-Западного фронта, ведомые генералом Брусиловым, - в непрерывном наступлении. Месяц, второй, третий.

Бесконечной телеграфной лентой - поздравления с победами. От русских патриотов. Ура! Ура! Ура! Сдержанная сухая телеграмма - от царя. Он не терпит Брусилова, но он царь, обязан благодарить удачливого генерала.

Остальные фронты нерешительно топчутся, что противнику на руку. Против Брусилова бросаются новые и новые резервы.

Командующий Западным фронтом Эверт морщится: «Выскачка Брусилов!» - и в который раз откладывает наступление своего фронта.

Убитые, раненые, пленные - сотни тысяч, миллионы. Русские, немцы, французы, итальянцы, турки и англичане, румыны и венгры... Христиане, католики, мусульмане...

- Не горячитесь, преследуя разбитого противника, - по прямому проводу приказывал Брусилов командующему восьмой армией генералу Каледину. - Все силы направьте на выполнение основной боевой задачи вашей армии - взятие Ковеля.

- Я выполню задачу! - отвечает Каледин. - Но моя армия находится в ужасном положении. Еще день-два, и может случиться непоправимое...

Несмотря на успешные действия войск армии, Каледин плачется, требует резервы, ему чудится, что его самого и армию со дня на день ждет гибель. Причины? Предчувствие.

Парадокс: нерешительный колеблющийся генерал - и успешные боевые действия. Направление наступления - стихийное, в сторону Владимира-Волынского. А Ковель... Даст Бог, возьмут и его.

Угрюмый, молчаливый, напитанный непонятным страхом - таков командующий восьмой армией.

- Когда же, наконец, перейдут в наступление Западный и Северо-Западный фронты?! - звонит раздраженный Брусилов Алексею, начальнику Генерального штаба. - Противник снимает оттуда дивизии и бросает против меня. Вы понимаете, чем это может кончиться? Я требую наступления! И прошу мое требование довести до государя! В противном случае я обращусь к нему непосредственно, минуя Генеральный штаб.

- Ах, Алексей Алексеевич... Не надо горячиться. Ставка усиленно решает вопрос о вашей поддержке, - увещевал как всегда спокойный Алексеев. - Не волнуйтесь понапрасну. Первого июня Эверт переходит в наступление. Удовлетворены?

Первого июня вследствие плохой погоды Эверт отложил наступление на пятое число. Но ни пятого, ни десятого фронт Эверта не предпринял никаких серьезных действий в отношении противника.

Сражения в Галиции, под Верденом, на Сомме пожирали и пожирали людские ресурсы воюющих стран.

На склоне пологого холма - русские позиции, через ложину, на склоне противоположного холма - немецкие. Между ними по прямой - метров четыреста.

По ложине змеится речушка, с берегами, поросшими ивняком. Речушка несерьезная, в иных местах можно и перейти, не снимая сапог. Но пошли дожди, и речушка вспучилась моментально, забурлила грязно-желтой водой. Жиденький пешеходный мосток, который ни немцы, ни наши почему-то не разрушили, скрылся под водой. Торчали из воды лишь перила, сделанные из длинных жердей.

Друг от друга, каждый у подошвы своего холма, противники отгородились полосой колючей проволоки, на которую повешали всякого звякающего при малейшем прикосновении к проволоке хлама. В хорошую погоду с той и другой стороны постреливали, ловя на мушку зазевавшихся, зорко следили в бинокли за неприятельской стороной.

Туманы, морозящие дожди заставили в первую очередь заняться нехитрым бытом.

Кто всему привыкает солдат, остановился хоть на короткое время - и уже обживает свой окоп, пытается создать какой-нибудь уют.

По обоюдному негласному соглашению противники практически прекратили стрельбу и ночами, бывало, нос к носу сталкивались у криницы в ложине, которая была на русской стороне возле мостков, однако расходились мирно. Пока набирали воду русские, немцы терпеливо ждали поодаль, или же наоборот, наши солдаты, заметив у криницы водонос с другой стороны, останавливались и тоже ждали, пока те наполнят фляги.

Солдатская жизнь враждующих армий входила в свою особую колею - позиционной войны.

Окопы - в полный профиль, на дне - жижа по щиколотку: чавк-чавк. С лесом туго, солдатские землянки - как норы в теле холма, с потолка отваливаются комья сырой земли, капает. Не из чего сделать нары, охалка ивняка - вот и постель.

У офицеров не лучше, но все ж ночами немного досок подвезли, обшили и стены, и потолки землянок. От капли же спасения нет - сыро, волгло. Быстрей бы ударили морозы, прихватили разбухшую от влаги землю.

Грязь, вода, раздражение, тихие и вслух проклятья.

За холмом, на склоне которого занимал позиции батальон подполковника Клямина, верстах в восьми позади, раскинулось местечко, чудом уцелевшее, не разбитое артиллерией и не сожженное. Прифронтовая полоса, но местечко - отнюдь не замершее в страхе от близости неприятеля. Предприимчивый еврей Лускин на радость господам офицерам открыл уютенький ресторанчик с длинноногими девицами, взирать на которых одно удовольствие, когда они в игривом танце демонстрируют прелести сетчатых чулок, розовых подвязок и прочего интимно-женского, отчего жадно горят глаза боевых господ офицеров, давно не видевших настоящих чистеньких барышень. Ресторанчик - отрада в серомокрой окопной жизни.

Подполковник Клямин Алексей Кузьмич номинально числится командиром батальона. На все дела вверенной ему боевой единицы армии давно махнул рукой. Есть командиры рот, взводов, они занимаются своими солдатами, за то жалованье получают. А его, Алексея Кузьмича, пусть оставят в покое. Им же, подчиненным офицерам, от этого лучше - практически полная свобода действий. Подполковник сыт по горло этой дерьмовой войной с гниющими трупами, вонючими портянками, безликой серой солдатской массой и надменными физиономиями титулованных стариков генералов и сопляков поручиков - подумаешь, белая кость!

- Черт возьми! Господа, не знаю, как вам, а меня коробит, что у нас такой командир, - не раз восклицал подпоручик Ямбович, разумеется, в отсутствие подполковника. - Это в буквальном смысле какое-то недоразумение, а не командир. Для него в самый раз - приказчиком, селедкой торговать. Единственное достоинство у Клямина - здесь я восхищен, господа, честное слово! - лакать в неограниченном количестве винище. Винная бочка, а не командир! Странно, как терпит его начальство?

- Помолчали бы вы! Батальонный Македонский! - обрывал его язвительно подпоручик Костенко, с которым у Аркадия Астапова складывались дружеские отношения.

Ямбович и Костенко не терпели друг друга, кроме того, последний относился к Клямину с симпатией, что особенно злило Ямбовича. Впрочем, у командира третьей роты близости в батальоне не установилось ни с кем.

- Вы, простите, в подметки ему не годитесь. А ваши рассуждения - слюнявничанье породистого щенка.

Костенко прям, порой чрезмерно, слов не выбирает. Ямбович кипит, но уже не порывается с видом оскорбленного благородства вызывать его на дуэль - смешно. На этот счет офицеры батальона лишь криво поусмеваются: гонористый петушок раскукарекался.

- Невоспитанность не делает чести любому человеку, - отвечает Ямбович, без вспыльчивости, выдержанно. - Тем более офицеру, подпоручик Костенко. - Легкая усмешка, мол, какво? Взорвитесь, Костенко, покажите свою неотесанность во всей вашей примитивной красе.

- Знаете, у меня совершенно нет желания даже отвечать вам. - Костенко безразлично отворачивается.

- За неимением должной мысли в голове человек вынужден молчать, - раздумчиво говорит Ямбович, своим видом показывая, будто ни к кому конкретно эта фраза не относится. Намеренный прием, обычно быстрее бьющий в цель, нежели прямое обращение к определенному лицу. - Словом, молчание - золото для тех, у кого его нет.

- Воспитанно, воспитанно... Ничего не скажешь! - подает реплику Артемов. Штабс-капитан хотя и осуждает поведение батальонного командира, но ему претит заносчивая категоричность Ямбовича, самовлюбленного юноши, у которого вместо усов на верхней губе пока только намек, цыплячий пушок. - Но плохо одно, подпоручик: вы никак не можете уяснить, что судить о своем командире, тем более вслух, вам не дано никакого права. Он ваш начальник, вы - подчиненный. И хотите ли, не хотите, извольте уважать его погоны. Вот так!

- Я - русский офицер, вот мое право! - с дрожью в голосе, с пафосом театрального актера восклицает Ямбович и обводит всех взглядом непримиримого правдолюбца.

- Бросьте, подпоручик! - поморщился Артемов. - Вы здесь не на великосветском приеме, где вас слушают, азинув рот, восхищенные дамочки. Можно подумать, среди нас только вы один и русский офицер, а мы все безмозглые истуканы. Нехорошо, юноша, товарищей по оружию надо уважать. Или хотя бы придержать язык, если у вас нет его, уважения. Перед вами, напомню, есть старшие по званию. Ясно?

Ямбович молча проглотил сказанное.

- Далеко пойдет мальчик, - тихо сказал Костенко Астапову. - Наш Брюн обожает этого патриотика. Защитник государя и престола!..

- Если прежде не убьют.

- Тоже верно, на рожон, дурья башка, лезет. Но везет... За сколько времени царапиной отделался.

- До поры до времени. - Астапов почему-то был уверен: если уж Ямбович схлопочет пулю или осколок, которые до сих пор милостиво обходили его, то вряд ли останется живым. Сейчас Аркадий вспомнил прапорщика Крыжного, убитого своими же солдатами. Ямбович во многом напоминал его.

Говоря, что Ямбович лезет на рожон, Костенко подразумевал вот что.

Воды не хватало, и утром офицеры умывались по кошачьи - плеснут чуть в горсть, протрут глаза - весь утренний туалет.

- Надоело! - заявил Ямбович и однажды, без ремня, расстегнув на мундире все пуговицы, перекинув через плечо полотенце, перелез через бруствер и беззаботной походкой, на свистывая, направился по склону холма к кринице.

Обе стороны затаили дыхание, наблюдая за русским офицером, безрассудно выказывающим свою храбрость. Целью он являлся идеальной, любой, даже не искушенный в стрельбе солдат вряд ли смог бы промахнуться.

Дойдя до проволочного заграждения, где имелся узкий проход, подпоручик приостановился и, повернувшись в сторону своих окопов, помахал рукой. Тотчас грохнул выстрел, в абсолютной тишине показавшийся пушечным.

Ямбович не упал, какое-то мгновение фигура его стояла замерев, потом он правой рукой похлопал себя по бедру и ши-

роко развел руки, показывая немцам, что у него нет даже револьвера.

Подпоручик назад не повернул, прошел через проход в заграждении, подошел к кринице, снял мундир - все это неторопливо, достал журавлем ведро воды, налил в выдолбленное из бревна корыто - поили когда-то в нем, видимо, овец - и заплескался, зафыркал громко - слышали и свои, и немцы.

Умывался долго, затем до красноты растер полотенцем тело, надел мундир и с улыбкой помахал в сторону немецких позиций полотенцем.

Окопы безмолвствовали, будто кругом не было ни единой души.

С этого дня Ямбович умывался только у криницы. Попробовал было взять однажды с собой денщика, но едва тот влез на бруствер, раздался выстрел. Немцы таким образом предупредили - этого делать не следует, один - пожалуйста.

- Добром не кончится, - поговаривали солдаты. Того же мнения были и офицеры.

Однако ни разу больше по Ямбовичу не выстрелили, а он каждое утро взмахом полотенца благодарил немцев за их гуманность.

На окраине местечка огромными палатками, каждая по сто-полтораста человек, разместился госпиталь, к которому приписана Зоя Борщева. Алексей Кузьмич Клямин часто пропадает у нее. Посыльные осведомлены об этом, и при надобности, когда подполковника, к примеру, вызывает начальство, - сразу в госпиталь.

Мечты о послевоенном времени, о гнездышке - уютненьком, теплом, - что сейчас может быть слаще для Зои и Алексея Кузьмича, чем эти мечты.

- Я порой, Зоенька, молю Бога, чтоб меня ранило, - признается Клямин. - И чтоб меня списали подчистую. Уехали бы с тобой... Да... Думаю так, а она, дура, глядишь, прямехонько в сердце попадет. Не хочу, сейчас боюсь умереть. Раньше было все равно, сейчас у меня есть ты.

- Не думай так, - успокаивает Зоя. - Все наши мечты сбываются. Только прошу, береги себя. Очень прошу...

- Зоенька... Зоенька... - ласкает ее нестарый еще Алексей Кузьмич, длинную, худую, некрасивую, для него же самую красивую, самую желанную.

Вечерами батальон практически остается без офицеров. Большинство их - у бойкого Лускина. Его ресторанишко - самое популярное у офицеров заведение - всегда переполнено. Едут на лошадях, часто по двое на одной. Не хватает лошадей - пешком.

Здесь свет, чистые скатерти, выпивка под музыку и взмахи волнующих женских ног. Фирма Лускина цветет пышным, несказуемо приятным для его сердца цветом купюр.

- Еврейское семя! - восхищенно-негодующе воскликнет тот или иной офицер, видя дежурную годливо-приветливую улыбку владельца ресторана. - Народец - из дерьма деньги сделает. Подлецы!.. - похвала и презрительность.

- Аркадий, заглянем сегодня в ресторацию? - предлагает Артемов. - К этому новоявленному Ротшильду? Бестия!

Кому война, а кому самое время сливки снимать! Как?

Астапову претит заведение Лускина, скорей напоминающее публичный дом, примитивно маскируемый аляповатой картинкой под названием «Музыкальный салон-ресторан г-на Лускина».

- Что-то неохота... - Но знает, деться некуда, пойдет. - Бордель самый настоящий у этого прохиндея.

- Ах! Ах! Аркадий Николаевич, - театрално вздымает руки Артемов. - Подайте господину поручику Александринский театр с настоящей оперой и балетом! - Хлопает по плечу: - Конечно, лускинская Стефа - не Анна Павлова, но ноги у Стефы - божественное зрелище. Пей, жуй, смотри, наслаждайся! Собирайся, брат Астапов. На бездорожье и телега - фаэтон, откупаем искусства, уж какого Бог послал.

Популярность Стефы чрезвычайна. Добиться благосклонности примы-красотки с милым пшекающим польским акцентом, которую неизвестно где и какими путями откопал расторопный Лускин, считалось чуть ли равносильным получению Георгия. Ставка Лускина на божественные ноги полячки и ее смазливое личико с глазами, умеющими пылать бесконечной нескороаемой страстью, оказалась бо-

лее чем безошибочной. Господа офицеры, вкушая жадными глазами бесподобный шедевр женских телес, безумели и напропалую, как семечками, сорили деньгами, стараясь перецеголять друг друга, добиваясь хоть малейшего знака внимания со стороны красотки. Дорога Стефа, ох, дорога! Одна она наполовину, если не больше, наполнила нескончаемый ручеек, текущий в карман Лускина хрустящими, новенькими или смятыми и засаленными ассигнациями. Разумеется, не обижала и себя.

Появилось даже крылатое выражение: «Пойти на Стефу».

Война, но славному воинству, кроме хлеба, требовались и зрелища. И Лускин, добрый патриот Лускин, давал его - зрелище. Главный момент в нем - Стефа.

- Не верится - меньше, чем в десяти верстах, фронт, позиции, а здесь... Другой мир будто, - говорит за столом Артемов, потягивая самую настоящую мадеру, поглядывая на богато убранную желтым, радующим глаз бархатом сцену, где вот-вот должна появиться неповторимая Стефа. - Как все относительно, господа, в нашем существовании.

- Своеобразная прелесть бытия, хотите сказать? - спрашивает подпоручик Костенко разомлевшего штабс-капитана. В вопросе - ирония, на губах у Костенко непонятная улыбка.

Подпоручик тоже изредка заглядывает к Лускину и, переступая порог, непременно изрекает: «Окунемся в благовонную чистую грязь!»

- Ничего я не хочу сказать, уважаемый Анатолий Васильевич, - благодушным тоном отвечает Артемов. - Просто констатирую факт. Мне здесь в данный момент покойно, в голове бездумье, свободно, раскованно, никакой отягощенности. Подобное ощущение - необходимость, иначе человек обугливается.

- Ска-а-жите! Обугливается! - протягивает Костенко. - Красиво сказано.

- Да ну вас, подпоручик, не придирайтесь к словам. - Ленца в голосе Артемова, и разговаривать ему не очень-то хочется. Сидеть и созерцательно молчать - приятней.

- Шарахнет сейчас немец бомбу с аэроплана, вот тогда обуглимся точно! - выдает Ямбович, сидящий здесь же, за длинным столом на восьмерых.

- Сейчас ночь, о чем вы? - снисходительно смотрит штабс-капитан на Ямбовича. - Неужто и вправду боитесь?

- Боюсь? Хм! - передернул тот плечом. - Кстати, в последнее время германские аэропланы летают и ночью. Вы же знаете не хуже меня.

- Ну уж! - махнул рукой Артемов и отвернулся к сцене.

По залу прошелестел шумок, задвигались стулья, головы повернулись к подмосткам, освещенным живым солнечным светом - эффект от желтых занавесей. Примолкли музыканты, изготовившиеся встретить появление Стефы темпераментной, зажигательной музыкой.

И вот она - Стефа! Любимица публики. Волнующе играет то плавными, то быстрыми движениями прекрасное совершенное тело, не особо обремененное излишней одеждой. Желтые занавеси и свет, напоминающий солнечный, оттеняют, подчеркивают гармонию форм танцовщицы, жгучие глаза ее насквозь прожигают сердца онемевших в благоговейном оцепенении господ. Сморщились личики немногочисленных дам, подруг на один вечер, сидящих рядом со своими сегодняшними обладателями, но сейчас забытых.

Стефа - звезда, затмевающая самый яркий свет.

- Изумительная женщина! - восхищенно встряхнул головой штабс-капитан Артемов, когда Стефа после танца, раскланявшись, под шквал аплодисментов нырнула за кулисы. - Бесподобно!

- Элементарная проститутка, - ровным голосом роняет Ямбович, поигрывая вилкой.

Артемов подскакивает как ужаленный, негодуя бросает:

- Вы, Ямбович, держите свой цинизм при себе! Помолчите! Коль нет для вас ничего святого!

- Святого! Я циник, хотите сказать? Не более, чем вы, штабс-капитан. Между нами разница лишь в том, что я высказываю вслух свое мнение, у вас же подобные мысли спрятаны внутри. Не так ли? А громкие словеса... Знаете, от них так и несет нафталином.

- Вы! - багровеет Артемов. Подался к Ямбовичу, цедит сквозь зубы: - Послушайте, юноша, вы когда-нибудь действительно любили женщину? Или вас Бог обидел, не наделил таким чувством? И вы способны говорить только гадости?

Костенко наклонился к Астапову:

- В отношении Стефы Ямбович, разумеется, прав, но мог бы сдержаться, не взвинчивать штабс-капитана. Тот, кажется, действительно без ума от этой Стефочки. Черт знает что! Чем люди думают... Вобьет в голову чушь несусветную и страдает, глупец.

- Да, судя по всему, у Владимира в голове от нее совершеннейшая карусель. Затмило...

Ямбович снисходительно улыбался, не прекращая играть вилкой.

- Любил? Я знал женщин, Владимир Андреевич. А любить... - Положил бережно вилку на стол. - Что это такое, объясните, пожалуйста! - И улыбался невинно.

- Кривлянье! Поза! Что вы вообще знаете о женщинах? - выкрикнул Артемов.

- Женщина в сути своей самка...

- Отвратительный тип. - Костенко говорит Астапову, но громко, все за столом слышат, в том числе и Ямбович. Однако он никак не реагирует на услышанное, наморщив в раздумье лоб, смотрит на Артемова.

Артемов недобро сузил глаза, не дает продолжить Ямбовичу:

- Знаете что! Оставьте свои высказывания при себе, иначе!..

- Иначе?

- Иначе самым элементарным образом схлопочете по морде!

Ни один мускул не дрогнул на лице Ямбовича.

- Мордобитие - дикость, штабс-капитан. А любовь - это красивая обертка сладенькой карамельки, чтоб казалась слаще. Надуманность нашего цивилизованного ума. Всем движет инстинкт. В первую очередь женщиной, потому она и самка. Обыкновенная половая потребность, вот вам и вся красивая любовь. Не согласны... Ваше дело. Кстати, из истории изве-

стен такой факт: для удовлетворения половых нужд армии Александр Македонский в своих походах гнал стадо коз. Он-то был умнейший человек, не в пример нам с вами. Что на это скажете?

- Убирайтесь прочь! - хрястнул Артемов кулаком по столу. - Мне с вами противно сидеть рядом!

- Мы такого же мнения, - громко произнес Елагин, прапорщик из роты Артемова.

- Да-да, так будет лучше и для вас, и для нас, - ровно добавил Костенко.

- Мы действительно желаем, чтобы вы освободили нас от своего присутствия, - поддержал их Аркадий.

Ямбович молча поднялся, презрительно поджал губы и без слов пересел за другой столик.

- А я вам так скажу, - заговорил после паузы Костенко. - Самое разумное, самое совершенное существо в нашем бренном мире - женщина. Она - это сама жизнь, начало всех начал. А мы, мужчины... Мы забываем об этом, нет, мы не хотим согласиться с этим. Как же! Мужчина - гвоздь человечества! Обман. И еще какой. Привязанность женщины, разве может сравниться она с легкомыслием мужчин. А изначально заложенный в женщине протест против насилия? Мы - разрушители, они - бесконечное стремление к созиданию, к миру. Они ждут нас, молятся на нас, выплакивают слезы и воспитывают наших детей без нас. Мы здесь творим так называемую историю, мы - вершители судеб мира. Убийственное заблуждение! Когда пойдем, наконец, это - прозреем... Эти, - ткнул Костенко рукой в зал, в сторону размалеванных девиц, штатных посетительниц ресторана, - не женщины. Продажные существа женского пола. И не по ним судить о настоящих женщинах. Не по ним. Выпьем, господа, за женщин! За наших милых жен, невест, за наших дорогих матерей!

Все подняли стаканы, молча выпили, каждый вспоминая в эту минуту дорогую ему женщину.

Поодаль, на коленях у казачьего есаула, сидела рыжая девица. Она щипала его за вислые усы и взбрыкивала, хохоча, ногами, а он, мотая головой и щерясь, запустил ей за пазуху свою огромную пятерню и ворочал ею так, что швы на платье

девицы не выдерживали, потрескивали. Девушка была из тех, кто следовал за армией по ближним тылам.

Аркадий с брезгливостью смотрел на есаула с раскосыми, замутненными вином глазами и на девушку, первойшей заботой которой было как можно больше выкачать из карманов у сегодняшнего обожателя.

Стефа опять вышла на подмости. Снова аплодисменты, до боли в ладонях. Артемов, улучив момент, подскочил, опередив таких же, как он, безнадежно ослепленных в этот вечер, поцеловал Стефу руку и был счастлив в эту минуту. Вернулся за столик и хлебнул подряд два фужера мадеры - от чрезвычайного волнения.

Казачий есаул уронил голову на грудь и похрапывал. Карманы его были уже девственно чисты, а сам он - вдрызг пьян, постаралась рыжая девушка. Она обнимала уже артиллерийского офицера. Осчастливленный лаской, пьяный от вина и плотно прильнувших бедер девушки, таранившей грудью очередную жертву, он скоро окажется в положении казачьего есаула. А девушка перейдет к здоровяку-интенданту. Уж этот так просто не отпустит рыжую плутовку, расплатится с ней только утром, в маленькой комнатке, каких Лускин устроил на втором этаже нелегально десятка полтора, но существование которых ни для кого ни являлось секретом. Мебели - минимум. Кровать и стул для одежды, чтоб не кидать ее на пол. Уставшая от несправедливых трудов, рыжая девушка будет потом весь день отсыпаться, чтоб к вечеру снова выйти на свою нелегкую работу. А интендант с гудящей головой и изрядно похудевшим бумажником отправится на свою службу, полный сладостных воспоминаний о минувшей ночи.

Костенко навалился грудью на стол, угрюмо смотрит в одну точку.

Елагин вилкой выстукивает о фужер мелодию и мурлычет себе под нос. Время от времени озирается вокруг, сплевывает на пол и опять принимается за музыкальное мурлыканье. Фужер дзинькает, Елагин подпевает.

Ямбовича уже не видно. Он зафрахтовал миниатюрную брюнеточку и сейчас стоит в стандартной комнатке у окна, курит. Брюнеточка недолго возится с застежками и крючка-

ми, ныряет, блеснув белизной тела, под одеяло. Подпоручик щелчком выбрасывает окурок в распахнутое окно, деловито садится на кровать, снимает сапоги, неторопливо складывает на стул обмундирование. В любой обстановке Ямбович - аккуратист. Он выпил в меру и зря платить брюнеточке не намерен. Всякое дело знает свою цену...

Штабс-капитан Артемов страдальчески скрипит зубами и пьет который уж стакан мадеры. Его гложет глобальная ревность, душит черная тоска. Никак не найдет Владимир Артемов путей к Стефе. Придуманная любовь к ней сидит у него в голове крепко вколоченным гвоздем. Похоже, что и сегодня, кроме поцелуя руки Стефы, штабс-капитан ни на что большее рассчитывать не может. Бравый красавец: пышная шевелюра, курчавые баки - прямо Денис Давыдов шагнул из восьмьсот двенадцатого года! - кажется, на сегодня окончательно завоевал сердце Стефы. Взгляд ее неотрывной ниткой протянут к этому гвардейцу - лихой мужчина, широкоплечий, узкий в талии, мышцы бугрятся под мундиром, сабля на поясе - игрушка, и главное, не пьян. Стефа, кроме денег, не чужда и чувственности.

Бедный Артемов страдает, пьет, пьянеет и часто икает.

...Духота. Аркадий Астапов расстегивает ворот. Скорей отсюда, лучше туда, в роту, в свою напитанную сыростью землянку. И ни ногой больше сюда. Скатиться вниз легко, выкарабкаться куда трудней.

Непроглядное темное небо давило на землю. Смрадная гарь осталась за дверью. Глоток прохладного воздуха - легче.

Всхрапнул конь. «Заждался, бедолага...»

Одинокий всадник растаял в ночи в направлении передовых позиций.

- Ваше благородие, дозвоьте в третью роту отлучиться.

- Бросьте вы это «благородие»! - поморщился Астапов. - Слушать тошно. Когда мы одни, я - Аркадий Николаевич.

Договаривались же.

- Непривычно как-то.

- А вы привыкайте. Надолго?

- Ну-у... к вечеру вернусь.

- Эка! Чуть ли не на целый день.

- Ну, раз нельзя...

- Можно, можно, идите. А, кстати, Андрей Андреевич, позвольте спросить вас. Что это вы зачастили туда?

Денщик помялся.

- Дружок-товарищ у меня там.

- А-а... Коли так, что ж, проведите его. Он-то сам почему к вам никогда не приходит?

- Фельдфебель у них... Не очень-то уйдешь. Да и командир ихний, подпоручик Ямбович, не мед. Шкуру наизнанку вывернет.

- Так уж и вывернет?

- Это он с вами, может, благородием выгладит, а с солдатом... На глаза ему лучше не попадаться.

- Да-а-а...

- А дружка моего вы, ваше бла... Аркадий Николаевич, знаете. Помните, когда прежнего ихнего командира, прапорщика Зеленцова, убило, его все пытался перевязать солдат. Вот он самый и есть дружок мой, тот солдат.

- Кажется, если память не изменяет, Степанов?

- Надо же, и фамилию помните.

- Помню, брат, помню. Он что, Зеленцова и раньше знал?

- Знал. Они оба из Томска.

- Вот как? Зеленцов в университете учился, знаю, а он, Степанов?

- Рабочий. Они... - Усачев осекся. - Так я пойду?

Что же он хотел сказать, но спохватился и не договорил?

- Так-так... И все ж пригласите его к нам, пусть прямо ко мне и приходит. Если какие затруднения возникнут со стороны фельдфебеля, то я могу поговорить с Ямбовичем, чтоб Степанов мог прийти беспрепятственно. Я бы хотел потолковать с ним.

- Хорошо, я ему скажу. - Взгляд у Усачева изучающе-настороженный - вероятно, раздумывает, что кроется за словами командира.

Усачев ушел.

Некоторые офицеры с издевкой ухмылялись:

- Вы, Астапов, из одного котелочка со своими солдатами кашу, случаем, не изволите кушать? Так сказать, по-братски? Выкаете им...

Аркадий обрывал:

- Здесь, в окопах, мои солдаты действительно мне братья. А что касается выканья, как вы изволите выражаться, то хамство - самая отвратительная черта характера. Надеюсь, вопросов больше нет?

В офицерском собрании полка командир полковник Брюн спросил:

- Слыхивал, миндальничаете с солдатами? Насколько это верно?

Астапов холодно ответил:

- Что вы имеете в виду? Конкретно? - и смотрел на Брюна в упор, не мигая.

Полковник не то чтобы стушевался, но попытался смазать свой же вопрос.

- Я просто так спросил. Вы - командир роты и вам видней, как обращаться со своими солдатами.

- Вот именно, - резко сказал Аркадий.

Полковник снисходительно похлопал его по плечу:

- Право же, не будьте так восприимчивы. Эх, молодость-молодость... - Сказано мягко, покровительственно, с улыбкой, в расчете, что она воспримется поручиком чуть ли не как отеческая, глаза же выдавали полковника - колючие, раздраженные.

- Кстати, наша рота является лучшей в батальоне, - вставил находившийся рядом и все слышавший Костенко. - Можете поинтересоваться у подполковника Клямина.

- Знаю, знаю. - Полковник поспешил прекратить неприятный для него разговор, им же затеянный: - Отдыхайте, господа, отдыхайте.

- Кому-то нейметя, нафискалили, - сказал Костенко, когда Брюн ушел.

С Усачевым у Аркадия сложились уважительные отношения. Упрекнуть в чем-либо денщика Астапов не мог, тот точен, исполнителен. В сравнении с другими солдатами развит, вещмешок у него набит книгами.

В последнее время в роте появились листовки, их появление он интуитивно связывал с Усачевым. Частые его отлучки в третью роту, где служил Степанов, не могли не быть замечены Астаповым. Еще тогда, когда Степанов на коленях стоял

над корчившимся в предсмертных судорогах Зеленцовым и называл его не по-уставному Василием Григорьевичем, Астапову показалось это несколько странным. Офицер и солдат - дистанция, а тут...

Следовательно, их, видимо, действительно связывало нечто большее, чем могло казаться со стороны.

Когда появились листовки. Астапов почему-то сразу вспомнил солдата Степанова.

Впрочем, возможно, это всего лишь догадки.

Фельдфебель Занько доложил:

- Листки какие-то читают, ваше благородие. Хотел отобрать, вам принести, спрятали, паршивцы. Но уже все одно выследю, отберу, посмотрите, что понаписано в тех листках.

И без Занько Астапов уже знал о листовках.

- Я знаю. Так что не стоит стараться. И попрошу, об этом никому ни слова. Узнает начальство, будут неприятности. Мне и, разумеется, вам. Вы поняли меня?

- Так точно, ваше благородие! Никаких листов в роте нету!

Занько был человеком мягким, самодурством не отличался и власть свою над солдатами почем зря не выказывал. Но все же он был фельдфебелем, и солдаты осторожничали с ним. Судя по всему, Занько слово свое держал, молчал, по крайней мере никто из начальства у Аркадия насчет листовок в роте не поинтересовался.

Когда Аркадий рассказал о листовках Костенко, тот ничуть не удивился:

- Листовки? Вас это смущает?

- Я вам просто сообщил факт.

- Вполне закономерно. Время-то какое. - И, понизив голос: - Не кажется ли вам, Аркадий Николаевич, что мы стоим на пороге нового девятьсот пятого года?

- И это тоже вполне закономерно, хотите сказать?

- А как вы считаете?

- Так и считаю.

- Не хитрите.

- Нисколько. Любая закономерность определяется созреванием длительного процесса, в данном случае исторического.

- Почти логично.
- Поживем - увидим.
- Разумеется, только так.

Степанов не заставил себя долго ждать, явился на другой день.

Лет за сорок, сухощавое лицо, живые глаза. В них любопытство, не слишком таимый вопрос: зачем пожелали видеть меня?

Усачев явно волнуется, поглядывает на обоих. В потолке под дощатой обшивкой зашуршали мыши. Усачев кулаком стукнул по доскам. Сквозь щели посыпалась труха.

- Оставьте, пусть их, - махнул рукой Астапов. - От этих боевых спутников никуда не денешься.

- В момент изгрызли доски! - посокрушался Усачев и сел на патронный ящик. Положил руки на колени и сидел прямо, напряженно держа спину.

Степанов стоял, оглядывая внутренность землянки.

- Присаживайтесь, - усадил Астапов и его. - Андрей Андреевич, сообразите чего-нибудь, у нас, кажется, есть.

Тот быстро переглянулся со Степановым и живо подскочил, собирая нехитрую закуску, достал из ниши, прикрытой газетой, бутылку водки.

- Удивляетесь? - спросил Астапов, пристально глядя на Степанова.

- Удивляюсь, - ответил тот. Видно было, чувствовал он себя скованно. Но не особенно.

- Я хочу с вами кое о чем поговорить. Но об этом потом, сначала перекусим, если не возражаете.

Когда выпили, закусили, молча покурили - Астапов угостил солдат папиросами, - Степанов сказал:

- Я слушаю вас.

Аркадий усмехнулся: «Он слушает меня! Ишь ты!». Спросил без обиняков:

- Листовки - ваших рук дело?

Ни один мускул не дрогнул на лице Степанова, лишь щеки побледнели, выдавая внутреннее напряжение.

- Допустим, - очень спокойно ответил Степанов, достал кисет и принялся неторопливо сворачивать козью ножку.

Усачев прокашлялся.

- Вас как по батюшке?

- Кириллович. Иван Кириллович.

- Иван Кириллович, Зеленцов был революционером?

Степанов прикурил, затянулся несколько раз, ответил, глядя Астапову прямо в глаза:

- Василий Григорьевич был большевиком.

- Значит, и вы?

- Нет. Пока нет.

- Пока?

- Пока.

- Но этот факт, насколько я понимаю, имеет лишь формальное значение? Я вас правильно понял?

- Да, вы меня поняли совершенно правильно.

Достоинство, с каким держал себя Степанов, несколько обескуражило Аркадия, он потерял нить разговора. Степанов, видимо, это понял.

- В ваших глазах я вижу недоумение, - продолжал он, - почему я не боюсь и так с вами откровенен? Я не ошибаюсь?

- Действительно, почему вы так откровенны со мной, ведь я офицер?

- Потому что я вас знаю, Аркадий Николаевич. Не возражаете, что называю вас так?

- Нет, для меня так даже более удобно. Но откуда вы меня знаете?

- Вас знают солдаты, а этого достаточно. - Посмотрел на Усачева.

Аркадий тоже посмотрел на того. Усачев сидел с закупоренными губами.

- И?

- Вы не способны на подлость.

- Вы в этом уверены?

- Уверен.

Астапов невольно смутился от похвалы в свой адрес. Удивительно, этот солдат Степанов, как видно, человек не без ума, цепкого, проникательного. Обратился к Усачеву:

- Андрей Андреевич, что же вы, плесните еще. - Надо быть сдержанным в этом непростом разговоре, который мо-

жет обернуться многими непредсказуемыми последствиями. - В девятьсот пятом армия подавила революцию... - сказал Астапов.

- То был девятьсот пятый год. Сейчас конец шестнадцатого.

- И, следовательно, вы считаете...

- Армия - те же крестьяне и рабочие, одетые в солдатские шинели...

- И имеющие к тому же в руках винтовку?

- Вот именно, винтовку. И весь вопрос - куда она выстрелит. Аркадий Николаевич, армия сейчас не та, что была в девятьсот пятом. Война - урок, да еще какой. Солдаты стали думать. Бессмысленная бойня, издевательства офицеров-самодуров не проходят бесследно. Дело тут не в отдельных офицерах, потерявших все человеческое, нет, царская армия - это орудие господства эксплуататоров над трудящимися, этим, собственно, и определяется скотское отношение офицеров к солдатам. И наша задача - большевиков, - Степанов намеренно сделал ударение на слове «большевиков», - раскрыть глаза солдатам, чтобы они поняли, кто их настоящий враг и против кого они должны повернуть винтовки. Вы образованный человек, Аркадий Николаевич, и должны понимать, что терпение народа не беспредельно. Взрыв неминуем, и тогда многим предстоит сделать мучительный, может быть, выбор, на какую сторону баррикады стать. Созерцать со стороны вряд ли придется, сами события не позволят этого сделать.

И это говорит простой солдат. Аркадий изумился.

- Иван Кириллович, у вас с собой листовки есть? Не смогли бы вы дать мне одну?

- Есть. Кроме листовок я еще кое-что принес. - Нисколько он не удивился просьбе. Вероятно, даже предугадывал ее. Вытащил из-за пазухи сверток в газете, положил перед Астаповым. Тот развернул его, в свертке оказались листовки и несколько брошюр.

Степанов поднялся. Аркадий проводил его наверх, подал руку:

- Добра вам! Я рад, что познакомился с вами. Надеюсь, это не последняя наша встреча.

- Спасибо. Я тоже надеюсь. А брошюрки - прочитаете, передадите мне с Усачевым. Заинтересуетесь, у меня есть еще.

Аркадий попросил Усачева оставить его одного и никого не пускать. Спустился в землянку, выпил глоток водки, достал фотографию матери и долго сидел над ней.

Шебуршились осмелевшие мыши, грызя деревянную обшивку потолка. Одна любопытная высунула сквозь щель острую мордочку и уставила черные бусинки глаз на неподвижно сидящего человека. Он, оперев о ладони голову, склонился над столом. Мышь пискнула, человек не пошевелился. Скользя гибким телом по доскам, мышь юркнула в нишу, схватила большую крошку хлеба и была такова.

ГЛАВА 17

Получив отпуск по ранению, поручик Торский был, конечно, обрадован этим, однако нетерпеливого, будоражащего чувства от скорой встречи с родными - отцом, матерью, сестрой - не испытывал.

Им владели мысли о девушке, которая, несмотря на короткое знакомство, крепко вошла в его сердце. И сидя в вагоне, он уже думал о том, даст ли ему судьба шанс снова увидеть ее...

О своем приезде Виктор не сообщал, явился домой неожиданно.

Мать, страдавшая частыми мигренями, чуть не упала в обморок, ей тут же пришлось налить капель и приводить в чувство. Отец, по натуре сдержанный, даже суховатый человек, служащий в департаменте иностранных дел, занимающий там довольно высокий пост (что, безусловно, и наложило на него определенный отпечаток сдержанности), тоже расчувствовался и часто прикладывал к глазам платок. Инесса, сестра, безумно любившая своего младшего брата, милый, добрый друг, которой Виктор поверял самое сокровенное, повисла на шее и долго не отпускала, все смотрела и не могла насмотреться на него, осунувшегося, возмужавшего.

В порыве чувств Виктор обнял за плечи и горничную Феню, поцеловал в щеку. Некрасивое доброе лицо горничной

сморщилось, она ткнулась молодому князю в грудь и убежала в комнаты.

Родные лица, родные голоса, все-все близкое, родное с детства.

- Боже, как ты похудел! - всплеснула руками пришедшая в себя мать, говоря сыну присущие всем матерям слова, бледнея от радости и волнения. - Сыночек, сыночек... - гладила слабой рукой его лицо, теребила волосы.

- Рана зажила, - успокаивая мать, сказал Виктор. Взял ее руки, поцеловал пальцы. Для убедительности хлопнул по груди ладонью: - Совершенно уже не болит!

- Ой, не надо! - испуганно вскрикнула мать. - Я же знаю, милый мой сын, ты все равно не признаешься. - Положила голову на сыновнее плечо, нежно лаская губами шею, как некогда, когда ее Виктор был худеньким большеглазым мальчиком.

- Полно, мама, я живой, здоровый!

- Счастье, счастье-то какое, сыночек...

Виктор отвык от домашнего уюта, все никак не верилось, что он дома, что на нем домашний халат, - невольно трогал его, словно удостоверился, что это реальность, а не сон. Прикасался в комнатах к вещам, подолгу глядя на них, вновь узнавая и привыкая к ним. Два раза в день принимал душ - наслаждение, о котором в недавнем прошлом можно было лишь мечтать. Упругие белесые струи воды ласкали тело - появлялось ощущение прибывающей силы, жизни в нем, свежести и желания раскрепостить эти силы, дать им выход.

Рана особо не беспокоила, но пока давала о себе знать, ходить быстро было нельзя, начинало покалывать в груди.

Антон Александрович Торский любил сына, однако внешне не выказывал это, вниманием и лаской не слишком баловал. Сейчас острая жалость сдавила горло: его мальчика могли убить, он ранен, и счастье, что пуля прошла на полладони от сердца. Счастье... Какая нелепость считать это счастьем! Пролитая кровь - счастье? «До чего ж порой глупы мы, умные люди...» Спросил, пристально взглядываясь в лицо сына:

- Там... трудно, тяжело?

Виктор понял всю глубину вопроса отца. Отделаться бравадной, ничего не значащей фразой - обидеть его.

- Как тебе сказать, папа... Трудно - не то слово. Скорее - непонятно. Вот что тяжелее всего. Надеюсь, ты меня понимаешь?

- Да, Виктор, понимаю... Погрязли мы в этой войне. Глубоко погрязли, не вышло скорой победы, в которой были так уверены. И ты точно сказал - непонятно. Сейчас вообще непонятно, что творится в России, куда мы идем и куда придем. Смутное время... Растерянность, неуверенность... Будто стоим на качающемся зыбком плоту, готовом в любой момент развалиться.

- Что думают дипломаты по поводу нынешней ситуации?
Антон Александрович горько усмехнулся:

- Дипломаты сейчас практически не у дел, вместо них говорят пушки.

- А... он?

- Кто-то из древних мудрецов сказал: самомнение - порок. А безвольное самомнение... Не знаю, что бы сказал тот философ на этот счет.

- У Фалеса есть такое изречение: «Мудрее всего - время, ибо оно раскрывает все».

- Да, время. Именно время... - Антон Александрович помолчал, потом встряхнул головой, будто открещиваясь от предыдущих мыслей, сообщил: - Мы приглашены к Цакони, сказали, чтобы ты был непременно. Когда узнали о твоём приезде, просто растерзали меня расспросами о тебе.

- Когда?

- Завтра.

- Кто у них еще будет? - равнодушно спросил Виктор.

- Право, не знаю. - Антон Александрович примерно догадывался, что стояло за вопросом сына. - Позвонить, спросить?

- Не надо. Хорошо, я у них буду.

У Цакони, заместителя управляющего банками, высшего хорошего знакомого отца, Виктор когда-то познакомился с Руфиной, женой чиновника Учетно-ссудного банка Персии Розенталь-Соколовского. О ней-то и подумал сейчас

поручик: будет ли она завтра у Цакони. Попытался вспомнить ее лицо - и не мог, воображение отказывало. Вместо Руфины видел девушку в белой косынке с вышитым на ней красным крестиком.

...Днем, хотя особого желания у него не было, Инесса вытащила Виктора прогуляться по городу.

Петроградские улицы в хмуром сером дне тоже выглядели серо. Грязный землистый снег, перемешанный с конским пометом, лежалый, леденистый, неприятно, царапающе скрипел под полозьями саней извозчиков. Скольжение было плохим, лошади все норовили перейти на шаг, и извозчики охрипшими голосами без конца понукали их, в сердцах срываясь на непотребные выражения. Воздух, насыщенный влагой, был густой и зябкий; хотя мороз небольшой, но воробьи, сгрудившиеся у парящего, недавно уроненного конского помета, клевали молча, без чирикания, опустив крылья и нахохлившись.

Воскресный день, но прохожих мало. Мужчины - все больше военные, гораздо реже встречаются гражданские пальто. Женщины - большей частью одетые просто - работницы, прислуга. С посиневшими носами прохаживаются на перекрестках городские, пританцовывая от холода. Торчащие у них на боках шашки издали похожи на нелепые кривые палки. Необычно много ворон, рассевшись где попало, они противно, с монотонностью заводной игрушки, каркают. Тротуары убраны плохо, обледенели; Инесса, боясь упасть, крепко прижалась к локтю брата.

- Ужасно, грязь, никому дела нет, дворники совсем разленились! - возмущенно сказала она.

- Видимо, не успевают, не хватает их, дворников, - предположил Виктор. - На фронт поотправляли.

- И все равно, куда это годится! Ступить боишься, как бы не упасть. Набрали бы новых.

- Легко сказать, но где их взять, новых? Не хватает сейчас людей, сестрица, все там, в окопах сидят.

Инесса вздохнула и ничего на это не сказала.

Взгляды у встречавшихся работниц, возраст которых определить было трудно - все они казались старухами, на

одно лицо, низко, по самые глаза, повязанные платками, одетые бедно и слишком легко для такой погоды, - угрюмые, тяжелые.

- Виктор, - толкнула Инесса брата, - обрати внимание, как она на нас посмотрела! - и указала глазами на женщину, прижимающую к груди обеими руками черный кирпич хлеба. - С ненавистью какой-то... Неприятно. Отчего? Ведь она нас не знает. В чем мы виноваты перед ней?

Глаз женщины Виктор не видел, посмотрел ей вслед. Жалкая фигура, кричащая безысходность - сгорбленная спина, шея, втянутая в плечи, словно ждущая удара.

«Господа предпочитают в такую погоду отсиживаться в тепленьком уюте, - подумал с горькой иронией. - А мы вот с Инессой выползли». Сказал:

- Видишь ли, сестрица, мы для нее буржуи, эксплуататоры. Мы не едим такой хлеб, какой она бережно прижала к груди и несет его домой, как самую великую драгоценность. Возможно, муж ее на фронте или хуже того - убит, а она одна с оравой ребятишек, с постоянной заботой, чем их накормить. Вот... И можем ли мы ее осуждать?

Бравый офицер прогуливается с барышней, оба довольные, беззаботные...

Инесса остановилась, долго смотрела вслед женщине. Нахмурилась и молчала.

- Ну, что с тобой? - встряхнул ее Виктор.

- Мне ее жалко.

- Не надо думать о ней. Всех не пережалеешь, не хватит сердца. Забудь о ней. Ну, сестрица, дорогая, улыбнись, наконец. Ты должна развлекать меня, рассказывать новости, я, кажется, сто лет отсутствовал, отстал, отвык от всего. Что у вас тут новенького, интересного?

- Почему такая несправедливость...

- Опять... Будет тебе, право же! Отвлекись. Знаешь, я немного волнуюсь перед сегодняшним вечером, давно не приходилось быть в таком обществе, отвык.

- Но ты же прекрасно знаешь Цакони, и они тебя, отчего волноваться? Хотя... Почему ты меня не спрашиваешь о... - Инесса не договорила, пытливо заглянула брату в глаза.

Тот был невозмутим.

- О ком? - спросил ровно, спокойно, без признаков волнения.

- Брось притворяться!

- Я не притворяюсь, поверь мне.

- Так уж?

- Ты имеешь в виду Руфину? Чтобы я о ней спросил?

Виктор, кажется, действительно не притворялся. Произнес имя обворожительной Розенталь-Соколовской без всякого трепета. А ведь когда-то он был без ума от нее.

- Да. Она интересовалась тобой. Когда узнала, что ты ранен, расплакалась, умоляла меня дать твой адрес. Собиралась сейчас же написать тебе.

- И ты дала?

- Дала. Мне не следовало этого делать?

- Почему же. Собственно, какая разница.

- Она написала тебе?

- Нет. Ни одного письмо от нее я не получил. Возможно, они просто не дошли. Если только она писала.

- Скажи, Виктор, у тебя перегорели к ней чувства?

Брат и сестра были всегда откровенны между собой.

- Да, дорогая сестрица, от Руфины в сердце у меня остался лишь пепел. Угли горели, жгли, боль не утихала, я мучился и жил надеждой, ты не можешь представить, как мне было трудно, но...

- Но?

- В один прекрасный день угли погасли.

- И давно?

- Уже в госпитале.

- Значит, недавно... - Инесса сжала руку брата, склонила голову к плечу. - Рассказывай дальше...

- Не сейчас, сестрица. Не надо сейчас меня больше ни о чем спрашивать. Хорошо?

- Прости. Но скажи мне только одно. Ты встретил человека, который...

- Встретил, сестричка. Но все пока тонко, непрочное, не знаю... Я боюсь даже с тобой поделиться, понимаешь. Потом. Потом я тебе, возможно, расскажу. Сейчас - нет, не могу.

- Я рада за тебя, Виктор. Я верю, уверена, ты будешь счастлив с этим человеком. Я не знаю ее, тебя знаю...

- Спасибо, - благодарно поцеловал Виктор сестру в щеку. - Ты у меня умница. Такой сестры нет ни у кого. Я люблю тебя, сестричка.

- У Цакони будет сегодня и Руфина.

- Что ж, это даже хорошо. Я бы хотел взглянуть на нее.

...Розенталь-Соколовская внешне мало изменилась. Все тот же лебединый взлет рук, зовущее таинство улыбки, качели глазами, девственный снег зубов, особый полунаклон головы, увенчанной - под простоту Золушки - прической, игра волновых теней на щеках, походка плывущей по зеркалу лебеди - все прежнее. И все ж глаза... В них усталость, веселая качель ими и одновременно отрешенность, едва уловимая, как полоска далекого берега.

«Я помню чудное мгновенье...»

- Здравствуйте, Руфина.

Эту женщину он любил. Первая любовь... Почему она пришла к нему не гимназисткой с бантиками и с доверчивой душой, а этой блистательной расцветшей женщиной с натурой актрисы, перевоплощающейся в своей роли настолько, что уже трудно было ей самой распознать границу актерского мастерства и истинного своего характера.

Побуждаемый безотчетным чувством проверить себя, Виктор потому и подошел к Руфине. Первым. Не она к нему, он - к ней.

- Виктор, милый... - Искренность, неподдельная радость встречи, естественный голос, звучание в нем затронутой струны. Рядом - черный жук: фрак, круглый животик и знакомая уже бесстрастность, равнодушие - без ревности к поклонникам ослепительной жены. Маска или труднопробиваемый панцирь - так и непонятно для Виктора.

Он поцеловал руку Руфины и не поверил ее искренности. Фальшивая нота, неслышная, улавливалась не слухом - разумом.

Ему стало легко. Он проверил себя. И удостоверился - все в прошлом. Для этого понадобился короткий миг, секунда - достаточно. Пепел остыл - и закружится серой пылью, разве-

ется бесследно. Руфина - блеск, совершенство, картина, но без души.

Жалость - и высокое, и низкое чувство. Она шевельнулась в Торском к Руфине. Та поняла Виктора, блудливый ум Розенталь-Соколовской тонок. Не надо слов, они излишни, оба понимали друг друга без них.

Впервые Руфина, как никого и никогда, уважала человека - Виктора.

Вечер прошел чудесно, веселились, шутили, смеялись, танцевали, пили шампанское. Руфина и Виктор все время рядом.

Дома он сказал Инессе:

- Сегодня я окончательно разобрался в себе. Того человека... ту девушку зовут Аня.

Работа в пансионате - не сравнить с госпиталем, была гораздо легче, однако Аня тяготилась ею.

В госпитале она ощущала свою нужность каждую минуту. Она оказывала помощь раненым солдатам, ее постоянно звали к постели то одного, то другого, в ней нуждались, ей поверяли свои радости и горести, она выслушивала, утешала, подбадривала, как могла, старалась облегчить страдания тяжелораненых и с грустью, в то же время с радостью, проводила выздоровевших, к которым привыкла за время ухода за ними.

- Спасибо тебе, сестричка! - прощались с ней. - За доброту твою спасибо, за ласку твою к нам, простым солдатам. Век не забуду тебя, пока жив буду, помнить буду. Дай Бог счастья тебе в жизни, сестричка!

И Аня с легким сердцем смахивала невольную слезу, глядя вслед людям, из-за которых не спала, переживала, страшно уставала.

В пансионате царил иной дух. Залечившие раны офицеры с какой-то суматошной торопливостью ухаживали за ней, скоропалительно объяснялись и, как видно, не очень-то переживали, не встречая взаимности.

Ане все это напоминало какое-то большое театрализованное представление, где каждый старался как можно эффективнее сыграть свою роль, чтобы понравиться хорошенькой

сестрице. Не встретив с ее стороны внимания, переключались на других сестер, - благо не все были такие щепетильные, или же находили предмет своего внимания за стенами пансионата.

Доводилось Ане слышать в свой адрес и гаденькие высказывания; от скабрзностей ее бросало в озноб, однако она сдерживалась и старалась не подавать вида, что пошлость доходит до ее ушей.

Часто Аня вспоминала Нефадея Мещерякова, деревенского парня с бесхитростной, открытой душой, и испытывала чувство не совсем осознанной перед ним вины. Переписка между ними не оборвалась, но была какой-то вялой, натужной. У обоих между строками сквозила какая-то недосказанность. Будто они едва-едва знакомы, будто не было той простоты общения летом в Подгорье. И все ж Аня ждала весточки, волновалась, когда от Нефадея долго не было ответа.

Поручик Торский не делал никаких попыток ухаживать за Аней. Был сумрачен, погружен в какие-то свои мысли. Словно князя терзало что-то изнутри, что он переносил стойчески, не показывая своего страдания.

Аня спрашивала:

- Не беспокоит? Вы не ощущаете боли?

На что поручик отрешенно отвечал:

- Нет, боли я никакой не ощущаю. Спасибо.

Он долго присматривался к Ане - она замечала на себе его пристальный взгляд, - но не заговаривал.

Станный какой-то поручик, к тому же князь. Замечала Аня и другое: при ее появлении ничего на лице у Торского не менялось, выдавали же его глаза - он рад был ей. Но почему скрывает, не пошутит, не улыбнется никогда? А может, ей кажется, что он рад? Но глаза, его глаза...

Для Ани было большой неожиданностью, когда он заговорил с ней.

- Простите, Анна Борисовна, ваша фамилия - Астапова?

- Да.

- Видите ли, я почему спросил. На фронте я знал одного поручика, довольно хорошо знал, командира роты. Мы с ним в одном батальоне служили. Его фамилия тоже Астапов, и я подумал...

- Астапов?! - почти вскрикнула Аня, в волнении сжала руки.

- Да. Аркадий Астапов.

- Правда?! У меня брат двоюродный на фронте. Это он! Рассказывайте! Пожалуйста! Боже, какая радость! Вы видели Аркадия! Ну же, что с ним?

Торский рассказал, ошибки не было: командир второй роты - действительно Анин брат.

Она выпытывала князя жадно, подробно, спрашивала о каждой мелочи.

В свободное от дежурств время, как-то само собой, не сговариваясь, они теперь часто гуляли по городу. И все говорили, говорили - об Аркадии.

Спустя время Аня пригласила Виктора к себе домой. По его глазам увидела: он очень обрадовался приглашению.

- Только мой отец, знаете, своеобразный человек... У него могут быть такие разговоры... Вы не принимайте близко к сердцу, если вас что-то покоробит. Все это у него не больше чем слова.

- Анна Борисовна, спасибо. Для меня - вы... а остальное... Словом, я вам благодарен.

Торский - князь, у Ани нет знакомых, носящих столь высокий титул, ей кажется, что такие люди высокомерны - в силу самого положения, однако Виктор по-человечески прост, в нем нет важничанья.

- Я напишу Аркадию о нашей встрече. Удивительно, такая случайность! Ему будет приятно узнать об этом.

- Передайте привет от меня. Надеюсь, он еще не забыл поручика Торского. Скоро и я вернусь в свой полк. И передам вашему брату привет, уже от вас.

После того, как Торский побывал у Астаповых дома, отец сделал заключение:

- Разочарован! Князь, образованный человек, видимо, очень неглупый, но... какой-то... Нет в нем живости ума, своего взгляда на современные вещи. Он - типичный представитель людей такого склада ума, которые живут чужим мнением, собственного не имеют, они привыкли поддакивать и быть в жизни всегда ведомыми. А поначалу он показался мне даже

интересен. Но я ошибся. Разочарован! Совершенно не интересный человек. Вялый, инфантильный...

Борис Иванович, как всегда, был в своем амплуа: едва познакомившись с Торским, затеял с ним животрепещущий разговор о наступлении русской армии, которое нерешительные, бездарные генералы не осмелятся вновь начать.

Поручик помалкивал, иногда поддакивал, вежливо кивал и ничего интересного для Бориса Ивановича не произнес.

- Вы так жаждете наступления? - все ж спросил.

- Да! Этого жаждет вся Россия! - вознес руки Борис Иванович. - Не понимать этого могут только глупцы.

- Наступление - это тысячи человеческих жизней. И не всегда такие потери оправданы. - Едва ли не самая длинная фраза Торского за всю беседу с Борисом Ивановичем.

Тот разразился длинной тирадой о жертвенности ради достижения победы. Лицо Торского было непроницаемо, казалось, слова Бориса Ивановича не доходят до него.

Все ясно с этим князем, сделал Астапов вывод, русское офицерство вообще аполитично, привыкло выполнять приказы сверху бездумно, не вдаваясь ни в какие размышления. Холодные исполнители воли власть предержавших.

Попробовал было Борис Иванович заговорить и о нарастающем брожении в обществе, но князь отмолчался и на сей раз.

Словом, князь разочаровал Бориса Ивановича.

- Он что, твой поклонник? - спросил дочь.

- С чего ты взял? Он знает нашего Аркадия, поэтому я и пригласила его. Разве тебе не интересно было послушать о своем племяннике человека, с которым он воевал рядом?

- У твоего князя слова не вытянешь. Очень даже интересно, как же. Так ты не ответила, он ухаживает за тобой?

- Папа!

- Я видел, как он смотрел на тебя. Так смотрят только влюбленные и дети на любимую игрушку.

- Перестань!

- Хорошо, не буду. Ухаживает, Бог с ним. Я не вмешаюсь. Ты не горазда выслушивать советы родителей, стала слишком самостоятельной. Пусть будет так, может, это даже

и хорошо, раскрепощение женщины в нашем обществе рано или поздно - неминуемо. Пожалуйста, я не против твоего Торского. - Сказал, будто одолжение сделал.

- Да, он у вас, Аня, своеобразный человек, - тактично сказал Торский в ответ на ее вопрос, прозвучавший извиняющимся тоном: какое впечатление произвел на него отец?

- Вы извините его...

- Ну что вы, Аня! За что? Я уезжаю, Аня. Побуду дома, сколько - не знаю, а потом... Потом снова на фронт.

Аня в каком-то минутном порыве сжала его пальцы. Торский замер, склонив голову.

- Аня, позвольте мне писать вам? - сказал тихо, коснулся подбородком ее лба.

- Нет, не надо, - поспешно ответила она. - Не надо...

- Аня...

- Счастливы вам... И... Простите меня...

- Вы не хотите, почему?

- Прошу вас...

- Аня, это неправда, вы хотите, чтоб я написал.

Она отняла свои руки. Губы дрогнули. По их движению Торский понял, что они произнесли неслышное «Да».

- Я напишу вам, Аня.

- Не провожайте меня. - Она коснулась губами его щеки и быстро пошла, все ускоряя шаги, почти переходя на бег.

Торский долго стоял на углу улицы, привалившись спиной к стене, полузакрыв глаза.

- Вам плохо? - встревоженно тронул его прохожий.

- Нет-нет, - сказал поручик. - Не беспокойтесь. Я просто немного задумался. - И когда прохожий отошел, произнес вслух: - Мне хорошо. Мне очень хорошо.

Жесткий морозный ветер пронизывал, торопливые прохожие поеживались. Виктор не ощущал холода, ему было тепло от мыслей об Ане.

Торский уехал. Аню вдруг непреодолимо повлекло на вокзал, точнее, на привокзальную площадь. Нет, она думала не о Торском, вовсе не о нем, хотя, если признаться, это не совсем так - думала и о нем. Но все-таки не мысли об уехавшем поручике толкали ее сюда. Аня почему-то вспомнила о

безногом солдате, просившем милостыню, которого видела летом. Явственно в воображении проступало его лицо, глаза, смотревшие с убийственной ненавистью. В последнее время они, казалось, следовали за ней неотступно и, даже когда Аня ложилась спать, смотрели из темноты, переходили в сны.

Наваждение не проходило. Движимая бессознательным чувством обязательно увидеть безногого, Аня и пришла на вокзал, обошла его залы, несколько раз прошлась по площади, но того, «своего» солдата, так и не встретила. Было много других калек, тоже в солдатских шинелях, промышлявших кусок хлеба, несчастный же безногий исчез.

С тяжелым сердцем она вернулась домой, а на следующий день явилась к начальству - опять с просьбой перевести ее в госпиталь, и только в тот, где лежат нижние чины.

- Голубушка, Анна Борисовна, странные у вас просьбы! Мы же вам уже сказали - нет. И, ей-Богу, непонятно. Там же адская работа! Другие, наоборот, рвутся сюда, а вы... Непонятно. Что вдруг с вами?

Ничего объяснять Аня не стала - да и что, и как объяснить? - но упорно стояла на своем. И начальство, понеделуем, удовлетворило ее просьбу. Что ж, раз того хочет эта действительно странная сестрица...

Опять недосыпание, опять бесконечные людские страдания; выматывалась так, что, едва касалась подушки, проваливалась в сон, как в пропасть - мгновенно. И однако ж сейчас Аня испытывала удовлетворение. Она работала, действительно работала, отдавая очень много душевных и физических сил. Морально же было гораздо легче, чем в пансионате.

Безногий солдат сразу же ушел из ее сознания, думать о нем было некогда. На госпитальных кроватях лежало много беспомощных, подобных ему, с кровотокающими ранами, с болью и душевным смятением, и им надо было уделять внимание, заботиться.

Вскоре написала письмо Нефадею. Получилось оно длинное - на этот раз писалось свободно, раскованно.

«Здравствуй, дорогой Нефадей! - писала Аня («дорогой» хотела было зачеркнуть, но, поколебавшись, не стала). - Это не ответ на твое письмо, поэтому, может быть, ты уди-

вишься. Но не удивляйся, хорошо? «Что же тогда заставило тебя взять ручку и сесть за лист бумаги?» - возможно, спросишь ты. Постараюсь ответить.

Понимаешь, мне сейчас очень захотелось поговорить, поделиться с тобой некоторыми своими мыслями - как с искренним понимающим другом. Вокруг много людей, но для меня все они чужие, ни с кем, ни с одним из них я не могу быть такой, какой могу быть с тобой, - откровенной и открытой. И не боюсь быть ею - с тобой.

Я часто задумываюсь: мы ходим, дышим, общаемся и, в сущности, ничего не знаем друг о друге. Мы живем - каждый словно в какой-то закрытой оболочке, куда не позволяем вторгаться никому. А ведь за ней, за этой оболочкой, - наше ядро, человеческая наша сущность, вся личность наша целиком. Но человеку трудно, неуютно, одиноко в замкнутом пространстве. Он нуждается в близком друге, с кем можно поделиться своим самым сокровенным, своими переживаниями, найти его понимание, а часто и сострадание. Увы, насколько я знаю, многие, прожив свою жизнь, так и не находят близкого друга... Страшно одиночество. Вокруг люди, а душа твоя одинока...

Милый Нефадей! У меня есть друг, это ты...

Я часто вспоминаю Подгорье, как хорошо, что оно было в моей жизни! Мечтаю снова приехать к вам, так хочется, чтоб мечты сбылись...

Тебя вспоминаю... Помнишь то раннее-раннее утро? Дымок бежит по дороге, легко, резво, солнце еще только просыпается где-то за холмами, небо торжественное, чуткое, прислушивается словно: какой он будет, новый день? А воздух! Чудесный утренний воздух, свежий, пахнущий летом и травами. Дали, уходящие на юг от холмов, манящие, необозримо бесконечные. Бежит, бежит Дымок, и вокруг никого, только птицы и мы с тобой. Помнишь?

Дядя твой, Федор (увидишь - обязательно передай ему привет от меня), - какой он веселый, как смешил нас. Славный человек! И жена его, тетя Сима, славная женщина. Ей тоже непременно привет. Бываешь ли у них?

К речке той тихой, где мы с тобой купались, подойди, постой на бережке, поклонись ей от меня. Закрою иной раз

глаза - и я там, в Блощицыном хуторе, плыву на спине, речка ласкается, а вверху - звезды, звезды...

Поле яркое, золотистое стоит перед глазами. А на нем - я, вяжу снопы. Все-таки я быстро научилась их вязать, правда? Матери твоей спасибо, хорошая у тебя мама, милая, красивая. Завидую тебе...

Многое вспоминается, до мелочей, слова вспоминаются, движения рук, глаза... Мне дороги эти воспоминания, я прикасаюсь к ним, когда бывает пасмурно в моей душе (признаться, ясных дней у меня так мало). Увижу, представляю - становится светлей и хочется жить.

Знаешь, и то неправда, что люди могут дружить, быть близкими только с людьми, как принято выражаться, своего круга. Я не верю в это, не хочу верить. У нас, к сожалению, существует столько несправедливости. Имущие никогда не снисходят к бедным, всеильные презирают слабых, образованные общение с неграмотными считают недостойным себя. Жестокая несправедливость! Но все ведь люди... Люди! Бездушные, высокомерие, себялюбие - как это низко, недостойно человека. И как я понимаю Тургенева, Некрасова, того же графа Толстого, о котором мы столько с тобой переговорили. Как трудно им дышалось, как они задыхались среди чванства, глухой человеческой дремучести, тупой самонадеянности. И как легко им было в общении с простыми людьми, тружениками, среди которых находили и имели немало настоящих друзей, бесхитростных, открытых душой.

Мне трудно объяснить, но после того, как я уехала из Подгорья - во мне что-то сдвинулось, и ты прости меня за предыдущие письма, они не выражали всего того, что я хотела написать, как думала, что хотела сказать тебе. В них не я, а проклятая оболочка - отсюда скованность, сухость. Прости...

Никаких особенных новостей или же изменений в моей жизни нет. Хотя, в общем-то, каждый день приносит в нашу жизнь что-то свое, новое, но что в текучке дел мы практически не замечаем, считая это мелочью, не стоящей внимания.

Я теперь опять работаю в госпитале, из пансионата ушла, не по мне та обстановка. Здесь, в госпитале, я нужней,

устаю сильно, но когда я вижу несчастных раненых, усталость отступает.

Отец, узнав о моем возвращении, раскипятился опять и обозвал набитой душой. Обидно, он - взрослый человек - многого не понимает, не понял и меня. По его мнению, я чуть ли не умалишенная психичка, помешавшаяся на ложном патриотизме. Пусть будет так, пусть в его глазах я буду выглядеть сумасбродкой, его ничем не переубедишь, да я и не стараюсь этого делать - бесполезно. Только это не сумасбродство. Надеюсь, хоть ты меня поймешь правильно. Мне кажется, ты сумеешь понять. Я знаю одно: как бы ни было человеку трудно, он должен находиться там, где всего нужней. Иначе разве можно уважать себя?

Нет у меня понимания ни с отцом, ни с матерью, мы - чужие. Горько это сознавать, но это так.

Сейчас мне порой кажется, что за плечами у меня длинная-длинная жизнь, прожито много лет и я чуть ли не старуха. Детство, гимназия кажутся неправдоподобно далекими, сгинувшими бесследно и давно. А как хочется временами почувствовать себя маленькой девочкой, приласкаться к матери, к отцу... Но... все это сентиментальность.

Извини, что немного поплакалась тебе, больше никому.

Поручик Торский, о котором я тебе раньше писала, выписался из пансионата, уехал в отпуск, к себе домой, в Петроград. Просил разрешения мне писать. Что ж, пусть пишет, если у него есть такое желание, мне все равно. Я ему, кажется, понравилась, но это глупо, я к нему равнодушна. Правда.

Ну да ладно обо всем об этом.

Как видишь, дни мои проходят монотонно, безлико. Но я не ропщу, время сейчас такое.

Переживаю за тебя, как подумано, что и тебя могут забрать, отправить на фронт. Сколько людей гибнет, сколько калечится! Боюсь за тебя, стал ты для меня дорогим человеком, другом. Ничего не слышно насчет призыва? Может, обратуется все, даст Бог, окончится скоро война. Быстрей бы!

Признаться, я не представляю, что будет после войны, что станет со мной, как сложится моя жизнь. Расплыв-

чато, туманно. Но все образуется, свое место в жизни я все равно найду, лишь бы кончилась она, война...

Вот, собственно, и все о себе. Не находишь это письмо скучным? Скажи, не стесняйся.

О себе пиши больше, слышишь, все хочу знать, все для меня интересно, о чем бы ты ни писал. Читаешь ли книжки? Какие прочитал? Поделись своими впечатлениями. Когда мы ехали на Блощицын хутор и ты заговорил об Оленине - помнишь? - я представляла себя почему-то казачкой Марьяной. Смешно, правда? Какая из меня казачка, так, барышенька городская, изнеженная.

Всем, всем привет, дружкам твоим, хорошие они у тебя, маме твоей привет особенный, признаюсь, я полюбила ее, ну, и остальным, кого знаю, привет.

Жду, очень жду, пиши!

Аня».

- К телефону вас просят, - сообщила Торскому горничная Феня, глядя на него немигающе, влюбленно.

Молодой князь нравился Фене. Ее любовь была любовью целомудренной холопки, чтящей своего барина. Когда он ушел на фронт, Феня каждодневно молилась за него, а когда вдруг явился страшный сон - будто лежит молодой князь убитый, раскинув руки, устремив в небо неживые глаза, а над ним - черное воронье, готовое справить ужасную тризну, - плакала сильно по ночам. Слез тех никто не видел, но днем Феня ходила потерянная, и ей сделали замечание. Чужало сердце беду, и она пришла. Долго от князя не было писем, извелись все в доме, а потом узнали, что ранен он тяжело в грудь.

Да слава тебе, Господи, выдюжил князь, и вот заявился домой живой. Обнял Феню при встрече, приласкал, и снова плакала она тихонечко ночью в своей постели, теперь от радости. Счастье для Фени - лишний раз взглянуть на статного, в безукоризненно подогнанном мундире, молодого барина. Любить тайно, только это и доступно горничной. Как солнце недостижимое он для нее.

У других господ - порассказали всякого знакомые горничные - молодые бары, да и старики також, распутники страшные, как попадетса молоденькая да пригоженькая кто из

прислуги, умаслят поначалу, утеху справят, побалуются, а выйдет огласка, выкинут, словно кошку паршивую. Торские не такие, добрая семья, прислугу не обижают, тут грех жаловаться.

- Кто? - нехотя направился к аппарату князь.

- Не сказали, - семенила сбоку Феня, украдкой поглядывая на него, пахнущего духмяным одеколоном. - Голос женский, сдаётся мне... эта... - Феня давно, разумеется тоже тайно, ревновала Торского к легкомысленной и беспутной жене невзрачного плешивого чиновника. Нехорошая женщина. Другую Феня, может, даже и полюбила бы. А эту!.. Беспутная - одно слово.

- Кто - эта? - приостановился князь.

- Розенталь-Соколовская, барин, кажись...

Торский досадливо поморщился.

- Скажи ей, что меня нет дома. Я только что уехал.

С просветленным лицом, довольная, Феня кинулась к телефону.

На другой день Розенталь-Соколовская позвонила снова.

- Опять она, - потупила глаза Феня, словно была виновата в этом телефонном звонке.

Виктор не стал на сей раз увиливать, взял трубку.

- Виктор, милый! Я хочу пригласить тебя в театр. Ты не возражаешь? Ты, наверное, и забыл, что такое театр? - бархатно ворковал красивый голос Руфины. - Я поступлюсь гордостью женщины, хочешь, заеду за тобой? - Голос вибрировал оттенком переживания. - Нас столько связывает... Мне...

- Возражаю, - прервал Виктор. - Не могу.

- Но почему? - жалобно протянула трубка. Руфина ли это говорит?.. Просяще, даже чересчур - до унизительности.

- Не хочу! - отрезал Торский. Без миндальничанья, так она быстрее бросит трубку.

- Виктор... Виктор... - Руфина всхлипнула.

- Руфина, - попытался как можно мягче сказать Торский. - Не звони мне больше, пожалуйста. У меня к тебе... - На другом конце провода швырнули трубку.

«Так-то лучше! Бестактно, но зато она не будет больше звонить», - с облегчением подумал.

Феня, слышавшая князя, просияла.

Торский стоял у окна и смотрел на улицу, рубленным ущельем рассекшую серые скалы домов. Там, неприятно скрежеща огромной лопатой, орудовал дворник, счищая лежалый грязный снег. Дворник то и дело останавливался, опирался грудью о держак лопаты и, отдуваясь, рукавом вытирал пот с красного лица, трогал виски и мотал головой. Работа шла медленно, вяло. Вот дворник опять выпрямился, на этот раз лопату приставил к стене и, озираясь, воровато вытащил из-за пазухи шкалик, раззявил рот, в момент опрокинул его туда. Шкалик, уже пустой, сунул опять за пазуху, нагнул, скребнул пятерней грязного снега, кинул его в рот, пожевал и снова принялся скрежетать лопатой. Маленькая подсмотренная тайна развеселила Торского. Лопата заскребла энергичней, теперь дворник заработал споро, редко останавливаясь, влитый внутрь шкалик на глазах преобразил дворника.

Никуда Виктора не тянуло, гулял нечасто, больше отсиживался дома - отсыпался, много читал, часто, отложив книгу, подходил к окну и подолгу стоял возле него или же откидывался в кресле и, заложив руки за голову, закрывал глаза и будто надолго засыпал. Лишь по подрагивающим векам можно было предположить, что он о чем-то думает.

В один из декабрьских дней, вернувшись со службы, отец возбужденно сообщил:

- Мерзкого чудища больше нет! Он убит. Нашлись, наконец-то, смелые люди, взяли на душу праведный грех.

Торский-младший понял, о ком идет речь. Отреагировал безразлично:

- Ну и что? Что от этого изменится?

- Как - что?! - воскликнул Антон Александрович. - Он был злым гением во дворце, все это знали, понимали. Теперь-то должны там прозреть? Должны? Хаос захлестнул уже всю страну, необходимо принимать самые экстренные меры для выправления положения. Иначе... - остановился на паузе.

- Вряд ли прозреют, - не согласился Виктор. - Дело тут, как мне кажется, вовсе даже не в этом мужике, сумевшем пригреться в царской семье и ставшем чуть ли не вторым лицом в империи. Во все не в нем.

- Многого ты не знаешь, сын. Этот пройдоха в самом деле негласно стал вторым лицом, если не больше, вершил такими делами, жутко поверить. Царь вынужден будет прислушаться сейчас к мнению компетентных людей. Понимаешь, вынужден! И это уже много. Нелепость, ужасная нелепость, как он мог доверяться шарлатану! Боже, бедная Россия...

- Вот именно, бедная, - вставила Инесса. - Посмотрите, что творится в Петрограде! Толпы голодных людей в очередях за хлебом. Сутками стоят, мерзнут. Сколько ж надо терпения! Я не пойму, папа, у нас действительно не хватает хлеба, или же тут расхлябанность, неорганизованность властей? Как так можно! - От возмущения раскраснелась.

Антон Александрович жестко осадил дочь:

- Оставь такие разговоры! Не пристало еще тебе власти критиковать. Рассуждаешь, как... социал-демократка. Тебя меньше всего должны затрагивать такие вещи. Ты прежде всего женщина и должна думать о другом.

В словах отца невольный намек. Инессе давно пора быть замужем, однако она слишком привередничает, черт знает чего ждет, принца, что ли. Еще год-два, и рада будет предложению, да никто его уже не сделает, - дождется.

- Не пристало? Если я женщина, по-твоему выходит, мне непозволительно иметь собственные суждения о том, что волнует меня? - вспыхнула Инесса. - Быть бессловесным существом? Хорошо, я не буду вести разговоры на такие темы, раз ты того так хочешь. Пожалуйста! Но быть бесчувственной кукулой - нет, уволь. Я не такая, кстати, дрянь, чтобы равнодушно взирать на страдания и быть довольной собственным благополучием. - Уходя, укоризненно бросила: - Эх, папа, папа...

- Ты не так меня поняла! - крикнул он ей вслед, жалея о сказанном, о своей несдержанности. Он не хотел обидеть ее, втайне Антон Александрович гордился дочерью, она не похожа на пустыньских барышенек, какие в большинстве своем, кроме как удачной партией, ничем другим не интересуются. - Нехорошо как-то получилось... - сокрушенно пробормотал себе под нос, когда Инесса, хлопнув дверью, оставила их вдвоем с Виктором. - Из-за какого-то мерзавца мы поссорились с дочерью.

Виктор подошел к отцу, положил руку ему на плечо.

- Не будем о нем, папа, не стоит он того. Успокойся, Инесса отойдет, она не обиделась на тебя, вспыхнула, конечно... Однако ее можно понять. И... папа, не надо ей лишний раз напоминать о... Понимаешь? Инесса человек не поверхностный, восприимчива очень.

- Да, я не сдержался, жаль. У меня хорошая дочь. Я что-то устал, пойду, прилягу...

ГЛАВА 18

Настырная осень, укутав мир вязкими тягучими туманами и беспросветными мутными тучами, сеющими нудную водяную пыль, все не желала уступать хозяйничанье своей сестре - зиме, пустившейся в долгий свой путь с далекого севера и уже достигшей черноземной полосы. И все ж выдохлась, при этом чувствительно огрызаясь. Внезапной ростепелью слизывала тонкую скатерку несмелого еще снега, разжижала подсушенный морозцем воздух, и тогда грязнились потеками бока засыпающих на зиму холмов, отбелевших меловыми залысынами, отпахнувших горьковатой полынью на вершинах. Сосновый бор на песчанике обильно плакался и подрагивал разлапистыми ветвями, сбрасывая комья липучего водянистого снега. Жирный чернозем на полях разбухал и пучился черными горбинами на пахоте, словно спинами набежавших бесчисленных каких-то зверей. Дороги тускло, слюдяно блестя, налитые водой.

Извечное противоборство времен года у старых людей отдавалось нытьем в костях и застарелых ранах, у молодых - нетерпеньем: когда же, наконец, кончатся хляби, и можно выйти за ворота, пройтись по тверди, не боясь черпнуть за голенища грязи.

Засиделись по домам парни, скучают, пялят глаза в окна девки, ждут не дождутся уверенного морозца - протянет он тропки-дорожки от двора к двору, и тогда вновь взвеселится игрищами зимняя улица.

И вот последним напоминанием о себе выигралась поздняя осень ветряной круговертью, посыпая вокруг ледящим

дождем попеременно с крупой, покрутила два дня и смирилась, признав власть своей суровой сестры.

Посыпал настоящий снег, роняясь узорными снежинками, по-хозяйски степенно, основательно, не оставляя ни пятнышка неприкрытой земли. Повеселели сосны в бору, нарядившись в белые сарафаны. Ровным пухом укрылись поля, отдыхая до весны. Заскрипела под полозьями дорога, унавоживаясь конским парным пометом. Утоптались вдоль дворов тропки.

Зима...

Раскрасневшийся, нараспашку, в сбитой на затылок шапке, Митька Суров вкатился во двор к Мещеряковым.

На крыльцо выскочила Груня, увидевшая Митьку в окно еще издали, в коротенькой кацавейке, набросив на плечи верблюжий полушалок. В руках держала домотканую дерюжку, которой накрывали в доме лавку, - будто вышла по делу, потрясти ее.

- О, Митька! - притворно удивленно ойкнула, повесила дерюжку на перила.

- Здравствуй! - протянул тот руку.

Груня сошла с крыльца, сунула ладошку в клешнястую Митькину пятерню.

Оглянувшись, Митька чмокнул ее в щеку. Груня вспыхнула, как маков цвет, приглушенно выдохнула:

- Сдурел!.. Ну-ка увидют?

- Не бойсь, не увидют, - заверил Митька и взял дерюжку. - Помогу, давай, вдох удобней трясти.

Они не виделись столько уж дней и не могли сейчас наглядеться друг на дружку.

Когда дерюжку вытрясли, обмахнули снегом, Митька, глядя Груне в вишнево-дразнящие губы, тихонько сказал, воровато оглянувшись:

- Выйди сегодня, когда смеркнется. На пустоши, у ветряка ждать буду.

- У ветряка? Чего так? Лучше к нам приходи, я выйду за ворота.

- Не! - возразил Митька. - Там спокойнее, поняла? А то тут... собаки дюже гавкают. Охота тебе их слушать? Грунь... -

опять потянулся к ее щеке, но Груня отпрянула. Митька вздохнул и, зачерпнув горсть снега, кинул его в рот. - Придешь?

- Ладно, приду...

- Братуха дома?

- Дома. В хлеву с быками управляется. Зачем он тебе?

- Здравствуйте! Дружка сколько не видал, а она спрашивает. Да и дельце у меня к нему одно важнецкое есть.

- Какое? - загорелись Грунины глаза.

- Дело и дело. Не могу сказать.

- Ну-у... - вытянула Груня губки.

- Правда, не могу, Грунь...

- Ну, я тогда пошла! - крутнулась и взбежала на крыльцо.

Оглянулась, вильнув станом: - Секретчики!..

Митька стоял и покусывал губы.

- Не обижайся, Грунь! Так ты приходи, а то ты такая...

Она порхнула в дверь и закрыла ее, ничего не ответив.

Митька постоял и пошел через двор в хлев к Нефадею, по пути запустив снежком в разлаявшегося Бурана.

Нефадей менял подстилку быкам, уже заканчивал, трусил, ровняя ногой, солому.

- Здорово! - зашел Суров в хлев, подслеповато щурясь.

Нефадей кивнул молча и продолжал трусить солому.

- Ты онемел или язык откусил? - возмутился Митька. - Сурьезный, как поп на службе. - Его так и подмывало выложить, с чем пришел к другу, но пока сдерживал себя.

Нефадей невозмутим. Вот чертяка цыганская, то вспыхнет с ничего, то ничем не проймешь!

- Так и будешь молчать?

Закончив дело, Нефадей вышел из хлева, неторопливо потер руки снегом и, вытерев их о штаны, произнес, не глядя на Митьку:

- Ну? Чего надо?

- Мне? Надо? - записклявил высоким голосом Суров. - Ничего мне от тебя не надо. А вот тебе от меня - надо. Да! Пойдем за баз, покурим, там скажу. - Деловито: - Есть табачок?

- Пошли. - Никакого интереса у Нефадея к сказанному Митькой пока не проявлялось.

Закурили, сделали несколько затяжек молча. Митька хитро щурился и разглядывал друга.

- Чего гляделки вылупил, я ж тебе не Грунька, - сказал Нефадей. - Ее и обглядывай, скучился по ней, небось, что приперся? Видел я все из хлева, смотри у меня, если что, я тебе! - поднес кулак к Митькиному носу. - Без всяких мне там. Понял?

- Такое ты скажешь! - обиженно поджались Митькины шлепастые губы. - Я с ней, Нефадей, если хочешь знать, бережучи, глупостей у меня нету, она для меня... Дурак ты, и все!

- То-то же, - примирительно сказал Нефадей. Поглядел в плутовские Митькины глаза. Потребовал: - Говори!

- Новостиска у меня для тебя имеется, - подчеркнуто неторопливо начал Суров. - Просили переказать...

Умышленная пауза.

- Не валяй дурака, - повысил голос Нефадей, заторопился затяжками, обжигая губы. - Кто просил? - Митька не спешил с ответом. - Выкладывай, не жуй слюни!

- Та кто ж. Она, Лизавета твоя. Просила переказать, значит, что ждать тебя будет сегодня. За вашими огородами, в лозах.

- Та-ак... - медленно проговорил Нефадей и, бросив окурок, тщательно и долго вминал его каблуком в снег. На скулах заходили желваки. Взгляд отрешенный, смотрит мимо Митьки, за огороды, в сторону щетинящейся среди белого снега лозы, где надоумилось Лизавете назначить свидание.

Суров хотел спросить пошленько: «Пойдешь, ублажишь Лизкину охоту?» Но вовремя остановился, уже открыв рот, сообразил: не стоит, точно взъерепенится цыган. Смажет.

- Теперь, значит, я пойду, так? - сказал смиренно и тихонько исчез, оставив Нефадея, никак не прореагировавшего на его уход, за базом одного.

Буран высунул из будки морду и оскалил зубы. Суров зверски завращал глазами и погрозил псу кулаком. Звякнув цепью, Буран вылез из будки и проводил прошмыгнувшего к воротам Митьку злобным взглядом, но не загавкал.

- С хлопцами в карты пойду поиграю, - объяснил Нефадей дома, одеваясь.

О ноги, выгибая спину и задрав кверху прутиком хвост, ласкаясь, терлась кошка. Нефадей нагнулся, погладил ее. Кошка замурлыкала и наждачным языком лизнула руку.

- Не припозднишься? - спросила мать.

- Не должен.

- Назад вертаться будешь, Груньку загони, - сказал отец.

- Ее не гукни, до утра готова обтирать с Митькой ворота.

- Ладно...

Нефадей вышел за ворота. Груни не виднелось. «Завялись куда-то...» Постоял, задрал голову к вызвездившемуся небу, свернул сигарку, покурил, топчась на месте, словно раздумывая: идти или не идти.

Перегавкивались с ленцой собаки, в слышном суховатом воздухе доносилась с Глиница гармошка, девичьи голоса перепевков, пахло кизячным дымком. Морозец приятно охлаждал скулы.

Нефадей пошел по улице, дошел до переулка, свернул в него и кружным путем вышел к своим огородам, за которыми густо росла лоза; ее каждый год вырубали на плетни, ей же нипочем - за лето вымахивала опять выше человеческого роста.

Всмотрелся в негустую сумрачь, подсвеченную от земли нетронутым белым снегом. У стожка сена, сметанного Нефадем в начале лета, неясно зыбилась фигура. «Уже пришла...»

Услышав шаги, фигурка отделилась от стожка, заспешила навстречу. Лизавета, не то застонав, не то грудно засмеявшись счастливым смешком, кинулась на шею, обвила руками, уткнулась головой в грудь. Он стоял, вытянув шею, как гусак, ощущая подбородком жестковатый верблюжий полусалок, опустив руки вдоль туловища.

- Сокол мой ясный, солнышко ты мое ненаглядное, радость жаркучая! - приговаривала Лизавета и, расстегнув его полущубок, терлась щекой о бугрившуюся мышцами Нефадеву грудь.

- На што звала? - холодно спросил он ее и не обнимал.

- На што? - вскинула она снизу горевшие лихорадкой, истосковавшиеся глазищи. - Ой-ей-оечки! Да сколько ж ждала тебя, выглядючи, сердечком изошлась, ждучи. Нет мочи

больше терпеть, хоть глазком поглядеть на тебя, ясный ты мой, думушка моя непроходная!

- Ну, будет тебе... - Взял ее за щеки, склонился, целуя.

- А ты - на што... - отдышавшись, укурила ласково. - Не приходил сколь...

- И сейчас не надо было приходиться, - хмуро сказал Нефадей.

- Не говори так, - зашептала Лизавета, жарко дыша, осыпая поцелуями его лицо. - То не ты говоришь, то людская молва злая... Соколушка статнокрылая... Не хорошо ли тебе со мной, любый ты мой... Я счас... Я счас...

Увлекла Нефадея к стожку и опустила под него, не отнимая обвитых вокруг шеи парня рук.

«Дурная, в жакетке тонюсенькой пришла, замерзла б со всем, ожидаючи, если б я долго не шел... - подумал Нефадей, ощущая сквозь тонкую материю теплый, мягкий Лизаветин живот. - Если б не пришел...». Вытянул руки и выдернул из стожка охапку сена, подвинул на него Лизавету...

Они лежали уморенные, накрывшись Нефадеевым полупубком, кисло пахнущим овчиной. Над ними расстелилось звездное морозное небо, а им было жарко, отходили от неистово страстного пламени, сбитого частого дыхания.

- Боялся языков? - спросила напевно она, лаская его жесткие щетинистые волосы.

- Скажешь... - устало протянул он. - Мне на их плевать, на языки ихние... Другое...

- Что, любый мой?

- Нехорошо у нас с тобой, Лизавета. Нехорошо.

- Не думай... Люблю я тебя... Обними меня, крепче обними, Нефодюшка!

Прикипела к губам Лизавета, облепилась плющом вокруг сухого Нефодькиного тела, и ум уже не ум, смело мысли, словно гусиным крылом паутину. Горит огонь, пожирает всего, нет уже дыхания - вышло, а не отступить, сгораешь и хочешь гореть еще и еще.

...Минутой скакнула ночь, первыми петухами, натужно приглушенными, из курятников возвещало о себе скорое утро.

- Все, Лизавета, будет. Кончать нам надо с тобой представление. Поигрались, куда уж больше. Дальше нельзя, мужняя ты... Перед Павлом подличаем, а он там... - сказал Нефадей глухо, отводя глаза, застегивая полушубок. Ногой подбил слежалое сено к стожку, пригорнул снегом.

Лизавета подкосилась ногами, опустилась, обхватила руками Нефадеевы ноги.

- Не могу без тебя, Нефодюшка! Как же мне теперь? Нету мне жизни без тебя! - пошла слезами.

Нефадей поднял ее.

- Надо, Лизавета. Детишек двое у тебя... Павел... Выкинь меня из сердца, сразу полегчает. Ты баба, вот и весь сказ, потому и потянуло к тебе. Горячая ты... Вот. А только не скажу, что люблю тебя, извиняй. Так оно и есть, брехать не буду.

Он вытер мохростым концом полушалка заплаканные ее глаза и поцеловал. Губы у Лизаветы словно помертвели - побелели, кривились в муке; она отстранилась от Нефадея и пошла по глубокому снегу шаткой походкой, сгорбившись, не оглянувшись.

Жаль ее было, очень жаль. Он уже готов был кинуться за ней, догнать, схватить за плечи, повернуть к себе и припасть губами к страдающим темно-мутным глазам - тянут, влекут дьявольской своей силой. Сдержал себя...

Домой побрел напрямки, через свой огород, рассекая снежную целину.

В кармане раскаленным углем жгло последнее Анино письмо.

Шел и поживался, будто за шиворот сыпанули половы.

Открыв крючком засов, разулся в сенях, на цыпочках прокрался к кровати.

Заворочался, закашлялся в своей постели отец, хлинула во сне мать.

Нефадей нырнул под одеяло и, повернувшись к стене, наткнулся на осуждающий взгляд рисованого лебеда, плывущего по ковровому озеру, - уже брезжил рассвет. Чертыхнулся и лег на спину, закрыл глаза. В голове толклись обрывочные мысли, потом они размылись, и он уснул.

Утром его никто не будил, встал сам, поздно.

- Накобелился? - жестко спросил отец, поглаживая усы, слегка заикаясь - верный признак недоброго настроения.

Нефадей отмолчался, взглянул на сестру. Та стыдливо отвела бегающие глаза.

Ясно... Митька, болтливая баба, выложил ей все по секрету, а та и рада стараться - доложила родителям.

- Опять валандачкаешься с Лизаветой?

Возле отца стоял Ванюшка и теребил того за рукав, глядя строгими глазенками на брата.

С печи спрыгнула кошка, подбежала к Нефадею, ожидая ласки. Он раздраженно отпихнул ее ногой. Кошка обиженно юркнула к двери и замыкала. Мать открыла ей, пустив по полу холодного воздуха.

- Мышей в снях полно, а она на печи все отлеживается, лентяйка! - сказала вслед кошке, шмыгнувшей из хаты. Вскинула тревожные глаза на мужа, на сына.

Груня сидела на сундуке и сосредоточенно возила пальцем по узору на накидке, сама наострила уши.

Наталья глазами укоризненно показала мужу на нее.

Трофим Степанович крикнул и велел дочери:

- Ты, Грунька, пошла б прогулялась чуток. Корову глянь, сенца подложи.

Поджав обиженно губенки, Груня на ходу накинула кожушок, выскочила во двор.

- Вот что, сын разлюбезный, - сел Трофим Степанович на Грунино место. Ванюшка тут же взгромоздился рядом. - Не нравятся нам с матерью такие твои блудни. Страмота! Девочек тебе мало? Языками обчесались в селе про твое разгулье. Матери твоей ровесница, считай, - повернулся к жене.

Та покивала:

- Так, так!

- На цепку тебя привязать рядом с кобелем, чтоб не бегал к Козубихе? - Нефадей все молчал, насупившись, уставившись в пол. - Придется. Чего молчишь?

- А чего говорить? - поднял Нефадей колючие глаза.

- То-то и оно, что нечего...

Трофим Степанович встал с сундука, подошел к Наталье, стоявшей в углу у окна, повернулся и решительно заявил:

- Женить тебя пора!

Наталья изумленно переводила взгляд с мужа на Нефадея. Тот и ухом не повел, стоял, прислонившись к косяку двери, не шелохнувшись.

- Трофим, - тронула мужа за плечо. - Как женить? А я ничего и не знаю... Как же? - сказала жалобно, обидчиво - без нее решили, скрыли.

- Так! - сверкнул глазами он, куснул ус. - Чтоб к дому больше притягивался, а не... - чуть было не закончил вслух крепким словом.

- Жените, - равнодушно прореагировал Нефадей.

- И женю! Немедля! - разозлился таким поведением сына Трофим Степанович.

- Ну и жените! - уже зло ответил Нефадей.

Трофим Степанович смягчил тон:

- К кому засылать сватов, сам скажи.

- Мне все одно! К кому хотите!

- Ишь ты! - опять разозлился Трофим Степанович, зашарил в штанах, ища кисет.

Ванюшка так и сидел на сундуке, точно воробушек, вжав голову в плечи, слушая резкий разговор взрослых. Наталья взяла его на руки, и он утопил свое лицо на ее груди.

- В общем так, - сворачивая сигарку, заключил Трофим Степанович. - Вернется Григорий Собкалов из Воробьевки, сразу и засватаемся. Танюшка, его дочка - такую еще поискать. И быть по сему!

- Сватайте! - сквозь зубы процедил Нефадей, и не понять было, то ли он соглашался, то ли противился, не снисходя до возражений и объяснений.

Молча оделся и целый день рубил хворост, сложенный с лета за базом. И обедать не пришел, сколько Наталья ни дозывалась.

Ночью пошел спать в стойло к Дымку, кинув в ясли тулуп, накрывшись полушубком. Отец с матерью не удерживали, промолчали.

Дымок всхрапывал, брызгаясь слюной, сопел над самым лицом. Нефадей погладил лошадиную морду. Пахло конским потом, травянисто подопревшим запахом щекотал ноздри

свежий помет, дегтем несло от сложенных в углу тележных колес. Дымок надышал, было тепло. На душе - стылко.

«Танька так Танька, - укрывшись с головой, вяло думал он. - Не хуже других, лицом пригожа, да и так, на всю глянь - неплоха. - Вздохнул: - Вот и пришло мое времечко... Женой обзавестись...»

Заворочался, ясли были короткими, затекали ноги. Подобрал под них больше сена, вытянул ноги поверх яслей.

Потрогал Анино последнее письмо в кармане - будто прикоснулся к ней, к живой. Рывком выбросил свое тело из яслей, выскочил во двор. Завилял хвостом на ночь спущенный с цепи Буран, старался лизнуть руку. «Псина... псина...» - шептал Нефадей, уткнувшись в собачий загром.

Пес тонко, по-щенячьи, поскуливал, перебирая лапами, точно готовился с места броситься вскачь. Нефадей отпустил его. Буран забегал вокруг, взбивая снежную пыль.

Нефадей загреб пригоршнями колкого снега и сыпанул себе за пазуху, растер на груди и животе, поеживаясь, ощущая, как потекли по телу холодные струйки. Стоял долго, расхристанный, пока не замерз, не зацокал зубами. Вернулся к Дымку, упал в ясли лицом вниз и не шевелился до утра.

В хате горит лампа.

- Не можно ж так! - увещевает Наталья мужа. Погасила лампу. Легли, как чужие, не касаясь друг друга. В животе толкнулся ребенок. Скоро, скоро и ты увидишь свет... Наталья погладила живот рукой, ребенок успокоился. - Без согласия его. Сам же сколько раз говорил - без его воли не женишь, кого выберет, та и пусть.

- Он выберет! Уже выбрал, анчуткина его душа! - гукал Трофим, стараясь говорить приглушенно. - Додумался! Скрутиться с бабой замужней. От, шалапута Лизавета.

- Все одно, не горячился бы ты, а, Трофим? Жизнью ему покалечишь, тогда?

- Ничего-о, притрется... Кого лучше Танюшки приглядит? Чем не пара ему?

- Пара-то, може, пара, да все ж...

- Спасибо еще батьке скажет!

- Заберут, не дай Боже. Войне конца не видно...

- Перед тем хоть помилуется с женой молодой, законной, - Трофим сделал упор на последнем слове, - а не с этой торопкой до блуду. Ну, Лизавета! Сдурела совсем баба! От же!..

- Не хай ты ее, Трофим, она, може, сама не своя тожить.

- Она-то? Сумлеваюсь дюже я.

- С нелюбым жить - ночка темная, не жизнь...

- Это ей Павел-то нелюбый? Сказала!

- С лица воду не пьют, в душевности счастье да радость.

И пальцем не тронет, и обходчивый, може, а не ляже душа, не прикажешь ей.

Трофим примолк, засопел, придвинулся к жене, приласкался, обнял за живот.

- Спать давай...

- Кто ж разберется в людях, поймет, как оно правильно, коли сам себя и то не всегда отгадаешь.

Трофим отнял руку от жениного живота, повернулся на спину.

- Правильно, не правильно, а женим Нефодьку на Татьяшке, правильной всего будет! Весь и сказ! Остепеняться ему пора, мужик уже вполне, не пацанва сопливая.

- По Ане-то как убивался...

- То блажь, позабыл уже, небось.

- Письма ему шлет.

- Пошлет-пошлет да перестанет, надоест скоро. С разного поля они колоски. И кабы хоть чуток помнил, не поперся бы к Лизавете.

- Ой, нехорошо мне в голове, Трофим, сумнота.

- Уморилась, спи. Спи, Наталушка... - опять повернулся к ней Трофим, обнимая.

Носится по двору, парко дыша, отпущенный с привязи Буран, трамбует мохнатыми лапами снег. Остановился, наврострил уши, запрядал ими - будто вой вроде далекий слышится.

И правда, то за речкой, усевшись кружком на вершине холма, откуда все Подгорье как на ладони, взывали волки, задрав острые пасти к сторожкому небу.

Давно известно: слухами полнится земля.

Дошло и до Собкаловых о задумке Тимофея Мещерякова женить своего сына Нефадея на дочери их, Танюше, семнадцатилетней голубоглазой дивчине с косой цвета только что сжатого снопа. Теперь дожидались из Воробьевки загостившегося Григория, отца Татьяны, а следом - и сватов от Мещеряковых.

Нескрытой радостью лучилась синь Таниных глаз, маялось молодое сердечко ожиданием, отсчитывала дивчина каждую минуточку до приезда отца, а следовательно, и до своего счастья заветного - сватовства. Загрустнела от такой новости гармошка Петьки Токаря, печалилась, исходя переборчатыми страданиями.

И вдруг, вроде и ждали, а все равно как снег на голову - очередной призыв.

Вот и пришел черед еще одной партии подгорьевских хлопцев отправляться на цареву службу. Не на мирную, хоть и нелегкую, муштровую, а на войну - настоящую, с кровью и смертями.

Собирали сынов своих матери, лили горячие неуправляемые слезы - на фронт отправляли детей, под пули. Гуляли хлопцы последние денечки, оглашая улицы рекрутскими разудалыми песнями до утра. Веселились тяжелым весельем, бодря себя добрым, схованным до сего часа самогоном. Прощались с милыми дружками загорюнившиеся девчата. И песни, и смех, и слезы - все в эти дни было вперемежку.

Человек двадцать забирали, среди них Кондратюка Григория, Сурова Дмитрия, Мещерякова Нефадея и Гаврюху Кротова.

- Держал-держал Поликарп своего сына подле себя, да не удержал. И гаманок с денежками не помог, загребли и Гаврюху. Такая время пошла, не откупишься уже, живого солдата давай на войну, - говорили одни.

- То-то и правильно! Давно ему пора там быть. Мой уж другой год хлебает того фронту, а он даже помоложе Гаврюхи будет. Нехай, а то поприкрылись толстыми гаманками и посмеиваются, мормоны! Нехай покушает и он вдоволь той войны! - злорадно высказывали другие.

- Откушает! Жди, кум! Такие в тылу, в обозе пригреваются, за деньги и в армии теплое местечко завсегда купить мож-

но, - делали свой вывод третьи. - Поликарп ссудит сыночка денежками, не пожалеет.

- Эх вы! Болтаете, сами не знаете чего. Поликарпу разве денег жалко, захотел бы - откупил сына. Да не в том дело, специально спроваживает его, паскудная душа! Чтоб свобода, значит, полная была, чтоб с Гаврюхиной Шуркой блудить вольно. А вы! Ради блажи своей жеребьячьей Поликарп сына собственного, родного на смерть посылает. И глазом при этом не моргнет, подлюга! - открывали людям глаза более прозорливые.

- Да что мелешь-то!

- То! Будто сами не знаете, что Поликарп с Шуркой всю жизнь. А Гаврюха ему как бельмо на глазу.

- А ить и правда-то! Неужель пошел Поликарп на такое-то? Сына с глаз долой! Срам-то, Господи-и! Вот так-так!

Вот так дела!

Поликарп Тимофеевич на людях плакался:

- Сына единственного отдаю! Охо-хо-о-о... Война проклятушая, когда ж кончишься ты! На смерть детей провожаем, без ножа нам казнь лютая... И то - нельзя по-другому, Расею-матушку сыны идут защищать! На святое дело идут...

Его выслушивали с кривыми усмешками, однако никто не решался резануть правду-матку Поликарпу в глаза. Торопились отойти от него. Убивался по сыну, а присмотреться - в глазах довольство, что так все ладно оборачивается. Такие глаза у него были, когда отца родного хоронил.

В тот день, когда, возвращаясь из Калача, разгоряченный водкой, обуреваемый плотской похотью, Поликарп Кротов изнасилвал Шуру, Гаврюха изучающе долго рассматривал ее, мрачно сведя брови, исподлобья, закусив губы. А едва смеркалось, загнал жену в постель и подступился с допросами:

- Чего приехала зареванная? Отвечай! Ну?!

- Наморилась я, не тронь ты меня сегодня. Ради Бога... - отвернулась Шура к стенке с глазами, полными слез.

- Отвечай, я тебе сказал! Устала она! С чего такого? Ишь, от мужа родного отвергается. Говори, чего редела? - тряс ее Гаврюха, перевернув на спину.

- Показалось тебе...

- Показалось? - цепным псом взъярился Гаврюха. - Еще и брехать удумала, зараза! Я тебе дам, показалось! Ну-ка, признавайся. Батя... не того с тобой? Ну?!

- Окстись! Сдурел, чи што?! - затряслась Шура.

Двумя пальцами, как клещами, Гаврюха больно сдавил подбородок, закинул назад ей голову.

- По глазам вижу, стерва, брешешь! Признавайся, не то сейчас задущу!

- Не в чем мне признаваться, идол бешеный! - выкрикнула Шура, ударила по пальцам.

- Ах так! - забрызгал слюной Гаврюха. - Паску-уда! Я тебе сейчас покажу! Сейчас я тебе! - рванул за сорочку. Материя треснула, Шура руками прикрыла груди. Гаврюха схватил ее руки за запястья, заломил за спину, одной своей рукой придерживал их, другой схватил за сосок и остервенело, вдавливая пальцы в тело, крутнул его винтом. - Признавайся!

Шура вскрикнула от боли, попыталась вывернуться, но Гаврюха держал крепко.

- Паразит! Что ж ты делаешь?! - выдохнула с ненавистью, захлебываясь слезами. - Что ты, что твой батя! Ироды!

- И, будь что будет, иступленно: - Да! Да! Знай теперь и ты, скот! Ссильничал меня твой преподобный батя! Да! Да! Сегодня! Сволочи вы, а не люди!

Гаврюха подскочил как ужаленный, секунду стоял над женой, вращая бешено глазами, затем навалился на нее и схватил обеими руками за горло. Шура успела закричать и тут же умолкла, захрипела, суча ногами.

Грохнула открытая ногой дверь, на половину молодых влетел Поликарп Тимофеевич. Схватил сына за шиворот, отнял от Шуры и изо всей силы швырнул его на пол. Сбив лавку и несколько стульев, Гаврюха распластался на животе, вытянув перед собой руки.

В дверном проеме неслышным привидением появилась Меланья, крестясь на ходу.

- Сгинь с глаз, короста! - рявкнул на нее муж, и она остановилась как вкопанная, словно наткнулась на препятствие. - И дверь закрой за собой!

Меланья опять мелко закрестилась, сутулая, тощая, по-кошачьи бесшумно исчезла, прикрыв дверь.

Гаврюха сидел на полу, раскинув ноги и размазывая по лицу кровь из разбитого носа, не то всхлипывая, не то икая.

Шура прислонилась к спинке кровати, сжалась в комок, подобрав под себя ноги, зажав кулаками беззвучно плачущий рот.

- Щ-щенок! - подступил Поликарп Тимофеевич к Гаврюхе, легонько ткнул сапогом под ребра. Брезгливо сплюнул, видя, как тот трусливо вжал голову в плечи. - Пальцем хоть раз тронешь ее, - показал кивком в сторону онемевшей от всего пережитого сегодня Шуры, - прибью, как паршивую собаку! Уразумел или повторить?

- Н-не буду, батя... - проямлил Гаврюха, все еще боясь подниматься с пола.

- Поди умойся, - велел отец.

Кряхтя, Гаврюха поднялся, пошатываясь пошел к двери, держа за нос и оглядываясь.

Поликарп Тимофеевич спросил Шуру:

- Рассказала?

- Рассказала... - со страхом вымолвила она. - Душил он меня...

- Не бойся, теперь не тронет. - Положил тяжелую ладонь на ее голову, погладил. - Эх, девка, девка... Дура! Рассказала! Ну да ничего. Ты только гукни мне, ежели чего. Я в обиду не дам. По дому не надрывай себя, рожать тебе скоро. А со мной будь, дочка, попокладистей, не чурайся. С добром ежели, по-доброму оно все и станется. Отдыхай, Шуронька...

Во дворе, без свидетелей, Кротов отчеканил сыну:

- Держи язык за зубами и помалкивай! Гавкнешь где или Шурку начнешь забижать, пеняй на себя. Не убудет ее, не распукай нюни. Сегодня на лавке ложись, не трогай ее, наморилась, - Гаврюха потерянно молчал. - Уяснил?

- Понял, батя...

С того дня Поликарп Тимофеевич жил с Шурой, покорно подчинившейся его силе. На нужное время Гаврюху обычно отсылал со двора. Тот сносил все безропотно, отыгрываясь на Шуре: шпынял всяческими словами - тронуть боялся, обычно

перед тем грубо, со злым вожделием справив свои мужские надобности, умышленно надавливая с силой на тугой, выпирающий живот.

Шура постепенно осмелела и не стала подпускать к себе Гаврюху, боясь за ребенка. На угрозы муженька грозилась пожаловаться свекру, и Гаврюхе оставалось в бессильной ярости скрежетать зубами, поливая непокорную женушку распоследними словами.

В доме установился дух мнимого спокойствия, недомолвленность каждый таил в себе, не выказывая ее наружу.

Старая бабка Акулина без конца крестилась в своем закутке, шамкая старческим обугленным ртом молитвы и проклятия сыну и паскудной змее подколотной Шурке, боясь, однако, затронуть ее. Сынка Поликарпа страшилась пуще разбойника с большой дороги. Все чаще прикладывалась к заветной бутылочке, спрятанной под подушкой. При виде Шуры искажалась ненавистью и шипела, как гусыня.

Меланья ни словом не зацепила Шуру и, как показалось той, смотрела на нее с жалостью и сочувствием. Шура даже стала замечать: свекровь будто помягчела, старалась, чтоб невестка не перетруждалась, больше отдыхала. В ожидании скорого внука или внучки Меланья перебрала сундуки с тряпьем, готовила приданое.

Догадывающаяся обо всем Настя относилась теперь к Шуре холодно, разговаривала с ней по крайней нужде.

Поначалу порывалась было Шура кинуться в родительский дом, упасть в ноги отцу и матери, рассказать как на духу о невыносимой своей жизни в кротовском доме, умолить, чтоб забрали назад, но потом остыла, оставила такие мысли. Мать, может, и поняла бы дочку, а отец - тот, знала Шура, не примет в дом, выставит за порог.

Смирилась и жила. Ожесточилось все внутри, омертвело, все более озлоблялась Шура на этот несправедливый мир, в котором существовала, проклиная судьбу и тот час, когда появилась на свет Божий. Позднее пришло глухое, мрачное успокоение, будто по-иному и не могло быть, такой уж выпало нести ей крест. Ни слез уже не было, ни стонов. Только пронзит иногда острая боль и долго не отпускает - то девичья затаенная мечта

вскидывалась, вспоминалась в сознании. Как далекая звездочка на небе - щемящие думы о Нефадее Мещерякове.

Слухи о своей дочке и ее свекре ошеломили Пелагею Корнееву, успокаивала себя неверяще - людская молва, брехня чистая. Посочувствовать в душе дитю своему кровному только и оставалось. Петр Корнеев и глазом не моргнул, узнавши о неблагоприятных делах свата своего, Поликарпа Тимофеевича. Заявил сумрачной Пелагее:

- Брешут, подлые! От народец! Завидки берут, што так складно жизнь дочки нашей, Шуры, образовалась. Потому и ляскают, подлюки, языками. Хоть бы поотсыхали они у них, губошлепов!

Глядя на него, Пелагея брезгливо морщилась: «Мокрица склизкая!»

У Петра и походка, с тех пор как породнился с Кротовым, изменилась.

- Цыплак зачуханный! - презрительно высказывается Пантелей Суров. - Напыжился, кочета из себя строит, лизало вонючее!

- И скажи ж ты, с человеком что деется, - вторит Григорий Алабушев. - Лизало так лизало! Как сучка паршивая, готов обсмоктать Кондратюку с Кротовым дерьмовое место.

- И сам воняет, как оно. Глядеть тошно.

- Ну как же, в справные мужики выбился враз. Червяк сортирный, а гонору! Душонка его собачья, растудыть его в глаз!

Корнееву нипочем такое к нему отношение односельчан. Знай усмехается, мол, позавидуйте, дураки! А я сам с усами и себе на уме. Уметь надо жить. Пелагея, правда, баба дурная, тоже туда, куриные ее мозги. Пускай, на нее Корнеев меньше всего сейчас обращает внимания. От же, халява плодливая, опять девку на свет произвела! А за рогачи следовало бы прочить, чтоб не цыркала больше. Пусть вздумает хоть раз еще за них схватиться, живо отучит ее от такой моды - арапник, вон в сарае для такого случая висит, сырмятный, толщиной с доброго ужака.

Попробует пусть! Знать, чувствует, что теперь Петро спуска не даст, притихла, как муха к осени. Так-то жизнь обер-

нулась! И грудь колесом сама собой выпирает теперь. А Шурка... Ежели и правда, так умная теля двух маток сосет. Не слиняет от того... Не первая и не последняя так-то. Баба молодая, в соку, выдюжит.

Для Гаврюхи, уверовавшего, что его не тронут, призыв явился громом среди ясного неба.

- Послужи, сынок, - утешал отец. Ласково похлопал новоявленного служивого по груди. - Куда ж денешься, тепе-рича всем молодым такая карта выпала. Кондратюк Гришка також идет, другие, вон сколько вас набирается. Друг дружки держитесь, в чужих краях земляки - что родня. За Шурку свою не сумлевайся, твоя она. Твоя, сынок... А батьку своего не суди, зла не держи, в жизни, сынок, всяко бывает... Дай Бог, чтоб цел и невредим возвернулся, молиться за тебя будем. Придешь, отделию, сам хозяиновать станешь. Слово мое твердое. Помни, ничего для тебя не пожалею. Служи, сынок, да начальство справно слухай и уважай, начальство - оно послушных не забижает.

Задушевно, по-отечески любовно поучает Поликарп Тимофеевич потерянного сына.

Чуть не плачет Гаврюха от жалости к себе, сдерживается: негоже совсем разнюниваться, слабость свою казать перед отцом, к которому горит лютая злоба.

«Ничего, батя, поквитаемся мы еще с тобой! - кипит Гаврюха, слушая его благостные сладкие речи. - Ой, поквитаемся! Запляшешь ты у меня на горячей сковороде, кобелина старая. Не будет тебе пощады, гад ползучий!»

О сватовстве теперь и речи быть не могло. Жгли Трофима Мещерякова неутихающие боли от скорых проводов сына на войну, но заодно чувствовал и облегчение. Понимал: поспешил в горячке, решив скоропалительно женить Нефадея по собственному разумению, не желая слушать никаких возражений того. Мог надломить сына, исковеркать той женьитьбой жизнь его. Кто знает, может, и сложилось бы все, неплохая девка Танюшка Собкалова, слюбились бы да жили ладно, а может, и наперекосяк повернулось, и проклинал бы Нефодька батьку своего до конца дней его. Теперь о том порассуждать лишь можно. И слава Богу, что не состоялось то

сватовство вопреки воле Нефадея, хотя он, правда, и не артачился особо. Понятное дело - почему, в горячности человек безрассуден, дров сколько угодно наломать может. Лизавета же как пришла в его сердце нечаянно зароненным угольком, так и выронится, потухнув. Молодецкий необузданный нрав трехлетним жеребенком взыгрался - всего-то. Проходит такое быстро, успокаивается вскипевшая молодая кровь, трезвеет голова. Уж отслужит свое, сам пускай выбирает, как того захочет. Вернулся бы только.

...Ждал бы беды, десятой дорогой обошел, да не знаешь никогда, с какой стороны подкрадывается она, змеюка.

Шла Наталья из Слободы, куда ходила в лавку, и надо же повстречаться с Фролкой Ловенковым, работником Кротова. Гнал, идиот скаженный, сани, запряженные парой нахрапистых коняг, не разбирая дороги. Налетел, сшиб Наталью. Подскочили люди, подняли ее, к Фролке кинулись, а она лыка не вяжет, мычит и глаза закатывает. По морде ему дали крепко, а толку? Упал в снег у дороги и ползает на карачках, роняя красные сопли, ноги не держат пьянчугу.

Привез Трофим фельдшера, тот руками развел, и то - хоть жива осталась, а уж ребенка скинула мертвого - о том и жалеть сейчас не приходится.

Заскрежетал Трофим зубами, помутилось в голове - убить мало Фролку, гада. Но не поможешь тем Наталье. Бога молил, чтоб отошла она, оправилась.

Кротов, узнав о несчастье, тоже приложил к Фролке руку и выгнал его тотчас. Фролка, голь перекатная, продолжал пьянствовать, соря деньгами, угощая щедро падких до дармовщины. И кажется, не очень-то огорчился, что Кротов выгнал его.

В тот день Кротов заявился к Мещеряковым, с состраданием долго смотрел на Наталью, на лице которой - ни кровинки. Расчувствовался, утешал Трофима, понося бывшего своего работника, беспутного Фролку. От души предлагал помощь, хоть деньгами, хоть чем, ничего не жалко для хороших людей, лишь бы обошлось благополучно с Натальей. Прямо от Мещеряковых поехал в Калач и привез доктора, за что Трофим искренне был благодарен Поликарпу.

Доктор успокоил, обнадежил Трофима: жизни Натальи опасность не угрожала.

Пьянствовать Фролка прекратил враз. Сидел теперь дома и глаз на люди не казал. Опять наниматься в работники не торопился. Поговаривали, будто видел кто-то, как с Фролкой о чем-то серьезно толковал Кротов. После того и бросил пить Ловенков.

Кризис миновал, но с постели Наталья пока не поднималась. Очень огорчилась: завтра Нефадею отправляться на сборный пункт в Калач, а она не может проводить его до кургана за селом, у шляха на Калач. Исстари повелось провожать новобранцев до этого поросшего седым ковылем кургана, насыпанного тысячи лет назад исчезнувшими в дремучей дали былых времен скифами, оставившими после себя единственный след - разбросанные на бескрайних просторах насыпанные земляные могильники.

Уже одетый, Нефадей подошел к постели матери, присел на краешек, склонился над ней.

- Прощайте, мама! Поправляйтесь скорей.

Она взъерошила слабой рукой его чуб, лицо дернулось гримасой страдания, потянулась губами к сыну.

- Береги себя, Нефодюшка. Возвращайся поскорше... - Слезы застили глаза.

Он поцеловал мать в сухие губы, поднялся, сказал отцу:

- Бать, вы не провожали б меня, до ворот - и все. С мамой будьте...

- Что ты, сыночек, Бог с тобой! - завозражала та решительно. - Не можно так. И не говори такого. Самой бы дойти до кургана, там проститься с тобой, да вот... Иди, Трофим, не слухай его, а я пока с Ванюшкой побуду.

- Выздоровляйте, мама!

- Доброй дороги тебе, сыночек! Спаси тебя Христос! - Скатились слезинки по вискам.

Последний раз оглядел Нефадей хату, подхватил на руки Ванюшку, прижал к груди.

- Не балуйся, братка, тут без меня. Мамку с батькой слухайся. И палец, смотри, не сломай, а то так и будет торчать из носа! - Ванюшка тотчас выдернул палец из ноздри и засопел, го-

товый пустить слезу. - Жди, братка, гостинец обязательно привезу!

Вот и все.

Приласкался еще раз взглядом к плачущей матери. Цокнула по сердцу щеколда.

Во дворе приостановился, потрепал за уши Бурана, притихшего, заморгавшего часто печальными глазами. Словно понимала псина, что надолго покидает Нефадей родное подворье.

Вышли за ворота, пошли по наезженной улице, хрумкая снегом.

Точно сила какая поворачивала назад Нефадееву голову. Оглянулся, цепким взглядом запечатлевая родную хату.

Прощай, родительский порог!

Вот и Суровы идут. Посредине - Митька, вокруг него родня тесно жметяся.

Вспыхнула огнем Груня, так и подалась к Митьке, но силком заставила себя идти рядом с братом.

- Подойдь к нему, чего ты, - подтолкнул он ее. - И не трясись, кого боишься, свои ж все, знают...

Повернулся к Мишке Алабушеву - тот тоже провожал дружков, - сказал на ухо:

- Ты поглядай тут за ней без нас. А то ухарей всяких хватает.

- Не беспокойся, друг, можешь на меня надеяться, как на себя самого.

Нефадей сжал локоть друга.

- Здорово, Трофим Степанович! Всем здравствуйте!

- Здоров, Пантелей Федотыч, здравствуйте, соседи дорогие!

- Вот и выросли наши сыны, Трофим Степанович.

- Выросли, Пантелей Федотыч, выросли. В лихую годину только...

- И не говори... Эх, доживут ли люди, когда войн вовсе не будет!

- Кабы так...

Вместе пошли до Слободы, где собирались со всего Подгорья новобранцы. Уже слышится оттуда заливистая гармонь

Петьки Токаря, торжественно выводящая вальс «На сопках Маньчжурии».

В одной ситцевой кофтенке выскочила на крыльцо Лиза Козуб. Ветерок облапил юбкой стройные ноги, пошевеливает складки.

И отвел бы глаза Нефадей, да сами они тянутся к ней, что одаривала его жаркими запретными ласками.

Глаза в глаза. У Лизы они - колодезь, dna не видать.

Взмах руки Лизиной, прощальный и тоже запретный, на глазах чужих людей. Подломилась рука, точно подбитая, взметнул шаловливый ветерок подол Лизиной юбки, бесстыдно заигрался в кружевах исподней.

Так и стояла Лиза, пока шли мимо ее двора, с опущенной, согнутой в локте безвольной рукой.

Приставив ладонь ко лбу, щерился за плетнем дед Халимей, вглядываясь мутными, слезящимися от старости глазами в служивых и их провожающих.

- На бойню поспешают ребятушки молоденькие! - прокаркал беззубым ртом.

- Типун тебе на язык, дурачина старый, - ущипнула его бабка. - Совсем с ума выжил, лихоманка б тебя! Мелешь по чем зря.

- Эй, ребятушки миленькие, рекрута! - закричал дед козлиным голосом. - Грудя приготовили для крестов? Полных бантов вам желаю!

- А как же, дед! За тем и идем на германца!

- Ну идите, голубки! - И себе под нос: - Только мало воротится вас, жалкие мои. С крестами...

В Слободе сделали перекличку, сказали напутственные короткие речи, и празднично одетая толпа со слезами и песнями направилась к месту последнего прощания - скифскому кургану, чернеющему, как шапкой, голой вершиной, с которой ветром сдуло снег.

Вот и он, земляной округлый холм, свидетель веков.

Позади курилось дымками над хатами Подгорье, укрытое толстыми снегами.

Остановились, притихли все. И как по команде, взвились плач, причитания, быстро говоримые прощальные слова.

Как чужая стоит Шура Корнеева возле насупленного мужа. Поликарп Тимофеевич вытирает глаза, без конца похлопывает сына по плечу.

Мещеряковы и Суровы рядом. Груня смотрит то на Митьку, но на брата. Отцы курят громадные сигарки и морщат лица - будто от табачного дыма.

Среди людей мелькнула быстрая девичья фигурка. Таня Собкалова подбежала к Нефадею, сунула ему что-то в руку.

- Что это? - растерянно спросил он.

- Тебе... Сама вышила...

Обдало Нефадея синью Таниных глаз, а девушка уже скрылась за спинами людей. Где же она? Он оглядывался вокруг и не находил Таню.

Разжал кулак. В нем - расшитая узорами хустка, в углу инициалы красной ниткой - «Н. М.»

Команда отправляться.

Последние объятия, последние слова.

И понесли быстрые кони сани, а в санях - хлопцы молоденькие.

...В Калаче в тот же день запихали их в щелястые телячьи вагоны, паровоз длинно гуднул и, причмокивая паром, потащил эшелон через заснеженные губернии на запад, где лежала истерзанная земля, располосованная будто гигантской бритвой, оставившей после себя незаживающую змеистую рану сплошных траншей и окопов - от моря до моря.

СКИФСКИЙ КУРГАН

КНИГА ВТОРАЯ

ГЛАВА 1

Командующий Юго-Западным фронтом Брусилов был удручен.

Все более становилось ясным: государственная машина разладилась окончательно, долго так продолжаться не может, крах неизбежен, и ожидать его следует в самое ближайшее время. Россия уподобилась кораблю, несущемуся по бурному морю без руля и волевого командира на капитанском мостике.

Снабжение войск из рук вон плохое. Не хватает теплой одежды, питание ухудшается с каждым днем: строевым, находившимся в окопах, в день давали едва по полфунта мяса, а потом и вовсе пошли сплошные постные дни - ржавая селедка и чечевичная похлебка. Глухое недовольство солдатской массы как ржавчиной разъедает воинскую дисциплину. Воевать солдаты не желают и все чаще выступают с требованием мира.

Четкого плана боевых действий на только что наступивший 1917 год не существует. Правда, в декабре был собран военный совет для рассмотрения этого вопроса, на котором, однако, никакого конкретного решения так и не было принято. Царь был рассеян, часто зевал и не вмешивался ни в какие прения. Станный он человек, государь российский... Генерал Гурко, исполняющий обязанности начальника Генерального штаба на время лечения генерала Алексеева от обострившейся язвы желудка, с трудом руководил заседанием. Апломба у генерала предостаточно, авторитета же -

никакого. На следующий день, после завтрака у царя, военный совет продолжился, все так же, без какого-либо толка. В это время пришло сообщение об убийстве Распутина, и царь поспешил уехать в Царское Село. Главнокомандующие фронтами - Брусилов, Рузский, Эверт - ни о чем не договорились, так как имели различные точки зрения. Наметили лишь - по предложению Гурко - начать формирование в каждом корпусе по одной новой пехотной дивизии. Где же для них брать артиллерию, пулеметы, лошадей и прочее вооружение, никто из командующих фронтами на этот счет не мог сказать ничего вразумительного. Решили, что весной 1917 года главный удар нанесет Юго-Западный фронт. Однако в каком направлении должны действовать армии фронта и какие конечные задачи надлежит им выполнить, не определили.

Скрипнула дверь, прервав нерадостные мысли Брусилова.

- Вот, полюбуйтесь! - подал он измятый листок вошедшему в кабинет начальнику штаба фронта генералу Сухомлину, назначенному недавно взамен генерала Клембовского, которого перевели командующим одиннадцатой армией.

- Что это? - спросил Сухомлин, взяв листок кончиками пальцев. Держал его в вытянутой руке, не читая, глядя осторожными глазами на Брусилова.

Тот безгласно поморщился:

- Очередная анонимка. Писаки. Все грозятся, все требуют!

В последнее время анонимки участились. Они раздражали Брусилова, однако читал он каждую, прежде чем скомкать и швырнуть в урну.

- Не стоит обращать внимания, Алексей Алексеевич, - ровным голосом сказал Сухомлин и бегло пробежал глазами листок. - Мелкие пакостники. Вздор.

- Вздор? - тяжело посмотрел Брусилов на своего начальника штаба и, встав с кресла, заходил по кабинету. - Разумеется, разумеется... Однако этот вздор, генерал, отражает настроение в войсках. Да-да! И не такой уж это вздор, если задуматься.

Сухомлин опустил руку с анонимкой, водил головой, не сводя взгляда с вышагивающего взад-вперед Брусилова. Тот продолжал:

- А настроение в войсках прескверное! Ужасное настроение! Они всячески ругают меня, говорят, что им подвело от голода животы и им плевать на войну. Они самым элементарным образом хотят жрать! Грубо сказано, да. Но я их понимаю. Я старый солдат и знаю: с пустым желудком солдат не солдат. - Взмахнул в раздражении рукой: - Как будто от меня зависит... Да только разве объяснишь это тем, кто сидит в окопах? Я для них главнокомандующий и, значит, за все в ответе. Они ведь правы... Где наши службы тыла?..

Он подошел к креслу, упал в него, откинулся и прикрыл глаза.

- И улучшения снабжения войск продовольствием не предвидится, - ровным голосом произнес начальник штаба.

- Вот-вот... Не предвидится... - Брусилов говорил не отрывая глаз. - А вы - вздор! - Встрепенулся, выпрямился. - Другие же заявляют, что войска устали, драться не желают и что, если не будет в скором времени заключен мир, меня убьют. Представляете? Ни много ни мало - убьют! Каково, а? Как все просто!.. А в письме, которое вы держите в руках, категоричное и совершенно противоположное требование. Если война не будет доведена до полной победы и «изменница», императрица Александра Федоровна заставит заключить с противником мир, то меня тоже убьют. - Усмехнулся: - Как видите, выбор у меня не слишком богатый. А я ведь всего лишь команду фронтом. Всего лишь...

- Вам следует хорошенько отдохнуть.

- Да-да, я устал, - согласно покивал Брусилов. - Но, увы, от того, что творится сейчас в России, не отдохнешь. Куда она катится, Россия...

Не мог сейчас генерал высказать Сухомлину - не тот это человек - накипевшее у него на душе. Да и кому скажешь - прямо, откровенно? Некому.

Прослуживший в армии полвека, - служба для него началась еще в 1867 году, по поступлении в Пажеский корпус, -

Брусилов в первую очередь сейчас был озабочен не столько положением армии, сколько внутренними делами, творящимися в Российской империи. Пытался понять, предугадать, что несет и что принесет ветер перемен, набирающий силу над огромной державой, грозящий перерасти в ураган. И становился в тупик. Уже следующий день не вырисовывался четко и ясно, представлялся туманно и неопределенно. Будущее же, отдаленное даже не годами - месяцами, и вовсе теряло зримость.

Неприглядное поведение высокопоставленных особ, занятых дворцовыми интригами. Царь - мягкий характером человек, зачастую непоследовательный в своих решениях, назначивший себя Верховным Главнокомандующим вместо Великого князя Николая Николаевича, умного, достойного уважения за свои незаурядные качества как военачальника, так и политика, - факт прискорбный, пагубный для России. Генералы типа тех же Эверта и Куропаткина, бесславно проигравшие японскую войну, но по-прежнему оставшиеся фаворитами царя. Мерзнущие, голодные солдаты в окопах. Хаос, неразбериха. И это Россия?! Что случилось с ней, великой страной!..

И как жаль, что так рано ушел из жизни государь-император Александр III, к слову которого почтительно прислушивалась вся Европа.

Он, генерал Брусилов, старый служака, далек от политики, но разве можно равнодушно взирать на комом растущий процесс всеобщего развала, грозящий самому существованию государства? Но что может сделать он, шестидесятилетний генерал, главнокомандующий Юго-Западным фронтом, не жалуемый царем, - тот относился к нему более чем прохладно, - чтобы предотвратить все убыстряющееся скольжение родного отечества в бездну? Что в его силах?

Нет, он не молчал, не осторожничал, высказывал свое мнение прямо и неоднократно.

Еще в октябре шестнадцатого с горечью говорил Великому князю Георгию Михайловичу, - ох, уж сколько этих великих князей! - приехавшему на фронт для раздачи Георгиевских крестов от имени царя:

- Считаю своим долгом выразить следующее и довести это до сведения государя. В такое время, какое мы сейчас переживаем, правительству нужно не бороться с Государственной думой и общественным мнением и не отмахиваться от желания всего народа работать на пользу войны, а всеми силами привлекать всех сынов Отечества для того, чтобы пережить эту страшную военную годину. Отстранение от дружной работы общественных сил на пользу войны поведет ее, по меньшей мере, к проигрышу.

Выслушав, Великий князь, помедлив, ответил:

- Я не могу сказать, что вполне разделяю вашу точку зрения на нынешний момент, но сейчас же напишу о нашем с вами разговоре государю.

Он действительно написал подробное письмо и немедленно отправил его с фельдъегерем.

Возможно, как раз то письмо и стало причиной сухого отношения царя к Брусилову. Кто знает, кто знает...

А письмо к графу Фредериксу, министру двора! В нем изложено положение России и возбуждение общественного мнения, которым пренебрегать нельзя, в особенности в такое тяжелое время. Необходимо доложить царю, - он непременно должен понять и принять решение! - что для спасения России совершенно необходимо дать ранее обещанную конституцию и призвать все общественные силы для совокупной работы на пользу войны. Секретные распоряжения - давить и сводить на нет деятельность Всероссийского земского и городского союзов - просто преступны, так как оба этих общественных учреждения приносят с самого начала кампании неисчислимую пользу армии и облегчают ей исполнение ее бесконечно тяжелого долга. На это письмо тоже ответа не получено...

Толчком для письма графу Фредериксу послужила беседа с министром земледелия Риттихом. Это был молодой еще человек, показавшийся Брусилову не лишенным ума, энергичный, в то же время несколько растерянный.

- Признаться, Алексей Алексеевич, - доверительно говорил он, - я сам до сих пор не пойму, каким образом оказался министром. Совершенно неожиданно, сам никогда к этому не

стремился. Никакой протекции, царя знаю лично мало, а что касается... - Испытывающе посмотрел собеседнику в глаза. - Что касается Распутина, то даже не видел его никогда. Видимо, просто некого было назначать. Вот и остановились на мне. Право же, трудное место, желающих заполучить его не нашлось... - Грустно добавил: - Откровенно говоря, руки опускаются, я не уверен, что приеду в столицу, а там мне не объявят, что я уже смещен. И причин не объяснят. В наше время это делается с чрезвычайной легкостью...

Понятно, при такой неуверенности министра в завтрашнем дне ожидать от него действенной работы было бы, по меньшей мере, нелогично. Брусилов не стал успокаивать Риттиха, лишь посочувствовал ему. Министерская чехарда в правительстве стала притчей во языцех, и на министров смотрели несерьезно. Искренне было жаль этого молодого человека, волею судьбы занявшего такой высокий, но и такой неустойчивый пост.

Царь Николай... Государь всея Руси!..

В сущности, одинокий, замкнутый человек и, наверное, терзаемый муками своих мыслей, сокрытых от других людей, даже близких, и вряд ли по плечу ему такая ноша.

Надо быть просто слепым, чтобы не видеть и не признавать, что после девятьсот пятого года неизбежно последует затем и еще взрыв - как последствие этой войны. Много возмущенных и настроенных против правительства, возбуждение уже достигло предельного накала, в открытую заявляют, что дальше так продолжаться не может.

Что ж, он, генерал, русский человек, всем сердцем любящий Россию, во многом разделяет подобное мнение. Да, дальше так продолжаться не может! Он тоже в недоумении от деяний царя и его правительства. И желает для Отечества одного - победы. А для достижения этой великой цели ни в коем случае нельзя допустить революции до окончания войны. Иначе - крах, потеря России как таковой, ибо вести войну в условиях революции в стране невозможно. Жаль, очень жаль, этого не понимают там, в верхах. Или понимают, но жаждут еще более усугубить ситуацию?.. Исходя исключительно лишь из собственных амбиций?..

- Алексей Алексеевич, - отвлек Сухомлин Брусилова от вихрящихся тяжелых мыслей, - я зашел, собственно, вот по какому поводу. Из Ставки пришло распоряжение, Великий князь Михаил Александрович отзывается, он назначен на должность генерал-инспектора кавалерии.

- Вот как? - На лице главнокомандующего видимое огорчение. Михаил Александрович, родной брат царя, командовал на фронте кавалерийским корпусом. - Жаль. Очень жаль расставаться.

- Кого будем назначать на корпус?

- Ваше мнение?

- Надо подумать, - ответил осторожный Сухомлин.

- Подумайте. И потом мне доложите о своих соображениях, - согласился Брусилов.

- Хорошо, Алексей Алексеевич, - почтительно склонил голову начальник штаба. - Я подумаю.

- Добро. Можете идти. А я, пожалуй, прилягу, может, удастся соснуть часик-полтора. Действительно, я что-то устал...

ГЛАВА 2

Укатанная, утоптанная тысячами солдатских сапог дорога пластается по взгоркам, сбегает на ровные поля, нехотя, громоздясь по обочинам грязными сугробами, обходит набитые спрессованным снегом перелески, вынуждена сужаться, и оттого сердито морщится колдобинами перед мостами, втекает в разоренные, спаленные войной села, уходит все дальше и дальше, и кажется, не будет ей конца и края.

Где твое начало и где остановишь свой путь, устанешь, скажешь, наконец, - все, прифронтовая дорога?

Посбивалось в огромные стаи наглые воронье - неперменные зловещие детали пейзажа реальных и жестоких картин под общим названием - война. Расселись клювастые птицы по обочинам, ветвям уцелевших деревьев, каркают с перекладины телеграфных столбов со свисающими нитями оборванных проводов, взирая окрест, выискивая добычу - упавшего и не захороненного, занесенного снегом солдата, которого

проглядела похоронная команда, или лошадь убитую, издохшую, которую еще не заметили люди и не пропустили через свои занемевшие от пустоты желудки. То взовьются вдруг все разом, по какой-то им одним лишь ведомой команде, захлопают крыльями, будто ветер рванул неожиданно по верхушкам деревьев, и они зашумели, неприятно заскрежатали жестью иссохшей листвы, кружатся круг за кругом над одним местом, черня и без того мутное небо, потом упадут все разом на землю, и она, заснеженная, оспится кочками, будто кто прошелся по ней несмелым плугом, посрывав верхний ее пласт.

По дороге движется колонна: серые, не обтертые еще, не прожженные во зле костров шинели топырятся, выбиваются из-под ремней, тяжелое, сиплое дыхание, вполголоса разговоры - когда нет поблизости офицера, тот, на коне, челночит вдоль колонны, фельдфебель - рядом с ней, пешком, время от времени ощупывает свирепым взглядом строй, и тогда на полуслове слепливаются рты, глаза тупо уставляются в спину впереди идущего - с фельдфебелем шутки плохи, мерно колышется жидкая щетина штыков, матово тускло отсвечивают грани стали, не бывшей еще в деле.

Идет пополнение, не нюхавшее пороха, не кормившее полчищ второго врага - вшей, с телами, не тронутыми еще горячим металлом, впихнутыми в новое, не пропитанное пока гарью обмундирование.

Защитники царя и Отечества. Для них все впереди. Их уже с вожделием ждет, разинув страшный свой зев, ненасытная мясорубка фронта.

- Эх, закурить бы! - вполголоса говорит Нефадею Мещерякову дружок Митька Суров. Они идут рядом. - Топаем, топаем сколько уже, и все без перекура. - Зло метнул глазами в сторону офицера. - Ему-то что, хоть бы хны, на коняге, а тут пехом, ног уже не чувствуешь. Ишь, благородие, бляха-муха! Папиросочку покуривает! А нам нельзя... Зараза! Слухай, может, курнем втихаря? Я махонькую вмиг сверну. Спасу нетути, курить охота!

- Он тебе так курнет в ухо, - кивком указал Нефадей на фельдфебеля, - что на всю жизнь про табак забудешь.

Фельдфебель, шедший рядом с колонной шагов на пятнадцать впереди дружков, словно разгадал Митькино намерение. На ходу обернулся, зыркнул в их сторону.

- От рожа поросячья! - не открывая рта, сквозь зубы зашипел Суров. - Гадюка ползучая! Короста собачья! Хрен бычачий! - крыл фельдфебеля самыми распоследними словами, какие только являлись сейчас в гудящую от усталости голову, в ней будто молоточки постукивают - часто пульсирует кровь. - Хочь бы у тебя чиряк на яйцах вскочил! - Выплескивал и выплескивал накопившуюся злость. Он был злой сейчас на весь белый свет, не исключая и самого себя.

- Охолонься, воин хренов, - толкнул дружка локтем Нефадей. - Не распался, как кочерга в печи, зазря. Так еще хуже, себя за хвост заводить. Лучше иди и до сотни считай. Досчитаешь, снова начинай. Отвлекает.

- Да иди ты знаешь куда! - разозлился Митька еще пуще. И произнес словцо, от которого даже заулыбался, представив означенный словом предмет в натуральном выражении. - Со своими советами!

Нефадей хмыкнул:

- Я б, Митька, очень бы даже с удовольствием! Да нету тут ее, этой самой штуковины, куда ты меня посылаешь. Одни олухи кругом, навроде тебя, петуха драного. Вот какая незадача...

И тени улыбки не мелькнуло на лице Нефадея. Оно было серьезно-непроницаемо.

Митькину же злость враз точно смыло, он вожделенно гыгыкнул, тут же забыл о куреве и переключился на другую, не менее волнующую воображение тему, на которую невольно его подтолкнул Нефадей.

- Да-а... - протянул Суров и от вдруг неожиданно всплывшихся мыслей аж зажмурил глаза. - Оно б, ага-а... Эх! - И пронзительно пожалел, что тогда, в мельнице, будучи наедине с Груней, не проявил должной настойчивости. Оказался самым настоящим вахлаком. Куда б она делась... А теперь? Убьют, чего доброго, к фронту ведь гонят, а он так ни с одной бабеночкой и не успел переспать. И верно, олух царя небесного! Да еще какой олух!

Стало до того себя жаль, аж слезы навернулись. Митька жалобно протяжно вздохнул.

Груня, Грунюшка... Уж если Бог милует, живым останется, придет домой - не мешкая, свадьбу. Тогда наверстает за все! Тогда терпи, Груня! Захлебнешься в ласках. Море их будет. Да что море! Окиян! Только б вернуться!

- Ты чего? Уснул? - толкнул Нефадей. Размечтавшегося Митьку повело в сторону, и он стал наступать тому на ногу.

- А? - встрепенулся Суров. - Не, не сплю я... Привиделось мне чуток... Эха-ха, эхе-хе! И куда нас гонют? Про Лизку не вспоминаешь? Жаднющая, небось, насчет... А? На нее глянешь, сразу видно... Ноги, прям горят! Верст двадцать, должно, уже оттопали... А про Аню? Хорошая барышенька... Как она обихаживала тебя у церкви... Помнишь? Да, Нефодя! Что ни говори, не по коту мышка!

- Отстань! Помолчи! - раздраженно оборвал Нефадей.

- Ладно, молчу. Слухай, Нефодь, вот вернемся с войны, к Груньке вашей посватаюсь. А чего? В первый же день! Отдадите? Люба она мне, на руках носить буду. Не веришь?

- Ты сначала вернись.

- Любить ее сильно буду...

- Будешь, будешь. Меньше болтай, а то совсем запыхаешься.

- Чурбак ты дубовый! Ему как человеку... А он! Пенек и есть пенек!

Сзади тяжело сопел Гаврюха Кротов.

- Моченьки больше нету! - слезливо пожаловался. - Когда ж он, конец, будет! Идем и идем!

Не оборачиваясь, Митька посоветовал:

- Ты, гундосый, про мочу забудь. На войну идешь, защитник. Тута мамки нетути, чтоб слезки твои хусткой утирать. Терпи, Аника-воин! До тыщи считай, и про ноги забудешь. Не, лучше до мильена. Помогает, попробуй! Или ты, может, и до десяти не научился считать? А конец, Гаврюха, он завсегда при нас. Вот возмись за свой и держись. Или ты его потерял?

- Тебе б все зубы скалить... - проканючил Гаврюха. - Портянки, паразиты, посбивались, все пальцы растер. Жжет, спасу нет!

- Эт тебе не в калошах по слободе форсить!

На дороге навстречу колонне показался автомобиль. Внимание переключилось на него.

Автомобиль, не доезжая до колонны, остановился. Из него вышел генерал в светло-серой шинели, в каракулевой папахе, встал, держась за открытую дверцу, смотря на приближающийся строй солдат.

Офицер придержал коня, метнул взгляд на колонну, на генерала, вскинул руку к виску и заорал тонко и высоко, от натуги и усердия приподнимаясь на стременах:

- Смир-р-на-на-а!

Генерал замахал руками - не надо «смирно».

Офицер непонимающе уставился на генерала, растерялся, потом, опомнившись, скомандовал:

- Отставить! Вольно!

Однако, хотя и была команда идти вольным шагом, солдаты при виде генерала приосанились и шли, стараясь печатать шаг, как их учили, как им уже вдолбили - мимо начальства только строевым.

Генерал поднял руку, смотрел на солдат добрыми грустными глазами и беззвучно шевелил губами.

Колонна прошла, генерал постоял некоторое время, посмотрел ей вслед и сел в автомобиль.

- Генерал! - загомонили в колонне. - Не строгий, видать. А! Не захотел, чтоб «смирно» мы.

- Разговорчики! - гаркнул фельдфебель.

- Вот бы на такой коляске прокатиться. - Суров наловчил ся разговаривать с закрытым ртом, при этом ни один мускул не вздрагивал у него на лице. - Слышь, особливо тебе, Кротов! Только ты не генерал, всего-навсего Гаврюха гундосый. Так что пеши ходи. Быстрей лошади бежит генералова таратайка, в два раза быстрей, это уж точно! Живут же генералы! В рот им кило катяхов!

Гаврюха опять начал стонать.

- Да замолкни ж ты! - прикрикнул Митька. - Без тебя тошно. - Кротов примолк. - И что ж это за генерал такой?..

- Тебе не все одно? - сказал Нефадей. - Генерал и генерал.

- Кажись, похожий, - пробубнил сзади Гаврюха.

- На кого похожий? - живо заинтересовался Суров.
- Дома у нас патрет висит, царь и все его, ну эти, семья ихняя вся, сродственники, значит. На брата генерал похожий.
- На чьего брата?
- Та на чьего! На царева. На чьего ж еще.
- Да ну! Бреешь?
- От еще!
- Ну и дела! Самого царского брата видали! Слышь, Нефадей, расскажем своим на селе, не поверят ни за что. Самого брата! Может, и царя доведется увидеть, а что? А? А звать его как?

- Кого?
- Та брата! Черепок бестолковый!
- Почему я знаю?
- Чего ж, там не написано, на петрете?
- Може и написано, та я не читал.
- Эх ты, дубовина! Не читал... Ни считать, ни читать не гораздый. Только сопли жевать. Гундосый!
- Не гавкай, - вяло огрызнулся Гаврюха.

Суров будто и не услышал Кротова, шел и рассуждал сам с собой:

- Ни одного генерала до сих пор не видали. А тут, на тебе сразу! Брат царя! Вот же повезло... Не каждому так везет. А вот нам повезло. Царя б еще увидеть. Да и на царицу охота поглядеть. Говорят, немка. Это чего ж он, царь, на немке женился? Своих будто баб у нас нету. Должно, раскрасавица. А иначе зачем немку брать? Н-да... Всякое на свете... Интересно, а отчего у китайцев глаза узкие? Для чего? И ходят, говорят, совсем голые. Снега у них нету. Вот бы нам так! Голые и с винтовками! Немцы со страху точно б все поуतेкали. А то еще есть такие, лягушек едят, прямо сырыми. Какой только твари Бог не насоздавал...

В запасном батальоне подгорьевцы старались держаться вместе. Кротов жался поближе к Мещерякову и Сурову. Митька все время шпынял его, Гаврюха терпеливо сносил издевки, молча сглатывал оскорбительные слова, на которые Суров горазд, не ершился и в пререкания старался не вступать. Нефадей словно не замечал Кротова, и у того отлегло от

сердца. Поначалу сильно боялся, что Мещеряков припомнит про старое, про ту драку возле церкви, и отыграется сполна. Немногословный Гришка Кондратюк держался особняком, сам по себе, но в последнее время и он стал держаться поближе. Тошно одному, что ни говори.

Гоняли в запасном батальоне как сидоровых коз. Ни минуты продыха. Вечером падали в казарме замертво, а с утра - опять двадцать пять. Снег, слякоть, грязь - никакой скидки.

Когда сформировали маршевую роту для отправки на фронт, вздохнули с облегчением. Пусть лучше на фронт, пусть хоть к черту на рога, чем терпеть невыносимые издевательства здесь, в запасном батальоне.

И вот ведут к фронту. Когда ж он будет, когда кончится эта проклятая дорога?

Послышался странный звук, похожий на стрекотанье жатки, только гомче. Завертели головами, что такое?

- Аэроплан!

- Где?

- Да вон же, гляди!

- Прямо на нас летит!

Офицера будто сдуло с коня.

- Ложись! - истошно закричал он и упал в кювет.

- Ложись! - следом фельдфебель.

Рота нехотя легла на дорогу. Приподнялись на локтях, задрали головы, наблюдали за летающей диковиной, большинство видели аэроплан впервые.

Аэроплан прошел низко.

- Кресты!

- Германец!

Набрав высоту, аэроплан описал большую дугу и опять пошел на лежащую на дороге роту.

- Чего это он?

- На тебя опять поглядеть хочет!

- Смотри, смотри! Что это?

От аэроплана отделились две точки. И сразу - пронзительный вой.

- Бомбы!!!

Они рванули почти обе враз.

Аэроплан медленно опять развернулся и улетел туда, откуда появился.

Ошеломленная рота долго не поднималась. Когда, наконец, поднялись, кинулись к воронкам, которые еще дымились.

Четверо не поднялись. От одного осталась растерзанная бесформенная масса. Двое лежали ничком, вокруг них, впитывающая кровь, алел утрамбованный снег. Четвертый лежал на боку, схватившись за живот, и в корчах сучил ногами. Сквозь пальцы - кровь. Быстро освободили ремень, задрали гимнастерку, нательную рубаху. Дрожали, дымились искромсанные кишки, перемешанные с их содержимым. Солдат дернулся, похватал ртом воздух, вытянул в судороге шею, всхлипнул несколько раз и, зевнув, затих.

По полю носился ошалевший конь и никак не давался в руки.

ГЛАВА 3

Пожалуй, единственным человеком из царской фамилии, к кому Алексей Алексеевич Брусилов относился с искренним уважением, был Великий князь Михаил Александрович.

И вот тот приехал попрощаться, убывая на новую должность - генерал-инспектора кавалерии.

- Я очень сожалею, что мы расстаемся, - без всякого приговора сказал Брусилов. - Мы неплохо воевали и, кажется, так же неплохо понимали друг друга. По крайней мере, никаких недоразумений меж нами не возникало. Жаль, жаль...

За время службы Великого князя под началом Брусилова у последнего сложилось вполне устоявшееся мнение о нем. Хотя знали они друг друга давно, однако то, довоенное, время было совершенно иным, война как бы резче очерчивала стержневые черты каждого человека. Если бы главнокомандующего фронтом попросили сейчас дать характеристику бывшему командиру корпуса, он, не кривя душой, сделал бы это коротко, но достаточно емко: Михаил Александрович - человек не блестящих способностей, однако показал себя храбрым, скромным генералом, усердно выполняющим свой долг. Бо-

лее всего в нем то, что тот не причастен ни к каким интригам, старался жить честно, порядочно, не пользуясь особым положением члена императорской фамилии.

- Мне тоже жаль уезжать, Алексей Алексеевич, - с сожалением произнес Великий князь. - Здесь, на фронте, я себя чувствовал как бы ближе к России. И само понятие Россия было для меня, как бы это сказать, физическим, что ли. Мой корпус, мои солдаты, тяжелые бои - все это в моем сознании ассоциировалось со словом «отечество». Трудное, жестокое время для него, и я - словно частица этого времени, непосредственный участник тяжких испытаний, а не бесстрашный наблюдатель. И в полной мере ответственен конкретно за свой участок приложения сил, который доверили мне государь и Отечество. Что касается моего нового назначения, не знаю даже, где принесу более действенную пользу. Однако я солдат, и должен, как и подобает солдату, безропотно исполнять волю государя.

Брусилова несколько покорило употребление Великим князем несколько раз слова «государь». Не «Верховный главнокомандующий» и даже не «брат», а именно «государь». В такой обстановке доверительной прощальной беседы можно бы и не говорить столь официально.

- Да, вы правы, Россия переживает сейчас крайне трудные времена, - сказал он с тяжелым вздохом. - Смутный момент в ее истории, и кто может предугадать, что ждет ее завтра. Все казавшееся незыблемо вечным трещит по швам, - усмехнулся без улыбки, - как старый износившийся сюртук... - Посмотрел внимательно на князя.

- Когда я ехал сюда, встретил колонну новобранцев, - казалось, без всякой связи с предыдущим медленно начал Великий князь. - Новое обмундирование, свежие лица, бодрый шаг. Трещит... - Брусилов внимательно вслушивался в каждое слово. «Ну, что же дальше?» - мысленно подталкивал собеседника. - В эту минуту мне показалось... Мне очень хотелось верить, что...

Брусилов уже примерно знал, что будет произнесено дальше. На паузе упредел не произнесенные еще Великим князем слова.

- Понимаю, - и впервые за все время беседы того по имени-отчеству, - Михаил Александрович. Но скажу так. Шитье по старым заплатам. Притом, белыми нитками. Правде надо смотреть в глаза. Смею сказать прямо, да вы и без меня знаете прекрасно, армия разложена до предела, еще немного - и она перестанет существовать вообще. Солдат стал думать. И, что самое страшное, его волнует не только собственный желудок, что еще как-то возможно снять со счетов, накормив его, и мысли о доме, - его волнует большее. Если хотите, - судьба России. Полки наводнены всякими эсерами, большевиками, меньшевиками, словом, всяким политическим сбродом. Они прибирают армию к рукам, мы же становимся бессильными. И позвольте мне уж до конца быть откровенным. Надеюсь, поймете меня, как должно. Через несколько дней вы увидите государя. Я покорнейше прошу вас доложить ему мое мнение относительно ситуации, создавшейся как в армии, так и в государстве вообще в настоящий момент.

Мелькнула мысль, стоит ли повторяться, говорить не раз уже сказанное самым высоким особам.

- Говорите, Алексей Алексеевич, - сделавшись весь внимание, приготовился Великий князь выслушать своего бывшего начальника. - Думаю, я вас пойму, постараюсь понять, насколько возможно.

Брусилов резко и твердо изложил то же самое, что в свое время высказал Великому князю Георгию Михайловичу и в письме графу Фредериксу. Добавил, что для выполнения крайне необходимых реформ, которые еще могут спасти Россию, остались, быть может, не месяцы, а дни, и он умоляет во имя блага России разъяснить все это царю, и если Великий князь разделяет его мнение, то поддержит со своей стороны.

- Ради спасения России! - повторился он.

- Я с вами почти во всем согласен, Алексей Алексеевич. Я передам ваши слова брату. Но вы же знаете, влиянием никаким не пользуюсь и значения никакого не имею. Он находится под таким влиянием и давлением, которые никто не в состоянии преодолеть.

Вот сейчас Великий князь назвал государя братом, что не ускользнуло от внимания Брусилова. Давление и влияние...

Да, оно сильно, и надо быть волевым человеком, дабы, изучив расклад сил и ситуацию, сделать свой вывод и соответствующие решительные действия - исключительно исходя только из интересов России. Задача невероятно трудная и дорого стоит, где ошибка чревата тяжкими последствиями. Много ходит разговоров, что государь находится под большим влиянием своей супруги Александры Федоровны, и факт этот является едва ли не единственным негативом, толкающим государство к критической черте. Обвиняют императрицу в прямой измене, будто обставляет дела таким образом, что все они направлены на пользу ее родственника кайзера Вильгельма. Абсурд! На измену императрица не способна, в этом он, Брусилов, видевший и разговаривавший с ней не однажды, абсолютно уверен. Лишь в силу экзальтированного характера, из любви к России, именно - из любви, невольным образом может действовать, сама того не подозревая, негативно на устойчивую работу государственного механизма.

Нет, Николай далеко не чета своему батюшке, императору Александру III, не сможет, не способен удержать и защитить Россию от надвигающейся беды. Любит, по-своему любит ее, народ ее, но... Не сможет!

«Зря, все зря...» - мрачно подумал Брусилов, выслушав Великого князя, и зябко повел плечами.

Упование лишь на волю Господа.

ГЛАВА 4

По фронту муссировались самые невероятные и противоречивые слухи о будто бы готовящемся в Петрограде дворцовом перевороте. Утвердилось всеобщее мнение, что дни нынешнего царя Николая II сочтены. Офицеры были заняты гаданием, кто же вместо него примет корону Российской империи. Будет ли он из дома Романовых, династический путь которых не единожды был обогрен кровью царственных особ, или же их трехсотлетнему правлению приходит конец, и представитель новой династии взойдет на трон.

Не был исключением и батальон подполковника Клямина. Здесь тоже шли жаркие споры.

- Выходит, что же, отцарствовался Николай? - как будто самого себя спрашивал Клямин и обводил взглядом офицеров. - И что же теперь дальше?.. - Глядел поверх готового свалиться с носа пенсне. Сейчас он был похож на ребенка, потерявшего вдруг в толпе мать и озирающегося на прохожих, ища ее и не находя, и не зная, что же делать дальше - то ли разреветься, то ли погодить. Его вид вызывал у офицеров невольную улыбку.

- Так точно, Алексей Кузьмич! - с молодым задором воскликнул подпоручик Ямбович. - Подчистую спишут его! Нацарствовался, будет. Разве это царь? Развалил всю Россию! Хватит и того, что проиграл войну японцам. Нужен энергичный, решительный государь!

- Да где ж его взять, нового Петра Первого? - покачал головой Клямин.

Штабс-капитан Артемов поддел Ямбовича:

- А не вы ли, подпоручик, присягали ему на верность? Вспомните, как кричали, что за царя и конечно, Отечество готовы положить свою жизнь. А теперь хааете. Вы самый настоящий флюгер, подпоручик! Нехорошо как-то...

- Реки текут, времена меняются, - философски изрек Ямбович. - Флюгер? Пожалуйста! Пусть будет флюгер. Ну и что с того, что присягал? Жене тоже клянутся в верности на венчании. А на деле? Кто из мужчин всю жизнь знал только одну женщину? - Ямбович нисколько не ступешевался. - Все мы присягали. Но времена-то действительно меняются. Как вы не поймете! С таким царем мы с треском проиграем войну. А я, например, очень даже не прочь прогуляться по Берлину. Неплохо, господа, а? - И добавил, ехидно глядя на Артемова: - С немочкой, с блондиночкой какой-нибудь хорошенькой. Ах, фрау, вы мне так нравитесь! Битте, в нумер... Да-а... - Мечтательно прикрыл глаза.

- Эка вы хватили! - воскликнул Клямин. - По Берлину... с блондиночкой...

- Эх вы, юноша, - поморщился Артемов. - У вас одно на уме.

Ямбович запальчиво бросил:

- Ради бога, штабс-капитан! - Лицо его раскраснелось. - Будто вы не прочь так же... Я только говорю об этом прямо, а

вы пытаетесь маскироваться порядочностью. А сами... - хотел напомнить о Стефе, однако воздержался. - А в чем она, порядочность? А? Ну, скажите! Чего ж вы?

Подпоручик не упомянул вслух Стефу, но Артемов понял подтекст и все ж подливать масла в огонь не стал.

- Да ну вас!.. - пренебрежительно махнул рукой.

- Вот-вот! - тут же заговорил Ямбович, по-своему расцепив слова и жест Артемова. - Да ну меня. Все верно, все так и есть. Не знаете, что сказать. А в чем она, порядочность, это еще вопрос. Бо-ольшой вопрос!

- Бросьте, нашли о чем спорить, - оборвал обоих Костенко. - Слишком высоко взяли - о порядочности. О ней не за бутылкой рассуждают. На землю лучше спуститесь.

- Верно, - поддержал Клямин. - Не про нас она сейчас, порядочность. Она где-то в стороне витает, а мы... - Водрузил пенсне на переносицу и вздохнул: - Значит, говорите, отцарствовался государь... Стало быть, нехорошие дела начинаются.

Артемов не внял замечанию подполковника, не унился:

- Порядочный человек им и остается при любой ситуации.

- Хватит, право! - замахал руками Клямин. - А то вы, гляжу, окончательно сейчас перессоритесь. Оставьте!

- И кто ж теперь? - послушно оставив «порядочность» в покое, повернулся Артемов к Костенко.

Тот усмехнулся, вскинул брови:

- Откуда я знаю, голубь мой! Я же не провидец. Не один ли нам черт - кто.

Аркадий Астапов слушал, в разговор не вступал.

- И все же? - с прищуром повторил Артемов.

- Не знаю, я же сказал. Мало ли их там, семейка, слава Богу, не маленькая, желающие уж найдутся.

Приумолкший было Ямбович снова подал голос:

- Желающих-то немало, факт, да не всякий годится. Быстрей всего на трон посадят наследника, Алексея Николаевича.

- И откуда вы все знаете! - не без ехидства среагировал Артемов.

Подпоручик на этот раз не принял выпада.
- Об этом все говорят, - спокойно ответил он.
- Он же несовершеннолетний.
- Так что с того? Регентом при нем станет Великий князь Михаил Александрович. На фронте он неплохо командовал корпусом.

- И потом потиху-поздорову удалился на теплое местечко генерал-инспектора кавалерии, - подал реплику Костенко.

- Ему приказали. - Ямбовича не так-то просто сбить с толку. - Он не виноват.

- Не виноват... - с иронией произнес Костенко.

- Да, приказали... А что наследник юн, так это хорошо. Вершить всем будет регент. Боевой генерал, сейчас война, как раз то, что нужно. Говорят, главную скрипку в перевороте будет играть Алексеев, начальник Генштаба. Он арестует царя и дражайшую Александру Федоровну, заставит отречься от престола.

- Вам бы, Ямбович, не в армии служить, а черной магией заняться. Все-то вы наперед знаете, - не преминул поддеть Артемов.

- При чем здесь магия? Да еще черная, как вы изволили сказать, господин штабс-капитан. Надо всего лишь мыслить логически. Ло-ги-чес-ки! Понимаете?

- А если логически, не думаю, что на малолетнего наследника наденут корону. Весьма маловероятно.

- Да?

- Да. Если Николая и заставят отречься, то единственной кандидатурой, способной встать у руля России, является Великий князь Николай Николаевич, бывший Верховный Главнокомандующий.

- Что ж, тоже вполне, - на удивление всем согласился Ямбович. - Было бы весьма недурно. А сейчас сидит Николай Николаевич в своем Закавказье и саперави, наверное, попивает... Кто был, господа, в Тифлисе? Замечательный город!

- Уж тогда-то он отомстит своему родственничку за то, что тот турнул его и сам себя назначил Верховным Главнокомандующим, - прокомментировал Костенко.

Клямин вытер зеленым батистовым платочком вспотевший лоб и завздыхал:

- Хоть бы скорей все прояснилось... А то живем, не знаем, для чего живем... Господа, а вам не кажется, что мы слишком того... Услышь кто-то наши речи, ой!..

- Ерунда, - сказал Ямбович. - Сейчас все говорят.

- Нам все равно - ни холодно, ни жарко - кто будет, что будет, - фыркнул Костенко.

- Нет уж, Анатолий Васильевич, позволю не согласиться. И холодно, и жарко, - возразил Клямин. - Ведь надо что-то делать с войной, как-то кончать ее. Вот она уже где сидит, - провел ладонью по горлу. - Сыты, дальше некуда. Кончится, сразу попрошусь в отставку... Вы что же молчите, Аркадий Николаевич?

- Слушаю, - сказал Астапов.

- Ну-ну... И до чего ж вы дослушались?

- Да так...

- Хм... А по-вашему как, кто окажется прав - подпоручик или штабс-капитан?

- Думаю, ни тот, ни другой.

- Вот как? - У Клямина пенсне опять убежало с переносицы к кончику носа, а потом и вовсе свалилось, повисло на шнурке.

Все с удивлением посмотрели на Астапова.

- Интересно, интересно!

Аркадий неторопливо закурил, пригладил волосы.

- Насколько окажусь верен в своих предположениях, утверждать не берусь. Да и кто это может? Однако, сдается мне, время Романовых вышло... Вряд ли дело кончится только дворцовым переворотом. Эхо девятьсот пятого года притихло, но не умолкло совсем. Следом неминуемо грянет революция. Судя по всему, царь Николай - последний русский император. Россия не пожелает больше монархии.

Все озадаченно молчали. У Клямина снова скользнуло вниз по носу пенсне, готовое повиснуть на шнурке. Подпоручик Ямбович сосредоточенно потирал глаз, будто в него попала соринка, и, на удивление, тоже молчал. У штабс-капитана Артемова задержалась на щеке жилка. Елагин сосредоточенно разглаживал несуществующие морщины на мундире. И остальные офицеры были тоже заняты кто чем, шокированные словами Астапова.

Артемов хмыкнул, скривил губы и поднялся, собираясь уходить. Усмехнулся нехорошо, жестко глядя на своего одноклассника по юнкерскому училищу.

- Кажется, вы стали революционером, Аркадий Николаевич? Поздравляю...

- Вы ошибаетесь, штабс-капитан, - не отвел глаз Астапов. - Я такой же офицер, как и вы.

Артемов больше не произнес ни слова, ушел, демонстративно хлопнув дверью. Ямбович тоже поднялся, надел шинель, уже у двери тихо и серьезно сказал:

- Поживем - увидим... Доброй ночи, господа...

Следом потихоньку разошлись по своим ротам и другие офицеры.

Оставшись вдвоем, Клямин и Костенко раскинули карты и стали играть в дурака, запивая каждую партию рюмкой водки.

Клямин все приговаривал: «Поживем - увидим...». Потом замурлыкал какой-то мотив, похожий на скрип плохо смазанных дверных петель. Костенко кричал, но не подпевал, был расстроен, так как все время оставался дураком.

ГЛАВА 5

Из Ставки поступило сообщение: в Петрограде беспорядки, образован Временный комитет Государственной думы.

Брусилов ждал дополнительных сообщений или указаний.

Радоваться этому или огорчаться? Пока что рано делать какие бы то ни было выводы, но ясно одно: назревший абсцесс прорвался, и за этим последует выздоровление или... Хотелось верить в выздоровление.

- Ваше высокопревосходительство, на прямом проводе Ставка, начальник Генерального штаба Алексеев, - доложил адъютант.

- Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Мы уже информировали вас о свершившемся в Петрограде. Революция. Временный комитет потребовал отречения государя от престола. Заявил: в случае его отказа предпримет все меры для

прекращения снабжения армии продовольствием и боеприпасами.

- Это равносильно катастрофе. Мой фронт не имеет практически никаких запасов. Вероятно, на других фронтах положение не лучше.

- В создавшейся ситуации Ставка считает необходимым согласиться с требованием Временного комитета и убедить государя отречься от престола. Это единственный выход, только таким образом еще возможно спасти Россию.

- Что государь?

- С этой просьбой к нему еще не обращались. Считаю, что цель была достигнута, главнокомандующие фронтами, в свою очередь, должны тоже телеграфировать царю просьбу об отречении. И если вы поддерживаете эту необходимую и крайнюю меру, убедительно прошу телеграфировать немедленно. Время не терпит, дорог каждый час.

- Считаю эту меру совершенно необходимой. Вашу просьбу исполню немедленно.

Закономерный и в то же время столь неожиданный поворот событий. Революция стала свершившимся фактом. Как прореагирует царь? Никакой реальной властью он уже не обладает. Следовательно, самое разумное решение с его стороны - подчиниться. Временный комитет... Итак, конец монархии?

Вспомнилось, как на одном из совещаний в Ставке царь поранил палец игольчатым флажком. Такими флажками на карте отмечают стратегическое положение войск. Кровь закапала, прочертив на карте прерывистый красный след... До боли в сердце сейчас стало жаль этого неулыбчивого, с грустными глазами человека, по сути, совершенно одинокого и с такой несчастливой судьбой.

От имени Государственной думы прислал телеграмму Родзянко - с аналогичной просьбой, что и начальник Генштаба Алексеев.

Брусилов ответил:

- Свой долг перед Родиной и царем я выполняю до конца и поступаю так, как велит мне совесть русского человека, любящего свое Отечество. Телеграмма царю уже послана.

Родзянко поблагодарил и добавил, что Россия никогда не забудет поступка мужественного генерала, героя прорыва в Галиции.

Брусилов усмехнулся, его меньше всего заботило это.

Оставалось ждать, какое окончательное решение примет царь. Собственно, выбора у него уже не оставалось.

И вот сообщение: царь Николай II подписал отречение от престола. За себя и за наследника. Объявил преемником своего брата Михаила Александровича.

Тот, подумав сутки, в свою очередь отрекся.

Трехсотлетнее царствование дома Романовых кончилось.

ГЛАВА 6

Словно резкая линия прочертила сознание Нефадея, разделяя жизнь на ту, что была и осталась там, в Подгорье, и другую, которая еще ждала, туманилась неопределенностью, - в тот самый момент, когда он последний раз со скифского кургана окинул взором родное село, притихшее в глубоких снегах.

Хлестко стегануло в груди - доведется ли снова увидеть эти снега, сизо-синие дымы над хатами, высокое холодное небо и такое же холодное, хоть и яркое, солнце, не охмаренное зимней тучкой, висящее низко над самым холмом, на склоне которого начинался Канцедалов лес, взбегавший дальше, на вершину, где обрывался серой полосой у самого горизонта.

Доведется ли...

Простуженно отдувающийся паровоз, теплушки, удар колокола, громыхнули буфера, поплыл назад вокзал, быстрее, быстрее вагоны, все чаще перестук колес - и как ватный туман опустился. Безразличие, вялость, будто только что со сна. Ко всему безразличие. И к себе тоже.

Бежит, бежит мимо белая земля, села, хутора, города, перелески, грохот мостов, бесконечные нити проводов на крестах телеграфных столбов. День-ночь, день-ночь - все дальше и дальше на запад, с длинными остановками на затемненных тупиках станций. Долго ли стоять, куда везут - не спрашивай. Теперь не принадлежишь себе.

День Нефадей проводил у маленького оконца теплушки.

И все притихли, не хорохорятся, когда грудь нараспашку, все нипочем, как в первый день, когда хмель еще дурманится в голове. Разговоры вполголоса, шепотом, будто покойник рядом.

Как ни забивали соломой, тряпьем щели, ветер свистит, находит дырки, от железной печки тепла на метр от нее, дальше - пар изо рта.

И все ж не холод донимает. Гнетет оторванных от дома хлопцев - в каждой теплушке их по полсотни напихано - тревожная неизвестность. Война. Она была где-то далеко. Теперь увидят ее и они. На войне убивают...

Нефадей поразила: до чего ж большая земля... Сколько ж их на свете - сел, городов, людей...

И ощущение: ты - махонькая крошка, пылинка, ты ничто, вот не станет тебя, и ничего не изменится, никто и не заметит, что тебя нет. Кому ты нужен, и вообще - для чего ты? Только свои поплачут, погорюют, свечку поставят в церкви. Потом все забудется. Все забывается... Будто и не было тебя. Придет весна, потом лето, потом осень, опять зима... И опять, и опять. А тебя уже нет. Давно нет. И до меня было, и без меня будет. Просто и... грустно.

В запасном батальоне Нефадей старался держаться неприметно, на глаза не лез, командам, самым диким, повиновался безропотно, не давая повода для придинок, например, штабс-капитана Задрыгаило, у которого самым приличным словом для солдат было - скотина. Внутри же все кипело - его считают скотиной! - и он сцепливал зубы, с трудом удерживая себя от безрассудного шага - хряснуть кулаком по этой харе, хозяйин которой, видать, и не знает, что такое человеческая жалость.

Дни - будто во сне. Все куда-то пропало, выпало из сознания. Вяло, лениво, гулкая пустота в голове, а на душе - серо и мутно. И вдруг, казалось бы, ни с того ни с сего, подступится к горлу, как приступ тошноты, заклокочется непонятная злоба, спазмой перехватывая дыхание, а сердце гремит на весь белый свет. Рвать, бежать, орать во все горло - волчий позыв. Потом резкой волной спад, голова гудит, муторно, ломит виски.

Не вспомнить лица Ани. Бледное пятно, желтое, дрожащее, как огонек свечки, - все. И картинка. Платье развеивается на ветру, обняло Анины ноги, бежит, бежит Аня с холма вниз, он обогнал, руки ей навстречу, вот она влетела прямо в руки, близко-близко, сердце гулко - тук-тук, волосы пахнут необыкновенно, хмельным запахом, вот они касаются щеки, голос нежный... Ясно, четко, будто вот сейчас все и было. А вот лицо - нет, ускользает, тают, ускользают из воображения милые, дорогие черты. Нет лица. Куда оно делось? Зачем спряталось?

Последний раз, поколебавшись, черкнул всего несколько слов: забирают на войну. Пусть знает, теперь писать ей некуда. Хватит. Ни к чему. У нее там какой-то поручик. Офицер, белая кость. Все так и должно быть. Каждый сверчок должен точно знать свой шесток. А слова ее в письмах - чернила на бумаге, только и всего.

Ночами мельтешили во сне знакомые лица, отец снился, мать, Груня, Ванюшка. Тот протягивал руки, смотрел снизу на Нефадея ждущими глазенками и спрашивал: «Братка, ты привез гостинчик, как обещал?»

Ванюшка, Ванюшка... Погладить бы тебя по волосенкам пушистеньким, подхватить, подбросить до потолка, а ты бы залился, защебетал от страха и удовольствия, зажмурил глаза...

Являлась Лизавета, горячая, верткая, жарко дышала в губы, и Нефадей шарил руками, не просыпаясь, стараясь притянуть Лизу к себе поближе. Она дразнила его, увертывалась. Пружинилось, изнемогало во сне Нефадеevo тело...

Виделась Шура Корнеева, они на ярмарке, трогал ее округлый живот, бесстыдно, обеими руками, как дыню ощупывал, Шура позволяла, спрашивал удивленно: «Уже? Так скоро?» Шура кривила губы и плакала... Черт-те что! Сон, тут такое привидится, и умом не дойдешь никогда, откуда все берется!

Скромно потупив глаза, стояла рядом с ним целомудренная, вся какая-то светящаяся, Таня Собкалова, в церкви, их венчает батюшка, пахнет ладаном, хочется чихнуть, свечки дрожат, тени на иконах шевелятся - приснилось и такое.

«Может, она и есть моя судьба? - трезво подумалось после такого сна. - Если живой вернусь...»

Ишь, все поприснились... девахи... Проведали будто, как я тут. Лизавета, ладно. А вот ты, Шура, зачем? И снись своему Гаврюхе, тут он, рядом. А то и ладно, как сама знаешь, снись, чего уж... После тебя, Лизавета, как дурману напьешься. Не случилось бы тогда с тобой - не так муторно б было.

И опять, то злоба, то тихая тоска.

После запасного батальона, потеряв по пути от германского аэроплана четырех человек, неделю находились в корпусном резерве, верстах в двадцати от фронта, в громадных палатках. Воздух спертый, влажный, густо пропитан удушливо-дохлячьим запахом портянок и прочим духом, исходившим от живых людских тел. От пола - холод, а выше пояса - хоть рубаху скидывай.

- В навоз перепреем тут! - возмущались новобранцы, не нюхавшие еще пороха, озираясь при этом, как бы ненароком не оказался рядом фельдфебель или офицер. - И иде он, тот фронт? Как мышей нас мокрых понапихали тут, в гроб их душу!..

- Погодь, паря. Не порхайся, - остужали усмешливо бывалые, те, кто после ранения прибыл из госпиталя. - Надышишься еще свежачком! Вволю. Вспомнишь еще эту палатку, раем покажется.

Дыхание фронта. Рядом он, близко, в каких-то двадцати верстах. Не очень-то рвутся туда те, кто по второму разу идет. А по Нефадею так нет, лучше уж скорей, сразу, чем дышать вонючими портянками и пронзительным, от которого с души воротит, духом, какой раз за разом, то тут, то там, с переборами расстроенной гармошки высвобождается из человеческого нутра.

- У свиней в хлеву и то приглядней дышать!

- Зато благодать! Живой, здоровый! Чего тебе еще надо? Кабы всю войну так провоевать! Капуста зеленая. Не хлебали еще...

Здесь, в резерве, всю неделю их действительно не трогали. Валялись на нарах, сбитых из жердей, выскакивали из палаток лишь по нужде, мороз жал собачий.

Потом резко наступила оттепель, вместе с ней кончилось и палаточное житье. Резерв разбили на команды, для пополнения частей, находившихся на позициях.

- Ну, братва, держаться вместе! - собрал всех подгорьевских Митька Суров. - А то, не дай Бог, пораскидают нас.

Как ни старались, ни кучковались, такое произошло.

В один полк попали Нефадей, Митька Суров, Кротов, Кондратюк и еще двое своих - Алешка Дорожкин и Сыпко Мирон. Остальных подгорьевских отписали по другим полкам, кое-кто попал даже в другую дивизию.

Не успели как следует и попрощаться друг с другом. Быстрое построение и - кто куда.

Не думалось в эту минуту, что с некоторыми своими сверстниками Нефадею уже не доведется увидаться никогда.

ГЛАВА 7

- Царя скинули! Царя скинули!

Полк взбудоражен необычайной вестью, прилетевшей из Петрограда.

- Сковырнулся Николашка!

- Попил кровушки... помазанник...

- Чего, дуралей, радуешься, будто рупь нашел!

Гудит полк.

Среди большинства офицеров растерянность, смятение. Резко почувствовалось их отношение к солдатам. Одни не скрывали своей неприязни, брезгливость на лицах, другие приниженно заискивали, кое-кто втихую исчез, боясь замитинговавших солдат. Немало и таких, глядя на которых можно было с уверенностью заключить: весть о низложении царя они восприняли с удовлетворением.

Командир полка полковник Брюн был обескуражен вестью. Как повести себя, решительно не знал, старое поломалось, рухнуло враз, со страшной неожиданностью. Хотя злой рок буквально витал, особенно после убийства Распутина, новое - как с ним быть? Уединился и приказал к себе никого не пускать. Никаких указаний свыше, какие же действия предпринимать? Выжидал.

- Скинули Николашку! Скинули! - вновь и вновь.

Здесь и ликование, и доля неуверенности - так ли? Вдруг ошибка! Тогда... Уж тогда отыграется офицерье! Ишь, при- тихли, затаились.

Но нет, не ошибка, весь фронт кипит, бурлит, ждет - что ж теперь, что завтра. Пока - сногшибательная новость, от которой распирает грудь ожиданием скорых перемен, возбуждает, вихрит мысли, сон не сон, в один глаз, все натянуто струной. Видано ли! Без царя!

Всеобщая эйфория опьянения от невиданных событий.

Не думается, каким же будет похмелье.

Жадно пьет солдат хмельную для него новость, натерпелся, навоевался до печенок под государевым флагом. Теперь красный флаг, никаких когтястых орлов. А на груди - бант, тоже красный.

Как же без царя? Теперь что ж? - недоумение, удивление.

- А так! Нету его! Весь вышел. Мы сами терепича себе цари! Гы-гы, го-го! - бесшабашный оскал.

- И что ж будет?

- А то и будет! Без царя будет!

Кто действительно знает, что будет?

Что-то да будет.

- Сказывали, и войне конец. Домой отпустят.

- Ага! Отпустят! Воевать кто же будет?

- И войне конец, а как же! Хватит, навоевались под завязку!

- Из дома давно что-то не пишут... Революция, значит... Ох, страшновато чего-то!..

- Не бойсь! Будешь скоро дома. Поди, бабу сейчас живьем бы слопал, хе-хе...

- А немец?

- Немец? Ему, думаешь, охота воевать? Такой же мужик.

И он домой.

- Ой-ей-ей... Что будет... Что будет...

Разговоры, разговоры, пересуды, споры до хрипоты, кто во что горазд, ничегошеньки пока не ясно.

- Деша из Питера! На митинг! Все на митинг!

Полковник Брюн наконец выполз из своей берлоги.

Стараясь держать на лице маску спокойствия и уверенности, с внутренним клокотавшим раздражением оглядел выстроившийся на митинг полк.

Стоят... В расхристанных шинелях, шеренги ломаные, на рожах прямо-таки намалевана вызывающая наглость: все ни-почем! Теперь не возьмешь нас за рупь двадцать!

И это его полк! Спаси и помилуй! Ни намека на дисциплину!.. Собрались, как на базар. «Бараны безмозглые!»

У офицеров пришибленный вид.

«Господи, быстрее пронеси смутное время...»

Полковник энергично поднял руку. Шум стих, полк при-готовился внимать речи своего командира.

- Граждане солдаты! - стараясь как можно громче, вы-крикнул Брюн и эффектно выбросил перед собой руку. - Дру-зья мои боевые! - Голос дрогнул. Полковник почувствовал, что взял высоко и сейчас сорвет голос. Прокашлялся, сделал паузу. - Родная матушка-Россия переживает великие време-на, перемены! - Да, вот такой тон годится, голос звучит сво-бодно, в горле уже не першит. - Государь-император отрекся от престола.

- Урр-ра-ааа! - неистово заорали глотки, вверх полетели шапки.

«Подлецы!»

Брюн будто растерялся на миг, скользнул колючим взгля-дом по стоящим рядом офицерам. Те переминались с ноги на ногу. Нервно дернулось левое веко. Полковник опять требова-тельно поднял руку, помахал, пережидая выкрики.

«Быдло!»

- Власть в Петрограде взяло Временное правительство. Армия признала новую власть.

Брюн избегал произносить слово «революция».

Полк стоял тихо. В этой тишине было что-то пугающее.

- Царя больше нет. Но русский народ, вы, солдаты, ар-мия, как были, так и есть, и будет. Да! Она есть, наша армия! И она так же храбро будет сражаться с врагом, защищать свое Отечество. Мы должны победить Германию! Разбить! Иначе - мы не мы! Стыдно нам будет называться русскими!

- Сам-то ты немец! - резануло уши полковника.

Сделал вид, что не услышал.

- К этому нас призывает Временное правительство. Война до победного конца! Так будем же верны новой власти, дав-

шей нам свободу, верны своим союзникам! Наследники Суворова! Не посрамям же чести русского мундира! По-суворовски будем бить супостата германца! Россия всегда верила в своего славного храброго солдата!

Полк угрюмо молчал.

Раздался голос солдата Степанова из батальона подполковника Клямина:

- Вы умолчали о приказе номер один Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Полк желает знать его содержание.

Брюн улыбнулся.

- Разумеется. Я как раз и хотел к этому перейти. Друзья! Да, такой приказ получен. Отныне все граждане России объявляются равными. Вы, солдаты, имеете такие же права, как и любой гражданин. Будь он хоть министром, хоть главнокомандующим.

- Ого! А кто же теперь армией командует?

- Новым Верховным Главнокомандующим назначен генерал Алексеев, бывший начальник Генерального штаба.

- То ж да по тому ж. С царем, небось, «вась-вась», а его еще выше вознесли. Как же так?

- Временное правительство сочло нужным. А мы, солдаты, должны выполнять приказы и подчиняться власти.

- Чего ж оно так, Временное правительство? Свобода, свобода, понимаешь! А само! Где ж она, та свобода? А?

- Я начал о приказе Петроградского Совета... Так что прошу терпения, не перебивать, обо всем по порядку. А то каша получается. - Доверительно: - Договорились?

- Давай, вали! - выдохнули сотни глоток.

- Как я уже сказал, все граждане России и вы, солдаты, объявляются равноправными. Нижние чины отменяются. Да-да! Офицерские титулы отменяются. Нет больше «ваше благородие», «ваше высокоблагородие» и тому подобного. Есть «господин поручик», «господин полковник», «господин генерал». Солдат при встрече с офицером теперь не становится во фронт, отдавая честь. Офицер должен обращаться к солдату на «вы».

Шум, задвигались шеренги.

- А как насчет такого? Он тебе в харю, а я ему: ах, нехорошо, господин поручик, мне больно! Раз мы равны, так чего ж и я ему не могу поднести кулак к носу?

Довольное рыготание.

- Тихо! - крикнул Степанов. - Послушаем господина полковника дальше.

Полковника в который раз перебили, он побагровел, ослабил ворот мундира, голос же оставался бодрым, спокойным.

- Телесные наказания отменяются! - провозгласил торжественно.

- Ну, теперь - шалишь, фельдфебель! Обломаем!

- Офицерам запрещается бесплатно держать денщика.

Только за плату и по согласию.

- Вот это да! Я прям щас в денщики!

- Тихо же! - опять прикрикнул Степанов.

Да разве утерпишь стоять тихо, с залепленным ртом, каждому хочется спросить свое, высказать наболевшее.

- Вот такие свободы даровала новая власть. Поздравляю вас, друзья мои!

- А дальше?

- Что дальше?

- Оно ж Временное. Дальше что?

- А! Понял вас. Временное правительство действительно временное. В самый короткий срок оно намечает подготовить и провести выборы во Всероссийское учредительное собрание. Оно и решит дальнейшую судьбу власти.

Полковник Брюн уже не растерян, как в первые дни после отречения царя. Из штаба корпуса пришел пакет, в нем ясно изложена создавшаяся ситуация и даны конкретные указания к действию.

- Теперь вы свободные солдаты, война теперь ведется не царским правительством, все его министры арестованы, теперь война ведется вами, народом русским. Однако дисциплина в армии должна оставаться железной. Ибо без дисциплины нет и армии. Приказ офицера остается и должен быть законом. Революционная армия Бонапарта была сильна прежде всего дисциплиной. Там будем же дружно служить Отечеству, от солдата до генерала. Перед нами сильный враг.

И только сплоченностью мы можем победить его. И победим непременно! В этом наш солдатский долг перед Отечеством!

Полковник вскинул голову, оглядел полк.

Восторгов нет.

- Выходит, что ж, и дальше война? Так и гнить в окопах? - Зло, с придыхом. И следом - отборное ругательство.

Попробуй, узнай, кто выкрикнул из толпы. Непросто теперь будет удержать в узде это опьяненное революцией скопище «свободных граждан». Брюну сделалось тоскливо, под ребрами ощутился неприятный холодок. А это еще что?!

К середине плаца, вокруг которого выстроились батальоны полка, прямо к полковнику Брюну шел тот самый солдат, что кричал «тихо» во время речи полковника, когда его уж очень перебивали. На ходу поправлял мятую солдатскую папаху. Подошел, издали не сводя пристальных прищуренных глаз с полковника.

- Кто позволил самовольно выйти из строя? - грозно спросил Брюн.

- Спокойно, господин полковник, - предостерегающе поднял руку солдат. Стал рядом с ним, лицом к примолкшим шеренгам. - Как вы сказали, мы теперь все равны, вы сказали свое слово, теперь я скажу.

Брюн чуть не задохнулся от гнева. Рявкнул:

- Арестовать!

Несколько офицеров сделали было движение выполнить приказание командира полка.

По шеренгам прокатился угрожающий рокот.

- Не трожь! Пусть говорит!

Офицеры застыли в нерешительности.

Брюн понял: дразнить толпу, в которую за минуту превратился полк, чревато. Она напружинилась, готова на все. Малейший толчок - сметет и офицеров, и его, командира полка.

- Извольте! - прошипел и отступил назад, поближе к штабным офицерам. Дрожащую руку засунул за отворот шинели.

- Так-то лучше!

- Будя, навластвовался!

- Мурло немецкое!

- А сладко пел, зараза!

В глазах потемнело. Брюн жадно глотнул воздуха, его ему не хватало. Перед этим сбродом показать свою оскорбленность, слабость? Никогда!

Вынул руку из-за отворота шинели, выпрямился и, взглядом не поведя в сторону выкриков, бледный, словно винтовочным стволом, впери́л взгляд в заросший затылок начавшего свою речь окопника.

«Свиньи! Русские свиньи!»

ГЛАВА 8

Лощина, речка, мосток через нее, ряды колючей проволоки, неживая земля и где-то там, впереди, немецкие окопы.

Тихо, ни выстрела. Война?

- Ты что, дурья башка! За бруствер не высовывайся! Вжикнет пуля, сам не услышишь, и нету ее, башки. Понял?

Не страшно, совсем не страшно. Чего страшат?

Нефадей, однако, пригнулся и разглядывал неприятельские позиции уже осторожно, через прорезь в щитке пулемета «максим». Ничего толком не разглядел. Где ж они, те немцы?

- А пушки стреляют? - наивно спросил.

- Пушки? А как же! На то они и пушки.

- А чего ж они сейчас не стреляют?

- Тебя дожидаются. Да вот беда, никто им еще не доложил, что ты уже здесь.

Шутят. Перемигиваются, скалят зубы.

- Ладно вам...

- Эх, парень! Стреляют... Будут тебе еще и пушки, и пулеметы. Мамку вспомнишь, чтоб назад родила, когда артиллерия разгуляется. Откуда?

- Воронежские.

- Хохол воронежский, значит.

- Так...

- Тут, парень, главная наука такая. Голову ниже задницы держи, тогда, авось, и помилует Бог.

Свои, подгорьевские, тоже рядом. Слушают, разинув рты, бывалых. Вертят головами, уже с опаской поглядывают

на бруствер, выше которого таится смерть, в какую пока не верится, кажется им сейчас, что не про них она.

- Выходит, земляки нашего поручика.

- Значит, земляки, - подает голос Суров. Немногословен, глаза серьезные, сосредоточен. - А аэропланы летают?

- И аэропланы летают.

- Когда со станции шли, четверых убило. С аэроплана. Бомбу кинул.

Покивали бывалые - всяко случается. Безразлично, будто о погоде толковал им Митька.

- Повезло вам. Командир роты у нас - человек. Зазя не обидит солдата.

Не успели пообвыкнуться, забурлило вокруг.

Нету больше царя!

Табор будто раскинут, гомон, кто о чем, только уши держи, слушай.

И что же теперь? У всех на устах.

Митинг. Теперь митинг всего полка, не кучки стихийные. Поопустели окопы, осталось боевое охранение. Приказ командиров, а то бы все ушли. Плевать. Не попрут немцы, сами кротами в земле, видать, надолго зарылись.

Сам командир полка вышел с речью.

Славно, красиво говорит полковник.

Все, выходит, правда, не брешут, и он о том же - отрекся царь.

Грянули «ура», бесшабашная радость, шапки вверх.

И в строю подгорьевские ребята - и Нефадей, и Кротов, и Митька Суров, и Алешка Дорожкин с Мироном Сыпко, и Кондратюк Гришка. Свои. И этим все сказано.

Да, повезло им и в полку. Когда выстроили прибывшее пополнение, Кротов воскликнул изумленно:

- Смотрите, хлопцы! - показал на поручика, который вместе с другими офицерами полка принимал пополнение. - Никак нашего учителя сын!

- Точно! - подтвердил Суров.

- Он! - выдохнули остальные.

Приезжал он к отцу в юнкерской форме, теперь вот уже офицер. И надо же такой случай - повстречали здесь. Призна-

ет ли? Ведь толком их и не знал, гораздо старше, они еще сопливились, когда он был уже при погонах.

- Ваше благородие! - попнулся из строя Суров.

Фельдфебель метнул на него свирепый взгляд, готовый низвергнуть на Митьку порцию отборного мата, но осекся, видя, как поручик подошел к солдату и вопросительно вскинул брови.

- Я, ваше благородие, хотел спросить! - выпалил Суров, заволновался, пошел помидорными пятнами.

- Ну-ну, - подбодрил поручик, видя, что солдат растерялся и никак не может начать.

- Того... Ну... - Суров пыжился, тужился и, кажется, научился говорить. Потом нашелся и почти выкрикнул: - Ваше благородие! Вам привет от вашего батюшки!

- Постой, постой! - вытянулось у поручика лицо. - Вы...

- Так точно, ваше благородие! - Митька уже обрел дар речи и опередил вопрос поручика. Отчеканил, весело блестя глазами: - Из Подгорья мы, ваше благородие! Я и они, - показал на рядом стоящих в строю солдат.

Теперь, похоже, от неожиданности растерялся поручик. Смотрел на вытянувшегося во фронт Митьку и все повторял: - Вот так сюрприз! Вот так сюрприз!

Конечно, в лицо он никого не признал, но главное, чему несказанно обрадовался, - их не раскидали по разным батальонам, все шестеро оказались в роте поручика Астапова.

Он расспрашивал о Подгорье. Рассказывал Митька Суров, остальные кивали да поддакивали. У Митьки язык подвешен что надо, ему и слово.

Нефадей всматривался в черты лица поручика, стараясь найти схожесть с его двоюродной сестрой. И не находил. И от этого почему-то чувствовал удовлетворение. Может, оттого, что не хотел, чтоб что-то напоминало Аню? Может, может... Фамилия у поручика Астапов, такую же носит Аня. Но он - ваше благородие. И помнить надо об этом в первую очередь.

Впервые видел Нефадей выстроенный полк. Командир полка понравился, и статью понравился, тем, как начал говорить. А вот некоторые офицеры стоят, как ошипанные курицы.

Поглядел на Астапова, у того непроницаемое лицо. О чем он, интересно, сейчас думает?

Полковник говорил бодро и громко. Всем слышно.

«Государь-император отрекся от престола».

Как это отрекся? Взял и отодвинул его, как табуретку? Отчего ж отрекся?

«Власть в Петрограде взяло Временное правительство. Армия признала новую власть».

Временное правительство представлялось сейчас Нефадею чем-то огромным, округлым, похожим на клубок пряжи, только величиной с дом. И казалось удивительным, как же оно могло взять власть в руки. Ведь у клубка нет же рук? Приплетется же чепуха...

Стало быть, и полковник доволен, что нет царя, раз говорил, мол, армия признала Временное правительство?

Складно у полковника получается. Слово к слову прилеплено. Только мало что понятно Нефадею. Без царя так без царя. Временное так временное. Ему-то какая разница? Воевать так воевать. Для того и винтовку в руки дали. Не стрельнул из нее, правда, еще ни разу. Придет час, выстрелит. А Германию побить - правильно. Русских никто не побивал.

И вдруг выкрик:

- Сам-то ты немец!

Это кто ж осмелился так на полковника? Зачем же на него так!

Чем дальше слушал Нефадей командира полка, которого все чаще перебивали выкриками, тем больше терялся, путался мыслями. Поглядел на своих. Земляки тоже стояли, глуповато вылупив глаза. Лишь Митька нетерпеливо перетаптывался и по-гусиному вертел головой по сторонам. По нему видно, вот сейчас и он заорет - что-то свое, лишь бы глотку подрать. Вместе с такими же горлопанам.

Враз изменился полковник. Показался он теперь коршуном, растопырившим хищно крылья, готовым вцепиться когтями в свою жертву и заклевать ее до смерти, когда угрожающе подступил к солдату, смело вышедшему из строя, грозя арестовать его.

За что?

Нефадей дернулся и подался вперед. Увлекаемый общим порывом, гневно рванул глотку:

- Не трожь!

И как-то вскользь, удивленно: еще несколько дней назад не осмелился бы так.

ГЛАВА 9

- Товарищи!

Степанов вскинул вверх полусогнутую, со сжатым кулаком руку, потрясая ею над головой.

Остро почувствовал на затылке чей-то прожигающий взгляд. Не удержался, резко обернулся.

Встретился с глазами полковника Брюна. В них явственное: «Петля по тебе плачет, мерзавец!»

Брюн внутренним чутьем определил - этот солдат с пронзительным прищуром не простая серая мышь - опасный враг, и он намного опасней врага, затаившегося за нейтральной полосой. Маленький червь точит яблоко изнутри, и оно, большое, налитое, падает в конце концов, бессильное перед его направленной, настырной работой.

- Товарищи! - снова вскинул руку Степанов. И уже больше не оборачивался. - Чаша народного гнева переполнилась! Он грозно выплеснулся и смел кровожадного царя! Который безжалостно проливал нашу кровь, посылая нас, как скот, на убой. В девятьсот пятом расстрелял собственный народ на Дворцовой площади в Петрограде и на баррикадах Пресни в Москве. Сколько уже убито, сколько крови пролито! Никакой мерой не измерить. Ради чего мы гибнем сейчас, здесь? Война нужна капиталистам, помещикам, всем эксплуататорам трудового народа. Они наживаются на ней, набивают себе карманы. А вам она нужна? Скажите, нужна?

- Сыты! Хватит! Кончат войну!

Подполковник Клямин мнет в руке зеленый батистовый платочек, беспрестанно поправляет соскальзывающее пенсне. Подпоручик Ямбович сжал побелевшие губы и смотрит немигающе, будто ослепленный, весь вытянувшийся. Артемов бледен до зелени, его будто тошнит. Искося по-

глядывает на него подпоручик Костенко, крикает и шумно сморкается.

- Правильно! Не нужна она солдату! Навоевался, напроливался крови. Его ждут дома, он там нужен. Не винтовку он хочет держать. Плуг!

- Кто это? - переглядываются...

- Да наш будто.

- Скажи-и!..

- С какого батальона?

- С Кляминского.

- Верно говорит. Правильно!

- Смелый, черт!

- Плачет земля без ваших рук. Дети ваши плачут от голода, холодные, оборванные. Стонут ваши жены, матери слезы льют.

- Домой-й-й-й! - разбредило души.

- Тиран низвергнут! Россия ликует. Командир полка сказал уже вам, что комитет Государственной думы взял всю полноту власти и образовал Временное правительство. Свобода, равенство, братство!

- А с чем ее едят, ту свободу? Что-то не раскушали еще!

- Вот именно! - подался на выкрик Степанов. - С чем ее едят? Очень красиво рассказал нам полковник, какие мы теперь все равные. Солдат с генералом может чуть ли не за ручку здороваться. Вот она, мол, свобода. Только что ж выходит? Министр-председатель Временного правительства князь Львов сразу же заявил: «Война до победного конца!». Вот так. А мы заявляем: нам нужен немедленный мир с Германией!

- Правильно! Давно пора! Набрядло! Напогибались!

- Кто это «мы»? - после шума язвительно выкрикнул штабс-капитан Артемов.

Степанов повернулся в его сторону. Воцарилась пауза, которой немедленно воспользовалась большая серая ворона, с вниманием восседавшая на ближнем дереве. Каркнула во все воронье горло, повторила и, считая свое дело выполненным, снялась с ветки и довольная, что привлекла внимание целого полка, сделала над ним круг и улетела в сторону неприятеля, будто собиралась рассказать там о том, что происходит на рус-

ской стороне. Ворону проводил глазами весь полк, и, пока она не скрылась из виду, никто не выкрикнул ни единого слова. Потом все опять обратили внимание и взоры на Степанова, который уже отвернулся от штабс-капитана и оглядывал батальоны.

- Кто мы? - Степанов опять сделал паузу. - Отвечу. Большевики! Мы требуем мира! Немедленно, без аннексий и контрибуций!

- Ишь, слова-то какие мудреные! Сроду не слышал. Больно уж заковыристые да непонятные! Головастый!

- А чего тебе их понимать? Конец войне, мир. Чего тебе еще? Ясней ясного.

- Так-то оно так... Без контрибуциев, значит.

- Петроградский совет поддерживает Временное правительство, заодно с ним. Там засели соглашатели. Им чужды интересы народа. Потому и выступают за войну до победного конца. Большевики против продолжения войны, против напрасного кровопролития. И будут всеми силами бороться за ее окончание, за заключение мира. Временное правительство поддерживает капиталистов и помещиков. Оно само состоит из них. Царя убрали, но те, кто вершил властью, остались на своих местах. Так чем же, спрашивается, Временное правительство отличается от царского? Революция грянула не для того, чтобы над народом вновь властвовали эксплуататоры! Это лишь начало борьбы за свободу, сделан лишь первый шаг. Власть должна быть народной, народ пусть правит страной, навечно станет ее истинным хозяином. Да здравствует власть пролетариата, крестьян и солдат!

- Ур-ра! Ур-ра!

Нет уже строя. Перемешался полк, бурливая толпа.

- Силен... Умеет, бестия, нажимать на болевые точки, - процедил штабс-капитан Артемов, ни к кому конкретно не обращаясь. - Не отнимешь... Не отнимешь...

Часть офицеров, среди них и полковник Брюн, демонстративно покинули митинг.

- Временное правительство хочет созвать Учредительное собрание. Протолкнет туда своих представителей. С мнением

народа не посчитаются. Постараются укрепить свою власть. Эксплуататорскую власть! Не бывает этому!

- Не бывает! - ахнула толпа, совершенно не представляя, что такое Учредительное собрание и с чем его едят.

- Командир полка умолчал о части приказа Петроградского Совета. Умышленно умолчал. Почему? Сейчас скажу. Отныне в каждом полку создаются полковые солдатские комитеты. Их выбирают сами солдаты. И теперь без согласования с солдатским комитетом командование не может предпринимать каких-либо действий, в том числе и боевых. В других полках такие комитеты уже созданы. Сегодня и нам надо избрать свой комитет.

- А насчет земли чего слыхать?

- Большевики за то, чтобы взять землю у помещиков, без всякого выкупа, и раздать ее бесплатно крестьянам, истинным хозяевам.

- А Временное что ж?

- Временное? Разве могут сами помещики и капиталисты добровольно отдать награбленные у народа богатства? Землю - крестьянам! Фабрики и заводы - рабочим!

- Со жратвой теперича как? Получшает?

- На отдых когда отведут? Запаршивели, как поросята.

- Обувка развалилась, портянок нету!

- Так скоро домой? Али как?

Вопросы, вопросы... Наболевшее, накипевшее...

Весь день митинговал полк.

В полковой солдатский комитет, ругаясь и споря до хрипоты, избрали тринадцать человек - десять солдат и трех офицеров. В том числе Степанова, Усачева, фельдфебеля Занько, подпоручика Костенко, поручика Астапова и прапорщика Ганевского - из полковой команды разведчиков.

- Они ж офицеры! А комитет-то солдатский! - повозмуцались, нашлись такие.

Степанов разъяснил:

- Это не имеет значения. В комитет могут входить и офицеры. Те, за кого проголосуют солдаты.

Председателем комитета стал Степанов.

- Теперь он у нас вроде как с полковником равный!

Штабс-капитан Артемов перестал здороваться с Астаповым.

- Ах, Аркадий Николаевич! - поудивлялся командир батальона подполковник Клямин. - Вы с Костенко и впрямь революционеры! - Но какого-либо отчуждения с его стороны не ощущалось.

- Поздравляю! - с широченной улыбкой подошел Ямбович к Астапову и Костенко. - Новоиспеченных членов полкового солдатского сената. Дерзайте, дерзайте, господа!

И не понять, что же внутри себя таит он, говоря эти слова, что скрывается за этой улыбкой. Сухое нервное лицо, возбужденно горящие глаза. Что в них истинное? Насмешка?

Костенко учтиво поклонился.

- Благодарим, подпоручик. Знаете, Фалес, между прочим, когда его спросили, что на свете трудно, сказал: «Познать себя». Что легко? Он ответил: «Советовать другому».

- Хм! К чему вы это? - недоуменно вскинул брови Ямбович.

- А еще Фалес сказал: «Не богатей дурными средствами, и пусть никакие толки не отвратят тебя от тех, кто тебе доверился», - невозмутимо добавил Костенко.

Ямбович улыбнулся:

- А Диоген, в свою очередь, говаривал так. Люди соревнуются, кто кого пинком столкнет в канаву, но никто не соревнуется в искусстве быть прекрасным и добрым. Цитирую по памяти, какие-то слова, возможно, упустил, но смысл полностью соответствует, уверяю вас.

- Хорошо сказал Диоген! - так же мило улыбнулся и Костенко. - Его слова мне тоже очень нравятся...

Астапову забавно было смотреть на обоих. Соревнование в изящной словесности с привлечением авторитета древних краснословов. Мило, невинно. Но за сим кроется глубокий смысл, каждый это понял.

На заседании комитета после долгих дебатов было упразднено офицерское собрание полка.

- Ну и ляд с ним! Мы туда и не очень-то, - прокомментировал такой факт подполковник Клямин. - У нас свое собрание. Батальонное.

Штабс-капитан Артемов без вызова явился к командиру полка. Начал с ходу:

- Дожились! Офицерское собрание ликвидировали! Умники! Клуб организовали, пожалуйста! Книг натащили, читальню устроили! Солдатскую столовую собираются открыть! Курорт! Де-мо-кра-тия!

- Вы зачем изволили явиться, штабс-капитан? - угрюмо спросил Брюн.

- Чтоб сказать вам несколько слов... господин полковник, - на последних словах сделав нажим, уже спокойней отвечал штабс-капитан.

- Гм! - Брюн поигрывал цепочкой от часов. - Что ж, говорите.

- Так не должно быть дальше. Анархия, развал. Осмеюсь заявить, вы неправильно вели себя на митинге. Ретировались, тем самым дав полную волю разнузданности, невольно подтвердив перед солдатней правоту этого большевика Степанова. Следовало выступить еще раз, сбить его, не дать разгула словоблудию, переломить настроение солдат. Вы этого не сделали. И в этом ваша ошибка. Исправить ее трудно, но еще не поздно. Надо действовать. И немедленно. Иначе полк окончательно превратится в балаганный табор.

Брюн выслушал, не перебивал.

Штабс-капитан затронул больное. Полковник и сам понимал, его уход с митинга оказался на руку Степанову, явная ошибка. Непозволительно поддался эмоциям, и в результате полк оказался полностью под влиянием комитетчиков. Но поучать? И кто? - Штабс-капитан! Молокосос!

- Все?

- Все.

- Понял вас. Как понял и то, штабс-капитан, что дальше своего носа вы ничего не видите. И впредь попрошу без вызова не являться. Вы свободны!

Выходя из штаба, Артемов оскорбленно чертыхнулся. Полковник услышал, криво усмехнулся.

- Ваше благородие! Чего ж это такое? Босиком, почитай, ходим! Сапоги развалились и каши уже не просят, потому как от подметок одни ошманделки остались. Новые когда ж

выдадут? - пристают к командиру батальона солдаты. Раньше, при старом режиме, не посмели бы так. Теперь же - свобода.

Клямин разводит руками.

- Не знаю, что вам и сказать, голубчики! Я теперь так, номинально командую батальоном. Всеми делами вершит комитет. Вы уж, голубчики, туда обратитесь.

Недовольные солдаты матерятся. Власти всякой поразвелось много, а толку никакого, ни от кого ничего не добьешься.

Сидят, гадают в окопах - когда же домой. Но что-то не слышать ни про какое замирение. Мысли будоражатся. А ну-ка, если - кидь винтовку! - и айда домой! Гуртом, скопом. Всех-то не арестуют. Полком, дивизией, всей армией домой! Пускай воют, кому охота.

Мысли есть, горячечные, порывистые. Нет действия - страшновато. Не страх, именно - страшновато. Плод в завязи, он еще не созрел.

Слава Богу, германец сидит, не лезет на рожон.

И - тьфу! Затишье скоро кончилось. Германская артиллерия каждодневно методично, по квадратам, стала обстреливать русские позиции.

Убитые, раненые...

- И своего б Вильгельма по шапке! И тоже б домой! У, немчура!.. - грозили кулаками в сторону противника.

Русские пушки отвечали. Артиллерийская перепалка выматывала, давила на психику.

Седьмого марта Петроградский Совет разослал по фронтам разъяснение по поводу своего приказа от первого марта. Он, мол, касался только войск Петроградского военного округа и не распространялся на другие войска. Кроме того, военный и морской министр Временного правительства Гучков отменил его.

Поздно. Приказ сыграл свою роль. И далеко не в пользу его создателей. Обратного хода уже не было. Солдатские комитеты были уже созданы повсеместно и активно действовали. Революционное брожение армий фронтов с каждым днем усиливалось.

- Ничего не поделаешь, пришлось прицепить эту мерзость, - трогая красный бант на груди, говорил полковник Брюн жене, приехавшей на фронт навестить мужа. - Хотя ты, дорогая, расскажи, что там в Питере на самом деле?

ГЛАВА 10

Город - просыпающийся вулкан перед землетрясением. Тяжело задышал, заворочался.

Ставни нижних этажей домов прикрыты и днем. Осторожные обыватели поглядывают на улицу сквозь щелки и крестятся.

Ползут, растекаются по Петрограду зловецкие слухи о темных делах в Зимнем дворце.

Правительство в яростной перепалке с Государственной думой по продовольственному вопросу.

Между тем на улицах все больше народу. Длинные хвосты очередей у продовольственных лавок негодующе гудят, превращаются в стихийные митинги.

Шныряют гимназисты, открыто, с вызовом курят, небрежно закусив в зубах папиросы. С заговорщицким видом толкаются в людных местах бледные худые студенты в кургузых шинелишках, бросая многозначительные реплики направо и налево, вступают в разговоры случайных людей. Тут и там мелькают горящие щеки курсисток, изнемогающих от желания действовать - сейчас, немедленно, смутно представляя, каким же оно должно быть - действие.

- Гибнет матушка-Россия! - ни к кому конкретно не обращаясь, возглашает господин с дряблым толстым лицом, потрясая тростью. Тяжелая енотовая шуба до пят давит, и он нервно встряхивает плечами, при этом выгибая спину, точно лошадь, пытающаяся сбросить неудобного седока. - Все пропались! Фронт гибнет, тыл гибнет! Скоро и тут все опухнем от голода. Страшный мор ползет на Русь!

- То-то и видно, как ты опух! - гундосо бросает ему в ухо молодой небритый мужчина, обмотанный шарфом под самый нос. Не то бывший студент, не то выставленный за дверь приказчик. Хлестко шлепает ладонью по тугому животу господина.

- Как вы смеете! - взвизгивает тот.

- Ага! Сдохнет! Как же! - кричат злые бабы из очереди, огибающей угол дома и ныряющей в полуподвал хлебной лавки. Лавка закрыта. Хлеба нет. Ждут. - От заворота кишок! Вон они у него как выперли из пуза, бедного!

- Жиром заросли!

И совсем палаческое:

- На сковородку бы его, борова! Одно сало потечет.

- Опустит трость! Буржуй! - прошипел через шарф небритый. - Глаз выколю! Набалдашник об твою башку сломаю!

Господин затрясся.

- Паразиты! Наши мужики вшей в окопах кормят, а они жируют, гады. Ишь, харя наетая!

- У меня сын на фронте! - прокричал господин и попытался исчезнуть. Дорогу загородил небритый.

- Офицер? - спросил вкрадчиво.

- Прапорщик! Мальчик добровольцем пошел из университета!

Господин тяжело дышал. И боялся, озираясь.

- Ясно! - Небритый торжествуяще поднял кверху палец. - Офицерик! Все они сволочи!

- А ты не сволочь! Не сволочь! - вдруг накинулись на него женщины, чего небритый никак не ожидал. - Рассволочился! Сам-то чего не на фронте, здесь отираешься? По карманам, небось, шастаешь! А ну катись отсюда!

Рядом стоит гимназист, сквозь зубы сплевывает под ноги. Он готов исподтишка ткнуть кулаком и потом удрать. В кого - гимназист пока не решил. Переводил взгляд с толстощекого господина на небритого и все никак не мог выбрать.

Господин под шумок стаял. Небритый зло размотал шарф, освобождая рот и пятясь боком от очереди, процедил:

- Паа-скуу-ды...

Гимназист раздосадованно цыркнул струйкой слюны в сторону струсившего небритого и пошел по улице дальше. Искать новых приключений.

Поодаль стоял городской, все видел, в другой раз оказался бы тут как тут, сейчас отвернулся.

Ошалело носятся по улицам извозчики, словно пьяные. Им все нипочем.

- Эгей! Берегись! - кричат. - Берегись!

Им ведомо то, чего и слухом не слыхивали другие. Всяких возят, повидали седоков, понаслушались всяких речей.

- Собаки! - ругаются вслед обыватели, обляпанные снежной, с конским навозом, жижей.

У всех предчувствие.

В церквях и то сплошное шушуканье. Новостей да слухов - голову аж ломит. Тут молитва не молитва, быстрее поделиться.

В Исаакиевский собор наведалься офицер - на предмет ознакомления как с возможной будущей позицией для пулеметов «максим».

- Господь с вами! - вскричали святые отцы. - Как можно! Храм Божий!

- Сейчас все можно, - невозмутимо ответил офицер. - Господь Бог, наоборот, благословит нас на святое дело. - И щелкнул каблуками.

- К царице германский генерал приехал! Тайно. От самого кайзера Вильгельма, - сообщает, понизив голос, своей хозяйке горничная Феня.

- Какие глупости! - поморщившись, говорит княгиня Мария Ильинична Торская. - Где ты наслушалась такой чепухи, Феня?

- Дворник сказывал. К нему его кума приходила, говорила. Она на Невском сама слыхала. Меж собою господа одни так говорили. А она нечаянно услышала. Одетые такие, говорит, не простые, чины, видать, большие.

- Чепуха... Ты, Фенюшка, сейчас, пожалуйста, поменьше выходи на улицу. Непокойно.

- Ладно. А как же к прачке? Сегодня как раз надо идти.

- К прачке сходи. Да будь поосмотрительней.

На заводах обозленные рабочие не боятся, огрызаются на мастеров. Те терпят, примолкли, и тоже злятся. Рабочие в открытую кроют хозяев.

- Кровососы! Погодите же!

В конце февраля Петроградский комитет РСДРП направил на заводы и фабрики своих испытанных товарищей. Особо опытных направили в солдатские казармы. Они должны были открыть глаза солдатам, разоблачить перед ними грабительский характер войны и склонить их на сторону пролетариата и революции.

То же самое сделали эсеры, меньшевики и анархисты.

Дело идет к всеобщей забастовке. По слухам, намечается на 26 февраля.

Командующий Петроградским военным округом генерал Хабалов приказал полкам гарнизона выйти из казарм и занять позиции на городских улицах.

К центру с рабочих окраин Выборгской и Петроградской стороны двинулись демонстрации. Уже организованные. Красные флаги, транспаранты. «Долой царя!», «Долой войну!», «Долой голод!», «Да здравствует революция!».

Толпы демонстрантов захлестнули Невский, обтекают памятник Александру III. На площади, между памятником и Большой северной гостиницей развернутым фронтом войска. Гарцуют конные офицеры.

- Назад! Разойдись! Иначе будем стрелять!

- Долой опричников!

Демонстранты еще тесней. Плечом к плечу.

- Последний раз предупреждаю!

Пауза. Взмах руки старшего офицера. Горн сигнальщика. Вскинуты винтовки. Команда:

- Прямо по толпе - пли!

Хлесткий залп. Сизый дымок над головами солдат. С верхних этажей и карнизов посыпалась штукатурка. Среди демонстрантов никто не упал.

- Канальи!

Взбешенный офицер выхватил у солдата винтовку и стал стрелять в плотную людскую стену.

Исколотое штыками своих же солдат тело офицера в луже крови. Другие офицеры ускакали.

- Братцы! Товарищи! Солдаты с нами!

Сметающий людской вал катится по улицам. Разгромлены полицейские участки. Кто оказал сопротивление - смяли, задавали.

Конные казаки с широкими лампасами на шароварах расступаются. Шашки в ножнах, винтовки за плечами. Во все глаза глядят на людское море.

На Знаменской площади Волынский полк разогнал своих офицеров. Унтер-офицер Кирпичников возглавил восстание полка. Двинулись на Парадную улицу, к казармам. Разбили замки на цейхгаузах, раздали проходящим мимо рабочим отрядам и демонстрантам винтовки.

Весь Петроград вышел на улицы. Город напоминал военный лагерь.

- Да здравствует революция!

Мария Ильинична Торская смотрит в окно. Прижимает трепетные руки к груди. «О, Господи! Где же Инесса!»

Настежь дверь. Дочь на пороге. Возбужденная, покрасневшая, пахнет толпой.

- Мамочка! - Обняла, расцеловала. - Революция!

- Я так волновалась! Стреляют!

- Успокойся, мамочка! Революция, слышишь! Папа дома?

А Виктор?

Нет их дома. Болит сердце Марии Ильиничны за сына и мужа. Светопреставление за окном.

Повлажневшими широкими глазами, приподняв вуальку, взирает из экипажа на плывущую человеческую реку, расцветенную красными флагами и транспарантами, мраморно-лилая Руфина Розенталь-Соколовская. Персиковый румянец на скулах.

- Потрясающе! Чего они хотят? Ах, как красиво... И грозно.

- Поехали! Быстрее! - толкает кучера в плечо ее муж, должностной чиновник Учетно-ссудного банка Персии.

- Погоди, дорогой. Ты только посмотри! Посмотри! Какая грозная красота! Нет, нет, еще минуточку. В этом есть что-то демоническое. Чего они хотят? Куда идут?

Хлесткий звук. Похожий на щелчок хлыста. Только гораздо громче, звонче. Раз-раз-раз...

- Что это? - округлые глаза у Руфины.

- Стреляют! Пошел! Гони! - взревел муж.

- Боже! Боже! - откинулась в страхе на спинку экипажа Руфина, зажмурилась. - Зачем они стреляют?

Генерал Хабалов передал в Ставку шифрованную телеграмму. Беспорядки в столице подавить не удалось. Беспорядки вылились, по существу, в восстание. Тридцатитысячный Петроградский гарнизон почти весь перешел на сторону восставших.

Генерал устало прилег на неприятно скрипнувший пружиной диван, вытянул гудящие ноги. Суставы ныли тупой пульсирующей болью.

А над Петроградом гремело, перекликалось:

- Да здравствует революция!

ГЛАВА 11

- Лаврентий Павлович? Вы?..

Хотя дома никого не было, удивленная Клавдия Петровна назвала ротмистра на «вы».

Его трудно узнать. Очки, черная каракулевая шапка, низко надвинутая на лоб, серое пальто с таким же, как и шапка, черным каракулевым воротником, в руках саквояж.

Клавдия Петровна стояла растерянная и загораживала собой дверь. Ротмистр взял ее за плечи, оттеснил, осторожно, без хлопка, закрыл дверь.

- Дома кто есть? - спросил негромко, почти шепотом.

- Я одна. Аня на дежурстве в госпитале, а Борис... - махнула рукой, не договорив.

Никогда еще Клавдия Петровна не видела ротмистра в цивильном платье. Казалось, он и родился в мундире. Всегда подтянутый, выбритый, свежий, едва уловимо пахнущий дорогим одеколоном. И вдруг эта нелепая гражданская одежда... Она сутулила Благова, куда делась прежняя подтянутость. На щеках серый налет, значит, брился еще вчера.

Благов явно удовлетворен, что дома никого. Сказал:

- Хорошо. Это хорошо.

- Раздевайся.

Лаврентий Павлович расстегнул пальто, но не снял.

- Позволь, я разденусь в твоей комнате.

Они прошли в комнату Клавдии Петровны. Ротмистр выглянул в окно, задвинул шторы, и лишь после этого разделся.

- Не удивляйся. Так надо. Сейчас такое время, сама видишь.

- Да-да, я не удивляюсь, - машинально отвечала Клавдия Петровна.

- Пролетарии и прочая дребедень взбунтовались. Разнесли полицейские участки, жандармерию. Попадись я им, вздернули бы на первом же фонарном столбу. Впрочем, то же самое сделал бы и я, окажись на их месте.

Ей стало невыносимо жалко Лаврентия Павловича. Жалость эта была сродни материнской. Этот близкий ей человек сейчас нуждался в помощи, ее помощи, защите и успокоении. И пришел к ней, именно к ней, зная, что только она способна понять его. Она делает все, что в ее силах, готова на все ради него, чтобы отвести опасность. Даже жертвуя собой.

«Боже! Как он сказал! На первом фонарном столбу... Ужасно!»

Ей сделалось дурно. Но вида не показала.

Принесла заветный графинчик. Благов с жадностью выпил несколько рюмок кряду, не закусывая. Напряжение, кажется, отпустило его.

Клавдия Петровна смотрела выжидающе.

- В Туле мне оставаться нельзя. Иначе не сносить головы. Неизвестно, как долго будет продолжаться эта смута. Остаться здесь нельзя. Я вечером уйду. А пока... Клава, мне некуда сейчас идти. Только здесь, с тобой, я чувствую себя в безопасности. Клава...

Он привлек ее к себе. Она ждала этой ласки, чувства выплеснулись неистово, в то же время ее нестерпимо жгла мысль, что через несколько часов он уйдет. Уйдет в неизвестность, и кто может сказать, когда она увидит его снова.

- И... куда ты? - спросила несмело, боясь, вдруг он догадается, что она готова идти с ним.

- Хм... - помялся он. - Мало ли. Зачем тебе это знать?

Она побледнела.

- Ты не хочешь мне сказать...

- Тебе это совершенно не нужно.

- Не нужно? Как же так... Почему ты со мной...

Он прервал ее.

- Клава, не надо. Оставим. - Благов старался не выказывать раздражения. Увидел выступившие на ее глазах слезы. Ему стало неприятно. Ох уж эта сентиментальность женщин...

- А что же со мной? - посмотрела с мольбой.

- С тобой? - удивился он.

- Ты оставляешь меня одну! Совсем одну... - заплакала.

Он ничего не ответил, сморщился, налил еще рюмку и вышел.

- Я тебя люблю! А ты... - Выпала: - Я с тобой! Возьми меня. Хоть на край света. Иначе я умру. Слышишь! Умру!

Черт знает что! Не хватало ему еще трагикомедии. Взбалмошная баба. Она любит его.

- Не говори глупости, - сказал холодно.

- Я люблю тебя! Люблю! Люблю! - твердила она и била кулаками в подушку, поливая ее слезами. - Ты жестокий человек! Ты хочешь моей смерти! Хочешь, я знаю!

- Успокойся... - Он гладил ее плечи, и в нем поднималась совершенно ненужная - он понимал рассудком, - сострадательная нежность к этой женщине.

Благов никогда не помышлял о женитьбе. Ему было хорошо одному. Женитьба, по его мнению, есть обуза, совершенно излишняя, которую по глупости мужчины взваливают на свои плечи, одураченно называя близость с женщиной, чем, кстати, наделено и все остальное живое на земле, не иначе как любовью. Вздор. Лаврентий Павлович женщинами особо не увлекался, но и не обходился без них. В них была потребность, и он не отказывался от нее. Просто, естественно и разумно.

Клавдия Петровна... Клава... С ней он не месяц и не два. Пожалуй, ни одна женщина не занимала его столь длительное время. Он не спрашивал себя - почему. Его тянуло к ней. Она за все время не надоела ему, желать чего-то другого он и не хотел.

Любит его... Она действительно любит его! Что значит - любит? В ее возрасте... А ее муж? О, кретин! Все знает и лишь глазами хлопает, делает вид, что ничего не происходит. А она? Делить постель с двумя мужчинами и одного из них любить?

Блажь. Но почему он с ней так долго? Любит... Быть может, у него к ней тоже...

Он повернул мокрую от слез Клавдию Петровну на спину и стал жадно целовать.

Она опять онемела от счастья.

Отдышавшись, Благов взглянул на подурневшее от слез ее лицо, и совершенно спокойно, с канцелярской деловитостью, сказал себе: «Кошка. Очаровательная похотливая кошка». Посмеялся, до чего же дикий бред явился ему в голову буквально перед этим. Взглянул на часы:

- Не провожай.

Молча оделся. Клавдия Петровна безмолвно глядела на него. Подошел, поцеловал в щеку. Клавдия Петровна застонала. Скользнул губами по щеке, нашел ее припухшие губы. Крепко сжал безвольные руки.

Уходя, оглянулся. Она лежала с закрытыми глазами и, казалось, не дышала...

Он едва нашел в себе силы преодолеть желание вернуться, упасть перед кроватью на колени и уткнуться лицом ей в грудь и затихнуть так, отринув все остальное на свете.

На цыпочках прошел в прихожую, взял саквояж.

Дверной замок щелкнул. Ротмистр отпрянул от двери, мгновенно перекинул саквояж в левую руку, правую сунул в карман.

Вошел Борис Иванович. Шапка набекрень, верхние пуговицы пальто расстегнуты, шарф выбился. Лицо разрумянилось, глаза раскосо блестят. Явно навеселе. Некоторое время, покачиваясь, неузнаваемо смотрел на Благова. Воскликнул:

- Ба! Господин ротмистр! Собственной персоной! Давненько глаз не казали. - Прислонился к стене, обретя устойчивость. - Вас и не узнать! Загримировались... А где же ваш шикарный жандармский мундир? В саквояж спрятали, позвольте спросить?

Ротмистр молчал, брезгливо глядя на пьяного нотариуса. Бог ты мой... С этой мокрицей столько времени вынужден был вести джентльменские разговоры. И еще в какие-то моменты тот казался даже интересен. Благов пытался распознать сущность этого человека, заглянуть на дно его души.

Пустота! Жаль, в свое время надо было прижать этого болвана. Так прижать, чтобы в штаны наложил от страха. Не стал. Искренне было жаль Клавдию Петровну и Аню - эту славную девочку.

Астапов не унимался.

- Думаете, еще пригодится? Ах, Лаврентий Павлович... Смеееете надеяться... Зря! Выбросьте, советую. Ваша песенка спета!

- Что еще? - с убийственной вежливостью, так, что Астапов передернулся, спросил Благов.

- А больше ничего! - грубо, с вызовом выкрикнул нотариус. - Вижу, бежите? Потому и задрапировались под порядочного субъекта! Вот оно! Грянуло! Пришел час вашего краха! Да, пришел. Где же ваш лоск, жандармский ротмистр? Бойтесь... За свою шкуру каждый боится... Еще как... Особенно вы!

- Вы сколько выпили, Астапов?

- Что-о? - вытаращил тот глаза. - Ах, сколько выпил? Ха! Я бочку могу сейчас выпить, ясно вам? - Вытянул шею и по слогам бросил в лицо Благову: - Ре-во-лю-ция!

- Вы не умеете пить, господин Астапов. Вы просто мерзки. Революционер...

- Вы!.. Вы!.. - поперхнулся тот от негодования, не находя слов.

- Прокашляйтесь, - издевательским тоном сказал ротмистр. - А то задохнетесь. Не дай Бог, революция потеряет такого Робеспьера.

- Вас уже задавили! Вы труп! Поняли? Ходячий труп! Бежите же, бежите... - Угрожающе, брызгая слюной: - Вас все равно найдут! Откопают! За все спросят. За все!

- Вы дур-рак, Астапов.

- Вон!

- Не орите. - Благов предупреждающе шевельнул в кармане рукой. Нотариус не понял этого движения.

- Вон! - затопал ногами.

Дерьмо! Ладно, пусть живет. Здесь нельзя.

- Вы дурак, Астапов, - повторил. - Напрасно радуетесь. Вы будете раздавлены, как гнида. Этой самой революцией, за которую готовы выпить бочку. Ваше счастье, что я сдержался.

Благов вышел, аккуратно притворив за собой дверь.

- Негодяй! - выкрикнул Астапов вслед. - А... Понимаю...

Прощался с этой...

Оскорбление, которое он терпел, которому столько времени открыто, на глазах подвергали его собственная жена и ротмистр, искало выхода, дикая ярость напрочь затмила разум и звала к жестокому и немедленному отмщению. Взыв позвериному, разъяренный, он кинулся в комнату жены.

На улице ротмистр оглянулся на дом Астаповых, подумал: «Пьяный идиот способен вытворить все что угодно». И кольнуло: «А там Клава...». И тут же, отбросив эти мысли прочь, темными переулками быстро зашагал в сторону вокзала.

ГЛАВА 12

- Mamочka... Милая... мамочка...

Аня обнимала ее, гладила распущенные волосы, нежно вела губами по горячему лбу, глазам, щекам, сдерживала слезы и все поправляла одеяло, укрывавшее мать.

Облегчить, унять боль, страдания. В силах - взяла бы часть их на себя, терпела, только бы не видеть такого ужаса

- Тебе не холодно, мамочка? - вглядывалась, содрогаясь, в неузнаваемое лицо матери.

Та вымученно улыбалась страдальческой улыбкой. Приподнималась, порывисто хватала руку дочери, целовала иступленно, роняя на пальцы неудержимые слезы.

На лицо Клавдии Петровны страшно смотреть. На разбитых губах запеклась кровь, из провалов глазниц, залитых сплошной синевой, лихорадочно горят глаза, опухшие щеки в мертвенно-восковой желтизне.

- Аня... Как он меня бил! Как он меня бил... - глотала слезы, запрокидывала голову.

В этот момент Аню пронизывало леденящим страхом, мать становилась похожей на покойницу, лежащую в гробу. Аня обеими руками приподнимала ее голову и не отпускала, содрогаясь от всего того, не укладывающегося в сознании, что произошло в доме в ее отсутствие, когда она дежурила в госпитале.

- Ногами... В живот... В грудь... Чтобы я не кричала, зажал рот рукой. Боже! Боже! Он чуть не задушил меня... Доченька... Доченька... - металась в постели, такая сразу будто стаявшая, маленькая.

- Мамочка! Миленькая!.. Не надо. Успокойся. Ну успокойся... Пожалуйста, прошу тебя...

- Боже, что он со мной сделал!.. Я умру... Аня, прости меня. Прости, доченька...

- Зачем ты так? Мама! Не надо. Не надо... Милая!

- А ведь я когда-то любила его. Бог ты мой! А он... Я для него была ничто. Он был все время занят собой. Женщины. Я старалась... Поверь, я старалась, все делала... И все напрасно. Напрасно! Я была вещью в доме. Это страшно, Аня, быть вещью. Прости меня. Прости... Я не сумела стать хорошей матерью для тебя. Из-за него... Очерствела, холод в моем сердце, ты не знала ласки от меня. Прости... А я тоже хотела жить, Анечка... Не быть вещью. А про тебя забыла. Боже, какая я грешница! Нет-нет, не перебивай меня. Я должна... Все сказать должна... Потом Лаврентий Павлович... Глупая, недалекая женщина. Верила... Сама не знала, во что верила, чему верила. Пресмыкалась, ожидая подачек, маленьких радостей. Нет мне прощенья... А его ненавижу! Он сломал все святое. Через него я стала ящерицей, существом пресмыкающимся.

С открывшейся вдруг потрясающей глубиной Аня поняла сейчас, какую ношу несла мать все эти годы. И отчужденность между ними - они были словно чужие, живя в одном доме, - казалась чьим-то злым наущением, какой-то злобной силой, заполнившей все пространство и время - долгие годы - в их доме. Она сковывала Аню, эта злобная сила, заставляла уходить в себя, отдаляя все больше и больше от родной матери.

Аня запоздало ругала себя сейчас, с отчаянием понимая, что ничего уже изменить нельзя. Ругала, ведь она могла, пусть не тогда, маленькой девочкой, позже, повзрослевшей, попытаться понять мать, сделать шаг навстречу. Без слов, без объяснений, приблизиться сердцем, и тогда бы мама оттаяла, открылась и потянулась к ней. И все было бы так, как должно

быть между матерью и дочерью - близко, радостно, откровенно. Она виновата перед мамой. Ей было тяжело, одиноко. Так же тяжело и одиноко, как было и Ане. А они жили - рядом и далеко. А всего-то шаг. Один шаг! И все было бы по-иному.

Не поздно, ничего еще не поздно!

- Я тебя люблю, мамочка! Сильно люблю! Очень-очень! - старалась выговориться, выплеснуться Аня. - Ты у меня одна, родная! Ты у меня самая-самая! Люблю! Люблю! - не сдерживала своих чувств, давая им волю.

- Доченька... Доченька...

Обе плакали, нерастраченные их чувства выливались сейчас в объятия, слезы.

А мысли горячечные, рвущие сердце.

«Отец... Он мне отец? Я не хочу, не хочу! Он не отец!» Косички, бантики... Он заплетает, любовно, старательно и ласково. Она у него на коленях. У отца... Было же! «Добрый, ласковый папа... Ты умер, ты давно умер, тот мой давний папа. Ну почему? Почему так?!»

- Он дома?

- Нет, мама. Дома никого, кроме нас с тобой.

- Он сразу убежал...

- Спи, спи, мамочка... Я не открою. Никому не открою.

- Иди, Аня.

- Я останусь с тобой. В твоей комнате буду спать.

- Нет-нет. Иди к себе... Спасибо, Аня. Одна хочу...

Тишина.

Сон. Есть ли он, сон?

«Мамочка, мы уйдем. Уедем. Куда-нибудь, далеко-далеко. Нам будет хорошо. Слышишь? Вдвоем, только вдвоем. Никто не нужен. Ты и я. Люди... Жесткие люди...».

«Силы ушли... Я не перенесу... Я старая-старая, мне сто лет. Не нужна... Лаврентий... Кончено. Пусть... Пусть будет так. Я решила...».

...Утром Астапов зашел домой за деловыми бумагами.

- Не-на-ви-жу... - осунувшаяся, повзрослевшая дочь, гневно и тихо.

- Дура... Сопливая дура. Ничего ты не знаешь. Твоя мать потаскуха. Знай!

Воровски, чужим человеком в собственном доме сделал движение к комнате жены. Приоткрыть дверь, в щелку взглянуть, мельком, одним глазом. Необъяснимый закон - содеявшего неодолимо тянет потом узреть содеянное.

- Не смей! Уходи! - властный, негодующий окрик дочери. Поплелся к двери, вышмыгнул трусливой мышкой.

Клавдия Петровна надела новый голубой пеньюар, накинула на плечи цветастую цыганскую шаль, прошла по комнатам.

Полила фикус, с огорчением отметив, что два нижних листка пожелтели и скоро опадут. Сняла в зале со стены портрет Ани, та на выпуске в гимназии, светлая, веселая, обмахнула шалью от пыли. Прошла в прихожую, постояла у двери, прислушалась.

Тихо.

Аня вернется из госпиталя поздно вечером. Времени впереди много, и Клавдия Петровна могла не спешить.

О другом человеке, живущем в доме, она не думала. Он выпал из ее сознания.

Вернулась в свою комнату, поставила портрет дочери на тумбочку у кровати так, чтобы лежа его было хорошо видно. Перестелила сбитую постель, тщательно расправив морщины на простыни. Посидела на краешке, словно боясь ее помять, разглядывая вытянутые на коленях свои белые руки. Потом торопливо встала, надо было что-то сделать. Но что именно, Клавдия Петровна никак не могла уяснить. Оглядывала комнату и увидела недопитый графинчик. Ах, да! Он-то и нужен. Налила рюмку и медленно выпила, не поморщившись, словно воду. Понюхала пустую рюмку, удостоверившись, водку ли выпила. Запаха совершенно не чувствовала.

Закурила, вытащив папиросу из распечатанной пачки, забытой Лаврентием Павловичем. Курила первый раз в жизни, но не закашлялась.

В голове пошел легкий звон.

«Хорошо... Легко и... не страшно».

Бросив недокуренную папиросу в другую рюмку, из которой пил Лаврентий Павлович, подошла к зеркалу, погладила

кончиками пальцев кожу лица. «Ужасно...». Тщательно припудрила синяки под глазами, желтизну по краям и осталась довольна. Лицо изменилось, следов побоев почти не видно, только припухлость осталась. Вздохнула, ее не убрать.

Какой-то детали вроде не хватало. Ну, конечно же! Красная помада освежила запекшиеся губы.

Кажется, все.

Никаких мыслей, только приятный звон в голове.

Налила в рюмку еще, поставила на тумбочку, откинула на постели одеяло. Подушки показались слишком низкими, она взбила их и легла. Так удобно. Полусидя, полулежа.

«Так просто, легко? И я не плачу? Почему я не плачу?»

Полулежала, прикрыв глаза.

Встряхнулась и высыпала в рюмку содержимое бумажного пакетика, который достала из-под матраца. Для верности достала еще пакетик и тоже высыпала. Белый порошок растворился без перемешивания, и Клавдия Петровна этому очень удивилась, она уже собиралась было пойти за ложечкой.

Бросила взгляд на Анин портрет. Но взгляд был отсутствующий, безразличный. Она была уже ТАМ, и ни лица, ни что-либо другое уже не тревожили ее воображение и память. Все отошло, оставило ее.

Ни страха, ни печали, ни удовлетворения. Ничего. Осталось одно только движение, необходимое, завершающее.

Содержимое рюмки показалось безвкусным, и она успела об этом подумать.

Рюмка выпала из руки, скатилась с постели и тонко дзинькнула, упав на пол. Но не разбилась.

ГЛАВА 13

Ноги поджаты под себя, из разреза облегающего атласного халата розовеют округлые, аппетитные колени.

Зоя Снитковская любит сидеть на диване, вот так, ноги под себя, обложившись маленькими подушечками, предаваясь томным грезам о красивой полноценной жизни.

Рядом ссутулился Борис Иванович Астапов. Выпрашивал у Зои рюмочку ликера, водки или, черт с ним, любого питья.

Зося не поддается на уговоры, с ленцой ворчит:

- Ты и так уже глотнул. Фу, как от тебя разит!

Ей не хочется вставать с удобного дивана.

- Что ты понимаешь... Что ты понимаешь... - раскачивается нотариус. - Я ужасно расстроен, страдаю. Я выбит из колеи! - Перестал раскачиваться, потянулся к Зосиным коленям. Она шлепнула его по руке. - Я ж тебе рассказал все! До чего ж ты...

- Ой, ой! Какая я непонятливая! Черствая! Он расстроен. Ах-ах! - Сбросила ноги с дивана, уронив подушечки.

- Не юродствуй! - воскликнул Астапов, поднимая подушечки. - Мне и так тошно!

- Не кричи! Он рассказал... Порядочный мужчина не будет рассказывать о таких гадостях. - Сорвалась с дивана, пошарила в шкафу, раздраженно сунула початую бутылку страдальцу. - Пей! - И смотрела красивой коброй, к которой даже прикоснуться опасно.

«Стерва, однако... Но хороша! Хороша, тварь гремучая!»

Стакана она не дала. Борис Иванович глотнул прямо из бутылки.

Зося заняла опять прежнее место, поудобней подоткнула под себя подушечки. Смотрела на Астапова, презрительно сморщив носик.

В последнее время друг сердца уж чересчур увлекался заглядывать на донышко бутылки, часто забывая о главном, - засыпал быстро, чего ради, собственно, и заявлялся к Снитковской. И стал ужасным сквалыгой. Держал на учете чуть ли не каждый гривенник. О, это Зосю раздражало страшно, больше, чем его преждевременный сон. А когда узнала, - сам похвалился, - что Борис Иванович в порыве высоких патристических чувств пожертвовал целых сто целковых в пользу покалеченных на фронте нижних чинов, вышла из себя вконец, едва не выставив незадачливого жертвователя за дверь. Тот быстро сориентировался и немедленно пожертвовал несколько ассигнаций в пользу их сердечной дружбы.

Ассигнации несколько размягчили ее душу, она отошла, но с каждым днем разочаровывалась все более - Астапов прямо-таки дрожал над своим кошельком. В отместку демон-

стративно повесила гитару на гвоздь. Сколько ни упрашивал Борис Иванович, не брала ее в руки. Ублажать его душу чарующими романсами за здорово живешь - нет дураков. Не поддавалась на мелкие купюры, хотя рука при виде их сама тянулась к гитаре. Ассигнации! Ассигнации, друг мой. А с ними расставаться ему было жалко.

Подумывала все чаще, что их чувственные отношения, основанные на гитарной струне и кое еще на чем, слишком затянулись, толку от них мало, а потому они исчерпали себя, и, следовательно, ничего не остается, как опустить на их пути семафор и зажечь запрещающий красный свет. Впрочем, этот цвет, запрещающий на железной дороге, в Зосиной душе, скорее, напоминал зеленый - проходной.

Одни убытки. Несносный нотариус превращался в скупого рыцаря, к тому же перебивавшего без меры. А корысть и пьяных мужчин Снитковская не терпела всеми фибрами своей молодой души, равно как и тела.

Кто всему прочему, несет всякую ахинею про революцию, на которой помешался.

Вот и сейчас появился. Про революцию молчит, зато стонет, жалуется, как его смертельно оскорбили - собственная жена со своим любовником, жандармским ротмистром. Олух, думает, что возвысился в глазах ее, Зоси, подробно рассказав об избиении жены. Нотариус, интеллигент! Бедная та женщина... Оказывается, рогатик способен на кулаки. Попробовал бы он так с ней, Зосей!

- Пакостно! Здесь невоготу! - Астапов стукнул себя в грудь, глотнув из бутылки еще. - Огнем полыхает! Как меня унижали!.. Сколько лет! - Застонал, заскрежетал зубами.

Зося хмыкнула.

- Кто ж тебя унижал?

- Ты опять смеешься! - рыдающе воскликнул Астапов. Он хотел успокоения, его не было, Зося не давала его, еще и ерничала.

Она поплотней запахнула халат, свернулась калачиком. Надоел. Вчера заночевал у нее, спал на оленьей шкуре у дивана и сегодня, кажется, не собирается домой.

- Кто может понять? Кто?! Мне больно! Тяжко! Тошно!

Он шарил нервными руками по вороту, галстук давил горло.

«Как он обрюзг... Настоящий старик...».

- Да! Я избил ее. Жестоко избил. И не каюсь. Нисколько! Потаскуу-ха... Она терзала, клевала мое сердце. А я терпел. Терпел-ел! В такой момент... Россия поднята на дыбы!

- Пойди умойся и успокойся, - посоветовала Зоя скучным голосом и зевая.

- Нет! Я скажу. Все скажу! Да! Россия поднята на дыбы. Гром, гром грохочет! А я погряз... Нет... Нет... Не надо было и пальцем трогать ее. Плюнуть презренно в бесстыжие глаза и уйти. Достойно. Не снизойдя до слепого гнева. Рукоприкладством еще больше унизил себя. Дочь отвернулась. Но Клавдия вынудила! Слышишь! Она вынудила! Теплая постелька, разнеженная... Наглость! Я мог их застать голыми. Ее жеребец не вышел еще за порог.

«Фу! Сколько помоев выплескивает! - покоробило Зою. - Сам-то не жеребец? Был. Сейчас - безмозглый мерин. Мужчины... Разве может быть таким мужчина! Жеваный хлюпик...»

Куда ж подевались настоящие мужчины, где они? Пусть лепечет. Но когда уйдет? Не-ет, сегодня она отправит его домой. К законной супруге, которую пинал. Ничтожество...

Ей было противно, в то же время забавно сейчас наблюдать за этим хнычущим существом в штанах, которого и язык-то не поворачивался назвать мужчиной.

«Вот тебе и революция, господин нотариус. Царя с престола спихнули, а я тебя выпихну за дверь и больше не пущу».

- Зачем же ты терпел? - грубо оборвала его стенания. - Пикнуть боялся? Поджилки тряслись? Дрожал, что жандарм яйцо всмятку из тебя сделать, если трепыхнешься? Эх, ты... Медуза вы, Борис Иванович.

Он вскипел. Снитковская ковырнула язву, которая и без того нещадно ныла. Взвился:

- И ты! Да ты такая же потаскуха! Хуже! Во сто крат! Продажная шлюха!

Хмель сделал Бориса Ивановича храбрым. Никого и ничего не боялся. За свое оскорбленное достоинство готов постоять перед кем угодно. Оскорблять! Грязная шлюха!

- Думаешь, я не знаю? Как бы не так!.. Что? Присяжный Мануйлов щедрее меня? Сколько берешь с него за визит? В кредит, случаем, не отпускаешь?

- Подлец! Пошел вон из моего дома! - Разъяренной кошкой метнулась Снитковская к двери, схватив со стола на всякий случай стеклянную узкогорлую вазу из цветного стекла. Держала ее, как палицу, указывая на дверь.

Борис Иванович мимолетно пожалел, что дело приняло такой скверный оборот, - он слишком погорячился. Но сейчас же одернул себя, ругнул за слабость, недостойную мужчины. Довольно! Не хватало еще извиняться перед этой бабой с толстыми ляжками, которые она так умело подносит.

Опасливо обошел ее, стоявшую готовым к прыжку чербером, схватил с вешалки одежду и уже через порог открытой двери плюнул в Снитковскую. Та не успела сделать и движения, как он с резвостью юноши оказался на противоположной стороне улицы.

Нотариус Астапов был сейчас храбр, как никогда.

Подлые бабы! Вот кто рушит святые устои общества. Вот где гнилой корень, искусно замаскированный обольстительностью с невинными глазками. Черт бы их побрал! Похоть! Баба, будь хоть трижды царицей, все равно остается бабой. Екатерина, вон, сколько светлых голов изжила! И все из-за того... А эта, последняя? Мужик ей сибирский с немытой рожой приглянулся. Знаем! Твари...

В воспаленном мозгу Бориса Ивановича сейчас толкалось одно - все на свете напасти, от семейного до государственного масштаба, исходят исключительно от женщины. Все остальное - следствие. И никто ему не докажет обратное.

Его колотило. Требовалась разрядка. Иначе, он чувствовал, у него полопаются сосуды в мозгу.

Он был готов хоть сию минуту прыгнуть на поезд и ехать туда, на фронт, где сражаются за Отечество и нет этого подлого племени - баб.

Не совсем устойчивой походкой от дома Снитковской Борис Иванович двинулся к ближайшему кабаку.

Ему вдруг зверски захотелось перекусить, заодно и слегка еще выпить. В ресторан, где зеркала и крутится вычурная публика, идти решительно не хотелось. К чертям собачьим! В самый заурядный кабаk, пропахший табачным дымом и кислыми щами. Это же прекрасно - кислые щи! Да здравствуют кислые щи! Там легче дышится, и никто его не знает. Поближе к простому народу! Подальше от умников.

- Кислых щей, братец! - потребовал у здорового детины, косяя сажень в плечах, одетого в холщовую белую рубаху, подпоясанную красным кушаком. Детица, изогнувшись, вырос перед столом, едва Борис Иванович успел сесть за него. - И гречневой каши с маслом. Есть?

- Имеется-с, - глухим басом, точно в бочку, мгновенно ответил человек. Голубыми, младенческими глазами уставился на барина, ожидая, какой еще последует заказ.

- А редька имеется?

- Так точно-с!

- Тогда принеси и редьки. С постным маслом. Только солить не надо, я сам посолю.

- Слушаю-с!

- Еще ликера принеси.

- Нету-с!

- Эка! Плохо... Тогда пива с раками.

- Пиво есть, раков нету-с!

Борис Иванович огорчился. С удовольствием бы посмаковал клешню. Ну да, конечно, сейчас зима, откуда раки.

- Ну... тогда... Пива не надо. Водочки принеси. Нет, лучше коньяку.

- Слушаю-с! - подобострастно изогнулся еще раз человек. Наклонился, предложил гудящим шепотком: - Имеются куриные гребешки в сметане. Не желаете-с?

Борис Иванович отказался от деликатеса.

- Нет, куриных гребешков не хочу. А сметану вообще не терплю, у меня от нее в животе бурчит. Огурец соленный принеси.

Человек исчез, будто под стол нырнул.

«Славный малый! Истинно русский богатырь! - умилился Борис Иванович. - А бас! Такому б в оперу! Богата все же русская земля!»

Напряжение спадало, Борису Ивановичу здесь нравились, скрипка, на которой играл кудлатый мужик, успокаивала, расслабляла.

Он с аппетитом хлебал обжигающие щи, шумно дуя на ложку, когда за стол присели двое, по виду - мастеравые.

- Позвольте? - вежливо спросили сначала.

- Пожалуйста! - великодушным жестом пригласил Борис Иванович. - Я буду рад.

Мастеравые переглянулись и сели.

Обслужили быстро и их.

- Ну, что же, - сказал Борис Иванович. - Коли оказались за одним столом, позвольте угостить вас. - Налил им коньяку.

Те засмутились, но стаканы взяли.

- Благодарствуем великодушно!

- А вы не смущайтесь меня, не смущайтесь. Попросту, по-русски давайте. Зовут-то вас как?

- Его Филаретом, а меня Никоном.

- Ишь! Имена-то у вас какие! Митрополитские.

- Так уж... - опять вроде как смутились по поводу своих имен.

Оба нравились Борису Ивановичу, чистые, опрятные и, похоже, не горлопаны, какими до сих пор представлялись ему заводские мастеравые. Взгляд у обоих открытый, уважительный.

Засиделись долго. Угощал Борис Иванович понравившихся ему мастеравых щедро. Угощался и сам. Под конец расчувствовался и поведал им печальную историю своей жизни - последних нескольких дней. Мастеравые очень сопереживали Борису Ивановичу, ругали изменщицу-жену и подлую Зосю Снитковскую, и Астапов уверился, что приобрел истинных друзей, таких, с которыми теперь уже не расстанется до самой гробовой доски. Мало ли - мастеравые! Они люди! Душевные, милые, понимающие Бориса Ивановича.

Он обнимал их за плечи, и они его обнимали.

Про революцию и скинутого царя Борис Иванович не вспомнил. Не вспомнили и его новоявленные друзья.

Все вокруг поплыло, детина с красным кушаком казался уже не богатырем, а маленьким, до смешного, человечком.

- А мне, други мои, и идти теперь некуда! - объявил Борис Иванович. - Домой не хочу. Убей, не пойду!

- Борис Иванович! Батюшка! - в один голос воскликнули други. - Плюньте!

- Тьфу! - плюнул тот на скатерть.

- Правильно! Мы пойдем ко мне, - сказал Филарет. - Я живу один, места хватит. Апартаменты не апартаменты, а для вас комната завсегда пожалуйста.

Борис Иванович облобызал благодетеля.

Лучшего и желать не надо! Прекрасно! Он будет жить у Филарета. Добрая душа! В маленькой скромной комнатке и есть кислые щи. Долой роскошь!

...Рано утром в глухом переулке на Бориса Ивановича, уже закоченевшего, с проломленным затылком, в одном нижнем белье, наткнулся дворник.

ГЛАВА 14

В камине, на горке березовых поленьев, пляшут языки пламени, исполняя магический танец огня.

Притягательная загадочная таинственность огня...

Необъяснимой силой приковывает к себе взор, навевая чувство светлой, щемящей грусти, какой-то смутно-тревожной и неопределенной.

В низком кресле, утонув в нем, у камина сидит Инесса. На коленях - раскрытая книга. На страницах ее покойно лежат пальцы расслабленной руки. Голова девушки откинута на спинку кресла, по лицу, освещенному неровным пламенем, блуждают мутные тени... И кажутся они не игрой света пламени, а идущими изнутри, будто являются отзвуками мыслей, владеющих сейчас Инессой. Глаза полуприкрыты, неподвижно устремлены на игру огня, от тени подрагивают ресницы.

Рядом, в таком же кресле, укрыв ноги шотландским пледом, занята вязанием Мария Ильинична.

Она лишь изредка смотрит на спицы, работает на ощупь, искоса бросает короткие взгляды на застывшую, от всего отрешенную дочь, шевелит беззвучно губами, считая петли. Вре-

ментами откладывает вязание и тоже смотрит на огонь. Потом встряхивается, спицы в ее руках снова начинают мелькать, выполняя свои быстрые замысловатые движения.

В углу гостиной, у зашторенного окна, за шахматным столиком склонились Антон Александрович и Виктор. Антон Александрович держит в руках белого слона и перед каждым ходом задумчиво почесывает им бороду. Виктор, уперев большой палец левой руки в переносицу, опустив локоть на стол, перекатывает в зубах давно погасшую папиросу.

Мария Ильинична оглядывается на них, лицо ее добреет, она довольна. Давно уже, вот так у камина, не собиралась вечером вся семья.

Перед этим попили чаю. Горничная Феня, словно уловив настроение барыни, расставила на столе китайский сервиз, доставали который лишь по особо торжественным случаям. И сама Феня выглядела свеженькой, безукоризненно причесанной, в накрахмаленном белоснежном переднике. Простоватое ее лицо стало красивым, ямочки на щеках играли притаенной улыбкой.

- Феня, ты у нас сегодня какая-то необыкновенная, - отметила Инесса, отчего горничная сразу зарделась. - На белокрылую чайку похожая.

Феня и действительно прямо-таки парила у стола.

Моментально угадывала желание своих господ, упреждая малейшее их движение. К примеру, едва Мария Ильинична взглянула на вазу со смородиновым вареньем, которое обожала, как розетка с ним тотчас оказалась возле ее чашки.

- Такое вы скажете, барышня... - смущенно вымолвила Феня, еще пуще полыхнув лицом.

- Уж не влюблена ли ты, часом, Фенюшка? - в тон дочери, с шутливой улыбкой спросила Мария Ильинична. У нее сейчас было умиротворенное настроение.

Феня засмузилась окончательно, не находилась, что и сказать, опустила глаза и покусывала губы.

Выручил молодой барин.

- Будет вам! Совсем в краску вогнали. Вот плеснет на вас нечаянно заварку, узнаете тогда, как подтрунивать над человеком. Правда, Феня?

Та благодарно посмотрела на него, улыбнулась, отчаянно тряхнула головой.

От этой шутливой угрозы Инесса и Мария Ильинична тотчас сделали испуганные лица.

- Ой, мы не будем больше, Феня!

Антон Александрович оторвался от блюда, озорно подмигнул ей:

- Так их, Фенюшка! Не давай им спуску. Ишь! - Блюдце, которое держал на растопыренных пальцах, выскользнуло и упало на пол.

- Анто-он, - укоризненно качнула головой Мария Ильинична.

- Ах ты, Боже мой! Как же оно так... - сокрушался тот, отряхивая салфеткой облитые чаем колени.

Феня проворно убрала осколки.

- К счастью, - сказал Виктор. - Не огорчайся, папа. Посуда к счастью бьется. Не так ли?

- Сервиз-то! Китайский! Ай-яй-яй... Ах ты ж, беда какая... Китайский... - все приговаривал Антон Александрович. - Сергея Васильевиче память... И надо же...

Виктор знал, сервиз Торским подарил полковник Фильчиков, давний друг отца. Привез его из Манчжурии, Сергей Васильевич воевал там в русско-японскую войну. Полковник вскоре после возвращения умер, оказалось тяжелое ранение. Отец очень дорожил сервизом - память о друге. После кончины Сергея Васильевича сказал:

- Бездумная авантюра... Сколько хороших людей забрала эта война! А генерала Куропаткина государь после всего еще и обласкал. Поразительно! Каким надо быть слепцом или... Не знаю.. Не понимаю! Вот на все лады ругали графа Витте за Портсмутский мир. А ведь счастье для России, что именно Сергей Юльевич вел переговоры с японцами. Кто бы другой, было бы во сто крат хуже. Граф, можно сказать, выиграл переговоры. Царь же весьма холодно отнесся к нему... Парадоксы бытия!

Виктор, совсем тогда еще мальчик, спросил:

- Папа, а кто слепец?

- Кто? - Отец горько усмехнулся и не ответил.

Понятно, отец сейчас очень расстроен из-за этого несчастного блюда.

- Да Бог с ним, папа! Блюдце... Подумаешь. Чем оно лучше обыкновенного, из простой белой глины? Ничем. Был бы, как говорится, чай... А из чего его пить, разве в том дело?

Виктор чувствовал, не те он слова говорит. Но как успокоить очень уж расстроенного отца. Казалось бы, вроде из-за пустяка, какого-то блюда... Сказал, вроде и не к месту:

- Знаешь, папа, у нас на фронте - ложка да котелок. Посуда на все случаи. И первое из него, и второе, и кипяток, чай, тоже из него. Бывало, и ополоснуть нечем, вода на вес золота. Ничего, обходились... Не стоит, папа.

- Что ты, право, перестань, не охай, - сказала Мария Ильинична. - Далось оно тебе, это блюдце. Разбилось и разбилось. Велика беда!

- Ну, раз к счастью, значит, к счастью, - улыбнулся Антон Александрович и налил чаю в другое блюдце, услужливо поданное Феней. Он любил пить чай не из чашки, а из блюда.

Виктор упомянул о фронте. Марии Ильиничне не хотелось, чтобы сын вспоминал о нем. Довольно, мальчик дома, материнское сердце хоть немного успокоилось. Великое благодарение Богу, что жив, только ранен.

И все ж нет полного покоя матери. Тревожно на душе, не приведи Господь, что творится и здесь, в Петербурге, а теперь Петрограде. Но, даст Бог, утихомирится. За Инессу тоже беспокойство. Так и тянет ее из дома. Непокойно, ох, непокойно... Но главное - Виктор дома! Эта радость затмевала все остальные тревоги.

Приподнятое настроение в доме Торских объяснялось заключением медицинской комиссии по поводу ранения Виктора.

Доктор, тщедушный старичок со скобелевскими усами, долго выслушивал поручика, так и этак прикладывал к груди и спине свою деревянную слуховую трубочку, похожую на катушку со смотанными нитками.

- Ну-с, голубчик, с вами все ясно! - наконец изрек с некой торжественностью.

- Что ясно? - спросил Виктор.

- А то ясно, что вам надо еще долго набираться сил.

- То есть?

- Отдых, в меру движения. И ешьте фрукты! В них много всяких полезных веществ, они крайне необходимы вашему организму. Вот так!

- Значит...

- Да, значит. Ни о какой службе, даже здесь, в тылу, не может быть пока и речи. Ранение у вас серьезное. Очень серьезное. Вам очень повезло. На палец чуть левее, и не знаю, беседовал бы я сейчас с вами. Рана затянулась, но легкое, не буду скрывать, особого восторга у меня не вызывает. Однако не пугайтесь. Время, необходимо время, сударь мой. И вы забудете о своем ранении. А сейчас... Сейчас вы должны делать одно - набираться сил. И ни в коем случае, слышите, не простужаться!

- Так...

- Эх, голубчик. Вы огорчены. Радуйтесь! Другие бы вам позавидовали. Война продолжается, кто знает, сколько она еще продлится. Может статься, призовут еще и вас из отпуска, когда окончательно выздоровеете. Только, дай-то Бог, чтоб такого не случилось. Вы молоды... На военных лучше смотреть на парадах, только не здесь, в госпиталях. Словом, помните мой совет: простужаться - ни в коем случае.

Радоваться или огорчаться? Ни того, ни другого Виктор Торский не испытывал. Скорее, была некоторая растерянность. Он оказывался в каком-то неопределенном положении на неопределенное время, человеком, которому единственно остается набираться сил и, как посоветовал доктор, ждать. И сколько ждать?

Виктор чувствовал себя вполне сносно и не считал, что рана и сейчас еще представляет серьезную опасность его здоровью. Выходит, ошибался. Медики сделали свои выводы, он становился оторванным от армии, от всего того, чем предопределялась вся его жизнь военного человека. Теперь - сам по себе. «Ешьте фрукты...». Эта фраза как бы отторгала его от времени, событий, ставила в сторону - подождите, это пока еще не ваше.

Что ж, подождем...

Нет, он не рвется, очертя голову, туда, в окопы, где вторая пуля может оказаться и последней, заключительной точкой в его биографии. Тут другое. Укор самому себе, чувство вины - он здесь, тихо, спокойненько отдыхает, а его полк, офицеры, солдаты там, на фронте, их жизни балансируют на одном канате со смертью. Молись, надейся - все, что можешь.

Однако корить себя - разумность ли? Каждому предназначено свое, и здесь свой закон судьбы, выполнять его - неизбежность, по сути, не зависящая от тебя. Попытка же предвидения на завтрашний день - не более чем гадание на кофейной гуще. Хотя с этим яростно не согласятся многие. Смешно. Страх самосохранения - вот что есть мысли, прыгающие в будущность.

Поручик поморщился от таких своих расплывчатых рассуждений, неконкретных, туманных, собственно, Бог весть о чем, то есть о многом, в то же время и ни о чем. Так, мгlistая сырость. Он ранен, и ему положено выздороветь. Вот и все рассуждения.

Для Марии Ильиничны и Антона Александровича заключение медицинской комиссии - настоящий праздник. Возвращение сына на фронт отодвигалось на неопределенное время, когда он окончательно оправится от раны, глядишь, к тому времени и война закончится. А пока остается дома, радость безмерная, он рядом, их мальчик, разве это не счастье для отца и матери!

Инесса, узнав об этом, порывисто расцеловала брата. И без слов ясно, насколько обрадована и она.

Что касается Фени, то кто мог догадываться о переполнявших ее чувствах. Она любила молодого барина, как не любила никогда и никого на свете. Это была особая любовь, святая и светлая. Никогда она не выскажется, не выплеснется безудержной радостью. Тихо и целомудренно будет носить ее Феня в себе, счастливая, поклоняясь огромному своему чувству и живя им, как поклоняются вере в Бога, недостижимого и всемогущего. Видеть молодого барина каждый день, лишь только наступит утро, - о, как ожидает Феня каждого утра... - больше ничего не надо, это все, это счастье, большего и не требовала затаенная любовь девушки, совсем не красавицы. Уже одним только этим она была безмерно счастлива и подолгу мо-

лилась в своей крохотной спальне, чтобы счастье это длилось и длилось и не кончалось никогда...

...Виктор взял коня.

- Ба! - всплеснул руками Антон Александрович. - Как же это я прозевал?

- Ладно, папа, - улыбнулся Виктор. Поставил коня на место. - Так уж и быть, прощаю. Переходи.

- Нет-нет, - возразил отец. - Допустил ошибку - расплачивайся. Так и в жизни получается. Только в ней - если уже сделал ход, не переходишь, как в шахматах.

- Почему же? Сделал ошибку, разве ее нельзя исправить? Конечно, в том случае, если вовремя ее заметил.

- Именно. Вовремя заметил. В том и соль. К тому же, если знаешь, как ее исправить. И можно ли быть уверенным, что опять не последует ошибки. Вот еще в чем вопрос.

Виктор внимательно слушал отца. Он любил его слушать, когда тот говорил о вещах вроде бы простых, общеизвестных, но делал это ненавязчиво, не поучающе, рассуждая как бы с самим собой, однако открывая в этой простоте какие-то новые грани, которые заставляли задуматься и многое соотнести к собственному мироощущению.

Отец продолжал, глядя не на Виктора, а на шахматную доску:

- Уверенность. Должна быть полная уверенность в правильности принятого решения. А это непросто, не каждому дано. И еще. То, что является правильным сегодня, завтра уже может быть неправильным, то есть ошибочным. Запутанный клубок получается, поди, разберись... Та-ак... Пожалуй, вот эту пешечку подвинем сюда. Как вам это нравится, господин поручик? Кажется, и вашему коню грозит та же участь, что и моему. Не находите? Ну, теперь ваше слово.

Отец смотрел хитро, с мальчишеским нетерпением ожидая действий противника, попавшего в тактическую ловушку.

- Да... Придется воевать без кавалерии, - задумался, наморщил лоб Виктор. - Коня уже не спасти. Жаль... А мне кажется, многое мы просто усложняем в жизни. Оттого и мечаемся, совершая ошибки. На многие вещи, думается, стоит

смотреть проще. Вот как с этим моим конем, к примеру. Его уже не спасти, его нет, я должен забыть о нем. Сразу же, как только его не стало. Но я жалею о нем, он все еще сидит в моей голове: ах! если бы я его сохранил! Отсюда я бессмысленно отвлекаюсь, и это приносит вред. Вместо того, чтобы всецело думать о следующем ходе, я все еще сожалею по уже утраченному коню и в результате делаю неправильный ход. То есть совершаю ошибку. Вот видишь, теряю пешку. Ага... Может, так? Послушай, папа, мне пришла в голову одна забавная мысль. Мы с тобой в какой-то степени напоминаем вот этих коней, которые что-то сделали, а потом их убрали с доски. Не находишь?

Антон Александрович удивленно посмотрел на сына.

- Пожалуй... В чем-то, видимо, да. Но это касается прежде всего меня.

- Ты так думаешь - только тебя?

- Совершенно верно.

Разговор оба вели тихо. Ни Инесса, ни Мария Ильинична не слышали - о чем.

Антон Александрович с недавних пор уже не состоит в штате сотрудников департамента министерства иностранных дел. Новые власти вежливо выставили его оттуда. Притом, сделали это со скрытой иронией, поблагодарив князя Торского за многолетнюю службу на благо России, отметив немалые его личные заслуги на поприще дипломатии. Не упрекнули, что верно служил царю, - было бы просто глупо с их стороны, - именно подчеркнули: «На благо России».

Пусть так. Пусть...

Да, он был верноподданным слугой царского трона. Но меньше всего думал об этом. Он действительно служил России, своему Отечеству. Цари... Они приходят и уходят. Россия остается. Народ остается. Как бы то ни было, жизнь прожитая не впустую, упрекнуть себя в чем-то существенном Антон Александрович не может. Все силы отдавал службе, себя не оберегал, окольных путей не искал и мнений своих на задворках не держал. Карьера... Он мог достичь более высоких вершин. Для этого требовалось не так уж много, в какие-то мо-

менты поступиться своими взглядами. Всего-то. Сколько их было, таких моментов, щекотливых, когда другие проглатывали свое мнение и помалкивали - ради прочности своего положения. Он так не мог. И тени сожаления нет на этот счет.

Заключительной чертой в отставке была аудиенция у нового министра иностранных дел Временного правительства Терещенко.

Тот постарался выглядеть искренним, говоря прочувствованные - дешевый театр - слова.

- Вы, как никто другой, заслужили отдых, Антон Александрович. Новая Россия говорит вам «спасибо» за ваш многолетний и плодотворный труд. Все знают вашу нетерпимость к несправедливости, вы были честным человеком. («Был...» - с горькой иронией подумал Торский.) Об этом будут помнить всегда. Времена меняются, народ не пожелал больше монархии, и теперь, сами понимаете... - Терещенко запнулся на середине фразы, подыскивая наиболее деликатные слова.

Их можно было и не искать, все и так ясно. Его, князя Торского, благопристойно отстраняют от дел. Он - осколок монархии, отныне его место на свалке. Наивный камуфляж. Господин Терещенко неумело пытается быть искусным актером, которому, разинув рты, верят неискушенные зрители.

Князь не стал выслушивать дальше человека, упоенного вдруг явившейся ему в руки властью. Сам помог выйти тому из щекотливого положения.

- Мне все понятно. Благодарю за красивые, - «скушайте, пожалуйста!» - слова в мой адрес. - Терещенко нервно шевельнул ноздрями. «Не нравится...» - Буду чрезвычайно счастлив, если новая власть поведет государство Российское через рифы истории к всеобщему благоденствию и процветанию, - сказал тоже витиевато и красиво. Умышленно так сказал.

Министр иностранных дел удовлетворенно покивал. Князь умен, излишних объяснений давать ему не потребовалось. «Старый прохиндей! Следовало бы под зад коленкой. Князь...».

Значительная часть сотрудников департамента, рангом пониже Торского, Временным правительством была оставлена.

Обидно? Безусловно. Но таков закон истории - приходит новое, сметает старое. Следовательно, его считают ярким монархистом. Пусть считают. Орать «Да здравствует революция!» - не станет.

Мария Ильинична, узнав об отставке мужа, видя, что в душе он переживает, постаралась ободрить:

- Не переживай, Антон. Ты действительно давно заслужил право на спокойный отдых. Сейчас такое творится... А с твоим здоровьем... Пусть уж теперь другие. Дальше, там видно будет. А я рада.

Торская никогда не вникала в политику, дела мужа, ее уделом были дом, семья. И теперь, когда за окном бушевали такие страсти, в беспокойстве за Антона Александровича она была действительно обрадована его отставкой. Подальше от греха, от этой революции, неразберихи. Переждать, пока все прояснится и станет на свои места. А в том, что произойдет это непременно и, может быть, в самом скором времени, была совершенно уверена. История России богата примерами. Вот взойдет на престол новый царь, и порядок установится. Разгонит и самозванное Временное правительство, обидевшее Антона Александровича, и эти толпы горлающих демонстрантов с транспарантами, заполонившие улицы.

- Пожалуй, - согласился с женой Антон Александрович. - Будем отдыхать.

Отречение царя, революция для князя Антона Александровича Торского не явились особой неожиданностью. К этому делу шло, лишь самый примитивный ум мог не понимать, что в державе назревают большие события, которые встряхнут ее до основания. И когда это произошло, со всей отчетливостью понял - старое невозвратно. Новая власть, временное правительство. Куда приведет Россию? Измученную, больную. Он - уже балласт. Но есть еще мысли, сознание. Свое он прожил, прожил так, как предопределено ему было. О чем-либо сожалеть или, наоборот, испытывать удовлетворение - нелепо. Все есть так, как есть.

Однако сравнение сына их обоих со смахнутыми с шахматной доски фигурами задело в Антоне Александровиче бо-

лезненный нерв. Тем не менее, разве возможно выразить все то, что лежит на душе. Да и вряд ли нужно - и зачем? - это сыну.

Тот сказал:

- Нет, папа, оба мы с тобой в одинаковом положении. Не хорошо как-то я себя чувствую, душе неуютно...

- Ты ранен, находишься на излечении.

- Лечатся в госпитале. Я же прохлаждаюсь дома.

- Это сути не меняет, дорогой сын. Не терзай себя зря. Ты воевал, не отсиживался где-то, никто не вправе упрекнуть тебя.

- Все я понимаю... Только такое чувство, словно я стою на обочине дороги.

- Не принимай близко к сердцу. Твоя жизнь вся еще впереди.

- Жизнь... Ты сказал слова, какие обычно говорят детям все отцы. Папа, как ты считаешь, к чему придет у нас революция? Во Франции, прежде чем она стала республикой, произошло несколько революций, окончившихся поражением. И кровь, много крови.

- Трудно сказать. Не знаю, да и кто может знать. Единственно, что мне кажется, это лишь начало длительной борьбы за власть. Власть - страшная вещь... Желание обладать ею не останавливает ни перед чем. Францию и нынешнюю Россию сравнивать... Вряд ли, думаю, можно сравнивать. Сахарозаводчик становится министром иностранных дел... Нет. Этим дело не кончится. Нет...

К чему придет революция, спрашивает сын. Антон Александрович был сейчас сам похож на растерянного матроса, сидящего в марсовой бочке, которого спрашивают: «Что по курсу?» - а он не может ничего вразумительного ответить, так как по курсу сплошной туман, и куда несется корабль на всех парусах - всевышнему одному известно.

Виктор закурил.

- Тебе не следовало бы курить, - сказал отец. - Легкие ведь слабые еще. Бросил бы совсем.

- Ерунда. Маленькая дырочка, которая давно уже затянулась.

Отец неодобрительно покачал головой и ничего больше не сказал.

Партию продолжили, углубившись в молчаливое обдумывание ходов.

- Ты не дремлешь? - спросила Мария Ильинична дочь.

- Нет-нет. Я просто смотрю на огонь. Какая в нем... загадочность. Он словно живое существо.

- А то бы шла, ложилась.

- Еще ведь совсем рано, мама. Я не хочу спать.

- Ты целыми днями пропадаешь в городе. Я ужасно волнуюсь за тебя...

- Полно тебе, мама. Вовсе не стоит за меня волноваться.

- Я ведь мать. Что ты там нашла? Что тебя так тянет туда? Толпа злых возбужденных людей. Мало ли что может случиться.

- Это же революция, мама! А ты - толпы...

- Ах, оставь! Горя хлебнут все с этой революцией.

- Виктору, папе, почему не говоришь, чтоб тоже сидели дома.

- Мне за всех страшно. Пойми, Виктор мужчина, офицер. Как ты можешь сравнивать? А папа, после того как... Он все время дома.

В гостиную вошла Феня. Вытащила из кармана передника конверт, подала Виктору.

- Вам письмо. Простите, оно еще днем пришло, я как-то сразу не отдала, а потом... Забыла. Простите... - сказала виновато, потупила глаза.

Виктор взглянул на адрес, торопливо, дрожащими пальцами разорвал конверт. Пробежал глазами строчки письма, побледнел. Вскочил с кресла.

- Я должен немедленно ехать, - заявил.

- Куда?! - ахнули Антон Александрович и Мария Ильинична.

- В Тулу.

- В Тулу?! Зачем?

- Потом. Потом все объясню. Некогда! Ехать сейчас же! Любим поездом. Феня, где мой мундир?

Растерянные родители уговаривали его подождать до завтра, до утра, но Виктор ничего не слышал, спешно собрался.

- Ничего не понимаю! - вытирала глаза Мария Ильинична.
Инесса подошла к шахматному столику, взяла забытое Виктором письмо. Родители вопросительно смотрели на дочь.
- Наш Виктор из Тулы вернется, думаю, не один, - сказала Инесса.

ГЛАВА 15

Все эти дни Инесса действительно пропадала на улице. Ее неодолимо влекло туда, в эту людскую коловерт, запово-дившую весь Петроград.

Все было непонятно, впечатляюще будоражило. Инесса была льдинкой во всесокрушающем ледоходе: ее несло огромное мощное течение, и она подчинялась ему, хотела плыть, быть неотделимой от этого потока, радовалась напряженной радостью, смешанной с будоражающим страхом и острым чувством причастности к чему-то огромному, происходящему вокруг, подчиняющемуся неведомой властной силе. Стихия тащила, увлекала ее, не понимающую, но жаждущую впитать и понять это клокотание всеобщей феерии, грозной и роковой.

Она была одна. Рядом ни близких, ни знакомых лиц. И ей было хорошо одной.

Жадно ловила речи бесчисленных ораторов, они выступали чуть ли не на каждом перекрестке, куда стекались, смешивались живые ленты. Ораторы яростно срывали с себя шапки и в неистовом порыве бросали в толпу страстные слова. Толпа слушала, волновалась, взрывалась аплодисментами, свистом, улюлюканьем. Потом шевелилась, раскачивалась, вскидывала над головами кумач флагов и транспарантов и опять начинала движение.

Движение, движение, движение...

Казалось, нет ему ни начала, ни конца. Куда идут, зачем идут и когда придут - никто не знает.

На тротуарах зеваки, распахнутые глаза, разинутые рты.

Случайные фразы случайных людей; Инесса что-то отвечала, что-то спрашивала - о чем и по какому поводу, реши-

тельно не помнила, все моментально вылетало из головы, она наполнена лишь одним рокочущим гулом.

- Свобода! Свобода! - несется со всех сторон. Главная нота этих дней.

- Свобода! - голос Инессы поддерживает всеобщую ноту. Он сам рвется из груди, в унисон порыву тысяч людей, выдыхающих пьянящее слово.

Отречемся от старого мира,

Отряхнем его прах с наших ног!

Звучит и «Марсельеза». Решительные лица, горящие решительным огнем глаза. Инесса невольно пружинит шаг. Словно стряхивает с себя прах старого мира.

Неулыбчивые, сосредоточенные лица студентов и гимназистов с алыми повязками на руках. Они уже не шатаются бесцельно, нашли себе дело. Гордое сознание ответственности, они - добровольная милиция, заменившая ненавистных городских. Попрятались те, как тараканы в щели.

Занесло Инессу в Таврический дворец. Кишит людская разношерстная масса. Рабочие делегации, представители полков, флота, лазаретов, депутаты Государственной думы, представители различных партий. Замызганные рабочие пальто, черные бушлаты матросов, серые солдатские шинели, партикулярное платье осанистых важных господ, белые рубашки с галстуками и косоворотки, шляпы и кепки. Алые банты на груди кадетствующих профессоров и эсерствующих присяжных поверенных. С холодной независимостью над головами людей отсвечивали трехгранники штыков - солдаты, матросы и много рабочих с оружием.

Голова кругом.

Переполненная впечатлениями, с гудящими ногами, вечером Инесса возвращается домой.

Родители беспокоятся... Инесса понимает их, сочувствует им, она дочь, для них она ребенок, пусть давно уже и взрослый.

Но разве она может сейчас отсиживаться дома! Загорается новая заря, и не увидеть ее рождение - непростительно...

Это он? Неужели это он!

Оглушенная ужасным несчастьем, Аня оцепенела, жила и не жила, замерла, словно застигнутая внезапно ударившим морозом, заморозившим в ней и кровь, и мысли.

Не отчаянье, не крик о помощи - письмо поручику Торскому. Мало осознанный механический жест холодной руки, взявшей перо. Ни дяде, Николаю Ивановичу, ни брату Аркадию не написала. Не смогла, не было сил. Почему - совсем малознакомому человеку? Не думала. Спроси о том, не ответила бы. Всего несколько слов неустойчивым почерком.

Поручик написал ей несколько писем. Она не ответила. Не рещалась, что-то удерживало ее.

И первое письмо ему - машинально, неосознанно. В нем - стон...

Вот он, она видит его. Зачем он здесь? Ах да, она ему писала... И он приехал? Приехал к ней?

Какие-то чужие мысли, будто исходят от постороннего человека.

Он приехал к ней...

Она взялась за виски и держала так ладони, все глядя и глядя на Виктора, не говоря ни слова. Стояла и не знала, что ей делать дальше, что говорить.

Понимала и не понимала, что это он, он...

Бледная, осунувшаяся, с потухшими глазами, безмолвной тенью покачивалась перед Виктором.

Его захлестнули сострадание, нежность, боль.

Положил руки на ее плечи, она ждала этого движения, подалась к нему, уткнулась ему в грудь и тихо, беззвучно заплакала.

Она должна была выплакаться, слезы, которые держала в себе, давили, разрывали Аню.

- Ты приехал... - шептали губы. Аня не заметила, не подумала даже, что называет Торского на «ты». Это было естественно, просто и необходимо - «ты».

- Аня... Аннушка... Я тебя больше никогда не оставлю одну. Ты всегда будешь рядом со мной. Всегда... Я люблю тебя...

Они стояли так, не отрываясь друг от друга. Он обнял ее и замер. Потом заговорил опять. Он не говорил ей слов утешения, говорил только эти слова - нежности и любви.

Аня слышала его голос, как дальнее эхо. Без удивления и трепета отметила: «Это он мне говорит...».

Признание Виктора не затронуло ее, она была слишком оглушена трагедией, ей нужен был кто-то рядом, живая душа, и это желание было пока единственным.

Она была бесконечно благодарна ему, отмечала это разумом, но сердце, только начинавшее оттаивать, не могло еще откликнуться ни теплом, ни нежностью.

Подчинилась Торскому безропотно, словно по-иному и быть не могло. Он заявил твердо, решительно, что она поедет с ним в Петроград.

- Хорошо... - Опять уткнулась ему в грудь, и опять плакала.

На следующий день они собрались и покинули Тулу.

Выплакавшись, Аня опять оцепенела, была точно невидящей, все время Виктор держал ее за руку, как маленькую, несмышленную девочку, которая, отпусти ее, может потеряться. Порой вздрагивала, судорожно сжимала его руку и пугливо оглядывалась, будто что-то страшное чувствовала за спиной, прижималась к его плечу, шептала:

- Не бросай меня...

У него сжималось сердце от огромной нежности и щемящей жалости к ней, такой уже теперь родной...

Теперь Торский полностью отвечал за судьбу Ани, осознавал это со всей ответственностью и был твердо убежден, что его решение верное и единственно возможное.

Другого быть не может.

ГЛАВА 17

Напророчил в свое время поручик Ямбович.

Кое-кто с полной серьезностью поговаривал, уж не интуицией ли особенной или даром предвидения он обладает. На что Ямбович, с присущей ему горячностью, сказал:

- Какое там предвидение! Младенцу понятно, рано или поздно это должно было произойти. Свет, чуть ли не иллюми-

нации. Глупое легкомыслие. Дураки! - С категоричным суждением: - В том числе и мы, господа! Не предупреждали должным образом на этот счет.

Ночью германский аэроплан, привлеченный огнями заведения Лускина, сбросил бомбы. Погибло много офицеров, убит был и сам Лускин, а также красавица Стефа и несколько девиц из ее кордебалета.

По счастливой случайности никто из офицеров полка, которым командовал полковник Брюн, в тот вечер у Лускина не присутствовал.

Все восприняли этот трагический факт близко к сердцу, помянули погибших добрым словом и полной стопкой. Любая человеческая жизнь, оборванная насильственно, вызывает естественное чувство сожаления. О мертвых же говорят хорошо или ничего не говорят.

Штабс-капитан Артемов уединился в своем блиндаже и плакал, никого не хотел видеть, никого не допускал к себе.

Астапова поразило, неужели действительно так близко принял к сердцу смерть Стефы, не как все, а будто потерял очень родного, дорогого человека.

Ведь Артемову так и не довелось быть с ней даже достаточно хорошо знакомым. Вроде и объяснимо по-человечески, и все ж странно, очень странно... Выходит, существует на свете нечто, что дано не каждому понять и испытать. Убивается по женщине поведения далеко не целомудренного. Но кто может четко сказать, что именно самое притягательное, ценное и главное в женщине, чем входит она в сердце и завладевает им? Вопрос, ответ на который, пожалуй, неисчерпаем, как само звездное небо. Мало того, ведь им, подобным вопросом, и не задаются никогда. Осудить легко, понять непросто. А что знает о женщине он, Астапов? Да, собственно, ничего...

Штабс-капитан Артемов... Не хлюпик с разжиженной волей, а боевой офицер, и вот, поди ж ты.

Но так ли все сложно и неоднозначно, как он рассуждает, тоже боевой офицер, поручик Аркадий Астапов? Да, смерть Стефы, как и смерть любого, - жалость к покойнику, к кому больше, к кому меньше. Особенность в том, что Стефа отличалась совершенной женской красотой, от которой недолго и

ослепнуть. Не один Астапов ослепленно зажмурил глаза, как от яркого света. Забудет. Сейчас у него куриная слепота. Тяжелая. Но все ж быстро проходящая. Вспоминал Астапов себя, молоденького юнкера, и ту даму с пуделем... Был ослеплен, потом враз и прозрел. Очень похоже.

Противоречивые чувства владели Астаповым, когда он думал о своем однокашнике по юнкерскому училищу. В последнее время тот демонстративно отворачивался при встрече. Не может простить, что Аркадия избрали в полковой комитет.

И все же, Стефа и Артемов - загадка... Понимает ли он сам себя, штабс-капитан, командир первой роты Владимир Андреевич Артемов?

Офицеры батальона недоумевали по поводу такой его острой реакции на смерть Стефы, но вели себя деликатно, никакой усмешки.

- Чужая душа - потемки. Тут в своей толком не разберешься. Кто знает...

Для одного лишь Ямбовича не существовало ничего необъяснимого.

- Слезу капнуть иной раз каждому хочется. Ну скажите, вам никогда не хотелось так? Похныкать, потерзаться? Надо только придумать предмет переживаний и войти в образ страдальца. Все просто. Прослезись, постонешь, жалость к себе, ах, какой я несчастный. И как умоешься, будто чище становишься после этого. Не замечали в себе? Такого желания - очиститься? Всем ведь хочется чего-то этакое чистенького, голубенького... Вот он и придумал себе сердечную трагедию. Думаете, ему Стефу жалко? Себя ему жалко. Вот это самое голубенькое. Неуютно без него, голо, жди теперь, когда оно явится вновь.

Переглянулись, в полемику не вступали, лишь покачали головами. Самоуверенный мальчик, на все знает ответы...

Штабс-капитан Артемов искал выход своему чувству ненависти к немцам.

Среди бела дня ползком добрался до пулеметного гнезда боевого охранения, выдвинутого от позиций батальона в сторону противника. Отстранил пулеметчика и открыл яростную

стрельбу по германским окопам, выпустив ленту целиком, не отрывая пальцев от гашетки.

Противная сторона не заставила себя долго ждать, закидала пулемет снарядами. Пулеметчик был тяжело ранен, самого же штабс-капитана оглушило, но он остался жив, без единой царапины.

- Безрассудство! Как вы посмели! Из-за вас ранен солдат, - накинулся на него подполковник Клямин. - Его ранение на вашей совести!

Штабс-капитан не реагировал на разнос. Вид у него был отсутствующий, лишь в глазах плескались безумные всполохи.

- Никакого чтоб мне самовольства! - Рассерженный упорным молчанием штабс-капитана, затопал ногами Клямин.

В ближайшую же ночь Артемов отобрал в своей роте команду из двенадцати опытных, обстрелянных солдат и сделал самовольную вылазку в расположение окопов противника, захватили «языка», сами потеряли при этом двоих. «Языка» штабс-капитан уже в своих окопах избил и собственноручно застрелил.

- Он что, тронулся? - обескураженно недоумевали солдаты артемовской роты. Однако открыто своего недовольства не высказывали, побаивались. Стрельнет штабс-капитан, чего доброго, в ответ и фамилии не спросит.

Боязнь солдат перед офицерами все еще была сильна. Это когда все скопом, на митинге, к примеру, тогда можно все что угодно загорланить. Здесь же, в окопах, офицер оставался командиром, недовольство сглатывалось, приходилось терпеть.

- Прошу принять самые незамедлительные меры, воздействовать на него. Иначе его поведение до добра не доведет. Полковой комитет возмущен, уже приходили ко мне за объяснениями. Боюсь, еще одна подобная выходка штабс-капитана, и солдаты взбунтуются. И тогда... - Клямин неопределенно помотал головой. - Они уже на грани этого.

О полковом комитете Клямин мог и не упоминать. Брюн и без него осведомлен о реакции комитетчиков. К нему тоже приходили Степанов, председатель.

Брюн разговаривал с ним подчеркнуто вежливо, на одной, взятой с самого начала, ровной ноте, призванной, чтобы ей следовал и Степанов.

- Сожалею. - Постарался быть кратким, подыскивая необходимые и в то же время емкие слова. - Это досадное недоразумение. Командир первой роты батальона подполковника Клямина всегда являл собой образец неукоснительного исполнения воинской дисциплины. Я не осведомлен, какие мотивы побудили его к... э-э-э... к столь опрометчивым действиям, однако, повторяю, уверен, что это всего лишь досадное недоразумение. И обвинять штабс-капитана Артемова в смертных грехах было бы совершенно несправедливым. Ошибочные действия свойственны каждому из нас. Тем более на фронте, во время боевых действий.

- Зачем же он «языка» убил? Ведь за тем и ходили?

- Вот этот факт и можно поставить в вину штабс-капитану.

Согласен.

Кипевшему негодованию Брюн не давал выхода. Неслышанно! Правомочность действий командира роты оспаривается, обсуждается, и не просто, а подвергается осуждению. Судьи! Черт бы их побрал! Скоро никто из офицеров не волен будет отдать никакого, самого пустякового распоряжения, не оговорив его предварительно с этой шантрапой, с каждым днем все больше наглежащей.

Из-за такой мелочи вышли на командира полка!

Клямин напоминает самого захудалого пастуха, в стаде которого нет никакого порядка, каждая скотинка сама по себе. А этот! Стоит перед командиром, полковником, с таким видом, словно он, Брюн, находится не иначе как в его подчинении.

Добавил, придав лицу деловую озабоченность, из которой явствовало, что чрезвычайно огорчен случившимся:

- Я все выясню. И обещаю, своей властью накажу его должным образом... - Последние слова должны умерить пыл Степанова.

У того потемнели глаза.

- Досадное недоразумение? Солдат, безусловно, должен выполнять приказы своего командира, к этому он призван.

Но отнюдь не нелепые приказы. Погибли люди. А у них остались дома семьи. Предупреждаю, господин полковник, со всей серьезностью, полковой комитет создан не для бутафории. Впредь за такие фокусы спросит со всей строгостью. И не надо, господин полковник, этой вашей саркастической улыбки, я ее прекрасно понимаю. Вы бы с удовольствием меня расстреляли, будь сейчас другое время. Но хотите не хотите, а придется меня терпеть и выполнять требования полкового комитета.

Брюн не убрал улыбки, сказал все так же ровно:

- Вы ударяетесь в крайности. Приписываете мне мысли, какие я и в помине не держу. У вас чрезвычайно хорошо развита фантазия.

- Ваше право отрицать, а я уж как думаю, - усмехнулся Степанов.

- Хорошо. Все, что вы мне сказали, господин Степанов, я принял к сведению.

- Я так и понял. Только я не господин. Рядовой Степанов, председатель полкового солдатского комитета.

Брюн пожал плечами.

- Вы, если не ошибаюсь, большевик?

- Это не имеет никакого отношения к предмету нашего разговора.

- Разумеется...

Степанов щелкнул каблуками и удалился.

Брюн достал золотой портсигар, подарок тестя, орловского помещика Петра Алексеевича Ложникова, и, пока вытаскивал, сломал несколько папирос. Швырнул портсигар на стол, жевал папиросу, которая все время гасла. Заколело в боку, смял и выбросил папиросу. Что происходит? Чернь зашевелилась, как скопище червяков.

После ухода Степанова долго не мог успокоиться.

Вот теперь припожаловал Клямин. В этом строптивом пенсне, которое все время поправлял, с блестящей лысиной, похожей на тыкву, такие росли в имени тестя.

В отличие от многих выходцев прибалтийских немцев, поспешивших в начале войны поменять фамилии на русские, полковник своего происхождения никогда не скрывал. Лишь

трусливые олухи переиначивали себя, облачившись, как в защитные доспехи, в русские фамилии, того не понимая, что такой поступок бросает на них еще большую тень подозрительности. Он и в мыслях не держал, что может нарушить присягу царю. Он немец, но родина его - Россия. Ей служит, и будет служить, пока бьется сердце. Царя нет, но есть во главе России Временное правительство, и теперь полковник Брюн будет исполнять его волю. Если, конечно, она всецело будет направлена на благо России.

- Вы командир батальона, подполковник! Не способны сами разобраться на месте? И заткнуть рот полковому комитету? Может, прикажете мне еще с каждым унтером отдельно заниматься?

- Я действую по уставу.

- Ладно вам! Идите! Разберемся. Да пришлите ко мне штабс-капитана Артемова. В нынешней ситуации, подполковник, когда Россия напоминает растревоженный муравейник, надо быть поумней, а не сидеть слепой совой на суку, который, как в поговорке, сами и рубите, - сказал холодно.

- Я вас не понимаю, - побледнел Клямин.

- Идите! - махнул рукой Брюн, не желая дальше распространяться по поводу поведения подполковника. - Подумайте на досуге. Полезно!

На Клямина у Брюна нет сил смотреть без раздражения. Батальон подполковника, считавшийся до февральского переворота наиболее благополучным в полку, сейчас разложен до предела. Добрая половина комитетчиков из этого батальона. Председатель комитета - большевик. Не будет великой новостью, если и Клямин, это близорукое недоразумение, дослужившееся до подполковника, вдруг объявит себя тоже социалистом-революционером и закричит: «Долой войну!»

Неужели высшее командование в такой растерянности, что не знает, какие жесткие меры необходимо предпринять, дабы искоренить в армии крамолу, выжечь и корни ее. Одни туманные директивы, пропитанные осторожностью. Что это? Своеобразный тактический ход перед решительными действиями? Очень бы хотелось верить, что именно так оно и есть.

Штабс-капитан доложил о своем прибытии и вызывающе, в упор уставился на полковника.

«Герой нашего времени», - вспомнилось вдруг Брюну лермонтовское. Отметил: «Стоит бросить спичку, он тут же вспыхнет».

Усадил его напротив себя.

Во взгляде Артемова сквозил все тот же вызов: «Начинайте! Пожалуйста! Мне плевать!»

Брюн медлил, словно собирался с мыслями. Раскрыл портсигар, предложил папиросу и Артемову. Тот отказался. Уголки его губ нервно подрагивали.

- Владимир Андреевич, - начал полковник совсем не официально. - Насколько знаю, вы, кажется, выпускники одного училища с подполковником Кляминым и поручиком Астаповым?

- Да, Алексеевского, - в удивлении приподнял брови Артемов. Он приготовился, что его с ходу начнут распекать. В свою очередь был настроен на агрессивную оборону и никак не ожидал такого, казалось, вовсе не к месту вопроса.

- И с последним выпускались в одно время?

- Да.

- Скажите, а вы достаточно хорошо знаете поручика Астапова? Что он за человек?

- Хорошо? Пожалуй, нет. В училище мы не были близки. Однокашники, не более. А здесь... - Артемов запнулся и не стал доканчивать фразу.

- Значит, ничего определенного о нем сказать не можете...

Артемов пока не мог взять в толк, к чему же клонит полковник.

- А что, собственно, вы хотели услышать? И зачем?

Брюн посмотрел пристально.

- Я командир полка. Своих офицеров должен знать. - Повертел в руках портсигар и добавил после паузы: - Тем более сейчас.

Артемова покорило, роль фискала ему претит, быть им - ниже своего достоинства.

Сказал:

- Астапов боевой офицер. Храбрый и честный. Единственно, чего не могу понять, это...

- Ну-ну? - подтолкнул Брюн.

- Член полкового комитета.

- Выходит, вы действительно недостаточно хорошо знали своего однокашника... - раздумчиво произнес Брюн. - А подпоручик Костенко?

- Что, Костенко? - не понял Артемов.

- Ну... Тот тоже...

- К черту! - возмутился штабс-капитан. - Зачем вы меня спрашиваете о них? Я не шпик из полицейского участка. Я их знать не хочу и не желаю.

- Не кипятитесь, - сухо сказал Брюн, сделал предостерегающий жест рукой. - Поспокойней, штабс-капитан. Вы офицер, помните об этом.

- Поспокойней?! - Артемов вскочил, подался к полковнику. - К черту это спокойствие! Вот оно где, это спокойствие, - чиркнул себе ребром ладони по горлу. - Закопались, как трусливые кроты, и сидим. И это война? Стыдно! Да, я офицер, и мне стыдно. Где же - до победного конца? До какого конца? Гнить в грязи? Наступать! Вот что надо. Вы же командир полка! Довоевались... Комитетчики полком командуют. Прикажете атаковать противника! Тогда не до митингов будет. Вся эта шваль враз заткнется, не пикнет!

- Нет приказа, - бесстрастно сказал Брюн. Он решил дать выговориться Артемову до конца.

- Приказа? Плевать! Поднять полк в наступление! Победителей не судят. Следом пойдут и другие полки. Дивизии пойдут. Война же! Воевать надо! А не отсиживаться. Немцы не ожидают, застанем врасплох.

«Хм.. Стратег...» - неопределенно подумал Брюн. Артемов затронул какие-то струны и в нем. Пожалуй, и он, полковник, мог бы сказать подобные слова вышестоящим начальникам, генералам, хоть командиру корпуса или же самому главнокомандующему фронтом генералу Брусилову, которого любят и уважают и солдаты, и офицеры. Сказал бы, разве что в другом тоне, без излишней запальчивости. Именно бездействие и ведет к разложению.

- Господин полковник! Я ничего не понимаю. Нельзя же так. Я... я сам подниму свою роту, если вы не отдадите приказа. Я боевой офицер, в конце концов! Лучше погибнуть в бою, чем видеть смерть армии, быть соучастником ее развала. Я подниму роту. Знайте! Я сам себе прикажу, если хотите!

- Хватит! - побагровев, крикнул полковник. От окрика Артемов сразу как-то обмяк. - Распустили слюни! Вы что? Умнее командира полка, корпуса, армии, фронта? Говорите высокие слова, а сами голову потеряли из-за смазливой бабы. Русский офицер! Не умеете держать себя в руках. Она вам кто? Эх, вы...

Артемов покрылся пунцовыми пятнами.

- Позвольте! Я не желаю, чтобы...

Резким взмахом руки Брюн оборвал его на полуслове.

- Довольно! Помолчите! Я имел терпение выслушать вас до конца, пока вы не понесли ахиною. Теперь извольте слушать вы.

- Хорошо. Я вас слушаю, господин полковник, - дрожащим голосом сказал Артемов. Как бы то ни было, командиру роты не подобает так, и в таком тоне, вести себя с полковником, командиром полка.

Полковник удовлетворенно побарабанил пальцами по портсигару, который не выпускал из рук.

- Своей безрассудностью вы опасно дразните зверя - полковой комитет. Да, да, это зверь, и его следует опасаться. Пока. Да и большинство офицеров не в восторге от вашей невыдержанности, что совершенно справедливо. Нашли по ком плакаться! Не кажется ли вам, что вы напоминаете зеленого юнца, ослепленного розовой подвязкой, когда он в щелку подсматривает за раздевающейся женщиной? Для него весь мир сузился до этой самой подвязки, ни о чем другом он уже не думает, все вылетело из головы. Он обуреваем страстью, чувством просыпающегося в нем самца, для которого прикоснуться к розовой подвязке, даже глазами, вождеденное блаженство, верх счастья. И он готов вдребезги разнести ни в чем не повинную дверь, когда подвязка исчезает из его поля зрения. Вы тоже вбили себе в голову нечто подобное. И не отрицайте! Но вы же не мальчик, штабс-капитан. В какой-то мере я вас понимаю... Это все от усталости, чертовской усталости, когда

хочется тихого покоя и хоть маленького кусочка интимной чувственности. Понять можно, но бросаться в крайности, как вы себе это позволили, непростительно. И неосмотрительно. Мелочные страсти, право же, это глупо и смешно.

Полковник наблюдал, с каким болезненным мучением воспринимает Артемов нелицеприятные для него слова.

Опять протянул ему портсигар.

- Благодарю, - на этот раз штабс-капитан поспешно взял папиросу и закурил, жадно и часто затягиваясь.

Брюн тоже закурил. Пока молчал. Смотрел на Артемова. Штабс-капитан уже совершенно не тот, каким входил к командиру полка.

На таких офицерах держится армия, и будет держаться. Предан мундиру, хотя и обладает излишним болезненным самолюбием. Но открыт, не умеет изворачиваться. Таких офицеров надо ценить. Случай после смерти этой злосчастной танцовщицы, когда Артемов потерял контроль над собой, - пустяк, вполне простительно. Энергию, бьющую через край, жажду немедленных действий необходимо направить в нужное русло. И это хорошо, что к ним подмешена горечь, ненависть, злость. Но, прежде всего, штабс-капитан должен уяснить и твердо усвоить одно. В любом деле в первую очередь требуется выдержка и еще раз выдержка, всплески необузданных эмоций губительны.

- Вас действительно следует наказать. - Брюн отложил портсигар и смотрел Артемову прямо в глаза. - В этом подполковник Клямин безусловно прав.

- Я готов понести наказание, - бесцветно отозвался Артемов.

- Само собой. Я хочу вам сказать другое, Владимир Андреевич. Возвращаться к вашим мальчишеским неприглядным поступкам, когда вы полезли к противнику на рожон, не буду. Вот о чем хочу. Время сейчас тревожное, как никогда, требуется единство всех, кому дороги честь Отечества, его будущее.

- Это прописные истины, - поморщился Артемов.

- К сожалению, некоторые не понимают именно прописные истины. Задача сегодняшнего дня - не допустить влияния

большевиков на полковой комитет. Проморгали - во главе его большевик Степанов. Надо исправлять. С тем, чтобы комитет был сторонником Временного правительства.

Временное правительство? Артемов смутно понимал, что оно из себя представляет. Выходит, действительно возврат к монархии невозможен?

Брюн продолжал:

- Высшее командование предпринимает соответствующие меры. Скоро и мы ощутим их эффективность. Навести порядок в войсках во что бы то ни стало. А наступление, оно будет, но прежде - порядок. Надеюсь, понимаете, почему я спросил вас об Астапове и Костенко? Придет время, спросим с них. За то, что позорят звание русского офицера. Может, вплоть и до расстрела. Да. Хотя лучше было бы вновь вернуть их к нам. Проясняется?

Артемов растерян, такого поворота разговора с полковником он не ожидал.

- Я вас знаю, Владимир Андреевич, надеюсь на вас. Надеюсь на других честных офицеров, кому дорога судьба родины. Таких, к примеру, как подпоручик Ямбович из вашего батальона.

- Ямбович?! - негодуяще воскликнул Артемов. И не сдержался: - Чванливый желторотик.

Брюн неодобрительно пошевелил мохнатыми бровями.

- Вы, штабс-капитан, не очень хорошо разбираетесь в людях. Ямбович молод, горяч, не выдержан порой, несет иной раз околесицу, но в него я верю.

- Не знаю... - Артемов покачал головой. - Я лично с трудом терплю его. Вернее, не терплю его вовсе.

- Откровенность - это похвально с вашей стороны. Приглядитесь к нему. Надеюсь, уяснили суть нашей беседы?

«Он иной раз скатывается на совершенно нетерпимый тон, будто беседует с гимназистом из младших классов!». Хотелось выкрикнуть: «Господин полковник! У меня уже давно высохло под носом!».

- Уяснил... Только не в моем это вкусе - церемониться. Арестовать и расстрелять Степанова! Как предателя, призывающего к поражению русской армии. В крайнем случае, припугнуть. Другим неповадно будет.

- Вы так и не поняли меня... Не совсем правильно поняли. Это безумство в настоящий момент. Нас самих тут же растерзает солдатня.

«Пожалуй», - мысленно согласился Артемов. Сказал:

- Все я понял, господин полковник. У меня просто такое желание... А Астапов и Костенко не призывают к прекращению войны. Не слышал.

- Что ж... Может, они и не потеряны для нас. Просто поступают так из лучших побуждений, плохо ориентируясь с кем и как быть. Так вот. В приказе будете предупреждены, что при повторении подобного самовольства к вам будут применены самые строгие меры, вплоть до суда по законам военного времени.

- Мне все равно! - обиженно дернулся Артемов.

Раздраженный непониманием штабс-капитаном такого пункта в приказе, полковник прикрикнул:

- Глубже думайте! - И тут же смягчился: - Идите, Владимир Андреевич. Я доволен нашей с вами беседой. Надеюсь, ее подробности останутся при нас. Я помню ваши слова, какие вы бросили мне тогда, после полкового митинга, когда пришло известие о низложении царя. Так давайте же действовать. Сообща и в одном ключе.

«Он пока сырая глина, штабс-капитан Артемов. Но формовке вполне поддается», - отметил про себя Брюн.

...Ночью Артемову приснилась Стефа. Проснулся он от звука собственного голоса. Потрогал глаза. Значит, он плакал во сне, звал Стефу...

ГЛАВА 19

- Меня сегодня штабс-капитан Артемов удивил, - сказал Астапову Костенко.

Оба сидели в блиндаже Астапова. Пили чай, заваренный на молодых вишневых ветках.

- Обычно скислит физиономию, будто сливу зеленую сжевал, отворачивается. Не по нутру ему, что мы с тобой в полковом комитете, презирает. А сегодня, надо же, руку первый протягивает. Друг закадычный, да и только. Я человек не гордый, тоже пожал ему руку.

- Андрей Андреевич! - через полуоткрытую дверь позвал Астапов своего денщика.

Усачев сидел у входа в блиндаж и, зажмурив глаза, грелся на солнышке. Услышав оклик, потянулся по-кошачьи, всем телом, выгибая спину. Встряхнулся, просунул голову в дверь:

- Я тут! Чего, ваше благородие?

- Усачев! Я же говорил, не надо меня называть «ваше благородие».

- Ладно! Не буду! Забылся, ваше благородие!

- Откройте дверь настежь. Пусть свежий воздух идет.

Усачев толкнул ногой вихлястую, на ременных навесах дверь. Она противно закрипела и вернулась настырно в исходное положение.

- Зараза скрипучая! - ругнулся денщик, ища, чем бы ее подпереть. Ничего подходящего на глаза не попадалось. Наконец Усачев сообразил, спустился в блиндаж, взял свою винтовку, слегка вогнал в дверь штык, приклад упер в землю. Для верности вытрамбовал в ней каблуком ямку.

- Теперь и ветром не закроет! - удовлетворенный сделанным, крикнул ротному.

- Спасибо, - поблагодарил Астапов.

Усачев опять разнеженно развалился на солнышке, подстав под бока свернутую вдвое шинель. Земля еще была сырой и холодной.

- Весна... - С блуждающей улыбкой мечтательно произнес Костенко. В блиндаж хлынул свежий воздух, вытесняя застарелый - затхлый, пропитанный табачным дымом, запахом плесени и мышей. - Первый день сегодня такой выдался. Сады скоро зацветут... Почки уже наготове, еще чуть-чуть и лопнут. А мы все тут...

- Да, весна... - Астапов вздохнул, глядя в проем двери, который светился квадратом голубизны весеннего неба. Прихлебнул из кружки красно-коричневого чая, пахнущего просыпающимся садом. Спросил: - Ну и?

- Ну, пожали руки. Весна, тоже говорит. Просыпается, мол, матушка-природа. Просыпается, говорю, сам смотрю на него, думаю: чего это ты нынче такой любезный со мной. По-

вздыхал он, поругал генералов, Брусилову тоже досталось. Мол, сидим сидьмя, вшей кормим, надоело до печенок, наступать бы самое время, подсохло, а они там в высоких штабах и за ухом не чешут.

- Наступать?

- Наступать. Доверительно так со мной откровенничает. А глаза холодные. Вот и думаю, почему это он вдруг так?

Астапов улыбнулся.

- Может, весна на него тоже действует? Весна самую дремучую душу оттепливает...

- Черт его знает! Может, и весна. Поди, узнай, что у него на уме.

- Со мной он тоже так, - сказал Астапов. - Как ни в чем не бывало. Будто и не воротил носа. Как-то даже неприятно...

- Вы же с ним как-никак друзьями были.

- Да не были мы никакими друзьями! - воскликнул Астапов. - Хорошие знакомые, то есть давнишние, и не более того.

- А мы все думали...

- Мало ли, кто что думал.

- Да ну его к черту! Может, и весна на него подействовала. Мало ли. Да что мы все об Артеме! - Повел Костенко рукой, в которой держал кружку. - Вот, пожалуйста... Облился из-за него. - Страхивал ладонью пролитый на полы кителя чай. - Теперь пятна останутся.

- Водкой попробуй, может, смоемся, - посоветовал Астапов.

- Вот еще! Добро переводить. Одно название, что китель. Второй год не снимаю, расползается уже, выбросить не жалко. У меня другой есть, совершенно новый.

- Приберег бы.

- Для чего?

- Для какого-нибудь торжественного случая.

- Когда в гроб положат, так что ли?

- Ну и юмор у тебя, господин подпоручик!

- Какой юмор! Война-то не кончилась. Одному Богу известно, сколько еще воевать. Будут еще покойнички. Не вечно же будет на фронте такая тишь да благодать. Знаешь, Аркадий, честно скажу, боюсь очень. Молиться готов, если бы помогло. Ты не подумай. Не за себя боюсь. За детей, за жену.

Убьют меня - тяжело им придется. Я ведь, знаешь, «благородие» неправдашнее. Случайность, война. Вот и стал «ваше благородие подпоручик Костенко». До войны железные дороги строил. Правда, и инженером был недоучившимся.

Астапов с вниманием слушал Костенко. Тот до этого никогда не рассказывал о себе.

- Недоучившимся? Что так?

- А так. Институт инженеров путей сообщения не дали закончить.

Увидев на лице Астапова безмолвный вопрос, продолжил:

- Да было. В рожу плюнул одному профессору. Фрукт еще тот. И говорить о нем не хочется, противно, не стоит он того, чтобы о нем еще и вспоминать. В общем, дочка его - моя жена. Ну... Он был против. Очень против. Для меня, Аркадий, других женщин, кроме моей Елены, не существует. Набедовались мы с ней, натерпелись. Всего хлебнули... Спасибо Перцову, тоже инженеру-путейцу, хоть и прохиндей добрый, он основал в 1908 году акционерное общество по строительству железной дороги Туапсе - Ставрополь, зато не посмотрел на мой неоконченный институт, без всяких взял инженером. Трасса, особенно последняя сотня верст перед Ставрополем, тяжелая, сложная, но работа, скажу, была интересная, увлекала меня. Вот оттуда и загремел на фронт. Елена с детьми и сейчас там, в Ставрополе. А сам я из Саратова. Отец на мельнице работал. Рабочим. Умер рано, мне двенадцать было. А мать уже перед войной умерла. Все гордилась, что я в люди выбился. Я ей не говорил, что меня из института выперли. Она б не вынесла. Изо всех сил тянулась, чтоб я гимназию окончил, а когда студентом стал, плакала от радости. Вот такой я, стало быть, барин. Я тебе покажу сейчас своих.

Костенко достал из нагрудного кармана бумажник, вытащил из него фотографию, любовно посмотрел на нее, протянул Астапову.

На фотографии женщина с двумя девочками. Она сидит, обняв их за плечи, склонившихся головками к маме. Женщина в белом платье, в белых платяницах и девочки.

Светлая, какая-то солнечная фотография...

Астапов долго смотрел, с невольным вздохом вернул фотографию Костенко.

- Завидуешь? - помолчав, спросил Костенко.

- Завидую, - откровенно признался Астапов. Как ему сейчас хотелось, чтобы и у него была такая фотография.

- У тебя есть кто-нибудь? - спросил Костенко.

- Нет. Не получилось как-то. Не встретил...

- Плохо без этого. Одиноко.

- Плохо, - согласился Астапов и подумал, что, в сущности, в своей жизни он еще никого не любил. Та женщина с белым пуделем, казавшаяся прекрасной сказкой, - призрак, придуманный юношеской фантазией, жаждавшей романтической возвышенности. Сказка превратилась в пепел, развеялась, оставив после себя рубец ожога.

Печально и грустно... А с четырнадцатого года на фронте, не успел, не встретил... И кто она, та, еще не встреченная. Но зачем сейчас думать об этом... И все ж, и все ж... Ему уже ведь не двадцать. И жизнь не застрахована, завтра его может уже и не быть. Во всем мире у него только два близких человека - отец и Аня. Случится умереть, его смерть отзовется болью лишь в двух сердцах. А вот Костенко тяжело и думать о смерти. Подкосит она не только его одного, померкнет счастливая улыбка его Елены, слезами наполнятся детские глаза его дочек.

Что-то долго молчит Аня, не пишет...

- Чем все закончится, - будто размышляя сам с собой, заговорил Костенко, прервав мысли Аркадия. - Большевики, большевики, кадеты, эсеры... Одни - «Война до победного конца!», другие - «Долой войну!». Кутерьма! Сам черт не разберет!

- А ты-то? - спросил Астапов.

- Я? А я, знаешь, пролетарий, если уж на то пошло. Война мне лично нужна, как собаке ошейник. А эти, во Временном правительстве, всякие Львовы, Керенские, Родзянки - еще те хлюсты. Сюда б их, в окопы запихать, пусть бы понюхали, что оно за такое - война. Сидят там, херувимы, в Петрограде, чего ж не воевать так!

В сердцах сплюнул. И предложил:

- Чай с вишневой веточкой - прелесть. А давай по глоточку водочки? Что-то на душе заскребло...

Астапов достал фляжку, плеснул в кружки.

- Царь-батюшка не велит, сухой закон, но мы ему об этом не скажем, пусть думает, что мы истые ревнители его указов. Впрочем, где он сейчас, царь-батюшка, наверное, и сам позабыл о своем «сухом законе» ...

Костенко выпил, довольно фыркнул и изрек избитую истину:

- Действительно, плохих женщин не бывает, бывает мало водки. Знаешь, откуда пошло это выражение? Вот видишь, не знаешь... А пошло оно со времен Отечественной войны 1812 года, когда к концу войны русские войска вступили в Париж, где было много женщин и вина. Я сказал «водки», а они тогда говорили «вина». «Мало вина». Да. В окопах тогда не сидели... Насмотрелись там всяких свобод, понравилось, у себя захотели. На Сенатскую площадь поперлись. Да кишка тонка оказалась. Николай I их быстро прищучил. А вот тезка его не совладал, скovyрнули с трона.

Сегодня Костенко разговорился, как никогда. И Астапов слушал его с интересом, все ближе узнавая его как человека.

- Да, каша заваривается, - продолжал тот. - Тут, видать, одними митингами да речами дело не кончится. Как ты думаешь, что же будет дальше?

Ах, Костенко, Костенко. Задал бы вопрос полегче. Да и кто вообще может знать, что будет дальше.

Сказал:

- Кто его знает... Трудно сказать. Сейчас, наверное, пол-России задает такой вопрос.

- Трудно. Взять того же Артемова. Видал, какой апельсин? Неспроста это он так... Ох, сдается мне, будут дела! И знать не будешь, кого больше опасаться. Свиныю кто подложит. Как мой тесть. Свой же пырнет тебя в спину, и не подумаешь никогда. Вроде однокашника твоего Артемова или сопляка Ямбовича, героя этого. Я уже не говорю о Брюне. Этот зубами грызть будет, а своего не отдаст. Этот в кости благородие. Красивый волк, зубастый.

Артемова Аркадий попытался защитить.

- На штабс-капитана ты, может, и зря так. Сам знаешь, он не в себе после гибели Стефы. Человек переживает... В таком состоянии всякого наломать можно.

- При чем тут Стефа! - Не согласился Костенко категорически. - Ямбович, я тут вполне с ним согласен, верно на этот счет сказал. Рыба он, твой Артемов. Карася по чешуе видно.

- Мне кажется, ты чересчур уж категоричен, - возразил Астапов. - В таком случае о каждом из нас все что угодно можно и думать и предполагать. В зависимости от того, как относишься к человеку. Вот ты сказал, скovyрнули Николая II с трона. А он, прежде всего, человек. Вот что он чувствовал, переживал? Какие мысли владели им? Плохой царь, уходи - проще всего сказать. Как?

Костенко несколько смутился.

- Не знаю... Мне даже его жалко, царя. Хороший, плохой, это рассуждает каждый всяк по-своему. А вот другое... У него семья, дочери, сын Алексей... Видел на фотографиях? Такие милые барышни, его дочери. И вот все рухнуло для них. Ты очень переживаешь, что царя отстранили от престола?

- Да дело даже не в этом... Какое-то безумство.

Послышался нарастающий вой.

Костенко посмотрел на часы и успел сказать: «Ну да, время», прежде чем ухнул близкий взрыв.

Подпрыгнул тяжелый, сколоченный из неоструганных досок, стол. С потолка посыпалась земля.

В блиндаж влетел Усачев, волоча за собой шинель.

- И скажи ж ты! В одно и то же время бьет. Часов не надо.

Кинул шинель в угол, бросился к двери, схватил подпиравшую ее винтовку, закрыл.

Астапову стало грустно и смешно. Усачев так спешил и старался, будто дощатая дверь могла защитить от снаряда.

Взрывы, сотрясая землю, слились в сплошной рыкающий гул.

Артиллерия противника с педантичной точностью - каждый день минута в минуту - начала методичный обстрел русских позиций.

Следом нехотя, словно по необходимости, начали отвечать русские пушки. Потом и они настроились на методичный ритм.

Солдаты обеих противоборствующих сторон к этому часу уже забились в земляные норы, знали точное время артиллерийских дуэлей.

Но смерть все равно находила свои жертвы.

Немецкие и русские писари каждый день поправляли списки личного состава своих рот и батальонов, вычеркивая убывших по одной причине - гибели.

ГЛАВА 20

Сошли журчливые талые воды, спали реки, прогрелась земля, спешно укрывая себя стремительной зеленью - полей, лесов, рощ.

Возобновились боевые действия противоборствующих сторон. Однако носили они пока локальный характер, противники прощупывали друг друга, ища уязвимые места обороны каждого, готовясь к решающим летним сражениям семнадцатого года.

Начиная с апреля главнокомандующий Юго-Западным фронтом генерал-адъютант Брусилов постоянно в войсках, объезжал полки, дивизии, корпуса. Лично удостовераясь, в каком состоянии находятся части вверенного ему фронта и насколько они готовы к ведению летних наступательных операций.

Картина выявлялась безрадостная.

К маю войска совершенно вышли из повиновения. Многие полки и даже целые дивизии объявляли, что на фронте оставаться больше не желают, намерены сняться с позиций и уйти домой. При этом выгоняли свой командный состав и угрожали смертью каждому, кто ратовал за продолжение войны до победного конца.

Брусилов спешно направлялся в такие части, кляня немощных их командиров.

Популярность Брусилова среди солдат была высока, он являлся одним из немногих генералов, которых солдаты при-

нимали восторженно. Пользуясь этим, главнокомандующий выслушивал претензии непокорных частей и, в свою очередь, умело строил свои выступления перед ними, взывая к чести русского солдата, упрекая в отсутствии патриотизма, стыдя в наплевательском отношении к судьбе Отечества, землю которого, если солдаты покинут фронт, станет топтать чужеземный сапог.

И такие речи генерала имели успех.

Взбунтовавшиеся части принимали назад выгнанных командиров и обещали оставаться на позициях и отражать противника в случае его наступления. Однако наступать самим войска отказывались категорически. Требовали скорейшего мира «без всяких аннексий и контрибуций». Такой лозунг солдатской массой усвоен был накрепко и припечатался на устах каждого.

Что касается комиссаров, назначенных Временным правительством, то слушали их постольку-поскольку. Стоило заикнуться о наступлении, их тут же выгоняли.

Комиссаром седьмого Сибирского корпуса был Борис Савинков, вернувшийся из эмиграции из Парижа вскоре после свержения царя. Керенскому Савинков, которого он когда-то, будучи адвокатом, в 1907 году защищал на судебном процессе Петербургской военной организации, пришелся по душе.

Сибирский корпус после отдыха отказался возвращаться на фронт. Солдаты заявили своему комиссару, что намерены направиться для дальнейшего отдыха в Киев. Ни угрозы, ни увещевания Савинкова не возымели никакого действия.

В свое время на комиссаров Временного правительства Брусилов возлагал определенные надежды. В директиве от 4 марта 1917 года он просил Временное правительство как можно скорее прислать на фронт своих комиссаров и делегатов Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов с тем, чтобы те развернули широкую агитационную работу в войсках против влияния большевиков, которых требовал признать государственными преступниками и предавать военно-полевому суду как изменников. Предавать суду также членов рабочих делегаций, приезжающих на фронт для ведения пропаганды против дальнейшего продолжения войны.

Увы, комиссары не оправдали надежд. Их влияние на солдатские массы было ничтожным, что и вынужден был спустя самое малое время констатировать Брусилов.

Он оказался в растерянности.

Мучительно искал выход из создавшегося положения. Каким образом, какими мерами вернуть дисциплину, власть командиров, а отсюда, следовательно, и прежнюю боеспособность армий? Выхода, казалось, никакого не было...

Позиция большевиков ему была в какой-то мере понятна. Те проповедовали «долгой войну и немедленный мир во что бы то ни стало». Что же касается тактики эсеров и меньшевиков, то ее понять никак не мог. Они в свою очередь разваливали армию, якобы во избежание контрреволюции, в то же время выступали за продолжение войны до победного конца. Какая после этого могла вестись речь о победном конце!

Отягощенный мучительными раздумьями, Брусилов пригласил на свой Юго-Западный фронт Керенского, чтобы тот лично на митингах выразил войскам требование Петроградского Совета, состоявшего в основном из эсеров и меньшевиков, о наступлении, так как Государственную думу солдаты не признавали совершенно, а к Совету хоть в какой-то мере пока еще прислушивались.

Поездка Керенского, однако, ничего не принесла. Воевать солдаты не желали. Требование одно - мира.

Офицеры Генерального штаба подполковник Мапакин и капитан Муравьев проявили инициативу - предложили на фронтах и в тылу создавать особые ударные батальоны, которые являлись бы опорой власти и пресекали всяческие нарушения дисциплины неблагонадежных войск. Немедленно приступили к формированию таких батальонов. На фронте «ударники» терроризировали революционно настроенные части, в тылу разгоняли рабочие организации, поддерживающие большевиков, арестовывали и расстреливали активных солдат и рабочих, агитировавших за прекращение войны.

Создание ударных батальонов Брусилов горячо приветствовал. Террор, как ему казалось, приносит свои ощутимые

плоды. Страх заставлял солдатские массы быть более покладистыми.

И все ж в глубине души генерал понимал: время работает не на Временное правительство.

Стал повнимательней присматриваться и вникать в тактику и методы работы большевиков и с горечью вынужден был отметить, что ни одна политическая сила так умело не использует благоприятный момент. Они безошибочно играют на человеческих струнах масс народа, большинство которого не обременено большой грамотностью. Их проповеди все больше приходились по вкусу солдатам. Его, солдата, совершенно не интересовал ни Интернационал, ни Карл Маркс, ни коммунизм. Усвоил он и принял с вожделием лишь одно - начало свободной жизни: немедленный мир во что бы то ни стало, уничтожение помещика и вообще барина, изъятие всего имущества и земли у всех богачей, к какому бы сословию они ни относились. Куда как не заманчивая перспектива!

А офицеры!.. Хорошо обученные военному делу, умевшие воевать, в этой обстановке политической неразберихи они в большинстве своем терялись, плохо в ней разбирались и не знали, что делать. Больно признавать, но на митингах их забивал любой оратор, наловчившийся болтать языком, прочитавший пару брошюр разномастных социалистов.

Но нельзя опускать руки. Долг русского генерала требует действовать до конца.

В такой обстановке и с далеко не радужными мыслями главнокомандующий Юго-Западным фронтом объезжал войска, предпринимая все меры для подготовки наступления. Оно должно было, по его мнению, сбить накал страстей.

Верил ли в это он сам? Такой вопрос себе генерал старался не задавать. Требовал усиления разведки противника на участке каждой дивизии, каждого полка. Еще и еще проверяя и перепроверя разведывательные данные. На каждого взятого «языка» обязательно требовал брать затем и контрольного.

Для команд полковых разведчиков наступили ночи усиленных поисков.

- Таким образом, - говорил Брюн, обращаясь к присутствующим, - задача перед нами стоит нелегкая. Но что делать, приказ надо выполнять. Взять «языка» необходимо сегодня ночью.

Вышестоящее командование приказало полковнику Брюну во что бы то ни стало захватить «языка» на участке его полка. Срок для выполнения приказа - двое суток.

В первую ночь в поиск к противнику направились сразу две группы - практически вся команда полковых разведчиков. Обе группы постигла неудача, противник их обнаружил, почти все погибли, в том числе и командир полковой разведки поручик Попов. Погиб и прапорщик Ганевский. Из двух групп вернулись лишь четыре человека, трое из них ранены.

Времени для выполнения приказа оставались одни сутки. Но кого посылать? Полк в одну ночь потерял всю команду разведчиков.

Брюн возложил задачу по захвату «языка» на батальон подполковника Клямина. Для выработки коллегиального решения по проведению предстоящей операции собрал у себя кроме командира батальона также командиров рот, приглашен был и председатель полкового комитета Степанов.

В последнее время, когда к полковнику обращались по какому-либо вопросу, он раздраженно отмахивался:

- Что вы идете ко мне? Идите к Степанову, в комитет. С ним решайте. Я полком не командую! Они - хозяйева.

Сейчас же он взял дело в свои руки, однако повел его таким образом, чтобы полностью создалось впечатление, будто все решали приглашенные офицеры, а он, полковник Брюн, поддерживал лишь разумные предложения, высказанные ими.

- Черт знает что! - возмутился Клямин. - Приспичило им там. И именно у нас им понадобился «язык», понимаешь ли! Как мы его будем добывать? Если разведчики не смогли, то что можно сделать с обыкновенными солдатами, которые и понятия не имеют, как вести разведку, а тем паче брать «языка». Опять положим людей, а толку не будет.

- Алексей Кузьмич, - спокойно отреагировал Брюн. - Мы можем сколько угодно дискуссировать, возмущаться, но выполнение приказа все равно остается за нами. И надо думать, как это сделать, а не возмущаться.

- Я не знаю, - махнул рукой Клямин. - Вряд ли мы его возьмем, «языка» этого! Мне людей просто жалко.

- Ваше мнение? - обратился Брюн к остальным.

- Вы докладывали в дивизию, что наша разведка полностью погибла? - хмуро спросил Степанов.

- Докладывал. Приказ остается в силе.

Степанов раздумывал: что можно предпринять в такой ситуации. Подполковник Клямин прав, опять могут погибнуть люди, и все будет зря. Ведь неопытные. Но ничего определенного придумать не мог. Самому обратиться к командиру дивизии, чтобы отменили приказ? Нельзя. Обернется против полкового комитета. Обвинят в невыполнении приказа. Этого только и ждут, чтоб прижать и расправиться. Что скажут командиры рот?

Ямбович сразу загорелся:

- Ладно! Я со своими пойду.

- Нет, - твердо возразил Брюн. - Вы не пойдете.

- То есть почему?! - обидчиво воскликнул Ямбович, покрываясь пунцовыми пятнами.

- Для такого дела вы слишком горячи, подпоручик. Нужен человек смелый, решительный, но в первую очередь обладающий хладнокровным характером.

Что-то хотел сказать штабс-капитан Артемов, но Брюн взглядом осек его. Продолжил:

- Поручик Астапов, если ваша рота возьмется?

- Я готов, - коротко ответил Аркадий.

- Нет-нет, не вы лично. У вас в роте есть офицер, способный выполнить задание, я имею в виду... - Брюн умышленно тянул паузу.

- Подпоручик Костенко, - опередил его Астапов, догадавшийся, о ком пойдет сейчас речь. - Больше никому. Это мое мнение.

- Совершенно верно, - удовлетворенно произнес Брюн. - Офицер опытный, воюет давно, не мальчишка. Я поддерживаю.

Клямин поморщился, шумно зашмыгал носом, но ничего не сказал. Ямбович обиженно поджал губы. Артемов сидел с бесстрастным выражением лица. Командир четвертой роты штабс-капитан Гулевский сосредоточенно рассматривал свои ногти.

- Его вызвать? - спросил Астапов.

- Не надо, - сказал Брюн. - В детали подготовки операции я вмешиваться не буду. Полагаю, план ее разработаете и без меня. Общее руководство возлагаю на вас, поручик Астапов. Мне кажется, поиск лучше провести на участке роты Ямбовича.

- Разрешите нам самим решить этот вопрос, - жестко сказал Астапов.

- Да-да. Конечно, - поспешно согласился Брюн. - Я просто посоветовал. А решайте вы сами.

В батальон возвращались хмурые.

- Я свяжусь с дивизией, попробую объяснить им, - сказал Степанов. Но в его словах чувствовалась неверие, что это может дать какой-то результат.

Так оно и вышло, когда Степанов по связи переговорил с командиром дивизии. Тот, узнав кто с ним разговаривает, отвечал с нескрываемым раздражением и на приказе настоял - «язык» требовался армейскому командованию.

Собрались у Клямина, обсуждая детали операции.

Костенко несколько не был удручен неожиданно свалившимся на него трудновыполнимым заданием. Потребовал только, чтобы группу разведчиков ему разрешили набрать по его усмотрению, и не только из второй роты.

- Пожалуйста! Ваше право, Анатолий Васильевич, - не возражал Клямин.

Вид у него кислый, он был почти уверен, что видит Костенко в последний раз. «А не послать ли их всех к чертовой бабушке! - вскинулось в нем. - Кому он нужен, этот «язык»? Что за блажь торопливая!». Но тут же сник, понимая, что действие уже закурилось и механизма его не остановить.

Будь дан такой приказ несколько месяцев назад, его восприняли бы как должное, ни у кого не появилось бы и мысли его оспаривать. Сейчас же, когда произошла революция,

многое пошло вверх тормашками, любой приказ свыше подвергался обсуждению, словно речь шла о какой-нибудь торговой сделке. Дискуссия по каждому поводу. Разве стал бы раньше Брюн так рассусоливать? Вызывать командиров рот? Приказал бы командиру батальона, коротко, и на том бы кончил. А там, хоть умри - выполняй. И трудно было сейчас сориентироваться правильно в такой обстановке. Особенно это касалось председателя полкового комитета Степанова. Но кто ему мог подсказать?

Астапов нервничал. Корил себя за опрометчивость: едва ли не сам предложил кандидатуру Костенко. Надо было настоять и взяться за дело самому.

Перед глазами все стояла фотография - женщина и девочки в беленьких платицах...

- Вот что, - заявил он Костенко. - Ты не пойдешь. Пойду я.

- Не дури, Аркадий, - сказал он. - Уже решено.

Смотрел на Астапова спокойно, а в глазах читалось: «Я знаю, что говорю. Не упрекай себя». И еще в них была уверенность. И еще что-то такое, что остановило Аркадия: он понял - настаивать бесполезно.

- Не переживай! - толкнул Костенко в бок своего командира. И улыбнулся широко.

- Нейтральную полосу перейдем на участке роты штабс-капитана Артемова, - решил Костенко. - Именно здесь погиб Попов. Вряд ли немцы ожидают нас и в следующую ночь, тем более в том же месте. Возвращаться, как Бог даст. Доберемся до их окопов, а там уже видно будет. Каждая рота должна быть начеку, в случае чего, чтоб прикрыли огнем.

Говорил он решительно, но сам пока смутно представлял конкретный план действий.

- Артиллерия тоже будет наготове, Брюн приказал пушкарям, - сказал Клямин.

- Я пошел подбирать и готовить людей, - поднялся Костенко. - Времени у нас в образ.

Разошлись.

Нехорошо было на сердце у Астапова. На верную смерть шел Костенко. Уж лучше бы самому...

В это время во второй роте сидели любители потравить байки и те, кто, разинув рот, слушал их.

- Жил у нас один мужик, - рассказывал Усачев. - Сам из себя невидный, замухрышка. К тому же хромой, одна нога у него с детства высохла, короче другой. А жена, скажу вам, у мужика этого - красавица писаная. Отдали ее замуж за богатство. Спать лягут, а она вздыхает. «Чего ты вздыхаешь?» - спрашивает мужик. «Да как же мне не вздыхать! - отвечает жена. - Люблю я тебя так сильно, что век бы с постели не поднималась. А тут утро скоро, вставать надо будет. Потому и вздыхаю».

«Брешет, чертова баба!» - думает мужик.

А оно так и было, ненавидела она его. Но была хитрой, не открывалась. Чуть мужик из дому, а к ней - дружок ее любезный.

Люди болтают про жену, а хромой верит и не верит. И поймать их не может. Та же клянется: «Тебя только люблю! Брешут люди!». Ну и думает мужик: «Может, и правда брешут?»

Решил проверить.

Раз поехала к своей сестре погостевать, значит, жена в соседнее село. Мужик подговорил соседа. Я лягу, говорит, в гроб, а ты поезжай, скажи моей жене, что умер я. Приедет, если заплачет над гробом, значит, правда любит. А нет, значит, не любит. Стало быть, тогда люди не брешут насчет блуду ее.

Сосед чего? Мужик магарыч обещал ему добрый. Поехал. Сказал жене. Приезжает та - и к гробу сразу. «Господи милосердный! - запрочитала. - Услышал ты молитвы мои! Прибрал наконец-то страхолюдину хромую! Спасибочки тебе, Господи! Уж теперь помилуюсь-полюбуюсь вволюшку с дружкой своим разлюбезным!».

Мужик как вскочит в гробу, да как гаркнет: «Ах ты ж курва! Латрыжная твоя душа!».

Усачев умолк, сворачивая самокрутку.

- И что ж потом? - нетерпеливо затормошили его.

Усачев все так же не спеша прикурил, прокашлялся, не торопясь с ответом.

- Да что... Преставилась баба со страху. В момент. Тут же, возле гроба. В нем ее потом и схоронили.

- Дурак тот мужик! - пожалели покойницу. - Жил бы и жил, и ему б хватило. А то ни себе, ни людям. Чего ж он хотел, раз она красивая? Знал-то, на ком женился.

- Верно. Дурак, - согласился Усачев. - Он потом сам плакал, убивался и говорил: пускай бы гуляла. Любил ее сильно. Замухрышки, они, говорят, баб любят посильней, чем обнаковленный мужик без изъяну. Через месяц сам помер от тоски.

- Да-а... - повздыхали. - Бабы - они такие... Коварные. Надумает, так за водой к колодцу пойдет - согрешит. И там и тут успеет управиться. Никаким глазом не углядишь.

И перенеслись сейчас думками туда, к своим женам, занобам, невестам своим. Как-то они сейчас там, без мужиков своих? Когда ж обнимут, приласкают истосковавшихся...

- Да, печальная история... - сказал фельдфебель Занько, который уже знал, что предстоит брать «языка». - А мне вот тоже довелось однажды натерпеться страху. Когда на том свете очутился.

- Ну?! - заинтересованно вскинулись. - Давай, бреши!

- Только тут опять про смерть.

- А черт с ней! Давай и про смерть!

Занько не заставил себя упрашивать.

- Приснилось мне раз, что я умер. А перед тем мы с кумом набрались добре. У него корова двумя телками отелилась, вот он на радостях и пригласил меня обмыть такое счастье. Самогонка крепучая! К тому же жинка кумова затеялась в нее курячий помет подмешивать. Это бабка одна научила ее. Мол, попьет-попьет твой супруженец такой-то самогоночки, с пометом курячим, значит, да, а потом как отрежет - совсем перестанет пить, в рот не возьмет больше ни в жизнь. Кум мой даже глотал ее сильно, самогонку эту, кажинный день, считай, в дрыбыды. Замучилась жинка с ним. Вот и подмешивала того помету, как бабка посоветовала. А от него, скажу я вам, самогонка - хуже дурману. Бьет по голове - темень в ней сплошная. Мозги два раза перевертаются в черепку. Ага. Только набрехала бабка. Хоть бы хны. Может, и сейчас пьет мой кум, если живой, конечно...

Ну, умер я, значит, пребываю на том свете. Стою и оглядываюсь, знаю, есть тут рай и есть тут ад. И ни одной души кругом. Не у кого и спросить, где, что да как. Почесал голову, думаю: ладно, пойду потихоньку, авось кого встрену, спрошу, какие они тут, порядки, на том свете, куда мне здесь определяться. Только так подумал - раз! Являются возле меня слуги Божьи. Обнаковенные люди, как я сам, только белыми простынями обмотаны и босые. А на голове венки ромашковые, пчелки над ними вьются.

Поведи меня.

Куда ж, думаю, меня ведут? Ладно, иду. Чую носом, смолой кипящей где-то поблизости пахнет. Глядь, а пообочь дороги котлы высотой с дом стоят, смола в них варится. Черти чумазые вокруг них крутятся, дровишки под котлы, знай, подкидывают, рожи рогатые корчат и языки красные мне показывают, паразиты. А из котлов головы грешников, сердешных, виднеются, плачут слезами горючими. Вот он, значит, какой ад!.. Эх, думаю, и мне там кипеть... Ага.

Нет, ведут меня под руки слуги Божьи дальше, мимо котлов. Гляжу, тут повеселей пошло. Ангелы с крылушками летают. Всякие. И махонькие, с воробышка, и здоровые - с человека. Крылами - фьют, фьют!

Дальше идем. Приходим к дворцу. Хороший такой дворец, красивый, желтой глиной помазанный, в три этажа, окна разноцветными стеклами застеклены, крыша из серебряной жести. Написано на дверях: «Контора того свету».

Слуги Божьи и говорят мне: «Ты покуда постой тут, да никуда, смотри, не ходи и ничего не трогай. Нас дожидайся. А мы пока сходим в контору, разузнаем, суд Господний с обеда пришел или еще обедает. Судить, значит, тебя будут, определять, куда тебя направить».

Чего тут судить, думаю. И так ясно. Рая мне, как своих ушей, не видать. Одна дорога - в ад. Сильно грешный я. Но молчу. Пускай идут, разузнают. Я покамест покурю последний разок, в котле там не до курева будет.

Ушли они, слуги Божьи.

Стою, дым скрозь ноздри пускаю. Хорошо так кругом! Птички Божьи поют. Поодаль, за забором золоченым, кущи

райские виднеются. Рай, значит. На деревьях яблоки, груши, сливы, вишни... Вся фрукта, одним словом. И вся золотая. Блестит на солнце, аж глазам жмурко. Да-а, не попасть мне туда...

А стою я на дорожке, песочком посыпана, беленьким таким, будто сахарком. Может, и впрямь сахар? Нагнулся, взял щепотку, лизнул. Нет, песок. Вокруг дорожек газоны. Видали, кто в больших городах бывал? Так вот, такие ж. Трава шелковистая на газонах тех. Подстриженная. Ровненько так подстриженная. Зеленая-зеленая! Так и хочется рукой погладить. Возле газонов колышки вбиты, а на них дощечки фанерные, а на дощечках чегой-то написано мелкими буквами. Пригляделся, читаю: «Траву не рвать, заднее место ею не подтирать!». Ага.

Прочитал я, и скажи ж ты на милость! Как заколдобродит у меня в животе, забурчит! Спасу нет. Туда, сюда, нигде нужника не видать! Вот незадача... А, думаю, не в штаны ж! Ну, значит, приспособился на краешке дорожки, сижу, думаю: «Песочком потом загорну». Кошки всегда так делают. А чем я не кот, никто и не увидит.

Ага. Сижу, значит. Чувствую животом - облегчаюсь. Приятно очень, бурчать перестал. Посидел, ноги затекать начали. Пора подниматься, а то как бы слуги Божьи из конторы не вышли, что-то долго они там, будет мне тогда! А чем же, думаю... Ах, беда какая! Я ж на том свете, тут ни бумажки, ни лопуха, какой на белом свете растет. Была не была! Протянул руку, клок травы с газона сорвал. Что тебе шелк персидский, такая мягонькая. Аж жалко на такое дело употреблять. Да что делать.

Только я, значит, травкой провел, а тут меня кто-то тресь, тресь! По тому месту самому, какое только что травкой вытер. Чуть душа из меня не вон, хоть я мертвый, а мертвому не положено душу иметь. Тресь еще раз!

Я и проснулся враз.

Жинка орет: «Ах ты ж, паскудник! Ах ты ж, пьяница проклятая! Допился паразит! Под себя уже начал ходить! Всю постелю изгадил, порося ты вонючее! Да еще удумал дергать, охальник!». И показывает на то-то место, ну... из-за которого

баба, она потому и называется бабой, тем и отличается от мужика.

- Га-га-га! - ржание. Похватались за животы. - Ну и ну! Шелк персидский! Вот так шелк! Не до лыса хочь повидергал? Гы-гы-гы!

- Вот, значит... Подхватился я с постели, а она меня, жена, ухватом, ухватом! По спине да по конфузному моему месту. Виноват, куда деваться. Только успеваю увертываться.

- Го-го-го! - до слез.

- Ну и что дальше? - сквозь смех и слезы выдавил из себя Усачев.

- А что дальше. - Занько невозмутим. - То и дальше. Пришлось мне самому стирать тую-то постелю.

- Ну, Занько! Ну, брехать!

- Брехать не брехать, а вот так, значитца, братцы, и довелось мне побывать на том свете.

Увидел приближающегося подпоручика Костенко, вскочил, подал команду: «Смирн-на!»

ГЛАВА 22

Людей в свою команду Костенко подбирал исходя из одному лишь ему известных соображений.

По поводу Усачева извиняющимся тоном спросил командира роты:

- Твой денщик, Аркадий Николаевич... Не против будешь?

- Нет, - ответил Астапов. - Бери, кого считаешь нужным. - А сердце нехорошо заныло в предчувствии - за Усачева. За службу сколько денщиков перебивало у Астапова... И всем фатально не везло.

Отобран был в команду и фельдфебель Занько. На что он буднично сказал:

- Пойдем. Чего ж не пойти. Прогуляемся в гости. - Словно речь и впрямь шла о беззаботной прогулке. - Глянем, как они там поживают, господа немцы.

Приглянулся подпоручику и мордвин Ушаев. Щуплый, с детским безбородым лицом, длиннорукий, он был похож

на еще толком не оперившегося гусенка. Костенко заставил Ушаева пройтись, не вытягиваясь во фронт, а обычной своей походкой. Ногу Ушаев ставил мягко, перекатывая ступню, будто шел по лужам, боясь забрызгаться.

- Хорошо! - сказал вслух, довольный. И не очень понятно было, чего же примечательного заметил подпоручик у этого невзрачного солдата.

Пройдясь по ротам, довольно быстро подобрал команду.

Попал в нее и Нефадей Мещеряков.

- Не боишься? - Костенко ткнул его пальцем в грудь.

Нефадей пожал плечами:

- Как же не бояться? Не к теще ж на блины...

- Молодец! - Подпоручик похлопал его по плечу, оставшись довольным ответом.

Попросился и Степанов.

- Нет! - отрезал Костенко. И как тот ни упрашивал, остался непреклонным. - Нельзя тебе, Степанов. Почему, сам должен понимать, не маленький.

Когда вся команда была уже собрана, подошел Григорий Кондратюк.

- Возьмите и меня, ваше благородие.

Тот не стал его и слушать.

- Все, все, хватит.

Нефадею удивительно, чего это ради Гришка напрашивается. На такое дело идут, где смертью очень даже пахнет. А он сам, по своей охоте желает. И неожиданно для себя стал тоже просить подпоручика за Кондратюка.

- Ладно, - не сразу, но все ж согласился Костенко. - Земляки, говоришь? Хорошо, что земляки.

Может, как раз этот факт и толкнул Нефадея молвить слово за Кондратюка? Не друзья, не товарищи особые, а все одно, когда земляк рядом, и на душе как-то приятней.

- Подумайте хорошенько, - обратился Костенко к солдатам. - Кто сомневается в себе, можно еще отказаться. Но когда пойдем, чтоб никаких! Команды выполнять беспрекословно. Чувствовать локоть друг друга. И - сам погибай, а товарища выручай. Все понятно?

Отказавшихся не нашлось.

В оставшееся до ночи время Костенко всем приказал выспаться. Сам же с биноклем принялся изучать участок, выбранный для перехода группы к позициям противника.

Не понимал Кротов Григория Кондратюка.

- Тю, дурной! Сам напросился. А ну как убьют?

- Не каркай, - оборвал его Григорий. - Убить везде могут. Вот хряснешься в блиндаже лбом об бревно, и пошлют твоей мамке: «Геройски погиб»!

Гаврюха вспыхнул:

- Да кабы приказали, и я б пошел! А так, не-е... Зазря башку подставлять.

- Ладно, умник. Пожитки лучше мои возьми. В случае чего, перешлешь или передашь моим.

- Это я сделаю! Это я могу! - великодушно согласился Гаврюха. - Но все ж зря ты, Гришка...

- Не бухти...

Земляки смотрели на Кондратюка и Мещерякова жалеюще.

- Значит, ночью? Сегодня? - допытывался Мирон Сыпко.

Нефадей озлился:

- Нет, завтра утром! Как солнце поднимется.

- Не злись, Нефодька. Это я так, просто...

Алешка Дорожкин щедро угощал табаком и бодро говорил:

- Главное, чтоб потемней было. Немчура, они, говорят, дюже как темноты боятся!

- Так же, как и ты? Тогда очень даже хорошо, - поддел его Суров.

Еще в Подгорье все знали про Алешкину слабость. Пуще всего на свете он боялся темноты и свиней. В детстве кабан укусил его за лодыжку, с тех пор Алешка десятой дорогой обходил даже самую захудалую хавронью. Однажды, сговорившись, девки подшутили над ним. Когда Алешка темным вечером возвращался с улицы, подстерегли его, спрятавшись за тыном, и угрожающе захрюкали. Дорожкин со страху моментально оказался на тополе, куда взобрался непостижимым образом, так как ствол был гладкий, а до нижних веток добрых метров пять. Влез на самую верхушку и присидел там часа

два, стыдясь крикнуть и позвать на помощь. Девки прыскали в кулак, хватались за животы и хрюкали. Когда все открылось, взбешенный Алешка гонялся за девками, но те убежали, не догнать. Долго еще потешались над Дорожкиным после того случая.

Нефадей отозвал Сурова в сторонку. Вытащил из кармана гимнастерки носовой платок, подал дружку.

- Возьми.

- Чего это? - не понял Суров, машинально взял платок.

- Хустка... Собкаловой Тане отдашь, ежели... Да смотри не потеряй. И сопли свои ею не вытирай. Скажешь, мол, он вспоминал тебя, когда к немцам шел. Ну и нашим расскажешь, как оно было.

- Ишь-ка... - повертел Митька хустку в руках. - Таньке Собкаловой... Не-е... Не возьму! - Сунул хустку назад Нефадею. - Ты чего, дурила? Сам и передашь, когда вернешься. Да и на что ее передавать, раз подарила? Удумал... Я такой, что и потеряю! Помирать он собрался...

- Разошелся... - улыбнулся Нефадей. А душу будто теплом пригрело. - Возьми... Не хочу, чтоб какой-нибудь гансяка стал потом по карманам да взял ее.

- Вот еще! - продолжал открепчиваться Суров.

- Ну, ей-Богу! - уже начал злиться Нефадей. - А то вдруг выронится. Ползком же придется.

Кажется, убедил Митьку.

- Тогда... Тогда давай, - поразмыслив, согласился дружок. - И правда, еще потеряется. Сохраню, не боись. Я ее вот сюда, тут надежно, - сунул хустку за пазуху. - А то, может, и мне попроситься? А? Чем я хуже Гришки?

- Сиди уж, - осадил его Нефадей.

- А страшно, Нефодь? - доверительно заглянул Суров в глаза.

- Так что ж теперь, - хмыкнул тот. - Надо же... Ладно, пошли мы, спать велено.

Команда новоиспеченных разведчиков отдыхать улеглась в блиндаже в роте штабс-капитана Артемова.

Сначала вполголоса разговаривали меж собой, потом, после того как фельдфебель Занько прикрикнул на говору-

нов, притихли. Сон никак не шел, каждый лежал и думал о своем.

Нефадей шепотом спросил Кондратюка:

- Гришка! Слышь-ка? Надоумило-то чего тебя попроситься?

- А сам не знаю, - зашептал тот. - Наверно, проверить себя захотелось. Да и еще. Полгода как здесь, а живого немца еще не видел. Может, захотелось увидеть... Сам не знаю... Подпоручик наш как тебе?

- Сурьезный. С солдатами по-людски.

- И я ж про него так. Ну, давай, авось и всхрапнем малость.

Мысли понемногу стаяли, незаметно подобралась дрема.

Снился Нефадею цветущий луг. Солнце только-только встало, роса, пичуги невидимые щебечут, а по росе босиком - дивчина в платье. А на том платье словно цветы луговые отражаются, такое красивое. Дивчина все время спиной к Нефадею, не оборачивается. «Кто ж такая?» - гадают Нефадей и не может признать. Не кажет дивчина лица своего и близко не подпускает, уходит. Нефадей - нагонять. Заспешила, заспешила дивчина - пропала, растаяла, нет дивчины... А на лугу сразу стало хмарко и стылко, туманом холодным повеяло...

К чему сон? Кто она? Эта дивчина...

Подпоручик Костенко в бинокль все вглядывался во вражескую оборону, заграждения и никак не мог решить, в каком же месте лучше подобраться к германским траншеям.

Эх, если бы «язык» понадобился раньше на два-три месяца. Тогда взяли бы его легко. Можно было подстеречь его у криницы. Теперь уже нет ни криницы с журавлем, ни мостков через речку. И наша, и вражеская артиллерия размолотили их начисто. Воду подвозят с тыла. Ночью без особого риска можно бы брать ее и в речке, но вода в ней почему-то горько-соленая. Потому и вырыли местные жители криницу - речную воду отказывались пить даже овцы.

Нет даже примерного плана проведения операции.

Время - его-то и не хватало на подготовку. Приходилось надеяться на авось и уповать на счастливый случай. Пробраться к траншеям противника, а там уж - по обстоятельствам. Но

прежде чем приблизиться к ним, необходимо миновать заграждения - невообразимое переплетение колючей проволоки, последние ряды которой перед окопами немцев увешены всяким звякающим, брякающим хламом.

В бинокль хорошо видны тут и там трупы наших солдат - группа поручика Попова, погибшая в прошлую ночь. Ее обнаружили и срезали из пулеметов уже после того, как она миновала немецкие заграждения и, освещенная ракетами, оказалась как на ладони...

Вторая группа действовала правее первой метров на восемьсот. Она, по всей видимости, сумела проскочить через первую траншею и погибла уже там, на этом участке трупов наших солдат не видно.

Можно сделать вывод, что после Попова остался проход в заграждениях, в бинокль, правда, не разглядишь, вряд ли немцы успели его ликвидировать. Черт его знает, как оно там на самом деле, но если проход и есть, все равно следовать по этому же пути - неминуемо нарваться на замаскированные пулеметы. Не дадут поднять и головы, посекут за считанные минуты. Знать бы наверняка стык их рот. Но как узнать?

Узкой полоской наискосок по склону сбегает к речке мелкий, жиденький кустарник. Туда соваться - тоже верная западня, его уж точно держат под прицелом и неусыпным наблюдением.

Здесь же, рядом с Костенко, находились Астапов и Артемов. Все трое поглощены изучением переднего края противника. Штабс-капитан ровен, говорит мало, в тоне его голоса нет и следа недавней неприязни. Клямин тоже приходил, у него разболелся зуб, и Костенко, видя его страдания, сказал:

- Алексей Кузьмич, идите, мы сами.

Тот покорно подчинился, сказав:

- Я пройду по ротам, еще раз предупрежу, чтоб не спали ночью, смотрели в оба.

Выглядело это так, словно Клямин был подчиненный Костенко.

- Посмотри, Анатолий Васильевич, - обратил Астапов внимание того на оставленную вешней водой промоину, пересекающую проволочные заграждения левее того места, где их

переходил Попов. - Видишь? По ней, кажись, можно проползти, не задев проволоки. Как считаешь?

- Можно... - покривил губы Костенко. - И я ее заметил. Только, думаешь, они дураки? Тоже, небось, себе на уме, глаз на нее уж точно положили. Нет, не годится... - Чертыхнулся. - Место, хуже не придумаешь! Как вылизаны склоны, ни тебе бугорочка. Что вправо, что влево. Гиблое место!

И такой вылизанный склон, полого поднимающийся от речки до гребня, на котором начиналась первая линия германской обороны, был на всем протяжении против позиций, занимаемых полком Брюна.

Костенко все более мрачнел и поглядывал на часы. Время бежало неумолимо, еще пара часов - и наступят сумерки, ничего уже не разглядишь, а он ни к какому решению пока еще не пришел. Спешка, черт бы ее побрал! При ней неопытную группу неминуемо ждет участь разведчиков Попова. Именно спешка больше всего и удручала Костенко. Но внешне старался выглядеть спокойным.

- Подожди, - заговорил Астапов, скорее рассуждая, чем адресуя свои слова Костенко, медленно ведя бинокль вдоль промоины. - С их стороны вряд ли ее заметно... Она начинается у самой полосы заграждений и идет через них не прямо, а под углом, наискосок к речке. Склон в этом месте чуть-чуть круче, чем в остальных местах, и если смотреть на промоину с их стороны, она этой крутизной скрадывается. Следовательно, об этой промоине они наверняка и не подозревают...

- Пожалуй... - неуверенно произнес Костенко и тоже уставил бинокль на промоину. - Но черт его знает... Мы думаем так, а они... Видят ее или нет - попробуй угадай! Вообще-то не должны. Как, по-вашему, штабс-капитан?

- Думаю, Аркадий Николаевич прав, - после паузы отозвался Артемов. - Не видят.

- Так... Ну что ж, придется выбрать этот вариант. Впрочем, другого и нет.

Костенко опустил бинокль, вытер вспотевший лоб. Предполагать дальнейшее развитие действий было делом, равносильным гаданию на кофейной гуще. Решение надо будет принимать, исходя из складывающихся обстоя-

тельств, на месте. Главное, приблизиться к первой траншее. А потом...

Кто мог сказать, как все сложится потом?..

Договорились о поддержке пулеметным огнем в случае обнаружения разведки противником. На связи с Артемовым будет также артиллерийская батарея, готовая открыть огонь по первому требованию. Соседние с первой роты тоже будут наготове.

Костенко ушел к своим отдохавшим разведчикам.

Узнав от Артемова, что подпоручик категорически отказал Степанову, тоже пожелавшему идти в поиск, полковник Брюн досадливо скрипнул зубами. Проговорил в трубку:

- Действуйте, штабс-капитан, как мы с вами условились.

ГЛАВА 23

Повел Костенко группу после полуночи. С винтовок приказал снять штывки - удобней так, когда придется ползком. Кроме винтовки каждый вооружен ножом.

- С Богом! - перекрестился подпоручик.

- Господи благослови! - перекрестился и фельдфебель Занько. - Шейка копейка, алтын голова, по три денежки нога - вот нам и вся цена.

Через проходы миновали свои заграждения. Перешли речку, вода в ней уже спала - по пояс, холодная, однако из-за нервного напряжения холода не почувствовали. Несколько минут переждали на берегу, осторожно, лежа на спине, слив воду из сапог. Поползли вверх по склону, интуитивно ориентируясь в темноте, чтобы точно выйти к промоине.

Ночь свежая и безлунная, еще с вечера небо затянуло сплошными тучами.

Немцы ракеты пускали изредка, лениво, с большими перерывами, Костенко обратил на это внимание. И насторожился. Такой факт, казалось, разведчикам как раз на руку, однако подпоручику что-то не нравилось спокойствие противника. Раздумывал: что бы это значило?

Первым полз Ушаев, бесшумно, словно бесплотная тень. За ним Костенко. Сзади слышалось приглушенное, сдерживаемое дыхание остальных.

Вот и ряды проволоки, а между ними спирали, которые и днем, в спокойной обстановке, не так-то просто преодолеть.

Слава Богу, вышли точно к промоине.

Костенко мысленно похвалил Ушаева, подполз к нему, остальным дал знак остановиться.

- Вот она, - зашептал солдат.

Промоина была узкой и неглубокой, проползти по ней под проволокой, не зацепившись, - задача нелегкая. Надо всем телом вжиматься в землю.

Костенко пока медлил.

Втянутся в промоину разведчики и окажутся словно в ловушке. Малейшая оплошность, зацепит кто проволоку, загремит на ней жестяно-консервная бижутерия, и, считай, пропало дело, всполошатся немцы и перестреляют, как куропаток. И неизвестно, какой глубины промоина дальше, можно ли ползти, не завязнешь ли в ней окончательно. Ножницы есть, но лучше не прибегать к ним, все из-за этих проклятых побрякушек, которых немцы за длительное время повешали, как на рождественскую елку украшений.

Ночь, как назло, тихая. Мечтал сейчас Костенко о непогоде, чтоб дождь похлестче, да с ветерком чтоб. Но, слава Богу, хоть луны нет.

- Ушаев! - Прикрывая рот ладонью, шепотом приказал тому: - Вот что, братец, давай, проверь, сможем ли проползти по промоине через все заграждения. А мы пока тут подождем тебя. Да винтовку оставь, чтоб не мешала.

Солдат вытянул долговязую шею, слушая офицера, попятливо закивал и безмолвно растворился в темноте.

Очень быстро, Костенко и не ожидал, что тот сумеет так быстро, вернулся Ушаев. Появился совершенно бесшумно, подпоручик вздрогнул от неожиданности.

- Ваше благородие! - взволнованно зашептал. - Там ползут! Сюда ползут!

- Кто ползет? - Внутри у Костенко все сжалось.

- Они! Немцы!

Костенко вмиг покрылся холодной испариной.

- Где ты их видел?

- Не видел. Слышал. Я только последний ряд прополз - ползти можно, дальше шире даже, - приподнялся, слышу разговор тихий. Не по-нашему. Я сразу назад. Они тоже, видать, хотят через промоину.

«Тоже разведка!» - пронеслось в голове.

Значит, знают немцы о промоине. Вчерашний поиск Попова их, по всей вероятности, сильно насторожил, сами решились, в свою очередь прощупать оборону русских и взять «языка». Вот почему так нехотя пускают ракеты над передним краем. Усыпляют внимание противной стороны, а сами направили разведгруппу. Сколько их? Много бы отдал сейчас Костенко за ответ на такой вопрос.

Надо было принимать решение. Через несколько минут немцы будут уже здесь.

Костенко разделил разведчиков на две группы. Они залегли по обе стороны промоины. Как только первый немец минует полосу заграждений, Усачев и Занько бросаются на него, берут живьем. Мещеряков и Кондратюк страхуют их. Остальные отсекают немцев, не давая им возможности вырваться за пределы рядов колючей проволоки. Между ними они будут скованы и не смогут кинуться на выручку своего товарища. Как только «язык» будет скручен, не мешкая, как можно быстрее возвращаться к своим окопам. Пока оборона противника, разобравшись, в чем дело, не откроет огонь, выручая свою разведку.

Нефадей до рези в глазах всматривался в темноту. Сердце бухало, казалось, так, что его услышат сейчас невидимые пока, но где-то уже совсем близкие немцы. Толчки крови упруго отдавались во всем теле, ощущение, словно и земля вздрагивает и пульсирует. Секунды тянулись невыносимо долго. Быстрее бы уж!

Послышался шорох и прерывистое дыхание. Нефадей ждался, напряжился. Почему медлят фельдфебель и Усачев?!

Передний немецкий разведчик миновал последний ряд проволоки, облегченно выдохнул, приподнялся на локтях и, выбравшись из промоины, пополз прямо на Нефадея. И второй немец, кажется, уже выполз из-под проволоки. Что же там Занько и Усачев?!

Немец, ползший первым, спутал первоначальный план. Он сразу же выбрался из промоины и пополз в сторону. Занько и Усачев оказались от него дальше, чем Мещеряков и Кондратюк, и на какие-то секунды замешкались, не зная, на кого бросаться - на первого немца или же второго, тоже уже успешшего миновать заграждения.

Нефадей почувствовал толчок в ногу лежавшего сзади и чуть сбоку Кондратюка и, сцепив до судороги зубы, резко оттолкнув ногами тело от земли, рванулся на немца, грудью навалившись на его голову, заламывая ему руки за спину. Немец коротко вскрикнул и захрипел, прижатый лицом в землю.

Нутряно хлипнул второй немец. Занько ударил его ножом в спину, приглушенно крикнул:

- Мещеряков! Своего берите живьем!

И сразу грохнули выстрелы. Стреляли и наши, и немцы, следовавшие за первыми двумя. Поняв, что нарвались на засаду и оказались на полосе заграждений, как в западню, отстреливаясь, поспешно поползли назад.

Изловчившись, воспользовавшись тем, что Нефадей на какую-то секунду расслабился и вздрогнул, услышав протяжный громкий стон фельдфебеля Занько, немец ловко повернулся и, крутнувшись на боку, ударил своего противника ногами в живот. Нефадей упал на спину, крикнул Кондратюку:

- За ноги его хватай! - И сам опять рванулся на немца.

Григория немец успел ударить ножом. Но Кондратюк, уже раненый, зажал руками его колени, не давая выпрямиться. Нефадей подмял немца, оглушил кулаком по затылку, скрутил за спиной руки.

- Гришка, ты ранен? - кинулся к земляку.

Тот силится подняться на руках и падал на грудь.

Немецкая линия обороны взорвалась пулеметами, взлетели ракеты.

- Отходим! - подал команду Костенко. Подскочил к Мещерякову: - Ранен?

- Не я. Кондратюк.

- А этот живой? - ткнул револьвером немца.

- Кажись, живой...

- Тащи земляка. - Пленного приказал взять двум другим солдатам. - Отходим! Быстрей! Занько, Усачев!

- Фельдфебель ранен.

- О, черт! Где Ушаев?

- Убит!

- Быстрей! Помогите тащить раненых!

Немецкие пулеметы пока были не особо опасны, очереди стлались по склону выше голов разведчиков. Опасались за своих, из-за этого не ударили и из пушек. Но на склоне, по которому предстояло вернуться в свои окопы, пулеметы опасны смертельно. Артемов же почему-то молчит, а поры бы ударить уже и батарее, не пулеметами. Хорошо, хоть соседние роты открыли огонь.

- Вот, кажись, и взаправду пришло мне время на тот свет... - захлебываясь кровью, ронял слова фельдфебель Занько тащившему его Усачеву. - Теперь уже не во сне... Брось ты меня, не мучься... Из-за меня и сам пропадешь. Конец мне...

- Молчи! - прикрикнул Усачев. - Немного осталось до своих. Потерпи.

Фельдфебель дернулся - еще одна пуля попала в него. Усачев даже не успел опустить мертвое тело, следующая пуля раскроила ему череп.

Упал еще один, второй...

А батарея все молчала.

Молчали и пулеметы Артемова.

Через бруствер своих окопов перемахнули два солдата, тащившие пленного, Мещеряков с раненым Кондратюком, Костенко, побелевший, взбешенный, зажимающий окровавленную руку, да еще один солдат. Остальные остались лежать там, за бруствером.

Запоздало ударили батарея и артемовские пулеметы.

- В чем дело, штабс-капитан? - вне себя от гнева, матерясь, подскочил подпоручик к Артемову. - Почему не открывали огня?

- Опасались задеть вас, - невозмутимо ответил тот.

Костенко чуть не задохнулся от ярости.

- Какой, к черту, опасались! - закричал, морщась от боли и негодования. - Ведь видели же, где мы находимся! Было

светло как днем! Задеть! Э-эх! - и опять крепчайшее ругательство. - А они не опасались за своих, ладненько накрыли нас из пулеметов! А батарея?

- Досадный случай. Связь была, как на грех, оборвана. Поэтому и команда не была отдана своевременно. В последний момент связь наладили, и сразу же батарея открыла огонь. Следом дал команду и пулеметам.

Костенко опять выругался, употребив все самые крепкие слова, какие только приходили сейчас на ум.

- Мертвому припарки, ваш огонь! Раньше! Раньше надо было! Дождались, когда нас как цыплят...

- Не кипятитесь, подпоручик, - холодно, едва разжимая губы, сказал Артемов. - Вы, я вижу, во всех бедах склонны обвинить меня.

- А кого же?! - возмущенный до предела, подступил Костенко к штабс-капитану, еле сдерживаясь, чтобы не схватить того здоровой рукой за грудки. - Вашу бабушку, что ли? За такие дела... Теперь вижу, что вы за штучка!

Подпоручик сплюнул и с клокотавшим в груди возмущением пошел перевязываться. Чувствовал, еще два слова - и не выдержит, схватится за револьвер. Раненую руку держал на весу.

Артемов с усмешкой посмотрел вслед и передернул плечами.

Узнав о результатах разведки, полковник Брюн сожалеюще сказал штабс-капитану:

- А зря! Зря Степанова там не было... Немного не так вышло, Владимир Андреевич, как думали.

- Вот именно, не так, - раздраженно сказал Артемов. - Поэтому и пришлось по ходу менять все. А не так, как с вами задумали. Не открывать огня, а наоборот, молчать. И лишь потом открыть его и дать команду батарее.

- Вы сориентировались правильно. Конечно, дойди они до окопов противника и открой вы в это время огонь, они бы сразу были обнаружены. И тогда... Ну да ладно. Зря... Зря Степанова там не было...

Артемова передернуло.

- Слишком наглядно получилось. Меня подозревают в умышленной задержке огня.

- Успокойтесь. Какие у кого могут быть доказательства? Порыв связи с артиллеристами действительно был? Это может быть существенным моментом, чтобы кое-кому заткнуть рот.

- Да, я позаботился об этом. И потом связь была восстановлена.

- Хорошо, хорошо...

Артемов смотрел на полковника угрюмо. Его в эту минуту он терпел с трудом, но оба они связаны одной ниточкой, о которой никто и не подозревал, и штабс-капитан Артемов вынужден был гасить свои чувства неприязни к этому человеку. Такой, сообразуясь со своими интересами, при случае подставит под удар и его, Артемова.

Солдаты после этой ночи смотрели на штабс-капитана с неприкрытой враждебностью.

Что касается большинства офицеров, их мнение выразил подпоручик Ямбович с обычной своей прямоотой:

- Темните, штабс-капитан! - И смотрел уничтожающе. - Не гложет вас ничего? Совесть, например?

- Пошли вы к черту! - зло отмахнулся Артемов.

Ямбович хохотнул.

- Выдержанность, штабс-капитан! Вы меня когда-то упрекали в ее отсутствии, а теперь сами... Нервы, понимаю, нервы... - с издевкой, ядовито.

Смерть Усачева потрясла Астапова. Который уж денщик за войну...

Прощаясь с Костенко, которого отправляли в тыл, в госпиталь, удрученно говорил:

- Не могу примириться с мыслью, что его нет...

- Война, брат. Война... - вздыхал Костенко.

- Ну, прощай, Анатолий Васильевич. Своих скоро увидишь...

- Увижу... Дай Бог, чтоб только руку не оттяпали. Об этом сейчас молю. Долбануло ее крепко.

- Все нормально будет. Не унывай.

Обнялись молча.

Свели фронтовые дороги своих людей, они же и развели. Вряд ли доведется встретиться.

Григорий Кондратюк ранен был тяжело.

- Не забуду, Нефадей... - шевельнул спекшимися губами.
- Не ты, убил бы меня немец. Не забуду. Спасибо, не бросил...
- Выздоровляй, Гришка, - как можно бодрей сказал Нефадей. Чувствовал себя виноватым. Не сплоховал бы, не вернулся бы у него немец - не лежал бы сейчас Кондратюк с ножевой раной.

Еще и благодарит...

- Домой после госпиталя попадешь, поклон там всем нашим. Выздоровляй...

Гришка прикрыл глаза.

Достаточно повидал уже Нефадей и смертей, и страданий раненых, гложу от взрывов, наслушался безобидного, когда летят мимо, посвиста пуль, но участие в разведке, где и он сам стоял на шаг от смерти, ожгло его душу, оставив в ней саднящий рубец.

ГЛАВА 24

Приказом по армии и флоту 22 мая 1917 года Временное правительство вместо генерала Алексеева Верховным главнокомандующим назначило генерала Брусилова, отозвав его с должности главнокомандующего Юго-Западным фронтом.

Принимая столь высокий пост, Брусилов не тешил себя иллюзиями. Мучимый сомнениями, он все более понимал: продолжение войны Россией в сложившейся обстановке становится практически невозможным, никакими средствами войска уже не удастся заставить воевать. На это могли надеяться лишь неискушенные люди, играющие в политику, но мало смыслящие в военных делах, а попросту - профаны, вроде того же Керенского. Однако какая-то надежда на перемены в лучшую сторону все еще теплилась.

На посту главнокомандующего Юго-Западным фронтом Брусилова сменил генерал Гутор. Но фронтом он командовал считанные дни.

Борис Савинков, бывший к тому времени уже комиссаром восьмой армии, которой командовал генерал Корнилов, переведенный на эту должность с поста командующего Петроградским военным округом, доносил Керенскому, что генерал

Гутор не способен командовать фронтом, и требовал заменить его Корниловым. Керенский оперативно откликнулся на требование Савинкова и тут же поручил Брусилову отправиться на Юго-Западный фронт для замены Гутора Корниловым.

Скрепя сердце (к Корнилову относился с предубеждением) выполнил этот акт, считая его лично совершенно неуместным.

По приезде Верховного главнокомандующего Корнилов ему заявил:

- Я согласен заместить генерала Гутора. Но у меня есть определенные условия. В таком положении, в каком находятся войска сейчас, считаю своим долгом заявить следующее...

Брусилов не дал ему договорить, раздраженно оборвал:

- Никаких ваших условий, генерал, выслушивать, тем более принимать, не собираюсь и не намерен. Не кажется ли вам, что, торгуясь при назначении на столь высокий пост, вы подаете дурной пример нарушения воинской дисциплины? Мы с вами не на базаре. Вступайте в должность, а ваши условия извольте оставить при себе.

- Хорошо, - сдержанно ответил честолюбивый Корнилов. Брусилова он ненавидел в эту минуту, болезненно завидовал славе и популярности того. - Но я оставляю за собой право обратиться по волнующему меня вопросу, в случае необходимости, к правительству.

- Ваше право, - бросил коротко Брусилов, не желая продолжать неприятный ему разговор.

Разумеется, Корнилов, в свою очередь, не забыл своего друга Савинкова - тот стал комиссаром Юго-Западного фронта.

Едва Верховный главнокомандующий возвратился в Могилев, в Ставку, Керенский потребовал издать приказ о восстановлении на фронте военно-полевых судов и смертной казни. Это было требование Корнилова и Савинкова. Ознакомил с телеграммой от них, в ней девять пунктов - практически проект приказа.

«Восстановить в пределах территории военных действий закон о смертной казни и полевых судах, распространить его на внутренние округа... Провести основательную и беспощад-

ную чистку всего командного состава... Воспретить законом митинги и собрания в войсковых частях... Воспретить распространение в армии литературы и газет большевистского направления... Воспретить въезд в район расположения армии делегаций и агитаторов...».

Каждый пункт начинался словом «воспретить».

Так вот какие условия выдвигал Корнилов, вступая в командование Юго-Западным фронтом! Брусилов отметил: они, в основном, перекликаются с теми требованиями, которые он сам предъявлял Временному правительству в своей мартовской директиве, будучи главнокомандующим того же фронта. Тогда не вняли требованиям... Ушло время, потеряно. Но то был март. Сейчас Брусилов не решился бы выдвинуть подобные требования.

- Против этого требования в военное время трудно что-либо возразить, - сказал Керенскому. - Однако вопрос в том, кто же будет выполнять приговоры? Как мне представляется, в настоящее время, какое мы переживаем, практически просто трудно найти членов судов и исполнителей смертных приговоров, их тотчас самих убьют. Приговоры останутся на бумаге. А это было бы окончательным разрушением остатков дисциплины в войсках. В данный момент сомневаюсь в целесообразности принятия такого приказа.

Керенский был явно недоволен такой реакцией Брусилова. Хотел высказаться резко, но решил, что тем только повредит делу. Сказал успокоительно:

- На этот счет можете не беспокоиться. Нужные люди найдутся, уверен. Вам следует только подписать приказ. Он необходим нам. Ударные батальоны уже есть. Должен быть и такой приказ. Да, мы введем в армии революционный террор. Все, что является требованием для укрепления дисциплины, все должно быть введено. - И, понизив голос, словно их кто-то мог подслушать: - Но введем так, чтобы народ не понял, что мы возвращаемся в армии к дофевральскому режиму...

Поколебавшись, Брусилов приказ подписал...

И понял, что в лице Корнилова нажил себе врага. Невесело подумал: как непредвиденно закрутился виток истории. Он, Брусилов, старый генерал, кадровый военный, и этот,

мнящий себя выдающейся исторической личностью, адвокат Керенский... Судьба свела их у руля России. Какой сюрприз ждет завтра?

Генерала Корнилова Брусилов считал личностью противоречивой, склонной даже к сумасбродству.

С ним Брусилов впервые столкнулся в начале войны. Корнилов командовал бригадой в составе восьмой армии. Вскоре по ходатайству командира корпуса генерала Цурикова был назначен командиром сорок восьмой дивизии. Безусловно, это был смелый генерал, но безрассудно смелый, часто совершенно бессмысленно лез в огонь. У солдат за такую безумную храбрость Корнилов вызывал восхищение. Вскоре его дивизия была разбита - он вылез вперед, смутно представляя боевую обстановку, особенно на флангах, и не выполнил приказ Брусилова на отход, что и привело к трагической развязке.

По настоянию Брусилова его хотели отдать под суд, но вскоре дело замяли. Этот факт Корнилов, разумеется, помнит. Не тот он человек, чтобы забыть и не снизить до личностных обид.

Пользуясь безнаказанностью, Корнилов опять сломя голову двинул свою пополненную дивизию вперед, и опять был разбит и окружен у села Гуменного. Потерял обозы, артиллерию, оставил у противника массу пленных. Спаслись жалкие остатки дивизии, в том числе и сам Корнилов.

И опять нашлись высокие заступники.

Переведенный в третью армию, при атаке этой армии он не исполнил последовавшего затем приказа отступить, дивизия его была окружена и сдалась вместе со своим командиром. Самого Корнилова с группой штабных офицеров захватил небольшой австрийский разъезд. Командир дивизии, неопасно раненый, поголодав несколько дней в горах, куда бежал, не выдержал и спустился в долину, где и был пленен австрийцами.

В плену его поместили в лазарет. Подлечившись, Корнилов бежал, подкупив фельдшера.

Казалось, на этот раз Корнилову не уйти от суда. Тем более, о его поведении рассказал командир корниловской бригады Попович-Липовац, раненный в тех же боях. Однако произошли удивительно странные метаморфозы. Командиру

бригады приказано было молчать. Генерал же Иванов, командующий фронтом, расписал поступок Корнилова как подвиг, прославляя бесславно кончившую дивизию, и в особенности ее командира. В результате Корнилов вместо суда получил из рук царя орден святого Георгия третьей степени и был назначен командиром корпуса.

Узнав о таких проявлениях милости царя к сумасбродному генералу, безусловно отличавшемуся личной храбростью, но из-за своей горячности и необузданности пролившему напрасно кровь тысяч солдат, Брусилов уже особо не удивился. Поступки государя были иной раз просто непредсказуемы.

Карьера генерала Корнилова за время войны выросла стремительно. Начинал командиром бригады, теперь - главнокомандующий Юго-Западным фронтом. Лавры славы не дают Корнилову покоя, вероятно, и во сне. В этом Брусилов более чем уверен. И ради этого готов на любое коварство. Плевать ему и на Временное правительство, хотя и показывает себя ярким его приверженцем, сейчас так нужно - возносит на высокие посты, а явится удобный момент - не посчитается с ним, сомнет. Опасный человек, по натуре авантюрист, и бед России может принести немало. Но как бы то ни было, приходилось его терпеть, Керенский за Корнилова горой.

ГЛАВА 25

В июле по всему Юго-Западному фронту вспыхнули бои. Русские войска перешли в наступление.

Главнокомандующий Юго-Западным фронтом генерал Корнилов и комиссар фронта Савинков приняли самые жесткие меры, вплоть до расстрелов на месте, чтобы заставить полки и дивизии вступить в бои с противником. В тылах вдоль всего фронта маневрировали ударные батальоны, силой оружия принуждая непокорные части атаковать германские позиции. Пошли повальные аресты среди солдат и офицеров - членов полковых комитетов, выступающих против продолжения войны, требующих незамедлительного мира с Германией.

- Заткнуть глотки горлопанам! Пулей! Чтоб в войсках и думать забыли о большевистском мире! Чего захотели, кана-

льи... Я им покажу «без аннексий и контрибуций»! Продавать Россию не позволю! Большевистскую заразу вытравить, чтоб и духу не было. Ударным батальонам не миндальничать. Неподчинение - немедленно применять оружие, - требовал Корнилов.

- В вашем лице, Лавр Георгиевич, русская армия наконец-то приобрела твердого полководца, способного навести порядок среди этого хаоса и анархии, - подогревал Савинков честолюбие генерала. - Все истинные патриоты жаждут, отчаялись уже и надеяться, видеть во главе армии человека несгибаемой воли, обладающего железным характером, не боящегося взять на себя всю ответственность в трудное время для России. Не фронтом вам командовать, Лавр Георгиевич. Не фронтом...

- Ваше Временное правительство думает по-другому, - без всяких обиняков выдал Корнилов. - Ему больше по душе пришелся аморфный старик Брусилов.

Савинков улыбнулся, видя, как Корнилов болезненно pokrивил губы, назвав фамилию Верховного главнокомандующего.

- Вы так находите? Это еще ровным счетом ничего не значит, что Брусилов Верховный. Смею вас заверить, дорогой Лавр Георгиевич, ваши выдающиеся способности не могут быть не замечены. И они уже замечены. Уверяю вас. Мне-то вы, надеюсь, верите?

Савинкову Корнилов верил. Пока, по крайней мере, верил. Уж кто-кто, а Савинков субчик еще тот - держи ухо востро. Но сейчас гнул линию, приятную душе генерала. Ну а о влиянии Савинкова на Керенского Корнилову известно, как никому.

Кто бы мог подумать всего-то несколько месяцев назад, что вот так тесно, бок о бок, будут вершить одни общие дела ярый приверженец царя, не переносивший самого слова «революция», считавший даже самого робкого либерала врагом России, по которому плачет пеньковая веревка, а в лучшем случае - сибирская каторга, и такой же ярый, но враг монархии, боевик-революционер, главным аргументом борьбы приземлющий только взрыв бомбы и выстрел револьвера, сосланный в свое время царем в сибирскую каторгу.

Гордившийся тем, что он выходец из гущи простого русского народа, Лавр Георгиевич Корнилов презирал всех этих умствующих князей, графов и прочих баронов, нерешительных генералов, продажных депутатов Государственной думы, слюнявых интеллигентов, вроде того же адвоката Керенского, дорвавшегося до власти. Считал, что лозунг: «Вера, Царь и Отечество» - столп, на котором держалась и должна в будущем поколеблимо держаться матушка Россия.

И однако ж, применение самых жестких репрессивных мер по отношению к частям, отказывающимся выполнять приказ о наступлении, не принес ожидаемых результатов. Наступление развивалось вяло, на многих участках фронта полки, выбив противника из первой линии его обороны, останавливались и топтались на месте. Закреплялись на занятых позициях или же вовсе откатывались, контратакуемые противником.

Германские и австро-венгерские войска после первых ударов русских вскоре пришли в себя и в свою очередь предприняли контр наступление, во многих местах развиваемое относительно успешно, - русские части сдавали свои позиции.

Стратегической инициативы ни одна из сторон не получила, тактические же успехи колебались как чаша весов - то в одну, то в другую сторону. Боевой дух немецких и австро-венгерских войск также находился на весьма невысоком уровне. Изнуренные длительной войной, солдаты обеих воюющих армий воевать не желали.

Полк полковника Брюна взбудоражился, и, как в первые дни революции, замитинговал, отказываясь идти в наступление. Ни сам командир полка, ни офицеры ничего не могли поделать с солдатами.

Весь корень зла Брюн видел в полковом комитете. Степанова же ненавидел люто. О, с какой легкой рукой он расстрелял бы этих негодяев, мразь, возомнившую себя хозяевами положения. Понимал полковник и другое: отдай он сейчас приказ об аресте комитетчиков, его бы не выполнили. Обозленная солдатня бросится на офицеров и растерзает их и, в первую очередь, его, командира полка.

Соседние полки дивизии уже завязали бои с противником.

Степанов опасался, и не без оснований, - уже наслышались об ударных батальонах, стреляющих в спину своим, - разозленное неповиновением командование дивизии и армии пойдет на крайние меры, и обернутся они неминуемым кровопролитием.

Большинство офицеров затаилось, солдат боялись и категоричных суждений относительно наступления старались не высказывать, в самом прямом смысле опасаясь за свою жизнь. Между собой тоже не откровенничали.

Подполковник Клямин только разводил руками, показывая этим жестом: а что он может поделать.

Штабс-капитан Артемов внешне казался бесстрастным ко всему происходящему, похудел, осунулся, у него часто подергивался мускул на щеке. И поди узнай, что за мысли занимают сейчас штабс-капитана. Его будто разьедал какой-то внутренний огонь, он стойчески переносил его, словно жжение это было сейчас как раз и необходимо ему, а явится момент, известный лишь ему одному, и этот огонь штабс-капитан выплеснет вожделенно, облегчаясь.

Флегматичный Гулевский, командир четвертой роты, казался всегда невыспавшимся, и можно было подумать, что его волнует лишь один вопрос: как бы соснуть часок-другой.

Ямбович заявлял, ни к кому конкретно не обращаясь:

- Вообще-то нехорошо... А настроение просто дерьмовое!

Что «нехорошо» и отчего у подпоручика дерьмовое настроение - объяснял ли сам себе?

Ямбович изменился, стал немногословен, весь будто ушел в себя. Внешне повзрослел, петушиную задиристость спрятал в потайной карман. На верхней губе у подпоручика - не цыплячий пушок, пробились настоящие усы, делавшие его значительным и даже умудренным.

У Астапова двоякое чувство. Рядом дерутся соседние полки, льется кровь, а они - сторонние наблюдатели... Зябко, пробирает дрожь, иней на сердце холодит неприятно, ноюще. С другой стороны - в мозгу садняще восставало против бессмыслицы: опять кровь, опять трупы. Царь сброшен, револю-

ция, новое правительство, грудь у всех распирало - свобода! И, по существу, никаких изменений. Более того, красные банты, речи, упоение - революция, и, вслед за этим, непонятное: ударные батальоны, военно-полевые суды, расстрелы. И это свобода? Конец войне не видно. Все те же призывы к призрачному «победному концу». Полк бурлит, и может так стать, в один неожиданный час в тылу обнаружится отборная часть, направит оружие на непокорных, и тогда... Трудно представить, что будет тогда. Для чего все это? И не лучше б было, если бы государь-император оставался на престоле...

А он, Астапов, как он должен вести себя? Он член полкового комитета, для многих офицеров - белая ворона. А для солдат?

Словно прислушивался полк, тревожно напряженившись.

Брюн доложил в дивизию, там пришли в негодование, обругали, немедленно обещали задавить полк, перетряхнуть так, что «серая скотинка» забудет и как мать родную кличут, побегут как миленькие на германские окопы, когда в затылок будут направлены пулеметы.

Обещали так, но ударных батальонов не хватало. Слишком много было полков на фронте, подверженных революционной бацилле, подобных полку полковника Брюна.

Притих полк в тревожном ожидании.

Смутно.

И как облегчение, как спад напряжения - утром противник сам попер в наступление, пытаясь испытать неустойчивое, как качели, боевое счастье на этом участке, где русские все сидели в своих окопах и, как видно, не собирались атаковать. Прделаны ночью проходы в заграждениях, а утром - артиллерия, и пошли цепь за цепью.

Теперь все встало на свои места.

Пулеметы татакали, сливались выстрелами в гигантский трескучий костер трехлинейки.

Передние цепи немцев броском перескочили речку, перебежками устремились через развороченные снарядами заграждения. А сзади еще и еще накатывались цепи. Какой-то еще момент, и ворвутся в траншею.

Миг, и дрогнет, побежит выталкиваемая из окопов паникой русская матушка-пехота.

Толчок, нужен толчок, иначе погибель. Паника и смерть - родные сестры-близнецы.

Почти одновременно, оскалив в неслышном среди стрельбы крике рот, метнулись через бруствер подпоручик Ямбович и штабс-капитан Артемов. Потрясая призывно револьверами: «Братцы! За мной! Ура!»

Две одинокие фигуры навстречу пулям, навстречу вражеской передней приборной волне.

Секунда, другая, резкий спад стрельбы, и - единый выдох, тело за бруствер, пружиной кинутое вперед, страх скользнул через пятки, остался там, на дне окопа, сейчас - бессознательный, отдельный от мыслей порыв, неостановимый, страшный в своей всеокрушающей силе.

И следом многоглоточное: «Ур-ра-аа!» - валом, перекастом, попеременно с мать-перемать.

Первая рота, вторая, и пошли, пошли другие роты и батальоны полка в лобовую контратаку.

Стихия взрыва, мгновенный переход от холодящего живот страха к шквалистой, взметнувшейся враз, словно выстреленной пращей, неосознанной еще, бегущей впереди самого солдата храбрости. И в ней, горячечной, и только так казалось, утвердилось вбитым накрепко гвоздем - единственное спасение.

ГЛАВА 26

Нефадей вырвался вперед, ног не чуял: так скачет обезумевший от опасности заяц - летит, едва касаясь земли. «Заяц! Заяц!» - билось сейчас несуразное в голове, будто существующей отдельно от тела, которое и не очень в ней сейчас нуждалось.

Полубоком, согнув в колене ногу, вскинул винтовку немец. Каска у него сползла на глаза, он дернул головой, откидывая назад этот железный котелок, увенчанный блестящей пикой, похожей на толстый зуб бороны, и одновременно с этим движением дернулась в его руках винтовка.

Ожгло ухо, и только теперь Нефадей сообразил, что немец стрелял. В него! На палец влево, и пуля разворотила бы мозги. И тогда б перестал быть он, Нефадей Мещеряков. Было бы его тело, оно бы упало, и из головы текли, остывая, кровь и мозги...

Эта ужасающая мысль помutilа сознание.

Немец передернул затвор и, охнув, переломился, ткнув винтовкой в землю, - Нефадей не помнил, не понял даже, каким образом с ходу натолкнулся штыком точно в его живот. Отдернул винтовку и, не оглядываясь, побежал дальше, что-то крича, не видя никого ни рядом, ни впереди.

И вдруг остановился как вкопанный - увидел свой штык. На гранях густо - кровь. Значит, он убил? Человека?! Сглотнул подкатившую приторно-сладкую слюну. Оглянулся, метнулся к «своему» немцу.

- Ты что?! - Натолкнулся на него с разбега Суров. Глаза навькате, рот перекошен. - Не стой, дура, пугалом! Хлопнут! - Толкнул друга, и оба опять рванулись вперед.

На плечах отступавших немцев роты ворвались в их траншеи.

Кто-то дико и тонко заверещал. Нефадей метнул в ту сторону взгляд.

Прижав к стенке окопа Кротова, дюжий немец, держа винтовку в обеих руках как палку, давил ею на горло Гаврюхи. Тот отчаянно отбивался, но немец был явно сильней.

Нефадей отбросил в сторону свою винтовку и прыгнул на немца сзади, обхватил за шею. Немец, засипев, оттолкнулся от Гаврюхи и попытался ударом о противоположную стенку окопа сбросить противника. Не удалось, Нефадей рук не разжал. Тогда немец рванулся корпусом вниз, падая, перекинул Нефадея через себя, подмял, вцепился в горло.

Гаврюха стоял столбом, ошалело вытаращив глаза, точно его загнипотизировали.

Нефадей начал задыхаться, терять сознание. И когда, казалось, все уже кончено, почувствовал, как разжались на горле железные пальцы. Это Суров прыгнул в траншею и, суетясь вокруг сцепившихся тел, прикладом бил немца в затылок. Тот медленно поднялся, стал на карачки, хватая ртом воздух, как выброшенная на берег рыба.

- Чего, гундява, стоял?! - заорал Суров на Гаврюху. - В штаны, небось, наложил, хрюкало?!

Кротов тряся, зуб на зуб не попадал, только мычал что-то.

После гибели Усачева Гаврюха попробовал подлащиться к командиру роты, набиваясь в денщики: «Да я для вас!» - почти не сомневаясь, что уж кого-кого, а земляка поручик возьмет непременно. Состоять в денщиках виделось Кротову заманчивым - близко к командиру, для роты уже не просто солдат, а личность уважаемая, выгоды разные, и перечислять их даже не стоит. А случится бой, денщику не обязательно переть на рожон, его дело, как у работника, обихаживать своего хозяина, угождать ему, за что тот, глядишь, и областит лишний раз.

Вышла, однако, осечка.

Астапов оглядел Кротова - тот, вытянувшись, «ел» глазами поручика - и сказал, что решил обходиться без денщика. Раздосадованный Гаврюха распоследними словами обругал про себя командира роты и с тем остался - не солоно хлебавши.

Втайне завидовал Гришке Кондратюку, тот отлежится в госпитале, а там отпустят и домой. Вот так бы и ему, Гаврюхе, только чтоб ранило полегче, куда-нибудь в мякоть, к примеру, хоть в ту же задницу. Не велика беда, сидеть нельзя, зато лежать можно. Напотешился бы с Шуркой, стервой... Па-а-а-а-а! Ничего... Подвинулся бы батя, фронтовику первый пирог положено. Зараза! Уж пропахал бы... Насквозь проштыковал! Чтоб до стону, до ойканья, чтоб от боли корежилась! Курвяки... Жеребятся там, трутся пузами, а тут... Ужо погоди, батянечка!.. Поквитаемся еще!

Немцы оставили свои первые траншеи и отошли на вторую линию обороны. Полк в азарте боя ринулся было и на нее, но стараниями нескольких членов полкового комитета, и в первую очередь Степанова, прекратил преследование отступающего противника.

Даже среди солдат нашлось немало, кто возмутился, но Степанов осек:

- Жизнь надоела? Так давайте, прите. Надо вам? Очень надо? Только чую, дорого геройство ваше может обойтись. За

здорово живешь немцы ничего не отдадут. Погодите, как бы не пришлось еще без штанов да без оглядки тикать отсюда. Думаете, успокоятся? А вы, дурыи головы... Наступать вам! Там только того и хотят, - ткнул пальцем вверх. - Кладите свои жизни! Вот вам и конец войне. Откуда ж ему быть, коли сами желаете? Желаете? Вояки... - Говорил зло, жестко, намеренно почти косным языком. - От того и воюем-помираем, что хвост поджимаем, когда чуть горячо. Таких, что в Петрограде засели, господ временных, под зад мешалкой вслед за царем. Одна масть. Вот тогда и будет толк. Своя власть нам надобна, рабочих, солдат, крестьян. А вы им на руку подыгрываете, буржуйам.

Почесали затылки. Вроде и верно: таким макаром если, откуда ж тут быть ему, миру с немцами.

Приказу полковника Брюна продолжать наступление полк не внял.

- Обойдемся покамест, господин хороший. И так вон сколько наших лежат снопами. А приказ твой... Инструмент мы на него ложили! Будя!

Брюн кипел, стихийно ринувшиеся в атаку солдаты, категорически противившиеся наступать и до этого, остыли и уперлись опять, как стадо твердолобых баранов. Командиры же батальонов и рот осторожничали, не настаивали на наступлении, махнули рукой - бесполезно. Солдаты больше прислушивались к Степанову. Разгорячены боем, чуть погладь против шерсти - взъерепенятся, заклацают затворами. Упаси Божь! Не армия, а орава с большой дороги. Тут не приказ нужен, а дуло в рожу, чтоб прямо в глаза глядело.

У соседей на флангах полка гремело, ухало. Здесь же прихло, немцы не шебуршатся, отошли, зализывают побитые бока. Только надолго ли?

Подошел, утирая слезы, Алешка Дорожкин.

- Мирона убило...

- Врешь! - выдохнул Суров.

- Рядом со мной бежал... В голову его... Сразу...

Вот и нету больше Мирона Сыпко, молчаливого, медлительного хлопца, тихони и страшно застенчивого, особенно с девками, при них он только и мог что пыхтеть да краснеть. Ни

с одной и подружить добром не успел. Нет больше земляка... Как просто - был, и нету...

Как в воду глядел Степанов - ненадолго притихли немцы.

Артиллерийский обстрел начался внезапно. На свою первую линию обороны, занятую теперь русскими, немцы обрушили шквал огня всех батарей. Прекратился он внезапно, так же, как и начался. Только вздохнули - опять. Еще более мощный огонь открыли немцы.

Опять убитые, раненые...

- Аркадий Николаевич, что делать? - в сплошном грохоте кричал Астапову на ухо Степанов, грязный, обсыпанный землей, пробравшись по ходу сообщения во вторую роту. Бледен, растерян. - Люди гибнут!

- Где Артемов?

- Черт его знает! Не мог найти. Такая каша, к вечеру все останемся здесь. А наша артиллерия молчит!

- Надо отходить, - подумав, сказал Астапов. - Прекратят огонь, этим надо воспользоваться и сразу отходить. Позиция невыгодная, со стороны же немцев удобная для атаки. Не удержимся, сомнут. Но... Кто даст приказ?

Степанов закричал:

- Какой к черту приказ? Не видите, что творится! Ни командования, ни связи. Мясорубка!.. В роты пошлю связных, - решительно сказал Степанов. - Пусть объявят об отходе.

«Объявят...» - отметил Астапов. Дико, непостижимо, не привык он действовать без приказа.

Странное творилось, не понять, кто командовал полком, кто отвечал за него...

Астапов попытался представить, как прореагируют офицеры в ротах и батальонах, узнав о самовольно принятом решении председателя полкового комитета. Воспротивятся? Вряд ли. Тоже в растерянности и, вероятно, ждут какого бы то ни было распоряжения, не решаясь на принятие самостоятельных решений. Понять можно, офицеры между двух огней: вышестоящим командованием и солдатами, почти вышедшими из повиновения, власть над ними - призрачность. В случае чего, вся анафема падет на голову Степанова - он вер-

ховодил полком, он подбивал солдат. А что, мол, могли поде-
лать они, офицеры?

Подумав так, Астапов уколол себя: он сам чем отлича-
ется от них? Та же нерешительность, то же ожидание - не-
известно чего и неизвестно от кого. Степанов не боится, он
действует.

Астапов разыскал командира батальона.

- Горячо, Аркадий Николаевич? - спросил тот, ответа и
не ожидая. - Молотят! - с каким-то даже восхищением, но с
горьким закусом губ.

- Отходить надо, Алексей Кузьмич!

- Отходить так отходить, - покивал с готовностью подпол-
ковник, словно был не командиром батальона, а рядовым сол-
датом, которому уже все безразлично - как скажут, и ладно.

- Но нет приказа. Неизвестно, где находится командир
полка. Степанов послал по ротам связных, чтоб те довели до
сведения офицеров его решение об отходе. Как быть?

- Даже не знаю... - откровенно сказал Клямин.

Едва осела земля от последних взрывов, полк поспешно
начал отход, унося раненых, оставляя убитых.

Все четверо подгорьевских держались вместе, не теряя
один другого из вида. Бежали, пригнувшись, вглядываясь в
лежащих убитых - не Мирон ли Сыпко. Забрать, не оставить
земляка. Не наткнулись...

- Повоевали! - Со злостью воткнул Суворов винтовку шты-
ком в землю, когда, запыхавшись, спрыгнули в свою обжи-
тую за месяцы траншею, которую покинули утром. Припра-
вил отборным крепким словом.

Посмотрел за бруствер. И все посмотрели туда. Долго смо-
трели. Искореженная, вспаханная взрывами земля, спутан-
ная перекаати-полем колючая проволока и клубки спиралей,
обрывки на кольях и кочки, кочки. Серые неподвижные коч-
ки по всей лощине и склону, по обеим сторонам речки. Трупы
русских и немецких солдат.

Где-то там, среди них, лежит и земляк их Мирон, подго-
рьевский хлопец, скромняга, очень уж стесняющийся горяче-
глазых румянощеких девах, сверстниц своих...

В середине июля Керенский известил Брусилова о своем намерении провести в Могилеве, в Ставке, совещание высшего командного состава, на котором должно быть оговорено направление дальнейших действий.

Незадолго до того в частной беседе Брусилову доверительно было сообщено, что Керенский ставил вопрос в правительстве о замене Верховного главнокомандующего, проча на этот пост Корнилова. Стало более чем понятным: здесь не обошлось без участия Бориса Савинкова.

На предстоящее совещание Брусилов вызвал генералов Алексеева и Рузского, в свое время присутствовавшего при отречении Николая II, которое принимали Гучков и Шульгин, главнокомандующего Западным фронтом генерала Деникина и главнокомандующего Северным фронтом генерала Клембовского. Корнилову же было дано указание оставаться на своем фронте, так как в это время противник обрушил на него массированные удары, и отлучаться главнокомандующему фронтом во время развития таких событий представлялось совершенно неразумным. Юго-Западный фронт на совещании представлял Борис Савинков, комиссар этого фронта. Отсутствовал также генерал Щербачев, проводивший наступательную операцию на Румынском фронте.

Поезд Керенского прибыл на вокзал раньше намеченного часа. Выйдя из вагона, Керенский не увидел никого из встречавших. Разгневанный, он рвал и метал, крича, что генералы вконец разболтались, их следует приструнить, а генерала Брусилова и знать он не желает после всего этого, и вообще, черт знает что творится, «прежних» не посмели бы так встречать. Его грозные тирады сыпались направо и налево.

К Брусилову явился адъютант Керенского с требованием того немедленно прибыть на вокзал. Прервав текущие дела, Верховный главнокомандующий вместе с начальником штаба генералом Лукомским в автомобиле отбыли на вокзал.

У Керенского надушенный вид.

- Ваш поезд мы ожидали, как и было обусловлено, в два тридцать дня, - спокойно объяснил Брусилов причину своего

отсутствия на встрече. - Вы же прибыли более чем на час раньше, о чем я не был поставлен в известность.

- Ладно, - хмуро сказал Керенский. Себя он сдерживал, своего неудовольствия и упреков не высказывал, но холодное отношение с его стороны чувствовалось сразу. - Доложите обстановку на фронтах.

Брусилов вкратце доложил, взглянул на часы.

- Простите, Александр Федорович, совещание назначено на три часа, скоро уже четыре, генералы ждут. Следует, быть может, отложить совещание?

- Нет! - отрывисто сказал Керенский. - Едем.

Совещание с перерывами продолжалось до двенадцати ночи. Открыл его Керенский.

- Временному правительству необходимо выяснить следующие три вопроса: военно-стратегическую обстановку, общую обстановку и какими мерами можно восстановить боеспособность армии. Я хотел бы выслушать от лиц, опытных в военном деле, объективные выводы из рассмотрения этих вопросов. - И опустился в кресло, обводя пронзительным взглядом генералов, ожидая дискуссии.

На губах Деникина, молодого, немногим за сорок, генерала, однако рано погрубевшего, обрюзгшего, отчего казался он почти стариком, блуждала ехидная усмешка. Остальные генералы молчали, переглядываясь.

Легко подняв из кресла свою худощавую подтянутую фигуру, кашлянув в кулак, начал Брусилов:

- Прежнюю дисциплину восстановить нельзя. Я намеренно начал именно с этого вопроса, ибо нельзя обсуждать военно-стратегическую обстановку в отрыве от рассмотрения состояния дисциплины в армии. - Пригладил пушистые кавалерийские усы. Умными светлыми глазами пронизательно смотрел на главу Временного правительства. Тот почувствовал себя неуютно от этого взгляда, заерзал в кресле. - Начальники - от ротного командира до Главнокомандующего - не имеют, по сути, никакой власти. - Сделал паузу и обвел взглядом присутствующих. Керенский вытянул свое бледное лицо. - Работа комитетов и комиссаров не удалась. Они заметить начальников не могут... - У Брусилова, казалось, пропало всякое желание говорить.

Удивительно живо для своего грузного тела взвился из кресла Деникин и, перебив Верховного, заговорил, размахивая руками:

- Комиссары и комитеты разлагают армию! Через них совершенно открыто идет захват власти. Необходимо воссоздать армию. Совершенно изъять из нее политику. Упразднить комитеты. Ввести дисциплину и восстановить власть начальников. Иметь под рукой отборные части как опору власти на случай необходимости применения вооруженной силы против неповинующихся на фронте и в тылу. Ввести смертную казнь не только на фронте, но и в тылу. Да! Да!

- Спокойнее, генерал! - резко оборвал Керенский. Нервно выбросил от себя руку. - Так воссоздайте армию! От вас этого и требуют. Ударные батальоны созданы, на Юго-Западном фронте они действуют, и весьма успешно. - Посмотрел на Савинкова. - Так найдите же им правильное применение и вы на своем фронте. И вы еще говорите об отборных частях! Вы их имеете! Применяйте силу, власть в ваших руках. Приказ о введении смертной казни введен. Чего вам еще не хватает для решительных действий? Меньше слов, больше дела, генерал. Террор! Понятно? Необходим беспощадный террор!

Тут не выдержали и другие генералы, враз заговорили, перебивая друг друга.

В итоге совещания, как такового, не получилось, превратилось в перепалку с взаимными упреками и претензиями. Керенский дошел до взвизгиваний и трагично хватался за голову.

...На следующий день после совещания в Ставке, 18 июля Верховный главнокомандующий генерал Брусилов получил телеграмму: «Временное правительство постановило назначить вас в свое распоряжение. Верховным главнокомандующим назначен генерал Корнилов. Вам надлежит, не ожидая прибытия его, сдать временное командование начальнику штаба Верховного главнокомандующего и прибыть в Петроград. Министр-председатель, военный и морской министр Керенский».

Такого поворота следовало ожидать.

Брусилов сбросил со своих плеч тяжкий груз, однако отставка покоробила, глубоко оскорбила его. В этот труд-

ный для России час он сам не помышлял об отставке, считал нечестным оставить фронт и уйти, сняв с себя ответственность. Но его не спросили, и он вынужден подчиниться приказу.

Мотивы отставки представлялись Брусилову вполне ясными и понятными.

Однажды, пребывая в Ставке, Керенский задал такой вопрос:

- Алексей Алексеевич, я хотел бы знать вашу позицию в таком деле. Если я найду необходимым возглавить революцию своей диктатурой, вы... поддержите меня?

Брусилов ответил решительно:

- Нет, ни в коем случае. Ибо считаю в принципе, что диктатура возможна лишь тогда, когда подавляющее большинство ее желает.

«Не дай Бог этому произойти! - подумал. - Эта эксцентричная личность, став диктатором, способна принести неисчислимые беды и без того страдающей России».

- Понятно, - без видимого огорчения сказал Керенский. И задал следующий вопрос: - Хорошо, в таком случае, не согласитесь ли вы сами взять на себя роль диктатора? Разумеется, когда возникнет в этом необходимость.

Брусилов ни секунды не обдумывал свой ответ.

- Кто же станет строить дамбу во время разлива реки? Ведь ее снесут немедленно прибывающие волны. Нет, я даже и думать об этом не хочу и не могу. Диктаторство в России опасно, оно может вызвать лишь взрыв, в результате которого народ понесет неисчислимые жертвы.

- Понятно и на этот раз, - сказал Керенский все с той же бесстрастностью и уже вопросов подобных больше никогда не задавал.

Было, однако, очевидным - слова Верховного он запомнил накрепко.

После отставки в Петроград Брусилов не поехал, испросил разрешения отбыть в Москву, где с семьей жил его единственный брат. Разрешение было получено. Хотел отвезти туда заболевшую жену, потрясенную всем происшедшим в последние дни.

Он не мог оставить Надежду Владимировну одну, которую любил, с которой был счастлив все эти семь лет совместной супружеской жизни.

Брак с Надеждой Владимировной был вторым. Что касается первого брака, то и о нем Алексей Алексеевич с полным правом мог сказать: он так же оказался счастливым.

Свою первую жену, Анну Николаевну Гагемейстер, Алексей Алексеевич любил горячо и безмерно. Женился на ней довольно поздно, в тридцать один год. Единственно, что омрачало семейную жизнь - болезнь жены. Здоровье ее оказалось слабым, болела она почти постоянно, и Алексей Алексеевич жестоко страдал, не в силах ничем ей помочь. Дети рождались мертвыми, и только через четыре года после свадьбы родился здоровый сын Алексей. Кроткая и глубоко любившая своего мужа, выросшая в лютеранской семье, Анна Николаевна, несмотря на противодействие родственников, приняла православную веру, всем сердцем, всеми своими помыслами принадлежала мужу. Последние годы жизни Анна Николаевна особенно страдала и, разбитая болезнью, не вставала с постели. Скончалась за шесть лет до войны.

Потрясенный безвременной кончиной горячо любимой жены Алексей Алексеевич остался один с сыном Алексеем, учившимся в Пажеском корпусе, откуда выпустился корнетом.

Надежду Владимировну Желиховскую Брусиллов знал еще совсем маленькой девочкой, потом лет двадцать они не виделись. Он и позабыл ее, никогда не вспоминал. Вспомнил, лишь когда прочитал в «Братской помощи» несколько ее статей о московских лазаретах, где лечились раненые, участники русско-японской войны.

После смерти жены Алексей Алексеевич считал, что жизнь его кончена, он должен жить только ради сына Алексея, если и нужна женщина, то ее можно найти и без женитьбы. В то же время преследовала навязчивая мысль: он должен жениться на Надежде Владимировне.

Казалось смешным, как можно думать об этом, когда знал ее совсем девочкой, и не виделись они двадцать лет. Она гораздо моложе, и он не знает даже - замужем ли она. Однако

решился и написал ей, она жила в Одессе, адрес ее узнал через «Братскую помощь». Встретившись с Брусиловым и узнав о его намерениях, Надежда Владимировна очень им удивилась, но после некоторого раздумья согласие на брак дала. И больше они уже не расставались, Надежда Владимировна всюду следовала за мужем, куда бы он ни отправлялся по делам службы.

По пути в Москву Брусилова одолевали тяжелые раздумья. Взглядом он окидывал всю свою жизнь, оценивая ее с высоты прожитых лет. Как она сложилась, жизнь? Можно ли быть удовлетворенным и считать ее удачной?

Кавказ, отец - генерал-лейтенант, председатель полевого аудиториага Кавказской армии. Помнится совсем стариком. В действительности так оно и было, отцу исполнилось шестьдесят шесть, когда родился сын Алексей. Мать же совсем молодая. Ей не исполнилось и тридцати. Смутно помнятся лица родителей. Едва Алексею сравнялось шесть лет, умер отец, а спустя несколько месяцев скончалась от чахотки и мать.

Алексея и двух его братьев, четырехлетнего Бориса и двухлетнего Льва, взяла к себе на воспитание чета Гагемейстер, Генриетта Антоновна - родная тетка, и Карл Максимович, не имеющие своих детей. Впоследствии Алексей женился на Анне, тоже Гагемейстер, дальней родственнице Генриетты Антоновны. Приемные родители горячо полюбили детей, в полном смысле этого слова заменив им мать и отца, не жалели сил и средств на воспитание. Теплые воспоминания остались от того, такого уже далекого времени.

По достижении Алексеем четырнадцати лет Карл Максимович отвез его в Петербург в Пажеский корпус, куда его зачислил кандидатом еще отец.

Вернулся на Кавказ, получив блестящее образование, через пять лет - офицером пятнадцатого драгунского Тверского полка - пажи имели право выбора полка, в котором желали служить. В гвардию и не пытался попасть - не было достаточных средств, выбрал драгунский полк, расквартированный неподалеку от Кутаиси, где жили приемные родители.

Служба в полку - девять лет. Чем она запомнилась? Кутежами, картами, дуэлями из-за пустяка? Боями с турками

в Русско-турецкой войне 1877 - 1878 годов в районе крепости Баязет, наградами, полученными за те бои? Помнится, все помнится, и то и другое помнится. Молодость... Как она близка, и как она уже далеко!..

Ступеньки продвижения по службе. Командир эскадрона, начальник полковой учебной команды, учеба в Офицерской кавалерийской школе в Петербурге, служба в этой же школе, которую в итоге и возглавил в 1902 году.

Шло время, накапливался опыт, ушла юношеская беззаботность, военные будни, чины, суровая требовательность к себе, подчиненным. Двадцать пять лет жизни отдано Офицерской школе, звание - генерал-майор. Литературные труды - не мог не взять в руки перо, - в них разработка актуальных вопросов ведения боевых действий кавалерии в будущих войнах.

Служба в войсках. Командир дивизии, корпуса, помощник командующего войсками Варшавского военного округа, командующий этим округом.

Войну встретил в качестве командующего восьмой армией в чине генерала от кавалерии.

Вся жизнь отдана армии...

И вот теперь он отстранен, он не у дел, может спокойно отдыхать на даче и заняться мемуарами.

Но разве он стар, немощен? Он чувствует в себе силы, старости не ощущает, от бездействия, буквально на второй день, на него сразу наплывает смертная тоска. Не привык сидеть сложа руки.

Все годы войны у него не было ни одного дня отпуска, он и не помышлял о нем - война. И вот наступил он, отпуск - бессрочный, по всей вероятности. Никому сейчас не нужны ни его знания, ни полководческий опыт. Сейчас генералы и правительство заняты интригой, борьбой за власть. Печально и грустно. Он же не способен к такому. И ни о чем не жалеет в своей жизни. Пусть, быть может, она была в чем-то и не совсем правильной, от ошибок, заблуждений, колебаний никто не застрахован, но он всегда старался честно исполнять свой воинский долг перед Отечеством - в том и была вся его жизнь.

И кто знает, стоит ли списывать себя со счетов подчиненную, время изменчиво, и если понадобится, жизнь свою он не

станет жалеть - отдаст без колебаний. Да, именно ради блага Отечества. В этом, и только в этом высший смысл существования человека.

Время - что несет оно, грядущее?

ГЛАВА 28

Физиономия у Гаврюхи Кротова - словно сияющий, только что начищенный самовар. И это у больного!

В последнее время Кротов - сплошное страдание, скисился весь, оскомно смотреть. Ах, как мне не в мочь, страдаю, болею, свет белый не мил!

Болезнь Гаврюхина объявилась во всей своей болючей красе сразу после боя, когда детинистый немец, не подоспей вовремя Нефадей Мещеряков, переломил бы Кротову винтовкой горло.

- Вот тут болит, - потирал грудь Кротов и страдальчески морщился, ища сочувствия у земляков. - Спасу нет! Буравчиком, зараза, сверлит и сверлит.

- Буравчиком? - с серьезным видом спрашивал Суров. - Э, плохи твои дела, брат, если, говоришь, буравчиком... Чего доброго, помрешь в молодые, еще цветущие годы... - И участливо: - А ты тут, понимаешь, воюешь... Ну какой из тебя вояка, спрашивается. Правда, хлопцы? - Те поддакивали. - Тебе бы домой, жирку бараньего попить...

- Дак так-то оно так... - польщенный участием земляков, мялся Гаврюха. Но держал себя настороже - не валяет ли Суров дурака. - Да доктор чего еще скажет...

- Сходи, сходи к нему. Авось, чего и скажет, - присоветовал Суров.

К доктору Гаврюха уже ходил и без Митькиных советов. Сердце екало, шел с дрожью в коленках, на авось. Но все получилось как нельзя лучше. Доктор оказался хорошим человеком, очень даже понятливым, он сразу распознал злосчастную болезнь, вдруг поселившуюся в Гаврюхиной груди. Словом, оба они, и доктор, и больной, поняли друг друга с полуслова. Теперь со дня на день ожидал Кротов официальной бумаги - доктор обещался, что ему стоит справиться ее пустяк!

И тогда Гаврюха уже солдат не солдат, спишут его по болезни подчистую. И - домой!

И вот желанная бумага с подписями и печатями в руках.

- Шабаш! - Потряс ею перед носом земляков. - Домой! - На радостях позабыв и о своей болезни, наличие которой у Кротова законно подтверждала эта самая казенная бумага.

- Нашел-таки доктор болезнь? - присвистнул изумленно Суров, поглядев на не менее изумленных Нефадея и Алешку Дорожкина.

- Ага! Нашел! - Радость через край у Гаврюхи.

- И сколько ж она стоит, та твоя болезнь? - поинтересовался Нефадей, придавливая Кротова своими цыгановатыми глазами, потемневшими еще больше. - Бумажка, стало быть, эта?

- Ты... Чего? - обидчиво поджал Гаврюха губы. Понял, что переиграл.

- Шкура ты, Гаврюха, гундосая! - сплюнул презрительно Дорожкин.

- Ну вы! Вы! - запетушился Гаврюха и больше ничего не мог сказать, будто позабыл все слова враз.

Чтоб еще оправдываться! А вы оставайтесь, дурачье. На здоровье! Одного такого умника уже ухлопали - Мирона. Дождайтесь теперь и вы. А ему, Гаврюхе, жить еще не надоело. Мозгой надо уметь шевелить, дорогие землячки.

Его не провожали. Уехал, не попрощавшись. Крал теперь на них Гаврюха кучу сверху!

- Снабдил батяня своего гундосого сыночка денежкой, - усмехнулся Суров. - Маху дал, пенек старый. А Гаврюха взял да откупился. Уж страсть как обрадуется сыночку! На двоих придется Шурку делить. Бугаи холмогорские...

И больше не вспоминали Кротова, отрубили.

Осталось их теперь трое подгорьевских. О Мироне Сыпко горевали сильно. Жалко, не довелось даже схоронить друга. Собрала похоронная команда убитых, и всех - в одну братскую могилу. В тот день не стреляли ни те, ни другие, ходили по полю и наши, и немцы, собирали своих. Был человек - и нету. До ужаса просто обрывалась человеческая жизнь, что копейка уронила.

Немцы вернулись на свои позиции, оставленные полком Брюна без боя. Попробовали еще атаковать, но уже как-то вяло, отбили их без особого труда. И опять началось сидение противников друг напротив друга. Бои, по слухам, завязавшиеся на всем Юго-Западном фронте, начали повсеместно терять свой накал, утихали.

- Эх! - мечтательно закатывал Суров глаза. - Домой бы сейчас! Хоть на денек... Помыться, попариться, борщичку похлебать, а вечером - на улицу. Девахонек пощипать, пощупать! Аж зудит...

- Где зудит? - с иронией подначивал Дорожкин.

- Где, где! Везде! В особенности тут, - гоготнул Митька, хлопнув себя ниже ремня.

На днях он подходил к Степанову, интересовался, что там слышно насчет конца войны, скоро ли.

Тот посмотрел, посмотрел на Митьку, спросил:

- Домой хочется?

- А то тебе не хочется! Чего спрашивать?

- И мне хочется.

- Так в чем же дело? - Суров воскликнул так, будто от одного Степанова зависело, быть или не быть миру с Германией.

- В чем дело?... Вот когда все захотят, как мы с тобой, тогда и конец войне. Разойдутся солдаты по домам, и шабаш, некому будет воевать. Только не так это все просто, братец. Слышал, в Петрограде Временное правительство расстреляло мирную демонстрацию рабочих, солдат, матросов.

- Говорят...

- Смекаешь теперь? Откуда все зло?

- Да вроде.

Толково, просто объяснял Степанов, на многое открывались Митькины глаза. И теперь он со знанием дела просвещал непонятливого Алешку Дорожкина. Нефадей же, тот сидит, слушает, все больше молчит. Точно пескарь премудрый годов девяноста, для которого слушать Сурова с Дорожкиным - все равно, что лепет детский. О чем думает... Все сокрушается: немца убил. Суров аж вспыхнул: «Дался он тебе, немец! Заплачь еще!». Убил... Он тоже, Митька, убил. Не они б их, так

те. Слов нет, тоже люди, и жалко вроде, так что ж теперь. Война. Не на кулачках сошлись, где синяком можно обойтись.

Слушает Дорожкин Сурова, недоверчиво щурится.

- Ну, возьмем, уйдем все, а немцы полезут? Как?

- Не полезут. Зачем им лезть? И куда? С кем воевать? Нету нас. И тоже по домам айда. Думаешь, им не хочется? Так же, как мы с тобой, сидят, маракуют - домой бы. Кабы все мы... А то Степанов говорил, очень уж мы несознательные еще. И хочется, и колется, и коленки дрожат.

Подал голос и Нефадей, словно очнулся:

- Болтать горазды, а как до дела - кишка тонка. Как бы чего не вышло, страшновато, поджилки трясутся.

- А то! - встрепенулся Дорожкин. - Попробуй! Везде коммандатуры, словят - и под суд. Весь тебе и дом.

- Да не про то я... - Нефадею говорить больше ни о чем не хотелось.

Суров повернул на другое.

- Полковник наш притих. Грозился, а сейчас тихонький такой, и не слышно.

- Притаился, - все же не выдержал Нефадей, заговорил опять. - В других полках, говорят, поарестовали многих, а кого и расстреляли. Комитеты поразгоняли. Кинулись на выручку, а на тебя пулеметы. Так и полковник наш. Покажет еще, где раки зимуют, прижучит - и не пикнешь. Вызовет ударников, те долго не разбираются, прикажут, так и в своих стреляют.

- Нас хоть Бог миловал от них.

- Бог-то миловал, а полковник наш не помилует, припомнит, как орали на митингах. Дай ему только момент. Да и правильно. На его месте как еще?

- Вообще не поймешь, что делается. Брусилова сняли... Теперь Корнилов, тоже с нашего фронта. Чего они там делают? наших офицеров тоже не поймешь, кто про что. А как были они благородиями, так и есть. Гусь свинье не товарищ, тот не захрюкает, а свинья не загагакает. Таких, как наш поручик, мало. Эх, да ну его к чертям собачьим! Наше дело телячье, поживем - побачим, - сказал Суров.

Митьке уже надоело толочь в ступе словесную воду, голова начинает болеть. Говори не говори про сахар, от этого сла-

ще во рту не станет. Ему по душе милые сердцу воспоминания о Подгорье своем, помечтать, побудоражить воображение приятными картинками.

- У нас там Петька Токарь теперь герой! - Суров растянул воображаемую гармошку, перебирая пальцами, как по пуговкам. - Все девки его! Кочетом, небось, среди курочек ходит. - Склонился к Нефадею: - Слышь-ка, Танюха Собкалова к Груньке вашей приходит, сестрица твоя пишет, про тебя все интересуется.

- Интересуется и интересуется. Пускай...

«Сестрица! Митьке пишет, а мне, брату, ни словом, ни намеком про то». Лицо у Нефадея непроницаемо.

Сурова не так просто унять.

- Не поймешь тебя. Про Аню, барышню эту, может, думаешь все. Так дурак ты семиряжский, скажу тебе. Было - сплыло, зайчик солнечный. Блеснул и пропал. Его в руку не возьмешь, не удержишь.

- Я ж сказал тебе... - протяжно сказал Нефадей, морщась от Митькиных речей, как от зубной боли.

- Ладно, молчу. Как хочешь. Каждый барин своей голове, - поспешно сказал Суров и обиженно отвернулся. Попыхтел сигаркой и опять за свое: склонился к плечу друга и невинно-просительно: - Напиши, а?

- Может, и напишу, - буркнул Нефадей. В уголках губ дрогнула едва приметная улыбка.

Печется дружок... Неймется ему, как той свахе, пристал с Танюхой... До всего ему дело. Легко и просто живет Митьке на белом свете. Загорится - спичка. Кажется, все, дотла сейчас сгорит. Нет, туда-сюда, отошел, хоть бы хны, уже щерится, будто счастливей его и нет больше никого на свете. Умеет же! И боль, и смех уживаются в нем, будто сглаживая одно другим. Позавидуешь... «Солнечный зайчик...» Подметил же Митька...

Да, все стало на свои места. Солнечный зайчик можно только видеть, в руки он не дается. Не подозревает Митька, насколько точно он сказал. Как не подозревает о новости, какую Нефадей узнал об Ане от поручика Астапова Аркадия Николаевича. Не то и посмеялся бы еще, мол, вот видишь! В

нем она, эта новость, занозой вонзилась, и никому Нефадей о ней не скажет, в нем она и умрет.

Подумал только: «И вправду, черкнуть, может, Танюхе?..»

ГЛАВА 29

Командир роты к землякам своим, подгорьевцам, с самого начала относился ровно, ничем особым не выделяя их среди других солдат. Такая же требовательность, ни намек на снисходительность, на что очень надеялся было, узнав, к кому попал служить, Кротов. Земляки земляками, но прежде всего для Астапова они такие же солдаты, как десятки других, сорванных войной из своих сел, хуторов, городов, представляющих разноцветье губерний. Кто «окал», кто «акал», тут и «г» - кончиком языка, прижимом к небу, и простодушно-крестьянское «гэ», с выдохом настезь раскрытым ртом, кто - «Фома», а кто «Хвома».

Цветистая речь подгорьевцев, унаследовавшая украинские словечки пращуров, но уже на свой особый выверт, трога-ла Астапова, вызывала воспоминания о беззаботном детстве, радостном и чистом, как утренняя июньская заря, окроплен-ная голубыми росами, когда учителей сын, мальчик Арка-ша, носился с крестьянскими хлопчиками, тоже босиком, по пыльным подгорьевским улицам, разгоняя кур, купавшихся в пыли, вжикая над головой лозинкой - саблей в руках отваж-ного кавалериста. Мама отмывала его вечером в деревянном корыте, ласково журила сына-замазурку, и он, сморенный от дневных игр, засыпал, убаюкиваемый маминой колыбель-ной. Он потом узнал, что это за песня и кто ее сочинил.

Горные вершины спят во тьме ночной.

Тихие долины полны свежей мглой.

Не пылит дорога, не дрожат листья.

Подожди немного, отдохнешь и ты...

Слышится, слышится голос мамы... Закроешь глаза, отрешись от всего - и вот она, мама, руки ее нежные, пахнущие неведомым чудным запахом, так пахнут только материнские

руки, ласкают вихрастую Аркашину голову. Тяжелеют веки, засыпает Аркаша... «Подожди немного, отдохнешь и ты...».

Не выделял Астапов подгорьевских - и все ж. Земляки. Невольно попристальней приглядывался к ним. Держатся вместе - хорошо, молодцы. Локоть друга на фронте - великое дело. Не так долго и прослужили, а уж поредела их компания. Один ранен, один убит, а еще один, солдат Кротов, списан по болезни. По внешнему виду и не сказать, что болен. Кротов не понравился Астапову, когда тот просился в денщики. Глаза чисты, как у младенца, глядят преданно, не моргая, а присмотреться повнимательней - огоньки в них бегающие, такие глаза бывают у людей, глубоко притаивших в уме что-то свое. А что касается денщика, на этот счет у Астапова уже настоящее суеверие - погибают его денщики. Решил больше не брать.

Среди подгорьевцев выделялся смуглый солдат - Нефадей Мещеряков. С виду угрюмый, несколько медлительный на первый взгляд, но за всем этим угадывалась натура горячая, порывистая. Высокий, сухощавый, взгляд пронзительно-настороженный, даже недоверчивый - из-под слегка насупленных бровей. Что-то заботит этого парня, впечатление такое, что он поглощен какой-то важной, доминирующей мыслью, она не отпускает его, живет в нем постоянно.

Вот такого солдата Астапов, пожалуй, взял бы себе в денщики. Но знал, что не возьмет, не давал давивший груз суеверного страха. Чувствовал личную - хотя трезво и понимал, что ни при чем он, - вину за солдат, бывших у него в денщиках. Как бы то ни было, чувство это довлело над трезвой рассудочностью. Афанасий Нефедов, Усачев...

В письмах Аркадию Аня упоминала о крестьянском парне, с которым подружилась, будучи в Подгорье, называла его имя, и, когда пришло пополнение, Астапов, узнав фамилии подгорьевских новобранцев, услышал среди них и ту, которую называла Аня. Так вот он какой, Нефадей Мещеряков...

«Мне так легко с ним, хорошо, - писала Аня. - Представь себе, мы часто беседуем с ним - о ком бы ты думал? - о Льве Николаевиче Толстом. Да, да, о нем! Нефадей удивительно жадно слушает, ему интересно, это действительно так, он не прикидывается, я же вижу. Ему интересно, понимаешь! Мне

кажется, Нефадей хороший человек, искренний, непосредственный, он не способен даже на малейшую фальшь. Трудно представить, да? Едва умеющий читать, и вдруг беседы о Толстом. Но это так. Прав, и еще как прав Лев Николаевич, бесконечно веривший в простой народ, душой страдал за него. И мне интересно с Нефадеем. Он может быть настоящим другом...».

Астапов порывался побеседовать с Мещеряковым, ведь тот совсем недавно видел сестру, но все как-то не получалось. Разговор все откладывался. Из своего же поля зрения Мещерякова не выпускал.

Потом Аня надолго замолчала. Аркадий написал в Тулу несколько встревоженных писем, но ответа ни на одно из них не получил. Написал отцу, пишет ли Аня ему. Оказалось - нет, отец тревожился, не случилось ли чего с ней.

И вот письмо. Из Петрограда. От Ани.

Да, стряслось.

Бедная девочка... Какой удар она перенесла. Потерять сразу и отца, и мать. Одна. Жуткая трагедия.

Неожиданны, невероятно причудливы порой переплетения человеческих судеб. Кто бы мог подумать - она и князь Торский.

«Я была сама не своя - вся как во сне. Трудно описать мое состояние, мне казалось, я прожила длинную-длинную жизнь, и сил у меня больше не осталось. Жить мне не хотелось, все стало безразличным, безразличной стала и сама жизнь, мое существование на свете казалось излишним, никому не нужным, и в первую очередь мне самой.

Виктор вернул меня к жизни. Я ему благодарна, должна быть благодарна. Но знаешь, Аркадий, признаюсь, я и до сих пор словно замороженная, никак не оттаю, не приду в себя, и сейчас во мне апатия, во мне что-то надломилось, какой была я раньше, я уже, наверное, никогда не буду, не сумею, это невозможно.

Виктор мне сделал предложение, и недавно мы обвенчались.

Не знаю, люблю ли его, может, и люблю... Нет во мне пылкости, радостной взбудораженности, есть спокойное

тепло, оно медленно втекает в меня, передаваясь от Виктора, душевное тепло. Возможно, я когда-то и оттаю совсем. Но быть такой, какой была, никогда уже не буду. Чувствую, знаю. И извини, что повторяюсь. Но это ощущение важно для меня, ведь я связала свою жизнь с другим человеком, и уже принадлежу не только себе, не имею права принадлежать только себе, для этого надо быть конченной эгоисткой. Постараюсь, насколько смогу, стать нужной Виктору - женой, другом.

Прости, что так долго не писала, думаю, поймешь мое состояние. Виктор порывался написать тебе, но я сказала, чтобы он не делал этого - я сама, потом, когда почувствую, что хоть какие-то связные мысли смогу выразить на бумаге.

Виктор чувствует себя хорошо (так он говорит), но мне кажется, что рана все же беспокоит его до сих пор, хотя виду он не подает, бодрится.

Его родные отнеслись ко мне тепло, заботливо.

Написала я и дядюшке, твоему отцу. Совсем он у нас там один...

Подгорье вспоминаю. Хорошо там было... Вольно, легко дышалось, птицей я себя вольной чувствовала, из клетки вырвавшейся. Никогда уже, наверное, не будет у меня таких счастливых дней.

А о Нефадее - я тебе, помнишь, и раньше писала о нем, - ничего не знаю. Он почему-то не стал отвечать на мои письма, еще прошлой осенью. Как-то я не так с ним, чувствую, не так... А как - и сама не знаю. Расстались друзьями, а потом замолчал.

Хороший у меня был друг там, в Подгорье. Что с ним, где он... Наверное, в армии, на фронте. Ничего не знаю и боюсь за него - не дай Бог... Война, гибнут люди, калечат их, насмотрелась я в госпитале. Написать бы родным, матери его, Наталье Ивановне, она славная такая, да подумаю-подумаю и не решаюсь - неудобно вроде. А может, так и лучше - не писать, не знать ничего, пусть останется одно - светлое воспоминание на всю жизнь.

В Петрограде у нас беспокойно, демонстрацию недавно расстреляли. Убитые...»

По пути к командиру батальона Астапов встретил штабс-капитана Артемова.

Некоторое время стояли друг напротив друга молча, Астапов испытывал мучительную неловкость от этого молчания, надо было что-то сказать, но слова не находились. Затем Артемов выпрямился, словно ожидал команды «смирно», и, глядя Астапову пристально в глаза, произнес с медленной расстановкой:

- Я должен... Мне необходимо, Аркадий Николаевич, сказать вам следующее. Я должен попросить у вас прощения.

Артемов обращался на «вы», как бы выдерживая тем самым дистанцию, ближе которой быть не следует, что сразу же Аркадий отметил и был несколько растерян, последние же слова штабс-капитана и вовсе привели его в изумление.

- За что? - спросил удивленно, не понимая Артемова, внутренне держа себя настороже

- За все, - коротко ответил штабс-капитан. Склонил голову: - Честь имею. - И, повернувшись как на плацу, удалился ровной, выдержанной походкой.

«Тоже к Клямину...» - подумал Астапов. Повернулся и зашагал назад, к себе в роту. Желание идти в батальон пропало. Там будет и штабс-капитан Артемов, с которым встречаться вновь почему-то не очень хотелось. Это пока безотчетное чувство, возникшее в нем, рождало и вопросы, которые надо осмыслить и правильно попытаться понять.

После Аркадий ругал себя, что не пошел вслед за Артемовым или даже вместе с ним; будь так, не произошло бы то, что произошло. Он предотвратил бы, смог, в этом был совершенно уверен.

Не подозревал Астапов, что перед встречей с ним у Артемова произошел разговор с полковником Брюном - скоротечный и острый, как сабельный удар.

Штабс-капитан явился к командиру полка без вызова. Тем не менее, полковник встретил его весьма приветливо, любезно указал на стул, приглашая садиться, совершенно не подозревая, с чем пожаловал офицер.

Был тот бледен, напряжен, на стул не сел. Глубоко вздохнув, на одном выдохе бросил Брюну:

- Смею заявить, господин полковник, что вы подлец.

Полковник мгновенно изменился в лице, рывком выбросил тело из кресла, бросил сжатые в кулаки руки на край стола, подался корпусом к штабс-капитану.

- Что-о?!

- Что слышали, - невозмутимо произнес Артемов, высоко держа голову. - Готов повторить. Мы оба с вами подлецы. Да! Вы воспользовались затмением моего сознания и толкнули на подлость. Мы оба запятнали честь мундира русского офицера кровью русских же солдат. Это презреннее прямого предательства. И достойно самой суровой кары.

Полковник приходил в себя, смотрел на Артемова с негодованием, презрением, удивлением и непониманием.

- У вас, штабс-капитан, похоже, опять затмение.

- Наоборот. Просветлением.

Артемов щелкнул каблуками и направился к выходу. Обернулся:

- Не бойтесь, господин полковник. Я не доносчик. Бойтесь себя. Своей совести. Это более страшный судия.

- Уж не господин ли большевик Степанов своей пропагандой скovyрнул набекрень ваши мозги? - воскликнул усмешливо командир полка, пораженный метаморфозой, прошедшей со штабс-капитаном.

- Считал и считаю его изменником. И поставил бы к стенке без раздумий. Но пусть займется этим военно-полевой суд, - уже выходя, бросил штабс-капитан, оставив командира полка в состоянии, близком к взрыву бешенства.

Огромным усилием воли полковник взял себя в руки, почувствовал страшную усталость и разбитость. Не снимая сапог, упал на железную походную кровать, закрыв глаза и откинув назад голову.

Ни о чем не хотелось думать, тем более, о наказании или же мести этому штабс-капитану, который, казалось, ударил точно и убойно прямо в солнечное сплетение, причем неожиданно, вероломно.

Сейчас бы отмести напрочь все на свете и оказаться у моря, затерявшись на пустынном прибалтийском берегу, где

есть только бесконечность воды и неба, и никого из людей, кроме любимой женщины, жены, с которой хорошо и просто помолчать. Она, погостив, уехала несколько дней назад в обезумевший, развратный Петроград, с бесовским вожделием растоптавший трон государя-императора и теперь в юродивом угаре на все лады возглашавший революционную свободу, которую бессовестно тискали и лапали, как бесстыжую девку из заведения под красным фонарем. «Гм... Красный фонарь, красные флаги, красные банты, нацепленные на грудь...».

В батальоне, у подполковника Клямина, скучало несколько офицеров. Сам Алексей Кузьмич, высунув от усердия язык, прилаживал латку на прохудившийся сапог. Ему вдруг самому захотелось поработать с дратвой и шилом, поэтому и не приказал денщику отнести сапог в полковую сапожную мастерскую.

Накладывал стежки и думал о будущей совместной их с Зоей Борщевой жизни. Они поедут к ее родителям. Алексей Кузьмич непременно устроит маленький цветничок, где будут главенствовать розы. Он будет вставать утром на самой ранней зорьке, срезать розу, свежую, благоухающую после ночи, еще в капельках росы, ставить в вазе у постели Зои. А когда она проснется, откроет глаза, первое, что увидит - прекрасная яркая роза. Зоя улыбнется, потянется к Алексею Кузьмичу, обовьет рукой его шею и проведет губами по щеке - благодарная, теплая ото сна, такая прекрасная в свете нарождающегося дня.

Командир четвертой роты штабс-капитан Гулевский листал старые замусоленные газеты и позевывал, прикрывая рот ладонью.

Двое офицеров углубились в шахматы: на доске в качестве пешек выстроились стреляные винтовочные гильзы, белого короля изображала кокарда с обломанными усиками.

Подпоручик Ямбович сидел на расшатанном табурете за столом и, шевеля губами, изучал карту мира, предназначенную для гимназий, особенно заинтересовавшись россыпью островов в южной части Тихого океана.

- Алексей Кузьмич, - обратился к подполковнику, покусывая карандаш, - если бы вам подарили папуаса, что бы вы с ним делали?

От такого несуразного вопроса Клямин уронил с носа пенсне и подслеповато уставился на Ямбовича так, как смотрят, по меньшей мере, на диковинного жирафа в зоопарке.

- В свою очередь подарил бы его вам и посмотрел, что тогда уже вы с ним делали бы, - сострил Алексей Кузьмич. И смотрел хитро - а ну, братец, что скажешь на сие?

- Я бы поставил его во главе Временного правительства, - ни секунды не раздумывая, сказал в ответ Ямбович. Уловив немой вопрос, пояснил: - Он бы не рассусоливал насчет всякого либерализма и прочей подобной чепухи, взял бы да и съел всех сразу врагов России.

- Ска-ажите... - протяжно восхитился Клямин находчивостью подпоручика. - Ловко! Всех сразу! До гениальности просто...

Вошедшего штабс-капитана Артемова поприветствовали сдержанно.

Командир первой роты в последнее время не отличался общительностью, замкнулся и обычно все время находился в своей роте, наведываясь в батальон к подполковнику Клямину изредка, только по крайней необходимости.

Подпоручик Ямбович оторвался от карты, изучающе поглядел на Артемова и заговорил, переводя взгляд с одного офицера на другого.

- А что, господа офицеры, закисло мы тут совсем! Развлекаемся примитивно и убого, как папуасы Миклухо-Маклая. Скучота! Не находите? В других полках веселей живут. Русская рулетка. Слыхали? Во всю играют. А мы?

- Господь с вами! - вскочил Клямин, отбросив сапог в сторону. - Вы в своем уме? Что вы несете, подпоручик? Не вздумайте больше и заикаться! Слышите!

Ямбович остался невозмутимым.

- Слышу, слышу, Алексей Кузьмич. - Осветился беспечной улыбкой. - Так что, господа?

- Перестаньте! Я запрещаю! И думать об этом! - побагровел Клямин.

Штабс-капитан Гулевский с сонной ленцой сказал:

- Да бросьте вы, Алексей Кузьмич! Поберегите свои нервы. Кому хочется - пусть играет. Раз жить надоело.

Ямбович поддакнул:

- Алексей Кузьмич, штабс-капитан Гулевский совершенно правильно говорит. Зачем? Зачем нервничать по пустякам и запрещать? Это всего лишь игра... Испытать свою судьбу, фатум - разве это не для настоящего мужчины? Кому суждено утонуть, тот не сгорит в огне. Ну же, господа?

Все оцепенело молчали, шокированные услышанным.

Подполковник Клямин уже не возмущался, наблюдал за Ямбовичем, силясь понять, флер ли это с его стороны, или же действительно осознанное и безумное желание поиграть в смертельную лотерею.

Ямбович картинно вздохнул, потом с улыбкой обратился к Артемову:

- Может, тогда попробуем мы с вами, штабс-капитан?

Лицо у Артемова совершенно спокойно. Ни один мускул не дрогнул, когда произносил совсем буднично:

- Почему бы и нет? Давайте.

Ямбович встал с табурета и под растерянными взглядами офицеров, притаивших дыхание, достал из кобуры револьвер, дунул в ствол, откинул барабан, выковырял из него патроны, оставив один. Сосредоточенно, без спешки и суеты.

- Полагаю, Владимир Андреевич, коль я предложил, мне первому и начинать, - сказал, побелев лицом, но голосом ровным, даже каким-то тусклым.

- Извольте, - кивнул Артемов.

Оба, и Артемов, и Ямбович, находились словно на сцене, остальные - зрители, замершие и дышать переставшие. Неужели не шутка, не розыгрыш?

Подпоручик поднял вверх глаза, не глядя крутнул барабан, поднес револьвер к виску. Сказал:

- Ежели что, как говорится, не поминайте лихом.

Зажмурил глаза и нажал на спуск.

Револьвер щелкнул. Ямбович открыл глаза, опустил руку с оружием.

Нет, не розыгрыш. Игра настоящая - со смертью. Никто, однако, не шевельнулся, во все глаза смотрели на действие, ожидая развязки, скованные каким-то непонятным гипнозом, не позволяющим самым решительным образом прекратить это безумство.

- Теперь вы, Владимир Андреевич, - с испытывающей учтивостью подал Ямбович свой револьвер штабс-капитану.

- Нет-нет, - сделал упреждающий жест рукой Артемов, отводя протянутый ему револьвер. - У меня свой. В нем как раз один патрон. Потом можете проверить.

Ямбович не возражал, согласно разведя руками. Сел на табурет и, чуть наклонив голову вбок, наблюдал за Артемовым.

Подняв револьвер, тот провел стволом по щеке, замерев на мгновение, сказал тихо:

- А Стефанию, подпоручик, я любил...

Ямбович мгновенно понял замысел Артемова. Сорвался с табурета, опрокинув его, бросился к штабс-капитану, чтоб вырвать револьвер и упредить выстрел.

Не успел...

- В нем полный барабан... - сказал растерянно, стоял с расширенными глазами над телом штабс-капитана, рассматривая поднятый с пола револьвер.

Никто достаточно вразумительно не мог объяснить своего пассивного поведения - не помешали, замороженно наблюдали за безумством офицеров, положивших на кон свои жизни.

«Вот он, русский офицер...» - подумал полковник Брюн, узнав о происшествии в батальоне подполковника Клямина, - без злобы, сожаления или удовлетворения, только отмечая сознанием лишь сам факт драмы. Мысленно и машинально перекрестился: «Упокой, Господи, душу преставившегося раба твоего штабс-капитана Артемова...». И еще подумал, что так, пожалуй, и лучше - и для него, полковника Брюна, и для самого штабс-капитана, которому быть и дышать на этом свете было уже, наверное, просто не вмоготу.

Подполковник Клямин и офицеры батальона не стали подставлять подпоручика Ямбовича. Дело представили таким образом, что судебные дознаватели не усомнились в самоубийстве штабс-капитана Артемова. А если и усомнились, то желанием докапываться до истины и мотивов, побудивших офицера к такому поступку, не особо горели. Другие времена, другие подходы и иные озабоченности.

Ямбовичу, рассказавшему все в деталях, посоветовали:
- Позабудьте, подпоручик. И побыстрей. Не корите себя, вы не виноваты.

Собственно, гибель штабс-капитана Артемова была и на самом деле не чем иным, как самоубийством. Подпоручик Ямбович разве что невольно подтолкнул того к этому задуманному шагу по времени - не более того.

Таким раскладом при расследовании и заключением о причине смерти штабс-капитана Артемова вполне был удовлетворен и сам командир полка полковник Брюн, не понесший никакого порицания от вышестоящего начальства за этот прискорбный случай в его полку.

ГЛАВА 31

В Петрограде - новый переворот.

Временное правительство смели большевики. Арестовали его министров и посадили в Петропавловскую крепость, провозгласив в России диктатуру пролетариата.

Керенский от большевиков улизнул.

Верховным главнокомандующим большевики поставили никому не известного Крыленко, одни говорили - матрос, другие - прапорщик. Его предшественник генерал Духонин был расстрелян, он перед приездом Крыленко в Ставку выпустил из Быховской тюрьмы арестованных еще Временным правительством генералов, участников августовского мятежа, в том числе Корнилова, Романовского, Лукомского и Деникина.

Корнилов, не состоявшийся диктатор, сопровождаемый Текинским конным полком, направился на казачий Дон, где генерал Каледин открыто бросил перчатку большевикам. Под Унечей полк был разбит отрядами Красной гвардии. Генерал Корнилов сумел уйти и после опасных мытарств добрался, наконец, до Новочеркасска, одетый в крестьянский зипун, имея паспорт на имя Лариона Иванова.

Пробрались туда и генералы Алексеев и Деникин.

Пылкие патриоты, самозабвенно любящие Россию, на дух не переносившие Советы и разрушителей-большевиков, снюхавшихся с немцами, стекались на юг под трехцветный

стяг, свято веря, что, собравшись в мощный кулак, сумеют, живота своего не щадя, очистить Отечество от революционной скверны, ниспосланной будто самим дьяволом.

Бывший Верховный главнокомандующий Алексей Алексеевич Брусилов подумывал податься на Украину, потом - за границу. Однако, после долгих раздумий, отказался от такой мысли. Не стал ни на ту, ни на другую сторону, несмотря ни на какие увещевания и угрозы. Ибо не мог принять участие в пролитии русской крови, когда русские стали против русских же, оказавшись непримиримыми врагами.

В полку снова бесконечные митинги, кидание шапок вверх и новые лозунги: «Вся власть Советам!» и «Долой Учредительное собрание!»

Полковник Брюн, оценив обстановку, видя, что неуправляемую массу серых шинелей уже ничем не призвать хоть к маломальской дисциплине, махнул на все рукой и исчез из полка.

Так же тихо исчезали и офицеры из рот и батальонов, которых солдаты ставили теперь ни во что. Могли, изгаляясь, сорвать с неугодных погоны и приставить винтовку ко лбу.

К концу января 1918 года полк фактически перестал существовать.

Председатель полкового комитета Степанов, приложив все свое агитационное мастерство, сумел сформировать небольшой отряд, который нарекли красногвардейским. Отряд погрузился на ближайшей станции в вагоны и убыл в неизвестном направлении защищать власть большевиков от контрреволюции.

Агитировал Степанов и поручика Астапова, вопрошая:

- Вы с народом? Или против народа?

Вот те раз! Астапов ошарашенно смотрел на большевика Степанова и не знал, что ответить.

- Ладно! Думайте! - великодушно наставлял поручика солдат, уже точно знавший и выбравший давно, с кем он сам. - Да смотрите, не прогадajte, Аркадий Николаевич! Правильно думайте! Революция - это не в бирюльки играть!

Прогадать - не прогадать. Ведь не базар же, где торгуются и думают, как бы не прогадать. Знает Степанов и как надо пра-

вильно думать ему, поручику. И разве он, русский офицер, не раз смотревший смерти в глаза, собрался играть в бирюльки? С народом или против него... Глупее не придумаешь. Одни - народ, а другие тогда кто же?

Слава Богу, занятый спешными делами, Степанов не стал больше донимать каверзными вопросами и отправился со своим отрядом буйных головешек на защиту Советов.

Разговаривал он и с подпоручиком Ямбовичем, пока еще не сбежавшим, во все глаза озирающимся по сторонам. В отличие от поручика Астапова, у него мгновенный ответ:

- С контрреволюцией бороться? Это как? Теперь уже в своих же, русских, стрелять? Нет, товарищ Степанов, это не по мне. Настрелялся, навоевался. Я лучше певчих птичек стану теперь разводить и на базаре продавать. Говорят, хоть и революция, а очень даже хорошо идут. Вот научу их «Интернационал» распевать, глядишь, и вы у меня купите. А что?

Осталось Степанову крякнуть от досады и только презрительно глянуть на любителя певчих птичек. Не иначе, темнит подпоручик, говорит про птичек, а у самого, небось, сплошная контра в голове.

Большинство солдат полка, приладив поудобней за спиной вещмешок с нехитрым скарбом, закинув за плечо винтовку, побивались в команды, каждая из которых держала свой путь - в направлении родного дома.

Германская сторона безмолвствовала, наблюдая в окуляры биноклей, как опустевают окопы противника.

Полк, как боевая единица русской армии, растаял, растворился, исчез.

Защемило сердце у поручика Астапова...

Три года войны, три года крови, и вот такой финал... Армия, ее уже нет. Финал? Раскрутился бешеный смерч, врываясь в людские головы, будоража и взламывая мозги, выдувая из них трезвое сознание, воспаляя его бесшабашностью, отменяя осторожность и взвешенную осмотрительность, круша устоявшийся уклад бытия, дотоле принимаемый как данность, разумеющаяся, Богом устроенная, на годы и века. Куда повернет, что натворит, где и когда остановится он, этот

нагрывший смерч, похоже, еще только набирающий свою разрушительную силу?

Что теперь? И куда?

Когда стало совершенно ясным, что полк - это уже воспоминание, подошел Ямбович, заговорил:

- Нам, кажется, в одну сторону, Аркадий Николаевич? Ваш воронежский Калач и мой Ростов совсем рядом... Вместе будем добираться?

- Да нет... Я в Петроград.

- Что так? - удивился Ямбович.

- Родственники у меня там. Решил повидаться.

Астапов не стал уточнять, что поручик Торский, бывший командир четвертой роты, которого Ямбович достаточно хорошо знал, стал мужем двоюродной сестры Аркадия. Они в последних письмах настоятельно приглашали его приехать к ним, а уж потом он решит, что делать дальше. Им Аркадий писал, что дело идет к тому, что офицеры скоро окажутся не у дел.

- Ну что ж... - с искренним огорчением сказал Ямбович. - Жаль. Но, даст Бог, может, еще и доведется свидеться.

В эту минуту подпоручик располагал к себе, не был похож на того, каким его привыкли видеть и воспринимать. Глаза серьезные, печально-усталые, разговаривает без всякого налета апломба или же скрытой иронии, совершенно искренне, что нельзя было не уловить.

И очень жаль сейчас стало поручику Астапову расставаться с этим человеком, с которым не был близок, они всегда держались на расстоянии, - это была словно последняя ниточка, паутинка, связывающая с полковым братством - хоть всяко было! - офицеров. И сейчас она порвется...

Рукопожатие задержали, чувствуя оба напряженные пальцы.

- Я вас всегда уважал, Аркадий Николаевич.

- Я вас тоже... - И с ужасным стыдом вдруг обнаружил, что не может назвать подпоручика по имени. Вот ведь как... Никто никогда не называл его в батальоне кроме как Ямбович, подпоручик. Почему?..

Искренне ли сейчас так говорил ответно Ямбовичу? Пожалуй, да. Плохое, будь ворох его, все ж забывается, хоро-

шее, хоть кроха, - помнится, высвечивается в памяти, затмевает негативное и неприятное.

Нет, плохо знали подпоручика, принимали за чистую монету его колкое, иной раз до абсурда, поведение. Ведь и обратная сторона есть у монеты. Ее не открывал Ямбович, а она, точно, так чувствует сейчас он, Астапов, и является настоящим лицом подпоручика, душа которого была закрыта ото всех на крепкий замок. Почему он таков, сам только и знает. Если знает. Порой человек в самом себе плутает и никак не может выйти на себя настоящего, каков есть на самом деле.

Подались навстречу друг другу, обнялись.

- Прощайте!

- Прощайте...

ГЛАВА 32

Верстах в шестидесяти от губернского Курска на довольно крупной станции остановился поезд, шедший, как почти все поезда на железных дорогах России в это время, - без расписания, под завязку набитый разношерстной публикой. Солдатами с фронта, бросившими окопы, возвращающимися домой; кто с оружием, вплоть до пулемета - авось, еще сгодится, кто без оружия - уж, дай Бог, самому добраться до родной хаты, а винтовка - глаза б на нее не глядели, продал или выкинул. Дельцами разных мастей, от мешочников до ловкачей, стряпающих любой, удобный твоей душе документ - только денежки плати. Захочешь, можешь, к примеру, стать депутатом бывшей Государственной думы или же похвалиться революционным мандатом, удостоверяющим, что владелец оного является инспектором комитета по охране музейных ценностей древнего Египта и государства Урарту.

Один мужичишка, обожавший пустить пыль в глаза лопоухим гражданам, проживший в столице аж пять лет, ехал теперь в родное село насовсем, где не так холодно и голодно и где, наверняка, сейчас поспокойней, чем в Петрограде с его революцией и стрельбой - ухлопать могут ни за понюшку табака, справив себе бумагу, в коей утверждалось, ни много ни мало, что служил он конюхом в конюшне самого его импера-

торского величества Николая II, притом главным. Ужо в селе разинут рты! Вот так Ванька, скажут. Уважение обеспечено.

Много личностей в офицерских шинелях с недавно споротыми золотыми погонами. Держат руку в кармане, в котором, ясное дело, не что иное как револьвер с полными барабаном. Постоянно настороже, бдительным оком ощупывают каждое новое появившееся лицо. Эти держат путь в южные края, не отдыхать, разумеется, - там, по слухам, весь цвет генералитета, готовится большое дело.

Трусоватенько ерзают задами на скамьях добропорядочные по виду граждане в окружении своих жен и чад - сорвались с насиженных мест всем семейством. Одеты попроще, но господская стать так и выпирает из скромного одеяния. Цепко, спрятав под себя, держат баульчики, без которых они уже не господа, а ничто, нищие. Едут, пока не знают куда точно, тоже на юг, подальше от греха, от взбунтовавшихся голодранцев, объявивших войну дворцам.

Едет простой российский люд, волею различных обстоятельств пустившийся в дорогу в это суматошное время. Им тоже страшно, потому как ничего не понятно - поезда часто останавливают, сплошные проверки, люди с винтовками и наганами требуют документы, чего-то и кого-то выискивают, присматриваются, вынюхивают. Всегда страшно, когда к тебе подходит вооруженный человек - кто знает, что у него на уме.

Шныряют карманники, тут их ремеслу полное раздолье.

Много, много пассажиров всяких, нету тут ни первого, ни третьего класса, все скопом, в холодных скрипучих вагонах, освещенных ночью жалким огарком свечи в единственном фонаре, от которого под унылый стук колес шевелятся пугающие тени.

Никто не знает, надолго ли остановка.

Клямин поглядел в окно, вытягивая шею, пытаюсь рассмотреть название станции. Вагон стоял далеко от вокзала, напротив водонапорной башни, название рассмотреть на удасть.

- Пойду погляжу, заодно узнаю, сколько осталось до Курска и долго ли будем стоять, - сказал Зое, дремлющей в уголке купе у окна.

Она вяло кивнула. Всю дорогу ее подташнивало.

Из вагонов мало кто вышел.

Поправив пенсне, Алексей Кузьмич посмотрел вдоль состава - у кого бы спросить. Неподалеку на перроне стояла кучка матросов с винтовками за плечами, лузгали семечки.

- Эй, братцы, - подошел Клямин к ним поближе. - Что за станция, не подскажете?

- Ты что, читать не умеешь! - хмыкнул матрос с золотой фиксой.

- Да понимаете, братцы, плохо вижу. Никак не разгляжу отсюда.

У Алексея Кузьмича было добродушное настроение. Сбылась мечта, скоро они будут с Зоей у ее родителей. Начнется новая жизнь, семейная, тихая, спокойная. Скоро у них будет ребеночек... Как он был счастлив, когда Зоя сказала ему об этом! Ощущение приподнятости, радостного возбуждения не покидало Клямина. И этот фиксатый матрос, нехотя цедивший сквозь зубы слова, показался ему все равно милягой. Алексей Кузьмич несколько не оскорбился от его раздраженного тона.

Фиксатый отделился от кучки, подошел к Клямину, пристально в него вглядываясь.

- А кто ты такой, шо спрашиваешь? - сощурился недобро. - Куда едешь?

- В Курск. Вернее, дальше, - уточнил Клямин, назвав село, где находилось именьецо Зоиных родителей.

- Благородие?

- Бывшее... - с улыбкой отвечал Алексей Кузьмич. - Подполковник.

- Видали? - обернулся матрос к своим, переставшим лузгать семечки. - Благородие!

Клямин хотел повернуться и уйти, но матрос придержал за рукав.

- Постой, ваше благородие! Зачем туда едешь?

- А вам, собственно, какое дело? - уже возмутился Клямин и попытался стряхнуть цепкую руку фиксатого.

Его дружки подошли вплотную, их было семь человек. Клямин зачем-то посчитал их. Нехороший холодок пробежал по спине.

- Гля! Оно еще брыкается! Контра! - Фиксатый притянул Клямина к себе. - Ну! Говори, зачем едешь?

Дружки его с недоброй угрюмостью молчали: несло перегаром.

- Отпустите! Слышите! К родственникам еду!

- К родственникам... - Фиксатый резко оттолкнул Клямина от себя. Матросы расступились, Алексей Кузьмич оказался в их окружении. - Знаем мы этих родственничков!

Кто-то ткнул Клямина кулаком под ребра. Он покачнулся, упало пенсне.

- Как вы смеете! - задохнулся от возмущения. - Что вам от меня надо?

Плюгавенький, ниже всех ростом матрос пырнул пальцем в нос.

- Вот такая сволочь застрелила нашего Хведьку! Похож!

- Ни в кого я не стрелял! Вы с ума сошли! Оставьте меня! - не на шутку испугался Клямин. Повертел головой, позвать на помощь некого. Возле вагонов ни души. Кто и вышел перед этим, быстренько юркнул обратно в тамбур.

- А ну-ка пошли с нами! Разберемся, шо ты за штука такая, - толкнул в спину фиксатый.

- Никуда я не пойду, - сказал Клямин. И тоскливо подумал, что от этой матросни не так-то легко отвязаться. - Мне надо ехать.

- Успеешь! - хохотнули издевательски, подхватили Алексея Кузьмича под локти.

Он рванулся и упал от подставленной ноги.

- Ах ты гад! - Ударили носком в живот. - Ты с кем шутить вздумал?! - Поволокли с перрона.

Клямин закричал.

В окнах вагона чужие, безучастные лица.

И тогда он, уже не помня себя, не сознавая, что делает непоправимое, выхватил из кармана револьвер. Его мгновенно выбили из рук.

- К стенке падлу! - с перекошенным лицом, закричал фиксатый.

Волоком подтащили к водонапорной башне, прислонили к кирпичной стене.

«Это все... - с ужасом подумал Клямин. - Глупо! Как глупо... Зоя!!!» - взорвалось в мозгу.

Затравленно вобрал голову в плечи, рванулся. Не пробежал и пяти шагов, фиксатый в спину разрядил его же револьвер.

От звука выстрелов Зою подбросило. Выскочила из вагона и все увидела...

Алексей Кузьмич лежал ничком, вытянув вперед правую руку, на спине расплывалось кровавое пятно.

От ужаса она не могла закричать, упала на колени, повернула к себе лицом голову Алексея Кузьмича. Он не дышал.

И тогда прорвался нечеловеческий крик.

- Жена, что ли? - переглянулись матросы.

- Убейте! И меня убейте!!! - захлебываясь в истерике, кричала Зоя, ползая вокруг мертвого тела Алексея Кузьмича.

- Живи, мадамочка, мы с бабьем не связываемся, - брезгливо сплюнул фиксатый.

- В чем дело? - подошел человек в кожанке, придерживая болтающийся сборку маузер.

- Контра, - нехотя ответил фиксатый, кивком указывая на убитого. - Наган выхватил, сука, стрелять хотел. Пришлось шлепнуть.

- Он мой муж! Мы с фронта едем! - звериным взглядом вперилась в него Зоя. - Вы убили его! За что?

Человек в кожанке долго смотрел на рыдающую женщину, на убитого.

- Сволочь ты, Синеглазов, - тихо сказал фиксатому.

- Но-но! Жалеешь! Революция, это тебе не бабу... - окончил грязным словцом. - Понял? Контру давить надо. Беспощадно! Эх, Степанов... Телячья у тебя душа. С такими, как ты, не революцию делать, а сопли жевать.

- Ладно... - все так же тихо сказал Степанов. - Посмотрим. Кто сопли жует.

- А смотреть тут нечего! Контра, она и есть контра! Все они, офицерье... - выругался. - Пошли, братва!

Узнал, узнал Степанов подполковника Клямина...

Поддержание должного революционного порядка на станции, пресечение бузы среди солдат, валом валивших с фронтов, а также проверки грузов и лиц, следующих в поездах, Курский губревком поручил большевику Степанову с его красногвардейским отрядом.

Отряд матросов под командованием Синеглазова появился на станции совершенно неожиданно. Из Балтики он направлялся на Черное море с тем, чтобы всколыхнуть там братишек-морячков, поднять их под черные знамена анархии и двинуться затем по южным губерниям громить буржуев и всякую сволочь, кому революция стала костью поперек горла.

Анархия - мать порядка! Этот лозунг Синеглазов усвоил мгновенно, уж очень он пришелся ему по душе. Подбил полсотни еще таких же оторвяг, подцепил к поезду классный, с зеркалами, вагон, захваченный самовольно, и отправился в путь, имея вместо мандата анархистский лозунг в башке.

Сколько их таких, стихийно сколоченных отрядов растекалось по России! Разудало бесшабашных, приводящих в трепет население. Анархия - мать порядка! Со страхом глядели на невиданные черные знамена с намалеванными на них черепами и костями. Господи, спаси и пронеси мимо это оголтелое войско!

Черепашья езда быстро надоела. До печенок. К тому же, все прихваченное с собой, что можно было пить, выпили. Потребовали у Синеглазова остановки, нужен был отдых. Голова и без того трещит, будто зубилом ее колупают, а тут еще этот колесный перестук, так и бьет по мозжечку.

Свой, изрядно уже заплеванный и заблеванный, классный вагон отцепили под Курском, загнали в тупик. Станция вроде ничего, подходящая, крупная, поживиться, должно быть, есть чем.

Вскоре припожаловали трое. Один в кожаной тужурке и с маузером, двое других - солдаты, его сопровождающие. Тот, кто в кожанке, спросил строго:

- Кто такие?

- А ты сам кто такой? - в свою очередь нагло спросил Синеглазов.

- Командир красногвардейского отряда Степанов.

- А! - сразу разулыбался матрос, блеснув золотой фиксой. Ее ему для красоты вмиг водрузил на совершенно здоровый зуб дантист, едва только увидел, как пациент многозначительно погладил винтовочный затвор. Об оплате и не заикнулся. - А я Синеглазов, командир революционного отряда матросов-анархистов имени товарища Спартака. - Подал Степанову руку. - Как тут у вас, братишки? Жучим буржув?

Степанов не ответил, все допытывался:

- С какой целью прибыли?

- А ни с какой! - обиделся на такой тон Синеглазов, но вида не показал. - Отдохнем малость, подхарчимся и дальше двинем. А то они чего-то там спят и в ноздрю не дуют. Колчака своего до сих пор в море не утопили.

- Понятно.

Не нравились, очень не нравились Степанову эти революционные матросики в клешах.

- Долго собираетесь здесь пробить?

Синеглазов дружески похлопал его по плечу.

- Смотри, товарищ Степанов, как вы нас тут встретите. Магази́чик, надеюсь, хоть один тут имеется?

- Есть. Только смотри, чтоб все по закону. Никаких безобразиев. Непорядка не допущу.

- О чем ты толкуешь, товарищ Степанов! Все будет в ажуре! Хлопцам моим малость надо подлечиться, а то головка у них вава. Большой-то у тебя отряд?

Степанов отмолчался.

В магазине герои моря вымели все спиртное подчистую. Хозяин магазина, было обрадовавшийся, что уже не существует «сухого закона», трясся от страха: ему вежливо втолковали, ежели он вздумает еще хоть раз вякнуть насчет того, что надо платить, значит, ему надоело жить на прекрасном белом свете, они это учтут.

Пропьянствовали два дня, из озорства открыли стрельбу, изрешетив свой классный вагон.

На третий день оцепили остановившийся на станции поезд, произвели повальный обыск, реквизируя ценности - в основном интересовались золотом и бриллиантами, - как выясняли жертвам: на нужды революции.

На втором поезде обожглись. Добрая его половина была набита солдатами. Ехали и несколько офицеров. Дали анархистам отпор, завязалась перестрелка, один матрос был убит, остальные ретировались в тупик к своему обиталищу - классному вагону с давно перебитыми зеркалами.

Степанов заявил:

- Вот что, революционеры-анархисты, убирайтесь к чертовой матери со станции! К поездам и близко подходить запрещаю.

- Гля на него! - негодуяще загалдели матросики. - Начальник нашелся! А то што?

- Ты не грози, товарищ Степанов, - зло свел брови Синеглазов. - Я, бляха муза, Зимний брал! Усек? Ты меня на испуг не бери. Одно дело делаем, революцию защищаем. Товарища дорогого, Хведьку, потеряли. Сволочи! Крысы пехотные! По домам бегут, гниды блошастые! А кто ж революцию защищать будет? Кто? Скажи! Офицера те, шо Хведьку нашего убили. Я тоже, может, к мамке и Маруське хочу. А ты мне тут Лазаря поешь! - выплеснул весь свой гнев.

- Прошу подобру-поздорову, уезжайте, - Степанов старался не терять самообладания, что удавалось с трудом. - Преду-преждаю.

- Когда надо, тогда и уедем! - отрезал разозленный Синеглазов. - Ты нам не указ. Миндальничаешь, гляжу, с контрой.

К поездам анархисты-спартаковцы больше не рыпались. Обозленные, отирались возле, на перроне. Тут, на свою беду, и подвернулся им под руку подполковник Клямин, на котором сорвали зло.

Магазинная водка кончилась. Зашли к аптекарю Живиньскому, предложили горсть золота - дай спирту.

- Ни капли нету! - побожился старый аптекарь.

Золото манило старика, кто ж его не любит, но страх был сильный. Все уже слышались про этих голубчиков, для которых пристрелить человека, что через губу сплюнуть.

Перевернули аптеку вверх дном. Нашли бутылку с коричневой жидкостью.

- А это шо?

- Лекарство, - пролепетал бедный аптекарь.

- Лекарство, говоришь? Ну-ка, Тимоня, попробуй, шо это за лекарство.

Тимоня налил из бутылки в подвернувшуюся под руку мензурку до краев, макнул палец, облизал, почмакал и ухнул содержимое мензурки в горло. Вытаращив глаза, выдохнул:

- Во-оды... - Отдышавшись, заключил: - Спиртыга! Неразведенный.

- Лекарство это! - Аптекарь начал заикаться. - Н-настойка. Ее больше ложки пить нельзя.

- Обдурить вздумал, хорек старый! Думаешь, если закрасил, так недоуем! - Тимоня вlepил старику пощечину. Тот упал, ударившись об угол стола, рассек лоб. Лежал, заливаясь кровью, боясь встать.

Довольные, анархисты двинулись к своему стойбищу.

- Золото не захотел брать! Пенек трухлявый! Больше ложки нельзя! Как, Тимоня, не печет внутрих?

- Хорошо! По жилам пошла!

- Щас и у нас пойдет!

- Зря ты его ударил, старый человек...

- Бля! Какой жалостливый! Он все одно не сегодня завтра в ящик сыграет. Аж позеленел от старости, как лягушак.

Степанов запросил по телеграфу губревком: что делать с этими революционерами в тельняшках? Обнаглели донельзя. Своими силами с ними не справиться. Требуется подмога. Тогда испугаются и драпанут со станции.

Губревком помощь людьми оказать не мог. Нет людей.

- Я б их перестрелял к чертовой матери! Таких революционеров! - выругался в сердцах раздосадованный Степанов.

«Не горячитесь. Принимайте меры, сообразуясь с обстановкой на месте, своими силами, - ответили умники из губревкома. - Но станцию от них необходимо очистить как можно скорей».

Легко сказать! Их чуть не в два раза больше.

Одурев от настойки, матросы вечером учинили разбой, изнасиловали нескольких женщин, мужей, кинувшихся защищать своих жен, застрелили.

Этим же вечером Степанов изъял из очередного проходившего эшелона два пулемета.

Поздно ночью сигенлазовцы угомонились, закопавшись в перины и подушки.

На рассвете отряд Степанова окружил вагон. С двух сторон ударили по верх окон. И тут же Степанов закричал, чтоб побросали оружие и выходили по одному. В ответ раздались матюки и выстрелы.

- Давай! - махнул Степанов рукой.

Пулеметы заработали по окнам и ниже, усиленные треском винтовочных залпов.

Десятка два анархистов скосили насмерть, многих ранили, с десятков сумели вырваться и удрать. Синеглазова взяли живым.

Степанов приказал подвести его к водокачке. На то самое место, где Синеглазов недавно застрелил подполковника Клямина.

Синеглазов все понял. Стоял, морщась от боли, рукой зажимая простреленное плечо.

- Кого хочешь расстрелять, твою мать?! - Рванул здоровой рукой тельняшку, располозовав ее до пояса, обнажая грудь с татуировкой. - Не в меня, в революцию стреляешь! Так стреляй же! Революционеры не падают на колени!

- Я очищаю революцию от всякого дерьма, - совершенно спокойно сказал Степанов и выстрелил из маузера в голую женщину, изображенную на груди Синеглазова.

Узнав о происшествии на станции, губревкомовцы возмутились - надо было припугнуть, но стрелять по своим же соратникам, революционным матросам, которых чуток занесло, - преступление. И потребовали, чтобы товарищ Степанов приехал в Курск и явился в губревком для объяснений.

- Хрен вам в зубы, и еще кое-куда, а в придачу перчика на яйца! - отвечив товарищ Степанов и уехав со своим красногвардейским отрядом со станции, не доложив, куда.

Старики Борщевы не узнали дочь.

Краше в гроб крадут. Лицо - земля серая, щеки ввалились, нос только и торчит на лице обгорелым сучком, в глазах тоска черная.

- А кто ж отцом-то его будет? - несмело спросили, когда узнали, что дочь собирается рожать.

- Хороший человек. Нету его больше... - сказала Зоя.

И старики не стали выпрашивать, что да как. Видели, подкосила дочку смерть неведомого им человека, так подкосила, что та и разговаривать будто разучилась, все больше молчит. Сядет у окна и целыми днями сидит так, не шелохнется, думу какую-то свою болючую думает. Хоть бы поплакала иной раз, нет, глаза сухие, ни слезинки ни разу не увидали.

Ждали, вот родит, тогда, может, оттеплет. Ребеночек, он самый застарелый лед в материнском сердце способен растопить.

Зоя не доходила до срока, родила мертвую девочку.

Долго не могла оправиться, болела, а когда поднялась, заявила:

- Уезжаю я.

- Да куда же ты? - в слезы старики.

- Я знаю куда.

- Тебе лежать еще и лежать...

- Все, выздоровела я, не больная.

Не смогли удержать дочь, попрощалась и улетела неведомо куда.

Зоя вступила в Добровольческую армию.

От санитарной сумки отказалась категорически, потребовала дать ей в руки оружие и направить в боевую часть.

Просьбу женщины-патриотки удовлетворили.

- Славно работает наша Зоя машинкой! - восхищались в полку. - Как жаткой подкашивает краснюков.

У хутора Тернового разгорелся яростный бой. Отряд белых с трудом отбивался от красных, нес большие потери.

Навстречу красноармейским цепям выдвинулся пулеметчик с английским ручным пулеметом «льюис». Красные цепи споткнулись, замешкались.

Белый отряд уходил, все глуше стучал за спиной пулемет.

И умолк...

Пулеметчик отбросил в сторону бесполезный уже пулемет, встал во весь рост. Набежавший красноармеец с ходу штыком наткнулся на грудь пулеметчика. Тот упал на спину, фуражка слетела с головы, рассыпались длинные волосы.

- Баба!.. - изумленно воскликнул красноармеец.

Обступили, молча смотрели на мертвую женщину. И радости победы почему-то не было видно на лицах.

Подошел командир, расступились перед ним.

Ахнул командир: «Да ведь это жена подполковника Клямина!». Вслух же сказал:

- Могилу выкопайте, похороните по-человечески.

Комиссар взбеленился:

- Суку белогвардейскую? Сколько наших положила! Пусть валяется, падла, пусть вороны глаза выклюют, а кости собаки растащут! Может, еще и с почестями похоронить прикажешь?

Всегда выдержанный, командир рявкнул:

- Надо - и с почестями прикажу!

Комиссар отпрянул, на всякий случай бросил руку на кобуру.

- Я рапорт на тебя подам, Степанов! Пусть разберутся, что ты за птица! Ответишь!

- Пиши, пиши, - уже спокойно сказал командир. А у самого лицо белей снега, губы до крови закусены. - На то она и бумага, чтоб на ней писать. Отвечу... - бросил вслед комиссару.

Утерся рукавом. Поднял горячий еще пулемет.

- Ни одного патрона. По-людски надо, братцы. Хоть и враг она нам. По-людски...

Понурые стояли красные бойцы, не перечили командиру, недовольства никто не высказал.

Вырыли могилу, накрыли Зоино лицо ее фуражкой, приотряхнули тело горькой полынью и закопали, оставив холмик без креста или звезды, воткнули степную ромашку.

Кто-то украдкой перекрестился.

Таловая, Бутурлиновка, Воробьевка...

Скоро и Калач!

И вот он!

Знакомая станция, перрон, от которого, кажется, будто вчера отходил эшелон, увозивший их на неведомую войну.

Сжалось сердце, и на морозном ветру проступила невольная слеза, ожгла щеку.

За полночь, но утра ждать не стали, решили идти сейчас же, длинна ли дорога - каких-то двенадцать верст до родного Подгорья.

Ноги сами несли, не признавая усталости и неспешного шага.

Ждали встречи с ним, но возник он неожиданно, будто вынырнул из темноты и ступил им навстречу в своей белой шапке, как и тогда, когда провожал их на войну.

- Здорово, дед! - заорал Митька Суров и взбежал на самую вершину скифского кургана. Упал на грудь, раскинул руки, словно обнимал его, древнего и мудрого, много чего повидавшего за многие века.

Последовали за Митькой, взлетели на курган, стали, вглядываясь с высоты в свое Подгорье, которое уже потихоньку начинало просыпаться, призывно маня огоньками, то тут, то там начинавшими зажигаться в оконцах хат.

- Все! Дома! - бросил вверх шапку Алешка Дорожкин и на радостях пальнул в начинавшее сереть небо из винтовки, опустошив всю обойму.

- Сдурел! Всех невест перепугаешь! Заиками сделаешь. Не-ет, на зайке не хочу жениться. Наверно повскакивали с постелей. Тепленьких, мягоньких... - среагировал на стрельбу Суров.

Нефадей был более скептичен насчет невест.

- Невесты спят, небось, зорюют сладенько, пушкой не разбудишь. А вот найдется какой дурик, навроде нас, с фронта, с винтовкой, возьмет и шарахнет по нам спросонья. Так что, хлопцы, от греха подальше, не будем баловаться стрельбой.

- Ты что это, серьезно?

- А то!

Уставились на Нефадея, погмыкали. И верно, вполне и такое может. Да если еще герой германской войны тяпнул с вечера первачку, от которого приснится, что сидит в окопе и надо отбивать неприятельскую атаку.

- Грех не выпить за встречу! А? - предложил Суров и, не дожидаясь ответа, извлек из вещмешка трофейную бутылку шнапса, прибереженную на должный случай.

Выпили из кружки, бросили в рот горсть снега - своего, родного, подгорьевского, который показался сейчас вкусней любой закуски.

Первую кружку Митька веером выплеснул вокруг себя.

- А это тебе, дедушка-курган! Встречевай своих! Соскучились по тебе!

Отец почти не изменился, разве что плечами чуть ссутулился да резче обозначились морщины на лбу.

Мама Наташа заметно привяла, окружя глаз отдают желтизной, скорбные паутинки в уголках губ. Все еще переживает о ребеночке, которому не суждено было своим рождением порадовать родителей. Фролка Павенков, харя пьяная, сбил ее, сама живая осталась, а ребеночек пропал...

Ластится к брату Груня, расцвела, как зорька, суетится, ахает, охает, то запунцовеет малиной, то побледнеет, руками всплескивает, слушая братца. Накинула бы сейчас полушалок, да хоть и раздетой, полетела к Суровым одним глазком взглянуть на Митеньку, дружка милого. Да нельзя так сразу, неловко, не принято, чтоб девка сама на шею кидалась, осудят огульно словом нехорошим. Он сам, должен сам прийти, увести ее и в закоулочке заветном, за вишнями, обцеловать, обмиловать свою ненагляду Грунюшку. Ой! Когда ж вечер!

Переступил Нефадей порог родной, переобнимался со всеми, и тут же - скатерть на столе, праздничная, достали из сундука, нехитрая закуска, какая нашлась на сей час, ведь не ждали, что именно сегодня заявится, на середину стола - зеленую бутылочку. Это уже потом, позже, будет основательно, неспешно.

А пока - за встречу, за то, что живой вернулся, не покалеченный, слава Богу, за здоровье дорогих родителей, за счастье, чтоб мимо не проходило, хоть шажком ступило на их крылечко, Груне жениха доброго - подмигнул ей, она и глаза спрятала под красные щеки, Ванюшке расти и папку с мамкой слушать.

Лупает Ванюшка глазенками на братку, дичится малость, очень хочется ему крест на груди у Нефадея потрогать. Насмелился, потрогал.

- А гостинчик привез?

Ах ты ж заюшка, лопушочек!.. Помнит! Все помнит! Конечно, привез, как забыть, малышоночек ты мой дорогой...

Крутил, вертел Ванюшка плитку шоколада в красивой обертке, на которой был нарисован пушистый кот, и не понимал, что же с этой штуковиной делать. А когда развернули обертку, отломил квадратный кусочек, Ванюшка аж зажмурился, сроду не пробовал такой коричневой вкуснятины. Досталось Ванюшке и еще - горсть грецких орехов и маленький, как кисет, мешочек узбекского урюка. Под Пасху, еще в прошлом году, прислали в полк подарки от Всероссийского земского союза, достался пакет и Нефадею, сберег и привез домой.

Отцу - фунт душистого табаку в пачке, прислали на фронт русским солдатам союзники-англичане.

- Ой, прям как барыня какая!.. - засмушалась, зарделась мама Наташа, когда Нефадей подал ей голубую шелковую кофточку с рюшечками из тончайших кружев и перламутровыми пуговицами и настоял, чтобы она примерила ее прямо сейчас.

Что какая-нибудь там барыня!

Мама Наташа... Какая ж она красивая...

Кофточка преобразила ее, куда делась желтизна возле глаз, смахнулись паутинки у рта, скулы - точно розовое облачко коснулось.

Крякнул и закашлялся от непривычного английского табака Трофим Степанович, изумленный преображением Натальи. И взаправду - барыня. Молодая и уж какая пригожая! Да жена ли это его?! «Наталушка...» - нежно встrepенулось сердце. Угодил Нефодька, молодец...

- Дорогая должно, - заворчал для порядку, а сам расцвел не хуже Натальи. - И где ж столько взял?

Нефадей отмахнулся, неинтересно рассказывать, как копил, денежку к денежке, получая невеликие солдатские гроши, все время мечтая, что купит и привезет маме Наташе такой подарок, какого у нее никогда не было, чтоб радовалась от всего сердца.

Ну а Груне - зеркальце в медной оправе, с ручкой, и коробочка пудры. Пусть прихорашивается для своего Митьки. Тоже, наверно, припас для Груньки подарок.

И еще один подарок есть у Нефадея. Но про то не знает никто. Бусы. Придет, скажет Танюшке Собкаловой, мол, подарила мне хустку, спасибо, через нее тебя вспоминал на войне, вот и тебе мой ответный подарок. А она скажет... На том мысль и терялась, дальше не шла. Но что-то же все равно будет, дальше...

- За что? - поинтересовался Трофим Степанович, уважительно рассматривая крест на груди сына.

- Да было дело...

- Не хочешь и рассказать?

- Да ничего, батя, интересного.

- Конечно, ничего интересного. Могли б и тебя, как Гришку Кондратюка, а то и хуже...

- Откуда знаете?

- Гришка приходил, рассказывал.

- А зачем же спрашиваете?

- Любопытный я дюже, вот и спрашиваю. Спрос не вопрос, а вопрос не спрос, за них деньги не просят, а все ж интересно. Гришка рассказывал - одно, тебя охота послушать.

- Как-нибудь расскажу, батя, не сейчас.

- Подождем. Нам спешить некуда.

- Давно Гришка приходил? Как он?

- Давненько. Что-то не заладилось у них с батюшкой. По слухам, в Луганск подался, на шахты будто. Про тебя говорил. Век, говорит, Нефадея вашего помнить буду, спас он меня. Молодец, сынок, не бросил человека в беде.

Нефадею стало неловко от отцовской похвалы. Вот и хорошо, отвлекся батя, налил, провозглашая:

- Дай, Господи, чтоб хлеб ноне уродился!

Разговоры, расспросы, жадно, как воду в жаркий день пьют, все враз хочется узнать.

- А у Кротовых колготня в доме. Срам на все село, - рассказывала мама Наташа. - За грудки друг дружку каждый день хватают. Из-за чего - всем уже известно... Шуру жалко... - Посмурнела: - Учитель наш, Николай Иванович, совсем плох, болеет. Захожу, сготовлю, постираю. Жалко его. Хороший человек. Все сыночка своего дожидается...

- Командир нашей роты...

- Где ж он сейчас?

- Не знаю... А Мишка Алабушев?

- Ой! У самого сопля еще зеленая под носом, а гоголем по селу. С красным флагом носится. Большевицку власть в селе делает. Вместе с Павлом Козубом. Он у нас тут теперь верховодит. Ранетый пришел, наган на пузо прицепил, хромает и кричит: «Теперь наша власть!» - И запнулась, видя, как дернулся Нефадей, хотел вроде что-то спросить, но не стал. Ясное дело, про кого. Ладно, скажет, пусть знает. - Лизавета его дома сидит, с дитем нянчится. Поостерегайся ты его, сынок, Павла-то. Знает он про все, люди, охочие до слова, на языке преподнесли. Не тронул Лизавету, в ладу будто живут. Да кто знает, что у него за душой... Не думай ты о ней. На што она тебе... Было, да сплыло...

Нефадей сидел, покусывал губы, потянулся к стопке, опрокинул ее и не закусывал, сигарку в рот сунул, дымил и морщился: то ли от дыма, то ли еще от чего.

- Рассольчику хлебни... - сказал Трофим Степанович, и дивился, не хлопец уже Нефадей, мужик, совсем мужик...

Наталья, помявшись, о других новостях начала:

- К Груне Танюшка Собкалова захаживает. Скромница, глазоньки опустит, а как про тебя услышит, вся так и покраснеет, покраснеет. Тебя она ждет... Вот. Хорошая она. Не довелось тогда засватать, на войну сграбастали. А теперь, сына, можно. И надо. Хорошей женой тебе будет.

- Будет... - отозвался Нефадей. И не поймешь, согласился с матерью или что-то другое у него на уме.

Неловкая минута, примолкли.

А Ванюшка тем временем, умяв шоколад, оставив взрослых за разговорами, осматривал винтовку, прислоненную к стене у двери. Засунул палец в ствол, заглянул туда, потом дунул в него, от чего винтовка гуднула, будто где-то в стволе сидел, спрятавшись, большущий шмель и засердился на Ванюшку.

Нефадей спохватился, взял винтовку и не знал, куда ее деть. Повесил на самый высокий гвоздь.

- Надо на потолок положить, - сказал. - Больше не стодится.

Трофим Степанович посмотрел на сына и покачал головой.

- Слыхал, может? На Кубани и на Дону уже бьются. Не с турками, не с германцем, свои. Одни белыми себя прозвали, другие - красными. Совсем от нас недалече. Как бы ее опять не пришлось с потолка доставать...

- Да не приведи Господи! - воскликнула Наталья и, повернувшись к образам, перекрестилась.

- Нет уж, батя. Пусть без нас разбираются. Уляжется... Свои ж. Договорятся как-нибудь.

- Кабы так оно и было... - проговорил Трофим Степанович и опять закашлялся от этого душистого, но непривычного английского табака.

ГЛАВА 36

Снаряд был не прицельный, шальной.

Нашел и сразил Лавра Георгиевича Корнилова, русского генерала, через непрерывные бои и стужу совершившего «ледяной поход» от Ростова до Екатеринодара во главе немногочисленной армии, сформированной в основном из офицеров, совсем еще недавно сражавшихся на фронтах против кайзеровской Германии.

Короткие траурные речи соратников над гробом генерала, троекратный винтовочный залп.

«Прощай, боевой друг!»

Одни считали Корнилова безусловно храбрым генералом, за что и любим был солдатами, хотя порой из-за своей горяч-

ности и не до конца продуманных действий приводил многих из тех же восторженных солдат к гибели. Но на войне как на войне. В белых перчатках, не забрызгав их кровью, не пройдешь через бои. И на него смотрели как на человека жесткого и решительного, который, лишь он один, способен навести порядок в России, захлебнувшейся в невообразимом хаосе.

Другие видели в нем завистливого авантюриста, только из обостренного тщеславия сумасбродно попытавшегося стать диктатором, что кончилось провалом и из-за чего было погублено очень много офицеров, непоколебимо веривших в своего генерала.

«В нем сочеталось, пожалуй, и то, и другое» - немало и таких, кто сказал бы именно так.

Над всем этим довлело и было неотделимо от генерала, являлось знаменем его души главное - пылкая любовь к Отчечеству, ради благоденствия которого всегда был готов положить свою жизнь, не раздумывая.

«Мир праху твоему, генерал!» - сказали и преданные ему, и противники его, кто честь, отвагу и достоинство настоящего воина ценит и во враге.

По обмороженным щекам подпоручика Ямбовича катятся слезы, срываются жестким, пронизывающим ветром. Он не стыдится слез, он не замечает их, стоящий оцепенело, с непокрытой головой, судорожно комкая в руках заношенную летнюю фуражку.

- Наденьте, - упрасивает его ротмистр Благов. - Простудитесь.

Ямбович не слышит, отрешенный от всего земного, не ощущая ни ветра, ни холода.

Он не помнил, когда последний раз плакал. Давным-давно, в детстве. И не думал, что еще когда-нибудь будет способен на слезы.

- Пойдемте, Алеша, - мягко, но настойчиво берет ротмистр его под руку. - Вы совсем закоченели. Вам надо согреться...

Разморенные теплом, исходившим от огромной русской печки, занимавшей добрую половину хаты, они лежали на ворохе соломы, брошенной на пол, закрыв глаза, заложив руки за голову.

- А я ведь тоже любил ее... - тихо произнес Ямбович, не открывая глаз.

- Кого? - с ленцой спросил Благов, тоже не открывая глаз и не меняя позы. Спросил, лишь бы спросить.

- Так... Одну женщину... Ее звали Стефой. - Ямбович глубоко и тяжело вздохнул, закашлялся, хватаясь за грудь.

- Все кого-нибудь да любят... Или любили... - все так же лениво откликнулся ротмистр.

Ямбович откашлялся и сложил руки на груди, как складывают их покойнику.

- А знаете, Лаврентий Павлович, я ведь заплакал вовсе не из-за гибели генерала Корнилова. Ее вспомнил... Она погибла. Да... Любил... Но даже и признаться себе боялся. Все ерничал и вел себя ужасно глупо, просто безобразно. Мне так сейчас стыдно...

- Успокойтесь, Алеша... Все проходит, все забывается. Давайте лучше попробуем уснуть. Когда еще придется вот так поспать, в тепле...

- Да-да, - поспешно согласился Ямбович. Но через мгновение встрепенулся и, приподнявшись на локте, пристально посмотрел Благову в лицо, на котором впадинами запали закрытые глаза, делая ротмистра непохожим на самого себя. - А вы любили, Лаврентий Павлович?

- Мм... - не то улыбнулся, не то пожевал тот губами. - Пожалуй, нет. Хотя... Была у меня одна женщина, Клавдия... - И, словно спохватившись, что слишком откровенен, поспешил сказать с приказной ноткой: - И все ж, спать! Спать, подпоручик!

Больше они не обмолвились ни словом, каждый притворился, что давно уже спит.

...Упругий весенний ветерок любопытно заглядывает в раскрытое окно, рассыпает по столу розовые лепестки отцветающих абрикосов.

Доктор подставляет ветерку усталое лицо, снимает очки, блаженно прикрывает глаза. Затем, скользнув взглядом по листку бумаги, долго смотрит в окно, за которым яркое солнце и акварельно голубое небо, покусывая карандаш. Со вздохом снова возвращается к листку.

Каждый день составляется такой листок - список умерших в лазарете от тифа.

В сегодняшнем списке значится и Ямбович Алексей Брунович, подпоручик корниловского полка, двадцати одного года от роду.

ЭПИЛОГ

(Из дневниковых записей

Николая Ивановича Астапова.)

...Сегодня все Подгорье согнали на митинг. На крыльцо сельсовета поднялся уездный военный комиссар Павел Козуб и держал речь. Речь по случаю окончательной победы доблестной Красной Армии над белогвардейскими бандами генерала Врангеля.

Непобедимая Красная Армия, вещал Козуб, руководимая реввоенсоветом республики во главе с выдающимся красным полководцем товарищем Троцким, соратником вождя мирового пролетариата товарища Ленина, сбросила белогвардейское отребье в Черное море. Лишь жалкие остатки сумели позорно бежать на кораблях в Турцию. Где их все равно достанет карающая рука пролетариата Советской России.

Козуб в кожанке, перетянутой портупеей, правой рукой энергично рубит воздух, точно обрушивает на ненавистных врагов сабельные удары. Только вместо сабли в руке зажата, тоже кожаная, кепка с красной звездой. Деревянная кобура маузера в такт резкой жестикуляции била по колену, и Козуб, водворяя ее на место, постоянно дрыгал ногой, точно отмахивался от гавкучей дворняги, настырно норвящей укусить.

Рядом с Козубом подгорьевский председатель сельсовета Фрол Ловенков, в длинной, до пят, кавалерийской шинели и островерхой буденовке, козырек которой измят и висел над лбом блином. Ловенков все время улыбался, щерясь редкозубым ртом, улыбка на его губах напоминала гармошку, то растягивалась до ушей, то сужалась до размеров куриной гузки.

Вот они, представители этой новой, советской власти, хозяева новой жизни...

Боже! Вникни в суть, огляди, увидь, что стало с Россией!..

Аркадий, Аня, Инночка, Торский Виктор... Что с ними? Живы ли... Отведи, Господи, беду злую от них, спаси и помилуй!

А из него, пожалуй, получился бы неплохой лицедей, в каком-нибудь провинциальном театре, из товарища уездного комиссара Павла Козуба, заменившего охотничье ружье маузером, назначение которого - убивать людей. Как же он был тогда вежлив, тщательно изображая объективность и беспристрастность, говоря, что «вы, Николай Иванович, не бойтесь. У нас, и у меня лично, претензий к вам нет. Советска власть, она самая справедливая. За сыночка и дружков его вам не отвечать. Им отвечать. Попадутся, не буду брехать, по головке не погладим. За такие дела - к стенке. И дамочек ихних. А вы уж, Николай Иванович, будьте покойны. Не тронем. Живите спокойно».

Успокоил... И ведь не дрогнет рука! Поставит к стенке! И их, боевых офицеров, и их жен. Что это?.. Как это?.. Что случилось, происходит в мире?! Какая сила дьявольская так изуродовала души человеческие?..

Отребе белогвардейское... Может, и они, Аркадий с Инночкой и Виктор с Аней, уплыли на тех кораблях в край неведомый, нерусский. Дай-то Бог! Пусть так, лишь бы живы...

Уже более года от них никаких вестей. Власть в Подгорье менялась, не счесть сколько раз. Последний раз, когда село заняли белые, зашел офицер, вежливый, галантный, представился: «Ротмистр Благов. На библиотеку вашу хотелось бы взглянуть, Николай Иванович. Наслышан, редкие издания у вас имеются».

Благов, Благов... При одном упоминании этого имени у многих сразу мороз по коже пробегал. Внешний вид обманчив, и не подумаешь, что попасть в руки контрразведчика Благова - смертный приговор. «Или-или» - у него не бывает.

Но... Он сообщил радостную весть, что знает Аркадия, князя Торского. Оба живы-здоровы. Служат в корпусе генерала Май-Маевского. Блестящие офицеры! А жены у них просто чудесные! Достойные преклонения. Аннушку знает давно.

Славная девушка! С Инессой Торской в госпитале сестрами милосердия служат. Не в пример многим другим женам офицеров, которые боятся испачкать белы рученьки о солдатскую кровь и грязь.

«Быдло взбеленилось. А мы, Николай Иванович, что ж... Мы делаем санитарную, так сказать, очистку. Кто-то должен делать и эту работу... Очищать от дерьма. Да, Николай Иванович, такова уж на сегодняшний день действительность...» - так он говорил, ротмистр Благов.

Наловчился, наловчился речи говорить военком Козуб... Быстро усвоил науку витиеватого краснобайства. Перешел к «текущему моменту в разрезе жизненной политической обстановки в масштабе уезда и, в частности, особенно касательно масштаба подгорьевского населения».

Ужасное время... Крошатся, уродуются безжалостно судьбы и жизни стольких людей...

Сгорбившись, как древний старик, хоть возрастом и вовсе не старик, стоит Трофим Мещеряков, уставившись незрячим взором мимо Павла Козуба - в одну какую-то неведомую точку. Борода у Трофима совершенно белая, как только что выпавший снег. Рядом жена его - Наталья, увядшая, с потухшими глазами. Трофим машинально поглаживает по плечу прильнувшего к нему сынка Ванюшку, исподлобья глядящего на речистого уездного комиссара. Танюша Собкалова, в черном. по самые глаза, платке, держится за локоть Натальи, сжав губы, с нескрываемой ненавистью вперив взгляд в Козуба. Погиб Нефадей, не ушла обратно к родителям, осталась в доме Мещеряковых. Не успела стать женой Нефадея, как оказалась вскоре его вдовой... Совсем еще, по сути, девочка...

Горе людское гуляет раздольно над землей, как бесшашный степной ветер...

Раскачиваясь на костылях, в замызганной, прожженной шинелишке, поддерживаемый женой Груней, мутными от самогона глазками водит вокруг себя Суров Дмитрий. Отыскала его Груня Мещерякова в таловском госпитале, привезла, одногоного, домой, женила на себе, как ни артачился запивший горькую Суров. Дружок Нефадея Мещерякова... А другой его дружок, Михаил Алабушев, сгинул где-то в боях в сальских

степях. Оба они, и Суров, и Алабушев, так и не уговорив Нефадея присоединиться к ним, подались в войско красного командира товарища Думенко, который чем-то провинился перед большевиками и был судим в Ростове. Ходили слухи, будто расстрелял его Юровский, тот самый большевик, который расстреливал царя и его семью.

Впереди всех, преданно глядя на мужа, стоит Шура Корнеева. Теперь она жена комиссара... На ней цветастый, яркий полушалок, какой в праздничные дни накидывала на плечи прежняя жена Павла Козуба - Лиза. Ллзгает Шура семечки, кожура свисает с нижней губы, падает на грудь, время от времени Шура тыльной стороной ладони стряхивается и поправляет приталенную плюшевую жакетку.

Та ли это Шурочка Корнеева, застенчивая тихая девушка... Надменная посадка головы, жесткие, колючие огоньки в глазах. Полное преобразование...

Вся семья Кротовых, кроме Насти, в ту ночь она ночевала у подружки Тани Собкаловой, угорела от чада печки. Поговаривали, будто именно она, Шура, и закрыла печные заслонки, уговорив каким-то образом Настю пойти ночевать к Тане. Поди, проверь! Стала Шура полной хозяйкой кротовского дома, так как Настя вскоре после похорон родных подалась то ли в Павловск, то ли в Богучар к дальней родне. С того времени и преобразилась Шура, цепким, холодным взглядом отталкивая от себя людей.

Не только в смерти Кротовых повинна Шура. Если есть Господь на свете, спросит с нее, еще как спросит! Но сейчас она выглядит этаким барыней, нового комиссарского пошибу, среди своих земляков, важной павой в нарядных перьях. Только стала эта пава хищной птицей. Всему свой срок... Рано или поздно приходит к каждому, когда душу на суд Божий выкладывать надо, до доньшка ее выворачивать...

Приезд неожиданных гостей отозвался праздником в сердце. Милый, дорогой Аркаша! Как сияли его глаза, когда представлял он Инессу, Инночку Торскую - лицо у нее умное, красивое... - как свою невесту. Аня, голубушка, повзрослевшая, юная женщина, жена офицера, уже много пережившая, смотрела печальными глазами, обняла и тихонько всплакнула.

Ее муж, князь Торский, называя себя, щелкнул каблуками и почтительно склонил голову. Крутнулось, переменялось время враз, теперь даже само слово «князь» опасно произносить.

Милые дети! Нелегкое время свело их вместе, переплело их судьбы.

Время, когда человек находится в прекрасном молодом возрасте, когда он должен любить и быть любимым, с безжалостной жестокостью обрушивает на него разрушительный обвал войны, вражды и крови...

Петроградская ЧК устроила настоящую охоту на офицеров. Аресты, расстрелы. И Аркадий настоял уехать в Подгоруе, с тем, чтобы осмотреться и принять дальнейшее решение - как быть. Прибываться ни к красным, ни к белым они не горели особым желанием. Но что тогда? Тихо отсидеться на обочине событий вряд ли было возможным. Решение не пришло, а нагрянула беда - в лице Павла Козуба, сколотившего вооруженный отряд для поддержки власти большевиков. Нефадей Мещеряков тоже был в том отряде... Павел Козуб без стука ворвался в дом, следом за ним через порог ступил Нефадей и еще один белобрысенький хлопец, тоже, как и Нефадей, с наганом.

Козуб гаркнул: «Кто такие?!». Аркадий с Виктором переглянулись, не спеша с ответом. Павел бешено крутнул глазами: «Отвечать! Так вашу мать!»

Нефадей Мещеряков, конечно же, узнал и Аню, и Аркадия, смутился, залился краской, потупил глаза, уставившись в пол.

«Входя в чужой дом, надобно стучаться, - сузил от волнения глаза Торский, однако говорил ровно, не повышая тона, с некоторой даже расстановкой. - Вы же ворвались, извините, по-бандитски. Кроме того, матерясь в присутствии женщин, вы тем самым оскорбили всех нас, за что следовало бы извиниться. Так, по крайней мере, поступает всякий воспитанный человек».

От нервного тика у Козуба задергалось левое веко. «Что-о?! Ах ты сука! Контра недобитая... Щас я тебе извинюсь... Очень даже извинюсь! Пулей...» - почти шепотом цедил он сквозь зубы и трясущейся рукой доставал из кобуры маузер.

Пуля попала в потолок. В последний момент Нефадей снизу ударил по руке Козуба. Тот ошарашенно вытаращил глаза на Нефадея, дергая руку с маузером в его сторону. Один за другим ударили три выстрела. Это стрелял Аркадий - сначала в Козуба, потом в белобрысого. Козуб упал, белобрысый, прежде чем получить пулю, успел выстрелить в Нефадея и попал ему в грудь. Несколько секунд стояла мертвая тишина, все оцепенели, остро чувствовался запах пороховой гари. Потом Аня бросилась к Нефадею, который, прислонившись к стенке, белый как мел, сползал на пол, держась рукой за грудь.

Действовать надо было решительно и немедленно. Перевязали Нефадея и ушли в ночь, взяв его с собой, подхватив под руки.

Все рухнуло в одночасье...

Белобрысый был убит наповал, Козуб же только ранен. Оправившись от ранения, заявился, источая слащавую любезность, сказал, чтобы я не боялся. Мол, вы, Николай Иванович, уважаемый человек, всякий у нас знает, мухи не обидите, а вот касаясь сына вашего и его компании, так они еще те контры отпетые. Они и ответят, попадутся еще голубчики, никуда не денутся, советская власть везде найдет своих врагов. А вот Нефадей Мещеряков сволота еще та... Своим прикидывался! И его поймал...

Как потом выяснилось, раненый Нефадей остался в Подгорье. Его спрятала в густых лозах, в конце своего огорода, Лизавета Козуб. Да не убереглась. Выследила ее Шура Корнеева, донесла. Павел Козуб избил свою жену до полусмерти, две недели помучилась Лиза и умерла. Нефадея замучили в Калаче, в ЧК. Даже тело не отдали, чтоб похоронить по-людски, как ни умолял об этом отец Нефадея Трофим Мещеряков. Закопали, как собаку, неизвестно где...

Детей Лизы забрала ее двоюродная сестра. А Павел вскоре женился на Шуре Корнеевой. Через время стал Козуб начальством в Калаче, перебралась вместе с ним туда и его новая жена Шура. Стали они жить в апартаментах дома купца Мещерякова, посчитавшего за благо уехать от греха подальше за границу еще в семнадцатом году. А в дом Кротовых пересе-

лился отец Шуры, Петр Корнеев, с женой и выводком своих дочек. Изменился Корнеев... Грудь вперед, как же, отец большевички, жены Павла Козуба, который в Калаче в больших чинах теперь обретается!

Меняются люди... И не предугадаешь, кто и как поведет себя в ту или иную минуту.

Вот они, те жуткие всходы, семена которых когда-то ронял в податливые людские души студенческий товарищ Яков Гаевич, вероятно, кончивший дни на каторге в Сибири.

И как хорошо, что всего этого не видит Вера, супруга, - этой вакханалии человеческой ненависти. Как бы она страдала, ведь и она какое-то время сеяла те злоеющие семена.

Революция, эта кровожадная гидра, как показывают примеры истории, во имя идей справедливого миропостроения неизбежно пожирает и собственных детей.

Да, действительно, благими пожеланиями выстлана дорога в ад...

Увы, уроки истории ничему не учат...

Вот он, уездный военный комиссар, товарищ Козуб, сегодня он - власть. Но что будет завтра? И как сложится судьба этих уездных Маратов и Дантонов, можно только предполагать. Революционный топор, разрубивший народ страны на две части, белых и красных, вряд ли остановит свои рубящие удары. Нет, это только начало...

Впрочем... К чему мне это, что будет дальше?

Еще бьется мое старческое сердце. Но зачем, для чего оно бьется?..

*Пока мы помним -
мы живём...*

КРЕСТ

1

Деревня Дубки своими пятью десятками хат прилеплась к лесу, который высокими соснами, покровительственно охватив ее дугой, словно бережно приобняв, защищал от злых ветров зимой и прохладой освежал - летом. Так жмутся к мамаше-квочке цыплята, не удаляясь от ее родного, надежного крыла, возле которого спокойно и безопасно. Но есть такие непоседы, все им нипочем, они все норовят выпасть из общих правил поведения и распорядиться собой, повинуясь только своему желанию и прихотям строптивного характера.

Вот и в Дубках одна хата не пожелала стоять в одном ранжире с другими, отбежала от них по легкому склону на добрых три сотни шагов и остановилась разумно, решив, что отдаляться дальше не следует. Дальше - неважная земляца, солонцеватая, огорода хорошего не устроить. А еще дальше - овраг не овраг, лощина не лощина, берега не крутые и не то чтоб сказать пологие, а по дну течет потихоньку то ли речка, то ли ручеек, без всякого названия, куда ходят погоготать, похлопать крыльями, омыть перышки дубковские гуси.

Эта хата, не захотевшая стоять в одном деревенском порядке, образующем единственную улицу, выходящую на проселок, который направлялся мимо леса в районное село Любары, принадлежала Дмитрию Самсоновичу Балабану. Однако в деревне его так никто не называл, был он для всех -

дядько Митроха. Даже древняя бабка Устя так его величала. А это кое-что да значило - уважительность.

Когда затеялись колхозы, дядьку Митроху хотели раскулачить. Деревня взбулгачилась: «Какой же он кулак?» И действительно, были в Дубках куда зажиточнее, чем дядько Митроха. Их-то не трогали!

Неслыханное дело, чтоб недовольство против решения районных властей, проводивших в жизнь линию партии и правительства, так открыто выплеснулось, куда как не дурной, категорически недопустимый пример для других. Пресечь! Зачинщиков в кутузку! Но выходило, что зачинщики - вся деревня. Некоторая незадача получалась...

В Любарах помозговали умными головами, прикинули ситуацию, остудили чересчур горячих партийным словом и нашли соломоново решение. Дядьку Митроху решили сделать председателем колхоза, на собрании вся деревня подняла за него руки, а раскулачили Ивана Галяша. Негоже так, чтоб никого не раскулачить, план есть план, это закон, в нем черным по белому прописано, что в Дубках кулак имеется, один, - аккуратная такая цифирька «единица», красным карандашом отмеченная, правда, без указания фамилии. Но то - неважно. Главное - есть. А фамилию недолго вписать, рядом с цифирькой, в соседнюю графу. Вот и вписали Ивана Галяша.

Погоревали в Дубках, не без того, нескладно уж как-то дело повернулось, что такая неожиданная и незавидная судьба выпала на долю Ивана Галяша. И ведь благодаря им, своим же дубковским мужикам и бабам! Да кто ж мог и подумать, что все так обернется... Защитили одного - погубили другого. Малость утешало то, что недолго любили Ивана Галяша в деревне, жадноватый мужчинка, к тому ж с прибрезом. Попросят табачку на закрутку - нетути! А сам вот же, на глазах у всех, харя брехливая, кисет доставал, только что!

Заартачился было дядько Митроха. Раз, мол, наметили меня, так и раскулачивайте, а Галяша Ивана не трогайте! Начальство разгневанно притопнуло и прикрикнуло. Коли так, отправись вместе с Галяшом на пару!

«Молчи!» Упаси тебя боже! - подступились дубковцы с упросами к дядьке Митрохе. - Не пропадет твой Галяш. За

Уралом тоже люди живут. А без тебя нам всем худо будет. Прикинь!».

И дело кончилось тем, что Иван Галяш с семьей, провожаемый бесслезными причитаниями жалостливых бабок-плакальщиц, отправился осваивать новые земли в Сибири, а дядько Митроха в Дубках - председательствовать, строить новую колхозную жизнь. Помороковали и с помощью ценных, разъяснительных указаний уполномоченного из района Запрягайло Тихона Несторовича - человек носил полотняный белый пиджак и кожаный с медным замочком портфель - назвали колхоз именем пламенного немецкого революционера Карла Либкнехта, которого очень высоко ценил Владимир Ильич Ленин и, разумеется, товарищ Сталин.

И стали дубковских колхозников за глаза прозывать «карлами». На что те сильно обижались. Кроме дядьки Митрохи, который лишь усмехался в усы, когда его называли «карлов председатель». Поди же ты, вон рядом, у соседей, колхоз имени Карла Маркса, а никто их «карлами» не называет. Прозвище не рубаха, в корыте не отстираешь. Промашку, выходит, дали, послушались грамотного партийца товарища Запрягайло, да что уж теперь - дело сделано. А пикнешь - можно и вслед за Галяшом загреметь, если не хуже. Хоть с дядькой Митрохой, Слава богу, управилось все ладно, и то великое дело. А «карлов» переморгают, не дым едучий, глаза не выест.

2

Война шла уже больше месяца и за это время успела порядком сократить население Дубков - все мужики призывного возраста сейчас где-то сражались против супостата-немца.

О своем желании грудью защитить родную землю от завравшихся фашистов заявили и девушки-комсомолки с МТФ. Но им разъяснили: армия в женщинах пока не нуждается, и доярок-патриоток районный военный комиссар отправил обратно домой, наказав девчатам ковать победу в тылу.

«Не для того они вам природой дадены, милшечки вы мои хорошие, чтоб под пули их подставлять, красоту такую...» - печально подумал комиссар, нежно огладив ласко-

вым мужским взглядом бюсты комсомолочек, налитые молодым соком, который, казалось, того и гляди, брызнет из тугих сосков, так и норовивших прорвать тесные кофточки и вырваться на волю, на ласку мужской руке, мужским губам. От такой картины, Богом и природой миру подаренной, когда сладко слепнут глаза и заходится сердце, будь ты хоть сопливый еще мальчишка или же старик, приготовившийся к последнему причастию, - будто сама жизнь вливается в тело и душу, струной звенит в жилах, и даже тогда, когда голову твою кладут на плаху, и смерть уже обнимает тебя и через мгновение навсегда померкнет белый свет.

Задерганный, вымотанный бессонницей, комиссар чуть не заплакал, глядя вслед дояркам. Военный человек, он понимал, какая доля им еще выпадет...

Притихла деревня. И в предчувствии беды, которая навигалась с зловещего запада, будто еще ближе прижалась-прилепилась к стене родного леса, который еще ниже опустил разлапистые свои ветви, шевелил ими, ловя самые слабые движения знойного воздуха, - словно омахивал хаты и тем самым пытался хоть как-то уменьшить тревогу, тяжелой занозой впившейся в людские сердца и души.

И вот в один из дней где-то вдалеке, справа и слева от Дубков, заухало-забухало, ночное небо встревожилось сполохами зловещих зарниц.

А дня через два все стихло.

Проселок пуст. Оживился он ближе к вечеру жиденькой колонной полуторок с крытыми верхами; колонна проследовала не останавливаясь.

Потом пропылила одинокая черная «эмка». Бродом форсировала водную преграду перед Дубками, так как никакого моста тут сроду не имелось, куда уже и гуси, будто чуя беду, не ходили больше купаться и охорашиваться, подъехала к подворью дядьки Митрохи и остановилась. Вылез из нее полковник в мятой форме и с помятым, небритым лицом. Спросил, давно ли проследовала колонна полуторок, попив молока, торопливо промокнув губы рукавом гимнастерки, хлопнул дверцей и укатил опять в ту сторону, откуда появился, так ничего определенного и не сказав на вопрос дядьки Митрохи,

далеко ли немцы и где наши. Уже совсем свечерело, когда та же «эмка» с полковником вернулась. На сей раз, не зажигая фар, не останавливаясь, пугливым черным жуком проурчала мимо Дубков - в сторону Любар. И опять тишина.

Ночь не нарушалась ни единым звуком. Будто вымерло все кругом. Даже собаки не перетявкивались. В окнах хат ни огонька. Лишь звезды недоуменно вглядывались из бездны в притихшую землю, пытаясь понять, что же там происходит.

И утро пришло такое же тихое. Только неугомонные кузнечики в подпаленной солнцем траве беспечно настраивали свои скрипки, каждый на свой лад.

Встало солнце, не прихмуренное ни единым облачком. Поднималось все выше, обжигало немилосердно землю, вскарабкиваясь потихоньку к заветному зениту.

Не верилось, не хотелось верить, что идет война, что где-то сражаются и гибнут люди. И думалось: «Не тяжкое ли это наваждение?..»

И вдруг совершенно неожиданно откуда-то сверху свалилось и пронеслось над Дубками желтобрюхое чудище, в прозрачной кабине которого ясно виднелось веселое, улыбающееся лицо человека.

Ревущее чудище на бреющем полете, словно походя, длинной очередью из пулеметов, похожей на стук гигантской швейной машинки «Зингер», прострочило насквозь всю улицу. Ошалевшие от страха куры, которые с раскрытыми клювами купались в придорожной пыли, избавляясь от паразитов, взлетели и комками растрепанных перьев с истошным кудахтаньем попадали в спасительные лопухи.

Бабка Устя, досчитавшая свой возраст до девяноста годов, а потом махнувшая рукой на дальнейший счет, грелась на солнышке, устроившись на толстой колоде у своего двора. Разжиженная долгими годами и тяжкими трудами кровь уже мало грела бабку, мерзла она и летом. Даже в пекло напяливала на себя неизменные кожаные и валенки, какие, судя по своему виду, точно были ровесниками бабкиной молодости.

Свинцовые жала, сыпанутые чудищем, распоролы и кожаные, и валенки, и старческое бабкино тело.

Сорокалетний дурачок Минька Хованский успел среагировать. Пульнул из рогатки в желтое брюхо сатанинской железной птицы увесистый чугунный снаряд. Таких снарядов у Миньки полный карман. Добывал он их, круша кувалдой старые, треснувшие сковородки, выброшенные за ненадобностью хозяйками. Предназначались они для стрельбы по нахальным воронам, воробьям, сорокам и прочей летающей живности, которая, нисколько не боясь живописно раздетых пугал, совершала наглые набеги на огороды.

Минькин снаряд не возымел никакого действия. Ревущая железная птица круто взмыла вверх и вскоре стала точкой на белесом небе, а потом и вовсе растаяла. Минька от жгучей досады плюхнулся прямо в пылюгу, отшвырнул рогатку. Расставив широко босые ноги, сидел на дороге и иступленно колотил кулаками пыль. Она, как вода, разлеталась брызгами, залепляя Минькино мокрое от слез лицо.

Бабка Устя дожила до вечера. Удивлялись, как только теплится жизнь в этом истерзанном ранами теле. Кровь из ран не текла - сочилась. Потому, видать, и не останавливалось бабкино сердце, раз в жилах все еще была кровь и надо было ее гонять, тикало потихоньку, из последних сил. А как только солнце, изнемогшее за длинный день от собственного жара, устало опустилось за лесом, завершив дневные свои труды, притихла бабка Устя, успокоилась.

Перед тем в беспамятстве постанывала тоненько, стон этот напоминал поскуливание беспомощного, недавно народившегося кутенка, потерявшего материнский сосок. В редкие минуты просветления памяти все сокрушалась очень, что антихрист этот, немец, низвергнувшийся на бесовской машине с небес, испортил непоправимо валенки и кожух, которые еще носить бы да носить и после ее смерти добрым людям.

Первая дань войне Дубками была заплачена - бабкой Устей.

Пригорюнились живые, притосковали каждый в своей хате, сердцем и трепетными мыслями дозываясь до тех, кто совсем недавно с песнями и гармошкой уходил из Дубков - защищать Родину.

Живы ли...

В деревне поутру не залежишься в постели, вставать надо поранее. Радость, горе ли какое, а с худобой не терпит управляться.

Встали в Дубках, присмотрелись за ворота.

Вроде люди какие-то объявились, там, где брод, на дубковском берегу. Чьи? Что делают? Время такое, люди людей стали бояться...

Дядька Митроха, уже одетый, сидел на лавке и размышлял, ехать или не ехать в Любары. Или дело это уже гиблое, там, должно, уже немцы. Слава Богу, скот колхозный успели угнать. Начальство в Любарах велело, чтоб гнали на восток своим ходом, так как никакого транспорта для вывозки нет, нужно отрядить для этого людей надежных, не старых, дорога предстоит дальняя. А ему сказали, чтоб возвращался домой и ждал дальнейших указаний. Да, похоже, никаких указаний уже не дожждаться...

- Тато! Тато! - гремя пустой цибаркой, заскочила в хату взволнованная Стефа.

- Стряслось чего? С коровой? - встревожился дядько Митроха, оборвав невеселые свои мысли.

- Не! Не с коровой! Там, на броне, люди землю копают. Не поймешь, наши или немцы, - скороговоркой выпалила Стефа. Раскрасневшаяся, она часто-часто моргала, а в зеленоватых, как молодой яблоневый лист, глазах плескались тревожные тени.

Он смотрел на Стефу и, казалось, не слышал ее. Смотрел долго, и где-то внутри у него заныло, защемило. Не в сердце, нет, вся грудь всколыхнулась болочей волной, за нее, за Стефу, в предчувствии чего-то нехорошего, чему ясного объяснения пока не находил. И пожалел, что не настоял, не отправил ее назад в Любары, когда стало ясно, что Петра уже никогда не дожждаться в родную хату. Оттуда, может, и эвакуировалась бы уже...

- Пошли! Поглядите! - нетерпеливо дергала его за рукав Стефа, никак не понимая его медлительности в этот момент.

На дворе вскочила на жердину изгороди, чтоб сподручней было глядеть - мешала сирень.

Дядько Митроха тут же резко дернул за юбку:

- Слезь!

- Так видней! - запротивилась она.

- Слезь, говорю! - прикрикнул.

Стефа обиженно спрыгнула на землю.

«Глупая... не понимает, дуреха, что винтовкой человека за версту очень даже можно снять. А тут и полукилометра не насчитаешь».

Дядька Митроха козырьком приложил ладонь к наморщенному лбу и долго всматривался в сторону брода. Забормотал, будто сам с собой разговаривал и никакой Стефы не было рядом:

- Ага... копают... Окапываются, значит. Ясное дело. Э-эх... Наши. Немцы сейчас окопов не копают. Вперед рвутся. Н-да... И сегодня такая ж жара будет. Печет и печет...

Стефу на этот раз не согнал с жердины, когда она вновь оказалась на ней.

- Иди, дои корову. Зовет уже, - велел затем.

- А вы куда, тато? - испуганно заговорила

Стефа.

- На кудыкину гору! Застращалась... Корову дои!

- Ой, не ходите! Боюсь я...

Он направился было к броду, затем, не пройдя и полусотни шагов, остановился, заметив, что от брода в его сторону направилась группа людей. Постоял, потом вернулся к воротам, сел на лавочку, свернул сигарку и стал поджидать наших бойцов. А в том, что это были наши, у него не было никаких сомнений.

Их было трое.

Подошли, поздоровались. Старший по званию, лейтенант, изучающее оглядел дядьку Митроху, делая какие-то свои выводы.

- Единоличник, что ли? - спросил с кривой усмешкой, взглядом указывая на сразу бросавшийся в глаза факт - особенно стоявшее от всего деревенского порядка дядьки Митрохино подворье.

- Председатель колхоза, - спокойно ответил дядько Митроха, внутренне усмехнувшись подозрительности, как видно, скорого на выводы лейтенанта.

И тот сменил тон, но нотки подозрительности все равно сквозили в его голосе и настороженных глазах.

- Ну, извините, - произнес как-то с неохотой.

- Да уж...

- Не видели, не проходила ли тут колонна машин?

- Видели. Проходила. Ты уже не первый спрашиваешь, лейтенант. Тут один полковник тоже спрашивал. В черной «эмке» ехал.

- Когда он проехал? - встрепенулся лейтенант.

- Да еще вчера. Уже смеркалось. Без фар ехал. Туда, - махнул рукой дядько Митроха, - на Любары.

Лейтенант удовлетворенно покивал.

- Так, так... А немцы были?

- Нет. Пока Бог миловал. Самолет ихний пролетал. Позабавился... Из пулеметов шарахнул. Бабку Устю скосил, была у нас такая, годов под сто. Выходит, бабка для немца - неприятель страшный... Вот такие у нас тут, лейтенант, новости.

- Так, так... - опять потакал лейтенант. И покусывал губы, усиленно обдумывая какую-то свою мысль.

Невысокий крепыш, ладно сбитый, он чем-то напоминал Петра, хотя лицом ни в чем не был с ним схож. Когда глядишь на таких людей, чувствуется, как крепко у них сцепление с землей, на которой стоят, непросто сбить с ног такого. Гимнастерка на плечах и груди лейтенанта в обтяжку - тесновато мускулам.

- Закуривайте, хлопцы, - протянул дядько Митроха кiset с табаком, определив уже, что лейтенант характером ершист, горяч по натуре.

- Это дело, отец! - радостно потер руки старшина, доставая, помня о субординации, щепотку табаку из кисета лишь после того, как сделал это лейтенант.

Старшина по возрасту самый старший, лет за тридцать. Видно, из кадровых. Судить по тому же обмундированию. Хоть и было оно пропыленным, не раз насквозь пропитано потом, лоснилось от грязи на коленях, но сидело на старшине в пору по фигуре, подогнано по-хозяйски, с умелой основательностью и так, чтоб было удобным при любом положении тела. Он шумно всфыркивал, смахивая капельки пота,

которые скользили по щекам и крыльям носа, попадали в усы, уже приметно тронутые сединой. И говорил с основательной медлительностью, словно взвешивал слова, растяжку, приметно окая. Родом старшина, наверно, откуда-то с Волги.

Вышла со двора Стефа, управившись с дойкой. Поздоровалась с поклоном и во все глаза разглядывала негаданно заявившихся гостей.

Заговорила напевно:

- Зашли б в хату? Я на стол соберу, молочка попьете. Парного. Я корову только что подоила.

- Времени нет рассиживаться, - хмуро заявил лейтенант со звенящей жестяночкой в голосе, глядя на Стефу слегка исподлобья, тем самым скрывая свои чувства в этот момент. Можно подумать, что он испытывает неприязнь к Стефе, потому так и глядит бирюковато, и говорит жестко. Да разве проведешь дядьку Митроху... Сразу, с первого взгляда понравилась она лейтенанту, ясно как божий день. И опять вспомнился сын Петр, и опять тоскучей болью защемило сердце. Лейтенант, лейтенант... Втюрился ты в Стефу, как когда-то и Петруха, мгновенно и по уши. Старшина широко и благодарно улыбнулся, развел руками, как бы говоря этим жестом: «Командир! Раз так сказал...»

Щупленький красноармеец никак не прореагировал, стоял, не проронив пока ни единого слова.

- Ой!.. Ну так я хоть молочка вам вынесу, - проворно зашпешила Стефа во двор, произнося последние слова уже на ходу.

Скоро вернувшись с цибаркой и кружкой, обеда глазами всех троих, подала полную кружку красноармейцу.

- Попей, хлопчик.

Тот засмутился, густо покраснел, зарделись даже мочки лопушастых ушей. Взял нерешительно кружку, прежде с некоторой опаской поглядев на лейтенанта и старшину, которые переглянулись и улыбнулись. Возвращая пустую кружку, стараясь согнать смущение, сказал простодушно:

- Мне уже девятнадцать. - И весомо добавил, уточняя: - Двадцатый уже пошел...

Тем самым давал знать, что никакой он уже не хлопчик, а вполне настоящий мужчина, которому доверено оружие, чтоб защитить Родину, таких, как Стефа и дядько Митроха.

- Ах божичко ты мой! Девятнадцать... А мне так глянулось, годков тебе шестнадцать! - неприятно заудивлялась Стефа, тем самым еще больше смутив солдата.

Лейтенант и старшина улынулись, а дядько Митроха жалостливо смотрел на красноармейца, и нехорошее предчувствие опять царапнуло душу. И верно, хлопчик, совсем хлопчик... Снять бы с тебя замызганную пилотку, сынок, да погладить по голове жалеючи.

Боец был тщедушен, маленького росточка. И кто ж только догадался взять такого в армию, против немца биться... Винтовка за плечами выглядит огромной жердиной, кончиком штыка, казалось, чиркает за небо. Белявенький, брови и ресницы просяного цвета. Несмелые глаза пролесками глядят вокруг с любопытством ребенка, для которого все увиденное вокруг внове, внимание останавливается на каждой детали, которую взрослый человек пропускает, скользнув по ней буднично-безразличным взглядом. Да и сам он всем своим видом похож больше на ребенка, а не на бойца регулярной армии. Громадная его винтовка, солдатская обмундировка - все это казалось нелепостью, совершеннейшей случайностью, и из-за какой-то несуразной путаницы попали они вовсе не к тому человеку, чем должно было предназначаться.

И все ж он был солдатом. Если присмотреться, читалось это вполне ясно на донышке его пролесковых глаз, где распознавалась мужская решительность, готовая проявить себя в нужный час.

Но все равно хлопчик, хлопчик совсем...

Пропыленная гимнастерка с разводами соли под мышками, мешковатая, почти до колен. Подошва левого ботинка отстала, подвязана желтым телефонным проводом. Холщовые обмотки для надежности, чтоб не сползали, стянуты грязным бинтом.

Своей тонкой шеей, лопушковатыми ушами, торчащими из-под пилотки, мешковатой, не по росту формой, росточком своим, всей своей нескладностью угловатого пацана-

подростка напоминал он воробышка, храбро отважившегося покинуть надежное гнездо раньше времени, когда не окрепшие еще крылышки не держат надежного лёта.

Лейтенант объяснил, что его бойцы копают возле брода окопы, потому и рассиживаться некогда. А пришли они затем, чтобы прояснить обстановку и заодно, если можно, разжиться чем-нибудь съестным, надо накормить красноармейцев, а то, не евши, от такой жары и работы они попадают с ног и не отроют окопы на должную глубину, воевать без которых никак нельзя.

Стефа слушала и бледнела.

- Воевать будете... Господи... Царица небесная...

- Сколько вас? - спросил дядько Митроха. Лейтенант помедлил, прежде чем ответить. Военная тайна... Все еще не доверяет лейтенант. Да оно, с одной стороны, и правильно, что осторожничает. Мало ли...

- Тридцать два.

- Тридцать два... - вслед за лейтенантом повторил раздумчиво дядько Митроха. - Стефа! Обойди со старшиной и красноармейцем дворы, раз так. Пусть дадут, кто чего сможет. Скажи, я велел. Хотя... И так дадут. У нас дома тоже посмотри, собери чего. А мы тут с товарищем командиром табачку еще покурим да потолкуем.

Лейтенант не возразил, только хмыкнул и остался с дядькой Митрохой. Присаживаясь на лавочку, сказал:

- Красивая у вас дочка...

- Красивая, - согласно покивал дядько Митроха.

- Замужем? - с некоторой запинкой поинтересовался лейтенант.

- А на што тебе знать?

- Да так... Просто спросил...

Не ответил на этот вопрос дядько Митроха.

4

Лейтенант постучал сапогом о сапог, стряхивая пыль. Потом решил переобуться. Шибанул густой, тяжелый запах взопревших ног, обмотанных сбившимися, мокрыми от пота портянками, по цвету мало отличающимися от сапог.

- Неделю, считай, не снимал, - морщась, сказал лейтенант. Протер пучком травы ступни и спросил усмешливо, обуваясь: - О чем толковать-то будем?

- О рыбалке. Какая рыба на какую приманку идет.

Лейтенант и губы покривил от такого ответа.

- Шутите... не время...

- Какие уж тут шутки, лейтенант. Так вот что мне скажи, не пойму что-то я, растолкуй темному. Почему все так?

- Вы о чем?

- Да все о том же. Почему так получается, прет и прет немец. Никак не останоят.

- Внезапность.

- Внезапность... Да у нас в каждой хате говорили, что скоро, жди, нападет германец. Сталин-то чего ж? Неужто не знал? Что-то тут не так... А ну-ка если сговорились с Гитлером, а потом не поделили чего.

Лейтенант дернулся.

- Ну, вы это... бросьте! - резко оборвал с металлом в голове. - Такие речи разводить!

- И рад бы, лейтенант, да по-другому думать не приходится, - продолжал дядько Митроха свое. - Перед самой войной, недели за две, о чем газеты писали? Нас, председателей, в Любары специально вызывали, втолковывали в наши дурные головы, что, мол, у нас с Германией дружеские отношения, что слухи о войне подбрасывают всякие враги. Так, мол, и объяснять людям своим. А чего объяснять? Понятно, враги... А вот кто они, где они? Народ-то наш хоть и темный, да не дурак вовсе.

Лейтенант угрюмо слушал, уставившись в землю.

Дядько Митроха продолжал:

- Бабка Устя наша, я тебе уже говорил, убил ее немец с самолета, по годам вроде как из ума выжила, выйдет за двор, сядет на свою колоду, клюкой на церкву показывает: «Порушили крест, а Господь порушит нас, окаянных. Птицы железные полетят, кони огненные поскачут, пожгут и истопчут нашу землю, кровью все умоются...» Так она говорила, бабка старая. Выходит, знала, понимала. И мы нутром чуяли, неладно, ох неладно закручивается. И вот тебе! Вот она, та дружба с Германией, чем кончилась.

- Вот что! Ты рассуждай, да меру знай! - перешел лейтенант на «ты», не скрывая гневного раздражения. - Сейчас война, нарвешься на кого, по головке не погладят.

- Война... мужиков наших позабирали. Воюют... Остались одни бабы с дитяи да деды трухлявые на печках. - Дядько Митроха усмехнулся: - Да вот еще такие, как я, поддедки. Скрипим, но еще ковыляем.

- Чего ж не ушел, не эвакуировался? - Лейтенант ясно вкладывал в свой вопрос подозрительный смысл.

- Чего? Да как сказать... Кому-то ж и оставаться надо. Мы на своей земле. А немец... Как придет, так и уйдет. Бывало уже...

- Хм! Ловко ж ты на вопросы отвечаешь! - дернул лейтенант головой.

- Ловкость тут одна, лейтенант, - невозмутимо отвечал дядько Митроха. - Язык только говорит, а что сказать, оно вот тут, - ткнул большим пальцем себе в грудь. - Тут тебе все. Нет, не язык говорит у человека - душа. Вот и то-то... А ты - ловко! Чего ждать дале?

- Философ... Рассуждаешь, как профессор. - Лейтенант злился, нервничал.

- А как же, - добродушно отвечал дядько Митроха. - Прохвесор, да. Две зимы как-никак отходил в церковно-приходскую. - И спросил конкретно в лоб: - Решил немцев на броне встречать?

- Мое дело, - нахмурился лейтенант, отвечая коротко и по-прежнему зло.

- Ээ-х! Лейтенант! Положишь ты людей без толку.

- Но-но! Тоже мне стратег! - возмутился лейтенант. Все лицо его пошло красными пятнами, точно уличили его в чем-то тяжком. - Как это бестолку? У меня приказ. Задержать немцев.

- Задержать... - покачал головой дядько Митроха с тяжким вздохом. - Да они поставят поодаль пушки, одну пушку, хватит, и разметут ваши окопы враз. Земля там сыпучая. Что ты сделаешь со своими пукалками? Ворон разве что распугаешь. Кто его тебе давал, такой приказ?.. Небось, полковник, который тут проезжал?

- Да-а... Все-то ты знаешь, как я погляжу. И что-то очень уж ты любопытный! С чего бы?

Раздраженный лейтенант зло уставился в дядьку Митроху, словно пытался колючим, как гвоздь, своим взглядом пронзить его насквозь и тем самым прекратить колкий разговор, который для него был тягостным, совершенно ненужным, выбивал лишь из равновесия.

- Опять - любопытный. Лейтенант! Да дурак он, тот, кто давал такой приказ. Хоть полковник тот, хоть кто другой. Колонна полуторок прошла уже, давно прошла. Так понимаю, из-за нее - задержать. Да и обойдут они тебя хоть справа, хоть слева. Зачем им на тебя в лоб переть, если уж на то пошло.

Лейтенант на мгновение смешался, озадаченный словами дядьки Митрохи.

- Справа, по карте, болото. А слева - там кручи.

- Как же! - воскликнул дядько Митроха. - Болото! Давно оно высохло, то болото. Брешет твоя карта.

- Все равно, - взял себя в руки лейтенант, отменяя напрочь короткой искрой возникшее было смятение. - Приказы не обсуждают. Приказы выполняют. И дают их настоящие командиры, исходя из боевой обстановки. Они видят и оценивают ее шире, чем их подчиненные.

Говорит лейтенант, как на экзамене. И голос изменился, оттараторил на одной ноте.

Смотрел на него дядько Митроха, слушал и думал: а верит ли лейтенант сам тому, что говорит, что отбубнил, будто перед ним сидел не дядько Митроха, а вышестоящий командир, какому так и должно отвечать.

- Да что я с тобой разговариваю! - взвинтился лейтенант, недовольный собой, что позволяет вести такие разговоры с совершенно незнакомым человеком, у которого неизвестно что на уме. - Будто должен тебе все докладывать!

- Не докладывай. - Говорил дядько Митроха все так же ровно, не отвечая тем же на всплески резкости и раздражения горячего лейтенанта. - Я ж с тебя не требую, чтоб ты докладывал. Разговариваю как с человеком. Не хочешь - не надо.

- Молоде-ец! Не требую! Этого еще не хватало!

- Не горячись, командир. А к совету иной раз не грех и прислушаться. Делай, как знаешь. Раз приказ, как ты говоришь. Но и подумать как следует не лишне будет.

- Ладно. Спасибо за совет, - ехидно отреагировал лейтенант. - Но что делать, я сам знаю. Да, у меня приказ. И я должен его выполнить. Армия не собрание в клубе.

- Что верно, то верно, не собрание. Ну, как знаешь... - Дядько Митроха вздохнул, жалостливо посмотрел на лейтенанта. А тот прищурил глаза и заговорил, понижая голос:

- Что-то ты гнешь не в ту сторону. Будто ждешь не дождешься немцев. Может, хлебом-солью приготовился встречать?

- Я их уже встречал, - сказал дядько Митроха буднично, отчего лейтенант так и встрепенулся, подскочил с лавочки.

- Когда?! Ты же сказал, что немцы здесь еще не появились!

- С генералом Брусиловым встречал! - заговорил дядько Митроха почти торжественно. - Слышал про такого? - Возвысил голос и цепко взял лейтенанта за плечи. - Пошли!

- Куда? - несколько растерялся тот.

- В хату. Пошли! Пошли!

- Зачем? - с обескураживающим удивлением спросил лейтенант, однако не пытаясь сбросить с плеч дядьки Митрохину цепкую руку.

- Увидишь.

Дядько Митроха провел лейтенанта в горницу. Молча, кивком головы указал на два увеличенных портрета в рамке на стене.

На лейтенанта смотрел майор в португее и красноармеец в буденовке.

- Кто они? - нахмутив брови, спросил лейтенант.

- Сыны, - коротко ответил дядько Митроха, пряча дрожащие руки в карманы.

- Воюют?

- Отвоевались... - произнес глухо.

- Прости, отец, - после долгой паузы тихо сказал лейтенант. Неловко сжал локоть дядьки Митрохи. - А где же ваша хозяйка? - спросил, переводя взгляд на мерцающий огонек лампадки под образами.

- Умерла.

Опять затянулась длинная пауза.

- Лес ваш большой? - первым прервал ее лейтенант.

Дядько Митроха понял его мысли.

- Да как... Ходко идти - за час-полтора пройдешь на ту сторону. Одно название, что лес. Сосняк далеко просматривается. Цепью ежели прочесывать, не спрячешься. А дуб тут у нас и не растет...

- Отчего ж тогда деревня так называется?

- Кто ж его знает. Может, кто первый пришел сюда, посадил дубки, а они не прижились. А деревню все ж Дубками назвали.

Вышли из хаты, опять присели на лавочку.

Дядько Митроха молчал и слушал горячо заговорившего лейтенанта.

Вышли они недавно из боя. Батальон наскочил на немецкие танки. От батальона осталось тридцать два человека. И единственный офицер - он, лейтенант. Кой-как оторвались от немцев. Тут подъехал полковник на «эмке». Приказал выйти к броду у Дубков и занять оборону, задержать немцев хотя бы на полдня. Чтобы те не смогли догнать колонну полуторок. «Важный груз, лейтенант, - сказал полковник. - Очень надеюсь на тебя!» Обнял на прощанье.

- Понимаете, я должен выполнить приказ, - срывающим-ся голосом сказал лейтенант.

- Что ж, коли так. - Дядько Митроха приобнял лейтенанта за плечи, прижал к себе. И будто стесняясь, огляделся кругом, не видит ли кто. Мучительный, болючий комок сжался в груди. - Должно, я чего-то недопонимаю, сынок...

- Я должен, отец, - сдавленно проговорил лейтенант, буд-то горло его сжали невидимые тиски.

5

Вскоре вернулись старшина с красноармейцем. Стефа несла его винтовку, а он был нагружен двумя кошелками, из которых торчали горлышки четвертей с молоком. С ними по-дошли и женщины с узелками.

Приковылял и дед Охрим, прозванный Болгаром, местом пребывания которого последние годы была печка.

- О! - воскликнул дядько Митроха, увидев его. - Никак, вижу, подмога красноармейцам пришла. А печь на кого оставил?

- На прусаков оставил! На прусаков! - прошамкал дед.

- Это он про тараканов, - пояснил дядько Митроха лейтенанту.

- А я знаю, - улыбнулся лейтенант. - У нас их тоже так называют.

Женщины затараторили наперебой:

- Ой, та дядько Митроха! Та товарищ командир! Та нехай бы пришли все красные армейцы в деревню. Та за столы сели, как положено. Мы бы борщичку свежего наварили, курей, гусок зарубали. А то так и не совсем по-людски получается. А, товарищ командир?

Хлопнув ладонями по коленям, лейтенант пружинисто встал с лавочки, оправил гимнастерку. Растолковал, что недосуг рассиживаться за столами. И так задержались. А за харчи, что собрали, принесли - спасибо пребольшое. Дальше донесут сами. На позицию не надо женщинам идти. Пусть возвращаются по домам.

И это слово «позиция», произнесенное военным человеком, командиром Красной Армии, поразило примолкших женщин.

Вот она, война, докатилась и до их Дубков. Представляли раньше, какая она, и шли на ум слова браваурной песни «Если завтра война, если завтра в поход...», которую часто передавали по радио перед войной. До вчерашнего дня была она, война, где-то вдали от их деревни. И вот уже овеяла смертным крылом своим уже и Дубки, смахнув, словно паутину, жизнь бабки Усти. Явилась и сегодня - пугающим словом «позиция» из уст сурово сдвинувшего брови лейтенанта. И совсем другая песня звучала сейчас в сердце: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!...», от которой холонула в жилах кровь. Услышанная совсем недавно из черных тарелок репродукторов, она пронзила каждую душу. Вот и их мужиков, если живы еще, носит где-то лихая военная судьба...

- И-эх! - широко улыбнулся лейтенант, ловко, двумя пальцами, поправил пилотку. - А дай-ка, дивчина, я тебя по-

целую! - шагнул к Стефе. Напускал на себя браваду лихого разбитного парня, для которого женщины давно не загадка. Улыбался, а в глазах тоска.

И она уловила ее, эту глубокую колодезную тоску прощания. И смелость его поняла, которой прикрывал свое смущение.

- Я сама поцелую вас... - сказала Стефа тихо.

Прижалась щекой к небритой щеке лейтенанта, закрыла глаза, замерла на миг, поцеловала в губы. Тронула пальцами щетинку усов старшины, мягко коснулась их губами. Держа обеими руками голову, поцеловала и красноармейца, сначала глаза, потом удивленно приоткрытые губы, обнажившие мелкие щербинки зубов.

- Храни вас господь... - молвила.

Зашмыгали носами женщины, закричал дед Охрим, зацарапал скрюченными пальцами по высохшей своей шее, словно гимнастерку застегивал на последнюю пуговицу.

Глядели вслед уходившим бойцам, кончиками платков утирали глаза.

- Идите по домам, - велел дядько Митроха. - Начнут стрелять, по погребам сразу ховайтесь. Начнется, так и сюда достанет...

Дед закашлялся, завздохал:

- Пошли солдатики горемычные смертушку свою встречать...

Страшные слова сказал дед Охрим, как оглушил.

- Помолчи, дурень старый! - накинулись на него женщины. - Языком-то молоть! Типун тебе!

- Не я. Вы, бабы, дуры пустоголовые... - изрек дед с каким-то отрешенным спокойствием, отчего еще сумней стало на душах. - А я еще с турецкой, под болгарским городом Плевной, голубушки, опробовал, знаю, почем он, фунт порошу. Тогда жуть, а сейчас, вон, и аэропланы у немцев. Знаю... - Заслезился дед, сморщился. - Дай-ка, председатель, из твоего кисета. Что-сь в грудях закололо. Дымнуть надобно, прочистить.

Этой ночью дед Охрим не спал, проворочался на печке до утра. Всплакнул тайком и простил бабке Усте давнишнюю свою обиду. Намеревался он когда-то посвататься к краси-

це Усте, да не вышло. Пока воевал с турками в далекой Болгарии, пока вернулся, Устя вышла замуж и к возвращению Охрима, с крестом и серебряной медалью на груди, успела родить и ходила тяжелая вторым.

Эта обида на Устю все годы занозила сердце деда Охрима, потом будто и забывать стал совсем, но все ж нет-нет и давала о себе знать. И он подшпынивал женщин, это человеческое племя, которое подломило не одного мужика, племя, от которого того и жди какого-нибудь выкрутаса. Бабы, они потому и дуры, что бабы. Хоть и норовят иной раз закукаречать кочетом. В Писании что сказано? То-то же. Не сорвала б того яблочка, так бы и пребывали в раю. Прогневили Бога, вот потому и войны пошли с тех пор. Кровь людскую пускать стали без разбору, что водицу. Волками стали глядеть люди-человеки друг на друга, горло перегрызать. Вот она, штука какая, баба...

От таких беспощадных мыслей деду Охриму иной раз становилось не по себе. И он отступался, думал: «Посерчаешь, не без того. Но и без нее, без бабы, никак нельзя. Заковыка получается, переведутся люди-человеки, хоть и грешники страшные. А Богу это не угодно. - Каялся: - Прости меня, Господи, за думки мои непотребные!»

Когда все разошлись, Стефа сказала:

- Тато, а командир на Петю нашего схожий...

«Гляди-ка, - подумал дядько Митроха. - Тоже подметила...»

6

Не пушками достали немцы позицию жидкого войска лейтенанта.

В небе появился странный самолет, такого в Дубках никогда не видели. Напоминал он небрежно сколоченную калитку из четырех планок, у одной из которых не отпилили концы вровень с другими. Это неуклюжее сооружение летело медленно, временами казалось, что оно и не летит, а зависло над бродом на высоте, не достигаемой для винтовочного выстрела с земли. Гудело на одной нудной ноте, то усиливая, то понижая громкость звука. Гуд этот резал нервы, напрягал их

до вибрации. Кружилось, приглядывалось и вроде даже как приноживалось ко всему, что видело с высоты на земле.

Покружив минут десять, самолет так же медленно улетел, унося с собой противное человеческому уху гудение.

И - тишина.

Такая наступает перед грозой, когда на небе клубятся облака, сбиваясь в черную, набухающую тучу, через время распоротую рваными зигзагами бешеных молний, наводящих страх на все живое на земле безудержным грохотанием и стенанием ветра, враз сорвавшегося, как табун обезумевших лошадей.

Но сейчас небо было чисто, прожаренное насквозь солнцем, изнемогало над землей и было не голубым, а выпцветшим до белесости.

И тишина эта, и безучастно застывшее солнце, и белесость, почти доходившая до белизны, не успокаивали, несли в себе какой-то зловеющий знак, отчего гулко и тревожно билось сердце, предчувствуя близкую беду.

Самолеты появились неожиданно, зашли со стороны солнца и стали видны, когда были уже почти над бродом. Друг за другом падали в пики над окопами, вспарывая пространство жутким воем. На малой высоте задирали нос и резко взмывали вверх, освобождаясь от бомбовой нагрузки, разворачивались для нового захода. Земля дыбилась, клубилась рыжей пылью; не стало видно отдельных разрывов, над бродом встала сплошная стена, словно выкрашенная грязно-серой краской с рыжими потеками.

Неубирающиеся шасси торчали из-под брюха самолетов, напоминали лапы хищных птиц, прицеливавшихся, чтоб когтями точно вцепиться в свою жертву.

И казалось уже, что эта ужасная карусель в небе длится бесконечно, и скоро дымом и пылью закроет все небо и наступит ночь.

Заход, второй, еще раз, и еще, и еще...

Не послушалась Стефа, не полезла в погреб, на чем настаивал дядько Митроха, не хотевший, чтобы она своими очами видела это смертоубийство. Не пошла и в хату, как ни просительно упрашивал ее, чуть ли не на колени вставал перед ней.

- Не, не, - односложно твердила.

Стояла с ним рядом у раскрытой калитки и, приложив ладонь ко рту, не отнимала ее, закусив пальцы, почти не мигая, прикованно все смотрела и смотрела туда, где творилось светопреставление, где находились те, кого она совсем недавно поцеловала на прощанье.

Не успела еще осесть пыль и не развеялся дым, после того как улетели самолеты, у брода появилась колонна.

Впереди ползли две танкетки, похожие издали на жуков-долгоносиков, за ними - десятка полтора мотоциклов с пулеметами на люльках.

Замедлив ход, почти остановившись перед развороченными после бомбежки окопами, колонна заработала по ним из всех пулеметов. Затем - пауза. Потом опять стрельба.

Позиция молчала, не отвечала ни единым выстрелом.

Дядько Митроха понял, почему.

«Вот и продержался ты, лейтенант, половину дня, как тебе приказывали. Как раз полдень сейчас и есть...»

Постреляв, колонна двинулась дальше, мимо Дубков.

Один мотоцикл отделился от колонны и, набирая скорость, понесся ко двору дядьки Митрохи. У ворот, взревев, крутнулся на месте и остановился. Один немец остался сидеть за рулем. Другой выскочил из люльки, веселый, улыбочивый, подморгнув дядьке Митрохе и Стефе, что-то сказал по-своему, забежал во двор, отшвырнул носком сапога тявкнувшего щенка, заскочил в хату, зыркнул по углам, подхватил в сенях решето с яйцами, отнес в люльку. Полубегом вернулся, в загоне поймал самого крупного гусака, на ходу, гоготнув, ущипнул Стефу за бедро, запрыгнул в люльку и помахал рукой. Мотоцикл рыкнул, изрыгнул клубы вонючего дыма и рванулся догонять колонну.

Оцепеневшая, потерявшая дар речи, бледная, стояла Стефа с безвольно обвисшими руками, словно птица с подбитыми крыльями.

- Поди в хату, - осторожно тронул ее за локоть дядько Митроха. - Приляг...

Она послушно, как во сне, пошла.

Дядько Митроха, будто ослепший, заметался по двору, в один угол, другой, наткнулся на открытую дверь хлева и чуть

не упал. Остановился, приходя в себя. Сорвал с веревки выстиранную простыню, сунул за пазуху и скорым шагом заспешил к броду.

7

Можно было предполагать, что он увидит. И уже приготовился к тому. Повидал всякого, и на первой германской, и в гражданскую, не раз чиркала смерть да мимо проскакивала, газов нюхнул, чему уж тут удивляться...

Война есть война. Другой она не бывает.

Но вот здесь, у родных Дубков, где родился-крестился, где женился, где детей родил, предстала перед ним картина не для человеческого глаза, слепнули они, глаза, от жути ее. Предстала картина такая, какую ни один художник с самым мрачным воображением не способен создать, кроме художника одного - войны, убийственные краски которой не терпят ничего живого.

Запах гари и дыма, свежей развороченной земли, которую словно гигантской лопатой перекидали несколько раз с места на место, человеческой крови и растерзанной плоти помутил потрясенное сознание.

Дядько Митроха стоял и не понимал, зачем он пришел сюда и что его так влекло неодолимо на место, где дьявольской мельницей в один миг перемолото три десятка человеческих жизней, молодых, здоровых людей, чьи души неприкастно еще метались над полем смерти.

Он толкнул себя командой содрогнувшегося живого сердца в груди, где ему было тесно сейчас. Перекрестился, Господа прося, чтоб не дал ему упасть в обморок. Пошел по этой влажной, сыпучей земле, в которую мягко вдавливались ступни. Шаг за шагом ощупывал глазами каждый ее метр. Прошел по всей пахоте, сначала по одному краю, потом по другому.

Полузасыпанные окровавленные тела, вываленные в земле куски человеческой плоти, клочья обмундирования, искореженные винтовки, рассыпанные патроны, похожие на крупные зерна, виновато отсвечивающие золотистой кожей, что не проросли ни единым выстрелом...

Лейтенанта он узнал по обуглившемуся командирскому планшету. Лежал лейтенант лицом вниз. Перевернул тело и

отпрянул... Лица не было. Была сплошная рана, залепленная землей, пропитанной кровью. Снова наклонился, вынул из кобуры «ТТ», сунул за пазуху.

Старшину не нашел.

И вдруг он узнал кирзовый солдатский ботинок... Отставшая подошва подвязана желтым телефонным проводом.

«Воробышек...»

Поспешно опустился на колени, быстро заработал руками, разгребая землю, освобождая голову и грудь солдата.

Грудь «воробышка» слабо вздрогнула, и дядьку Митроху будто жаром опалило: «Живой...»

Подхватил мягкое тело, метнулся в одну сторону, другую, озираясь по сторонам. Потом опустился в лощинку и оглядел ее склоны. Заметил узкую промоину, опустил в нее Воробышка.

Чуть отдышался и только теперь осмотрел его. Разворочено левое плечо, под ним полосой, до ребер, содрана кожа. Больше никаких ран не обнаружил.

Достал простыню, разорвал на куски. «Да Господи ж ты...» - проговорил вслух, недовольный своими руками, в которых никак не мог унять крупную дрожь. Один кусок, оторванный от простыни, скомкал, приложил к ране, другими обмотал. Нарвал травы, подложил под голову Воробышка, травой присыпал и промоину.

Прошел по лощине назад, взобрался по ее склону вверх и остановился, запыхавшись. Грудь ходила ходуном, колотилось бешено сердце.

Пригляделся...

Так и есть. Из Дубков сюда спешили женщины. А вон со своей клюкой ковыляет дед Охрим, конюх Аким, пацаны-подростки, а впереди всех - Стефа, босая, с выбившейся из-под юбки блузкой.

Дядько Митроха медленно направился к месту, которое живой лейтенант называл позицией и которое теперь так не назовешь, тут другие слова подходили...

«Догадливые...» - печально подумал, когда рассмотрел, что идут с лопатами.

Подошли. И молчали. Долго молчали.

Потом бабы враз ударились в плач, в голос.

Мужики и подростки крепились, но потом и у них закрились лица.

- Чего ж вы, тато, пошли и ничего не сказали... - упрекнула Стефа, вода ладонью по мокрым щекам.

- Ладно. Хватит, - сказал дядько Митроха. - Хоронить надо. Дома доплачете...

Могилу вырыли неподалеку. Собрали и сложили в нее все, что могли собрать. Нарвали полыни, присыпали ровным слоем. И только после этого стали кидать землю.

- Что будете ставить? - спросил конюх Аким. - У меня фанера есть, толстая, в палец. Звезду можно выпилить.

- Хрест! Хрест! - замахал руками Охрим, тем самым категорически отвергая любой другой вариант.

- Так, так... Крест... - сказали женщины.

Крест сбили из срубленной молодой сосенки, не ошкуренной.

На коре золотистыми слезами блестела застывшая сосновая смола.

8

Вернувшись домой, Стефа ушла в боковушку, затихла там и не показывалась.

Дядько Митроха сел за стол, подперев руками подбородок, и уставил глаза на стену, где висели фотографии в рамках.

Сыновья Сашко и Петруха...

Он с Одаркой...

Фотограф-умелец, наведавшийся из Любар, было это еще до коллективизации, ходил по дворам и предлагал свои услуги, обещая из «ничего» сделать «конфетку». Взял отдельные фотографии дядьки Митрохи и его Одарки, где сняты были они совсем молодыми, еще не поженившимися, соединил вместе, и получился один портрет, порядком подретушированный, отчего лица стали серьезней и взрослей. Но им понравилось. Вот ведь как, были два человека, вроде порознь, а фотограф взял и сделал так, что стали вместе.

А вот в жизни уже по-другому...

Разорвало время живой портрет, остался на нем только он, дядько Митроха. Нет Одарки...

Петруха со Стефой...

Снимались после свадьбы, специально ездили в Любары. И тоже - как у них с Одаркой. Финская война и их живой портрет разорвала пополам.

А время... Время будто остановилось, как опущенная сабля, уже свершившая свое дело. И все теперь потеряло смысл. Зачем? Зачем теперь жить?...

Он вздохнул от таких мыслей.

Там, в боковушке, притихла Стефа. А там, в промоине, умирал Воробышек. Может, уже умер?! И по нему ползают муравьи, которые норовят сквозь щелки век добраться до влажных глаз...

Он поднялся с лавки, заглянул в боковушку.

Стефа лежала на животе, уткнув лицо в подушку. Плечи подрагивали в беззвучном плаче. Дядько Митроха постоял, поглаживая ее по затылку, плечам. Она ничем не откликнулась.

- Лежи, - сказал, - корову подою сам.

Корова у них с норовом, того и гляди лягнет, перевернет цибарку. Только Стефу и слушалась. Но сегодня стояла смиренно. Словно понимала, что нельзя безобразничать. Отыскала сухие будылья кукурузы, завалившиеся за яслями, и жевала их, почему-то не прикасаясь к сочной траве. Жевала так, будто по привычке, что надо жевать, а сама печальными своими глазами уставилась в тусклое оконце и думала какие-то свои коровьи думы.

Он ждал, когда совсем смеркнется. И это ожидание было невыносимым. Солнце будто испытывало его терпение, издевалось, зависло красным шаром над горизонтом и ни в какую не хотело за него садиться, злорадствуя, что тем доставляет муки дядьке Митрохе.

Он вспомнил: когда поставили крест, помолчали и, подавленные, расходились по домам, кто-то промолвил:

- Что же теперь будет?...

- Оккупация теперь будет, - сказал дед Охрим. И со злостью сбил клюкой красиво цветущую фиолетовую головку репьяха: - Падлюки! Поразвелись!

«Да... Что же теперь будет?..» - колыхалась сейчас точно такая же мысль в голове дядьки Митрохи, колюче, болюче.

«Ну, Господи! Помоги и пронеси!» - прошептал он, когда стемнело и можно было уже идти, не опасаясь, что кто-нибудь его увидит.

С замершим сердцем - жив, не жив - сгреб траву над промоиной. Она уже высохла и предательски, как ему казалось, очень громко, шуршала.

Припал ухом к груди.

Жив, жив Воробышек!

Подхватил, поднял его, покачнулся и, оступившись, ойкнул, подгибая ноги и опуская ношу обратно. Будто вражина какой выжидал именно этого момента и с вожделением, мгновенной острой болью насквозь прострелил поясницу.

Дядько Митроха матюкнулся и чуть не заплакал. Проклятый радикулит!

Кряхтя, кой-как поднялся. Поозирался по сторонам, словно надеялся увидеть кого-нибудь, кто мог бы помочь, и, сцепив руки за поясницей, скособочившись, как только мог быстро, заковылял домой.

Одно теперь оставалось...

Стефа лежала все в той же позе, только плечи уже не вздрагивали.

Тронул ее за плечо.

- Стефа...

Она не отвечала, не шевельнулась.

- Стефа... Тут... такое дело. Поясницу мне прострелило.

Стал нести его, и вот... Живой он.

- Кто?! - мгновенно подхватила с кровати Стефа.

- Воробышек...

- Какой Воробышек? - не понимала.

- Солдатик тот. С лейтенантом был который.

Все ей объяснил. Сам не донесет. Надо помочь. Вдвоем как-нибудь дотащат.

Посмотрев, как он двигается, Стефа решительно заявила:

- Я сама, тато, - и выскочила в дверь.

- Хоть покажу! - крикнул ей вдогонку.

- Найду! Знаю ту промоину! - услышал ее уже из сеней.

Он стоял у ворот и курил уже, кажется, десятую сигарку, пряча ее в рукав, до рези в глазах всматриваясь в сторону, откуда должна Стефа появиться. А она все не шла. Тревожные мысли, одна страшней другой, захороводились в голове. Мало ли что...

Наконец она появилась.

Занесла Воробышка в боковушку, опустила на кровать. Опустилась рядом с ней на пол, откинувшись затылком к стене. И пока не могла говорить от сбившегося дыхания.

Дядько Митроха стоял и смотрел то на Воробышка, то на Стефу. Теперь ждал уже ее слов, ее рапортований. Сам ни на что сейчас не годился. И то - слава Богу, что хоть ноги мог переставлять.

Она отдышалась, наглухо занавесила байковым одеялом окно. Вытащила из сундука новую клеенку, которой еще ни разу не застилала стол.

- Белье мое возьми, - подсказал, увидев ее нерешительность. - На самом дне лежит. Новое, ненадеванное. - Он приготовил его себе на смерть. - В сенях, в валенке, бутылка первача. На раны лучшей спирта будет.

Стефа принесла ведро теплой воды.

- Обмыть его надо...

- Надо, надо, - поспешно сказал он, поняв ее: стесняется... - Ты тут давай. А я во двор. Посторожую. А то, не дай Бог, нелегкая кого принесет.

9

Дядько Митроха, держась за поясицу, чуток полегло, вышел во двор, прошелся по воротам, постоял, чутко вслушиваясь в ночь. Обошел хату, прислонился грудью к жердине изгороди, всматриваясь, не мелькнет ли в огороде недобрая тень.

В хлеву похрумкивала корова. Тоненько поскуливал щенок. Должно, болела мордочка от немецкого сапога. Терся об ноги, жаловался хозяину. Погладить, успокоить, да спина не гнется.

Так и ходил по двору, останавливался, подолгу стоял на одном месте, потом переходил на другое, напрягая слух и зрение.

А всякие думки так и ворошились в голове, скребли душу, рисуя то яркие картинки, такие, что все происходящее в них казалось живой, настоящей явью, то дрожащие туманным, размытым пятном.

Привиделась Одарка, лежащая в гробу, с виноватым лицом, вроде как хотела попросить прощения, что своей смертью принесла лишние хлопоты. Услышал ее голос, обращенный к Стефе: «Ты, доченька, теперь не гаси лампадку. Пускай все время горит. Пока она горит, живы-здоровы будете. А то раньше по праздникам только зажигали, да и то не всегда. А оно б всегда ей гореть... может, и лиха такого не упало б на нас...»

Стефа, сказать, молилась не так, чтоб часто. А вот завет покойницы блюла - огонек лампадки под образами жил теперь постоянно.

Сам он, дядько Митроха, правда, редко подойдет к образам, взглянется в лики святых, строгих, вопрошающих, тайком повздыхает и побеседует с ними молча, накладывая на грудь крест отвыкшей рукой.

Когда старшего сына Сашка объявили врагом народа, согнулись плечи Одарки, враз постарела, умолкла, отзываясь лишь по крайней нужде. Пришло письмо то невестки, жена сына, растерянной, убитой горем. Написали ответ, чтоб к ним приезжала. С внуком Митей. Вернулось письмо - адресат вы был... Где, что с ними случилось? А уж насчет Сашка, какая уж тут надежда... Если даже такого большого командира, как Примаков, расстреляли.

Поехал дядько Митроха в район. Раз такое дело, раз Сашко мой враг народа, выходит, и я враг народа, потому как родной ему отец. Снимайте, к чертовой матери, с председателей! Не ручаюсь уже за себя. Можете и арестовать, вот он я, весь перед вами.

- Ты, товарищ Балабан, не умничай! И спектаклю тут не устраивай! - накинулся на него капитан НКВД. - Мы сами тут знаем, что нам делать. Слышал, что товарищ Сталин сказал? Отец за сына не отвечает! Вот так! Понял? Иди и работай. Когда надо, тогда и снимем. Да поглядай там у себя. А то чего это у тебя в колхозе пара быков пала? Мало ли... Врагов у нас всяких еще хватает, скрытных.

- От старости они сдохли! - разгневанно отвечал дядько Митроха. - Да надорвались в ярме. На мясо их пустить бы, но без согласия начальства не то что быку, курице голову не отрубить.

- От старости так от старости, - миролюбиво согласился капитан. И все ж еще раз наказал: - Поглядай! Да повнимательней. Гукни, ежели что.

«Гукнуть б тебе дулю в харю», - невесело думал дядько Митроха, возвращаясь из Любар. И сунул бы, с превеликой радостью. Да нельзя... Не за себя боялся. Дома жена Одарка, сынок младшенький, Петруха. Не рассуешься дулями.

Радовались за Сашка - командир Красной Армии! Майор! Слыханное ли такое дело в Дубках! Ни у кого такого сына нет!

В артиллерийской академии учился... И вот тебе, враг народа...

Что же творят они там, наверху?! Какой же он враг народа, их с Одаркой первенький, их Сашко!...

Заскрежетал дядько Митроха зубами, взвыть смертным воем хотелось - от великой несправедливости. Их-то за что про что, невестку Елену и внучка Митьку?!

Плетью обуха не перешибешь - давно и верно сказано.

И ужаснулся. Будто мать сама и накликала беду на сына.

Приезжал Сашко в отпуск всегда в форме, ладный, подтянутый, сапоги хромовые зеркалом блестят, поскрипывают. Вся деревня приходила полюбоваться на своего земляка, командира-артиллера.

Соберутся вечером семьей, зажгут керосиновую лампу во весь фитиль, сидят, ужинают, беседуют о том о сем, а Сашко нет-нет да и повернет разговор на неладные речи.

- Что это вы повесили столько икон?

- Да они ж всегда у нас висели. Еще и тебя не было, висели, - удивлялся дядько Митроха невнимательной памяти сына. Будто и не рос в этой хате.

- Ну оставили б одну. И хватит.

- Они нам с матерью не мешают.

- Батя! Религия - это ж опиум для мозгов!

- Для кого как.
- Ну нету Бога! Наука давно доказала! Кто его видел?
Скажи!

- Кому надо, тот и видел.
- Ты невозможный человек! Ну, как еще с тобой разговаривать!

- Про Бога лучше никак.
- У тебя ж в кармане партбилет!
- Партбилет в кармане, а вера она тут, - тыкал себя в грудь дядько Митроха. - Партбилет и в комод положить можно, а ее в комод не положишь.

- Батя! Ну ладно мама верит. Но ты! Это серьезно? Ведь у нас скоро вся страна будет атеистической. А Бог, вера - все это рассказы поповские. Как же ты в партию вступал? Узнают - исключат ведь.

- Кто рвется, из кожи лезет, а я в нее не рвался. Райком велел, негоже, чтоб председатель в Дубках был беспартийный. Отказывался. Да не тут-то было, у них не очень-то откажешься.

Вслух не сказал, подумал только: «Из-за тебя, Сашко, из-за Петрухи, из-за вашей матери не стал настырничать. Пятно и на вас всех легло бы. Да и только ли пятно...»

- Странно, батя, как-то получается...
- Странного, сынок, нет тут ничего. Кто верит, пусть верит. Зачем человека терзать да изводить. Свобода совести у нас. Так?

- Да у нас в стране верующих раз-два и обчелся!
- Не скажи... вера не окуроч, выбросил, и он погас. Она как зерно. Да. Лежит в земле, сухой, затоптанной, не взойдет, ждет своего часа. Вроде и не верит уже человек, с малолетства не знает про нее, веру, отлучен. А все равно зерно то пребывает в нем, но о том он, может, и не подозревает, но живет зерно. Умрет человек, годы и годы пройдут, а оно когда-нибудь все одно прорастет. В его детях и внуках.

- Мистика какая-то... Тебе-то зачем? Ведь не веришь, батя! Вижу! А начальство, из района кто заглянет к тебе? А у тебя, партийца, председателя колхоза, целый иконостас, как в церкви, развешан.

- Заглядывали. Прокурор недавно ночевал.
- И что?
- Ничего. Цибарку меда увез. Довольный остался.
- Ты ведь у Примакова, командира червонного казачества, воевал. Не у Петлюры, не у Пилсудского. За Советскую власть воевал. За безбожников. Что ж выходит?
- Воевал. Мобилизовали раз. А Советская власть, Сашко, это не одни большевики да Сталин в Кремле.
- Ба-атя... Ты уж хоть про это молчал бы...
- И молчу. Вот тебе только и сказал.
- Ладно. Давай не будем, а то мы договоримся...
- Правильно, Сашко. Только я тебя за язык не тянул. А двойчить перед родным сыном не пристало. Грешно.

Одарка, слыша эти разговоры сына с отцом, смурнела лицом. Не выдерживала иной раз. И в последний приезд Сашка так было.

- Не гневи Бога, сынок, - выговаривала ему. - Лучше молчи. Он терпит, терпит, потом покарать может. Молчи. Сказано, язык мой - враг мой. Не кличь еще большего греха на свою душу.

- Хорошо, мама, - улыбался Сашко. - Не буду. Буду молчать.

- Не смейся, сынок. Боюсь я за тебя.

- Чего ж бояться? Войны нет, не убьют, страна мирной жизнью живет, социализм строит.

- Война войной, а вон Нестерка Лебеденко взлез на церкву крест рушить, упал и насмерть разбился.

- Я ж на церкву не лезу.

- Ох, боюсь за тебя, Сашко...

Петруха в такие разговоры не встречал. Его и дома-то не застать. Чуть вечер, наострылся парубковать в Любары. Для его молодых ног двенадцать верст туда и обратно - ничто.

Узнала Одарка страшную весть про Сашка, упала на колени перед образами, окаменела в молитвах.

И понял тогда дядько Митроха, воротясь после разговора с капитаном НКВД: не она виновата, не она кликала беду, наоборот, материнской своей молитвой оберегала сына. Время такое смутное выпало, безбожное, когда ничего святого у лю-

дей не осталось, ослепли, осатанели в алчности и ненависти, живя только разумом пуза своего. Оно виновато. Беспощадно виноватило людей, и правых, и неправых.

Отошла чуть Одарка, когда перед самой действительной из Любар привел Петруха в хату зеленооковую Стефанию, которую она ласково называла Стефушкой, а дядько Митроха по-сдержанней - Стефой.

Недолго поголубковался Петруха с молодой женой. Ушел на действительную военную службу, письма частые слал, деньки отсчитывал, когда вернется в свои Дубки.

А тут с финнами затеялись воевать. Умолк Петруха.

В марте замирились с финнами, в марте и бумага пришла - пропал без вести. Не убит, не ранен - пропал...

Что с ним случилось, одному Богу известно. Там, в карельских лесах, в ту зиму морозы за сорок лютовали, может, занесло сугробом и до сих пор лежит в болотной земле, никем не найденный...

Подломилась Одарка. Три дня выдержала стоять на коленях в молитвах. Перебралась на кровать и тихо умерла.

Стефе не случилось родить от Петрухи. Теперь уже все, сказал ей дядько Митроха, хочешь - возвращайся к родне.

- Я, тато, не верю, что Пети нет, - сказала Стефа. - Он придет... - Попросила: - Не гоните меня. Домой возвращаться не хочу. Не могу. Там отчим, пьянчуга, вы же знаете, маму со свету сжил и меня сживет. Не гоните...

Дядько Митроха чуть не задохнулся от спазм в горле.

- Что ты, что ты, дочка! Живи! Здесь твой дом, и все здесь твое. А наших, ни Петрухи, ни Сашка, нету больше... И мамки нашей нету. Одни мы с тобой остались...

- Да кто ж вам наговорил такое, тато? - Она заплакала.

- Сердце вещует, дочка.

Понимал: так говорит Стефа, его успокаивает, а сама уже тоже вряд ли верит. Ведь еще в марте был год, как пришла бумага на Петра. Чудеса только в сказках бывают.

Теперь только она, Стефа, своим присутствием в опустевшей хате поддерживала дядьку Митроху, чтоб не свалился снопом вслед за своей Одаркой. Тяжкое раньше председательство теперь ношей желанной стало, в работе он забывался. И

уже лучик робкий стал пригревать душу - вот найдется какой хлопец, приглянется Стефе, придет в их хату и станет ей мужем, а ему сыном и зятем. И посветлеет тогда в хате. Но...

Вот уже и до их Дубков добралась война.

Глянулся Стефе лейтенант, понравился и дядьке Митрохе, ершик молодой, горячий, а душой чистой, открытой. Будь ты проклята, война. Убила лейтенанта...

10

Новая власть припожаловала в Дубки на легковушке в сопровождении грузовика с солдатами в касках и при автоматах.

- Вы председатель? - спросил дядьку Митроху полный, пожилой мужчина, головастый и лысый, страдающий одышкой, в очках, переводя вопрос офицера, с которым они вышли из размалеванной зелеными разводами легковушки, схожей с разжиревшей к осени лягушкой.

- Вроде того, - отвечал дядько Митроха коротко и односложно, все силясь вспомнить, где же он мог видеть этого мужчину-переводчика. И никак не мог вспомнить.

Мысль эта, несущественная, совершенно второстепенная, какая не должна была быть на этот момент, свербила в голове настырным червячком, царапающим мозг. Словно специально отвлекала внимание от другого, более существенного, над чем следовало сейчас думать в первую очередь. «Тьфу ты!» - дядько Митроха чертыхнулся, чуть ли не вслух, придавливая в голове шевеление этого настырного червячка другой мыслью, от которой холодило сердце. Не ждать добра от гостей, которые являются без приглашения.

Переводчик, неловко перетаптываясь, повернулся к офицеру, кивнул. Тот произнес еще несколько фраз, с бесцеремонной внимательностью вглядываясь в дядьку Митроху. Так, словно узрел перед собой не деревенского славянского мужика в годах, а любопытный музейный экспонат, неведомо каким образом оказавшийся здесь.

«А форма почти такая, как в ту германскую у них была», - подумал дядько Митроха, в свою очередь внимательно оглядев офицера.

Он, офицер, молодой, статный, выражение лица спокойное, даже располагающее больше к доверию, нежели к недоброжелательности, потому как являлся врагом. А когда снял фуражку и пригладил русую челку, и вовсе можно было принять его за нашенского парня. Если бы не форма... Не она, так хоть Ваней называй.

- Господин офицер... Господин гауптман приказывает собрать всех жителей, - отвлек дядьку Митроху от его отрывочных мыслей переводчик.

- Зачем? - спросил дядько Митроха, обращаясь не к переводчику, а глядя на офицера.

Гауптман улыбнулся, аккуратным, выверенным движением надел фуражку. Что-то коротко проговорил, повернувшись к переводчику, не стирая с губ какой-то лукавой улыбки.

- Для беседы, - последовал перевод.

- Не могу, - мотнул головой дядько Митроха.

- Почему? - с испуганным удивлением спросил переводчик. При этом не перевел ни ответа дядьки Митрохи, ни своего вопроса.

- Меня люди не послушают. Я был председателем при этой власти. При советской. Сейчас она кончилась. И моя - тоже.

- Гм!.. - не нашелся ничего больше сказать переводчик. Выжидательно смотрел на офицера, опять забыв о переводе.

- Гут, - произнес тот.

Не торопясь подошел к сидевшим в кузове солдатам. Обернулся, посмотрел на дядьку Митроху, как тому показалось, с усмешкой. И подал рукой знак.

Солдаты мгновенно сыпанули из кузова и натренированно, полубегом, рассредоточились по улице, держа автоматы наизготовку.

Дядько Митроха даже невольно залюбовался четкостью и слаженностью действий немецких солдат. И понял: будут сгонять людей.

- Стефа! - громко крикнул в окно своей хаты, которое было открытым, желая опередить действия солдата, уже направившегося к калитке. - Иди сюда!

Тревожно екнуло сердце: «Сглупил! А ну как затеются и шастать по всем закоулкам, обыскивать. Пронеси Господи!»

Стефания тотчас отозвалась на зов и выскочила из хаты, оттолкнув вроде бы нечаянно уставившегося на нее солдата. Вскинула глаза на офицера, подошла к дядьке Митрохе. Прочитала в его глазах неодобрение, - за излишнюю смелость по отношению к солдату.

- Тато... - хотела что-то сказать.

Он тут же оборвал ее:

- Молчи пока...

Гауптман стоял неподалеку, в нескольких шагах от них. Спокойненько курил сигарету, глубокими затяжками наслаждаясь табачным дымом. Пытался даже пустить колечки, но это ему не удавалось.

Это спокойствие офицера и не нравилось дядьке Митрохе, насторожило, потому и оборвал Стефу, чтоб молчала.

Переводчик, перекатывая волнение по груди и круглому животу, подрагивающими руками протирал галстуком очки.

«Он-то чего боится?» - подумалось дядьке Митрохе.

Солдаты знали свое дело, действовали споро и скоро. К выгону перед двором дядьки Митрохи стали тянуться люди. Сгоняли их почему-то не к правлению, устроенному в доме раскулаченного Ивана Галяша, а именно сюда.

Татакнул автомат.

Гауптман инстинктивно потянулся к кобуре. Но лишь расстегнул ее, пистолет доставать не стал. Сосредоточенно глядел в сторону, откуда прозвучали выстрелы.

Вскоре все выяснилось.

Когда один из солдат зашел во двор Хованских, его встретил Минька с рогаткой наготове. Всадил чугунный осколок ему в лоб. Через мгновение Минька лежал посреди двора с простреленной грудью, сжимая в руке свое любимое оружие.

«Как же я так... Самому надо было обойти дворы. Сплоховал... Ах, Господи-и...» - корил себя дядько Митроха, стоя среди сбившихся в кучу сельчан, угрюмо слушавших речь гауптмана.

Речь была краткой.

Переводчик, то и дело сбиваясь, повторяясь, отчего гауптман морщился, доводил до сведения жителей Дубков

указания господина гауптмана Шранкеля, как оказалось, коменданта Любар и всего района, по устройству новой жизни.

Любые распоряжения германских властей - закон. Неповиновение, саботаж будут пресекаться самым строжайшим образом. О расстреле не было упомянуто ни словом, однако было ясно, что означает «самым строжайшим образом». Колхоз не распускается. Все обязаны трудиться. Отныне - на благо великой Германии. Старостой назначается Дмитрий Самсонович Балабан. Немецкие власти учитывают уважение жителей Дубков к нему, что и стало решающим фактором при решении вопроса о выборе старосты. «И никаких возражений!» - было добавлено к сказанному, когда дядько Митроха подал голос и попытался было отказаться. К работе приступить завтра же. Бояться ничего не надо. Большевики, которые насильно отобрали земли у крестьян и согнали их в колхоз, больше не вернуться. Через время крестьяне получают свою землю обратно. А пока колхоз остается.

Лаконично, доходчиво.

Дубковцы безмолвствовали.

Вопросов не было.

О Миньке Хованском - тоже ни слова. Будто ничего особенного не произошло.

А Минька, раскинув руки, лежал сейчас в своем дворе.

Немецкий солдат, мгновенно среагировавший на его геройство очередью из «шмайсера», сидел с забинтованной головой в кабине грузовика.

Остальные солдаты, надвинув до бровей каски, цепочкой стояли позади коменданта, уставив зрочки автоматов в лица колхозников колхоза имени Карла Либкнехта, которого высоко ценили и Владимир Ильич, и Иосиф Виссарионович.

Расходились тоже молча, опустив голову, сторонясь дядьки Митрохи.

- Господин комендант будет весьма признателен, если вы пригласите его в гости, - обратился к нему переводчик.

Дядько Митроха только крикнул в ответ и направился к своей хате.

Незваные гости последовали за ним.

Вспомнил, наконец. Переводчик работал в Любарах учителем немецкого языка в школе. Как-то на слете передовиков-колхозников давали концерт, учитель дирижировал хором школьников. Песня была на немецком языке. «Выше флаги, выше флаги, громче, музыка, играй...» Кажись, так тогда перевели слова той песни. И переводил этот самый учитель.

11

Прошли в горницу, сели за стол на лавку.

Комендант положил фуражку рядом с собой. Приглаживая волосы, оглядел комнату. Задержал взгляд на иконах и теплящейся лампадке.

Все трое пока молчали.

Изучив иконы, гауптман выразительно взглянул на переводчика.

- Это... - пожевал тот блеклыми губами. - Видите ли... Гостей ведь не принято встречать пустым столом... - А сам смотрел мимо дядьки Митрохи.

- Стефа! - позвал дядько Митроха.

Она вышла в горницу поспешно, посмотрела вопросительно, спокойная, в белой косынке, повязанной низко на лоб, в белой, расшитой узорами блузке, шерстяной юбке - черной, чуть прикрывающей колени.

«Перенарядилась...» - ответил про себя дядько Митроха.

- Сообрази! - велел.

Стефа так же неспешно, не суетясь, не проронив ни слова, вышла из горницы.

И тут дядько Митроха вздрогнул - от неожиданности. Хотя уже подспудно и предполагал, что такая неожиданность вполне вероятна. И все ж вздрогнул, когда на чистейшем русском языке гауптман произнес с явным восхищением:

- Настоящая красавица! - И посмотрел при этом на дядьку Митроху с видом мальчишки-заговорщика, до поры до времени придерживающего тайну. - Да-а... Ни в одной стране Европы не встретить таких красивых женщин, как в России. Стать, особое очарование и таинственное женское обаяние. Магия внешней и внутренней красоты. Очень точно сказал поэт Тютчев:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить.
У ней особенная статья,
В Россию можно только верить.
Помните?

Переводчик угукнул, дядько Митроха промолчал. На ум пришло: «Шранкель-Сранкель».

Гауптман меж тем продолжал:

- Тютчев говорил о России. Но вот лично я, читая эти стихи, отношу их прежде всего к русской женщине. Как к символу России. А ведь и само слово «Россия» женского рода. Забудьте, звучность какая!

- У нас, господин комендант, не Россия, у нас - Украина, робко осмелился подать реплику переводчик.

- Ах, Василий Михайлович! - воскликнул гауптман. - Уж вам-то не знать, что Украина, Белоруссия, да, собственно, и весь Советский Союз, для иностранцев это одно понятие - Россия.

- В общем-то так... - поспешил согласиться переводчик, словно ученик, плохо усвоивший урок, перед непререкаемым авторитетом всезнающего учителя.

- А что скажете вы, Дмитрий Самсонович? - обратился гауптман теперь к дядьке Митрохе. И, не ожидая ответа, перевел на другое:

- Наверно, удивлены? Мол, знает русский язык, а сам ломает комедию. Нет. Лучше так сказать: ломает Ваньку!

- Каждый ломает свое, как ему на то вздумается, - отреагировал дядько Митроха, глядя прямо в глаза господина коменданта Шранкеля. - Воля теперь ваша. - И после паузы добавил: - А не наша.

- Хорошо сказано! - сочно и довольно рассмеялся комендант. Смеялся так, будто сидел он с хорошим приятелем в каком-нибудь своем Гамбурге и вел душевную, откровенную беседу, где все начистоту и нет недомолвок.

- И при том еще вот что хорошо. В ваших словах, Дмитрий Самсонович, скрыта едкая ирония. Мне нравится, как вы говорите. Честное слово!

- Не особо учены, говорим, как умеем-можем, - усмехнулся дядько Митроха. И положил на стол свои крупные руки, оплетенные, как корнями, набрякшими венами.

- Умеете, умеете... - с расстановочкой произнес гауптман. И опять завернул на другое, заговорил с сентиментальной грустью: - А я ведь тоже когда-то жил в России. Вот так-то, Дмитрий Самсонович... В Одессе. Дерибасовская, Перевоз... Тогда я не осознавал себя немцем. Все мы были мальчишками, пацанами. Русские, украинцы, греки, армяне, немцы. И евреи. Да. Знаете, был у меня дружок, сосед, Фима Фейгин. Где он сейчас?.. Вот так бы и жили... Но - революция. Родители увезли меня в Германию. История непредсказуема, дорогой Дмитрий Самсонович!

Дядько Митроха не отвечал. Внимательно рассматривал свои руки, потирал, словно пытался разгладить узлы вен.

Переводчик с преувеличенным усердием занимался своими очками, дышал на стекла и тщательно протирал их кончиком галстука, который и надевал-то, может, именно из-за такой надобности.

- А теперь вот что скажу, Дмитрий Самсонович. Не удивляйтесь. Вас назначили старостой не просто так. Мы выяснили, все знаем о вас. Надеюсь, будем работать, как говорится, в ладу и согласии. Кадры решают все. Так, кажется, сказал товарищ Сталин? Вот мы и подбираем кадры. Вовсе не случайных людей. И должны знать о них все. Понимаю ваши чувства... Но надо понять и еще одно, вам понять. России, то есть Советского Союза, уже, считай, нет. Через месяц-другой мы будем в Москве, если не раньше. Германия взяла на себя особую и великую миссию - уничтожить большевизм. Эту заразу, подобную чуме. Отныне будет порядок, настоящий. Германский порядок. И хотите ли, не хотите, вы подчинитесь ему. - Повернулся к переводчику: - Так, Василий Михайлович?

Тот пробормотал что-то невнятное.

- Василий Михайлович немножко заартачился поначалу, - с усмешкой пояснил гауптман. - Но после нашей дружеской беседы согласился работать. - И после паузы, поясняя: - Переводчиком.

- А как же Франция? Та же Англия? Какие там большевики? Наоборот, они ж всегда были против большевиков, - не удержался дядько Митроха, заметив, как жалко задрожал подбородок у Василия Михайловича, закружились губы.

- Кто не с нами, тот против нас! - мгновенно изменив тон, жестко сказал, как отрезал, гауптман.

И тут же расплылся в улыбке, когда вошла Стефа, неся хлеб, соленые огурцы, нарезанный кусок сала, десяток свежих яиц и бутылку мутноватого самогона.

- Присядьте с нами, - пригласил ее гауптман с изысканной любезностью галантного кавалера, убирая фуражку, освобождая место рядом с собой.

- Нет! - резко сказал дядько Митроха. Приказал: - Иди управляйся с худобой!

Посмотрел на гауптмана, опять прямо в лицо, в глаза, в которых на мгновение колыхнулись недобрые огоньки, через секунду они погасли, будто сработал выключатель.

- Хорошо. Коли так, дочь должна слушать отца, - согласно покивал гауптман. И успел поблагодарить выходящую Стефу, особенно за сало и самогон.

Выпили, не чокаясь. Шранкель при этом сказал: «Ну, будем!»

Потом он закурил и опять заговорил об Одессе, где родился, о самой вкусной на свете рыбе кефали, вспомнил опять Фиму Фейгина и посетовал, что зря тот родился евреем, потому и очень его жаль, так как в грядущем новом мировом порядке фюрер никакого места евреям не предусматривал.

Уходя, гауптман поблагодарил за хлеб-соль и, надев фуражку, тщательно поправляя ее, повторился:

- Кто не с нами, тот против нас, - ровно, спокойно, уже без всякого пафоса. - Вот так-то, Дмитрий Самсонович. Время такое, иначе нельзя. Согласитесь, большевики ведь поступали точно так. Верно? - Добавил после многозначительной паузы: - Даже рогаткой баловаться нельзя.

И уже садясь в машину, пожурил:

- А ведь вы неправду мне сказали. Стефания вам не дочь. Надо всегда говорить правду, Дмитрий Самсонович. Быть честным. Иначе...

Недоговорил, захлопнул дверцу.

«Всё знают... Не хуже наших энкавэдешников».

Гауптман опять открыл дверцу.

- Дмитрий Самсонович! Вот что хочу еще сказать. Сожалею и разделяю вашу горе по поводу судьбы ваших сыновей. Совершенно искренне.

Да, таким пальцы в рот не клади. Такие сами силой притянут руку и оттяпают всю пятерню. Не моргнув глазом, и голову отвернут. Ради утверждения порядка. Их порядка.

И все ж, боятся... Понятно, хозяева положения, а вот народ собрали не возле правления. Лес-то рядом... Лес вроде как и сам по себе, а чужака и своего очень даже распознает.

Проводив взглядом лягушковатую машину коменданта и тупорылый грузовик с солдатами, пока они не скрылись из поля зрения, дядько Митроха прошел в хату, стал перед образами и тяжело вздохнул, перекрестился.

12

Прятать Воробышка в хате было опасно.

И когда Стефа обмыла его, все так и не приходящего в себя, перевязала раны, облачила в белье, приготовленное дядькой Митрохой себе на смерть, в которое можно было поместить еще одного Воробышка, прикидывали, где его можно понадежней спрятать.

Думали, мороковали, но ничего путного не шло в голову. Ни чердак, ни погреб, ни сарай - все это не годилось. И нигде во дворе не имелось такого закутка, чтоб подошел для такой цели. Стоит, как следует, пошарить по подворью, и раненый непременно будет обнаружен.

И то предусмотреть надо: застонет, закричит в беспамятстве в самый неподходящий момент. Далеко до других хат, а все ж услышит кто, проходя поблизости, или заявится за чем-либо к ним. Грешить подозрением вроде и не на кого, да чужая душа потемки. Побежит и донесет, что Балабан Дмитрий Самсонович прячет раненого красного армейца. И - каюк. Всем троим. Ему-то уже и не страшно, считай, отжил свое. Им, Стефе и солдатику, еще жить и жить надо. Кому донесут - понятно. Немцам. Теперь их власть. Не сегодня-завтра заявятся. Не из проходящих частей, охотников до яиц и гусей, как тот немец с мотоцикла, а именно - их власть.

Подметил дядько Митроха: оглушенная ужасными событиями, Стефа сейчас понемногу приходила в себя, отвлека-

лась - появились заботы, в их руках оказалась человеческая жизнь, и от них она теперь зависела.

Такой подмеченный факт немного успокоил дядьку Митроху, он встревожился и боялся за Стефу, увидев ее состояние, когда лежала она в боковушке после событий страшного дня, которые и для него, мужика, повидавшего на свете всякого, были испытанием куда как не на предельную прочность выдержки человеческих возможностей, когда еще один виток на тонюсенькой резьбе мог враз сорвать сознание до умопомрачения.

И обнаружил в себе новое ощущение. Стефа, молодая, красивая женщина, жена его сына, была ему, дядьке Митрохе, как бы по плечо. Нет, не в смысле роста, а по восприятию жизни, ее зигзагов, поворотов и перекатов, и его отношение к ней было покровительственное. За сегодняшний день она встала вровень с ним, ближе стала, родней, почти до физического ощущения родства по крови; отцовское же чувство к ней обострилось до той крайней остроты, когда свою жизнь за родное дитя отдадут, не задумываясь.

Пригляделись к Воробышку. Дышал он едва, а из ушей начала сочиться кровь.

- Плохо дело... - покачал головой дядько Митроха. - Раны ранами, по всему видать, его еще и сильно контузило. Ворочать его сейчас никак нельзя, - сделал вывод.

Стефа смотрела вопросительно, не зная, что и сказать. Он тоже смотрел на нее вопросительно, все же ожидая ее слова. И она сказала:

- Пускай остается пока тут. С ним все время надо быть рядом. Себе на сундуке постелю. Завтра поглядим, может, в себя придет. Тогда и видно будет, что делать дальше.

Вполне резонно рассуждала Стефа. А у страха глаза велики. Надо сжечь обмундировку и обувку солдатака - это уж прямо сейчас. И уповать на благополучный расклад, памятуя, что Бог не выдаст, свинья не съест.

Заставила Стефа лечь на лавку, что покорно было исполнено, и сильными руками так растирала поясницу скипидаром, что дядько Митроха до крови закусил язык, чтоб не заорать по-звериному от дикой боли, терпел, только выпученные глаза набрякли слезами.

В другой раз отказался бы от такой процедуры, прямо-таки изуверской: ладно, растирать, мяла Стефа кости, будто лошадь копытами по ним пританцовывала. Это в другой бы раз - отказаться. Но сейчас никак нельзя быть калекой. Поэтому и терпел. Зато к утру полегчало, будто бабки пошептали. Хотя никакие тут бабки ни при чем. Спасибо Стефиным рукам.

А вот Воробышек не пришел в себя ни утром, ни к вечеру, ни через день, второй, третий...

Оставался в одной поре: лишь по тонюсенькому пульсу можно было понять, что живое сердце в груди все еще не сдаётся, не рвет последнюю ниточку связи с жизнью.

И дядько Митроха начал смиряться с мыслью, что не выживет Воробышек, помрет... Присоединится к своим тридцати одному товарищу. И тогда выйдет - все полегли.

Стефа будто учуяла такие его мрачные мысли и от Воробышка не отходила ни днем, ни ночью. Ничего не говорила, но и так было видно, что бороться за жизнь Воробышка будет до конца, чего бы ей это ни стоило.

О том, чтобы определять Воробышка из боковушки в какое-либо другое место, уже и речь не заводили. Оставь его на час-другой, и он умрет - точно.

Когда нагрянул комендант Шранкель с солдатами, у дядьки Митрохи и сердце оборвалось. А когда напросился тот в гости со своим переводчиком, и вовсе будто из груди выринулось.

Не понял поначалу, разозлился даже, почему это Стефа так вынарядилась. Только потом, когда уже уехал гауптман Шранкель, до него дошло: чтоб на нее было обращено тоже небольшое внимание, чтоб не переступил господин комендант через свою наигранную вежливость и спокойствие, задетый не сказать чтоб радушным приемом хозяина, то есть его, дядьки Митрохи, и не взбрели ему в голову никакие другие мысли к действию, при котором мог быть обнаружен Воробышек, лежащий за дощатой перегородкой в боковушке.

- Я от страха едва не померла... - призналась Стефа.

Молодец, молодец Стефа. Выглядела перед комендантом павой, спокойной-спокойнехонькой, будто на вечерке, где

смотрят на нее, разинув рты, свои хлопцы. Посмотрел на нее комендант, и на лирику его потянуло.

Нет, не по плечо она ему теперь, Стефа, - вровень, а прикинуть, так и чуток, может, и повыше. Не ошибся, верно подметил то новое ощущение, которое обнаружил в себе, когда Стефа принесла Воробышка в хату, одна, в ночи, оборвав свои женские руки, но не выпустив ношу.

- Застонал! - сообщила Стефа. И впервые за много дней в глазах ее видны были искорки радости.

Он поддержал ее радость, верно, это хороший знак, значит, выкарабкается Воробышек, будет жить.

А в Любарах одна новость за другой.

Запрягайло Тихон Несторович, подаривший колхозу в Дубках имя пламенного немецкого революционера Карла Либкнехта, опять пребывал в начальстве. Да еще в каких чинах! Отныне Тихона Несторовича следовало величать господином бургомистром. При нем был все тот же кожаный портфель с медным замочком, а вот фуражка сталинского образца была заменена фетровой шляпой коричневого цвета, сверху изрядно порыжелой, снизу же сохранившей свой первобытный цвет, что придавало господину бургомистру схожесть с огромным грибом шампиньоном, старым и уже зачервивевшим, выросшим возле МТФ за навозными кучами.

- Ба! - воскликнул бургомистр Запрягайло при встрече. - Кого вижу! Карлов председатель! - И обнимал дядьку Митроху, будто были они друзьями закадычными и вот встретились, долго не видавшись.

- Карлов, Карлов, - сказал дядько Митроха. - Вашей милостью прозвище прилипло. А шляпа вам идет, Тихон Несторович. Как раз под вашу теперешнюю должность.

Бургомистр внимательно посмотрел на дядьку Митроху, улавливая в последних словах его ехидцу. Сказал прямо, без околностей, чтоб понял Карлов председатель, кто перед ним, и впредь думал, что и как можно говорить. В то же время перегибать пока не следовало. Приглядеться надо...

- Не знал бы тебя, Дмитрий Самсонович, рассерчал. Да и наказать мог бы. Да! У меня власть. Но знаю ж тебя... Не очень-то погладила по головке тебя советская власть.

- Гм... А вас, Тихон Несторович? Вы и при ней в начальстве ходили... - Ругнул тут же себя. Зачем, спрашивается, на рожон лезть.

- Эээ... - протянул бургомистр с кривоватенькой улыбочкой. - Не будем лясы-балясы точить, что почем да почему, Дмитрий Самсонович. Помнишь, наш первый секретарь райкома так говаривал: лясы-балясы.

- Помню... А где он?

- Спросил! Да кто ж его знает! Может, эвакуировался, может, в лес ушел. Не знаю. Так вот. Жить-то надо! Так и будем жить. Рыба, как говорится, ищет, где глубже, а человек - где лучше. Что ж нам с тобой теперь? Помирать да слезы за ней лить, за советской-то властью? Не-ее... Человек жить должен. Великая Германия! Тысячелетний рейх! Вот так-то, Дмитрий Самсонович... Надолго это. На наш век хватит-перехватит. Будем работать. Какая разница, при какой власти. Работа она и есть работа.

Ишь ты, «работать будем». Шранкеля наслушался, вторяет за ним, как попка. Точно так, как раньше за секретарем райкома. Мужичком-простачком прикидывается бывший товарищ Запрягайло, а теперь господин бургомистр. Да только видна птица по полету. Рьяно, очень даже рьяно взялся Тихон Несторович за работу. Выполнять приказы и распоряжения господина коменданта Шранкеля. Все для великой Германии! Все выгребут, до последней нитки обберут.

Господин комендант тоже улыбался дядьке Митрохе. Поинтересовался прям-таки по-нашенски:

- Как жизнь? Как дела? Здоровье? В вашем возрасте его обычно надо беречь. Поклон передавайте Стефании. Как-нибудь загляну к вам. Знаете, посидим, поговорим...

Ох, не поймешь, если глаз положил на Стефу - худо это. А тут субчик еще один объявился - Гришка Колотюк. И вовсе настоже теперь надо быть.

13

Любо-дорого было глядеть на молодых - Петра и Стефанию. Даже не верилось дядьке Митрохе, что вот эта зеленоокая дивчина, настоящая красавица писаная, - другого слова и не отыскать! - теперь жена его сына. И будет жить в их доме,

и станет в нем светлей и веселей. Там, глядишь, детишки пойдут, радость и забава и Одарке, и ему, дядьке Митрохе. Один внучек уже имелся, сыночек старшенького, Сашка. Да только живут далековато, из писем только и узнавали, что да как там у них. Сашко - человек военный, служба, должно, все времечко отнимала, потому письма большей частью и писала невестка Елена. А отпуск... Что отпуск! Быстренько пролетал. Приехали - глядь, провожать пора. Им же с Одаркой хотелось внучат рядом всегда иметь, чтоб с утра их щебетанье слышать, а вечером баю-баюшки-баю на сон тихонько спеть. Вот, кажись, так оно и намечалось...

Молодец Петруха, сумел такую красоту завоевать! Сказал - и своего добился. Дядько Митроха, признаться, поначалу очень даже сомневался в полководческих способностях сына насчет взятия бастионов девичьего сердца красы-раскрасы.

Поехали дядько Митроха с Петрухой в Любары на воскресный базар, прикупить чего-ничего и товару своего неумудрящего крестьянского продать. Там, на базаре, и увидел Петруха свою Стефанию. Увидел и замер, словно ослепленный ярким светом, стоял, смотрел во все глаза, изумленно распахнутые, и не замечал ничего вокруг. Из пушки стреляй - не услышал бы, не шелохнулся.

Свет тот яркий - она, Стефания.

Одним словом, как выстрелом вошла она в Петрухино сердце, враз, мгновенно.

- Женюсь! На ней! - будоражно заявил он отцу, весь лихорадочный, с такими горящими глазами, что того и гляди, сыпанут из них искры и зажгут все вокруг.

«Вот-те и на...» - дивился дядько Митроха.

Всего-то от силы пару минут, как увидел зеленоокою, и пропал. И вот так сразу - женюсь!

Да, подумалось тогда дядьке Митрохе, нешуточное дело стряслось с сыном Петрухой. Любовь не пожар, а загорится - не потушишь. И себя вспомнил, молодого, горячего, как охаживал, кохал свою Одарку

- Э, хлопец! - сказал сыну. - Языком и на царевне можно жениться. Да только за царевича она всегда выходит. Дерево рубят под себя, а товар - по купцу.

Горяч, горяч Петруха. Ничего. Солнце садится, и уже жмуриться не надо. Выиграла кровь молодая, понятно, остудится, времечко, оно всегда остужает.

- Вот увидите! - в ответ заявил Петруха и шмякнул ноеньким, только что купленным картузом под ноги, в придорожную пыль. Забыл и про базар, и зачем сюда ехали, махнул за зеленоокой, оставив отца одного в полной растерянности от Петрухиной выходки.

«Пускай... Пускай... Получит щелчок по носу, опамятуется», - вздохнул дядько Митроха.

Ан нет! Явился Петруха домой в свои Дубки под утро и, глотнув полгличика молока, завалился спать, ответив отцу широченной, до ушей, улыбкой, когда тот спросил: «- Что? Милости просим, мимо ворот борща - сказала?»

Не однажды уже сватались к Стефе любарские хлопцы. Она - нет. «Прынца заморского ждет. Дождется, как же! - говорили уязвленные отказом несостоявшиеся женихи. - Цаца египетская!...» Почему египетская, женихи и сами не знали. Зато звучало вполне к делу. Не шла замуж Стефа, хотя с отчимом и житье неведомо - хоть убегай куда глаза глядят. А мать Стефы умерла: отчим помог.

Особенно кречетом разнаряженный кружился вокруг нее Гришка Колотюк, любарский ухажер. Который раз уже показывала Стефа ему от ворот поворот, а он все не отставал, лип и лип, как репьях. Надеялся, что в конце концов уговорит выйти за него, чего чаял-желал Стефин отчим, которому Гришка не одну бутылочку поднес, умасливая, чтоб уразумил свою падчерицу. Отчим и уговаривал, и ругал Стефу, обзывая самыми последними-распоследними словами, но так ничего и не добился. Зря тратился Гришка на подношения.

Когда Колотюк узрел, что к Стефе каждый вечер, как на крыльях, летит Петруха Балабан из Дубков, взъярился, расвирипел, собрал было дружков - отдубасить того так, чтоб и дорогу в Любары позабыл. Потом, прикинув весь расклад, строя планы на будущее, резко изменил поведение. Познакомился с Петрухой поближе, стали они вроде как друзья-товарищи.

Глупый, очень уж доверчивый был Петруха...

Стефа говорила: «Не водись ты с ним. Нехорошее у него на уме...» Петруха, однако, вроде как и не слышал ее слов.

- Просим милости откушать зелена вина, отведать соли на свадьбе молодых! - встречал гостей дядько Митроха, довольный, веселый.

Не отговаривали с Одаркой сына, повременил бы, рано, мол, жениться, на действительную еще идти. Знали, не послушает. И видели: без Стефы засохнет и умрет, как цветок без полива.

Всё подмечают дубковские бабы-сударушки. Зашушукались: красавица-раскрасавица, не отнимешь, а с одним узелком берут ее Балабаны, даже постели у нее на приданое нет.

- Ой, бабоньки вы мои! - говорила Одарка. - Не жить с приданным, а жить с богоданным.

Был на свадьбе и Гришка Колотюк, другом-товарищем молодых всё представлялся. Поздравлял, чарку пил, желал добра наживать да деток побольше рожать. И подарил дорожую штуковину - патефон.

Не понравилось все это Стефе. Не понравилось и дядьке Митрохе, однако смолчал. После свадьбы опять стал наведываться Колотюк, все к Петрухе больше, на Стефу и внимания вроде не обращал.

- Не привечай его, - внушала она мужу. - Глядеть на него не могу. Склизкий он человек.

- Да что ты! - реагировал беспечно Петруха, не понимая жены. - Парень он вроде и ничего. Патефон подарил...

- Нутро у него черное, - стояла Стефа на своем. - Дурной ты, Петя, ничего не понимаешь...

- Неудобно как-то... - мялся Петруха.

- Неудобно решетом воду носить! - поддержал невестку дядько Митроха. - Больно ты доверчивый. Выстави за ворота и накажи, чтоб звать вас как позабыл! Нечего ему тут околачиваться!

К отцу Петруха прислушался.

Да и то верно, поразмыслил, нехорошо как-то, увивался за Стефой, теперь она замужем, зачем опять глаза мозолить, тем более терпеть она его не может.

- Вот что, Гришка, - сказал. - Не надо больше к нам.

- Понял! - безмятежно заулыбался Колотюк. - Раз друг так говорит, понял!

Покоробило Петруху. Друг... Так и набивается в товарищи. Разобраться, какой он ему друг?!

- В общем, так! - уже раздраженно и твердо заявил Петруха. - Не знаю, какие мы с тобой друзья, а гуляй отседова. И на глаза попрошу больше не появляться! Все!

Гришка побледнел, с лица сошел, отпрянул от Петрухи, увидев его глаза, боясь схлопотать уже не жесткое слово, а вполне реальный кулак в челюсть.

- И патефон свой забери!

Патефон Колотюк забрал. И в Дубках перестал показываться.

- Молодец... Прогнал - и хорошо. Чище стало, - говорила в ночи Стефа, жаркая, желанная до умопомрачения. - Сокол мой ясный... Любый мой...

Пришло время, под гармошку проводили Петруху на действительную военную службу. Кто предполагал тогда, что не увидят его больше... Колотка тоже забрали в армию.

Перед войной, в апреле, опять объявился. Приехал из Любар на велосипеде, в военной форме.

Нелюбезно встретил его дядько Митроха, но на ворота не показал.

- В отпуске я, - объявил Колотюк, смиренный, с сострадательным лицом. Выставил бутылку магазинной белоголовки на стол. - Помянем, дядько Митроха, сына вашего Петю...

Не отказался дядько Митроха, выпил.

- В каких чинах? - спросил.

- Сержант, - сказал Гришка, трогая петлицы. - Командир отделения, - прихвастнул. - Под Брестом служу. Думаю на сверхсрочную остаться.

Дядько Митроха молчал и смотрел выжидательно: с чем еще припожаловал?

- Поговорить хочу. Со Стефой, - отводя глаза от пронизательного взгляда дядьки Митрохи, натужно, с опаской выдал из себя Колотюк.

- Понятно...

И о чем говорить с ней собрался - понятно. Указ он теперь Стефе? Сказал дядько Митроха сухо, коротко:

- Говори.

Чем кончился разговор Гришки со Стефой, дядько Митроха не знал. Он не спрашивал, она не рассказывала.

Через несколько дней опять прикатил Колотюк на своем велосипеде. Первой его увидела Стефа.

- Опять явился! Свататься... Прогоните его, тато!

Что с превеликой радостью и исполнил дядько Митроха, сняв с сердца мучивший его до сего момента тяжкий груз. Боялся, до смерти боялся, что теперь, после того как пропал без вести Петруха на финской войне, не устоит Стефа, сманит ее смазливый на лицо Гришка, уведет. И станет в доме пусто, мертвенно, и жить станет никчемно.

Ладно б, кто другой. Но этот процелыга! Насквозь же видно. Стефа сразу раскусила его. А вот сын Петруха глаза свои все в шорах держал, не сразу распознал.

- Ну ничего... еще пересекутся наши пути-дорожки, дядько Митроха! - исказив лицо оскорбленной гримасой, многозначительно процедил Колотюк. - И Стефа никуда не денется. Все равно будет моей!

Ох и хотелось дядьке Митрохе врезать по этой перекосившейся, кобелячьей роже! В хату вошел возбужденный, подергивалась щека, дрожали руки.

- Выпейте, тато... успокойтесь... - поднесла Стефа чарку.

Он благодарно посмотрел на нее, такую красивую, такую зеленоокою...И чуть не заплакал. Что ж ты делаешь, судьба-судьбинушка, такую царевну-лебедь обижаешь, не милуешь...

14

Колотюка увидел в Любарах. В военной форме, при винтовке. Только форма на нем была немецкая, а на левой руке - белая повязка с буквой «П». Гришка ощерился в улыбке:

- Вот и опять свиделись, дядько Митроха! А?! Гляжу, опять голова в Дубках? Староста? Ума тебе не занимать... Что верно, то верно!.. Умный ты мужик, умный... В гости к вам

скоро соберусь. Да. Пускай Стефа скатерть готовит, - заявил нагло.

- Скатерть моль побила, а стол шашель поточила.

- Не приглашаешь... Никак не хочешь по-хорошему. Ты это брось, дядько Митроха! Время сейчас уже другое, - многозначительно похлопал по прикладу винтовки. - И разговор уже будет другой... Вот так! А как же ты хотел? Про Петруху не слышать чего?

Приехал домой, рассказал Стефе. Побледнела Стефа. Пошла к Воробышку.

А дядько Митроха думал. И пока ничего толкового не придумал, чтоб отгадить Колотюка раз и навсегда. Силу чувствует, сукин сын, по-другому заговорил. Винтовкой поигрывает, угрожает. Такие хлопцы гибнут! А этому кабану ничего не делается. Опять всплыл, как катях в проруби, теперь в немецких холуях. И скажи ж ты, несправедливость какая на свете сплошь и рядом творится! Отчего так?..

Воробышек находился уже не в хате. Вспомнили про заброшенную яму на огороде, в которой когда-то зимой хранили кормовые буряки. Там и устроили место Воробышку. Сверху накидали кучу навоза. По разумению дядьки Митрохи, маскировка получилась вполне подходящая.

Когда Воробышек пришел в себя, - лежал он еще в боковушке, - не стали скрывать, рассказали, что все его друзья-однополчане погибли, а он чудом, Слава Богу, жив остался, долго не приходил в себя, но теперь все хорошо, дело пошло на поправку, выздоровеет.

- Вот такое, значит, сражение вышло... - вздохнул дядько Митроха и легонько пожал Воробышку руку.

Слушал Воробышек молча, и губы его кривились, натянул на голову одеяло и притих. Тихонько вышли, оставили его одного. Пусть и всплакнет, если невмоготу. Слеза, она иной раз и лекарством для успокоения души бывает.

Спрятали Воробышка в яме - спокойней стало. Теперь хоть комендант, хоть тот же Колотюк нагрянут, не будут трястись так, как тогда, когда Шранкель со своим переводчиком расселись за столом, а за дощатой перегородкой лежал в беспомощности раненый красноармеец. Застонал бы - и пропало.

Ночью оставался Воробышек в яме один. А как только брезжил рассвет, Стефа подхватывалась с постели и спешила к нему. И на дню по несколько раз навевывалась в схрон. Дядько Митроха заглядывал к Воробышку реже. Звали его Эдуардом, но имя это, диковинное для здешних мест, не глянулось, не пристало на язык, как называли Воробышком, так и продолжали. Был он из города Тамбова, отец его играл на скрипке, а мать была модисткой, а сам Воробышек собирался стать художником.

- Да, - сказал дядько Митроха Стефе. - Вместо кисточки вручили ему винтовку, которая выше его.

- Вот закончится война, - рассуждала Стефа мечтательно, - он возьмет и нарисует нас...

- Нарисует... Вот только когда она закончится, война... - отвечал дядько Митроха невесело. - Немцы уже к Москве подбираются. Хвалился комендант, что скоро возьмут.

- А как же Сталин? - испуганно вздрагивала Стефа. - Неужто отдаст?

- Не знаю, дочка, не знаю... - пожимал плечами дядько Митроха.

Он и в самом деле мало что знал. Где фронт, куда уже дошли немцы - гадать только и приходилось. А от господина гауптмана Шранкеля или бургомистра Запрягаило Тихона Несторовича правды ждать, что от яловой коровы телка.

Поначалу медленно приходивший в себя Воробышек затем начал поправляться быстро, на глазах. Благодаря Стефе. Не она, неизвестно, как обернулось бы дело. Так думал дядько Митроха.

Колотюк не заставил себя ждать, опять стал навевываться в Дубки к Балабанам. Но всякий раз выбирал момент, когда дядьки Митрохи не оказывалось дома.

Стефа вела себя уже сдержанней, хитрила, на домогательства Гришки отвечала туманно и неопределенно, однако Колотюк уверовал, что она понемногу сдастся, придет свой час - и сдастся окончательно.

Такое поведение Стефы имело свой смысл. Боялась: обозлится, освирепееет Гришка, в бешенстве перевернет все вверх дном, и, не дай Бог, будет обнаружен Воробышек. С такими

своими раздумками не делилась - почему? Как-то не подумала об этом - с дядькой Митрохой, а он после очередного визита Колотюка вопросительно смотрел на нее.

- Все то же... - пояснила Стефа. - Да ни в жизнь, тато! Повешусь, чем за него пойти! Да и замужняя я... Все равно верю, что Петя наш жив, объявится.

Дядько Митроха удовлетворительно подкашливал, а где-то в дальних, потаенных уголках души скреблась нехорошая мыслишка: коли так, девка, что ж тогда не прогонишь решительно, как раньше гнала. Да, чужая душа потемки, а бабья и вовсе темень непроглядная... Гнал ее, эту скользкую мыслишку, стыдился, что в голову такое лезет, а она настырничала, как злая осенняя муха, кусалась.

Воробышек совсем поправился, ночью выходил из схрона, стоял и подолгу смотрел на звездное небо и лес.

Под вечер, вернувшись от Воробышка, Стефа сказала:

- Вас зовет.

- Зачем?

- Не знаю...

- Мне уходить надо, - сказал Воробышек дядьке Митрохе.

- Куда?

- К своим буду пробираться. Я уже здоров. Не могу уже лежать в этой яме...

- Вот что, - сказал дядько Митроха. - Не горячись, хлопец. Послухай меня. Как пойдешь, когда кругом немцы? Еще побудь, а там видно будет. И куда идти? Неизвестно, где она, та Красная Армия. Да и раны у тебя, голубок, только-только затянулись. А ты - идти.

- Нет, - стоял на своем Воробышек. - Пойду. Спасибо вам за все. Сегодня и пойду. Мне б только немного еды, на первый случай... Стеше не говорите, уйду - тогда.

Долго молчал дядько Митроха, видел: переубедить Воробышка не сможет.

- Что ж, воля твоя... - сказал.

Ночью собрал узелок с едой, принес одежду Петрухину, которую Стефа давно уже подогнала под рост Воробышка, и проводил его до леса.

Постояли, помолчали, тяготясь этой последней минутой прощания.

- Вот, возьми, - протянул дядько Митроха пистолет «ТТ». - Авось сгодится... Командира твоего.

Воробышек обрадованно принял оружие, перекладывал пистолет из руки в руку, точно вес его прикидывал. Спрятал за пазухой, потом передумал, сунул за пояс. Сказал тихо-тихо:

- Я еще вернусь... И... Стефе передайте, что вернусь. Обязательно вернусь! Так и скажите.

- Скажу, скажу, - машинально покивал дядько Митроха.

- Только не забудьте...

- Что ты, что ты! Обязательно передам.

Неловко, будто стесняясь такого проявления чувств, привлек к себе Воробышка, приобнял. Легонько отстранил, тронул за плечо.

- Ступай...

Лес замер, молчал. Казалось, понимал этих двоих людей, и слова их, и мысли, и с готовностью принял одного из них в свою лесную сумрачь.

«Ступай, сынок, ступай... Да поможет тебе Господь», - шептал дядько Митроха вслед. Назавтра с утра пораньше ему ехать в Любары.

15

Сойдя с крыльца комендатуры, дядько Митроха увидел подъехавшую подводу в сопровождении Гришки Колотюка и двоих полицаев.

Хотел пройти мимо: не лежала душа и словом перекинуться с Колотюком, но тот сам окликнул.

- Здорово, дядько Митроха!

- Здорово у хряка под хвостом висит. А у нас и мухи чищают, - нелюбезно отвечивал дядько Митроха, тем самым давая понять, что пустое молоть с Колотюком не желает.

- Эт ты верно подметил! - неожиданно миролюбиво ухмыльнулся Колотюк. Заглянул в ящик подводы. - У, сука! Блымаешь! Щас глаз выколю!

- Это же кому глаза собрался колоть, господин немецкий полицаи? - дядько Митроха спросил с явной издевкой в последней фразе.

Колотюк вроде издевки и не заметил:

- Да подлюке вот этой!

Дядько Митроха подошел к подводе.

В ней лежал Воробышек...

Окровавленный, с изуродованным лицом. На мгновение приподнял веки, остановил взгляд на дядьке Митрохе...

Поватнели ноги, зашлось сердце, и уши будто заложило. Будто где-то далеко, очень далеко, слышался голос Колотюка, который, матерясь, рассказывал, что этого гаденыша-недоноска поймали, когда он выходил из леса. Отстреливался, успел положить двоих полицаев, прежде чем с простреленной грудью его скрутили.

- Вот, привезли. Может, господин комендант захочет допросить. Откуда такой воробышек залетел. Партизан не партизан, и на окруженца не похож... Молчит гад!

Это слово «воробышек», произнесенное устами Колотюка, пронзило мозг, и в ушах уже зазвенело, и голос полицаи стал громким, как колокол с трещиной, который бил своим дребезжащим звоном по барабанным перепонкам неприятно и нестерпимо больно.

- Тю! - воскликнул Колотюк разочарованно. - Кажись, сдох!

Снял с плеча винтовку, ткнул прикладом в грудь Воробышка, окончательно удостоверившись в том, что тот действительно мертв.

Дядько Митроха исподволь проследил, где закопали Воробышка - на выезде из Любар, недалеко от обочины дороги, в кустах чахлого терновника; землю разровняли, будто это и не могила и не лежит в ней мертвый человек.

До вечера пробыл в Любарах, делая вид, что утрясает какие-то свои дела.

Когда совсем стемнело, нашел место, где закопали Воробышка, откопал, положил в свою бричку, притрусил соломой и привез в Дубки.

Теперь опять Воробышек со своими однополчанами, и лежать им теперь рядом под одним крестом веки вечные...

- Приехали! Слава Богу! - встретила Стефа. - А я не знаю какого страха натерпелась, ждучи вас. Нет и нет. Что так за поздались?

Махнул рукой дядько Митроха.

- Да все комендант держал. Всех старост собрал. Говорит, партизаны объявились. Чтоб за всеми подозрительными следили и докладывали.

- Хоть бы Воробышек наш благополучно до своих дошел... - молвила Стефа.

- Дойдет. Он хлопец шустрый, проворный, - сказал дядько Митроха, стараясь, чтоб Стефа не видела его глаза.

Сегодня чуть свет она растормошила дядьку Митроху.

- Тато! Воробышка нашего нету! Куда мог деться?

- Ушел. К своим решил пробираться. Ночью я его проводил. Велел передать, что вернется. Непременно чтоб, значит, сказал я тебе, мол, обязательно вернется. Отвоюется, прогонят немцев, и вернется.

- Вернется... - повторила Стефа. - Так и сказал?

- Так и сказал.

- Как же так... - расстроено опустила на лавку. - Мне не сказал, ушел... Почему? - заблестела повлажневшими глазами, чему дядько Митроха, признаться, даже удивился. Сдержанная, волевая Стефа вдруг пустила слезу. Но... Не всегда их поймешь, баб-то, когда заплачет, а когда засмеется.

- Ну, а вы почему не сказали, что он собрался уходить?

- Он не велел. Когда, мол, уйду, тогда и скажите Стефе, - пояснил дядько Митроха.

Она явно обиделась. Молчала, когда подавала завтрак, молчала и когда провожала его за ворота в Любары.

Возвращаясь домой, он так и не мог решить, говорить или не говорить Стефе о том, что случилось с Воробышком, нет его больше, погиб, геройской смертью пал, двух полицаев на тот свет захватил с собой.

Когда же переступил порог хаты, увидел встревоженную ожиданием Стефу, решил сразу и твердо: не говорить.

Он выпил стакан самогону за помин души Воробышка, налил еще, стараясь держать себя так, чтобы Стефа никоим

образом не подметила в нем тех чувств, которые терзали его сейчас.

- Ложись, отдыхай. Поздно... - Погладил ее руку. - Не обращай на меня внимания. Это я так, с устатку, день сегодня выдался тяжеловатый. И кости на погоду что-то ломит.

Она улыбнулась, и дядько Митроха понял, что она уже не сердится на него.

«Вернется... Так и сказал?» - все звучал в нем Стефин голос. А перед глазами стоял Воробышек в последние мгновения своей жизни. Что он подумал в тот миг?

Крепкий первач совсем не обжигал горло, пился как обыкновенная вода.

16

Ушел Воробышек, нашел свою смерть, похоронил его дядько Митроха, и Колотюк перестал навеваться.

«Отвязался, сукин сын! Да слава тебе Господи!»

Невдомек было дядьке Митрохе, что лишь выжидал Гришка, срок выжидал, который ему назначила Стефа. Чтоб с глаз сжить да подольше, нашлась:

- Ходишь и ходишь! Люди что подумают? Так не делается, с бухты-баракты. Это тебе не стакан семечек на базаре купить. Подумать мне надо. Вот месяца через три приходи, тогда ответ точный и будет. Понял?

- Ладно! - потер Гришка враз вспотевшие ладони. - Но больно много, три месяца. Может, месяца ли недели хватит? Чего думать-то? Мужика твоего, Петруху, давно уже червяки съели, а ты все думаешь.

- Для кого как! А для меня, может, и трех месяцев мало! - отрезала Стефа. - Иначе вообще разговору не быть!

- Хорошо... - неохотно согласился Колотюк. - Но через три месяца, смотри у меня! А не брешешь? - усомнился.

- Брешут собаки, - осадил его Стефа.

Колотюк, скрепя сердце, отсчитывал дни и недели, меж тем, не теряя времени, огуливал слабых на передок любарских потаскух.

Тихо стало в доме.

Лес потемнел под осенними дождями, потом желанно принял на свою сосновую хвою и первые снега.

Что-то в Стефе изменилось...

Дядько Митроха присматривался к ней и никак не мог уловить - что именно.

Потом смутная догадка шевельнулась в нем. Он отгонял ее: «Тьфу ты! Приплетется ж в голову...» Но помимо своей воли стал присматриваться к Стефе все внимательней. И, сомневаясь, терзаясь, все более утверждался в мысли, что его догадка и вовсе не догадка, а факт вполне действительный.

Порывался спросить ее прямо в лоб, но в последний момент останавливал себя, все еще надеясь на то, что ошибается, что все ему могло просто примерещиться.

А Стефа будто избегала его, стараясь пореже попадаться на глаза. И тем самым подталкивала к прямому вопросу, который рано или поздно, но неизбежно должен был прозвучать.

- Что-то я смотрю... - он никак не мог начать и найти нужные слова. И не стал их искать, спросил без обиняков: - Ты... вроде как понесла? А?

Свел выжидательно брови и оглядывал ее фигуру. Остановил бесцеремонно глаза на животе, будто хотел насквозь просветить и увидеть, что там, в Стефином чреве.

Она потупилась, опустила глаза. Потом дерзко их вскинула и, глядя ему прямо в лицо, коротко ответила:

- Да.

Дядько Митроха ожидал ответа и уже понимал, что именно таким он и будет, но все равно это короткое «да» Стефы ошеломило, поразило его, ударило под дых, по его чувствам, которые нес в себе к Стефе, враз обуглив их. Потому что уже уверил себя, что знает, кто тот человек, осквернивший Стефу.

Мгновенная ненависть вскипела, помutila разум, еле сдержал себя, чтоб не ударить ее, эту гадюку, по животу, где зрел змееныш. Для него она была сейчас сучкой, хитрой, коварной, во время течки готовой подставиться под самого паршивого кобеля. И боль, дикая боль за сына Петра разламывала мозг.

И все ж он спросил:

- Гришка Колотюк?

- Не, - сказала Стефа.

Стояла прямая, спокойная, готовая ко всему.

И думала о своем.

Виделся ей сейчас Воробышек, сначала испугавшийся, ошеломленный и ошалевший от любви к первой в его жизни женщине. А она истступленно обнимала его, поцелуями смывала мальчишечью робость и ощущала себя не одной Стефой - была в этот миг и молодой женой своего законного мужа Петра, и неведомой невестой - наверно, была же - лейтенанта, и женщиной, познавшей жизнь, женой седоусого старшины, и совсем девчонкой, наивной, тянущейся к нежности, к первой любви, к первому прикосновению вот этого солдатика, Воробышка, совсем мальчишки, хоть и заявившего баском, что ему уже двадцатый. Ее сердце, переполненное и жалостью, и страданием, и плакало, и смеялось, и целомудренной птицей взмывало на тревожную, но счастливую высоту, от которой губительно захватывало дух. Она и сама не понимала, как это произошло...

- Кто?.. - выдохнул дядько Митроха, пораженный ее спокойствием, а еще больше словом «нет».

Слабая улыбка, мучительная, но не виноватая, покривила ее губы. Покраснела, смутилась, сверкнула зеленою влажных глаз.

- Воробышек...

- Та-ак... - опешил он и в изнеможении опустился на лавку.

И словно человек, безнадежно висевший над губительной пропастью, вдруг нашаривший спасительный выступ, почувствовал огромное облегчение. Ненависть к Стефе, минуту назад чуть не убившая его, враз отступила, но не сгнула, еще сопротивлялась, жалила сердце ревностью, опять за сына Петра, чья жена не родила от него, зачала с другим, невзрачным солдатиком, которого рядом со Стефой и представить трудно - воробей и бела лебедь.

Приходил в себя медленно, обессиленный открывшимся, ворочая в голове тяжелые, как глыбы от плуга, мысли.

Думал о том, чего не знала и никогда не должна узнать Стефа. Пусть он будет для нее живой, ее Воробышек. Ужаснулся и покаялся: «Господи! Прости меня, дурня старого! Ведь ударить ее хотел...»

Опять прокрутилась в памяти та страшная картина, когда подошел к подводе, увидел Воробышка. Последними мгновениями жизнь еще трепетала в дрожи его век, всхрипах в груди. Вспомнил и опять отчетливо увидел, как приоткрыл Воробышек глаза и как тут же бессильно смежились веки. Узнал ли он дядьку Митроху?..

Прошел в боковушку к уединившейся Стефе.

Она лежала, сжавшись калачиком, с мокрыми глазами и покрасневшим носом. Заговорил, облегчая себя:

- Ты вот что... Не вздумай к бабке Кандачке пойти и вытравить. Рожай, дочка. Раз так получилось... Переможем...

Подумал: «Вот, оказывается, какое лекарство подняло Воробышка на ноги так быстро...»

Она села на кровати, вытерла ладонью мокрое лицо.

- Да, тато. Рожу. Если бы вы и запретили - все одно. Ушла б, но его выносила, - прикрыла ладонью живот, словно защищая.

И кусала губы, сдерживая вот-вот готовые хлынуть слезы. Порывисто взяла его руку, прижалась щекой.

- Ну, ну... Будет...

Он гладил ее по голове, такую сейчас незащитную, а в груди, как на почти остывшем пепелище, слабо оживал, начинал теплиться уголек.

17

Войдя в хату, прямо с порога, нетерпеливо зыркая глазами, Колотюк спросил:

- Где Стефа?!

- Когда входят в хату, добрые люди первым делом шапку снимают, - невозмутимо сказал дядько Митроха. - С коровой управляется. Чего тебе надо?

- Будто не знаешь!

- Не знаю.

- Три месяца прошло. День в день!

- Ну и что?

- Как это что! Ты не придуряйся, дядько Митроха! Сегодня как раз срок. Забираю ее у тебя!

Дядько Митроха пока не совсем все понимал.

- А ты у нее спросил? Пойдем?

- Пойдем! Куда она денется! Хватит мне ее выкрутасов. Заартачится - за руку уволоку.

- Дур-рак! - сплюнул дядько Митроха. - Она тебе не скотина, чтобы волоочь!

- Но! Ты! Язык прикуси! Я как-никак власть!

- Говно ты свинячье, а не власть! - не удержался дядько Митроха от прямого выпада.

- Не зарывайся, дядько Митроха... Не то... - прошипел Гришка.

- Не страшай! - повысил голос дядько Митроха, подступая к Колотюку. - В нужнике видали таких грозных! Ты где сейчас должен быть? В Любарах, службу свою полицейскую нести. Вместо этого ввалился ко мне в хату да еще и угрожаешь. Доложу господину коменданту Шранкелю про такую твою службу фюреру, посмотрим тогда, каким ты будешь перед ним героем. Я тоже власть! И назначил меня господин комендант Шранкель!

Колотюк смешался, таращил глаза, не находясь, что и сказать.

- Ладно! Ясное дело - власть. Так, может, выпьем с тобой по чарке? Пока Стефа корову доит? Я принес. Да и хватит нам с тобой гавкаться, по-мирному давай будем, - доставая из кармана бутылку, предложил Гришка, враз сбавив тон.

- С холуями не пью! С души воротит, - хлестанул его словами дядько Митроха, поворачиваясь к окну.

- Ах ты!.. - судорожно задвигал ноздрями Колодюк. - Советяков, небось, ждешь! С ними пить будешь?!

Дядько Митроха кивком указал на окно.

- Вот его жду.

К воротам подъехала легковушка коменданта, похожая на лягушку.

Гришка дернулся, полоснул дядьку Митроху злобным взглядом, выскочил во двор, наткнулся на Стефу.

На мгновение остановился остолбенело, выпучил глаза, пораженный увиденным.

- Пузатая... - прохрипел. - Ку-урва!

И, крутнув перед ее носом кулаком, прошмыгнул мимо выходящего из машины господина коменданта Шранкеля.

Гауптман, увидев Стефу, вскинул брови, поморщился. Обшаривая взглядом ее располневшую фигуру, спросил:

- Староста дома?

И не дожидаясь ответа, прошел в хату.

- Как видите, Дмитрий Самсонович, я держу свое слово. Обещал к вам заглянуть, и вот - заглянул, - заговорил комендант Шранкель, снимая шинель. - Все никак не мог собраться. Все дела, дела...

«Принесли тебя черти!»

- Благодарствую, господин комендант, что не забываете нас, - учтиво склонил голову дядько Митроха. Соображал, чего ради приехал Шранкель. Просто так ничего не бывает.

А тот тщательно пригладил волосы, одернул мундир и, садясь за стол напротив дядьки Митрохи, спросил:

- У вас, кажется, произошли некоторые изменения?

- Изменения? - дядько Митроха внутренне насторожился. - Да какие у нас могут быть изменения...

- Ну как же! - воскликнул Шранкель. - Фрау Стефания, насколько понимаю, ждет ребенка?

- А-а... - протянул дядько Митроха, изображая непринужденную улыбку. - Вот вы про что. Дело бабье... В народе как говорят? Война войной, а живое живого требует. - Лихорадочно соображал, как повести себя дальше и что говорить.

Комендант в ответ не улыбнулся. Узкое лицо его было неподвижно, точно гипсовая маска, но все же читалось на нем неудовольствие, что дядько Митроха и уловил.

- И кто же тот человек, который оказался счастливым избранником фрау Стефании?

Шранкель смотрел в упор, и не поймешь, что в этот момент было у него на уме, - ленивое любопытство или детальная дотошливость профессиональной ищейки.

- Кто? - И совершенно неожиданно даже для самого себя дядько Митроха сказал: - Да кто... Вы его видели. Выходил из хаты, когда вы подъехали. Может, вы его знаете... Колотюк, в полиции служит. А теперь, понимаешь, хвост будылкой отвергает.

- Вот как? - вскинул удивленно брови Шранкель. - Знаю, знаю... Хотим назначить его заместителем начальника поли-

ции. Доказал свою преданность фюреру. Будылкой, говорите? Нехорошо, нехорошо... Обижать таких прелестных женщин, как фрау Стефания. Я с ним непременно переговорю по этому поводу!

- Премного благодарен, господин комендант! Не стоит утруждаться. Мы как-нибудь сами уж разберемся... - попытался возражать дядько Митроха. Зачем, зачем, спрашивается, ляпнул языком не подумавши! Такого поворота он не ожидал. - Не стоит...

- Нет-нет! - воскликнул комендант. - Обязательно переговорю! - И вдруг спросил: - Судя по вашему возрасту, Дмитрий Самсонович, вы, наверное, были на фронте? - Уточнил: - В ту войну?

- Как же. Был. Воевал. Против вас, - короткими фразами ответил дядько Митроха и не отвел взгляда от уставившихся на него неподвижных глаз коменданта.

- Э, нет! Дмитрий Самсонович! - усмехнулся Шранкель. - То была другая война. Совершенно другая война. Вы воевали против кайзера Вильгельма за своего царя. Жаль... Так жестоко обошлись с ним большевики.

- Может, и так, - не стал возражать, согласно покивал дядько Митроха. - Воля ваша, как хотите, так и думайте, за кого мы воевали. Солдатики, простые, серые... А человека всегда жаль, когда изничтожают его. И царя жаль. Всю семью его жаль. Нескладно у них судьба повернулась. Но на все воля Божья.

- Любопытный-таки вы человек, Дмитрий Самсонович... Так вот. Другая война сейчас. С большевизмом. А это большая разница. Быть или не быть, как сказал англичанин Шекспир устами датского принца Гамлета.

- Не слыхал про таких.

- И не многое потеряли! - Лицо Шранкеля загорелось, речь становилась чеканной. - Большевизм должен быть уничтожен! Выжжен с корнями! И эту задачу возложила на себя великая Германия! - И тут же сменил тон на вкрадчивый: - А кстати, Дмитрий Самсонович, вы тоже были коммунистом...

Тоскливо, ох тоскливо было сейчас на душе у дядьки Митрохи...

Чего он хочет от него, комендант Шранкель? Чтоб покался, повинился? Согнутую спину бьют больней. Сказал:

- Был. Как же не быть.

- Понимаю, понимаю... Большевики умеют принуждать, - сказал так, будто выручал дядьку Митроху из щекотливого положения.

- Умеют. Может, хотите, партбилет вам показать?

- Да?! - с неподдельным интересом воскликнул Шранкель. - Он у вас сохранился? Любопытно взглянуть...

- Вот, - пошарил дядьку Митроха за образами и положил партбилет на стол перед Шранкелем.

- Не сожгли.

- Не сжег.

Шранкель отвел взгляд от партбилета.

- Ну, что ж. Пусть остается. Как говорится, на память. Реликвия. Хотя... Нет. Сожгите! Это я вас понимаю. А другой германский офицер вас не поймет. И не сносить вам головы, Дмитрий Самсонович. Сожгите.

Дядьку Митроха неторопливо взял книжицу, повернул в руках, поднес к обрезу стеклянного пузыря керосиновой лампы. Книжица затлела, загибаясь краями, потом вспыхнула. Дядьку Митроха бросил ее под печку.

Комендант смотрел испытующе.

- И какие чувства, Дмитрий Самсонович, вы сейчас испытываете? Только честно?

Пожал плечами дядьку Митроха.

- Да никаких. Горит и горит. Бумажка. Книжица не вера, сгорела - и пепел остался. Книжка в кармане, а вера в голове.

- Вера? Какая вера? - быстро спросил Шранкель.

- Наша.

- Уточните.

- Наша. Православная.

Шранкель рассмеялся. Поднялся из-за стола, принялся расхаживать по горнице.

Вошла Стефа. Комендант приостановился, провожая ее цепким взглядом в боковушку. Встряхнулся, поскрипывал сапогами и говорил:

- Похвально, что вы верующий человек. Мы веру в Бога уважаем. А вот ваши коммунисты - богоборцы. Церкви разрушили, попов - кого в тюрьму, кого расстреляли. Не так ли?

Дядько Митроха отвечал:

- Почти так. В Любарах церковь была, и служба там шла. Не все, выходит, разрушили. Все разрушить нельзя, что-то да и останется.

- Она и сейчас действует, - сказал Шранкель. - И служба идет. Вот так. И наши доблестные солдаты фюрера идут в бой со словами: «С нами фюрер и Бог!» А что повесили прежнего попа - иначе нельзя. Против германских властей проповеди вел. Бургомистр Запрягаило другого отыскал, покладистого и понятливого. Вот и ведь народ... Советская власть расстреливает, в тюрьмах гноит, а они в проповедях за нее ратуют.

«Не за нее! - так и подмывало дядьку Митроху выкрикнуть в лицо Шранкелю. - Против вас!»

А Шранкель продолжал:

- Не логично получается... Впрочем, к истинной вере это никакого отношения не имеет. Это политика, яд коммунистической пропаганды, который отравил даже некоторые поповские мозги. Вот так, уважаемый Дмитрий Самсонович! Повторюсь! Прелюбопытнейший вы человек. Я бы сказал, хитромудрый. Как тот пескарь из русской сказки. А?

- Не схитришь - не проживешь.

- Ну... Правильно сказано. Весьма... Все больше убеждаюсь, нам как раз такие люди и нужны, как вы. Трусы и прямолинейные дураки хуже врага. Вот бы увидел какой-нибудь ваш комиссар эту картину - сожжение партийного билета. Не сладко бы вам пришлось...

- Я сам себе комиссар, - ответил дядько Митроха, усмехнувшись. - А от сладкого даже у детей зубы болят. - И спросил, несколько обескуражив Шранкеля: - Господин комендант! А что это не видно вашего переводчика?

- Переводчика? - переспросил Шранкель. Перестал расхаживать, опять сел за стол, сказал с улыбочкой: - Вы имеете в виду Василия Михайловича? Не сработались, так сказать. Как выяснилось, он оказался евреем. Пришлось расстаться... Представляете?! У германского офицера переводчик - еврей!

- Понятно. Ликвидировали, значит...

Разговор словно на качелях, когда, того и гляди, он, дядько Митроха, может сорваться и разбиться насмерть. Уговаривал же себя быть посдержанней, поосторожней в словах. Не получалось. Будто бес какой водил. Себя можно уже не считать. За Стефу страшно.

- Такова необходимая объективность, Дмитрий Самсонович. Или, если хотите, объективная необходимость. Да! - сказал Шранкель.

И разразился длинной тирадой голосом опять металлическим, отчеканивая каждую фразу. Опять расхаживал по горнице, скрипел сапогами, устремив непонятно куда глаза, куда-то под потолок.

- Евреи - это раковая опухоль на теле человечества. Чтобы избавиться от нее, ее надо вырезать, не оставляя ни одной клеточки. Фюрер решительный хирург! Он знает, в чем самое большое зло. Россия насквозь больна раком. Да, да! Кто комиссары, наркомы, многие и многие ваши руководители? От районного городишки до Кремля? Россия нуждается в большой операции. Только Германия может принести ей здоровье! Жалко моего друга детства Фиму Фейгина. Но! Он клеточка этой опухоли. Потому милосердия и сюсюканья здесь быть не должно. Только скальпель!

«Господи! - ужаснулся дядько Митроха, слушая эту нечеловеческую речь. - Да есть ли ты на свете! Да зачем же позволяешь таким тварям двуногим ходить по земле-матушке! Скажи, Господи!..»

Сердце обожгло застарелой болью. Невестка Елена, жена старшего сына Сашка, была еврейкой. Где, жива ли?

Уезжая, Шранкель повторился:

- А с Колотюком переговорю! Обязательно! Так что, ждите...

И посмотрел внимательно и многозначительно.

Или это дядьке Митрохе показалось, что многозначительно?..

18

Дверь Колотюк вышиб ногой.

Клацая затвором винтовки, рванулся в хату.

- Так-твою-перетак! - заорал. - Где ты, Митроха? Пристрелю!

Стефа, поправляющая огонек лампадки, оцепенела.

Колотюк метнулся по хате. Бросил винтовку на кровать, подскочил к Стефе, клешнястой пятерней сжал подбородок.

Пахнуло смрадом перегара.

- Мозги мне крутишь, паскуда! А сама сучилась! С кем? Говори! Со свекром своим?!

Располосовал кофточку, клешнями вцепился в груди, выворачивая их.

Рванул юбку, подламывая Стефу под себя.

- Да я тебя прям щас! Прямо тут оприходую! Пузо раздавлю!

- Тато! Тато! - закричала Стефа.

Задыхаясь, изловчилась, ударила его коленом между ног, где звериной похотью топырилась отвратная плоть.

Колотюк поросячьи взвизгнул, выпрямился и ударил Стефу в живот.

Он бил ее, упавшую на пол, ногами, останавливался и снова бил, зверел от вида крови, уже необратимо превратившись в зверя.

Почувствовал опасность, но обернуться не успел.

Топор лезвием вошел в его затылок. Череп хрястнул, разваливаясь на две половины, как перезревшая тыква, которую разрубают на корм свиньям.

Стефа лежала на полу, подплыв кровью...

Дядько Митроха опустил на колени, приник ухом к ее груди.

Стефа была мертва.

Он медленно провел ладонью по ее животу, словно надеялся ощутить толчок дитя в материнском чреве.

Стояла мертвенная тишина, в которой качались тени от огонька лампадки. И в этой мертвой тишине стоял он на коленях над телом Стефы долго, очень долго, каменно недвижим, моля и призывая, чтобы смерть пришла и к нему, сейчас, остановила его сердце, которому биться уже было незачем.

Но смерть не хотела забирать его к себе, он был еще нужен здесь, на земле, чтобы завершить еще не завершенные дела.

...Положил он Стефу рядом с Воробышком, обвенчав их сырой землей.

Обхватил крест и повис на нем.

И только теперь заплакал тяжелой смертной слезой.

19

Часовой возле комендатуры, хорошо знавший старосту Дубков в лицо, облокотился на перила крыльца и лениво позевывал. Торкнулся было остановить дядьку Митроху и лапнуть узелок, который тот нес.

- Не цапай! - прикрикнул дядько Митроха на часового, решительно отводя его чересчур любопытную руку. - Господину коменданту несучь! Понял?! - Потряс узелком перед самым носом оторопевшего немца, сопляка совсем, мамкино молоко на губах не обсохло.

Уверенно прошагал к кабинету коменданта.

Шранкель восседал в кресле за столом. По обе руки его, по торцам стола, на стульях расположились четыре офицера. Все их внимание было поглощено разложенными на столе картами и бумагами.

«Пре-екрасненько!»

На одного, на господина коменданта Шранкеля, рассчитывал дядько Митроха. А тут-такая удача! Еще четверо!

От такой картины, доставившей его сердцу великую мстительную радость, дядько Митроха совсем успокоился, уняв внутреннюю дрожь и страх от мысли, что, не дай Бог, сорвется задуманное. Из-за какой-нибудь мелочи или непредвиденного пустяка.

Но пока все шло гладко.

«Слава тебе, Господи! Слава тебе, Господи!!» - мысленно осенил он себя крестом. Знал, в последующие мгновения не сумеет уже этого сделать. Все внимание будет поглощено другим, и отвлекаться уже нельзя ни на секунду.

- В чем дело? - комендант раздраженно вскинул глаза на вошедшего, узнал дядьку Митроху. Но смотрел так, будто видел впервые. - Заняты! Подождите!

Дядько Митроха шагнул к столу.

- Срочное дело, господин комендант! - и водрузил узелок перед Шранкелем прямо на бумаги.

- Однако вы настырный, Дмитрий Самсонович! И чересчур! - выговорил комендант, впадая в еще большее раздражение от неотесанной настойчивости дубковского старосты, которого следовало выдворить из кабинета. - Что это? - движением подбородка указал на узелок, который своим замызганным видом вызывал брезгливость.

- Щас, щас, господин комендант! Щас побачите! Дело срочное! - улыбался дядько Митроха. - Радость вам какая будет...

И проворно принялся развязывать узелок - изношенный, когда-то светло-коричневый, а сейчас совсем выцветший платок. Его он купил своей Одарке, когда возвращался домой с той германской. Хороший платок, теплый, никакой морозика в таком платке не прошибет. Не купил даже, выменял на базаре в Тернополе у одной рябой тетки, дюже неуступчивой. За платок кроме новых исподней рубахи и кальсон, которые приберегал в вещмешке на лучшие дни, да и на смерть тоже, всяко может, запросила тетка в придачу еще и добрую горсть кускового сахара, который узрела в вещмешке, когда доставал для показа белье. Пришлось отдать. Уж больно хорош был платок.

Одарке тоже понравился, радовалась. Давно это было. А вроде как вчера...

Зашуршал старыми газетами, добираясь до завернутого в них заветного содержимого узелка.

А притаенная улыбка так и не сходила с лица.

Насладившись мгновением животного ужаса, застывшие в глазах господина коменданта -«Сранкель!» - и четырех других голубчиков, наконец увидевших содержимое узелка, дядько Митроха с облегчением вздохнул и выдернул бечевкой связанные щеки обеих гранат.

ВСПЛЕСК

На работу надо добираться сорок минут.

Без десяти восемь Веревкин приходит на остановку автобуса и через пять минут уже едет.

Так повторяется изо дня в день.

Встает Веревкин довольно поздно - без пятнадцати семь. К этому времени жена уже приготовит завтрак, успеет собраться сама, а еще через пять минут уходит, так как работает с восьми и поэтому выходит из дома раньше мужа.

Вскоре, дожевывая на ходу бутерброд, уходит в школу и Димка, сын. Он учится в пятом классе.

Веревкин остается в квартире один. Не спеша бреется старой электробритвой, которая часто ломается, но которую он, тем не менее, не спешит менять на новую - это память о деде, умершем пятнадцать лет назад, когда Веревкин был еще студентом.

О деде уже редко кто и вспоминает. Если бы не электробритва, и Веревкин вряд ли вспоминал. А так каждое утро дед напоминал о себе.

И порой переносится Веревкин в далекое-далекое детство и видит лицо деда, черное, загорелое, и его руки, протягивающие кусочки сахара - великое лакомство в трудные послевоенные годы...

Не спеша Веревкин пьет крепкий чай. Завтрак же, приготовленный женой, остается почти не тронутым. Из-за этого у них даже бывают легкие ссоры. Но что делать, если есть не хочется. Жена говорит, что надо, мол, бросить курить и вставать пораньше, делать зарядку, тогда и есть захочется. Конеч-

но, после сигареты разве полезет что в рот! Наверное, она права. Да что там «наверное»! Права она без всяких «наверное»!

Давно уже собирался Веревкин изменить свой режим. Не однажды принимал решение, что вот буквально завтра встанет в половине шестого и не закурит, как он делает обычно, а займется зарядкой, после примет душ, конечно же, холодный, побреется и сядет за стол бодрый и веселый. Съест приготовленный женой завтрак да еще попросит добавки, жена удивленно округлит глаза и похвалит его, а ему будет приятно от этой похвалы, как маленькому ребенку.

Но эти благие намерения так и оставались намерениями. Чтобы рано вставать, надо пораньше ложиться. Веревкин относится к «совам». Раньше двенадцати обычно не ложится, засыпает не сразу, долго еще ворочается. Всякие мысли витают в голове. Часто вспоминаются студенческие годы, друзья, со многими из которых связь потеряна, а если с кем и не потеряна, то поддерживается лишь двумя-тремя открытками в году. Много вспоминается... Становится грустно. Утром поднимается мучительно, вялый, с ватной головой. Какое уж тут настроение...

Попив чаю, Веревкин смотрит на часы, и неторопливость слетает с него. Как быстро движутся на часах стрелки! Надо спешить!

На автобусной остановке в это время народу порядочно. Многих Веревкин знает в лицо, с некоторыми даже здоровается. С недавних пор на эту остановку приходит молоденькая девушка с черным «дипломатом» в руках. Видно, студентка. Иногда Веревкин встречается с ее внимательным взглядом и тут же отворачивается. Еще, чего доброго, подумает что-нибудь! «Интересно, сколько ей лет? Наверное, восемнадцать, не больше. Да-а-а, считай в два раза моложе...»

Работает Веревкин начальником производственно-технического отдела специализированного треста. Давно уже, кроме жены, никто не называет его Олегом. Для всех он - Олег Николаевич Веревкин.

Инженерно-строительный институт, который он закончил двенадцать лет назад, вовсе не был его мечтой. Поступил туда потому, что не попал в мореходное училище. Под-

вело зрение. Так что особой любви к своей профессии он не испытывал. Просто привык к ней и уже считал, что вряд ли по-другому и могло быть.

Конечно, честолюбивое желание сделать карьеру было, и он радовался своему довольно быстрому продвижению по службе. Радовалась за него и жена, работавшая на химзаводе технологом. Но вот, став начальником ПТО, он вскоре почувствовал, что ему совершенно не хочется расти, думать о следующей, более высокой должности. Поначалу он даже не понял в себе этого чувства, но со временем ему стало ясно: к дальнейшей карьере он стал равнодушен. И многие немало удивились, когда Веревкин отказался от должности главного инженера в одном из управлений треста. Удивилась и жена. Свой отказ Веревкин мотивировал тем, что, якобы, нет у него еще достаточного опыта, и кроме всего прочего, надо же кому-то работать и начальником ГТГО.

В последнее время что-то стало тревожить Веревкина, что именно, он толком понять не мог, и жил словно в ожидании какого-то события. Настроение было как на вокзале, когда, сидя с чемоданами, нетерпеливо ожидаешь поезда. В какие-то моменты, и все чаще, ему вдруг хотелось побыть одному, и он даже уходил с работы, сказав, что отправляется на объекты. Уединившись где-нибудь в укромном уголке парка, часами сидел, выкуривая сигарету за сигаретой. Было какое-то странное ощущение оторванности от времени. Казалось, что он существует сам по себе, вне времени, оно проходит где-то рядом и лишь иногда, от случая к случаю, он соприкасается с ним.

Если бы его спросили, доволен ли он своей жизнью, Веревкин, по-видимому, ответил бы: да, доволен. Что еще надо человеку? Есть квартира, неплохая работа. Жена; может, и не все понимающая, но вполне хорошая женщина. Да и разве же есть такие, все понимающие? И вообще: что понимать, когда сам в себе не разберешься толком. Есть сын, нормальный, неизбалованный мальчишка, почти уже парень, ростом вон как вымахал Кажется, есть все. Чего еще может не хватать?

С женой ровные отношения, какие бывают обычно после десяти-пятнадцати прожитых вместе лет. Давно позади время волнений и пылкой нежности. Сгладилось, затушеввалось

многое, накрылось налетом будничности, и лишь иногда, ярко и коротко, вспыхнет воспоминание далеких дней, всплеснет-ся страстное желание повторения того далекого - сейчас, сию минуту. Увы! Повторений не бывает. Бывает лишь нечто похожее...

Подходит автобус. Он втискивается в него и почему-то всякий раз оказывается рядом с девушкой-студенткой. Ее «дипломат» давит ребром его ногу, но Веревкин молчит. В автобусе тесно, и не так-то просто занять удобное положение.

Ему приятно стоять рядом с девушкой, украдкой рассматривать ее юное нежное лицо с чуть капризными, совсем еще детскими губами, с аккуратным, слегка вздернутым носиком. Ее присутствие рядом - словно награда Веревкину за те неудобства, какие он испытывает в тесном автобусе.

Но вот и остановка. Веревкин выходит и оглядывается. Девушка без улыбки внимательно смотрит на него из автобуса.

Или ему так кажется, что на него... Через минуту он забывает о девушке, не вспоминает ее до следующего утра, когда опять в автобусе они будут стоять рядом и ее черный «дипломат» опять острым углом больно придавит колено, а он промолчит и лишь будет осторожно, так, чтобы она не заметила, рассматривать ее личико, на которое, право же, смотришь не насмотришься. Оно как картина, воспевающая красоту молодости.

Работа начинается в полдевятого. Туда-сюда - уже девять. Надо идти на планерку.

Планерок Олег Николаевич не любит. Но - увы! - от производственной необходимости никуда не денешься - надо. Хоть и тратится на планерках уйма времени, но так уж повелось: как без них? Непривычно. Одним словом, без планерок и работа не работа.

Весь ход планерки Веревкин может предугадать заранее, ошибается не намного. Начинается она традиционным «тише, товарищи!» управляющего. Вот и сегодня планерка началась именно с этих слов.

- Тише, товарищи! Тише! Посторонние разговоры прошу прекратить! Не в клубе на дискуссии находитесь. Серьезней, серьезней, товарищи!

Управляющего можно понять. Такова уж у него незавидная доля номенклатурного руководящего работника, попавшего когда-то, как говорят, в обойму - поднимать на должный уровень вверенное ему дело, будь то строительный трест, трест ли столовых и ресторанов или, к примеру, коммунальное хозяйство с банями, парикмахерскими и прочими прачечными. Можно иметь самое смутное представление о работе, вернее, о ее специфике (этим пусть занимаются службы главного инженера), но нужно быть молодцом и докой в основном деле - уметь вовремя сказать веско, значительно и в то же время кратко, по-государственному. С незаметной долей пафоса, дабы заронить в душах подчиненных понимание важности и серьезности стоящих перед ними задач. Это не так просто, как кажется на первый взгляд. Руководящий опыт приобретается с годами, когда меняются кресла, секретарши, когда уже легче перечислить те дела, которыми еще не приходилось заниматься, нежели те, с какими доводилось сталкиваться. Одно слово - номенклатурный работник!

Сейчас заговорит Нил Андреевич, главный инженер. Собственно, всю планерку ведет он. Минут десять будет длиться его вступление. Он скажет, что главк требует приложить максимум усилий, чтобы уменьшить объем незавершенки - болезнь всех строек в стране... Разговоры про незавершенку ведутся на каждой планерке, но сдвигов в лучшую сторону почти нет.

Далее главный напомнит, об экономии материала, о том, как бесхозяйственно он разбросан на строящихся объектах, как слабо поставлен его учет исключительно во всех управлениях и что пора, в конце концов, положить этому конец - терпение не бесконечно, к виновным будут приняты самые строгие меры наказания.

Эта десятиминутная речь, вернее, вступление к планерке, воспринимается всеми присутствующими как увертюра к концерту, много раз слышанная, знакомая до самого последнего звука. Без нее планерку уже трудно и представить.

Увертюра кончилась.

Нил Андреевич неторопливо достает очки, тщательно их протирает полой пиджака, прежде подув на них, затем наде-

вает и достает из папки лист с решениями предыдущей планерки. Управляющий без слов стучит карандашом по графику, все притихают.

Роза Михайловна, инженер производственно-технического отдела - вся внимание. Ее обязанность - вести протокол. Десятиминутное вступление Нила Андреевича в расчет не принимается и посему в протокол не вносится.

Некоторое время назад протоколы вели по очереди, и по этому поводу разгорались частые дебаты, даже более жаркие, нежели при обсуждении производственных вопросов. Никому не хотелось вести протокол. Зачастую вдруг оказывалось, что какой-то вопрос, и почему-то всегда самый важный, в протоколе не был отражен вообще, а если и был, то совсем в другом свете, нежели как оно было на самом деле, и Нил Андреевич в сердцах отчитывал того, кто вел протокол. Однако как ни злись, делу не поможешь. Попробуй, например, спроси с виновного за невыполнение пункта, не записанного в протоколе! Он только недоуменно пожмет плечами, а безвинные глаза будут у него совершенно чисты и безгрешны, как у младенца.

И вот - слава богу! - в тресте появилась Роза Михайловна. Теперь уже все тщательно записывается.

Розе Михайловне лет двадцать восемь. Язык так и норочит назвать ее Розочкой, однако на такое почему-то никто не осмеливался.

Олег Николаевич доволен, что у него в отделе есть такой работник. Поначалу он воспротивился, когда ему сказали, что в его отдел приняли молодую женщину на должность инженера, тем более без его ведома. Пусть даже он и был в это время на больничном - в конце концов, можно было и домой к нему приехать посоветоваться. Но потом он даже был рад. Собственно, и поначалу Веревкин был против лишь ее специальности. Педагог на должности инженера! Разве не смешно? Оказывается, очень даже может быть такое. Где-то не может, а вот у них в ПТО это уже факт.

С бумагами, какие потоком плывут, справляется не каждый инженер, а вот Роза Михайловна справляется. Умеет она их рассортировать по-своему, таким образом, что даже создается впечатление, будто бумаг стало гораздо меньше.

Что ее заставило поменять профессию, никто толком не знает. Говорят, приехала она откуда-то из Курганской области.

Веровкин переглянулся с Розой Михайловной. Она чуть улыбнулась. О, у них есть маленькая тайна...

Итак, планерка началась.

- Товарищи! Пробежимся по предыдущему протоколу. Начнем с Ивана Егоровича.

Иван Егорович Тороп - главный инженер первого управления. В течение года фактически является его начальником. Настоящий же начальник постоянно болеет, а через полгода должен уходить на пенсию. Так что всем ясно: через полгода Иван Егорович будет назначен начальником управления уже официально.

Тороп - мужик хитрый. Целый год его управление держит первенство по тресту. Прежде дальше третьего места не поднимались. Вот и выходит - не кто иной, как Тороп, вывел управление в передовые. План он выполняет, а если его попросят перевыполнить, чтобы перекрыть какое-либо отстающее управление, то, поворчав, Тороп перевыполняет. К этому уже начали привыкать. Управляющий трестом и Нил Андреевич видят в Торопе палочку-выручалочку, способную помочь тресту в критические моменты. Ивана Егоровича Веревкин недолюбливает. Есть в Нем что-то такое обтекаемое, масляное. Явно это не проступает, но если внимательно приглядеться, не заметить этого нельзя.

Он умеет повести себя таким образом, что обвинить его в чем-либо, указать на его упущения не представляется возможным. Кто угодно может быть виноватым, но только никак не Тороп.

Вскоре после того, как в тресте начала работать Роза Михайловна, Тороп одним из первых попытался пофамильярничать с ней. Чем это кончилось - никто не знает, однако Иван Егорович при встрече с Розой Михайловной слегка краснеет. И это удивительно! Кажется, ничто на свете не может заставить залиться румянцем холеное красивое лицо Торопа, с чуть выпуклыми нагловатыми глазами, обрамленное серебристой пышной шевелюрой.

Веревкин как-то попытался проверить в управлении Торопа соответствие отчетной формы два и списания материалов по отчетам прорабов и начальников участков, а также выборочно провести контрольный обмер выполненных работ на объектах, но ничего не вышло. Тороп как-то сумел вывернуться: хотя работа не была выполнена до конца, в акте плановой проверки пришлось написать, что особых нарушений не обнаружено. Олег Николаевич чувствовал - стоит глубже и внимательней заняться документами, как вскроется совершенно иная, вовсе не радужная картина.

И это не давало ему покоя. Однако со временем он махнул рукой на свои догадки. Стоит ли ломать копыя, портить себе нервы! Ну объявят Торопу выговор, может, даже строгий. Что из этого? Ничего не изменится - это точно. Мало ли о таких пишут в газетах? Покритикуют-покритикуют, а снимать редко кого снимают, не говоря уж о большем.

Тороп «отстреливается», как любит он говорить, быстро. Все у него гладко, как ни у кого. Снисходительная улыбка на губах. И нетрудно понять ее смысл: «Уметь надо!»

Лицо Розы Михайловны, морщившей носик во время лаконичного доклада Торопа, становится внимательным, в глазах рождается затаенное тревожное сочувствие - подошла очередь Юрия Анатольевича Вербина, начальника второго управления.

Внешне он спокоен. Лишь морщины на лбу, то набегающие, как рябь на воде, то внезапно исчезающие, свидетельствуют о его действительном состоянии. Говорить начинает ровно, негромко:

Стоятидесятиквартирный дом в этом квартале мы не сдадим. Об этом я говорил и на предыдущих планерках. Говорю и сейчас,

- Почему? - почти жалобно спрашивает главный инженер.

Все вы прекрасно знаете, почему. Так же прекрасно понимаете, что в оставшееся время просто невозможно выполнить весь объем работ.

У Торопа все та же снисходительная улыбка. Вербин продолжает:

Если бы в свое время было уделено достаточное внимание, то дом можно было бы сдать в срок. Однако сегодня - и это уже факт! - видно: город недополучит в этом квартале сто пятьдесят квартир.

- Вы понимаете, что говорите? - приподнимается из кресла управляющий.

- Вполне понимаю, - глядя ему прямо в глаза, все так же спокойно говорит Вербин. Тот бессильно опускается в кресло.

- А позвольте спросить, Юрий Анатольевич, почему же вы не уделите достаточного внимания, как вы изволите говорить, в свое время? - задает вопрос главный инженер. - Ну? Что вы скажете?

- Этот вопрос уместно задать вам, Нил Андреевич. Что бы вы на него ответили? - Пальцы рук Вербина, сжавшие край стола, побелели. Тороп хмыкает и осуждающе глядит на него. Роза Михайловна бросает на Торопа быстрый взгляд, и тот сразу же притихает.

Тихо. Слышно, как жужжит и бьется в стекло залетевшая в кабинет пчела.

В строительстве понятие интеллигентности воспринимается непросто.

Мастера, прорабы, начальники участков, главные инженеры и начальники управлений, да и люди, занимающие более высокие посты, прошедшие все эти ступени роста, в большинстве своем - горячие головы, не смущающиеся в выборе выражений, с удивлением, даже непониманием отнесутся к человеку спокойному, уравновешенному, посмевавшему осудить царящую на стройках лихую, бесшабашную удаль и основной принцип - «давай-давай!» Круглосуточные смены, кубы кирпичной кладки и бетона, километры труб и кабелей, растущие этажи и многое-многое другое, что и составляет само понятие стройки, определяет ее ритм - это очередные рubeжи, взятые трудно, взятые с боем.

До интеллигентности ли тут!

Вот дома, в семье, или же в кругу друзей, вдали от дел, можно побыть, так сказать, и интеллигентом. Говорить совсем другим языком, спокойно, без крика, читать головолом-

ные детективы и классиков, слушать музыку, и не просто музыку, а может быть, даже и классическую.

На строительной же площадке прораб не может, просто не в состоянии быть интеллигентом. Он должен спорить, доказывать, выбивать материалы, закрывать наряды и процентовки, не допускать перерасходов фонда заработной платы, как-то выкручиваться, когда не хватает людей, сотый раз разглядывать чертежи, пытаюсь разгадать ребус, придуманный в тех чертежах проектировщиками. И заниматься еще десятками дел, какие возникают неожиданно, и надо порой принимать решения, как в боевой обстановке - тут же, на месте, сию минуту!

Нет, не зря уходят линейные работники на пенсию в пятьдесят лет!

Вербин - интеллигент.

И что поначалу было удивительным и непривычным - на работе тоже.

Перевели его из Прибалтики. Тамошний климат не подходил его жене, и врачи посоветовали выбрать место посуше. Однако и сухой воздух не помог, вскоре его жена умерла, и вот уже почти два года Юрий Анатольевич живет вдвоем с дочерью, худенькой и болезненной, как и ее мать.

И после смерти жены Юрий Анатольевич оставался таким же аккуратным, тщательно выбритым, всегда в отутюженном костюме, при галстукe. Посмеивались:

- Ишь, форс держит! Жара хоть майку скидывай, а он, видите ли, в костюме! Ровно в Большой театр собрался!

Вербин не обращал внимания на ехидные усмешки. Единственное, что позволял себе в жаркую погоду - это расстегнуть верхнюю пуговицу на воротнике рубашки и ослабить галстук.

И с подчиненными, будь то простой рабочий или начальник участка, и с вышестоящим начальством был на «вы», и не было еще случая, чтобы он сорвался и вышел из себя.

Кому это нравилось, кому нет, однако все признавали умение начальника второго управления разговаривать с любым собеседником, и не просто говорить вежливо и спокойно, а прежде всего - выслушать, и лишь после коротко и конкрет-

но выразить свое мнение. Кажущаяся чрезмерная мягкость Вербина, по мнению многих, должна была окончательно развалить управление, которое он возглавлял и которое до него уже успели порядком развалить часто меняющиеся начальники.

Дела, однако же, не так быстро, но пошли в гору, и управление, два года назад тащившееся далеко в хвосте, теперь было среди первых.

Вербина знали в главке, интересовались его работой, хотя лестных характеристик ни управляющий, ни главный инженер ему не давали.

Они почему-то не были в восторге от Вербина. Слишком уж он был самостоятельным, часто шел вразрез с руководством треста, не боясь говорить прямо о вещах, о которых другой бы и слова не промолвил.

- Ну, знаете!.. - Нил Андреевич не находит даже слов, чтобы осадить Вербина, поставить его, как говорится, на свое место. - Это уж слишком! Пока я - главный инженер, и будьте добры отвечать на мои вопросы. Когда вам позволят, тогда и зададите свои.

- Что ж... Хорошо... - Морщины на лбу Юрия Анатольевича тут же застыли. - Постараюсь ответить. Отвечу на этот и на другие возникающие вопросы. Наше управление ведет несколько объектов в городе. Не буду говорить о каждом. Остановлюсь на стопятидесятиквартирном доме. По плану его надо сдать в этом квартале. То, как идут дела на этом объекте, совершенно точно отражает состояние дел и на других объектах. И не только моего управления. Итак, наша задача - подвести к дому инженерные сети и смонтировать внутренние системы отопления, водопровода и канализации. Что тут неясного? Бери и делай! Но увы. Первое: до сих пор на два подъезда мы не получили заготовок на систему отопления...

- Пойдите, пойдите! - перебивает Вербина главный инженер. - В чем дело, Григорий Иванович? - обращается он к директору трестовского завода сантех-заготовок.

- Как в чем? - удивляется тот. - Вы же сами дали команду - выполнить в первую очередь заказ для Торопа, а дом пока отставить.

- Да, да. Верно. Для поликлиники надо было срочнее давать заготовки, - кивает Нил Андреевич. - Но там работы-то на два дня!

- Так ведь кроме поликлиники Тороп дал еще один срочный заказ - узлы колодцев для водовода.

- Какой к черту срочный! - взрывается главный. Тороп подался вперед, сейчас спросят его. - Ну? - уставился на него Нил Андреевич.

Управляющий переводит взгляд с одного на другого, кусывая карандаш.

- Как же не делать водовод? План-то и за других придется выполнять. А чем? Вся надежда на водовод. Работа денежная, - Тороп невозмутим.

- Кто говорит, что его не надо делать? И вообще, что за чертовщина творится! Куда смотрит ПТО? Где график выполнения заказов заводом? Спать! Спать меньше надо!

Ну вот. Добрались и до Веревкина. А что он скажет? Что график есть, висит на стене и никто на него не смотрит? Что пытался он, Веревкин, контролировать, да сам же Нил Андреевич и поломал весь график, давая команды выполнять заказы на горящие объекты вне всякой очереди? На бумаге, вроде, все было хорошо, а на самом деле...

- Так ведь, Нил Андреевич... - начал было Веревкин, но тот, не дослушав его до конца, машет рукой. Повернулся к директору завода:

- Вот что. Немедленно начать делать заготовки для последних двух подъездов и сразу же отправлять на дом. Чтоб через неделю дом был готов! Ясно?!

- Ясно-то ясно, - говорит Григорий Иванович, - да вот только вентиляей-то на стояки нет. Как тут быть?

- Моисей Иванович! - Главный вопросительно смотрит на снабженца.

Моисей Иванович Кушнир - снабженец прирожденный. Сколько всего прошло через его руки за всю жизнь! И не снилось многим, что имел Моисей Иванович в свое время... На пенсии уже, а работает. Какой снабженец, скажите, уходит на пенсию? Ведь в том и весь смысл жизни - работать. Достать, чего не имеют другие, и чувствовать себя уверенно, имея уважение к самому себе.

- Было немножко. По вашей записке почти все Ивану Егоровичу выдали, - степенно, с достоинством говорит Кушнир.

- Сколько осталось?

- Да штук, может, полсотни найдется.

- Не хватит, - уточняет Григорий Иванович.

- Иван Егорович, отдайте сколько нужно, - повелевает главный инженер, и Тороп покорно соглашается:

- Хорошо. - Вид у него такой, что хоть и режут его без ножа, но ради дела он выручит. Чего уж там! Тороп всегда выручает. Это все знают.

- Ну как? Вы по-прежнему склонны считать, что дом нельзя сдать в этом квартале? - Главный инженер испытующе смотрит на Вербина. Тот твердо отвечает:

- Да. По-прежнему.

Нил Андреевич с досадой стукнул ребром ладони по столу. Управляющий исподлобья, тяжелым взглядом уставился на Вербина. Медленно выдавливая:

- Вы бросьте эти шуточки! А то... - По лицу Вербина пробегают тень, но он все так же спокоен. Тороп опять наклеил на свое лицо неуместную улыбку. И опять Роза Михайловна бросает на него быстрый взгляд, и улыбка словно смывается этим взглядом. Вот тебе и Тороп!

Сегодня Роза Михайловна на себя не похожа. Она настроена и молчит. Почему-то не обращается к ней и Нил Андреевич за помощью, чтобы она что-нибудь напомнила, уточнила.

Веровкин видит ее очень серьезное и красивое лицо, ее темные глаза, встревоженные и быстрые, ухоженные изящные руки, с пальцами тонкими и длинными, в которых нервно подрагивает авторучка. Вот она сидит почти напротив него, и никто не ведает, не знает, какая тайна связывает их.

Роза Михайловна... Роза...

Перед Новым годом в красном уголке убрали стулья и поставили елку. Перед праздником все пришли нарядные и от этого будто помолодевшие,

А вечером сели за стол.

Выпили шампанского, скованность исчезла, разругались лица, потекли разговоры, заиграла музыка...

Ёревкин сидел рядом с Розой Михайловной и каждый раз бросал удивленные взгляды на нее. Она была красива и в обычные дни, сейчас же, в длинном, плотно облегающем ее фигуру платье, она была не просто красива, она была прекрасна, и Веревкину все хотелось смотреть и смотреть на нее.

Мельком вспомнилась жена, как в тумане промелькнуло ее лицо, ни в коей мере не сравнимое с очаровательным лицом Розы Михайловны. И то ли от мимолетного воспоминанья, то ли от выпитого коньяка, он вдруг погрузился и сник. Приподнятое настроение, минуту назад владевшее им, схлынуло, как морская волна, обнажившая влажную скучную серость песка.

Роза Михайловна, шутливо болтавшая с ним о всяческих пустяках, подтрунивавшая с легким смешком над его чуточку неуклюжими ухаживаниями, в результате которых он едва было не опрокинул тарелку с салатом на ее колени, вскинула на него глаза. Смешинки уже не искрились в них. Они были серьезны, в их черноте он увидел бездонную притягивающую глубину, от которой тревожно и до боли сладко вздрогнуло сердце. Ощущение радости и приподнятости, покинувшее его, снова вернулось и разлилось приятной теплотой в груди.

- Пойдемте потанцуем, Олег Николаевич, - просто предложила она, и Веревкин в душе восхитился, как это у нее бесхитростно и естественно получилось.

Одна ее рука - на его плече, он не чувствует ее совсем. Кажется, она невесома, не касается его плеча, а парит над ним. Горячая ладонь другой лежит в его руке. Он слегка сжал ее пальцы, и они встрепенулись в ответ почти неуловимым движением.

Он не видит ее лица. Перед его глазами, совсем близко, с синей прожилкой висок и краешек тонкой брови, нос щекочут ее волосы, от которых струится тончайший, неземной, дурманящий запах, нигде раньше не слышанный Веревкиным.

И от всего этого тело его сковало, оно стало словно чужим. Руку его, лежащую на ее талии, слегка покалывало. Потом будто разряд тока пробежал по руке, и она вздрогнула. И этот разряд тока словно толкнул их обоих ближе друг к другу. Обе

ее руки лежали теперь на его плечах. У него перехватило дыхание.

Слегка отстранившись, Роза Михайловна слабо улыбнулась. Теперь он видел ее лицо так близко, как не видел еще никогда. Влажные губы со следами помады притягивали к себе, и он еле сдерживал себя, чтобы сейчас же, сию минуту, при всех не прикоснуться к ним своими губами. Только прикоснуться и больше ничего... Он на миг закрыл глаза, чтобы не видеть их, не поддаться искушению. Потом увидел, как она снова, без слов, улыбнулась ему, так же слабо, чуть приоткрыв рот, обнажая белую полоску блесневших зубов.

- Хорошо... - тихо промолвила она.

- Хорошо... - почти неслышно выдохнул Веревкин.

Что-то вокруг мелькало, гремело, играло, кто-то что-то говорил, но Веревкин видел лишь темные глаза и никак не мог распознать, какие же они, черные ли, карие ли. Видно, они были сразу и теми и другими...

Потом Роза Михайловна танцевала с другими. Веревкин тоже. За ней ухаживали наперебой, и от этого у него поднималось нехорошее глухое чувство ревности, на что он не имел ни малейшего права.

Ему никак не удавалось пригласить Розу Михайловну, его опережали, и он злился...

Когда ему все-таки удалось пригласить ее - это было к концу вечера, - она прошептала, касаясь губами его уха:

- Давайте убежим отсюда...

Она жила в маленьком домике на окраине города,

- Как видите, я домовладелица. Живу одна. Маму схоронила, - коротко пояснила Роза Михайловна, когда они подошли к ее дому.

Света они не зажигали, им было некогда. Бросились друг к другу, не тая своих желаний, жадно и поспешно...

- Ну вот, - сказала она буднично, без всякого выражения в голосе, - и вкусили мы плода запретного. - Затем игриво: - Ах, как нехорошо.

- Роза...

- Что? - высоко, почти фальцетом, бросила она слова в ухо, касаясь его губами.

Темноты в комнате не было. Свет, разлитый луной, отеснил ее в углы.

Платье, еще совсем недавно ладно сидевшее на Розе, подчеркивавшее красоту ее тела, висело на спинке стула, небрежно брошенное. Загадочности и таинственности уже не существовало. Все было просто и понятно. Волосы ее уже не пахли по-неземному, и Веревкин без удивления открыл, что пахли они французскими духами. Точно такими же, какие он подарил жене несколько лет назад, купив их по случаю в Москве в командировке, и за которые жена его пожурила (они стоили немало, но видно было, что в душе она довольна) и которые она берегла, лишь изредка, на праздники пользуясь ими,

Он взгляделся в лицо Розы. Провел по нему рукой, (будто не веря в его реальность. Красивое...

Она вздохнула. Он молчал.

- Что? - спросила она опять. Веревкин не ответил и на этот раз.

Было пусто, будто Веревкина прокололи, как воз-Душный шар, и он выпустил воздух, но еще не настолько, чтобы сморщиться - еще сохранялась объемная форма.

А где же то, что владело недавно и душой, и телом? Где же музыка и радость, голубая мягкая теплота кругом?

Стало грустно и тоскливо.

Она погладила его по щеке, но он не ощутил тепла ее ладони, в ней не было нежности - только движение. Ему было жалко себя, жалко Розу... Почему жалко? За что жалко? А кто его знает... Жалко... Не все ли равно почему? Все не так. Все не такое. Что происходит? Зачем?

Он вспомнил жену, и теперь обрадовался ее явившемуся образу, который не был сейчас тусклым, каждая черточка виделась ясно. Сожаление омрачило лицо жены. Почему «жены»? Ее ведь зовут Лариса. Да, Лариса... Он редко называет ее по имени. Просто - «ты», «она», «жена», а Ларисой - не часто. На ее лице уже улыбка, будто обращенная к ребенку, совершившему шалость: «Ну, что же ты? И что теперь с тобой делать?» Лицо исчезло. Смутно, беспокойно. Не спит сейчас Лариса, не спит...

Веревкин взглянул на часы.

Домой, домой!

Оделись поспешно.

Он взял ее за руки. Роза молчала, но он понимал, о чем говорят ее глаза: «Мы ошиблись с вами». Вслух сказала:

- Я хочу заочно окончить институт. Инженерно-строительный. Не поздно?

Он покачал головой: нет, не поздно. Спросил:

- Почему ты со мной на вы?

Она улыбнулась глазами: «Надо возвращаться к прежнему. Будем хорошими друзьями, а хорошие друзья, такие, как мы, друг с другом на вы». - «После того, что у нас было, не остаются просто хорошими друзьями. Так не бывает!» - «Бывает, все бывает. И у нас так будет. Олег... Ошиблись мы с тобой, приняли одно за другое и поспешили поверить в это. Ведь правда? Одним словом, Олег Николаевич, давайте забудем недоразумение, происшедшее с нами. Понимаю, так только говорят, ведь нельзя же в самом деле забыть. Так пусть останется в нас все хорошее, что было, и это хорошее будет залогом нашей дружбы. Ну, пусть будет не дружба, а ровные хорошие отношения. Но не надо связывать друг друга даже в мыслях. Только так это будет правильно. И пусть все останется маленькой тайной для нас обоих».

Он поразился всему, что она сказала одними глазами.

- Спасибо... Ты очень хорошая, Роза...

Она коснулась губами его губ, он почувствовал, как они сухи и чуть шершавы.

- До свидания...

Он обнял, прижал ее к себе.

- До свидания...

И будто не было этого вечера.

Дружбы, может, и не наладилось у Веревкина со своей подчиненной, но душевная близость была, вернее, было обоюдное уважение и понимание друг друга, какое редко случается при подобных обстоятельствах.

...Жена спала в ту ночь. Равнодушно, как ему показалось, восприняла его поздний, под утро, приход домой. Веревкину стало обидно за себя, что он ошибся в своих предположениях. А спала ли? Может, делала вид, что спит, а равнодушные - лишь

маскировка переживания? Да нет, чепуха... Вряд ли... Спала, спокойно... Почему она, собственно, не должна была спать в такой поздний час? Потому что его нет? Хм... Спала... А вообще, какая разница! Не все ли равно... Впрочем, эгоист он, и еще какой! Ну да черт с ним! Пускай... Не переделаешь...

- ...пожарное решение проблемы, напоминающее бесконечное латание дыр в ветхой одежде, которую давно пора заменить, что гораздо выгодней, нежели тратиться всякий раз на заплатки и нитки.- Голос Вербина вернул Веревкина к действительности, к присутствию на планерке.

- Что вы хотите этим сказать? -вкрадчиво спрашивает Нил Андреевич.

- Я прошу меня не перебивать. По-моему, планерки и собираются для того, чтобы выслушать мнение каждого и затем принять решение, а не заниматься дерганьем за язык.

- Вот как! Дерганье за язык! Ну, что ж, послушаем, послушаем вас, Юрий Анатольевич! Не будем перебивать. Давайте, как говорится, валяйте! Но потом уж будьте добры и нас послушать...

Вербин обводит всех взглядом:

- Товарищи! Я начал говорить о стопятидесятиквартирном доме, но, видимо, придется сказать не только об этом. Все-таки должно же подойти то время, когда надо говорить все, как есть. Вот обещают кровь из носа заготовки для отопления сделать в кратчайшее время, и через неделю чтоб с отоплением в доме было покончено. Выясняется - нет вентиляей, а снабженцы заявляют, что у них с полсотни имеется. И это для треста! Пятьдесят вентиляей! Да о таком количестве речь должна вестись на уровне мастера, ну, в крайнем случае, прораба! А мы здесь, начальники управлений, главные инженеры, руководство треста, вместо решения основных вопросов погрязли в мелочах, занимаемся вентилями, сгонами, контргайками, чуть ли не каждый болт рассматриваем, решая кому ж его отдать. Почему же это так? Все мы жалуемся на плохое снабжение. Никто не отрицает - трудности есть и немалые. Но такие уж они неразрешимые, как представляется нам иной раз?

Нилу Андреевичу так и хочется перебить Вербина, однако он держит свое слово. Все, только что сидевшие со скучаю-

щим видом, сейчас внимательно слушают начальника второго управления. Что-то он издали начал, что хочет дальше сказать? Видно, серьезно собрался говорить. Интересно, интересно...

- Возьмем опять дом. Заготовки вовремя не сделали потому, что надо было срочно сдавать поликлинику и все внимание обратили на нее. А до этого и на поликлинике была тишь да благодать. Теперь вот дом стал авральным. А остальные объекты подождут. Так получается? И все только потому, что не соблюдается и не контролируется график производственных работ, который висит в тресте в ПТО и который с самого начала является никому не нужной бумажкой. ставлялся он так - для галочки. Без всякой увязки сроков сдачи объектов. Вот и полная неразбериха. А ПТО во главе с Веревкиным смотрит на все сквозь пальцы. Да кроме всего прочего Нил Андреевич сам дает распоряжения, игнорируя ПТО. А там и рады стараться. Как говорится, баба с возу - кобыле легче! Раз Нил Андреевич дал распоряжение, то Веревкин-то тут причем?! Хорошо. Ни плана тебе, ни ответственности. Поймите, товарищи, ПТО - это штаб. А со штабом надо считаться. Он, если хотите, должен давать нам своего рода стратегические вводные, на которых должна строиться вся наша работа. А что сейчас? По сути дела - ничего. Что есть этот отдел, что нет - все одно. Нет материалов? Да, нет. Но у Торопа есть. Почему? Да потому, что по дружбе Моисей Иванович выдает своему приятелю все, что тот ни попросит. Вот и хватает Тороп на всякий случай про запас со склада все, что только можно взять. Григорий Иванович так же, впрок, делает Торопу заготовки. Вот тут принимается решение - сдать дом во что бы то ни стало. Реально? Я говорю - нет. Кроме отопления, в двух подъездах не подключены к канализации санприборы. Нет сифонов. Внутренний водопровод не закончен - опять-таки нет полдюймовых вентилей. А ведь на каждую квартиру их надо три штуки. Открою секрет - все недостающее, что я перечислил, опять-таки есть на складах у Торопа. Да, да! Есть! Скажете: -аи да Тороп, аи да молодец! Все у него есть! И ведь выручает в трудную минуту, дает! Делится, как говорится, по-братски! Но ведь не по-братски. Это - похамски. Это, если хотите, похоже на вредительство!

Тороп вскакивает с места. Лицо его перекошено:

- Вы ответите за свои слова!

Управляющий машет рукой: «Сядь!» Жест этот выражает примерно следующее: «Подожди, посмотрим, что будет дальше». И Тороп садится. Весь багровый, он лихорадочно вытаскивает записную книжку и авторучку, что-то пишет. Вербин невозмутим:

- Отвечу. Отвечу. Не беспокойтесь. - Продолжает: - Про эти чудеса все прекрасно знают. Молчат. Скажешь, да вдруг не впопад! Что тогда? Стоит ли навлекать на себя гнев того, кто делает погоду в тресте... Уж как-нибудь молчком. Вот и получается совсем неприглядная картина. Сильный рассуждает так: «Что хочу, то и ворочу!» И все сходит ему с рук. Если бы весь тот материал и оборудование, что лежит у Торопа на складах про запас, распределить по управлениям, то уж точно - такой лихорадки со снабжением, какая она есть сейчас, не было бы. И вообще ее не было, если бы распределяло поставку материалов и знало потребность в них наше уважаемое ПТО, которое устранилось, правда, не без помощи Нила Андреевича, почти от всяких дел. Такая неразбериха на руку Моисею Ивановичу. Как говорится, в мутной воде и рыбку можно поймать. Без дефицита он не привык жить.

- Да что же это такое? Что он говорит? - не выдерживает Кушнир. Тороп тоже поддерживает его и требует, чтоб Вербину не давали дальше говорить: «Это клевета!» Но ни управляющий, ни главный инженер не произносят ни слова. Они, похоже, растеряны.

А Вербин, несмотря ни на что, продолжает:

- Главный инженер треста работает по принципу: день прошел и ладно. Такой стиль руководства лишь дезорганизует работу. И печально, что Нил Андреевич не понял этого до сих пор.

- Ты что, судья нам? - приходит в себя Нил Андреевич. - Какое ты право имеешь так говорить! Лить грязь! Да понимаешь ли ты, чем это может для тебя кончиться? Кто ты сам есть? Кто? - Дальше уже он не может сдержаться себя: - Чистоплюй!

Роза Михайловна бледнеет и закусывает губу.

- Я не судья, но оскорблять и рот мне закрываювам никто не давал права. - Голос Вербина дрожит. Кто-то закурил, но на это не обратили внимания. Управляющий прежде не позволял курить в его кабинете. Даже Нилу Андреевичу. - Далее. Наш управляющий - тот вообще неизвестно какую роль играет в тресте. Вся его деятельность сводится к тому, чтобы стучать на совещаниях карандашом по графину.

Гул голосов. Может, это слишком? Ну дает! Ну дает! Смело, ничего не скажешь! Что-то будет дальше...

- Прекратите!!! - взвизывает из кресла управляющий.

- Нет, уж выслушайте до конца, - Вербин не замолкает. - Своей бездейтельностью руководство треста у многих обрубил инициативу и желание работать нормально. Вот взять, к примеру, Веревкина. Ведь знающий, грамотный инженер, а плывет по течению. Нет, так нельзя! Можете обо мне сказать: «А что же ты? Выискался правдолюбец! Сам бы с себя первого начал! Видали мы таких!» Скажу я вам так: не снимаю и с себя вины за упущения, и готов отвечать за них. Но молчать не буду. Не могу молчать. Я колебался, прежде чем сказать все то, что сказал сейчас здесь. И не хотел говорить сегодня, но так уж получилось... Понимаю, у некоторых сейчас ко мне нечто большее, нежели антипатия, и они бы желали, чтобы я ушел подобру-поздорову от греха подальше. Но я говорю здесь при всех: уходить я не собираюсь. И еще - я пока не написал, но напишу докладную в главк о делах в тресте. Пусть создадут компетентную комиссию и сделают должные выводы. Вот так. Тишина.

- А почему же вы, Юрий Анатольевич, не обратились в партийную организацию треста? - вкрадчиво задал вопрос начальник сметно-договорного отдела Дягилев, обычно всегда молчавший.

- Почему не обратился? Гм... Может, это и не ответ, но скажу. Потому, что секретарем партбюро являетесь вы, Дмитрий Петрович.

- Ясно, ясно... - неопределенно протянул Дягилев, выслушав ответ Вербина. И непонятно было, что же ему все-таки ясно.

Управляющий вертел в руках карандаш, Нил Андреевич барабанил пальцами по столу, они переглянулись - надо было

кому-то говорить. Но кому первому начать и что именно говорить, ни тот, ни другой не знали и молчали. Молчали все.

Постояв, Вербин сел.

Так что же дальше? Как дальше идти планерке? И возможно ли ее продолжать? Ну и Вербин... Кто бы мог подумать... Понятно, он говорил всегда открыто. Но так! Все собрал! Сгустил - дальше некуда. А что, собственно, сгустил? Что сказал неправильно? Возможно ли найти слова, способные зачеркнуть все сказанное Вербиным, и кто это сделает? Кто сможет? Никто... Понятно. С Вербиным надо разговаривать другим языком. Небезгрешен, поди, сам, легко и ногу можно подвернуть... И впрямь, ведь трест валится, мнимое благополучие призрачно. Тонко и непрочно. Сколько выдержит? Долго - нет. Прав Вербин, прав, подхватило течение многих, подхватило... Так что прикажете делать? Против течения барахтаться? Не мудрено и утонуть. Лучше уж плыть да быть живу. А доколе же плыть и где пристать? На авось надеяться? Что-то будет, обязательно будет... Лопнул пузырь, обдало всех. Надо отряхиваться.

Мысли разных людей витали в кабинете, как рой мух, сталкивались, отталкивались, и не было в их движении ни законченности, ни намека на последовательность.

Вережкин был изумлен. Он бы так не смог, не решился. Нет, не струсил бы - просто не смог. Не смог бы быть спокойным до конца, не вытерпел бы, сорвался, закричал, и все бы пошло насмарку. Лихо он, лихо, И его, Вережкина, зацепил. Правильно... Так оно и есть. Но вот беда, все надоело. Надоело - и все! А что было бы, стань он моряком? О! Был бы уже, поди, на худший случай, каким-нибудь вторым, а то и первым помощником капитана, может, и капитаном. Мечтай, мечтай, как мальчишка... Ну и что с того, разве плохо? Стоял бы на мостике в белоснежном кителе, золотом расшитом. Повелитель корабля! И власть и закон в едином лице. Смог бы? Эх! Еще как бы смог! Был бы совсем не таким, как сейчас... Не таким? А каким же? Ай-ай-ай! Какое самомнение! Нет, не надо таких мыслей. Прочь. Мечты юности остались в юности... Разве можно так легкомысленно рассуждать в его то годы. Очень несерьезно и несолидно. Солидность... Вереж-

кин не может терпеть самого этого слова. О чем он думает? Странно, очень странно... Мысли уходят куда-то в сторону. Планерка-то как сегодня обернулась! А?

Перед самым перерывом на обед Роза Михайловна неожиданно сказала Веревкину.

- Олег Николаевич, что теперь будет?

- В смысле? - не понял ее Веревкин.

- Что будет с Вербиным? - Он опять не сразу понял вопрос, поняв же, засмеялся, но тотчас смолк.- Что будет? А что будет: сдастся мне, станет он не иначе, как главным инженером треста. Это по меньшей мере.

- Шутите?

- Какие шутки! Никак нет. Силен мужик! Силен! Сейчас обычно любят анонимки кропать. А чтоб так, как он!.. К тому же и предупредил, что будет писать в главк. Поджентльменски, ничего не скажешь! Лихо он разделал дедов. Лихо... Теперь держись, Вербин! За здорово живешь старички не сдадутся. Пока суд да дело, до комиссии, ежели такая и приедет, устроят они ему развеселую жизнь. Может, и полетит Вербин под фанфары и никакие докладные ему не помогут. Разве он первый и последний?..

Роза Михайловна села за свой стол. В отделе они остались вдвоем. Остальные уже ушли.

- Вы не обедаете?

- Нет, Олег Николаевич. Что-то не хочется.

- Жаль, конечно, если скушают они Вербина. Мужик он правильный. Хотя я лично не совсем его понимаю.

- Скушают?

- Скушают, скушают. А что им остается делать? Только кушать. Если только зубы не обломают. А могут... И еще как могут...

- Да?

- Конечно...

- Вы-то как?

- Что как?

- Ну, за Вербина или...

Вопрос поставлен прямо. Веревкин никогда чересчур не осторожничал, но и на рожон тоже не лез. Часто занимал по-

зицию выжидания и в душе был противен себе за это. Сейчас не стал раздумывать, как отвечать. Сказал правду, но все-таки довольно расплывчато:

- Вербин мне больше нравится... Пожалуй, я все-таки пойду пообедаю.

Обедать ему не хотелось. Ему хотелось побыть одному.

Молодец Роза Михайловна. Таких женщин раз-два и обчелся. Вот так-то... Даже в мыслях он теперь не называет ее Розой. Не было, ничего не было. Обычные отношения сослуживцев. Как далек тот предновогодний вечер... Минул и еще один... Все-таки хорошо. Да, хорошо...

Тот случай, толкнувший ее и Веревкина друг к другу, так и остался единственным, и она вполне могла его объяснить. По крайней мере, она понимала себя. Она была одна. Красивая и молодая. Долго ли можно держать в себе то женское, что должно одарить дорогого и близкого человека! Где тот человек, сколько его ждать? Всю ли жизнь, короткий ли миг? И был вечер, и был Веревкин... Она хотела ласки, жаждала ее, нетерпение было выше ее сил, и она не сопротивлялась своему желанию. То был обман, они оба это знали, но шли на него, не сумели остановить себя. После же сделали все так, чтоб не было больно обоим, и это им удалось. Не было того вечера для нее. Не было того вечера для него.

Она, отвергавшая в свое время столько предложений, теперь хотела замуж, и Вербин, полулысый Вербин, вдовец, с почти взрослой дочерью, овладел ее мыслями. «Господи! Да я ведь влюбилась! На что он мне, на что?»

Сегодня Роза Михайловна окончательно поняла: она Вербина любит. И это признание самой себе вдруг влило в нее что-то новое, не испытанное еще ею, в ней открылась женская мудрость, какая приходит только в свой час, всколыхнулось и безрассудство, тоже живущее в каждой женщине и какое надлежит держать в постоянном смирении, ибо, вырвавшись на волю, оно приносит потом только горькое сожаление.

Все, что было в ней сейчас, настраивало ее на желание быть матерью, женой. Пусть запоздалое... И уже страх за близкого, любимого, мысли о том, чтоб как-то обезопасить, защитить его, владели ею. Вербин, Вербин...

У каждого своя судьба...

Странное дело, сейчас Веревкин почти не думал о такой острой планерке. Довели ее до конца формально. Ничего уже не решали. Все понимали: слова, сказанные Вербиным, не просто слова. Так, как было, уже не будет. Но как будет, никто не решился бы предугадать.

И управляющий, и главный инженер, конечно же, сделали соответствующие выводы. Теперь задача - найти достаточные аргументы, какие необходимо противопоставить всему сказанному Вербиным, и таким образом, чтобы он сам понял, насколько он не прав, а поняв, был бы вынужден сожалеть о поспешном своем выступлении. Но как все сделать? И не откладывая, быстрее. Иначе будет поздно. Уйдет докладная в главк - и комиссии уже не будут нужны аргументы. Надо что-то делать! Но что?

Мыслей же об объективности выступления Вербина, тем более, хотя бы намек на самокритичность ни у управляющего, ни у главного инженера не возникало. Такие мысли в данной ситуации показались бы просто неуместными. При других, более или менее спокойных обстоятельствах, конечно же, можно и посозерцать себя со стороны, ну и, естественно, принародно, при всех покритиковать. Но сейчас не до этого. У них уже не было единения, как быть, что делать. Каждый про себя упрекал другого, что именно его действия и повлекли тот результат, какой они получили сегодня. Свои же действия каждый из них если не оправдывал, то по крайней мере, уж никак не осуждал. Да и кому, если честно, себя приятно осуждать? И кто это сейчас делает? Да и за что? Совсем еще зеленые, молоко на губах не обсохло, а туда же! Нет! Чьими руками, на чьих плечах вынесено все? Готовенькое им нравится! Нет, надо что-то решать... Решать! Решать! Решать!

А Тороп, а Кушнир? Они-то спокойны? О чем думать-гадать им? Стоит ли волноваться? Пусть, пусть помыслят и они... Поскребнут, почешут затылки - может, и придет что путное в голову.

Никто не спокоен, никто не равнодушен. Даже молоденькая девчушка в бухгалтерии округлила глаза: «Надо же! А?»

Что - «а»? Кому - «а»?

Закрутилось, завертелось! А посмотреть, так вроде все, как и раньше, никакого движения. Но это только вроде!

Кто прав, кто виноват... Ну, а кто кого? Трудная задача...

...В сквере, неподалеку от треста, куда почти в каждый перерыв приходил Веревкин, воздух был наполнен запахом бензина и выхлопных газов от проносившихся по близлежащей трассе автомобилей. Найдешь ли сейчас место, где в воздухе не пахло бы бензином или еще чем-либо?

В сквере есть тень, есть скамейка, где можно посидеть одному; здесь никто тебя не знает и можно отдаться полностью своим мыслям, которые, бывает, то налетают роем, то реденькими точками помелькают и тут же исчезнут.

Сегодня не думалось. Голова была, как стеклянный шар, чисто вымытый и совершенно пустой.

Нет, все-таки что-то замельтешило. Сейчас, сейчас оно само себя выдаст. Надо немножко только подождать. Не спеша закурить и, лениво смакуя, пускать дым.

Эх, хорошо на свете жить! Иногда... Вот так сидеть и бездумно в небо глядеть! Интересно, сколько так можно просидеть, долго ли?

Проносились мимо сквера автомобили, проходили по аллее редкие прохожие - пенсионеры с детьми или же работающие в другую смену, или просто болтающиеся...

Прошли пионеры нестройной гурьбой. С ними пионервожатая, пытающаяся навести порядок и построить своих подопечных в колонну, что ей, однако, никак не удавалось сделать.

Вот они поравнялись с Веревкиным, и пионервожатая почему-то покраснела, смутилась, случайно встретившись с ним взглядом. Была она некрасивой и нескладной. На худом длинном лице только и выделялись остренький птичий носик и несуразно большие очки.

Веревкин вдруг вспомнил Клавдию Петровну - свою первую учительницу. Воспоминание было таким осязаемым и ярким, как дневной солнечный свет, что он поразился почти реальным картинам, всплывшим сейчас в его памяти. И опять больно кольнуло в груди.

Уже много лет он ни разу не вспомнил о своей первой учительнице. Первый раз пришел маленький Олег в школу, первый раз тогда же вошла учительницей в класс Клавдия Петровна. Она была такая же, как вот эта пионервожатая. И такая же некрасивая. И тоже в очках. Она учила Веревкина с первого по четвертый класс. И пусть кто бы посмел сказать им тогда что-нибудь нехорошее о Клавдии Петровне! Они бы выпарапали тому глаза! Любили очень свою учительницу. Хотя случалось, до слез доводили, но любили. Любила и она их. Учась в старших классах, они все равно приходили к ней. Закончив десятый, они пришли к ней последний раз все вместе. Попрощаться. Она засуетилась, разволновалась и вдруг заплакала. Они притихли и не знали что делать, как успокоить ее. Не вытирая слез, она улыбалась, глаза ее были влажны, однако искрились радостью. Она сказала им, что плачет от радости, глядя на них. «Ведь вы у меня, ребятки, первые, окончившие десять классов. Понимаете! Первые...» И в этот момент она была такой красивой!

Уже окончив институт, он приехал как-то в отпуск и встретил ее случайно на улице.

- Ой, Олег! Ты ли это?-обрадовалась она, не сразу и узнав его. - Какой ты стал... красивый! Да, да, не маши руками! Я тебе правду говорю. Ну как ты?

Он спешил куда-то, и они, перебросившись лишь несколькими словами, не поговорили толком. Веревкин обещал непременно к ней зайти и уж как следует наговориться.

- Я очень буду ждать, Олег. Приходи...

Он так и не зашел тогда к ней.

Чувство неисправимой вины всколыхнулось в нем.. Надо написать, объяснить ей все! Она поймет. Но куда писать? Адреса ее он не помнил. И стоит ли теперь уж... Столько лет прошло... Да, поди, и забыла она, кто та-кой Олег Веревкин. Мало ли было у нее учеников за столько лет. Забыла ли?..

Нехорошо... Как нехорошо...

Перед ним сидел сейчас словно не он сам, а кто-то другой. Веревкин - только другой. И этот другой был ясно виден со всех сторон, со своими многочисленными недостатками, явными и скрытыми. Боже, неужели это он? Не хотелось в это верить, но ведь это так! И никуда не денешься.

Ему всегда было некогда, да и не было желания копать в глубинах собственной души, в каких-то скрытых от глаз тайниках, чтобы выяснить настоящую суть. Пусть другие о тайнах души говорят, рассуждают, мыслят философскими категориями, он же все понимал гораздо проще, без выкрутасов. Что достижимо, то и должно быть достигнуто, что доступно, то и твое. И у каждого своя вершина.

Хоть и потускнели в нем те юношеские, порой расплывчатые, порой категорично очерченные, надуманные постулаты, все-таки привычка воспринимать многое по чисто внешнему признаку так и осталась неизменной в его характере. Именно она во многом руководила его действиями и поступками. И сколько раз уже это его подводило, однако ничему пока не научило.

Но полноте, Веревкин! Уж так ли непривлекателен ты, обрисованный сам собой? Краски любят тени. А без теней, как известно, нет контрастности.

Опять не то... Мелешь чепуху и сам не знаешь про что. И мысли, дробящиеся, не законченные, разлетаются, как небрежно брошенная горсть песка.

Откуда-то приходит безразличие, апатия... Приходит, не спрашивая на то дозволения. И не прогонишь таких гостей, не отмахнешься.

Однажды поехали они к родственникам жены в село и попали на свадьбу.

Три дня изрядно пришлось Веревкину пить. Поначалу утром потчевали, как «городского», магазинной водкой. Потом за милую душу пошла и бражка. Каждое утро повторялась одна и та же картина! Веревкин с омерзением брал стакан и тут же отставлял его в сторону. Душу выворачивало наизнанку от одного только его вида.

Ну, ничего, брат. Эт поначалу. А потом она пойдет, милая! Ноготочкой не царапнет в горле, - успокаивали его мужики и удивлялись искренне, отчего у него болит по утрам голова и такие нелады с первым стаканом.

По мне, так хошь ночью разбуди и поднеси стаканчик-выпью, не крикну, - говорил Васька Прохоров, как выяснилось, одногодок Веревкина, однако по виду гораздо старший, с лицом задубевшим и порядочно уже сморщенным.

- Интеллигенция... Стопариками привыкли употреблять. Бутылочку пять раз разливают на двоих, пока выпьют. А что ее разливать, когда два стакана налил и дело с концом! От того-то и голова у них болит! Непривычные...

Как ни отказывался Веревкин, его и слушать не хотели. И, содрогаясь от отвращения, он кое-как выпивал водку. Из глаз катились слезы, мужчины хвалили его, будто совершил он нечто выдающееся, и наперебой подносили закуску. От такого внимания Веревкину было приятно, и уже второй стакан он выпивал с меньшими муками. А потом мук и вовсе не было.

- Да что уж ты столько пьешь! - упрекала его жена, на что Веревкин отвечал:

- А что я могу? Они и мертвого споят. Действительно. Со всем отказываться тоже вроде нельзя - обидятся. Который уж день гуляла-веселилась свадьба.

Приезжал председатель, пробовал кое-кого вытащить на работу.

- Что ты волнуешься, Тимофеич! Да мы! Вот отгуляем свадьбу и наверстаем все как есть! А то и наперед можем. Точно! - уверяли председателя подвыпившие мужики и тянули его за стол.

На четвертую ночь уже под утро Веревкин подскочил с кровати и, размахивая руками, что-то бессвязно забормotal.

- Господи! Да что ты? - испуганно тормозила его проснувшаяся жена.

- Лягушка... Зеленая лягушка... - «еле разобрала она слова мужа.

- Какая лягушка? Очнись!

- Фу ты! - Веревкин пришел в себя. Жена с беспокойством трогала его голову. - Ладно, перестань. Приснилось...

- Что приснилось? Про лягушку какую-то болтал.

- Она и приснилась, будь неладна!

- Ну все! Завтра - шабаш! Ни грамма! - заключила жена. - Лягушки уже начали мерещиться. Дня через два, глядишь, и черти заявятся.

- Да ладно. Брось...

Утром Веревкин жалобно сказал:

- Не могу, мужики! Понимаете, не могу.

Они молча переглянулись. Когда же жена подошла и сказала: «Он не будет», на удивление легко согласились:

- Стало быть, и вправду не будешь, - и уже больше не приставали.

У Веревкина были вовсе не галлюцинации. Ему действительно приснилась лягушка, обыкновенная зеленая лягушка, какие водятся в речках, болотах и лужах и какие летними вечерами устраивают многоголосые концерты.

Когда-то в детстве мальчишки ловили таких лягушек и, надув их через соломинку, бросали в речку. Лягушки, беспомощно дрыгая лапками, пытались нырнуть, а мальчишки, хватаясь за животы от смеха, стреляли в них из рогаток кусочками чугуна, наколотого специально для этих целей из старых сковородок. После попадания, несколько раз дернувшись, лягушка безжизненно, вытягивала лапки. Наперебой спорили, кто же оказывался таким метким.

В один из дней, когда, уже вдоволь накупавшись и настрелявшись из рогаток по лягушкам, уходили домой, Веревкин поотстал и, идя по берегу, чуть было не наступил на лягушку. Она не прыгнула. Веревкин взял ее в руки и ощутил пробежавшую по маленькому холодному тельцу дрожь. Это была одна из лягушек, чудом спасшаяся после того, как ее надули и расстреливали из рогатки. Воздух из нее уже вышел. Все-таки в нее попали. Кусочек металла вскользь зацепил один глаз, на его месте была маленькая ранка, перебил заднюю лапку. Лягушка лежала на ладони Веревкина, безжизненно свесив перебитую лапку, и тоскливо смотрела на него единственным глазом, ожидая своей участи. Ее жалкий разбитый вид выдавал в ней полную покорность, она уже не ждала ничего другого от этого большого живого существа, державшего ее на ладони, кроме смерти. Время от времени по ней пробегала волна дрожи, и, казалось, этим она пытается сказать человеку, чтобы он не мучил ее, не издевался, а убил сразу. Из глаз Веревкина закапали слезы. Держа обеими руками беспомощную лягушку, бережно прижимая ее к груди, чтобы не выронить, он быстро побежал домой. Дома уткнулся в бабушкин подол и расплакался еще пуще. Бабушка, глядя

внука по голове, не сразу поняла в чем дело, а когда поняла, то они вместе стали врачевать раненую лягушку. Ранку на голове бабушка смазала овечьим жиром, а на лапку были наложены шины из двух палочек. Лягушка терпела все процедуры, не пытаясь прыгнуть.

- Кто же ее так, сердешную! Ай-ай-ай! - сокрушалась бабушка, а внук в ответ на это только шмыгал носом.

Несколько дней лягушка сидела в большой кастрюле в погребе, не двигаясь с места, не прикасаясь ни к мошкам, которых наловил Веревкин, ни к воде, налитой в маленькое блюдце. И уже подумали - умрет. Но она выжила и вскоре с удовольствием плавала в большом деревянном корыте, куда посадили ее, натянув сверху тюль, чтобы не выскочила. На дощечке, плававшей в корыте, лягушка отдыхала. Перебитая лапка срослась, но полностью не сгибалась и не прижималась к туловищу. Когда лягушка прыгала, получалось это у нее на один бок.

Вечером Моську - так называли лягушку - выпускали попрыгать по двору и всей семьей наблюдали за ней. Моська очень быстро освоилась и ловила летевших на свет мотыльков.

А однажды перед дождем она робко квакнула в своем корыте, подождала немного и заквакала уже во весь голос, перекликаясь с лягушачьим хором, доносившимся с реки, радостно приветствуя приближение теплого летнего дождя.

В то лето умерла бабушка и во время похорон было не до Моськи. Когда же после кинулись, лягушки нигде не было. Видно, оставленная без внимания, выбралась из корыта и попрыгала к своей родной речке. Куда же ей еще прыгать?

На речку Веревкин долго не ходил, а когда пошел, то маленьким зверьком вцепился в Сережку Турова, предложившего затеять Давнишнее развлечение - Надувать лягушек и потом стрелять по ним из рогаток. Сережка был старше и сильней, но никак не мог оторвать от себя Веревкина. Наконец, он его отшвырнул и вытащил рогатку. Веревкин опять бросился к Турову:

- Не смей! Не дам стрелять лягушек! - Туров ударил Веревкина, и у того из носа закапала кровь. Но Веревкин не за-

плакал, молча полез драться. С остервенением укусил Сережку за руку.

- Ах ты, лягушатник! Да я тебе сейчас всю сопатку искро-вяню... - угрожающе зашипел Туров, обхватив одной рукою шею Веревкина, другой пытаюсь ударить его по лицу.

Пацаны, до этого не двигавшиеся с места, угрожающе подступили к Турову, и он струсил, отпустил Веревкина и бросился бежать. Отбежав на сотню метров, остановился и заорал:

- Теперь не попадайся, лягушатник! - И по-взрослому грязно выругался. Веревкин молчал, размазывая по лицу кровь.

- Ты не бойся, Олег. Пошли умоешься...

Вмиг пал авторитет Сережки Турова, еще несколько минут назад верховодившего мальчишками.

И вот в хмельном тяжелом сне Монька явилась Веревкину большой-пребольшой. Он узнал ее и закричал: «Монька, это я!» Но лягушка мрачно сверкнула единственным глазом и стала огромной массой надвигаться на него. Веревкин в страхе схватился за голову. Вот тогда-то он и подскочил с постели, испугав жену.

Как странно, что, пусть даже во сне, Монька угрожала своему спасителю.

Сейчас, сидя в сквере, он вдруг спросил себя: «А почему бы и нет...» Стало ясным, почему такое могло присниться. Ведь кусочек чугуна, искалечивший лягушку, мог быть выпущен из его, Веревкина, рогатки.

Впрочем, все это чепуха! И вообще, в голове сегодня какая-то несуразная мешанина. Черт-те что в мозгах крутится!

Веревкин вдруг вспомнил, как жена частенько говорила:

- И зачем, Веревкин, я только за тебя замуж вышла! - И хмыкала неопределенно.

Шутит она, понятно. А интересно, вышла бы за него, зная его достаточно хорошо? И впрямь, как бы она поступила?

Теперь-то уж что говорить об этом. Жалей, не жалей, а дело сделано и живут уже ой-ей-ей сколько лет! Димку на-

жили. Надо бы еще, да уже как-то вроде и поздновато, боязно. Все откладывали - потом, успеется, а годы - они не ждут, мелькают мимо, только успевай считать. Да, может, так-то оно и лучше? С одним спокойнее. Мода сейчас - иметь одного ребенка. Ну и мода, черт бы ее побрал! С такой модой и люди, глядишь, на земле переведутся. Выходит, и они с Ларисой тоже модные в этом деле...

Раньше рожали сколько бог даст, не задумывались даже, хорошо ли это, плохо ли. Сейчас же: то условий нет, то для себя пожить хочется, то еще что-нибудь, то да се, сто причин и отговорок находится в оправдание.

Но как бы она все-таки поступила? Хоть и шутила жена, а знать, мелькало у нее, может быть, даже сожаление за свой шаг много лет назад, совершенный без раздумий, без колебаний. И Веревкин временами ощущал в себе смутное чувство вины. Очень даже возможно - обманулась она в своих мечтах, не нашла в нем того, чего желала, о чем мечтает каждая женщина. Померкли, потеряли свой цвет краски наивной юности. Но кто находит свою мечту? Разве такое часто бывает? Может, и есть баловни судьбы, но Веревкин пока не встречал таких, довольных всем. Впрочем, все нормально. Так и должно быть. Юность склонна витать в розовых облаках, зрелость же предрасположена больше к реальности. Что ж, а посожалеть, посомневаться, покрутить варианты туда-сюда, хоть назад, хоть вперед - полезно, даже нужно. Это игра каждого зрелого человека, игра в одиночку, и другим про ту игру не дано знать, не принято в ней признаваться. А задуматься и сделать кое-какие выводы она заставят, хочешь не хочешь, и нередко такие, после чего ломается многое, казалось, устоявшееся навсегда.

Тогда, после свадьбы, они каждый день открывали друг в друге новое и, расставаясь днем, ждали с нетерпением вечера. Так влюбленные ждут свиданий. У них до свадьбы свиданий было мало - поженились через две недели после знакомства.

Конечно же, они понравились друг другу с первого взгляда. В ней он увидел прежде всего женскую красоту. Ее красота, конечно же, не была идеальной, как ничего не бывает идеального в этом мире. Понимание этого пришло значительно позже. В свою очередь и она увидела в нем многое, что вовсе

не возвышало его в ее глазах. Но как бы то ни было, можно с уверенностью сказать, что они любили друг друга, и первые годы их супружеской жизни были полны всего того, без чего немислимы отношения двух любящих людей.

Текло время, подрастал сын, и в заботах и суете постепенно утрачивалось многое. На то оно и время - что-то уносит безвозвратно, что-то новое приносит. Не та стала она, не тот стал он. А жили нормально, наверное, как все.

Изредка стало проскальзывать в ней:

- Какой-то инертный ты стал, Олег... А? Или, может, мне так кажется...

Он ей не отвечал. Да она и не ждала ответа.

«Не такой и ты стала, Лариса. Не такой...» - думал он.

А какие они должны быть? Какие? Трудно ответить на этот вопрос. Еще как трудно...

«Ба! Да уже пора!» - взглянул на часы Веревкин. Перерыв заканчивался.

В вестибюле треста дым стоял коромыслом. Все ясно, обсуждают перипетии планерки. Так сказать, продолжение ее в неофициальном кругу. Хотел пройти мимо, но его уже звали:

- Веревкин! Олег Николаевич, ну-ка, иди подыми с нами!

Он подошел.

- Ну что скажешь, Олег Николаевич? - с хитрецей, прищурился один глаз, неопределенно спросил Дягилев.

«Ишь ты, разговорился. То бирюком ходит, слова не вытянешь из него, а тут - пожалуйста», - подумал Веревкин. Ответил вопросом:

- А что я должен сказать? - Тоже прищурил глаза

Гляди на него! Ему нечего сказать! Аи-аи! - притворно удивился главный энергетик Турчанинов Серафим Владимирович, который каждый день выпивал в одиночку. Где и когда успевал он это делать, никто не знал. После обеда Турчанинов был уже обычно на взводе и тогда любил пофилософствовать. «Разговоры ни о чем» - так называли его рассуждения, в которых была малопонятная словесная мешанина. Специалист же он был неплохой, потому его терпели. Получив очередную взбучку, он три дня бывал трезв, а на четвертый опять затевал «разговоры ни о чем».

«Уже успел хлебнуть», - вяло подумал Веревкин.

Правда, всего чуть-чуть, но и по тебе прошелся Вербин... - с какой-то кошачьей осторожностью начал Тишин - кругленький лысенький толстячок, начальник планового отдела, у которого в отделе никак не приживались сотрудники. Больше года не работали, увольнялись. А Тишин все работал и работал.

- Что с того что прошелся? - сказал Веревкин. Добавил: - Все правильно.

- Ты считаешь, правильно? - удивился Дягилев. - Выходит, тебе понравилась выходка Вербина? Ты считаешь, что... - Не дослушав до конца, Веревкин перебил Дягилева:

- Нравится, не нравится... Задел меня Вербин, считаю правильно. Давно пора. Затаились все, как лягушки в болоте, и квакнуть боимся.

Такой прямоты от него не ожидали. Разговаривали, острожничали, все вокруг да около ходили, мало ли что... А Веревкин продолжил, будто хотел, чтоб в отношении его никаких сомнений не оставалось:

- Вербин не подарок, но он прав. Так что скажу я вам: если дело дойдет до комиссии, я лично буду говорить правду. Замазывать ничего не собираюсь. - Пошел было, но остановился, обернулся: - Шефам можете доложить про такого-сякого Веревкина. - Посмотрел на Тишина. Тот часто заморгал.

Провожаемый молчанием, Веревкин поднялся на второй этаж к себе в отдел.

Может, и не надо было так прямо? На кой ляд они сдались! Но, впрочем, правильно. Выпытывают, вынюхивают... Черт с ними! Сковырнут - работу найти не проблема! Была бы шея - ярмо найдется. В стране, слава богу, безработицы нет.

Он взял в руки карандаш. Пальцы дрожали. «Нервишки, брат. Нервишки... Ничего... Не так-то легко им будет. Как-никак я начальник ПТО, а не какая-нибудь безропотная девица. Ничего... Главное, Олег Николаевич, не психовать. Так-то...»

Вот и всколыхнулось болото, нарушилась тишь да благодать. Хочешь квакай, а хочешь притаись и жди. Заквакают все хором, тогда и тебе можно квакнуть-поддакнуть. Совсем

молчать - тоже нельзя. Немых в хоре не держат. Нет голоса, все равно делай вид, что квакаешь, то бишь поешь - раскрывай рот. Пока то да се, разберутся, что ты безголосый, смотришь, и песня кончилась. Живи себе опять спокойно до следующей спевки.

- Да, Роза Михайловна...

- Что, Олег Николаевич?

- Вы мне что-то сказали? - Странно, странно. Она ничего не говорила. Она молчала. Ему послышалось.

- Вообще-то да. Заходил Вербин. Спросила, зачем - не сказал. Говорит, зайду еще, когда вы будете.

- Хорошо, хорошо... Андрей Павлович, где папка с актами проверки материальных отчетов в управлениях?.. Вы же старший инженер, Андрей Павлович, и такое говорите! Я вас уважаю, но, однако, извините - это расхлябанность. Самая элементарная. Вы же непосредственно этим занимаетесь!

- Зачем она ему понадобилась?

- Так вы ищете, Андрей Павлович?

- Ищу, ищу, Олег Николаевич! Леночка, ну-ка заглянь сюда под низ, может, она тут и лежит, треклятая... - Про себя ж Андрей Павлович подумал: «Вспомнил... Вспомнил... Нужна она ему... Будто черти с квасом, как назло, съели ее. Слава богу, нашел». - Вот, пожалуйста, Олег Николаевич!

- Это дело другое. Спасибо. А пыли, пыли-то!

- Так ведь лежала сколько...

Серая невзрачная папка. Запылилась, запылилась, бедняга... Сиротинушкой лежала, еле нашли. Как же давно тебя, горемычную, не открывали!

- А-а-а... Юрий Анатольевич! Стул вот он, садитесь. Садитесь, садитесь! Роза Михайловна говорила, вы заходили?

- Да. Заходил... Узнать хочу, скоро ли документацию на регулирующие резервуары дадите. Пора бы уже нам подготавливаться. Все-таки серьезный объект. На контроле у горкома.

Резервуары... Вот она, документация, в столе лежит. А спокоен-то, спокоен Вербин! Вот мужик, позавидуешь. Что это она так внимательно смотрит? И притом, на Вербина... Хм... Эх, голова ты садовая, товарищ Веревкин! Да она же...

Ладно. Сейчас получишь свои резервуары, дорогой Юрий Анатольевич, строй себе на здоровье и на радость людям, если, конечно, удержишься в кресле начальника до тех времен. Да-а-а... Слепым надо быть, чтоб не увидеть. Вот тебе и Роза Михайловна... Так что знаешь, друг любезный, товарищ Вербин...

- Документация есть. Вот она, у меня. Только... Мне кое-что с проектным институтом надо выяснить. Созвонюсь с ними, возможно, даже сегодня. Вот тогда и можно отдать. Лады? Годится?

- Ступай, ступай, Вербин. Будет у тебя папка с чертежами. Официален Юра... Сух и холоден. Радоваться, действительно, не от чего. Ничего... Может, все образуется... Так-так...

Едва Вербин вышел, Веревкин подозвал Розу Михайловну, вытащил чертежи, которые только что не дал Вербину, и вполголоса, чтоб никто не слышал, сказал: - Вот что, Роза Михайловна, примерно через часик явитесь в управление Вербина и передадите ему эту папку. На работу можете не возвращаться. Вы поняли меня?

Она сказала глазами: «Да».

Она поняла его. Еще бы! Прошептала:

- Спасибо... Олег Николаевич.

«За что?» - хотел сказать ей, но сказал другое:

- Не за что. - Добавил сухо: - Идите, идите... - Уткнулся в какую-то лежащую перед ним бумажку.

Только и видали Розу Михайловну!

Редко так бывает, а вот они смогли все на свои места поставить. Все правильно, все так и должно быть. Езжай к своему Вербину. Кипит душа у него. А в себе ой как нелегко такое кипение держать. Сбавь в нем давление. Выпусти немного пар. Н-да... Пирогии...

Нежный Леночкин голос (второй год после Новочеркасского политехнического по направлению работает, хорошая скромная девушка):

- Олег Николаевич... телефон...

- Фу ты черт! Телефон звонит и звонит, а он не замечает. Леночкин же голос услышал. Ну, чудеса...

- Слушаю, Веревкин.

- Зайди, Олег Николаевич. - Ага, управляющий вызывает.

- Сейчас?

- Да.

Понятно. Пойдем, так сказать, на ковер. Расслабиться, дыхание сбавить. Полное спокойствие! Ну-с, пошли!

Оба в кабинете. Как иголка с ниткой, не могут друг без друга... Нил Андреевич, тот без управляющего еще может, а вот наоборот, наверное, вряд ли.

- Садитесь, Олег Николаевич.

- Спасибо. - Вежлив Вережкин. Теперь главное. Тут без шуток:

Мы сколько лет работаем вместе, Олег Николаевич?-- вертя в руках тот самый толстый красный карандаш, каким стучит на планерках по графину, спрашивает управляющий.

Сколько лет? Да уж порядочно. Правда, работают в основном с Нилом Андреевичем, с управляющим только приходится здороваться при встрече - вот и вся работа.

Да уж порядочно,- не назвал точную цифру Вережкин, и управляющему это, видно, не понравилось. Он с неудовольствием вздохнул, но так, чтобы Вережкин ничего не понял. Однако Вережкин прекрасно понял этот вздох. «Ясенько... Послушаем дальше. Это вступление. Нил Андреевич попозже начнет говорить».

Недоразумений меж нами не было. Начальником ПТО ты при нас стал. Мы тебя поддержали, помогли окрепнуть...- Правильно говорит управляющий. Так оно и было. Спасибо за это уже было сказано Вережкиным. И не однажды. Недоразумения? Серьезные? Вроде бы и не было. Поначалу молчал Вережкин, зеленый еще был из него начальник ПТО, а потом вроде и начал кое-что говорить, но вовремя понял: много будешь говорить- только себе хуже делать. А дело как шло-ехало до него, точно так и при нем, и без него будет двигаться. Намекнули слегка, как надо работать. И он понял. Все пошло хорошо. Ни нервов, ни скандалов. Оклад приличный, премия тоже регулярно выпадает. Что еще человеку надо? Олег Николаевич Вережкин - начальник производственно-технического отдела треста! Действительно, что еще надо? - ...Трест наш с планом

справляется успешно... - Ясное дело, успешно. Они субподрядчики - специализированная фирма. На них как сядешь, так и слезешь. Это генподрядчикам, ведущим общестроительные работы, приходится крутиться, как белкам в колесе. На них все шишки валятся. А уж трест в любом случае выкрутится. Не без того - на все лады, случается, склоняют и их, но, как ни говори, среди строителей они - элита. Они подписывают акты приемки объектов под монтаж оборудования и инженерных систем. А это ой как немаловажно! Так что генподрядчики, хоть и скрепя сердце, порой даже в ущерб себе, а денежки платят вовремя. Вот тебе и план... - ...Особых нареканий в наш адрес со стороны городских властей нет... - Это точно. Сто причин найдется, чтобы не считать трест крайним. Разведут руками: строители не сдали объект под монтаж, не все оборудование поставил заказчик, территориальные снабженцы недодали материал... Все, все! Достаточно и этого! И так видно, что трест тут ни при чем. И рады бы, и полны решимости, да вот... Одним словом, объективные причины. Очень даже объективные! Городские власти это очень даже прекрасно понимают. Но пожурить- пожурят. Это, так сказать, для профилактики. Положено. А особых претензий, понятно, к тресту нет. Все правильно говорит управляющий. Откуда им взяться, нареканиям? - ...И причин особых, чтобы бить тревогу, у нас нет. Ведь так?

Закончил управляющий первый пункт своих мыслей. Надо отвечать. Нет, он вроде не ждет ответа. Хочет что-то сказать еще. И точно:

- Так сколько лет мы вместе работаем? - Ага, опять спрашивает. Так хочется ему конкретную цифру услышать. И опять Веревкин умышленно не называет ее.

Много уже. Много...

Не вздохнул на этот раз управляющий.

А вот Вербин работает у нас два года. Да-а-а... - Это опять управляющий говорит. Ну, дальше, дальше!- Обидно за него даже. Многого не понимает: «Пришел, увидел, победил?» Вот и у него примерно так получается. Не хочет слушать дельных советов. А приказы и вовсе болезненно воспринимает.

Замолчал управляющий. Взглянул на Нила Андреевича, словно ему эстафету передал. Настал черед главного инженера

говорить. Слегка хлопнул ладонью по столу, будто примеряясь, как лучше сказать. Покусал губы, почесал переносицу:

- Вот что, Олег Николаевич... Я думаю, в прятки тут незачем играть. Не ребятишки сопливые. Дело такое: на планерке ты был, все слышал, все знаешь. И, говорят, будто Вербин чем-то тебе понравился. - «Ага! Уже сработала система Тишина. Вот лысарик! Вот колобок! Ну до чего быстр! Поди ж ты, чем занимается человек... Неужели ему не противно самому? Ведь несомненно знает, понимает, что такие, как он, не нравятся п тем, кому наушничают, и все равно не может отступиться от такого неблагодарного, низменного дела. Болезнь у людей такая, что ли? Не могут спокойно жить, не сделав хоть маленькую гадость кому-нибудь. Даже, зачастую, неважно кому. Лишь бы сделать». - Понимаю, по возрасту вы с ним больше подходите друг другу, - Нил Андреевич кивнул на управляющего, - чем, к примеру, мы с ним, и тебе понравилась его прямота. Как же! При всех так разделать управляющего и главного инженера! Торопа на чистую воду вывел, Кушнера разоблачил! Восхищаться Вербиным и осталось! Только вот что, - Нил Андреевич понизил голос, наклонился поближе к Веревкину, - сломает он себе шею и полетит к чертовой матери с треском! Понял? Ты что же думаешь, так и послушают его, сопляка зеленого? Без году неделя как начальником управления стал, а гонору, как у министра. Обличитель... Молоко у него на губах еще не обсохло, чтоб главковской комиссией пугать!

Да! Задел Вербин за живое многих. Вон как раз-бухтелся Нил Андреевич! Зажгло, видно, зажгло... Сейчас постараются придавить Веревкина, чтоб не гоношился, пока не скажут, кого из себя изображать. Держи, брат, язык за зубами, радуйся, что он у тебя есть, вот только лишний раз не высовывай, когда не надо.

- Я в тресте двадцать лет уже оттарабанил! Знаю, что к чему. По ступенькам вверх поднимался! И меня будут слушать, а не его. Ты меня понял?- Веревкин кивнул. Нил Андреевич разъярился, словно перед ним сидел не Веревкин, а выскочка зеленая - Вербин. «Ах, какая откровенность, Нил Андреевич!» Тот смягчил голос:- Так слушай, Олег Николае-

вич. Помолчал бы ты лучше... Я тебе говорю прямо. Работал ты до Вербина и после него работать будешь. А если спросят, так подумай прежде - что отвечать. У тебя, бывает, случается - ляпнуть блин на холодную сковородку. Надеемся, ты нас правильно понял?

Нет, не понял я вас.

- Ты что, прикидываешься, Веревкин?

Нет, Нил Андреевич, не прикидываюсь. Только таких советов, извините, мне не надо.

- Ну-ну! - воскликнул главный. Веревкин продолжал:

- Правильно вы сказали, мы не ребяташки сопливые, чтоб в прятки играть. Хотя в душе вы таким, конечно, меня считаете. Спросят - скажу. Только то, что сам думаю, что считаю нужным сказать. Подсказок мне не надо. Я был для вас все время удобным. - Веревкин усмехнулся. - А теперь, как видите, от рук отбиваюсь. Когда-то же надо! А? Нил Андреевич?

Это было уж слишком. Лицо главного инженера побагровело от гнева. Управляющий сморщился, как от зубной боли.

- Ради бога, только не надо меня всяческими карами стращать. Без них знаю, какая сладкая жизнь меня ждет. Надеюсь, я больше не нужен и могу уйти?

Его не удерживали.

Вот и перейден Рубикон. Руки дрожат, внутри все дрожит, сердце трепыхается. А вот на душе полегчало. Спал груз, давивший на плечи давно, к которому тело привыкло, как будто так и должно быть. Он непривычной легкости и раскованности покачивало. Но это пройдет. Сейчас пройдет. Нравился Веревкин сейчас себе. Сумел до конца сохранить выдержку, не сорвался, не рассыпался мелочными осколками, вышел из кабинета, как из бани, смыв с себя, наконец, что-то липкое, нехорошее, так долго пятнами темневшее на нем. И теперь, несмотря на слабость, дышалось легко и свободно. Замедлил шаг.

И все ж... Так уж легко и свободно? И перейден ли Рубикон? Нет, не спал груз - стал легче только. Перейден ручеек - не река. Закатаны брюки до колен - достаточно, ручеек не глубок, течение несерьезно-шаловливое, так, детская игра,

дно спокойное, ровное, не режет ступни ног острыми камнями. Реку вброд не перейдешь. Только вплавь. Уверен в своих силах, правильно считаешь их - река позади. Нет - повернешь назад, не доплыв и до середины. Вылезешь в изнеможении на берег и, отдышавшись, пойдешь искать мост, как бы далеко он ни был. Потеряешь время, будешь проклинать себя за слабосилие, но вновь решишься преодолеть реку вплавь не хватит воли. Спасение одно - мост. И долг и длинен к нему путь, но зато не надо выкладывать все свои силы. Будешь сухим, разве что случайные брызги плеснет река. Окажешься на другом берегу, только вопрос: в нужном ли месте? Что это: сомнения? И в чем конкретно? Та легкость, которую ощутил в себе Веревкин, выйдя из кабинета управляющего, сознание победы над собой, пусть и маленькой, начали исчезать.

Он пока не понимал себя, вернее, не решался понять. Внутреннее же «я» толкало его на это.

В чем, собственно, дело? Упрекнуть себя за свое поведение при разговоре с управляющим и главным инженером он не мог. Тут скорее надо гордиться, если уж не храбростью, то смелостью - да-да, смелостью, с какой были сказаны слова, далеко не приятные начальству, и какие уж от кого-кого, а от Веревкина не ожидалось.

Смелость... Заявлено откровенно и прямо, без виляний: будет комиссия, он скажет правду - это смелость? Что тогда - трусость? Не будет комиссии, не поверят Вербину, поверят управляющему и главному, их авторитету - и что? Все вернется на круги своя? А Вербин? А он сам, Веревкин? Ошибочка, мол, вышла - по наивному недоразумению, а вообще-то я такой: если надо - моя хата с краю, ничего не знаю, работать со мной можно, мое начальство - мой закон. Вербина переведут и, возможно, даже с повышением. И вся тут недолга.

Нет, это уж слишком, товарищ Веревкин! Зачем на себя так! Брось халтурить хоть сам перед собой. Нехорошо! Хуже - мерзко так думать. Все - не то, нет.

Веревкин путался в мыслях, злился на себя, и с трудом, мало-помалу, выкарабкивался к той точке, которая определяла истинную сущность его натуры, порядком уже захламленную чем-то ненужным, накопившимся в течение длительного

времени. Какое-то время он еще сопротивлялся себе, оттягивал тот момент, когда надо принимать решение. И решение зрело.

Достаточной ясности, каким оно станет, пока не было. Но ясно: пассивная роль в сложившейся ситуации была уже для Веревкина неприемлема. Для него самого. Сыграть ее - значит потерять частицу себя. И частицу ли...

Что касается разговора в кабинете управляющего - это маленький штрих, легкая строптивость, и не стоит тешить самолюбие, считая себя этаким рыцарем в борьбе за справедливость. Ждать комиссию из главка-да и будет ли она? - все равно что быть зрителем на рыцарском турнире.

Мелькнуло на миг: «Стоит ли?..» - но тут же ругнул себя: «Опять!» Навстречу - Вербин.

Идет по коридору неторопливо, лицо спокойное; поворот головы слегка вбок и чуть кверху - маленькая деталь, подчеркивающая уверенность во всем его облике, не режущую глаз.

«Ничего не скажешь, силен... Умеет держать себя. Позавидовать - не грех».

- Вы еще здесь, Юрий Анатольевич! - Пожатие плечами:

- Сейчас к себе уезжаю. - Брови шевельнулись, приподнялись, в них вопрос: «Что еще, уважаемый Олег Николаевич? А то я спешу. Извините».

- А... я к вам Розу Михайловну только что послал...

- Вот как! - Ни тени на лице. - Зачем?

- С чертежами на резервуары.

- А как же с проектировщиками? Успели так быстро переговорить? - в глазах легкая усмешка.

- Видите ли... закончить фразу Веревкин затруднялся, Вербин тут же кивнул неопределенно: - Понятно, - и можно было не продолжать.

Пауза. Еще секунда - и они разойдутся, каждый в свою сторону.

- Мне надо с вами поговорить, Юрий Анатольевич.

- Поговорить?

- Да. Только не здесь. Давайте выйдем, посидим на скамеечке у входа, покурим, заодно и поговорим. Вы не спешите? Если...

На лице Вербина уже удивление. Резкое движение руки: «Нет, не спешу. Если же и да, то - неважно», - и вслух:

- Хорошо. Пойдемте. Покурим...

Помолчали какое-то время, долго разминая сигареты, излишне часто затягиваясь, будто не курили целую вечность, старательно пускали струйки дыма. Конечно же, первым должен начать Веревкин.

- Я только что от управляющего, Нил Андреевич тоже там был. Короче так: был разговор о вас, обо мне. Пересказывать не буду. Все там было испробовано - и пряник, и кнут. Гибкая тактика, одним словом... Вобщем, Юрий Анатольевич вот что: все, как есть сейчас, оставлять нельзя. Надо что-то делать.

Вербин выпрямился. Оба внимательно смотрели друг другу в глаза.

- Об этом вы и хотели со мной поговорить? - спросил Вербин, конечно, прекрасно сознавая, что не о погоде же - черт возьми! - собирался поболтать с ним Веревкин. И что за манера разговаривать в вопросительном тоне.

- Да.

Веревкин произнес это слово коротко, с некоторым раздражением.

На планерке я, по-моему, ясно сказал, что напишу докладную в главк. Приедут, разберутся, кто прав, кто виноват. - Говорил Вербин сухо, официально.

- Вы уверены, что приедут?

- Уверен.

- А я вот не совсем. Если и приедут, то...

- Хотите сказать, - перебил Вербин, - что авторитет и управляющего и главного достаточно высок, чтобы главк пошел на крайний шаг? Так? Меня, кстати, в главке тоже неплохо знают,

Веревкин поморщился, ему не понравилось, как говорил сейчас Вербин. Сквозили и самоуверенность, и бахвальство.

Все это так. Но сколько времени понадобится. Комиссия не вдруг, не сразу приедет, резинка долго протянется. Это уж как пить дать, Да и разные они бывают - комиссии. По компетентности... да и не только это я имею в виду.

- Другую вызовем, - невозмутимо сказал Вербин. - Если надо - третью. Начатое доводить до конца надо обязательно.

- Вот-вот... А вы ведь не правы, Юрий Анатольевич.
- В чем? - встрепенулся Вербин.
- Если Дягилев - секретарь партбюро, так не стоит туда и обращаться? Так по-вашему?
- Так. Это бесполезно.
- А мне кажется, надо провести партсобрание. Нет-нет, не партбюро. Именно, собрание.
- И... что же? - Вербин будто сбросил официальную сухость в сторону. Веревкин сразу заметил это, и особенно - в изменившейся интонации голоса собеседника.
- Понятно, Дягилев из кожи вылезет, а постарается направить собрание в нужное ему русло. Однако, в конце концов, не он делает погоду. Люди не слепые, скажут свое слово. И уж к ним-то никто не имеет права не прислушаться. А комиссия... Что ж, рано или поздно и она будет.
- В некоторой степени я с вами согласен, Олег Николаевич. Хотя... Нет, все-таки вы, по-видимому, правы. Только не надо поспешности, излишней горячности. Взвесить, обдумать - и тогда. Попробуем!
- Так быстро изменить свои суждения? На Вербина это очень непохоже. Непонятно. Впрочем, если подумать: не стоит ли за этой быстротой - умение выбрать оптимальное решение, даже если оно и не всегда по душе? Вербин взглянул на часы, встал: - Так. Я к себе, в управление.
- Веревкин подумал, что Юрий Анатольевич успеет вовремя и увидит Розу Михайловну. И далее: что ни говори, сухарь он, Вербин, казенщиной какой-то, что ли, от него веет. Может, это некая защитная оболочка, просто необходимая ему? Трудно понять.
- Настороженные глаза в отделе. Походка у начальника ПТО расслабленная, неуверенная. Будто выпил. Сел за стол, задумался.
- Олег Николаевич... - голос у Лены робкий, извиняющийся.
- Да, Лена.
- Вам жена звонила. Просила, как придете, чтоб ей позвонили.
- Хорошо, хорошо... Спасибо, Лена.

Сидит начальник, чиркает что-то карандашом на листе бумаги, а сам сидит и не смотрит почти на него. Видно, чертиков рисует, а мыслями где-то далеко-далеко витает. И не думает звонить жене. Забыл, наверное. А напомнить неудобно. Посидит, успокоится, сам, может, и вспомнит, позвонит.

Да, уж лучше средненьким старшим инженером сидеть потихоньку и спокойно получать свой оклад. Хоть и не велик он, зато вот так, как Олегу Николаевичу, нервы не дергают. Видно, крепкий разговор был. Что-то и не помнится, чтоб в таком состоянии он раньше от начальства приходил. Нет, что ни говори, старшим инженером все равно лучше быть.

...Веревкин рисовал не чертиков. Рисовал корабль. Давно, в пятом-шестом классе он прочитал толстую книгу Новикова-Прибоя «Цусима». Читал запоем, с горечью узнавая о невероятных потерях нашего флота. Особенно поразила и взволновала его гибель броненосца

«Ослябя», из команды которого, насчитывавшей более восьмисот человек, не спасся никто. Он несколько дней ходил словно оглушенный, не в силах поверить детской душой в действительный факт страшной трагедии, разыгравшейся у далекого японского острова Цусима. В книге были иллюстрации. На одной из них изображен был броненосец «Орел», на котором плавал писатель. Глядя на рисунок, представлялось многое... Хмурый серый день был ветреным, дым из всех труб корабля резко срывался и низко стлался черным облаком за кормой. Серые холодные волны вспарывались высокими конусообразными столбами от взрывов двенадцатидюймовых вражеских снарядов. Взрывы кругом, еще чуть-чуть и снаряды накроют «Орел».

Олег знал, что броненосец останется цел, попадет в плен к японцам, но, рассматривая нехитрый рисунок, он забывал про это, у него замирало все внутри от нехорошего предчувствия.

Вот тогда-то и научился он рисовать корабли. Вернее, корабль. Он срисовывал броненосец точно таким, каким он был на картинке. Добавил только несколько пушек, и красным карандашом у ствола каждой черточку - пламя выстрела, а вдали - японский корабль, весь в огне от снарядов «Орла». Теперь

было легче, верилось, вопреки написанному в книге, что русский корабль с гордым андреевским флагом не сдастся никогда и выйдет победителем.

Этот рисунок он затем рисовал множество раз и уже автоматически мог воспроизвести контуры и каждую деталь броненосца. Много всяческих баталий он потом рисовал, особенно на уроках, за что его неоднократно просили выйти из класса - увлекшись, он не замечал, когда к нему подходила учительница, - но рисунок «Орла» был его самым любимым. И спустя много лет, когда Веревкин волновался, чем-либо был расстроен, рука сама брала карандаш, авторучку-что под руку попадалось, - и на бумаге рождался силуэт сражающегося корабля с гордо развевающимся андреевским флагом. Веревкин толком не смог бы объяснить почему, но это его успокаивало. Вот и сейчас на лежащем перед ним листе бумаги из резких отрывистых линий рождался контур славного боевого корабля.

Закончив, он некоторое время разглядывал собственный рисунок, затем хотел было скомкать и бросить в урну, но передумал и положил в ящик стола. На ум почему-то неожиданно пришло четверостишие из Омара Хайяма, которое он читал бог весть когда и никогда не пытался запомнить:

Не оплакивай, смертный, вчерашних потерь, Дел сегодняшних завтрашней меркой не мерь, Ни былой, ни грядущей минуте не верь, Верь минуте текущей - будь счастлив теперь!

«Верь минуте текущей - будь счастлив теперь...» - повторялась и повторялась последняя строка четверостишия, надоедливо стучала в виски и казалась настолько материальной и осязаемой, что появилось желание схватить ее и отбросить подальше. Однако она, словно почувствовав это, изворачивалась и ускользала, но совсем исчезнуть никак не хотела.

Открыл серую папку, которую так долго искал старший инженер Андрей Павлович, полистал слежавшиеся страницы, удушливо пахнущие пылью, на некоторых задержал взгляд, но вскоре закрыл папку и отложил в сторону. Поднял голову. Встретив Леночкин взгляд, вспомнил, что надо позвонить жене.

- Да-да, я звонила тебе, - услышал он в трубке ровный голос Ларисы. Веревкин не любил, когда ему без особой надоб-

ности звонили на работу; об этом жена знала и звонила ему лишь в самых исключительных случаях, необходимых, как считала она, и с чем не всегда соглашался он - была ли в том такая уж необходимость.- Слышь-ка, Олег, тут у нас один товарищ ружье продает, австрийское. Говорят, очень даже хорошее. Давай сразу же после работы съездим к нему, посмотрим. Может, понравится тебе, так возьмем. А?

«Вспомнила про ружье...» Губы Веревкина тронула слабая улыбка.

Года три назад перед его днем рождения Лариса спросила:

- Олег, ну что тебе купить? Прямо ума не приложу! Так, правда, не делается, но ты бы хоть подсказал. Ну, намекнул, что ли...

Да ничего мне не надо! Брось выдумывать! Запонки какие-нибудь там или галстук купи, вот и подарок.

Нет, это несерьезно! Что уж ты в самом деле!

Купи тогда ружье. - Он сказал это просто так, лишь бы сказать, зная прекрасно, что ружья ему не видать. Уточнил: - Только стоящее, не ширпотребовское.

- А где же его взять, такое-то? Я тебя ведь серьезно спрашиваю, а ты...

- То-то и оно, что негде взять. Да и знаешь, сколько оно стоит? Так что давай, Лариса, не выдумывай, купи мне галстук в горошек, кстати, у меня такого нет, и перестань морочить себе голову.

Лариса вообще-то боялась иметь в доме ружье. С полной серьезностью приводила поговорку о том, что ружье раз в год и само стреляет. К тому же, в доме Димка. Все что угодно может натворить мальчишка. Поэтому Веревкин хоть и мечтал о хорошем ружье, но так до сих пор и не имел его. Осуществление своей мечты все откладывал на потом. Довольствовался тем, что изредка ходил с приятелями на охоту с чьим-нибудь стареньким ружьишком. И вот Лариса вспомнила... Могла бы купить без него, но, видно, не решается, вдруг ему не понравится.

- Ружье, говоришь? Что это ты вдруг?

- Как что? У тебя ведь скоро день рождения. Ты же хотел такое.

- Понятно, понятно... Только понимаешь, Лариса, я сегодня не могу. Я сегодня задержусь. Так что...

- Да что там за дела срочные!

- Да есть кое-какие...

- Тогда я скажу, что мы завтра приедем посмотрим. Хорошо? - И тут же недовольно пробурчала, не ему, себе, но он услышал: - Что за дела?..

- Хорошо. Договорись на завтра.

- Так когда тебя ожидать?

- Постараюсь не задерживаться...

- Ну до вечера.

- До вечера.

Веревкин чувствовал, что не сможет сразу после работы пойти домой. Ему непременно нужно будет побыть одному, погулять, подумать.

- Что с тобой? - спросила Лариса, едва Веревкин переступил порог.

- Со мной? - недоуменно пожал он плечами. - Ничего.

С чего ты взяла? Все нормально.

- На работе что-нибудь?

- Нет, - слегка раздраженно ответил Веревкин. - Я же сказал: все нормально. Вечно ты выдумываешь...

- Неправда, Олег. - Она смотрела ему в глаза. - Что-то случилось. Ты просто не хочешь говорить. Почему? И... где ты так долго был?

- Перестань... - попробовал отмахнуться Веревкин, все более раздражаясь. Но Лариса не захотела замечать ни его раздражения, ни желания прекратить разговор.

- Ты что-то скрываешь от меня... У тебя вид такой...

Ему стало неловко за свою раздражительность. Зачем он так с ней? Почему же не понять ее беспокойства? Стало быть, она прочитала на его лице нечто такое, что заставило его взволноваться, почувствовать какую-то перемену в нем. К тому же надо учесть, что пришел домой довольно поздно.

- Я просто устал, - коснулся он щекой ее волос. - А так все хорошо. Прогулялся немного. Захотелось...

Лариса вздохнула, и не стала больше спрашивать его ни о чем. Но он видел, она не удовлетворена его объяснением.

- Ну что, как там с ружьем? - перевел он разговор.
- Договорилась, в воскресенье пойдем посмотрим.
- Вот и хорошо. А сколько ж оно все-таки стоит? Она назвала сумму, и у Веревкина полезли вверх брови.

- Может, не надо и смотреть? Ведь такие деньги... Знаешь... - Веревкин осекся, видя ее укоризненный взгляд.

- Деньги... Ну о чем ты говоришь... Посмотришь, если ружье хорошее, почему бы и не заплатить. - Уголки губ у Ларисы вздрогнули, она повторила: - Деньги... - В лице ее мелькнуло щемящее выражение скрытой скорби. Вглядевшись в это лицо, еще молодое, но уже тронутое возрастной полнотой, с уже устоявшейся сеточкой морщин у глаз, Веревкин вдруг почувствовал в себе болезненную жалость к жене. Отвел взгляд, пробормотал:

- Это я так... Правильно ты говоришь, за хорошую вещь не жалко заплатить.

Кольнула мысль о Розе Михайловне. Мелькнули лица: искаженное гримасой - Нила Андреевича, и сухое, бесстрастное - Вербина. Так, так... Все верно: почувствовала Лариса интуицией, выработанной годами, - не таков сегодня Веревкин, как всегда, что-то в нем бродит, что-то волнует его, и, конечно же, не предстоящая покупка дорогого ружья. Нет, тут другое...

Он сразу отправился спать, желая побыстрее уснуть и таким образом уйти от мыслей, будораживших его. Лариса долго возилась на кухне, Веревкин слышал приглушенное позвякивание посуды, которое так раздражало его по утрам. Но сейчас он вдруг обнаружил, что раздражения от этого не испытывает, наоборот, доносившийся звон посуды будто успокаивал его.

Не скоро управившись, жена тихонько вошла в спальню и долго неподвижно стояла у кровати. Наклонилась, вглядываясь в полумраке в лицо Веревкина. Он шевельнулся, и Лариса поняла, что муж не спит,

- Олег...

Он привлек ее к себе:

- Не надо...

Ему не хотелось, чтобы она что-то говорила, спрашивала. Он хотел молчания, и она поняла его.

Утром Веревкин ознакомился с приказом. За слабый контроль над ходом строительства вводных объектов и личную безынициативность начальнику производственно-технического отдела треста Веревкину и начальнику второго управления Вербину объявлялся выговор. Выговор объявили также Кушниру - за неудовлетворительную комплектацию объектов материалами и оборудованием.

Все ясно. Ответная реакция начальства. Но Кушнир-то? Впрочем, и здесь все понятно. Видимая объективность соблюдена. Кто теперь посмеет упрекнуть руководство треста в предвзятости? Каждый получил положенное ему. Скрипнет зубами Моисей Иванович, но ему объяснят: так надо. И он поймет, успокоится - начальство всегда право. А если так надо, то тем более.

Что ж, это первая ласточка. Ни управляющий, ни главный инженер на этом не останутся. Метод давления - испытанное средство, дабы умерить пыл строптивых. Значит, все уже продумано, взвешено, с дальним прицелом и, понятно, намечен конечный желаемый результат. Теперь держи ухо востро. Споткнешься - руки не протянут, будут затаенно ждать следующего неверного шага. Нет, чисто внешне все будет выглядеть прилично. Будет и протянутая рука. Но ее движение не поможет удержать равновесие, наоборот, закачаешься еще более.

- Поздравляю, - набрал Веревкин номер телефона Вербина.

- Вас тоже, - обычным ровным бесстрастным голосом ответил тот.

- Спасибо, - усмехнулся Веревкин. Этого и следовало ожидать, Олег Николаевич. Правда, лично я не предполагал, что наше уважаемое начальство сработает так быстро и оперативно.

- А оно, как видите, сработало...

- Ну, что ж, возможно, это даже и к лучшему.

- Вы так считаете?

- Ничего я пока не считаю, дорогой Олег Николаевич. Однако, коль такой факт уже налицо, то, думаю, кроме всего прочего, он несет в себе и положительное содержание. Да-да.

Не надо усмешки. Я считаю выговор своего рода катализатором, ускоряющим реакцию. И маленькая деталь: химики тоже иногда ошибаются, результат реакции не всегда бывает для них желаемым, равно как и скорость ее протекания. Аллегория. Извините.

Кушниру тоже, вроде как за компанию.

Тонко, но неумно. Разговор на эту тему с вами мы еще продолжим. А сейчас, Олег Николаевич, извините, просто некогда. Дела... - Вербин положил трубку.

Недовольное лицо Кушнира. Буркнул на ходу, не поднимая глаз:

- Здравствуйте.

И то слава богу, поздоровался. Мог бы и мимо пройти.

Дягилев - другое дело. Взгляд издалека, легкий поклон. Бестия! Этот себе на уме. Явно ничего не прочитаешь на его лице.

- Доброе утро, доброе утро... - Говорит озабоченно, монотонно повторяясь. Остановился, покачивая головой. - Нехорошо...

- Что нехорошо? - с умышленной наивностью спрашивает Веревкин.

- Все нехорошо, Олег Николаевич. Все... - Полнейшая неопределенность в словах. И тут же, вяло махнув рукой, пошел дальше.

«И есть же такие люди...» - подумал Веревкин, но до конца так и не окончил мысль, затрудняясь выразить словами, какие именно люди.

Больше всех удивил Турчанинов, главный энергетик. Он зашел к Веревкину во второй половине дня. Было чему удивиться. По работе они сталкивались редко, в производственно-технический отдел главный энергетик прежде заходил тоже очень редко. По сути, они были даже мало знакомы. Просто сослуживцы, знающие друг друга в лицо - не более. К тому же Веревкин, мягко говоря, не очень уважал Серафима Владимировича, в первую очередь за его излишнее пристрастие к спиртному и непереносимые при этом разговоры «ни о чем». Сегодня, однако, он был трезв. Потоптавшись возле стола Ве-

ревкина, удивленно смотревшего на столь неожиданного посетителя, Серафим Владимирович, наконец, сел напротив и выпалил:

- Некрасиво!

Веревкин поморщился. Турчанинов начал, почти в точности повторяя Дягилева.

- Что некрасиво?

- Некрасиво, говорю, черт побери, наш шеф загнул!

- Да, уж им виднее, шефам...

- Брось, Олег Николаевич, все ж понимают, что к чему. Только каждый по-своему. Хоть ты, может, в душе и скажешь, мол, Турчанинов - так себе человечиска, болтнет, а уж потом подумает, да и что взять с... - он щелкнул пальцем по шее, - только я вот что скажу тебе. Правильно, давно надо было ковырнуть эту болячку. А то, понимаешь ли, привыкли, сопим потихоньку, дышать можно - чего еще? - боимся ноздрю прочистить, как бы больней вдруг не стало! Я тоже вот из таких боязливых. И все ж, скажу тебе, до поры до времени. Не веришь, конечно... Ну да ладно. Вам-то сплеховать теперь никак нельзя. Это я точно говорю. Никак нельзя!

Резко встав, Турчанинов вышел из отдела.

А в отделе тишина, все склонились над столами.

Вот и пойми людей... Встречаешься, здороваешься, разговариваешь, а знать человека толком и не знаешь. Каков он, что в нем? И вдруг, в какой-то момент, многое будто открывается в таком человеке, и порой очень и очень неожиданное.

Внешне обычным, неспешно-размеренным ритмом живет трест, но угадывается другое: напряженность ожидания - что же будет дальше.

Улучив минутку, подошла Роза Михайловна:

- Все будет хорошо, Олег Николаевич, поверьте... Черт побери! Она успокаивает его, будто больного.

А вчера беспомощно спрашивала его же: «Что теперь будет?» Не за него беспокоилась, за Вербина. Теперь, видите ли: «Все будет хорошо...» Значит, встретила вчера с ним, чувствуется в ее словах уверенность, передавшаяся ей от Юрия Анатольевича, которую она считает сейчас уже своей собственной, - Конечно, Роза Михайловна! Все будет прекрасно!

О чем речь! - деланно изобразив широченную улыбку, ответил Веревкин беспечно-шутовским тоном.

Она нахмурилась:

- Зачем вы так... Декорация слетела с него.

- Извините, Роза Михайловна. Спасибо... Чувствовал себя Веревкин скверно. Признаться, он был растерян. И казался себе безвольным существом, не способным ни к какому действию. Вчерашний разговор с Вербиным, утвердившееся решение, после стольких колебаний и сомнений, - все это показалось теперь расплывчатым, далеким. Пассивность и безразличие овладели им сейчас. И не было сил противопоставить что-либо этому чувству. Даже в мыслях. «Бог ты мой! - ужаснулся он. - Да что же это я! Пошленькая попытка уйти в сторону. Это ведь называется...»

Требовался толчок, какой именно, Веревкин не представлял, но мучительно желал его; только он мог вернуть и мысли и сознание в то состояние, при котором бы исчезла растерянность и то чувство, граничащее с презрением к себе, которое ощущал он в данный момент.

Уже в самом конце дня позвонил Вербин.

- Реакция пошла, Олег Николаевич. Вернее, пока наметилась, - сказал он.

- Какая реакция? - не понял Веревкин.

- Ба! Да вы, я вижу, забывчивы. Вспомните-ка наш утренний разговор. А? Вспомнили? То-то же. Так вот, я только из горкома партии. Улавливаете? Одним словом, в самое ближайшее время - бюро горкома. Кроме нас с вами, там будет еще кое-кто из треста. И все должно стать на свои места. Я в этом уверен. А насчет комиссии из главка вы совершенно правы, Олег Николаевич, не с нее надо начинать. Так что до завтра.

Это был толчок. И еще какой!

На следующий день все уже знали, что на бюро горкома будет рассматриваться ситуация, сложившаяся в тресте, и бюро не за горами, а состоится завтра. Как перед грозой, воздух был наэлектризован ожиданием.

...Вербин появился в ПТО перед концом работы. Бодро, даже с беззаботностью в голосе, поздоровался со всеми в отделе, протянул руку Веревкину.

- Как дела? Как настроение?

«Ишь ты, - внутренне усмехнулся Веревкин, - сама невозмутимость. Только волнуешься ты, друг любезный... И еще как волнуешься!» Ответил спокойно:

- Настроение? Вполне нормальное. - Пожал плечами: - Почему оно должно быть другим?

- Гм... - хмыкнул Вербин. - Прекрасно, прекрасно... «Да уж, - опять усмехнулся Веревкин. - Куда прекрасней...»

Много думал он и ночью, и сегодня днем о предстоящем бюро горкома. Представлял его и так и этак-получалось туманно, расплывчато. И уж вряд ли спокойнее было Вербину, хоть и старается сейчас прикинуться этаким бодрячком. Что ж, давай, давай, Юрий Анатольевич, держи свою марку.

Вербин посмотрел на часы:

- Пройдемся пешочком, а?

Они вышли на улицу. Шли молча, словно примеряясь, с чего начать разговор, теперь без свидетелей.

- Волнуешься? - нарушил молчание Вербин.

- Волнуюсь, - откровенно признался Веревкин.

- Я тоже, - доверительно сказал Вербин. Они не заметили, как перешли на «ты».

- И все же... почему - сразу горком? Почему несобрание? - осторожно спросил Веревкин.

Вербин ответил не сразу. Нахмурил лоб, замедлил шаг.

- Видишь ли, поначалу я решил бить в колокола в главке. Ты знаешь. Потом, после азговора с тобой, мнение мое изменилось, и я тоже был за собрание. Но...

Юрий Анатольевич, ты же сам говорил, не стоит спешить.

- Говорил. Только есть старая пословица: куй железо, пока горячо. Хорошая пословица? То-то же. Так вот... Понимаешь, мы вроде бы и не молчим, но почему-то обсуждаем наши проблемы, так сказать, в кулуарах. Встретимся вдвоем, втроем, говорим дельно, а вот насобрания точно немеет. Весь пыл куда-то девается. Нетак ли? И опять - почему? Постараюсь ответить. Как я лично понимаю.

Веревкин слушал заинтересованно. Сейчас Юрий Анатольевич был не таким, каким привыкли его видеть, исчезло в

нем что-то чисто вербинское - не бросающаяся в глаза, но всегда присутствующая в нем этакая чопорно-интеллигентная манерность. - На партийном собрании все равны. - Вербин будто читал лекцию, каждое слово выговаривал четко, часто делая паузы, внимательно вглядываясь в лицо собеседника. - Правильно? А кончилось собрание - оживает лестница должностей. И сколько бы мы ни убеждали друг друга, что все равны между собой, в теории, может, это и верно, но на практике не всегда так. Вот и практикуй тут... Потому-то и пропадает запал у некоторых товарищей. Уловил? Правильно: жизнь партийной организации зависит от самих коммунистов, от их вожака - секретаря, а не от хозяйственного руководителя. Только вот еще беда, секретарем мы иной раз выбираем человека, который далеко не годится в вожаки. И все оттого, чтобы с начальством лишний раз не конфликтовать. Взять нашего Дягилева. Вожак? Зато руководство весьма им довольно. Всегда нужную ноту возьмет, на какую ему укажут. То-то и самое страшное - подпевала. А ты говоришь, собрание... Я больше чем уверен, скомкали бы его, превратили в фарс. А с неугодных одни перья полетели бы. И правильно ты говорил, Олег Николаевич, повернул бы его Дягилев в свое русло. И хоть большинство коммунистов - я в этом очень даже уверен - были бы возмущены, инерция пассивности, осторожности сыграла бы свою роль. Возмущались бы про себя, так сказать, втихую. Ведь вспомни, такое бывало, и не раз. Вот потому - горько. Пора не отдельные ветви - все дерево тряхнуть. Да так, чтобы вся гниль враз на земле оказалась! Глаза Вербина горели. И Веревкин вдруг понял, его волнение ничто в сравнении с тем, что испытывает Вербин - он готов драться. О себе Веревкин такого сказать не мог, но уже понимал - в стороне стоять не будет. Случись, потеряет себя в какой-то момент - останется презрение. К себе. И не смыть его после никакими порывами благородства.

Расставшись с Вербиным, Веревкин решил идти домой напрямик - через железную дорогу. В прохладном воздухе пахло винным запахом начинающих опадать листьев. Он глубоко вдыхал этот напоенный запахами ранней осени, осязаемый, как приятный напиток, воздух.

На одной из тихих улочек Веревкин остановился возле скамейки, на которой, нахохлившись, сидели старушки, собравшиеся на вечерние посиделки. Перед ними стояло ведро с темно-алыми розами.

- Продаются? - спросил Веревкин.

- Коли купишь, то продаются, - ответила одна старушка.

- Давайте.

- Бери, какие нравятся.

- Мне все.

- Все? - удивилась старушка. - А на что тебе все? И вправду, зачем ему розы, да еще все? Но он не стал раздумывать, сунул старушке деньги, взял охапку роз.

- Ишь ты. Кавалер... - уважительно заговорили вслед старушки.

Веревкин купил розы Ларисе. Когда покупал, еще не думал об этом, действия опережали его мысли. Давным-давно не дарил он ей цветы. Ради чего же он подарит сегодня? По случаю завтрашнего бюро? Она и не знает, что предстоит ее мужу. Подарит просто так... А почему бы и нет? Разве только в особых случаях дарятся цветы женщинам? Она удивится...

Как они жили эти годы? Нормально, хорошо жили. И все-таки что-то меж ними умерло, чего-то не хватало, и с каждым годом все больше ощущалась необъяснимая душевная тревога. Чья тут вина? Да и есть ли она... Что будет дальше? Впереди не год, не два - впереди, считай, полжизни. Трудно подумать, но и не думать об этом нельзя. Почему людям не живется спокойно? Что ищут они, зачем мечутся, страдают, теряют, любят и ненавидят, радуются и сгорают от горя? Зачем все это? Можно ведь проще... Но на то, видно, они и люди - безропотное смиренное существование чуждо человеческой натуре.

«Все будет хорошо. Все будет хорошо...» - твердят мысли в голове у Веревкина, и он им верит. Так оно и будет. Непременно будет.

ТЕПЛЫЙ СЕНТЯБРЬ

У меня в кармане лежит билет и командировочное удостоверение. Я улетаю в Воронеж, а оттуда в городок, где заканчивал школу, стал взрослым, откуда уехал много лет назад.

Сентябрь был жарким. В самолете, пока он не взлетел, стояла духота. Пассажиры обмахивались кто чем мог, но это помогало мало.

Самолет набрал высоту и все вздохнули облегченно - по салону заструился прхдаднй воздух.

В Воронеже пришлось дожидаться утра. Самолет, на который я должен пересесть, давно улетел.

Утром темно-зеленая «Аннушка» переваливаясь с бока на бок, как утка, не спеша взлетела и, набрав высоту, словно повисла в чистом, умытом первыми лучами еще нежаркого утреннего солнца, небе.

Через час с небольшим она подлетала к моему городку. Накренившись, сделала большой круг, примеряясь и присматриваясь, как бы получше сесть. Наконец она бежит по заросшему чахлой травой полю, недовольно вздрагивая на неровностях.

Поле на окраине города, приспособленное под аэродром, совсем не изменилось. На краю его, возле лесополосы, расхаживали коровы. В большой луже возле дряхлых сараев, видимо являющихся какими-то складами, плавали гуси. Касса и зал ожидания все так же находились в старом, но еще довольно крепком деревянном гдоме с шиферной крышей, покрытой оспинами блекложелтого лишайника. На мачте, как живая, шевелилась матерчатая «колбаса» с выцветшими, некогда черными поперечными полосами.

Единственное, что бросалось сразу в глаза и чего не было раньше - маленький садик перед домом.

Здесь, на этой площадке перед домом, занятой теперь садиком, мы когда-то укладывали парашюты.

Прошло много лет) а я хорошо помню, как в наш небольшой городок прилетел самолет с большой краевой звездой на хвосте. По городку быстро разнеслась весть: организовывается парашютный кружок. Желающие могут записаться здесь, на аэродроме.

В городе было две средние школы, и буквально все десятиклассники ринулись на аэродром к палатке с намалеванными белыми буквами «ДОСААФ» записываться в парашютисты. Но после медкомиссии довольно многих не допустили к прыжкам. Некоторым запретили родители, мотивируя тем, что до выпускных экзаменов осталось полтора месяца и нечего заниматься баловством.

Комиссию и родителей я прошел благополучно и начал закидаться, в кружке.

Первые прыжки были намечены на четыре утра.

Ночь перед ними прошла в волнующем ожидании. Сна, конечно-же; не было. Лишь наплывала дремота, туманившая сознание»

За мной зашел мой друг Валера Попов и мы напрямик, через огороды, направились на аэродром. Роса была густая. Пришлось закатать штанины и снять башмаки. Воздух, чистый, бодрящий, оыстро растворил в голове остатки дремоты.

Перешли вброд на перекате речку, парившую прохладным прозрачным туманом. Восток только начинал алетъ. Утренний легкий ветерок еще не коснулся листьев плакучих ив, стогами темневших на берегу. Деревья еще спали. Спал и весь городок, лишь горластые петухи уже приветствовали наступление нового дня.

Прыгать мне выпало в первой восьмерке и я растерялся. Когда инструктор, спрашивая у каждого фамилию перед посадкой в самолет, дошел до меня, я растерялся окончательно и забыл свою фамилию. Хлопал глазами и молча смотрел на него. Инструктор, сосредоточенный, со строгим выражением

липа, понял мое состояние и неожиданно громко и заразительно рассмеялся, хватаясь за запасной парашют на животе. И вся наша группа с напряженившимися мышцам волнованная не меньше моего, рассмеялась за ним вслед. Я тоже изобразил нечто вроде улыбки, но чувствовал что губы скривились в какой-то жалкой гримасе, мало напоминавшей улыбку. «Все, - подумал я, - теперь за мов трусость он отстранит меня от прыжков. И не видать мне их как своих ушей... Стыдоба!»

Но инструктор и не думал отстранять меня, хлопнул по плечу и подтолкнул к самолету:

- Не Трус, бродяга! Держи хвост пистолетом!

Прыгнув, я оглянулся и увидел над собой ободранное брюхо с глухим урчанием удалявшегося самолета. В ту же секунду за спиной зашуршало, раздался хлопок и я повис под белым четырехугольным куполом. Взглянув на него еще через мгновение, я разинул рот от удшления и ахнул... «Купол заструился непонятным бледно-розовым светом. Только увидев раскаленный кусочек вынырывающего из-за горизонта солнца, понял причину странного поведения моего купола, изменившего цвет.

Земля внизу еще не ощутила солнечного тепла и. купалась в прохладе, подаренной ей ночью. Я раскачивался на стропах, но казалось качается земля на волнах, а я неподвижно завис между нею и небом.

Чуть внизу, справа, опускалась Таля Трофименко и пела. Слышимость в небе была, как в хорошем концертном зале. Таля была из дру-гой школы и до парашютного кружка мы с ней не были знакам. Она понравилась мне сразу...

Шля приземлилась раньше меня. Когда я, радостный, сияющий, подбегал к ней, собрав в охалку парашют, она сидела на земле. Глаза ее были полны слез. По подбородку текла алая струйка крови.

Ни о чем не спрашивая, отбросив парашют в сторону, я достал из кармана платок и, опустившись перед ней на колени, вытер слезы на щеках, осторожно промокнул кровь на разбитой губе. Она запрокинула назад голову и закрыла глаза.

Влажные ресницы вздрагивали, из под них выкатывалшь ользинки. Рот был приоткрыт, на белых зубах виднелись ро-

зовые разводы крови. Как хорошо, что у меня оказался платок! Обычно я не имел привычки носить его с собой, но сегодня почему-то сунул его в карман.

Я вытирал кровь и слезы на ее лице, а она все так же сидела, застывшая, с закрытыми глазами.

И от беспомощного ее вида, боли переносимой ею, у меня защемило в груди и я готов был тоже расплакаться, но усилием воли сдержал себя.

Склонившись близко к ее лицу, и, замирая от нахлынувшей нежности и сострадания к ней, я прикоснулся губами к мокрому глазу. Она не открыла ж...

Оказывается, Галя, приземляясь, наклонила голову и смотрела под ноги, а не подняла ее вверх, как нас ушли. Ударилась подбородком о колени и рассекла зубами нижнюю губу.

Я думал, она больше не будет прыгать, но ошибся - прыгали мы еще четыре паза и Галя тоже.

Потом, к большому нашему огорчению, - не помню сейчас по какой причине, - раньше, чем намечалось, инструкторы улетели в Воронеж.

После этого я больше не прыгал ни разу, но впечатления яркие и незабываемые о тех пяти прыжках живы во мне до сих пор.

Быстро пролетел май, подкатились выпускные экзамены.

С Йигей мы встречались каждый день. Встречались днем, за речкой под раскидистыми плакучими ивами.

К ивам, захватив с собой учебнички, я приходил первым и, положив их в дупло, садился на густую, мягкую, как ковер, траву. Прислонившись спиной к шершавому стволу дерева, ожидал Шла.

Определенного часа встреч мы не назначали. Обычно, сказав дома, что пошла к подругам готовиться к очередному экзамену, Галя приходила часам к десяти.

Шла она так же, как и я, не через мост, а напрямик, вброд через речку» Входя в воду, она легонько ойкала и, подняв подол легкого платья, высоко обнажала ноги, тронутые на икрах и коленях загаром, плавно переходящим в естественную при-

родную белизну тела. Галя нисколько не смущалась. Все было естественно и просто. И в голову ни мне, ни ей не приходила мысль о стыдности вида ее обнаженных ног.

Она садилась рядом со мной, я наклонялся и прикасался губами к ее ногам. Целовал мокрые милые колени, чувствовал ее ласковые руки, мягко перебиравшие мои волосы. Во мне все замирало от невыносимо-огромной нежности к моей милой, хорошей, единственной и самой красивой во всей вселенной любимой...

Экзамены сдавались легко и без напряжения. Дни слились в одно прекрасное счастливое мгновение.

В августе Галя сдала экзамены в мединститут в Воронеже, а я уехал учиться в Саратов.

Я очень хорошо помню наш последний вечер и вряд ли когда забуду. Экзамены были позади и мы гуляли до поздней ночи. И было совсем не грустно от того, что мы расставались. В этом была необходимость, но мы твердо знали, давно решили - все равно будем вместе, и после учебы уже не будем расставаться никогда. Будущее представлялось нам ясным, мы сами решили каким ему.

Кого обвинять в том, что такое наше будущее не получилось? Трудно мне думать сейчас об этом, но, как ни горько, приходится признаваться: я не выдержал испытания разлукой.

У меня хранятся ее письма - единственное, что осталось от того, теперь уже невозвратного, времени. Читаю я их редко. Читаю в дату, когда мы совершали свой первый прыжок. В дату, которая положила начало счастливым и светлым дням нашего такого короткого: знакомства. Читая, мыслями переносусь на многие годы назад, снова встречаю ее у реки иод плакучими ивами, целую милые загорелые колени, чувствую губами влагу на них, ее ласковые нежные руки, поглаживающие мои водооы потерял, и в этом только моя вин.

Как ты поживаешь сейчас, моя первая любовь?

От аэродрома до гостиницы я решил идти пешком?не надеясь на автобус, который сейчас, оказывается ходил отсюда до рынка судя по расписанию, намалеванному на заржавевшей жестянке, прибитой к столбу. Я решил правильно - про-

топав два километра, я так и не увидел его.

Вечером ко мне в гостиницу пришел Валера Попов. Он, окончив мединститут, вернулся в родной городок и работал здесь хирургом. Мы пили коньяк и вспоминали, вспоминали...

- Слушай, ты помнишь Галю Трофименко? - неожиданно спросил он. Валера, талера, о чем ты спрашиваешь!..

- Она работает в нашей больнице терапевтом. Завтра, правда, она в военкомате, призывники будут комиссию проходить. Так что, давай, наведи полный парад и подходи туда часам к двум. К этому времени она должна закончить. Вот и увидите...

На следующий день я проснулся рано и, хотя спешить было некуда, сразу же встал.

Тщательно выгладив брюки, раздумывал долго, перебирая рубашки, какую из них надеть. Остановил свой выбор на рубашке с мелкими черточками и точками на серо-голубом фоне. Примерно такая была у меня в десятом классе и очень нравилась Гале.

До двух было порядочно, но свдеть в гостинице я уже больше не мог.

Медленно шел я по улицам, тихим, не суетливым, вглядываясь в лица немногочисленных прохожих. Ни одного знакомого лица...

В сквере я долго с вдел у фонтана. Напротив - двухэтажное здание военкомата.

Без пяти два.

Я встаю со скамьи и, пройдя несколько шагов, останавливаюсь у густого куста сирени так, чтобы хорошо был виден вход в военкомат.

Сердце трепетно и тревожно застучало. Кольнуло. Это от волнения. Сейчас я увижу Галю

И я увидел ее и растерялся...

Галя...

Я увидел женщину - молодую, но с отпечатком степенности, наметившейся во всей ее фигуре, до боли знакомой, близкой и одновременно тревожно пугающей своей достаточно выраженной независимостью? присущей женщинам,

кое-что имеющих за плечами. Осанка, особая, слегка горделивая посадка головы, походка, в которой улавливалась значительность - неожиданность, к которой я не был подготовлен.

И все-таки... Такая ли неожиданность? Я представлял себе встречу, не отмеченную властью времени, встречу с уже не девочкой, но еще не женщиной, встречу с моей Галей, у которой всего-то взрослости - аттестат зрелости? Нет... и да...

Умеренная полнота, безукоризненность одежды - модное с коротким пукавом платье, модные на высоком каблуке туфли, изящная сумочка с длинным, переброшенным через плечо, ремешком... Руки... Женственные, мягкие, плавными линиями покачивающиеся в такт шагов с тонкой элегантностью.

Галя... Ты ли это?

А где же та девчонка - десятиклассница с доверчивым взглядом чистых в своей неповторимости глаз, в дешевых туфельках со сбитыми побелевшими носами, в коротеньком платьице? обнажившем милые загорелые коленки, еще не набравшие женственной округлости, где ты та девчонка, к которой можно запросто подойти ж сказать: «Галка, здравствуй! Куда спешишь?»

Я оробел.

Казался себе сейчас несмышленным мальчишкой издали, украдкой любующимся идеальным Образом совершенства, созданным талантом некоего магического художника, и ближе подойти я не смел, не имел права. Сознание толкало меня: «Иди!» - однако тело не повиновалось мне, и я стоял в оцепенении, только глаза принадлежали мне - широко открытые.

Я уже боялся.

Боялся чувств, мгновенно взорвавшихся во мне. Я словно разлетался осколками, успев подумать, что можно их больше и не собрать.

И хотя во мне опять все кричало: «Иди! Иди же» - пока она не скрылась в конце улицы, я так и не сдвинулся с места.

...Потом я долго бродил по улочкам, уйдя подальше от центра. Невольно оказался на берегу речки ж вздрогнул,

увидев старые плакучие ивы. Они узнали меня, шевельнули грустными ветвями: «Пришел...»

Погладил шершавый ствол: «Здравствуйте...»

Гадя...

И все-таки, пусть будет так...

Пусть самое сокровенное дней далекой юности навсегда остается чистым и целомудренным. Не тронутое временем. Остается великой драгоценностью, подаренной лишь однажды, прикосновение к которой временем сегодняшним может оказаться непоправимо разрушительным.

ТУМАН

И раньше Михаил выпивал частенько, а последние полгода не было, считай, дня, чтобы к вечеру не являлся домой изрядно нагрузившись, покачиваясь на широко расставленных ногах своей сильной большой фигурой. И почти всякий раз цеплялся макушкой за притолоку, забывая пригнуться, когда открывал дверь в сени дома. Дом был старый, от старости он врос в землю настолько, что словно игрушечные оконца вот-вот коснутся рамами земли; такие же игрушечные двери покосились, и даже трезвый Михаил с трудом протискивался в них.

Дед Михаила, некогда строивший дом, и духом не ведал, что простоят он столько лет. А уж что в роду появится такой здоровенный внук, каким выдался Михаил, никак предполагать не мог. Все Пронины, что ни говори, были мелковаты.

Но как бы там ни было, ростом и силой Михаил удался всем на диво, и уж верно: пошел он не в Пронинский род. Поговаривали даже, что мать Михаила гульнула в свое время от мужа, и вот получился такой результат. Строили догадки, будто отцом Михаила был не кто иной, как Андрей Горюнов - мужик из соседнего села, очень привлекательный на внешность в молодости, по которому вздыхала не одна девушка. Да что там девушки! Замужние женщины украдкой любовались им.

Но не всем же иметь мужей статных и красивых, точно гренадеры. Где их таких пригожих наберешься! Природа на такие вещи не очень-то щедра, больше скупа.

Ростом и всей своей статностью Михаил вроде и походил на Горюнова, но вот лицом - никак, похож он был на Матвея Пронина. И нос, как у того, и губы, щеки скуластые, и глаза так же смотрят из-под слегка насупленных бровей, только цвет их у Михаила материн. Вот и неувязка, стало быть, получается. Отчего же тогда, спрашивается, у Михаила лицо

Матвееве, будь Горюнов его отцом?

Матвей не принимал близко к сердцу людскую болтовню, нисколько не верил ей, единственный его сын - его, и ничей больше, это уж точно. Однако, по правде если сказать, где-то в глубине души его нет-нет да и скребнет мысль: «А вдруг?» Но он тут же старался отогнать ее. Да и то такие мысли были, считай, по молодости. Сейчас Матвею за шестьдесят, и в его возрасте было бы просто грешно допускать в голову подобное.

Теперь уже спокойно вспоминал иногда он, что видел когда-то, лет тридцать назад, на базаре в райцентре, куда они с Дарьей ездили продавать сало, Горюнова. Тот стоял возле нее, они о чем-то тихо разговаривали. Больше всего взбесило тогда Матвея, что оба они как-то очень уж приятно улыбались друг другу.

Приехав домой, он побил Дарью, матерясь, на чем свет стоит:

- Я, понимаешь ли, на фронте руку оставил, а ты, значит, паскуда такая, нос воротишь! С Андрюхой разлюбозничаешь! Не по нраву стал... Да я тебя! - Он не находил больше слов и опять взвивался многоэтажным матом, тряся перед Дарьиным носом кулаком левой, единственной своей руки.

- Да уймись же ты! Господи! Ну, дурак, совсем дурак... И в мыслях ничего такого не было. А ты... - плача, говорила она, отчего он озверел еще больше.

Наутро, взглянув на лицо Дарьи, Матвей ужаснулся. Глухим нутряным голосом просил у нее прощения, казня и проклиная себя за содеянное.

Она молчала, всхлипывала, слезы выкатывались из щечек ее оплывших глаз, скользили по синеве щек. Матвею вдруг пришла в голову глупейшая дикая мысль: «Как могут они через такие щелки просачиваться?» И все занемело в нем от жалости к ней и страшного отвращения к себе.

Месяц Дарья и близко не допускала его к себе.

А еще через время он опять увидел Андрея возле Дарьи. Пока Матвей ходил выпить сто грамм, что делал он раза три-четыре за базарный день, отлучаясь для этой цели в закусокную, припожаловал к Дарьиному прилавку Горюнов. И опять,

как в прошлый раз, - тихий разговор и улыбочки.

На сей раз Матвей сдержался. Дарью не побил, но предупредил ее: увидит их вместе еще хоть однажды, то убьет ее непременно, и никакие слезы уже не помогут.

- Ох, до чего ж ты глупый, Матвей, - тоскливо сказала она.

- Но, но! - прикрикнул на нее. - Ишь, умная нашлась! Запомни одно: ежели что - пеняй на себя!

Вот и все, больше не к чему было придраться Матвею.

Вскоре Михаил родился. Забылось все.

До войны детей у Матвея с Дарьей не было, хотя поженились они за год до нее и детей желали оба. А война пришла - какие уж там дети! Матвей с первого месяца и до самого апреля сорок пятого воевал. И грязь месил, и пыль глотал, и под дождем мок, и коченеть до самой последней косточки доводилось - война, другой она не бывает. Смерть только чиркнула, да мимо проскакала, под самым Берлином срезало осколком руку, а он-то, дурень, втайне уже радовался, что скоро победа, и он, слава богу, жив. Погоревал, конечно, крепко, что оттяпала война напоследок у него руку, потом успокоился. Другие головы положили у самого порога победы, калеками беспомощными остались, а он? Привыкнет, никуда не денется.

И все ж иногда прикидывался Матвей жалкеньким, чтоб, значит, пожалела Дарья, понежничала с ним, как с дитем.

Сама же она всю войну горбила в колхозе, и дива в том никакого нет - все тогда работали за себя и за мужиков, ушедших на фронт.

Медаль Дарье дали уже после войны, за труд доблестный. Не забыли женщин, отметили и их - тружениц тыла. Надо, еще как надо награждать таких вот, как Дарья! Может, и не одну медальку вручить, не грех бы и орден. Да только, если подумать, то выходит, всем им надо ордена давать. Что ж тогда получится: все с орденами? Такого не бывает...

Только самый лучший орден для женщины - живой муж, вернувшийся с войны. И сколько ж их, сердешных, - страшно и подумать! - без таких-то награда осталось.

А время идет, не остановишь его, не притормозишь. Что-то забывается, что-то притупляется, иначе как же? Жизнь...

Вырос Михаил. Состарились они с Дарьей.

И Горюнов стал не тот - годы сказали свое слово.

И так же, как у них с Дарьей, был у него один сын - Федька.

Срок пришел, взяли Михаила в армию. Служил на Дальнем Востоке. Попал на один корабль с Федькой Горюновым. Сдружились они там очень, и когда со службы вернулись, дружба та продолжалась.

Все бы хорошо, да одна дивчина им обоим приглянулась. Люба Краснова - почтальонша. Как уж оно промеж ними троими все было, про то они только знают, а замуж Люба вышла за Федора Горюнова. Ясное дело, расстроилась дружба у Михаила с Федором. В таких случаях всегда так получается. Подругому и захочешь, все равно не выйдет.

После женитьбы своего дружка на Любе Михаил запил.

Не спали по ночам Матвей с Дарьей - вздыхали, за сына переживали. Уж хоть бы быстрее женился, думали, смотришь, забыл бы Любу. Да и было бы из-за кого сушить себя. Красавицей никак ее не назовешь, хотя, что и говорить, привлекательность в ней имелась. И еще было очень обидно за сына. Ведь Федор в отца своего, Андрея Горюнова, не удался, помельче вышел, поневзрачней. Никак не сравнить его с Михаилом.

Ну да, бог с ней! Выбрала и выбрала. Не стоило б Михаилу так убиваться по ней. Девочек вон сколько в селе! Так и лупают глазами на него. А он - ноль внимания, выпивать стал, облегчение душе своей в стакане, видать, нашел.

Попробовали Матвей с Дарьей по-хорошему, по-родительски с сыном потолковать, да не стал он слушать, отмахнулся.

- Не надо,- устало и как-то вяло отвечал на их увещевания.- Не лезьте мне в душу. Как-нибудь без ваших советов обойдусь.

И продолжал выпивать.

Через год Михаил женился. Вздохнули облегченно.

Жену себе взял не из своего села, из райцентра. Перед тем, видят Матвей с Дарьей, зачистил туда их Мишка. Чуть ли не каждый вечер ездил. Мотоцикл купил себе. Так что восемнадцать верст до райцентра - сущий пустяк. Выпивать

почти перестал, лицо разгладилось, посвежело. Ну, а что брови насуплены, так это от природы. Поездил так месяца два и привез себе жену. Галиной ее звали.

Свадьбу сыграли. Галина - учительница и попригожистей Федькиной Любашки-почтальонки. Так что и позавидовать им, Прониним, не грех.

По себе выбрал жену Михаил, хотя у самого, правда, образование восемь классов и работает трактористом. В вечернюю школу начал ходить. Видно, Галина надоумила.

Два года жили они хорошо, в ладу, а потом лад поломался. Опять начал пить Михаил, И пошло-поехало. Скандалы в доме затевал, руку на жену стал поднимать. А она терпела, сор из избы не выносила. Но ничего не утаишь б селе от людей. Видели те: вкривь и вкось пошло в доме Прониних. Удивлялись терпению Галины, другая на ее месте ушла бы давно, а она не уходила.

Вздыхала Дарья, мрачнел Матвей, в который раз советили сына, а тот всякий раз грубо обрывал их, не лезьте, мол, не в свое дело. Жалко было невестку, надеялись, что ребенок будет у них, и тогда все по-другому обернется. Но она все не рожала, и в этом видели родители причину разлада.

А тут еще беда.

Ехал зимой Михаил на тракторе - вез с поля солому на ферму, - Федора Горюнова по дороге догнал. Сел Федор в трактор, по пути было. Как уж там точно получилось - никто толком не знает, одним словом, попросил Федор через время остановить трактор, по легкой нужде потребовалось ему, стал из кабины вылезать, поскользнулся и виском об вылезший из гусеницы расшплинтованный палец ударился. Там же на руках Михаила и скончался. Следствие вели, не раз и не два Михаила допрашивали, на место, где все случилось, выезжали и в конце концов пришли к выводу, что действительно по нелепости, по случайности убили Федор. Сильно выпивши к тому же был. Из райцентра шел - из роддома - Любаша второго сына ему родила.

Что и говорить, жалко парня. Сынов осиротил, жену с малыми детьми на руках вдовой оставил.

Вскоре после похорон Федора приходил к Прониним его отец.

Сдал, сильно сдал Андрей Горюнов. И куда только все по-девалось с годами.

Растерялся Матвей, засуетился, усаживая уж очень неожиданного гостя. Оцепенела, не в силах сдвинуться с места Дарья, а Горюнов, сев за стоявший посреди комнаты стол, долго и пристально смотрел на нее, не мигая, лишь прищурив кустистые седые брови. Она же стояла у печки с прижатыми к груди руками и все не могла никак прийти в себя.

Не поздоровался Горюнов вслух, войдя в дом, только чуть кивнул и лишь сейчас, медленно отведя взгляд от Дарьи, произнес первые слова, обращаясь к Матвею:

- Сын дома?

- Дома, дома,- закивал Матвей и позвал Михаила. Тот вошел в комнату и нерешительно стал у двери.

- Садись,- не глядя на Михаила, указал Горюнов на стул напротив себя. Опять взглянул на Дарью, вздохнул. - Рассказывай...

И Михаил рассказал все так, как рассказывал у следователя.

- Так... - только и сказал Горюнов, когда Михаил закончил. - Так... - повторил и, хлопнув ладонью по колену резко поднялся. - Так... - сказал еще раз и, не попрощавшись, не сказав ни слова, вышел.

Тягостное молчание зависло в доме после ухода Горюнова.

Нет никакой вины Михаила в смерти Федора, следствие установило точно, однако нашлись злые языки, пополз по селу слухок, будто Федора Михаил убил. За старое убил - за Любашу.

Почернел Михаил, состарился сразу, пить начал больше прежнего.

Скандалов в доме, однако, не затевал. Замкнулся, окаменел. Едва переступив порог, валился на кровать одетый, Галина раздевала его уже сонного. По всему видно: любила она своего непутевого мужа, а он и не замечал ее, будто ее и не было.

Пил Михаил в одиночку, людей сторонился. Те дружки по бутылке, что были раньше, сами по себе исчезли.

Полгода прошло, как схоронили Федора. Август уже на дворе. Сколько казнить-мучить себя Михаилу! Должно ж время оттеплить его хоть чуточку. Время - лекарство.

Слышится стук открываемой двери, чертыханье зацепившегося за притолку Михаила, его грузные нетвердые шаги.

Он проходит в комнату, не снимая пропыленных ботинок, и валится в грязной одежде на кровать. Через несколько минут, поворочавшись, Михаил затихает.

В дверь из другой комнаты молча смотрят совсем-совсем старая Дарья и весь белый и высохший Матвей, с жалко втянутой в сторбленные плечи головой.

Завтра воскресенье и сыну не идти на работу - выходной. Тлеет надежда, может, останется дома, никуда не уйдет, не выпьет и, даст бог, завтрашний день что-то изменит в сознании Михаила, и он поймет, наконец, что дальше так продолжаться не может.

Надежда, надежда...

- Ложитесь, уже поздно, - говорит старикам Галина усталым голосом, и те согласно кивают головой, закрывая дверь.

Не спят старики, лежат молча, и каждый думает одну и ту же думу. Радовались они появлению на свет крохотного существа и не знали, что получится с их сыном не так, как хотели, как мечтали. Будто и воспитывали его, единственного своего, как все люди. В чем же ошиблись, что сделали не так?

О чем еще думает Матвей? О чем думает Дарья?

Не вспоминает ли она тот базарный день тридцать с лишним лет назад, когда рядом с ней стоял молодой и красивый Андрей Горюнов, и говорили они только об одном, лишь им ведомом; день, сложившийся так, что, разгоряченный не выпитой водкой, а слепой ревностью, Матвей избил Дарью? Слепая ревность... Так уж и слепа она! Не вспоминает ли, случаем, старая Дарья совсем-совсем затаенное, от чего дух захватывает, известное только ей одной да Горюнову, и до того глубоко спрятанное в памяти, что и сейчас, спустя многие годы, ей самой боязно прикоснуться к тому воспоминанию.

Да полно, было ли что?! Размылась память, потуманела, и уже не понять, где была, а где небыль... Что было, чего не

было? Кто скажет, правильное всего ответит, кроме самой Дарьи, которая, однако, ни отрицать, ни утверждать с уверенностью уже не может?

Не спится старикам. Чутко ловит ухо ночные звуки. Из то шорохи, не то приглушенные всхлипывания слышны из другой комнаты. Не спит, видно, и Галина, уткнувшись в подушку.

Жалко невестку, и уж Матвей и Дарья дивятся ее терпению.

Наутро поднялся Михаил ни свет, ни заря. Вышел во двор, сел на круглый камень-жернов, лежавший в дальнем углу двора невесть с каких времен, и долго курил. Затем решительно встал, с ожесточением крутнул каблуком по окуркам, потянулся всем телом и зашел в дом на родительскую половину.

- Ты чего? - удивился Матвей. - Петухи еще толком не кукарекали, а ты уже на ногах. На работу-то не иди сегодня? - Про себя же подумал, что и до открытия магазина тоже еще ой как далеко; а как откроется тот - только и видали Михаила!

- Не иди, - покачал головой Михаил. - Батя, где инструмент?

- Чего, чего? - не понял Матвей.

- Инструмент, говорю... Ворота перебрать надо. Доски, вон, снизу подгнивать начали.

Вот оно, оказывается, в чем дело. Сколько раз и Матвей и Дарья талдычили сыну про эти ворота, а он только отмахивался: «Успеется... Не к спеху». А когда ж успеется! Ворота совсем никудышные стали, того гляди - развалятся. Стыдоба перед людьми! Два мужика в доме, а того не скажешь. Да что там ворота! И дом перестроить давно пора, обветшал совсем. У людей хоромины стоят, у них же дальше того, что камышовую крышу на шифер заменили, дело не пошло.

А потом и вовсе Мишка ни за что не брался. А он, Матвей, с одной рукой много ли наработает? Отчаялись и надеяться, что возьмется сын за что-либо в доме. Жил, словно квариант. Да и когда ему что делать - по утрам только и бывал трезв. Надумал-таки, наконец... ишь ты!

Матвей проворно вскочил с кровати, начал одеваться.

- Да лежи ты, батя, не суетись. Ну зачем, спрашивается, встал? Скажи только, где он лежит. В сарае вроде нет, я смотрел.

- Как же, сынок! Хочь с одной рукой, а все ж отец помощник. Двоим-то, оно сподручней, - встала Дарья. - Пора и нам подниматься. И так все бока пролежали.

- И ты туда же, - сморщился Михаил.

- Чего ж залеживаться. Пока вы там мастеровать будете, мы с Галинкой печь растопим, постряпаем. Все ж воскресенье, хочется чего-нибудь и повкусней сготовить. Оно, может, и грех вам с воротами в такой день возиться, Да ничего, даст бог, он все простит.

- Ну, ну... - хмыкнул Михаил.

Они вышли с отцом во двор. Матвей хотел было тут же лезть на чердак, где лежал инструмент, но сын остановил его:

- Куда?! Сам достану.

Обрадовался Матвей, обрадовалась Дарья. Коли уж надумал Михаил воротами заняться, не меньше полдня провозит-ся с ними. Намается, глядишь, и на село пропадет охота идти. А выпить захочет, так у Дарьи припасено на всякий случай. Пусть уж лучше дома выпьет.

Надежда... Опять затлела надежда, и даже не затлела, а ощутимо зажглась. И у Матвея, и у Дарьи, и, конечно же, у Галины, вмиг успевшей одеться.

И впрямь с воротами провозились чуть ли не до полудня. Женщины звали завтракать, однако Михаил отказался:

- Закончим, тогда.

Работал он молча, порой останавливался и о чем-то задумывался, потом, будто спохватившись, опять брался за топор. Хмурое лицо его ни разу не тронула улыбка. Матвей изредка украдкой поглядывал на сына и качал головой. Тоже молчал. За полдня только и перебросились десятком-другим ничего не значащих слов.

Сели за стол. Дарья вопросительно на мужа. Тот кивнул головой, и она живо, по-молодецки скользнула в сени. Через минуту поставила на стол бутылку магазинной водки с запыленными боками. Спохватившись, тут же одним движением,

вытерла ее фартуком.

Михаил молчал.

Галина достала из шкафа узорчатые, с золотыми ободками, довольно вместительные рюмки.

Все притихли.

- Так! - неестественно бодрым, звенящим голосом, сказал Матвей, наполняя рюмки. - По такому случаю не грех и выпить! А что? Ворота как новые. Вот покрасим, и тогда уж точно не отличишь от новых. - Он поднял рюмку, посмотрел на нее, на сына, хотел что-то добавить, но передумал. - Ну, будем!

Выпили все. Даже Дарья, в лучшие свои времена чуть пригублявшая рюмку, на сей раз выпила до дна.

От выпитой водки тело размякло, глаза у Матвея слегка заблестели, появился слабый румянец на иссушенных щеках Дарьи, как-то по-особенному смотрела на мужа Галина. Лишь в Михаиле ничего не изменилось. В его фигуре чувствовалось напряжение, глаза сосредоточенно уставились в тарелку. Ел он вяло.

Дарья смотрела на сына с выражением какого-то затаенного ожидания. Тот поднял глаза, встретился взглядом с матерью, и она, уловив желание сына, опять наполнила рюмки. Матвей шевельнул бровями, губы Михаила дрогнули, и было не понять, улыбка ли это, или же невольное движение губ.

- А что, сынок? - Дарья первая подняла рюмку. - И по второй выпьем. Чего ж не выпить. Дома можно. И я, старая, не откажусь. - Еще раз повторила, уже задумчиво: - Дома можно... А? - И спохватилась, решительно, глубоко вздохнув, опять выпила.

- Выпей, Миша, - мягко сказала Галина, положив руку на его плечо. - Давай...

Михаил как-то нехотя взял рюмку и выпил с усилием, долго морщась после.

Переглянулись Матвей с Дарьей. «А? Мать?» - казалось спрашивали его глаза. И она отвечала: «Даст бог, даст бог...» Откровенно же, чего желали они, на что появилась, пусть пока и слабая надежда, даже глазами говорить не могли. Она была

робка и призрачна, словно паутинка по весне, появившаяся в углу у образов, свитая крохотным паучком-домовником, которую малейшим неосторожным движением можно было разрушить.

Более всего удивительным оказалось то, что Михаил отказался от третьей рюмки - отставил ее в сторону, коротко сказав: «Нет». И этот его жест, его желание, высказанное одним коротким словом, чуть укрепило непрочную паутинку, и опять появилась, все еще слабая, но уже уверенность, какую так осторожно выразила глазами Дарья: «Даст бог, даст бог...»

Она поставила недопитую бутылку в шкаф на видное место, а не отнесла ее в сени. И такой жест тоже имел свой особый смысл. При этом Дарья что-то беззвучно прошептала, повернувшись к образам, и перекрестилась.

Михаил вышел во двор и, как утром, сидя на каменном жернове, долго курил.

Матвей, пошатываясь, направился было во двор покурить, но Дарья замахала на него руками, и он послушно отправился на стариковскую половину. Сморенный выпитой водкой, прилег на кровать и через минуту уже тихо похрапывал. Сон его, не в пример ночному, сейчас был крепкий. Управившись с посудой, ушла на свою половину и Дарья, и так же, как и старик, впервые за последнее время уснула почти спокойно, без тревожащих душу мыслей.

Вернулся со двора Михаил. Тщательно побрился и надел новый, не надеванный с год костюм.

- Ты куда? - несмело спросила Галина.

- Надо. - Михаил долго смотрел на жену, отчего она смутилась, оглядывая себя: «Чего это он? Разглядывает, будто впервые видит».

В нерешительности потоптавшись у двери, вроде хотел что-то сказать, Михаил вышел.

- Где Миша? - встревоженно спросила проснувшаяся: вскоре Дарья.

- Не знаю, не сказал... - почти шепотом ответила Галина.

- И-и-и... Гос-по-ди-и-и!.. - горестно закачала головой Дарья.

Давно не было дождя. Клены стояли с подпаленными зноем узорчатыми листьями. Мелким же листочкам акаций жара была нипочем, и деревья стояли, выделяясь на фоне начавших буреть кленов сочными зелеными пятнами. Как весной, только не разбавленными пахучей белизной цветения.

Рыжая дорога, пучившаяся пылью, в которой, спасаясь от жары, полузарывшись, с раскрытыми клювами лежали куры, тоже изнывала от жары, и будто живая, вздрагивала, когда редкий порыв слабого ветра шевелил эту пыль.

Сколько хожено-перехожено по этой дороге! В детстве наперегонки бегали по такой же пыли. Она не клубилась, а расплескивалась в стороны, и ощущение было такое, что бежишь не по пыли, а по настоящей воде, и она ласкает мягким приятным теплом почерневшие, с исчезающими до самой зимы цыпками, босые ноги.

Теперь не увидишь босоногой ватаги, и куры чувствуют себя совершенно спокойно.

По этой дороге, загребая нетвердыми ногами пыль, Михаил каждый вечер возвращался домой. Сейчас же он шел и оглядывался по сторонам, и видел все вокруг, будто в первый раз.

По ней, по этой дороге уходил он в армию. Вот здесь, у колдунца, к нему подбежала Люба и чмокнула в щеку. Не успел Михаил опомниться, слово вымолвить, как она убежала, как убегала от него, когда он, набравшись храбрости, хотел сказать ей самое сокровенное. Отбежав, издали махнула рукой и исчезла.

Играла гармошка, горланили песни, наигранно бодро вели себя такие же призывники, как и он, но угадывалась в них печаль - почти каждый из них расставался с невестой; некоторые шли рядом, держась за руки, не стесняясь родителей. Михаил шел с матерью, часто вытиравшей глаза, и отцом, серьезным, с медалями, тоже всплакнувшим при прощании; и пока не настала минута расставания все оглядывался назад - не мелькнет ли во взмахе девичья рука...

- Служи, сынок. Хорошо служи, - в который раз повторял отец, обнимая его единственной рукой.

Михаил кивал головой и все думал о Любе. Подкатил к горлу комок, и не от того, что вот сейчас расстанется с родителями - нет. Три года он не увидит Любу...

Лишь в последний вечер перед уходом в армию Люба решила проводить ее. Раньше убегала с подружками и перед самым его носом захлопывала калитку. Всякий раз уходил Михаил, терзаемый жгучими муками, и всякий раз лелеял надежду, что придет же тот час, когда она не захлопнет перед ним калитку.

И он пришел, этот вечер. Они свернули к реке, долго сидели на берегу и молчали. Задумчивая, грустная Люба не была похожа на ту веселую смешливую девчонку, какой он знал ее.

Сколько слов он говорил ей мысленно! Вслух же произнести ни одного не смел - боялся.

- Смотри, смотри! Звезда падает! - толкнула она его. Михаил взял ее руку. Она не отняла ее.

- Звезда... - задохнувшись, прошептал он.

- Ты чего? - встревоженно спросила Люба и убрала свою руку.

- Люба...

- Ой! Вдруг бы она упала на землю! А? Горячая, наверное, до ужаса. Слушай, давай загадаем желание. Вдруг исполнится. Ну, приготовились! Как будет падать, так сразу и загадывай.

- Я уже давно загадал, Люба. - Ему не хватало воздуха.

- Правда? - удивилась она.

Он решил:

- Ты будешь ждать меня, Люба? - И замер, ожидая ответа.

- Может буду, может нет! - беззаботно и кокетливо ответила, ни на секунду не задумавшись, холодя Михаила неопределенностью.

- Люба...

- Ой! Нам пора!

Она вскочила и вприпрыжку побежала к дому.

- Слышь, Люба... - запыхавшись, начал он, когда они уже были у калитки.

- Все, все! Пора. Счастливо!

Простучали ее каблочки и - тишина. Самого главного, так и не сумел ей сказать.

Последний вечер, последняя надежда... Не захотела выслушать его!.. И все же она проводила Михаила. При всех людях поцеловала. Как же понять ее? Как?..

Встретились они через три года.

- Здравствуй, Люба!

Она широко открытыми глазами смотрела на него. Забыла даже поздороваться.

- Какой ты... - изумленно произнесла, словно не веря, что этот ладный моряк и есть Михаил Пронин.

- Уж такой... - улыбнулся Михаил. - Изменился?

- Конечно! Прямо не верится! Все хорошо! Все прекрасно!

Люба уже не убегала от него. Не девочка-подросток, а девушка, взрослая девушка сейчас была перед ним.

Быстрее бы свадьба! Теперь он знал, что иначе и быть не может. Правда, пока не говорил Любе о ней, но знал - скажет, скоро скажет. На днях скажет.

Чуть ли не каждый день виделись они с Федором Горюновым. То Федор к нему приедет, то Михаил наведается к нему. Всего-то шесть километров до соседнего села. И однажды Михаил познакомил его с Любой. Мог ли знать он чем обернется это знакомство!..

- Выходи за меня, Люба, - решился Михаил. Сомнений относительно ее ответа у него не было.

- Миша, - она мягко положила руки ему на плечи. - Зачем так быстро? Давай не будем спешить. Наше от нас не уйдет.

Поначалу не понял он смысла сказанного ею, а когда понял, жалко, вымученно улыбнулся:

- Значит, подождем? Понятно...

Не такой ответ ожидал он услышать. Горечью больно хлестнуло в груди. Обида, противная жалость к себе чуть не выплеснули вскипевшую в нем злость. Однако Михаил сдержался, и готовые сорваться с его языка едкие, больно царапавшие бы Любу слова застряли у него в горле, скомкались усилием его воли.

- Глупенький... Да ты меня не так понял. Ну, пусть месяц пройдет хоть, а потом... Не сердись. Перестань...

По-прежнему они встречались, однако Михаил чувствовал, что-то не так. Но что? От ответов на его осторожные вопросы она уходила, отделялась ничего не значащими шутливыми словами. «Ну, ничего, все устроится», - думал он. Только тревожили ее глаза с поселившейся в них задумчивостью. По ним-то он видел: Люба не до конца откровенна с ним. «Может, мне все кажется? - успокаивал себя. - Кажется... Да, да, мне все кажется. Ну что она, в самом деле, на шее виснуть должна?»

Михаил ждал месяц.

- Срок прошел, Люба. Так как? Может, хватит ждать? - Он еще очень надеялся.

- Миша, миленький... Я не хотела говорить тебе... Не хотела обидеть. Но... пойми меня правильно. Я тебе сейчас все скажу. Мне нравится Федор...

Все. Кончилась игра в кошки-мышки.

- Не надо... - прошептал Михаил, задыхаясь. - Не надо...

Потемнело в глазах, нестерпимо зажгло в них, и будто не слова произнесла, а плеснула в лицо чем-то горячим.

Михаил не помнил в тот вечер, где бродил и когда пришел домой.

Все.

Не захотел, не мог выслушать при встрече и Федора, когда тот пытался что-то объяснить ему.

Прошумела, провихрилась свадьба Федора и Любы, на которой гуляли два села.

И будто не было ничего. И впереди - туман...

Редко теперь он виделся с Федором. При случайных встречах не мог Михаил смотреть в его сторону, отворачивался.

Все ж таки встретились они, не отвернуться, не пройти мимо. Полгода назад встретились.

В тот день занарядили Михаила возить на ферму солому. Он сделал два рейса, а к вечеру, когда тронул от скирды нагруженные сани, забарахлил мотор, и трактор заглох. Грузчики столпились вокруг ковырявшегося в моторе Михаила и чертыхались. Уже совсем стемнело, а до села ой-ой сколько.

Благо дело, подвернулась машина, и °ни уехали.

Михаил не захотел уезжать. Решил все же попробовать завести двигатель. Он провозился довольно долго, прежде чем обнаружил пустячную неполадку.

Трактор устало гудел на одной ноте, шурша гусеницами по подмерзшему ноздреватому снегу, разрезая несильными фарами белесую от опускавшегося тумана темноту ночи. Отяжелели веки, и Михаил не сразу разглядел стоявшего у развилки человека. Тот поднял руку, и Михаил остановил трактор.

- Друг,- влезая в кабину, развеселым голосом ор.т человек.- До Марьевки не подкинешь? А?

Федор... Он в темноте пока не узнавал Михаила. Уселся рядом, протянул руку, здороваясь.

- Здравствуй, Федор, - с трудом выговорил Михаил.

- Ты?!

- Я...

- Так, может...

- Ладно, сиди, коли сел. Все равно мимо твоей Марьевки ехать. А там от дороги дотопаешь.

Они замолчали.

Федор порывался заговорить - Михаил это чувствовал,- но все не решался. Его качало на ухабах, он ударялся о плечо Михаила. Было видно, что Федор крепко выпивши. Михаил тоже выпил сегодня вина, но то было давно, в обед.

- Так... - первым нарушил тягостное молчание Михаил.- Родила?

Федор словно ждал именно этого вопроса и радостно закивал:

- Да, да! Родила! Понимаешь, опять сына. Три девятьсот и пятьдесят один сантиметр. Во! Оттуда еду.

Вот и второй сын теперь у Федора. Сын... А так ведь могло быть у него, Михаила. И так же кому-нибудь взахлеб общал бы он. Могло... Радуется Федор. А почему ж : не радоваться! Почему? Так и должно быть. А он, Михаил, что? Ну что? Зависть? Конечно, зависть. Нет, нет, не надо. Приглуши ее в себе. Смотри на дорогу, успокойся, как бы в кювет не заскочить с санями. Спокойно, спокойно. Порадуйся за друга

своего, за Федора. С сыном поздравь. Ведь радость у человека! Положено в таких случаях поздравлять людей. Даже друга своего бывшего. Хоть и перешел тот дорожку, протопал без всякой жалости по душе, а - надо. Надо, Михаил. Однако одевенел язык, не шевельнуть его.

Смотри, смотри за дорогой, не дергай рычаги. Как слепой конь, рыскает трактор из стороны в сторону. Но мысли-черт бы их побрал! - живым клубком в голове ворочаются. Царапают душу, не притихают. Быстрее бы развилка на Марьевку! Вышел бы Федор и шагал себе дальше. А он болтает, рожа довольная - еще бы! Но Михаил не слышит его, только видит - точно у рыбы беззвучно рот открывается, а звук, будто у динамика, выключен. Смотреть неприятно, однако не выключишь - не радио. Кулаком бы по этим слюнявым губам. Вмиг протрезвел бы! Набрался на радостях, счастливый папаша... Но, но, Михаил, не дури! Негоже и думать так. А Галина, что ж, разве не сам захотел на ней жениться? «Давай распишемся, чего уж тут, - предложил ей. - Не наездишься каждый день... Пока лето - ничего, а слякоть пойдет - все, тогда жди с моря погоды».

Предложил без волнения, просто и буднично. Жениться все равно надо, никуда не денешься от этого, так что, чем раньше, тем лучше.

Познакомился он с ней случайно, в райцентре, куда приехал в выходной просто так, поболтаться. Там можно ходить целый день и никто не знает, кто ты есть, чего хочешь, что на уме у тебя. В селе каждая собака тебя знает, тут все на виду. С вечера что подумаешь, а уж поутру, у колодца, думки твои у баб на языке перемалываются. Ничего не скроешь.

А в райцентре хорошо. Душой отдохнуть можно, И никто не спросит тебя, отчего это ты сумрачный такой или, наоборот, чересчур веселый. Ходи себе на здоровье, какой есть, и никому до тебя дела нет.

Когда узнал, что Галина учительница, сначала даже оробел. Перед учителями до сих пор он чувствовал себя скованно и почему-то их, как школьник, побаивался. Но ни малейшего высокомерия или чопорности в Галине не было, и робость вскоре прошла. Он даже удивился ее простоте и тому,

что она с ним, с самым, что ни на есть рядовым трактористом, вытянувшим только восемь классов, ведет себя совершенно на равных.

Отношения их складывались легко и просто. Ему еще долго не верилось, даже после их близости, что эта молодая женщина, красивая, куда красивее и статней Любаши, принадлежит ему, и что все это - явь, а не зыбкий туманный сон.

Хоть и трудно уходила Любаша из его сердца, однако Галина постепенно вытесняла ее, и Михаил был благодарен случайности, подарившей знакомство с ней. Не было той бури чувств, какие играли в нем рядом с Любой, но все равно ему было хорошо.

Галина не стала скрывать, сказала ему, что уже один раз в жизни ошиблась, на что он прореагировал вяло. Было так было. Чего уж тут... До него было. И вины в том ее - никакой.

Успокоился Михаил после свадьбы, совсем успокоился. Исчез неприятно давивший в груди груз, расплылась, начала теряться в сознании Люба. И только изредка, ни с того ни с сего ярким всполохом вспыхивал ее образ, обжигал на миг душу.

Ласкова и нежна Галина, покойно и хорошо с ней Михаилу. Чего желать большего? Не счастье ли это?! Пусть не яркое, опьяняющее, с всплесками бурной радости-- простое и спокойное в своем постоянном тепле.

У Федора родился сын, и Михаил с нетерпением ожидал со дня на день, когда Галина сообщит и ему желанную новость.

- Вот родится у нас сынишка, Олежкой назовем. А? - мечтал он. Имя ребенку втайне дал еще в то время, когда надеялся, что родит ему его Любаша. - Ты что? - удивленно спрашивал Галину, видя в ответ ее какой-то жалобный тоскливый взгляд. - Не надо, брось... Девочка родится, так и ладно, - успокаивал ее. - Тоже очень хорошо. А что? Чем хуже мальчишки? Второй, значит, мальчишка будет. А нет, то уж третий - точно!

Год прошел - ничего. Помрачнел Михаил, но ничего жене пока не говорил, вида не показывал. А Галина как-то сникла, глаза виноватые. Иногда покажется Михаилу, хочет сказать что-то, но никак не решится. Спрашивал себя: «Что?...» Но

потом приходил к выводу - ему действительно показалось.

Почти два года прошло, и не выдержал Михаил, спросил:

- Почему?

Она заплакала. Долго плакала. А потом и узнал он все.

- Не будет у нас детей, Миша...

- Как, то есть?! - ошарашенно спросил, не понимая жену, смысла слов ее жестоких не понимая.

- Так... Не способна я... Побоялась сразу тебе сказать да, по правде, и сама на что-то еще надеялась. А теперь...

Не говорила она, а сердце его жалила. С мукой выслушал ее до конца. Застонал, заскрежетал зубами, до боли сдавил себе виски. Взвыть от досады, от боли дикой хотелось.

Лопнула пружина, раскрутилась.

И на второй день пьяным кулаком ударил он по ставшему противным лицу. Не закричала, не побежала Галина, сжалась в комок и только стонала. Ее беззащитность, ее покорность отрезвили Михаила, и он, ужаснувшись слепой своей злобе, своей жестокости, бессильно упал на кровать.

Теперь ни дня не мог прожить, чтоб не выпить.

А Галина не ушла, осталась.

В редкие минуты трезвости ненавидел себя, оправдывал жену, понимал, что любит его Галина, сильно любит, а за что - непонятно. Порой находило на него просветление. Плакал пьяными слезами и жадно целовал ее, мучаясь презрением к себе, а через мгновение ум затемнялся начисто, и опять он плыл по течению, барахтаясь, не в силах выбраться из него.

В такие же редкие минуты просветления вставала перед ним милая, чистая Любаша. Глухая тоска и мысли покончить все разом, уйти, не мучить себя, не мучить других, все чаще овладевали им. Но и на это не хватало сил. Подленькая жалость к себе брала верх. Чтобы убежать от нее, он снова выпивал - становилось легче.

А потом наступил перелом, пришло мнимое успокоение, но инерцию остановить было уже нельзя.

И вот встреча с Федором.

Михаил усмехнулся, он почти трезв в сравнении с сидящим рядом в кабине Федором.

- Слышь-ка, Миш,- засуетился, закопошился Федор, шаря непослушными руками в карманах полушубка.- У меня есть... вот,- вытащил, наконец, поллитровку.- Ты не обижайся. Времени сколь уж прошло... Друзьями как-никак были. Выпьем? А?

Михаил остановил трактор. Долго смотрел на Горюнова.

- Ты чего? - съезжился тот.

- Ну что ж, давай выпьем, - будто не слыша обращенного к нему вопроса, произнес Михаил. - Стакана и закуски нет.

- А мы из горла, - обрадованно нашелся Федор. - А закуска, вот она, - и достал кулек конфет.

- Спрячь. От конфет тошнота одна. Домой вези, - сказал Михаил. - Старшему своему...

- Ну, коли так, и ладно, - согласился Федор, пряча кулек. - Эх, сейчас бы огурчика соленьенького! Точно, Миша?

- Точно, точно... Дома закусишь. Федор протянул бутылку:

- Давай.

Михаил отвел его руку:

- Ты первый. Твой праздник.

Федор не стал настаивать, крутнув бутылку, с бульканьем опорожнил ее на добрую треть. Рука его дрожала и водка бежала по подбородку.

- Ух! - тяжело глотнул он воздух. Уткнулся носом в рукав полушубка, шумно дыша, будто нюхая корочку хлеба.-Все. Остальное ты давай. Я - пас. И без того тяжелый уже.

Михаил медленным движением взял бутылку, поднял до уровня глаз, словно раздумывая, пить все сразу или поделить на два захода, потом опустил ее, повернулся к Федору.

- Миш, ну, поехал. Чего ты с ней, как с куклой, нюнькаешься, - заплетающимся языком произнес тот.

- Поздравляю! - Поднял бутылку Михаил и враз опорожнил ее.

- Во! Молодец! - заулыбался Федор, пытаясь обнять за плечи Михаила. Тот молча отстранился.

Закурили. Федор опьянел окончательно.

- Нам, однако, Миша, поговорить надо. Все равно - надо. Понимаешь, мы так и не поговорили с тобой, а надо, надо... -

Горюнов еле ворочал языком.- Понятно, такой-сякой я, но друг ведь, Миша? А? Не враги же мы с тобой. Люди... Очень даже люди. Помнишь нашу «коробку», как штормили у Курил? Во! Да? Постой, я сейчас. Сейчас, сейчас... - Федор с трудом начал подниматься с сиденья, расстегивая пуговицы. - Я мигом, по-маленькому... - повернулся он к Михаилу.

Открыл Горюнов дверцу, занося ногу, чтобы ступить на гусеницу. И тут Михаила словно кто толкнул. Не успев даже ни о чем подумать, он с силой ударил ногой пригнувшегося Федора. Лишь когда тот беззвучно исчез в проеме дверцы, явилась запоздалая мысль: «Вот он, сволочь, Федька! Он поломал мою судьбу! Он!» - И была эта мысль какой-то чужой, будто другой человек насильно впихнул ее в голову Михаила.

С минуту он сидел, не шевелясь. Ровно, на низких оборотах, работал мотор. И больше ни одного постороннего звука. Михаил забеспокоился. Что-то не слышно Федора. Пьяный в стельку, небось упал и сразу уснул на дороге. А оставлять нельзя, замерзнет к чертовой бабушке! Нет, нет! Хотя и сильно желание плюнуть на пьяного Федьку и рвануть трактор, однако Михаил не может сделать этого. Выбравшись из кабины, сразу же увидел Федора. Тот лежал уткнувшись лицом в подмерзлый леденистый снег.

- Вставай, - нагнувшись, толкнул его в плечо. - Хватит лежать, пора ехать.

Федор не ответил, не шевельнулся. Михаила пронзило страхом. Лихорадочно зачиркав спичками, которые никак не хотели зажигаться и ломались, он опустил на колени у головы Федора. Наконец спичка зажглась, и в ее слабом призрачном свете он с ужасом увидел темную, почти черную лужицу крови. Схватив Федора за плечи, перевернул его на спину и волоком потащил под свет фар. На правом виске виднелась небольшая, с трехкопеечную монету ранка, из которой сочилась кровь. Глаза Федора приоткрылись, чуть дрогнули губы.

- Федя, дружок! Ты слышишь меня? Федя! Ну! - иступленно закричал Михаил. Глаза Федора медленно закрылись, по лицу пробежала будто тень, и оно стало вдруг каким-то чужим, почти не узнаваемым, не принадлежащим Горюнову.

И Михаил все понял. Федор был уже мертв. Но в это не верилось, и он долго еще тормозил своего бывшего друга, отнявшего у него Любу, умолял открыть глаза, просил сказать хоть слово, трогал застывшие его губы, расстегнул одежду на груди и все прикладывал к ней свое ухо, надеясь на чудо.

Чуда не было.

Затащив тяжелое тело Федора в кабину, Михаил отцепил сани и на полном газу рванул трактор в село.

...На допросе у следователя, сам того не ожидая, он вдруг сказал, что Горюнов, выбираясь из кабины, поскользнулся и, падая, ударился головой о палец гусеницы. Следователь недоверчиво покачал головой, но Михаил стоял на своем, и эта пришедшая в самый последний момент спасительная ложь утвердилась в сознании Михаила настолько, что он уже верил - так оно было и на самом деле.

Следствие прекратили, определив невиновность Михаила. Однако облегчение, какое он испытал поначалу, после прекращения дела, оказалось призрачным. И шевельнувшаяся было надежда, что теперь Люба одна, и что можно круто изменить свою жизнь, устроить ее так, как мечтал когда-то, вскоре растаяла. Он боялся увидеть Любу. Боялся ее глаз. И все чаще вставало перед Михаилом безвольное лицо Федора и темная лужица крови. Выпив, Михаил уже не пьянел, а словно проваливался в тягучий мрак, окутывающий и разъедающий не только его тело, но и сознание. Он уже боялся себя. Казалось, его разделили на две части, и в какой он, собственно, существует - непонятно. Временами подступало желание взвыть, заорать на весь белый свет и, выдохнувшись, тут же покончить со всем этим враз, не раздумывая, не откладывая ни на секунду.

Все же что-то останавливало его, и он тлел, не понимая ни себя, ни того, сколь долго может жить в таком состоянии.

Многое, очень многое картинками прокрутилось в голове Михаила, прежде чем он оказался у дома Горюновых, где жила овдовевшая Люба с двумя детьми.

Гулко и неровно, как перед плахой, затрепыхалось сердце.

Калитка скрипнула, и сразу взвилась тонким лаем вылезшая из будки коротконогая собачонка. И тут же, увидев выходящую на крыльцо дома хозяйку, замолчала,, опять нырнула в конуру.

Люба была в выцветшем коротком халате, из-под которого выглядывали кружева комбинации. На руках держала ребенка, тот тянулся ручкой к ее груди, распахивая халат, обнажая белое незагорелое тело, но она не замечала этого, остановилась и с недоумением и тревогой смотрела на Михаила.

С жадностью глотнув не августовского жаркого воздуха, а, показалось, обжигающего холода крещенских морозов, он прохрипел:

- Я убил Федора... Я...

БИЛЕТ ДО МАГАДАНА

Много ли, мало ли, тут каждый судит по-своему, - за плечами у Саньки Демина ровно тридцать лет. Ума же до сих пор он не нажил.

Так считают многие, кто знает его.

По этой, видно, причине и зовут его Санькой, хотя давно бы пора по имени-отчеству величать.

Но никто не знает Санькиной души... А он? Знает? Спроси его о том, он наверняка пожмет плечами - и только. Улыбнется небрежно, ерунда, мол, какая! Живет человек и живет, а душа - что это такое? И будет смотреть наивно и непонимающе своими чайными, чистейшими глазами.

И все-таки, как и у любого человека, есть она у него - душа. Только вот странная какая-то. Будто живет сама по себе, вроде отдельно от Саньки.

И попробуй тут пойми, что к чему... Что движет твоими мыслями...

Задуматься - только руками развести...

Утром Санька прилетел в Москву из Магадана.

Длиннющий перелет порядком утомил его: на бетон столбчатого аэропорта он ступил, как моряк после длительного плавания, слегка покачиваясь. На поезде все же гораздо приятней. Хочешь - полежи в купе, вздремни под перестук колес, хочешь - просто посиди у окна. Санька любит часами смотреть в окно. А захочется, можно пойти в вагон-ресторан и посидеть несколько часов, лениво потягивая пивцо, приглядываясь к хорошенькой официантке, если таковая случится в вагоне-ресторане.

Получив свой багаж, вернее, элегантный небольшой чемодан из натуральной кожи, который он по случаю купил у одного моряка в Магадане, отвалив, понятно, приличные денежки, Санька нацепил солнцезащитные японские очки,

которые приобрел в тот же день, что и чемодан, только у другого моряка, и вышел из здания аэропорта. Покурил, нежась на теплом солнышке, и, поймав такси, отбыл в столицу.

- Никого больше не брать, - сказал он водителю.

Понятно! - коротко ответил водитель и лихо рванул машину с места. Через минуту стрелка на спидометре перемахнула через сотню.

- Лихой ты парень, - покосился на спидометр Санька.

- А как же! Будешь пылить - на чай не заработаешь.

- Ладно прибедняться, на молочишко для детишек все равно сшибаешь. Знаю я вашего брата, - снисходительно сказал Санька и по-свойски похлопал водителя по плечу.

В Москве Санька бывал не однажды, но всякий раз испытывал особую торжественность перед встречей со столицей и всякий раз с любопытством глазел по сторонам дороги, когда ехал из аэропорта, радуясь, если встречал знакомое, виденное им в прошлые разы и отпечатавшееся в памяти, будь то телеграфный столб или выбежавшая из леса прямо к дороге любопытная березка.

- Откуда? - поинтересовался водитель.

- С Магадана.

- Золотишко?

- Нет, экспедиция.

- И как?

- Что - как?

- Ну... насчет бабок?

- А-а-а... Ничего, знаешь... Жить можно. Оклад, то, се, так понемногу кое-что и набегают.

- Значит, на окладе...

- Ну. У ИТР оклад.

Санька соврал. Никаким ИТР он не был. Работал самым что ни на есть обыкновенным рабочим. Но если бы сейчас водитель спросил о должности, Санька присвоил бы себе титул не меньше какого-нибудь зама. Внешность и возраст вполне позволяют это сделать.

- Ты куда? - спросил водитель, когда они въехали на окраину столицы.

- Куда? - переспросил Санька. Действительно, куда? И тут же ответил: - На Казанский вокзал давай.

С лихим компанейским водителем они распрощались тепло. Стало даже чуточку грустно, как бывает всякий раз, когда расстаешься с хорошими людьми, даже если знакомство с ними продолжалось всего какой-то час. «Ну что ж, гони дальше, - подумал Санька. - А то и вправду на молочишко детишкам не заработаешь. Таких дураков, как я, небось не очень много на сзете водится, другие платят копейка в копейку. Мне-то что, я и тройне заплачу - не жалко. Интересно, так и не спросил, сколько ж их у этого таксиста, детишек-то? Много ли им молока требуется?»

У Демина ни жены, ни детей не было. Он жил, и жизнь его казалась ему пока не настоящей. Все чего-то ожидал, думал, вот-вот придет тот момент, когда наступит единение Санькиной души и его самого. Не его тела, нет, именно его самого, - опять-таки все это трудно объяснить простыми словами, какими изъясняются люди, - и кончится тогда раздвоение. Станет он настоящим Александром Деминым. Что за личность получится, он представлял не очень хорошо, но тем не менее жаждал, чтобы такое случилось. И побыстрей.

Однако время шло, а ожидаемый момент все не созревал, Санька с досадой иногда рассматривал себя изнутри и ни к какому выводу не приходил. Виделась одна мутность. Может, что-то просветлеет, и тогда...

Чего хотел, чего ждал? И сколько может длиться подобное эфемерное состояние человека, ожидающего невесть чего?

«Ничего, - думал Санька. - Что-то все равно переменится, дай только время... Не подошел еще тот срок...»

Казанский вокзал шумел, бурлил беспорядочным потоком тысяч людей. Громадные залы доверху были заполнены гулом человеческих голосов.

Демин подошел к расписанию движения поездов, поставил свой роскошный чемодан между ног и стал читать. Пробежав глазами несколько верхних строк, отвернулся от расписания. Зачем он приехал на этот вокзал? Можно было бы приехать и на любой другой вокзал столицы - разницы ника-

кой, но его почему-то потянуло именно на Казанский.

Может, оттого, что когда-то, довольно давно, впервые приехавшего в Москву Саньку Демина встретил вот этот самый вокзал, поразивший его громадностью, сутолокой и оглушивший его чуть ли не до страха, явившийся своеобразными воротами, ступив за которые, он, совсем еще тогда пацан, глотнул столичный воздух, который опьянил его. И обычный будний день показался Саньке праздничным. И он не понимал, стоящий на привокзальной площади, почему куда-то спешащие люди, очень много людей, не выражают ни капли восторга, их лица озабочены, и не видно на них праздничного улыбчивого света.

Он был огорчен этим открытием, и даже обижен, не за себя, нет - за Москву. Ему казалось, что человек, очутившийся в ней, подобен человеку, оказавшемуся на празднике.

А приехал он тогда в Москву просто так, безо всякой цели. Вернее, цель была. Он приехал посмотреть Москву.

Выросший в селе, к семнадцати годам он вдруг ощутил непреодолимую потребность непременно побывать в Москве. Она снилась ему, с затаенной жадностью он смотрел киножурналы, где всегда повторялись кадры: Москва-река, плывущие по ней белые теплоходы, а потом постоянно жило ожидание встречи со всем виденным на экране уже наяву.

Почему такое происходит с ним, он понять не мог, да и не задумывался над этим. Хотелось - и все тут. И однажды, закинув за плечи рюкзак, он исчез из дома, никому не сказав ни слова, даже матери.

- Паразит ты проклятый! Да когда ж ты только ума наберешься. И где ж ты только шляешься, голова твоя непутевая! Родной матери ничего не сказал, как сквозь землю провалился! Хоть бы мать пожалел, сердце за него разрывается, а он! Господи, да за что же мне такое наказание! Живо признавайся, где тебя черти носили?! - накинулась на него мать, когда через неделю он явился домой, похудевший и осунувшийся.

- Отстань, не ори, - вяло сказал он ей в ответ, - Будто соскучилась незнамо как...

И мать увидела в нем что-то новое, не знакомое ей до этого дня. Задумчивые глаза, усталые, и в них одновременно непо-

нятный лихорадочный блеск, а сам Санька какой-то отрешенный, витающий мыслями где-то далеко, будто пока еще не присутствовал в своей родной хате.

Мать перестала кричать, смолкла и удивленно смотрела на Саньку. А он, словно не замечая ее, топтался в комнате. И впечатление было такое, точно очутился он в незнакомом месте, у незнакомых людей и не знает, что же ему делать дальше.

- И где ж ты был, сынок? - теперь уже спокойно, с оттенком жалости и ласки к своему «непутевому ди-тю» спросила мать.

- Где? - переспросил он, будто не понял ее вопроса, и смотрел куда-то мимо матери, отрешенно и задумчиво.

- Да, где, сынок? - опять повторила она.

- В Москве, - коротко ответил он и отвернулся, словно давая матери знать - в этом коротком ответе заключено все, что могло интересовать ее.

Она ахнула, всплеснула руками и опустилась на кровать.

- Да зачем же тебя носило туда?

- Надо, - так же коротко ответил ей сын.

Она не стала его спрашивать ни о чем. Знала, большего от него сейчас не добиться. Только что-то тихо шептала про себя и ахала, а потом и всплакнула тихонечко.

Санька ушел в другую комнату и затих.

Заглянув через время туда, мать увидела: сын лежит на кровати, заложив руки за голову. Глаза его были закрыты, но мать почуяла - он не спит. Долго смотрела на него, вздохнула и отошла, не стала тревожить.

Да, давно это было...

Постояв у расписания поездов, так больше и не посмотрев на него, Демин взял чемодан, сдал в камеру хранения и зашел в ресторан.

В этом огромном зале со свисающими будто откуда-то с небес, а не с высокого потолка, тяжелыми люстрами Демин был не впервые. У него даже облюбованное местечко есть в самом дальнем углу от входа, откуда виден весь зал. Здесь, как и на вокзале, стоял гул, только мягче и приглушенней.

К удовлетворению Саньки за облюбованным им столиком оказалось свободное место. Но у него сразу пропал аппетит, когда он взглянул на подошедшую официантку. Это была пожилая женщина, чересчур длинная и очень худая, однако с претензией на молоджавость, давным-давно покинувшую ее. Он заказал первое, что попало на глаза в меню, и сто граммов водки, потом окликнул официантку, уже отходившую от столика, и заказал еще сто. «Не положено», - бесстрастным голосом сказала она, и Демин сморщился, будто откусил страшно кислое яблоко. «Ладно», - секунду подумав, взглянув на его исчерченное гримасой лицо, кивнула официантка и исчезла.

«Ну для чего, спрашивается! - раздраженно подумал Санька. - Для чего она тут! Чтобы аппетит людям портить? Неужели молоденьких нельзя набрать?..»

Кое-как выпив принесенную водку и едва поковырявшись в поджарке, он щедро расплатился, словно этим извинялся перед официанткой за свои нелестные мысли, и направился в метро.

Особый неповторимый звук приближающегося поезда, какой можно услышать только в метрополитене и нигде больше, как-то сразу взбодрил Демина, и через две станции он уже и думать забыл о злополучной официантке, уже другие мысли замелькали у него в голове.

Непреренно, первым делом, бывая в Москве, Демин шел в Александровский сад и подолгу стоял у Могилы Неизвестного Солдата. Сюда приходили молодожены и с тихой грустью бережно возлагали цветы. Демин смотрел на счастливых невест, и у него першило в горле, где-то в груди что-то шевелилось и покалывало. Потом он шел к Царь-пушке, стоял подолгу там, обходил Кремль и уже только после этого шел на Красную площадь.

И сегодня он не изменил своему правилу.

...Тогда, в первый приезд в Москву, Саньку изумляло буквально все. Он страшно уставал к вечеру, ноги гудели, но он был счастлив. Изумление не покидало его даже во сне. Он был взбудоражен от сознания того, что он, какой-то Санька Демин из никому не известной Каменки, так запросто гуляет

по столице, по ее улицам, по Красной площади, по загадочному и по-своему строгому и торжественному Кремлю, исторгающему на Саньку дух далекой старины. Он начинал понимать и чуть не явственно ощущать выражение «седая старина», ранее трудно воспринимаемое им.

Ночевал он на скамейках в зале ожидания Казанского вокзала и никаких неудобств не испытывал. Все было хорошо, все было прекрасно. Побывал и на соседних вокзалах, Ярославском и Ленинградском, однако ночевать всегда шел на «свой» вокзал.

Еда для Саньки не имела никакого значения. Утром и вечером он съедал кусок жареной колбасы и выпивал стакан какао, и все это только затем, чтобы голодный желудок не отвлекал его от того большого дела, Ради которого он приехал, - посмотреть Москву.

О доме почти не вспоминал. Было просто некогда об этом думать. В его переполненной впечатлениями голове даже места не осталось для воспоминаний. Правда, перед тем как Санька засыпал, найдя кусочек свободной скамейки, что было не так просто сделать, ему туманно являлось лицо рассерженной матери. Но оно тут же расплывалось и исчезало, уступая место снам, в которых повторялся весь предыдущий день.

Мать вообще-то у него не строгая, хоть и не прочь пошуметь. Она добрая и любит Саньку. Он это знает. Любит и он ее, только, боже спаси, чтоб про то кто узнал, даже сама она, мать. А бывает, Санька злится и почти ненавидит ее и обзывает про себя по-всякому. Только быстро у него это проходит, и он уже жалеет ее, винится перед ней. И опять - про себя. Вслух же про то он никак не может сказать и почти всегда разговаривает с ней грубовато и дерзко, а она, видно, все понимает и всегда чувствует, каков на самом деле Санька.

Красивая она у него, мать... Вот только не сложилась жизнь ее. Сама виновата, так люди говорят. И Саньке кажется, что он согласен с ними. Но порой так и хочется крикнуть им: «Не ваше дело! Ни в чем она не виновата! Может, она лучше вас всех, и ничего вы не знаете, ляскать языком только умеете!»

Чересчур добрая Любка Демина к мужикам - такое мнение о Санькиной матери в Каменке. Она же к этому мнению совершенно равнодушна, может, в душе, правда, и переживает, но Санька не раз слышал, как мать говорила соседкам:

- Тьфу! Да пусть болтают! Хочется людям языки почесать - пускай! - и смеялась: - Пусть бабоньки спасибо скажут, что я есть такая! Не было б меня, кого б еще обсуждать, а?

А несколько раз Санька видел, как после таких разговоров мать лежала ничком на убранной кровати, прямо на покрывале, на котором она не терпела даже морщинки, и, уткнувшись в гору подушек, вздрагивала плечами.

У Саньки сжималось горло, будто в нем комок застревал и трудно было его проглотить. Хотелось подойти к матери, нежно погладить ее плечи, прижаться к ее щеке, и чтоб потом она встала и улыбнулась. Она казалась ему в этот момент не его матерью, а девчонкой, которую он, Санька, должен успокоить и защитить. Именно в такие моменты и хотелось ему закричать людям, чтобы они заткнулись и не трогали его мать. Он уже было делал шаг, чтобы подойти к ней, протянуть руки, но пересиливал себя - ложное мальчишеское понятие о мужской сдержанности останавливало его, и он уходил из дома, а вернувшись через время, заставал мать такой, будто ничего и не было. Кровать уже убрана. Как всегда безукоризненно, без единой морщинки. И все владевшие им только что чувства к матери покидали его. Исполдволь, из каких-то невидимых щелей выползали другие, сначала робко, потом смелее, в конце концов рождая даже неприязнь. Затушеванную, явно не въфаженную- но неприязнь. Потом через время исчезающую, уступающую место другому чувству, граничащему почти с безразличием. И такое чередование отношений к матери напоминало некую пульсацию, законов которой даже сам Санька, конечно, не знал.

Мать за свою жизнь была замужем всего один раз. И то недолго.

Санька очень обрадовался, когда в их доме появился Андрей. Он так и представился, когда они знакомились. Не дядя Андрей, а просто Андрей. Саньке это ужасно понравилось. Поправился и сам Андрей, ладный, крепкий и красивый. Очень

они с матерью подходили друг другу.

А знакомиться, вообще-то, было ни к чему. Андрей жил в Каменке уже несколько месяцев, так что Санька знал его распрекрасно. Вот и хорошо, что есть теперь у них Андрей, думалось Саньке, теперь и они ничем не хуже других людей. Небось перестанут теперь скалить зубы. И втайне уже решил, что через время он обязательно будет называть Андрея отцом. О таком отце можно только мечтать.

Андрей приехал откуда-то с Севера. Каким ветром занесло его в Каменку, Санька, конечно, не знал. Да и зачем ему это было знать? Главное - Андрей есть и теперь живет в их доме. А работает шофером, правда, не в колхозе, а в сельпо. Для Саньки разницы в том никакой, сельпо не где-то, а в их же селе находится.

Санька был дома, когда мать первый раз пришла вместе с Андреем. Тот протянул Саньке руку, крепко пожал - Санька не поморщился, хотя было больно. Затем Андрей развернул сверток, который принес с собой, и вручил Саньке настоящий футбольный мяч и боксерские перчатки. Такого мяча Санька не видал никогда в жизни, разве что в кино - бело-черный, с иностранной надписью. Такими мячами играют классные команды. У них в Каменке колхозные футболисты гоняют обыкновенный коричневый мяч, потертый и облезлый, его и близко сравнить нельзя с этим красавцем, подаренным Андреем.

- Держи, тебе, - сказал он. - Нравится? - И смотрел на Саньку с улыбкой, весело и хорошо.

- Да, - тихо ответил Санька. Что и говорить, подарки ему понравились. И добавил: - Очень...

- Ой, да он у нас тихоня. Никогда не видела, чтоб с ребятами мяч гонял, - сказала мать. - А уж про бокс, так у нас в селе никто про эту штуку толком и не знает. Аж странно, глянешь в телевизор: мутузят друг друга почему зря, а спрашивается, чего ради? Делать людям нечего.

Хоть мать и говорила так, однако видно было, что она довольна. И глаза у нее улыбаются хорошо, как и у Андрея.

А еще вытащил Андрей бутылку водки и бутылку шампанского, красивым жестом водрузил их на старенький стол с

потертой клеенкой.

- Я сейчас, - с девчоночьей легкостью порхнула мать к шкафу и через секунду стол был застлан бархатной скатертью, которую до этого мать никогда не вытаскивала.

- Спорт - дело нужное, - меж тем говорил Андрей. - Главное - движение и движение! Понял? Особенно в твоём возрасте. Побегал с мячом, поработал с перчатками, можно для начала подушку к стене привесить и лупить её, чтоб аж перья летели, и - порядок! Устанешь - хорошо! Кровь по телу гуляет, мышцы гудят, сила, значит, набирается. Мужик должен быть - ух! Хлипачкам и в обыкновенной жизни знаешь, как туго приходится! Понял, Сашок? То-то же!

«Сашок...» Оять новое. Никто так не называл Саньку.

- Я вот люблю спорт, - продолжал Андрей. - Занимался в своё время много. Только... - и тут же погрузстнел. - Только не получилось... - И оять весело, вмиг отбросив грустинку: - А у тебя, может, получится, чем черт не шутит! А? Только и это не главное. Главное - чтоб силенка была, здоровье. Как говорится, и душа и тело молоды. Все это спорт даёт. Н-да...

Говорил Андрей серьёзно, будто перед ним был не Санька двенадцати лет, а взрослый человек. И Санька ещё больше зауважал его.

- Ну, ты скажешь, Андрей, - вмешалась мать.

- Оно, конечно, как ты говоришь, спорт - дело нужное. Только Санька, он тихонький у меня, все мечтает чего-то, сидит, задумается, а глазки и не видят ничего, в дальних далях гуляют. - Санька покраснел. - Мечтатель он. А чего мечтает, может, и сам не поймет. И никому не говорит. Слышь-ка, Санька? В школе, вот, то хвалят, то жалуются. Ничего-ничего, а потом на тебе - покатылся, двоек нахватает. Нет тебе, чтоб учиться ровно, сейчас куда неученому?

- Так это хорошо! - перебил Андрей. «Что хорошо? - не поняла мать.

- А то хорошо, что раз мечтает человек, значит, не глупый. Значит, хочет чего-то своего. И думает о том. Это хорошо... Да, да.

- Может, и хорошо, - пожала мать плечами. - Ну да ладно, чего это мы, давайте уж за стол.

На том и прекратили разгешпор.

- За стол так за стол, - потирая руки, согласился Андрей. - А все же спорт - вещь!

- Вещь, вещь, - махнула мать рукой. Сначала выпили шампанского.

- За знакомство, - подмигнул Андрей Саньке, поднимая стакан. Санька тоже поднял свой стакан с компотом, и все выпили, прежде чокнувшись.

Потом шампанское пила только мать, а Андрей налил себе водки.

- А ты и вправду серьезный парень, - сказал он после того, как выпил второй раз. - Это хорошо. - Видно слово «хорошо» было любимым словом Андрея, он употреблял его часто, и Санька подметил это. - Так вот, Сашок, - Андрей стал сразу серьезным, резче обозначились морщинки в уголках глаз. При этих словах мать выпрямилась на стуле и тоже стала серьезной. И Санька вытянул шею, ждал, что дальше скажет Андрей. - Так вот, - повторился он. - Разговор у меня есть, серьезный. Да. Ты уже, считай, взрослый человек и... - он сделал паузу, видно соображал, как говорить дальше.

Санька понял, сейчас решится что-то важное, и уже предполагал, что именно. Действительно, ведь он уже почти взрослый, хоть и двенадцать лет всего, но соображает, что к чему. «Ну давай, давай, говори дальше, - мысленно по-взрослому подталкивал он Андрея. - Чего ты? Не надо бояться».

Андрей на миг улыбнулся и продолжил: - Значит, так. Решили мы с твоей матерью пожениться, - и при этом поглядел на мать. Санька тоже перевел взгляд на нее. - Мы-то решили, но без тебя тут такое дело решать нельзя. Верно? - Андрей потер переносицу, видно было, как не просто находил он слова, и Санька удивился этому. Понял, чего ждут от него, и уже знал, что ответит, но пока молчал. Мать смущенно опустила глаза, щеки ее порозовели. - Одним словом, ты как, не против? - Андрей подался к Саньке, ожидая ответа.

Молодец Андрей, не стал рассусоливать, как с дитем малым. Спросил коротко и ясно. Санька заволновался - от его ответа зависело многое. Не зря же затеяли с ним этот разговор. Он него зависели сейчас два взрослых человека. То, что он им

скажет, они ждут с волнением. И Санька ответил без улыбки, весо-мо:

- Не против.

Андрей сразу расслабился и шумно вздохнул. Улыбнулся. Улыбнулась и мать, встала, подошла к Саньке сзади и коснулась губами его макушки. Андрей тут же налил себе в стакан и залпом выпил, выпил водку, будто воду, когда очень мучит жажда. Закусывать не стал, отставил пододвинутую матерью тарелку в сторону.

- Не надо, Люба. Погоди. - И опять шумно вздохнул. Повернулся к матери: - И еще. Мне плевать, кто что болтает.

- Ну... - попробовала остановить его мать.

- Да, да. Плевать! - не остановился он. И теперь посмотрел на Саньку. - Понял, Сашок?

Санька все понял. У него было сейчас одновременно ощущение радости, тревоги и страшного волнения, переходившего почти в дрожь.

Андрей рубанул воздух рукой:

- Главное - мы! И это - хорошо. Верно? Санька еле удержался, чтобы не заплакать. С этого дня Андрей стал жить у них.

Мать вся светилась. «Какая же она красивая у меня», - думал Санька, украдкой разглядывая ее. И будто не было того времени, когда он с неприязнью относился к ней, когда красота ее казалась даже противной - из-за нее все несчастья. Ухажеров у матери - чуть ли не все село. Она и не скрывала этого, да разве и скроешь такое дело в селе. Санька болезненно воспринимал людские пересуды и иногда плакал от обиды за мать, когда нечаянно слышал пошлые разговоры.

Кто у него отец, Санька не знал. Но ему хотелось, чтобы отец у «его был, пусть не с ними, но был, пусть где-то, но чтобы Санька знал, что он есть. И он внушал себе, что отец живет далеко-далеко, скоро приедет, и тогда все чудным образом переменится. А то представлял отца летчиком или моряком, погибшим при выполнении важного задания. Воображение его заходило так далеко, что он начинал верить в реальность своего вымысла и даже плакал, так было жалко погибшего придуманного им отца.

И вот с появлением Андрея все изменилось.

Все было хорошо. И жили они все трое душа в душу. Так, по крайней мере, казалось Саньке. Замечал он, правда, иногда, как порой задумается Андрей, загрустит, а потом вроде спохватится и опять становится прежним Андреем - веселым и жизнерадостным. Выпивал он не то чтобы часто, но все ж выпивал. Мать журила его по утрам, когда он вставал с похмелья и с бульканьем пил воду - сразу несколько черпаков. Журила мягко, не ругалась, как другие, а он виновато обещал исправиться. Но как-то шутливо. И через время обещание свое опять нарушал. Но кто ж из мужиков сейчас не пьет, взрослому рассуждал Санька, вроде бы и оправдывая Андрея. Хотя, если честно, в душе ему это очень не нравилось. Выпив, Андрей менялся, становился чересчур разговорчивым и хвастливым.

Замечал Санька и то, как временами сожмет мать горестно губы, покачает головой и вздохнет длинно и глубоко.

Больше ничего такого Санька не замечал. Да и все это мелочи. Стоило ли обращать внимание? И все ж...

Чуял-таки в себе смутное беспокойство.

Через полгода все поломалось.

Так и не наступило то время, когда Санька назвал бы Андрея отцом.

Поломалось в один день.

Санька проснулся от звона разбитой посуды. Приподнялся на кровати. Из другой комнаты через щель в занавешенных дверях прямо в глаза била полоска света. Слышались голоса матери и Андрея.

Вначале он не разобрал, о чем они разговаривают, сообщал, отчего проснулся. Уж не во сне ли почудился ему непонятный шум, будто падала посуда? Потом Санька встал с кровати и шагнул к двери, но тут же остановился, заметив через щелку осколок разбитой посуды. И теперь услышал четко слова матери и Андрея.

- Не надо,- говорила мать тихо и вроде бы спокойно, но голос ее дрожал.

Санька замер, вцепившись одной рукой в стоявшую рядом этажерку с книгами, другой невольно прикрыв рот, слов-

но боялся, что могут услышать его дыхание.

- Не надо, - повторила опять мать. - Я знаю, где ты был. Можешь не объяснять. И знаю, что не первый раз. Шила в мешке не утаишь.

- Что? Что ты знаешь?! - зло, с придыхом перебил ее Андрей. - Ну где? Где я был? Говори! Если ты все знаешь!

- Знаю... - голос у матери уже не дрожал. Она усмехнулась: - У Маньки Шуровой ты был, Андрюшенька. Вот где ты был.

- Хм... - усмехнулся Андрей. Санька понял, что он пьян. - Ну был! Да, был! Не скрываю! Чего смотришь! Укусить хочешь или в морду плюнуть? Так давай! Не стесняйся!

- Дурак ты, - чуть ли не ласково сказала мать. - Плевать я не стану. Зачем? А кусать, я не бешеная собака, нет. Ты сам себя укусил. Да и ладно, все теперь ясненько и понятно.

Выдержка матери, видимо, взбесила Андрея.

- Обиженную мадам из себя строишь? Благородная выискалась!

- Не ори! - повысила голос мать. - Санька спит, разбудим.

Санька сжался, боясь быть обнаруженным.

- А мне плевать! Поняла? Да, плевать! - выкрикнул Андрей.

- Замолчи! - стукнула мать ладонью по столу.

Но Андрея было уже не остановить. Он бросал слова, не выбирая выражений, и от каждого его слова Санька вздрагивал, как от удара. Сердце готово было вот-вот выскочить из груди, хотелось рвануться через занавеси, туда, к ним, и что-то сделать, чтобы прекратить этот дикий разговор. Но ноги стали чужими. Санька так и стоял, не сдвинувшись с места. Глухими ударами отдавались в голове толчки крови, откуда-то появился и все нарастал нестерпимый звон, заглушая начисто голоса Андрея и матери. Сколько он так простоял, Санька не знал. Он резко потряхнул головой, и звон, как осыпавшийся с дерева иней, почти исчез.

- Вот оно, значит, какой ты на самом деле оказался, друг любезный, Андрюшенька. - В голосе матери было и сожаление, и презрение. - А я-то, дура, думала...

- На себя посмотри! Посмотри! Девочка невинная! - перегар от Андрея, казалось, бил Саньке прямо в нос.

Кошачьим броском Санька метнулся к Андрею и острвенело вцепился ему в рубашку. Ни закричать, ни что-либо сказать Санька не мог. Только мычал.

- А, это ты, Моська! - опешил Андрей и старался оторвать его от себя. Разозлившись, больно сдавил Санькины плечи и сильно толкнул. Санька отлетел и, если бы не руки матери, на ногах бы не устоял. - Сопляк!

Санька опять было рванулся к Андрею, но мать удержала его. Слезы враз хлынули из глаз, застлали их, но он, даже не видящий, готов был задушить Андрея.

- Гад... - все, что мог выдавить Санька сквозь слезы.

- Уйми щенка своего! - прошипел Андрей, заправляя рубашку в брюки.

- Уходи! - угрожающе шагнула к нему мать, прижимая вздрагивающего Саньку к себе. - Негодяй...

Утром Андрей приходил и винился, чуть ли не на коленях просил прощения, мол, все водка виновата. Клялся и божил-ся, что больше ни-ни. Но мать как отрезала. Раз и навсегда.

После этого была ласкова и нежна с Санькой. Часто плакала, уже не скрываясь от него. А ему было нехорошо и больно от ее слез. На ответную же ласку он был скуп, хотя мысленно успокаивал мать и говорил нежные, хорошие слова. Не мог перешагнуть невидимый, сдерживающий его барьер.

...Школу Санька бросил. Каких-то полтора месяца не ходил до конца девятого класса. Как мать ни уговаривала его, он упорно стоял на своем и в школу больше не пошел.

Она схватила было ремень, хлестнула раза два. Он равнодушно принял эти удары, и мать отступилась: «Черт с тобой! Делай, что хочешь! Покусаешь еще ло-коточки, да поздно будет!» - и захлюпала привычно слезами. Теперь ее слезы Саньку не тронули.

Приходили из школы учителя, тоже разговаривали с Санькой, чтоб не дурил, вернулся в школу. На то они и учителя - наставлять на путь истинный заблудшего ученика. Хотя, если рассудить, возможно, и рады были - одним оболтусом в школе стало меньше.

Санька закоренелым двоечником не был и разухабистым поведением не отличался, однако мороки с ним было немало,

может, даже больше, чем с каким-нибудь хулиганистым двоечником. Ни с того ни с сего, к примеру, Санька начинал на уроке бубнить что-то или же бесконечно долго смотрел в окно и зевал, а то и вовсе закрывал глаза и сидел, не обращая никакого внимания на учителя, точно того вообще не было в классе. А если Саньку поднимали, он мог наотрез отказаться отвечать.

- Демин, ты что, не знаешь урока? Не учил? - спрашивали его.

- Знаю,- нехотя говорил он.

- Так в чем же дело?

- Что-то не хочется...- слышали от него монотонное и то-скливое...

Ну что делать с таким учеником? Ставили двойку, а ему было все равно.

Или же мог перебить учителя:

- Антонина Григорьевна, так то не при Петре Первом было, а когда он умер... - И Антонина Григорьевна тушевалась. Действительно, не совсем была уверена в том факте, о котором говорила сейчас ученикам, просто немножко попутала, подзабыла слегка. Да и никто в классе не замечает ошибки, вернее, не знает такого факта из истории. А этот нет, чтобы промолчать, голос подает, поправляет, видите ли, учителя. Похвально, конечно, знает, читает, стало быть, сверх школьной программы, но лучше б молчал. Знаток выискался, зачистую самого спросишь, а он ни «бе» ни «ме». И непоймешь, то ли о«, как говорится, ни в зуб ногой, тс ли попросту дурака валяет, не хочет отвечать. Так думает Антонина Григорьевна о Демине, но педагогика есть педагогика. Учительница поправляется и даже хвалит его, а он уже сидит скучный, уже не слышит ее.

И так не только на ее уроках.

Бывает, что Санька и поспорит немножко, но такое случается редко. Потом и сам не рад. Например, Василий Емельянович говорит:

- Уральские горы - очень старые горы, им около четырехсот миллионов лет.

А Санька с задней парты подает реплику:

- Не-е-е...

- Что - «не»? - недовольный тем, что его перебили, спрашивает учитель.

- Им, Василий Емельянович, полтора миллиарда лет, - поднимается Санька. - Так что...

У Василия Емельяновича опыт солиднее, чем у Антонины Григорьевны, педагогику он знает лучше, работает в школе четверть века, а не три года, как та, и вольностей со стороны учеников, для их же блага, никогда не терпит и не намерен терпеть.

- Садись!

- Ну сел, - говорит Санька и бормочет что-то себе под нос.

- Так вот, как я уже говорил, Уральские горы... - продолжает Василий Емельянович и опять слышит Санькино «не-е-е...»

- Сиди и слушай! Не бубни! Не нравится, выйди из класса! - раздражается учитель.

Санька пожимает плечами:

- Ну, выйду. Только вы неправильно про возраст гор говорите. Им полтора миллиарда лет.

Учитель уязвлен. А класс наострил уши.

- Учебник географии надо читать, милейший, - стараясь быть спокойным, говорит учитель.

- Так там неправильно написано, - ему в ответ Санька.

- Ну уж! - резко вскидывается учитель. - Посмотрите-ка на него! Академик!

- Не я академик. - Санька невозмутим. - Наливкин.

- То есть? - настораживается Василий Емельянович.

- Вот он и говорит, что полтора миллиарда лет Уралу.

Как тут быть? Учитель географии легко находит объяснение несоответствию данных учебника и академика Наливкина. Поясняет, что у академика лишь гипотеза, может, и подтвердится в будущем, однако гипотеза без доказательства остается гипотезой. Посему принято считать так, как написано в учебнике. А Саньке советует повнимательней читать учебники, а не бог знает что, вернее, ему еще рано изучать научные труды. Пока задача стоит попроще: как следует усвоить школьную программу, а уж потом, в будущем, можно заняться и более серьезными вещами, конечно, если жажда

знаний будет непреходяща, в чем он почему-то сомневается в отношении Демина. Гипотеза раньше была, - вяло говорит Санька. - А теперь уже доказано. Так и написано. - Видимо, желание спорить с учителем у него уже погасло. И голосне обиженный, скорее - унылый.

- Садись и слушай! - категорически заключает Василий Емельянович, и на том спор завершается.

А на следующем уроке он ставит Саньке двойку - тот не знает самых элементарных вещей. На Санькином лице ни огорчения, ни недовольства. Он спокоен, точно двойку поставили не ему - кому-то другому.

И много еще мелочей, неподобающих ученику нормальному, водится за Санькой. Не стоит их и перечислять.

Хороших друзей у Саньки не было. Не привык он болтаться по улице просто так. Все больше читал. И думал, думал. Вот потому, должно быть, и не очень с ним дружили. Его же такой факт, видно, не очень расстраивал. Но возможно, то - одна видимость, что не расстраивал?

В отличие от своих сверстников, выросших в селе, умеющих многое, что необходимо уметь делать, Санька, по словам матери, был «неумеха», и потому ей приходилось делать многое из того, что мог бы сделать Санька, будь на его месте другой. У него же руки были будто вставлены не так, как у его одноклассов. Одно слово «неумеха». Вот и приходилось ему выслушивать от матери далеко не лестные высказывания.

А что творилось в Санькиной душе, о чем он думал, о чем мечтал, чего хотел-до этого дела никому не было. Лишь мать чуяла в сыне какое-то внутреннее брожение, однако и ей не дано понимать Саньку до конца. К тому же, была у нее еще уйма всяческих дел - тут не до Санькиных странностей. И рос он, в сущности, воспитывая себя сам.

- Господи! Ну что ты будешь делать без меня, если я умру! Ведь пропадешь, - иногда говорила мать.

- Не умрешь, ты еще молодая. Тебя надолго хватит, - невозмутимо отвечал Санька. - Ты бы лучше...

- Что лучше? - вскидывалась она.

- А-а-а... Ладно... - отмахивался он тут же. Ничего ему не хотелось говорить больше матери. Бесполезно. А она цепля-

лась к его словам и, злясь, требовала, чтобы он договаривал до конца.

- Ишь ты! С родной матерью ему лень разговаривать. Для него же стараешься, надрываешься! А он!

- Не надрывайся,- слышала лаконичный ответ и злилась еще больше.

- Пропадешь! Точно пропадешь без меня! Вспомнишь меня потом! Ну, никуда, скажи-ка ты на милость, душа у него не лежит. Хоть бы чем-то путным занялся. И что с тебя только получится! - в сердцах выговаривала мать сыну.

Потом смягчалась и пыталась, как маленького, погладить его по голове. Он отстранялся. Мать вздыхала и задумчиво смотрела на него, думая о чем-то своем, но, конечно же, связанном с Санькой. А он брал в руки книжку и сидел, уткнув в нее нос, точно не замечая взгляда матери.

Так они и жили. Вроде вместе - мать и сын, по существу - каждый сам по себе.

Бросив школу, Санька пошел пасти телят. Дали ему коня, старого, с вытекшим глазом, до ужаса спокойного, спавшего на ходу. И сделано это было точно с умыслом - конь под стать своему седоку.

«Пусть уж так, - думала мать. - Хоть при деле».

Хорошо было летом на выпасе за тихой темной речкой. Ни ветра, ни облачка - только солнце ласковое в белесой голубизне.

Телята, разморенные жарой, то тут, то там виднеются бурыми кочками - улеглись, отдыхают. Дреmlют на солнышке.

Лежит и Санька на спине, в мягкой притоптанной траве, раскинув руки и зажмурив глаза. Рядом фыркает конь и хлестко отмахивается хвостом от навязчивых жирных слепней. Лучи ударяют Саньке в веки и рассыпаются мириадами разноцветных ниточек. Стоит чуть шевельнуть веками - и ниточки задвигаются, задрожат, создавая фалтастические узоры, играющие немислимыми цветами. Где-то высоко в небе летит самолет, но глаз не хочется открывать. Пусть себе летит... И нет сейчас ничего на свете, кроме Саньки. Не верится, что где-то есть люди; что в самолете тоже сидит человек; что земля круглая и несется сейчас вокруг солнца, вращаясь, сме-

няя день на ночь; что есть где-то моря, есть горы, на которых снег и холодно; где-то зима и, может, сейчас как раз идет снег; кто-то плывет на корабле, а кто-то едет в автомобиле или поезде; в какой-нибудь саванне пугливо озирается антилопа и не знает, что через минуту станет добычей царственного льва; где-то лежит сейчас вот так же, как Санька, какой-нибудь другой парнишка и тоже думает, как Санька, и, может, зовут его тоже Санькой, а может, Пьером, Иоганном или, к примеру, Марчелло...

Во многое сейчас не верится Саньке. Реальный мир почти не воспринимается, лишь мысли, витающие как паутинки, невидимо связаны с ним. Ведут они Саньку далеко-далеко, в дали необозримые, а в них - все он. И геолог он, и моряк, и шахтер глубоко под землей, и летчик в стремительной машине на огромной безмолвной высоте, и ученый, согнувшийся над микроскопом, и врач, держащий в руке скальпель, и сварщик, сквозь маску видящий раскаленную до тысячи градусов дугу, и, и...

В мечтах доступно все, ко всему можно прикоснуться, сладко ноет сердце, и кажется, нет ничего несбыточного, все в твоих руках - надо только захотеть.

А как много хочется!

И вздох... Куда, если брошена школа? Учеба. Без нее все несбыточно в реальном мире. Но как переломить себя, заставить? Лень? Нет, не лень - что-то другое. Пройдет время-все изменится. Все будет по-другому. Обязательно будет. Но когда? Ждать? Может, и ждать... Просто ждать? Нет, нет, ждать не надо! А что надо?.. Тишина-то какая... и запах... Пахнет летом...

Недолго пас Санька телят. То ли уснул, то ли замечтался, одним словом, проворонил: телята разбрелись по огородам, потоптали, многое потравили, некоторые объелись чего-то, и два телка сдохли. Шум, гам, тарарам, и у Саньки забрали полусонного коня и недолгую его должность. За сдохших телков матери пришлось заплатить - тех немногих заработанных Санькой денег не хватило, - и она ругалась на чем свет стоит на своего безалаберного сыночка.

Ругайся, не ругайся, а ничего уж не вернешь. Мать потихоньку успокоилась и уже жалела, что так накричала на

сына. Он слушал ее с угрюмой молчаливостью, которая-то и обеспокоила мать. Жалостливо сдвинулось у нее сердце, и она уже говорила:

- Ничего, сыночек, ты не горюй. Сдохли, и бог с ними. Что же теперь. Скотина - она настырная, глаз да глаз за ней нужен. Не по тебе такое дело. А ты сейчас отдохни, успокойся. А денег у нас хватит! Много ли нам надо - двоим-то. Верно, сыночек? Хочешь, мотоцикл тебе купим? А? Ну что ты все молчишь и молчишь...

Непросто разговаривать матери с сыном, и чем больше вырослел Санька, тем трудней это было делать.

Поработал потом он на других работах, а там и срок подошел идти в армию.

Перед тем самовольно съездил в Москву.

Как проводила его мать в армию, так они больше и не увиделись.

На последнем месяце службы пришла телеграмма - умерла мать.

Умерла от аппендицита, осложненного перитонитом. Слишком поздно обратилась в больницу...

Ей было чуть за сорок - совсем молодая.

Народу на похоронах было много, смерть Деминой никого равнодушным не оставила. Да и все ж любили Любку в Каменке. Хоть и своеобразная была та любовь, но любили.

В голос плакали женщины. Не жалующие Любку при жизни, сейчас они говорили всяческие хорошие слова - искренне и от души. Понуро стояли мужчины.

Под конец, смахнув слезу, над могилой говорил краткую речь председатель колхоза: хорошей дояркой была умершая, считай, лучшей в колхозе.

Саньку утешали, жалели, как маленького ребеночка, и все говорили, говорили притворно-хорошие слова о матери. И от всего этого ему делалось еще хуже, он не плакал, лишь сердце занемело, сжалось и будто перестало стучать.

И почти сразу после похорон Санька засобирался в дорогу - назад в часть. Уехал на следующий день.

Каменка теперь для него была чужой.

После армии домой он не вернулся. Написал не то двою-

родной, не то троюродной тетке, чтоб домом распорядилась, как ей захочется, - Саньке все равно. Выслала она ему в ответ семьсот рублей. Лишь могила матери - больше ничего не связывало его теперь с Каменкой.

Служил Санька в Казахстане, в стройбате, приобрел специальность сварщика и, демобилизовавшись, уехал еще дальше, в Находку, на судоремонтный завод.

Через год он оказался в Белоруссии. Еще через год - в Тольятти. И замелькали города: Ачинск, Шевченко, Каменец-Подольский... и, наконец, последние два года - Магадан.

На одном месте Санька долго усидеть не мог. Менялись города, менялись специальности, успел он закончить вечернюю школу, даже поступить заочно в Грозненский нефтяной институт, который вскоре бросил, сдав лишь первую сессию, кстати, без троек.

Менялись города, менялся и сам Санька.

Только жила в нем постоянная неудовлетворенность и душевная маета, которые не давали бросить накрепко якорь где-нибудь в одном месте и закрепиться основательно. Жажда перемен срывала его с одного места на другое, в дороге ему было хорошо, он любил ездить.

И все чего-то ждал - настоящего.

Пока что жизнь своя казалась Саньке рисованной декорацией, казалось, все это - временно и вынужденно, в силу каких-то обстоятельств, не вполне зависящих от него.

Как-то съездил в Каменку. Заброшенная, неухоженная могила матери произвела на него удручающее впечатление. Санька поехал в город, заплатил немалые деньги и поставил на могиле памятник под мрамор. И больше уже не ездил в Каменку...

Проработал два года в Магадане, в экспедиции. И вдруг враз ему стало невыносимо скучно и тоскливо, захотелось большого города, блеска ночных огней многоэтажных домов, запаха асфальта и всего прочего, чем дышит большой город. Санька спешно рассчитался, сел в самолет и таким образом оказался в Москве.

...Царь-пушка после реставрации была вычищена и тускло блестела, точно отлили ее не столетия назад, а совсем не-

давно. Демину стало жаль стертой реставраторами старины, и он подумал: будь его воля, он не стал бы трогать пушку, оставил бы ее, какой она была.

Говорливые иностранцы показывали на пушку пальцами и снимали с различных точек. Наши же туристы больше снимались сами на ее фоне, улыбаясь так, будто этот миг и есть предел их мечтаний.

Побродив по Кремлю, не попав ни в Алмазный фонд, ни в Оружейную палату, Санька не спеша пришел на Красную площадь. Остановился у ГУМа, закурил, раздумывая, куда двинуться дальше.

Рядом остановилась девушка с полиэтиленовым фирменным пакетом. Оглядев девушку, Санька сделал вывод, что она кого-то ожидает, - часто посматривает на часы, нервно вскидывая руку близко к глазам. Проще посмотреть на Спасскую башню, подумалось Саньке, вот она, совсем рядом, только чуть подними глаза.

Девушка неброская, но Саньке она понравилась.

Вычурности ни в одежде, ни в манере стоять вот так просто, ожидая кого-то, у нее не было. Именно этим она понравилась ему - естественностью. Если бы жениться вот на такой, не раздумывая - сразу, не зная, не спрашивая, кто она такая? Что бы вышло, как бы все сложилось? Вдруг бы и...

Подумав так, Санька улыбнулся своим мыслям и со смутным волнением смотрел на ее мягкий, спокойный профиль. Она почувствовала его взгляд, на секунду вскинула на него глаза и тотчас отвернулась. Санька тоже отвел взгляд в сторону, а когда посмотрел снова, девушки уже не было. Санька рванулся, натыкаясь на прохожих, вертя головой по сторонам. Через несколько шагов остановился - увидел ее. Девушка шла рядом с высоким, слишком высоким для нее парнем под руку и что-то быстро-быстро говорила ему.

Медленно Санька двинулся следом. Неотрывно смотрел на их спины, пока они не исчезли в подземном переходе. Вот и все. Зачем он шел следом? «Не знаю, - сказал Санька сам себе. - Просто захотелось...»

Выбросив сигарету, тут же достал новую. И долго стоял в углу, невидящими глазами уставившись в темный провал

перехода.

Будто взяли у него что-то дорогое, о цене которого он до сего момента и не подозревал - насколько оно дорого, взяли вопреки его желанию, и он безвольно позволил это сделать.

Любить женщину - такого Демин не испытывал. Не было у него ни первой, ни последней любви.

Когда-то перед уходом в армию он впервые поцеловал Зою Богомолу - соседку через три двора - и был обескуражен. Все было прозаично и буднично. Ни волнения, ни смущения, ни учащенного биения взбудораженного сердца. А ведь она ему нравилась...

- Будешь писать? - горячо дыша, спрашивала Зоя.

- Нет, - равнодушно ответил он ей. - Зачем?

Она, оскорбленная, гневно сверкнула глазенками и убежала. Верно говорят: что Демина, что ее сынок - с заковыкой в голове.

Привязанность, привычка, а чтобы любить - нет, такого чувства Демин не знает, оно неведомо ему. А есть ли оно? Есть ли та женщина - единственная...

- Саня, как же так? - растерянно смотрела на него Галя, работавшая в экспедиции техником, когда Санька собрался уезжать. - Насовсем? Да, Галя. Насовсем.

- А как же мы?

- Никак, Галя. Просто, но - никак.

- Но ведь мы решили... И ты сам сказал...

- Сказал. К сожалению, Галя, сказал. Но ты не верь мне. Не гожусь я для этого. Зачем тесто месить, заранее зная, что блин будет комом.

Галя не понимала его, не верила его глазам. А он, словно в насмешку, процитировал: «Все пройдет, как с белых яблонь дым...»

...Поздно вечером Демин вернулся на Казанский вокзал, подремал на краешке скамейки, а наутро уже сидел в электричке, идущей на Рязань.

Ему необходимо было побывать в Константинове, постоять на той земле, где когда-то родился и вырос русоволосый мальчик, увидеть белую рябь берез, подышать тем воздухом с русским настоем, который на всю жизнь опьянил того

мальчика.

А куда дальше - Санька пока не решил.

Любая человеческая жизнь, долгая, короткая ли - словно линия, прочерченная в системе координат времени и пространства. Эта линия бытия человека - не прямая, соединяющая две точки - рождение и смерть. Она невероятно сложна, каждый отрезок линии - отрезок жизни, у каждого он свой, и каким ему быть - сложнейшая задача, решаемая лишь тем, кто прочерчивает эту линию. Не у каждой задачи легко и просто находится решение, и весьма высока его цена - собственная судьба. Упорная же, еще и еще раз, порой на грани невозможного попытка все-таки найти решение - собственное решение! - непременно приносит успех. Опустить руки - равносильно безвольно следовать линии, прочерчиваемой чужой рукой. И далеко не каждому дано снова взять карандаш и начертить линию, пусть с маленького, но своего отрезка. И начать никогда не поздно, даже в том случае, если до конечной точки остался всего один день.

К подобному умозаключению Демин еще не пришел, но уже приблизился вплотную.

Еще через день он был в аэропорту у касс:

- Девушка, миленькая, билет до Магадана! На самый ближайший рейс!

И это был по сути первый отрезок той линии, которую ему еще предстояло вычертить.

Сознательно, собственной рукой.

ЛЕШАНАЯ БАЛКА

Разгневанная погода будто ополчилась на весь белый свет.

Ветер визжал в проводах, с утробным жутким воем рвался в дымовую трубу и всё гнал и гнал низкие, рваные тучи, остервенело брызжащие холодными, бьющими струями.

Изредка в небе прорывалось окно, и тогда всё вокруг на мгновение заливалось зловецим красным светом заходящего солнца. Пожаром зажигались окна, стеклянным бисером высвечивалась сыпь дождя, раскалёнными углями в мутные потоки воды падали последние листья обессиленных клёнов - они словно откупались последним, чем могли, от яростных наскоков ветра.

И вновь - давящие сумерки и бешеная круговерть.

Прошло четыре часа, как случилось несчастье, а Анна всё не приходила в сознание.

Старая Сальмониха застыла, склонившись над дочерью. Лишь изредка вздрагивала, оглядываясь на божницу.

Тихо перешёптывались собравшиеся соседки. Подходили к Васюшке, сжавшемся на низком стульчике у постели матери, вздыхали, поглаживая по голове. Он сидел, подперев руками подбородок, и неотрывно смотрел не на лицо матери, а на не прикрытую одеялом правую её ступню, синюю, неестественно и пугающе вывернутую.

А за окном не затихал, бесновался ветер. Не утихомирила его и непроглядная темень опустившейся ночи.

Кто мог и подумать утром, что погода так резко изменится. Но удивляться тут особо нечему - октябрь редко когда балует погожими деньками.

А утро выдалось тёплое, безветренное. Ни тебе облачка. И Анна затеялась красить крышу. Давно бы надо, да всё лето

не было в сельпо подходящей краски, завезли только на днях. Сальмониха было отговаривала дочь:

- Степана на выходных заставь. Не бабье это дело - по крыше лазить.

Да та отмахнулась:

- А-а, до выходного ещё далеко. Вдруг дожди пойдут, и опять в этом году не покрасим. Крыша-то вон как за пять годов облезла - край надо красить. И Степану хватит - по второму разу пройдётся.

Осталось докрасить совсем немного, когда поднялся ветер, резко, неожиданно, погнав по улице столб пыли. И сразу дохнуло холодом. Выползла из-за холмов туча, зацепилась за их вершины и стояла, будто примеряясь для прыжка, сорвалась и, всё убыстряя свой бег, чёрными космами распласталась на небе, закрыв солнце.

Анна заспешила - до дождя надо закончить. Резкий порыв ветра ударил в лицо, кисть выпала из рук, покатилась, Анна наклонилась вбок, пытаясь поймать её, и завалилась на спину. Упала на острые штакетины палисадника...

До районной больницы дозвониться не удалось - ветром оборвало провода.

Молоденькая фельдшерица, всего второй месяц работавшая в хуторской амбулатории, поначалу растерялась, засуетилась, такой тяжёлый случай был впервые в её небогатой практике, но, когда подогнали машину, чтобы отвезти Анну в район, решительно запротестовала: больная нетранспортабельна, необходимо врача везти сюда. И теперь сидела рядом с Сальмонихой, держа руку Анны; пульс не нравился фельдшерице, и она время от времени делала уколы.

Степан, работавший на дальнем поле, узнав о случившемся, отцепил плуг и рванул домой на тракторе.

Промокший, не снимая грязных сапог, бросился к Анне, и словно споткнулся, замер, вглядываясь в обескровленное, изменившееся лицо жены. Дрожащей рукой коснулся её лба, глаз, сухих сжатых губ. Дальним эхом услышал жёсткий, бесстрастный голос фельдшерицы:

- Не надо её трогать. Отойдите.

Степан медленно опустился на стул, уронил голову на руки.

Машина, посланная в район за врачом, застряла в балке за хутором - размыло дамбу. Выход один - пробиваться на тракторе. Тридцать километров размытой грунтовой дороги никакой машине не пройти.

Степан кинулся к своему трактору. Его отговаривали, мало ли других, но он только мотал головой - сам.

Завозилась, захныкала в своей кроватке Маришка. Дали пустышку, девочка выплюнула ее. Вскинулись женщины: ой, надо кормить дитя. Принесли молока, вскипятили, но Маришка вскоре успокоилась и опять уснула. Ладно, проснётся - покормят.

Выходили на улицу, прислушивались, вглядывались в темноту, не блеснёт ли свет фар, не послышится ли сквозь вой ветра стук мотора. Что-то долго нет Степана. Да только шутка ли - шестьдесят километров в оба конца. Быстро не управишься. Да и доехал ли...

А дождь и ветер разгулялись в бешеной пляске, заполняя непроглядную темень ночи свистом, стенанием, раздражающим уши гулом и бесконечным сеевом холодной воды. И кажется - нет ничего вокруг, всё живое погибло в этом жутком мраке. Только хутор маленьким затерянным островком существует ещё на свете.

Мерцает керосиновая лампа, качая по комнате, по лицам людей настороженные тени.

Ожидание - что может быть тягостней, невыносимей, особенно когда жизнь человеческая качается на грани бытия и небытия?

- Ложись, внучок, - трогает плечо мальчика старая Сальмониха.

- Нет, - всхлипывает Васюшка, шмыгает носом. Сальмониха не настаивает, отвела руку.

Тяжело вздыхают женщины. По домам не расходятся - не можно оставлять в тяжкой беде соседей.

Анна задышала глубже, чаще, откинула руку, дрогнули веки, приоткрылись глаза..

- Доченька, - склонилась над ней Сальмониха, сдерживая плач, прижимая ко рту скомканный платок. - Доченька....

Как несмышлёный гусёнок, глотнув слезы, вытянул шею Васюшка, привстали со скамьи женщины, нахмурилась

молодая фельдшерица, понимала: открытые глаза Анны не предвещают ничего хорошего и радоваться такому факту не следует.

Анна повернула голову, оглядела всех и движением губ попросила пить. Глотнув из кружки, попробовала приподняться, но сумела поднять лишь голову. Боль пронзила тело, и голова бессильно уронила на подушку.

Проснулась Маришка. Попробовали напоить её из бутылочки коровьим молоком, но девочка выплёвывала соску и плакала- требовала материнскую грудь. Качали в кровати, баюкали на руках, она не умолкала. Анна слышала плач дочери, хотя её и отнесли в другую комнату, плотно прикрыв дверь. Из глаз Анны выкатывались слезинки, скользили по щекам.

- Мама... - Анна напряглась, собралась с силами, трудно заговорила, часто дыша, прерываясь на каждом слове, боясь потерять сознание, голосом, сглаженным до едва слышного шёпота. - Мама... позовите... Нину...

Лицо Сальмониhi вытянулось: - Какую... Нину?

- Прончихину... - хватило ещё у Анны сил сказать, прежде чем она снова впала в беспамятство.

- Господи-и... Да ить же... - протяжно заскулила Сальмониhi.

Глаза б её не смотрели на ту бесстыжую Нинку. И не она ли столько крови испортила Анне, и не её ли кляла-проклинала Анна. И вдруг...

Но не отмахнуться от такой просьбы дочери, желание человека в такие-то моменты должно выполняться, каким бы противоестественным оно ни казалось.

Рыба клевала плохо, изредка попадалась так, мелочь, которую Степан, сняв с крючка, бросал обратно в озеро - пусть растёт.

Выдавалось свободное время, Степан спешил на озеро. Тянуло его сюда, любил он, забравшись в камыши, посидеть в одиночестве. Даже если рыба не клевала, не огорчался. Не в рыбе дело - душа отдыхала. Хоть поначалу и бурчала Анна, считая рыбалку зряшной тратой времени, отучить мужа от этого пристрастия не смогла. Потом привыкла, и уже удивлялась, если Степан долго не шёл на озеро.

Просидев до полудня, так и не поймав ни одной приличной рыбины, Степан смотал удочки, спрятал в укромном местечке и напрямки, через Лещаную балку, пошёл домой.

Склоны балки были довольно круты, густо заросли терновником и боярышником, и Степан изрядно запыхался, пока выбрался к тропинке, вьющейся по гребню противоположного склона. Присел отдохнуть, закурил. За ближним кустом будто кто всхлипнул. Степан насторожился, вот те раз, что бы это значило? Поднялся, осторожно ступая, обошёл куст.

На траве, зажав руками разбитое колено, сидела Нина Прончихина. Рядом на тропинке валялся велосипед с согнутым колесом. - Нина, ты что?

Она испуганно обернулась, одернула подол сползшего высоко на бедра платья.

- Что случилось, Нина? - подошёл Степан ближе и опустился перед ней на корточки.

- Упала... - жалобно ответила она. В глазах слёзы, сквозь пальцы из разбитого колена сочилась кровь. - Камень... Не заметила и наскочила.

- Постой, ну-ка, убери руки, - велел Степан. - Покажи колено.

- Не-е... - отпрянула она.

- Что, «не»? - повысил голос Степан. Окрик подействовал.

Рана была глубокой, сильно шла кровь.

- Н-даа... - протянул Степан, стал на колени, быстро снял рубашку, разорвал на лоскуты.

- Ну-ка, подними ногу. Да повыше! - прикрикнул Степан, видя смущение Нины. Платье скользнуло, обнажив бедра, голубым пятнышком мелькнули трусики, и сейчас же Нина скомкала подол, прижала руками выше живота. Степан на мгновение смутился и тут же ругнулся на себя: «Дурак! Перевязывать надо быстрее». Прикрикнул ещё строже: - Выше! Ну! Вот так! Да руками же придерживай её! - перетянул ногу выше колена, перевязывал рану, приговаривая: - Так, хорошо. Молодец. И нечего меня стыдиться. Не время сейчас. Верно, птаха?

Поднял голову, изумлённо вскинул брови: Нина улыбалась.

- Ты чего? Чего смеёшься-то?

- Так... - опустила она глаза.

Степан выпрямился, вытер враз выступивший на лбу пот, закурил. Хмыкнул:

- Она смеётся... Как добираться домой-то будем? А? Раненая?

Нина беззаботно пожала плечами, тень улыбки не сходила с ее лица. «Чему это она улыбается?...» - не понимал Степан. Сказал:

- Ладно. Покурим и двинем. А велосипед пусть пока побудет здесь, авось не украдут. В кустах спрячем... - И замолчал.

Глубоко, с излишней жадностью затягивался, отвернувшись от Нины, и всё время чувствовал на себе её чуткий, внимательный взгляд. «Девчонка... Ах, девчонка...», - почему-то мелькнула неопределённая мысль.

Отбросив резким щелчком окурок, Степан поднялся, протянул руку.

- Держись. Вставай.

Ступив шаг, Нина ойкнула, сморщилась от боли. Жалобно и виновато посмотрела на Степана.

- Э, да ты, девка, вижу, не ходок. Вот что, придётся тебя нести. Ага. А что делать?

- Не надо... Я сама... - Придерживаясь за руку Степана, Нина попыталась сделать ещё шаг. Но было ясно: идти она не сможет.

- Не дури! - Степан решительно подхватил девушку на руки и понёс. Она обвила его шею руками, уткнулась в плечо и замерла. Пот заливал глаза, бухало сердце, но до самого хутора Степан ни разу не остановился, не передохнул. Когда подошел к её дому, Нина подняла голову. В глазах и слёзы, и искринки непонятной радости. Её губы нечаянно коснулись его щеки...

Спустя месяц, в ночную смену Степан луцил стерню на поле у Лещаной балки, как раз напротив того места, где Нина Прончихина упала с велосипеда. Солому сволокли плохо, много её осталось, луцильники забивались, и приходилось часто останавливаться. Степан злился и, выковыривая

мантировкой спрессованную между дисками солому, в голос клял нерадивых работничков, сволакивающих ее абы как.

В одну из таких остановок Степана тронули за плечо. Он даже не испугался, раздражённо дёрнул плечом, выпрямился: кто ещё тут? Перед ним стояла. .. Нина Прончихина. Худенькая, голенастая, в коротеньком платьице. Косу она распустила, и волосы сбегали на её плечи.

- Нина? - удивился Степан. И подумал, что она, наверное, слышала его, не для женского слуха, крепкие выражения.

- Я...

- Зажило? - кивком указал на колено. - Зажило...

- Ну и слава Богу. Слушай, а чего это ты среди ночи бродишь здесь?

- Пришла к тебе...

Степан опешил:

- Ко мне? Зачем?

Свет фар освещал ее лицо. На нём бледность и румянец, волнение и решительность - одновременно.

- Я люблю тебя, Степан...

Он задохнулся, услышал свое хлопнувшее сердце.

Нина шагнула к нему, прижалась к груди.

- Я люблю тебя...

Степан стоял, безвольно опустив руки, земля качалась под ногами...

Они встречались каждый день. Хоть на полчаса, хоть на несколько минут - но каждый день. И жили только одним - ожиданием встречи. Под любым предлогом Степан рвался в ночные смены. А днём - свидания в Лещаной балке, на озере.

- За что ты только любишь меня? Ведь я старый...

Она нежно водила пальцами по его лицу, закрыв глаза, целовала, жарко шептала:

- И никакой ты не старый... Ты самый молодой... Слышишь... Степанушка... Милый... Мой, мой...

Когда Степан женился на Анне, Нине было десять лет. Смутно вспоминал, как к ним подошла девочка и долго смотрела, затем протянула руку Анне, робко коснулась подвечного платья и улыбнулась ей. Анна погладила девочку, наклонилась, поцеловала в макушку, радостная, счастливая.

- Я тебя уже тогда любила. Не веришь... И Анну любила. За то, что ты выбрал её. Ты... Понимаешь, ты... И что она рядом с тобой. Красивая такая... А после свадьбы я плакала...

Степану делалось не по себе. Неужели всё правда? Столько лет его любила... Дитём же совсем была... А он и не знал, не подозревал. Да, выходит, правда... разве можно не верить Нине. Нина, Нина...

В порыве нежности он обнимал её, крепко, страстно и жадно.

- И в город не поехала из-за тебя, когда школу закончила. Все удивлялись, почему осталась. Да только откуда им было знать... Ты не пускал меня. Ты... Хотя и не знал об этом. Я ждала тебя. Долго ждала...

Что правда, то правда, многих удивила Нина. Школу с серебряной медалью закончила, любой институт открыт. Нет, осталась в хуторе, на птичник, дурная головушка, пошла.

Степан плохо понимал себя. С Анной все годы жил хорошо, в ладу. И теперь, когда стал встречаться с Ниной, кажется, ничего не изменилось. Не проявилась к жене неприязнь, только видел Анну будто другими глазами. Это была женщина, его ровесница, мать его сына.

Нина - другое...

Подолгу стояли они, прильнув друг к другу, и молчали. Зачем слова, нужны ли они?..

От молвы, от чужих глаз не скроешься.

- Так... - недобро заговорила Анна, когда Степан, пропылённый, уставший вернулся с ночной смены и, наскоро умывшись, лёг спать, отказавшись от завтрака. - Значит, попарубковать потянуло! А?!

- Ты о чём? - вяло отозвался Степан, внутренне же весь напрягся. Она точно не слышала его.

- Значит, постарела я, опостылела, на молодых рот раззявил? Так... Понятно... Думаешь: шкодишь, а люди ничего не видят и не слышат! Да про ваши шашни с Нинкой Прончихой весь хутор знает! Я, дурочка, последней

Степан тоскливо слушал жену.

- Знаем теперь эти рыбалочки да ночные смены. «Надо! Надо!» Одно тебе надо, с Нинкой поваляться в Лещаной балке! С этой...

- Замолчи! - вскипел Степан.

Анна злорадно усмехнулась:

- Ха-ха-ха! Ему не нравится! Нет уж, голубок, слушай. А не желаешь, так собирай свои манатки и мотай к своей сучке!

Степан подскочил к жене, схватил за плечи:

- Замолчи! А то...

- Ударишь? - спокойно, с издевательской улыбкой процедила Анна. - Ну-ну, попробуй... - Возвысила голос: - Только не ударишь ты меня, Степан. Я правду говорю. Потому и не ударишь. - Выдержка изменила ей, враз хлынули слёзы, Анна заголосила высоким, сразу изменившимся голосом: - Нинку-то я и не виню. Молодая, глупая ещё, на хуторе женихов кот наплакал, поутекали в город, вот и бросилась на тебя сдуру. А ты, ты-то! И рад стараться! Котяра! Чего зенками лупаешь? Четыре десятка уже, а в голове всё полова!

Схватив одеяло и подушку, Степан выскочил из дома, залез на сеновал. Но какой сон? Лежал с открытыми глазами весь день, курил, думал... Мысли путались, измучили его, но так ничего путного, определённого, как быть дальше, в голову не пришло.

На другой день Анна, встретив Нину у магазина, устроила скандал. Представлял Степан, как всё выглядело, сколько пицци сладостной попало на языки хуторских сплетниц. Сердце болело за Нину - чего ей только не пришлось выслушать. Кто-то, а Анна на слова скоро.

В этот день в Лещаную балку Степан шёл открыто, не таясь. Ждал долго. Впервые за всё время Нина не пришла.

Степан заболел. Покрутили-повертели его в амбулатории, странная какая-то болезнь, прописали пилюль, выписали больничный, где было написано, что у Степана грипп.

Пролежал он, отвернувшись к стене, неделю.

Анна молчала, но была заботлива. Когда он поднялся, сказала:

- Давай поговорим, Степан.

- Давай, - безразлично согласился он.

- Я беременна. Делать аборт?

- Не знаю... Смотри сама...

- А как дальше?

- Не знаю...

- Ох, горе ты мое непутёвое... На том и прекратился разговор.

Встретились с Ниной не скоро. Жадно всматривался Степан в дорогое лицо.

Нина...

- Здравствуй, Степан. - Боль в её глазах. Такая боль, что нехорошо у него забилося сердце, защемило. Сжалось.

- Я виноват, Нина.

- Ты не виноват ни в чем, Степан. Никто не виноват.

- Виноват, Нина. Виноват...

- В чём?

- Во всём.

- В том, что я люблю... полюбила тебя? Перехватило горло, взял Степан Нину за руки. - Я...Мы...

- Не надо, Степан.

- Вот мы и встретились...

- Мы не будем больше встречаться.

- Нина...

Она долго смотрела в его глаза, кусала губы, сдерживая слезы.

- Так надо. Так лучше. А теперь иди, Степан. Ну иди же, иди!!!

Через время в хуторе заговорили, что Нина Прончихина того, на сносях, значит. А уж от кого - в том секрета не было.

- Слыхал? - спросила Анна. - Ох, и новость... Хоть бы уехала, с глаз-то...

- Отстань, - пробурчал Степан Нина его избегала.

Прямо в конторе участка подвыпивший отец Нины, Павел Прончихин, ударил Степана:

- Гад!

Степан молча вытер рукавом разбитые губы и, провожаемый угрюмыми взглядами, вышел из конторы. До вечера пролежал в Лещаной балке. У того самого куста..

Нина никуда не уехала и вслед за Анной, родившей дочку, родила сына, назвала Степаном.

- Считай, двойня у тебя родилась, - без ехидства сказала Анна, и после этого больше ни словом не обмолвилась о Степановым грехе.

Переступив порог, Нина остановилась. Смахнула с лица мокрые пряди волос. Настороженно напряжинились женщины. Повернул голову Васюшка, и опять отвернулся. Поднялась со стула старая Сальмониха, встала у изголовья Анны, словно приготовилась защищать её. Прижала дрожащие руки к животу, сверлила вошедшую тяжёлым, недобрим взглядом.

Сипло, надорвав голос, не унималась, исходила криком Маришка. Анна лежала с закрытыми глазами.

Непослушными руками Нина сняла платок, плащ бросила на пол и, теребя на груди кофточку, медленно подошла к постели Анны. Склонившись, долго смотрела в опавшее, заострившееся лицо.

Анна приоткрыла глаза, узнала Нину. Силилась что-то сказать, но из груди вырывался лишь стон.

Резал слух раздражающий душу крик голодной Маришки. Нина инстинктивно подняла руку к груди. Оглянулась на женщину, качающую девочку. Лицо Анны обезобразила гримаса страдания - не от боли. Нина кивнула, жалко, кривя губы, улыбнулась Анне. Вздروгнули у той влажные рестницы.

На ходу поспешно растёгивая кофточку, Нина взяла Маришку, приложила к груди, и крик мгновенно прекратился. Стояла посреди комнаты, подняв голову, сжав губы, невидяще уставившись в лик Божьей матери.

Закрестилась, зашептала молитву старая Сальмониха. Расслабились, завздохали женщины.

Шевельнула рукой Анна, и это движение уловила и прочитала Нина. Подошла, села на краешек постели. Положила пальцы на свою обнажённую грудь, больше освобождая её. Рука Анны легла на пальцы и замерла.

Сопела Маришка, трогая ручонкой грудь, переплетённые женские пальцы...

Две женщины, не произнося ни единого слова, не видя в эту минуту друг друга - затуманило, застило глаза слезами, разговаривали о ведомом лишь им одним, и одна другую понимала.

В касании рук, спокойном сопении дитя - не слова. Огромный человеческий мир.

А за окнами утихал, обессилевал ветер.

БОЖЬЕ НАКАЗАНИЕ

Параха Студеникина умерла под вечер, а хоронить ее решили уже на следующий день. Стояла жара за тридцать, и держать покойницу не то что лишний день, даже час никак нельзя было.

Хотя было раннее утро, у двора покойной уже собралось довольно много народу.

Параху уважали в селе, и не за то, что имела она орден Ленина, который в свое время ей вручили за высокие надои, и не из-за сына, обретавшегося в верхах, а за то, что была порядочным человеком, рассудительным и прорицательным. К ней не считал зазорным зайти зайти посоветоваться даже Иван Антонович, директор школы, человек далеко не молодой, поживший, повидавший.

Михаил Петрович, как теперь величали Мишку, поздоровался со всеми за руку, постоял у гроба матери, затем деловито осведомился у сестры насчет поминок, кивнув на багажник своей машины:

- Все, что надо, Маруся, я привез.

Мишка Студеникин, считай, с младых ногтей обитал в городе, окончил институт, начальствовал поначалу не на очень видных должностях, а потом попал в струю, в номенклатурную обойму, и вскоре выбился в начальство такое, о котором в народе говорят - шишка. Когда в стране началась политическая катавасия, принародно на митинге сжег свой партбилет, после чего стал главным демократом в городе и занял просторный кабинет в местном «белом доме», так как время коммунистов кончилось, а их кабинеты остались, и кто-то же должен их занимать, ведь народу никак нельзя жить без власти.

В стране кипели страсти, сплошные митинги, партий и всяких движений развелось, как грибов после дождя в Лещаной балке. И все говорят, призывают, убеждают. Поди, разберись...

Благоразумно ждали - время покажет, кто на что горазд.

Время шло, а виделась одна мутнота, как в осенних грязных туманах.

Деньги пошли, считать которые стали на миллионы. Чуть ли не все стали миллионерами - и смех и грех. Не понравилось такое дело, миллионы заменили другими рублями, и вдруг оказалось, что вчерашние миллионеры превратились вроде бы даже как в нищих.

А жизнь меж тем как шла, так и шла, если, правда, не считать тихой не то тоски, не то апатии, поселившейся в глазах сельчан.

Колхоз, когда-то гремевший на всю округу прибылями, завалился «набок», перегруженный огромными долгами, а зарплату не платили уже, должно, лет пять, если не все шесть.

В большом почете оказались пенсионеры. Если таковой имелся в семье, считалось просто удачей - какие-никакие, а все же деньги. За свет, за воду заплатить, за газ, соли, сахара купить, а курящему и на «Приму» можно было выгадать.

Выслушивая всякую тарабарщину насчет будущего закона о земле, пока всяк приспособливался, как мог, старался обзавестись всяческой живностью, что выручало крепко.

Яшка Колодяжный, гладкий на лицо и тело. С брюшком и округлым задком, чего только не завел. Даже персидскую кошку заимел, и кормил ее «Вискасом», за которым ездил аж в город. Виданное ли дело в селе, чтоб кошек кормить такими яствами! На кошке этой Яшка собрался тоже делать бизнес. Мол, котята от таких кошек идут в городе нарасхват, по цене дороже доброго гусака.

- А ну-ка если ее огуляют наши коты! - вопрошали любопытные. - Что за котята получатся? И почему тогда будут?

- Не-е, - отвечал снисходительно Яшка.

- Я ее в доме держу, на диване спит, серьезная животина, глаза голубые и смотрит, как человек, а на двор ее не выпускаю. Загуляет, ее в город сведу, я уже договорился.

- И во что ж тебе обойдется та кошкина любовь? - не уни-
мались с вопросами.

- Да, котенка одного потом отдам, вот и весь расчет за это
дело, - терпеливо пояснял Яшка, - остальных - на базар.

А еще Яшка завел диковинное растение под почти не-
приличным названием фейхоа, которое давало невзрачные
плоды - подобие незрелой кульги - которые Яшка употреблял
утром и вечером.

- От всяких болезней, - говорил. - Особливо на мужскую
силу очень даже влиятельственное.

Ну, тут пошли комментарии.

- А ты што, уже не того без фуа-хуа?

- А я вот в журнале читал, что от поноса.

- Да не! От запора!

Колодяжный, иронически усмехаясь, не удосуживаясь с
ними даже спорить.

- Жить надо уметь. Поняли? - разглагольствовал он. - Вот
я? Теперь я хвермер. А раньше?

- Весовщик на мельнице. Тоже не хилое место...

- Фермер - Синьговский! Церкву строит. Зарплату своим
платит вовремя. Хлеб печет самый дешевый в районе. А ты,
так, мелкая латифундия.

- Ну да, теперь ты фермер, а Ленка, жена твоя, заместо
трактора.

- Но-но! Хвилософы! - багровел лицом Яшка. - Касательно
моей жены не твоего ума дело, ты мою жену не трогай! За сво-
ей получше приглядай. Анадьсь в Лещаной балке под вечер
видали... А? курам травку щипала, али спинкой ее примина-
ла с кем бы то есть.

- Трепло поганое! Колода ты есть колода! Трухлявая! -
брезгливо сплевывал тот, в чей адрес Яшка пустил гадость.

Не любили мужики Яшку Колодяжного, Колоду, терпели.

Бугай, такую деваху замордовал... Не узнать сейчас Лен-
ку, жену его, по молодости Еленой прекрасной звали. Пер-
вейшая красавица, не одно сердце иссохлось по ней, такие
хлопцы ухлестывали! И на тебе, нашла! Яшку Колодяжного,
который на глазах достанет пачку «примы», а попросят заку-
рить, с издевочкой ухмыльнется: «Нетути!».

Чужая душа - потемки. Так и в Ленкину душу не заглянешь. Чем ее взял Колодежный, прям-таки загадка Бермудского треугольника.

Но то все было давно. Много ветров отшумело, дождей пролилось. И страны уже нет той, в какой жили. Есть другая - Россия. Милое сердцу название, светлое, родное. Много неладного в России, и кровью приходится умыться иной раз. Божье наказание, говорят иные, что от веры отступили, храмы порушили... Мол, теперь дети да внуки за отцов и дедов неразумных ответ держат. Как знать, как знать... Может, и так. Только не испытание ли муками? Не просто, в муках рождается дитя. А тут - целая страна.

И все ж надежда есть, как без нее, без надежды, жить? Она - свет, на свет и мотылек летит, обжигается, а все одно летит.

Трудно, смутно, но и дети рождаются, хоть и пореже, чем раньше. А как же, каждое живое свой плод должно оставить. И старики умирают, отправляются на вечный покой под гору Пикет, как и положено, каждый отжив свое отмеренное.

Вот и Параха Студеникина преставилась, срок, значит, подошел. Оно хорошо, когда по сроку уходит человек, и жалко, и плачется, а все одно, смерть эта вроде как правильная, по божьему закону, значит, подоспела. Подошла пшеничка, готова, пора косить. Так и человек...

- С отпеванием как? - спросил сестру Михаил Иванович.

- Позвонила батюшке, он говорит, что не может сегодня, на других покойников заказан. Мол, и после погребения в церкви можно отслужить, только землицы надо взять с могилки. Он, батюшка, в районе живет, на несколько сел один.

- Так... - раздумчиво произнес Михаил Иванович. - После можно... Можно и после. Но лучше сейчас.

Решительно снял телефонную трубку и, представившись батюшке, сказал, что будут ожидать его ровно к одиннадцати. Не дожидаясь ответа, положил трубку.

- Так приедет? - обнадежилась сестра.

- Приедет, - коротко сказал Михаил Иванович. - куда денется. В одиннадцать. А в двенадцать выносить будем.

- Вот что значит начальство! - обсуждали за воротами мужики звонок Михаила Ивановича. - Снял трубку, сказал, и извольте явиться!

Батюшка приехал не к одиннадцати, как назначалось, а часа на полтора раньше.

Михаил Иванович поспешил к подъехавшей выдавшей виды «Ниве», поздоровался с батюшкой, почтительно склонив голову. Батюшка начал что-то говорить, должно, объяснить, почему приехал раньше, как видно, получалась какая-то накладка и к одиннадцати ни как не выходило.

- Понимаю, понимаю, - кивал головой Михаил Иванович. - ничего, батюшка. Спасибо, что приехали. - Подхватил батюшкин узелок с необходимым для требы и давно натренированным жестом большого, уверенного начальника пригласил священника пройти во двор, где на табуретках стоял гроб с телом покойной.

- Видали? - не преминул прокомментировать происходящее Колодяжный, притом громко, так, что батюшка, конечно же, все слышал. - Ему, понимаешь, в одиннадцать велели, а он почти на два часа раньше заявился, не запылится! Да я на месте Михаила Ивановича назад его без всяких разговоров отправил бы. Да на часы заставил глядеть, чтоб минута в минуту явился, как велено. Вот и в стране у нас так! Кто во что горазд. Построишь тут с такими рыночные отношения... У Америки учиться надо. Поп не поп, там не смотрят. Там точность уважают. А не хочешь - пошел вон!

Батюшка был пожилой, очень худой и, видимо, очень больной. Он поздоровался со всеми ровным спокойным голосом, ничем не проявляя своего отношения к услышанному.

- Ты что?! - пришикнул на Колодяжного Михаил Иванович. - Замолчи...

Неловко, ой неловко стало мужикам, нехорошо, на душу словно ошметки грязи чвыркнули, молчали, и можно было подумать, что были согласны в таком пакостном деле с Яшкой. А ну, так и подумает батюшка?..

- Окстись! Чего мелешь, дураком! - злились мужики. - Стоишь и стой, язык свой поганый прикуси!

- О-о-о! - ощерился Яшка в скверненькой улыбочке. - Какими херувимчиками стали! А я правду говорю. Да! Знаем этих

попов... Деньжищ гребут, аж карманы трещат. Пробормочет над гробом пятнадцать-двадцать минут - деньгу давай! За такие денежки ты, Митяй, на тракторе своем три дня без продыху уродоваться будешь! Кре-епко знают свой бизнес попы...

- Заткнись! Ты! Морда! - рванулся к Колодяжному тракторист Митяй.

Мужики удержали, негоже устраивать драку, да еще на поминках.

- Ох! Непотребное городишь, Яков! - гневно сказала подошедшая жена Гришани Солодкова. Вместе с другими женщинами она занималась стряпней - готовила поминки. - Бога побойсь! - потом махнула рукой безнадежно и опять ушла к стряпне.

- А че мне его бояться? - бросил Яшка вслед, продолжая ерничать. - Хе-хе... Пусть он меня боится, если он есть. Что мне бог, я сам себе Бог. Понавыдумывают, понимаешь. Где он, тот бог? Покажите! Кто видал? То-то же... А книжки церковные хоть читали? Бабы блудили, блудили, а потом святыми их, понимаешь, объявляют. Как вам такое? Хороши ж дела! Эт чего ж выходит, и проститутку какую можно в святые записать?

Потемнели мужики лицами, онемели, не знали, как и повести себя от такой Яшкиной гнусности. Не похороны б, разговор короткий - промеж глаз, чтоб искры сыпанули да дурь из башки проржавевшей вытряхнулась. Совсем у Яшки Колодяжного заворот мозгов в голове в последнее время. И так был человечешком, а тут и вовсе опаскудился.

- Хоть ты себя за умного считаешь, а совсем дураком стал, - тихо сказал Гришаня Солодков. - У каждого своя планка... И час свой... И не трожь тех блудниц.

- А тебя спрашивают? - оборвал его Яшка. - Нюркин обмылок!

- Он тебя накажет... - еще тише сказал Гриша. - Терпит, терпит, а потом и накажет. - И медленно, медленно, словно в замедленной съемке, поднял руку, показывая пальцем вверх.

Мужики молча вели глаза за Гришаниным пальцем. - Скоро.

- Кто это - он? - задрал голову Яшка, уставив глаза в макушку тополя, будто мог увидеть там то, на что указывал Гришаня.

- Он... - еще тише, уже не сказал, а прошептал Гришаня.

- И за что же? - усмехнулся Яшка. - За попа, что ли?

- За все...

- Тьфу! - сплюнул Яшка, матюкнулся и ушел домой, решительно приказав жене своей, Елене Прекрасной, немедленно следовать за ним.

- Н-да... - качнул головой тракторист Митяй. - Не иначе опухоль какая завелась в Яшкиной башке.

- А может, этой своей фей-фуи переел? - предположил кто-то

- Ну и муженечек у тебя, Нюрка!.. - не то с сочувствием, не то с осуждением говорили иной раз ее подруги. - Ни богу свечка, ни черту кочерга.

- Чего-чего? - щурила глаза Нюрка. - Мужик как мужик! - и, мгновенно переменив выражение лица, подбоченясь, с издевочкой подковыривала носатенькую Настюрку Филонову, у которой вечно поджатые, вечно чем-то недовольные губы: - У тебя, что ли, мужик? Мне и на дух такого не надо! Му-ужик... каждой юбке хлястик! Вот кто такой твой разлюбезный супруженец. - И, отвернувшись от Настюрки, переключилась на Ленку Колодажную. - А ты б, Елена Прекрасная, так вообще молчала! Что гляделками лупаешь? Она не понимает... Леночка, красотулечка ты наша... Это сколько нутриев, крысят этих, сдать надо, чтоб на крем-пудру тебе хватало? Синяки замазывать, которые наставляет тебе твой ненаглядный Яшечка?

И, выговорившись, победительно дернув плечом, Нюрка павой покидала опешивших подруг, бросая им напоследок:

- А мой Гришанька и мухи не обидит! Он у меня ласковый... - и уже совсем добивала веским аргументом: - И лифчик мне постирает, если попрошу... вот!

- Такую кобыляку обидишь! - только и оставалось сказать подругам.

После таких перепалок дулись друг на дружку от силы день-два, после чего встречались и калякали без всякого намека на обиду.

Нюркин Гришаня больше всего на свете любил поудить карасиков на Блошином пруду. Притом в одиночестве. На самой-самой зорьке, когда солнце еще только сладко потягивалось где-то, прежде чем надумывало подняться из-за горизонта.

И еще Гришаня любил выпить, не так чтоб часто, но раз в месяц - отдай. Меру же свою никак, сколько уже годов, не мог вычислить. И частенько, лишь самую малость не дотянув до родного подворья, приземлялся в буйные придорожные лопухи, где его и выискивала Нюрка с приготовленной заранее несерьезной лозинкой, которую, однако, по прямому назначению на полном серьезе не применяла. Подняв очумелого муженька за шиворот, тащила домой, лишь слегка оглаживая его лозинкой пониже поясицы.

Наутро, ясное дело, с болючей головой, Гришаня усаживался на колоду посреди двора, служившую плахой для кур и уток, упирал локти в колени, клал на ладони голову и сидел так, покачиваясь из стороны в сторону, точно унимал зубную боль.

ЧЕМОДАН

С утра дела у Виктора намечены такие. Первое - стирка. После стирки - вылизать комнату, чтоб блестела и благоухала. Именно - благоухала. Алена и впрямь помешалась на цветах: куда ни ткнись - горшки. После дел домашних - на Нижний рынок, купить Алене чего-нибудь вкусенького. Ей сейчас витаминов всяких много требуется.

Споро управившись со стиркой и приборкой, Виктор, не теряя времени, на маршрутке покатил на рынок. Устать не устал - так, легкая разминка для бывшего десантника. Настроение на уровне, а мысль одна: быстрее бы уж Алена с Пашкой выписались из больницы.

По субботам толчея на рынке истинно базарная. Водоворотится людьми, разноголосо шумит и площадь перед рынком. Автомагазины, лотки, частники всяк со своим товаром. Покупателей и зевак - море. Торгуются. Ходко идет торговля у заезжих коммерсантов из Прибалтики: толкают наимоднячие штаны с заклепочками, замочками, пряжечками и всякими блестящими висюльками, красивыми прострочками и фирмовыми нашлепками. Штанов - мешки. Цена - заметно ниже, чем у местных модельеров-умельцев, тоже творящих под фирму. Правда, фирма эта выглядела несколько бледней, нежели рукотворство прибалтийских кустарных дел мастеров. Так что местные предприниматели зеленели от негодования на залетных коммерсантов, но скрепя сердце вынуждены были ориентироваться на их цену.

Обуви - тоже навалом. Красивой, модной и сверхмодной. Качество - мировой стандарт, как клянутся-божатся продавцы-сапожники. Об такой «мировой стандарт» Виктор уже однажды обжегся. Купил наимоднейшие туфли на липучках - женушка

Алена пожелала увидеть мужа в экстрабашмаках. Отвалить за них пришлось очень даже, столько, точно сшиты они были, по меньшей мере, из кожи неуловимой и загадочной Неси из шотландского озера. Но - печальная история: после первого же дождичка чудо-башмаки подло раззявились, безобразно отвалив подошву, как голодный кашалот нижнюю челюсть.

Женские вязание шапочки лежали разноцветными буртами.

Кофточек, юбок, платьев, свитеров и прочей шитой-вязаной продукции - тоже вороха.

Чего здесь только не было, на этом узаконенном толчке! Разве что праздничного убранства вождя индейцев племени тлинкитов. Гони только денежки!

Виктору скоро надоела толкотня, он выбрался из толпы и направился в громадный крытый павильон, где торговали овощами-фруктами и прочими петрушками-укропами.

У входа в павильон стоял старик. Рядом с ним - чемодан, изрядно уже послуживший на своем веку: коричневые бока местами вытерты добела, поцарапаны, никель на металлических уголках облупился. К ручке чемодана прикреплен обрывок оберточной бумаги, на нем дрожащими печатными буквами значилось: «Продается. Недорого. Всего 5 рублей».

Старик был роста неказистого, тщедушный. Если бы не лицо, такое же коричневое, как и бока чемодана, и такое же исчерченное царапинами-морщинами, покрытое скудной, словно застарелым, высохшим мохом, растительностью, его с первого взгляда вполне можно было бы принять за подростка. Одет в дешевый костюм, сильно поношенный, с залосненными лацканами, на которых привинчены два ордена - Отечественной войны и Красной Звезды.

Виктор невольно остановился, задержал взгляд на орденках. Красная Звезда у го тоже есть - новенькая, сверкающая рубином эмали. У старика же орден потемневший, на кончике одного луча звезды эмаль отбита. Понятно, ордену этому, как минимум, в два раза больше, чем Виктор прожил на свете.

В выцветших глазах старика - надежда, скорее даже мольба, обращенная к проходящим мимо людям: ну купите же... купите...

Но кому он нужен был, этот старый чемодан? Предложи взять бесплатно, и то вряд ли бы кто на него позарился.

У Виктора шевельнулась жалость к этому пожилому человеку, старому солдату с двумя боевыми орденами, стоявшему понуро чуть в сторонке от суетливого потока людей, которым не было дела ни до старика, ни до его убогого чемодана.

Виктор поспешил в павильон...

...В роддоме его ждала двойная радость. Первая: завтра - ура! наконец-то! - он заберет Алену и Пашку. Вторая: сегодня он первый раз увидел его, Пашку, сынаху своего, роднулю, человечка дорогого, такжданного. Как раз было время кормления, и Алена с третьего этажа в окно показала сверточек - гляди, отец, вот он, твой сын, кровинка твоя!

От роддома не шел - орлом возлетал. Будоражилось сердце, ликовало, захлебывалось от радости. Теперь мука невыносимая - дотерпеть, до завтра дожидаться. Эх, крутануть бы матушку-Землю, чтоб завтрашний день быстрее наступил!

Ехать домой не хотелось.

Счастливый, по-другому не скажешь, брел он по улицам города - просто, куда ноги несли. Улыбался, сам того не замечая... Неожиданно опять очутился у рынка. Подумал: «Интересно, продал тот старик чемодан?».

Не продал.

Вот он стоит, все в той же позе, на прежнем месте, понуро сторбившись. А глаза... Потеряннo-смирившиеся, с угасшей надеждой. Никто не хотел покупать чемодан даже за три рубля - прежняя цифра была зачеркнута и значилась новая.

Виктор постоял, покурил, нервно и часто затягиваясь, резко швырнул в урну окурки и решительно направился к старику.

- Беру, - сказал коротко.

Старик моментально оживился, подхватил за бока чемодан, протягивая его Виктору.

- Не новый, конечно... А так еще ничего. И замочки работают. Ключик вот тоже есть... - заговорил. И тут же потускнел, увидев протянутую Виктором пятерку. - Сдачи-то у меня, сынок, и нет... - как видно, боялся очень, что наконец-то нашедшийся покупатель повернется и уйдет. Заговорил опять

просящее, горячо: - А ты разменяй, хоть вон там, в киоске газетном. Пойдем вместе, сынок, там всегда мелкие деньги найдутся. Ничего, я чемодан понесу пока, - и взял чемодан за ручку.

- Не надо, дед, менять, - сказал Виктор. - Бери. Все твои. Ты ж пять сначала просил. Так?

- Благодарствую, сынок! Благодарствую... - угодливо закивал старик так, что у Виктора нехорошо защемило сердце. - Он еще ничего, чемодан. И замочки целые, не поломанные...

«Вот уж действительно иногда так мало надо человеку», - невесело подумал Виктор.

Поинтересовался:

- За что Красная Звезда, дед?

- А-а, - махнул тот рукой. - Давнишнее дело, сынок. В Польше дали. Может, слышал, на Сандомирском плацдарме немец шибко тогда на нас напер, ни дыхнуть тебе, ни... - старик кашлянул, деликатно опуская не совсем благозвучное слово. - Гиблое было дело. Выдюжили. А полегло там, эх!.. Вот там и дали. А этот, Отечественный, к сорокалетию дали.

Виктора кольнуло: «На Сандомирском плацдарме и мой дед...»

- Ладно. Бывай, дед! - кивнул Виктор старику на прощанье.

Подхватил чемодан и зашагал в сквер напротив рыночной площади, сел на скамейку, достал сигареты. Сейчас посидит малость, покурит и - домой. А чемодан, который, ясное дело, сто лет ему не нужен, оставит здесь, на скамейке - авось, кому и приглянется.

Виктор испытывал сейчас нечто схожее с чувством удовлетворения. Все ж чуточку и приятно. Что ни говори, выручил человека.

Переведя взгляд на «аквариум», где размещалась пельменная, Виктор опять увидел старика, который торопливо, почти не жуя, глотал пельмени. Куском хлеба собрал остаток соуса в тарелке и так же торопливо проглотил его. Постоял какое-то время у высокого стола, доходившего ему почти до плеч, и принес еще порцию пельменей. Ел их помедленней, но все равно не без спешки.

Когда старик вышел из «аквариума», Виктор, приподнявшись со скамейки, окликнул его. Старик вздрогнул, узнав недавнего своего покупателя, подошел с какой-то опаской, посмотрел на Виктора вопросительно и настороженно. Сказал, виновато вздохнув:

- А у меня всей твоей пятерки уже и нет...

- Ну и что? - не понял его Виктор.

- Дак... Надумал ежели назад отдать чемодан...

- Ну даешь, батя! - улыбнулся Виктор. - Назад, знаешь, только раки ползают. Не бойся. Садись, дедуль. Как говорится, после сытного обеда по закону Архимеда надо сразу покурить. А?

- Не-е, - протянул старик, явно обрадованный тем, что чемодан вернуть ему не собираются. - Посидеть можно. Чего ж не посидеть. А курить не курю. Годов уж, должно, двенадцать, в то и все пятнадцать. Что-то там внутри не так стало, давит, кашляну - кровичка. Врачи и сказали, мол, не бросишь сигарку - табак тебе, дед. Вот и бросил. Живу. Не помер еще. А оно б и жить-то уже не надо, - закончил неожиданно на печальной ноте.

- Чего так? Что за черный пессимизм? - вскинул Виктор брови.

Дед печально посмотрел на него, протяжно вздохнул и ответил не сразу.

- Жизнь такая. Кому-то и в радость жить, а я... Отжил свое. Силов уже нету. Плохая у меня жизнь-то, - и закачал безрадостно головой.

- Ну-ну! - ободряюще похлопал Виктор старика по плечу, не зная, что больше и сказать ему сейчас, и предложил: - А чемодан, дед, ты заberi. Считаю, дарю.

- На кой он мне, - безразлично махнул тот рукой. - Куда мне ехать? На кладбище разве что. Так туда чемодан не нужен.

- Да ладно тебе! Что ты, дед, в самом деле! Сам на себя тоску наводишь! - даже прикрикнул Виктор.

- На кладбище, сынок, на кладбище, - продолжал старик свое.

Он точно давно ждал такого собеседника, какой неожиданно подвернулся ему в лице Виктора и кому можно открыть

наболевшее, давно накопившееся. - Оно б радоваться дню лишнему, что прожил. Да не всем в радость он, день-то этот. Сидим мы с тобой вот и сидим. Старый я, полежать бы мне, к примеру, сейчас, а домой-то и не иду. Нельзя. Не пускают.

- Как, то есть, не пускают? - округлил Виктор глаза.

- Так, не пускают, и все. Внучка у меня такая...

Старик примолк.

Виктор подтолкнул его вопросом:

- Что ж она за внучка?

То, что рассказал старик далее, взволновало Виктора до чрезвычайности.

Жил старик вдвоем с внучкой. Старуха, жена старика, умерла давно. Была у них единственная дочь. Красивая, видная, женихи за ней косяками ухлестывали. Смотрел на нее отец и душой радовался: вот же какую красоту сумели с женой на свет произвести! Потом притускнела радость, беспокойством за дочь обернулась. Характером легкая, она и жила легко. Раз пришла домой пьяненькая, другой. Сначала таилась от отца, потом не стала, чуть не каждый день у нее гулянка. Отец увещевал, потом прицыкнул: «Замуж тебе, девка, пора! Не то скурвишься, кому нужна будешь?!» Она беспечно ответила: «Замуж? Успею. Погуляю, поживу еще чуток птицей вольной, а потом можно и ярмо на шею. Нужна! Вон их сколько, голубков, вокруг воркует.» И правда, вскоре вроде как за ум взялась. Отлегло у отца от сердца. Замуж вышла, солидный человек попался, лет на десять постарше ее. Дочку родила. И будто шлея под хвост ей попала - опять за старое. При живом-то муже. Он и так, и этак с ней, она свое. Плюнул в конце концов и бросил. Так и спилась. Быстренько, точно к смерти своей галопом спешила. И померла. Молодой совсем. От водки. С внучкой старик остался. Дрожал над ней, ради нее, считай, и жил. И курить бросил не потому, что врачи застращали - нельзя было умереть, внучку на ноги надо было ставить. Да не так, выходит, воспитывал... На материну тропу вильнула. Ни учиться, ни работать, на уме одно - кавалеры, выпивка. Ее отец? Что отец, человек он самостоятельный, сейчас в больших чинах ходит. А дочка... У него ж семья другая, детишки, своя у них жизнь. Как тут осудить человека. И за что?

Деньги не хлеб, да без не проживешь. У внуки их то гу-сто, то пусто. Смотря какой кавалер, значит, подвернется. Нету денег, тогда деду своему: «Давай пенсию!» Как не от-дашь - вырвет. И стукнуть может, стоит деду заартачиться. Явятся хахали - прижухни, дед, в коридорчике и не шебур-ши. Это еще ничего, это зимой так. А по теплу - за порог деда, иди куда хочешь. Иной раз и пирожок не на что купить.

- Ну и ну, - покачал головой Виктор, выслушав исповедь старика. - Ты извини, дед, выходит, она самая настоящая про-сти господи, внучка твоя, - сказал в глаза, без окольных.

- Да не то чтоб, - помялся старик.

- Не то чтоб! - возмущенно воскликнул Виктор. - Самое то! Э-эх, лахудра! Соседи что ж?

- А чего соседи? К внучке придет кто, не шумит, не бую-нит. Тихо дела свои делает. Чего соседям?

- Сказал бы, пожаловался. Его из дома выгоняют, по-нимаешь, в черном теле держат, а он молчит! - не унимался Виктор. - Участковому сказал бы, он быстренько вразумил бы твою внученьку.

- Стыдно ж, сынок, - простодушно признался старик. - Внучка она мне, как-никак.

- Внучка!.. Ты ж старый солдат, дед! А какой-то сопляч-ке, хоть она и твоя внучка - тем более! - подчинился.

- И-и, был солдат, теперь одно обмундирование, сынок, осталось.

- Пошли, - подхватился Виктор со скамейки, поднимая за руку и старика.

- Куда? - испуганно заморгал тот.

- К тебе домой. К внучке твоей бесподобной. Поговорим.

- Нет, нет, - замахал руками старик, - боже тебя упаси!

- Пошли, пошли, - тоном, не терпящим никаких возраже-ний, сказал Виктор. Крепко взял старика за руку и потащил за собой. - Где, на кокой улице живешь?

- Тут рядом, - покорно подчинился силе старик.

О чемодане, оставшемся на скамейке, не вспомнили.

За воротами, в большом дворе, как ласточкины гнезда, лепились друг к другу коммунальные квартиры. Старик еще раз попытался урезонить Виктора:

- Может, не надо? Не шел бы ты, а? От греха подальше. Зачем тебе?

- Иди, иди, дед, - легонько подтолкнул его Виктор. - Какой еще грех. Давай показывай свои хоромы.

Старик обреченно вздохнул и подвел к крыльцу с прогнившими ступеньками.

- Пару б досок надо, - пробормотал, словно оправдываясь за неприглядный вид входа в свое жилище. - Да где их взять, досок-то. И украсть негде. Кабы хоть стройка рядом была...

Виктор оглядел дверь с облупившейся краской - звонка не обнаружил: торчали лишь оборванные провода. Оглянулся на деда. Тот виновато развел руками и перешел на шепот:

- Хахали. Кто ж еще...

Виктор стукнул в дверь ногой. Подмигнул деду, мол, не дрейфь, старина, все будет в ажуре.

Через некоторое время за дверью загредело опрокинутое пустое ведро, и послышался раздраженный женский голос:

- Чего ломишься? Дверь хочешь вышибить, транда поперечная! - и затем помягче: - Толик, ты, что ли?

- Я, я, - насморочным голосом откликнулся Виктор. Кто его знает, может, этот фрукт Толик, как видно, вхожий сюда, пискун или, наоборот, обладатель оперного баса. А у простуженных людей голос гнусавится и меняется до неузнаваемости, что Виктор и обыграл.

Дверь приоткрылась, и Виктор тотчас плечо с силой надавил на нее, переступил порог и оттеснил от двери рыжекудрую девицу в розовом плаще. Она вытаращила обильно намазаные тушью и зелеными тенями глаза, испуганно ойкнула, отступая и поспешно запахивая полы плаща, который надет был явно на голое тело.

- Заходи, дед, - по-хозяйски распорядился Виктор.

- Что это значит? Кого ты приволок, старая плесень? - немедленно накинулась на деда быстро пришедшая в себя девица.

Старик промычал что-то невразумительное и съезжился, точно ожидая удара.

Виктор сузил глаза, зло спросил девицу:

- Твой дед? Ты его внучка?

- Тебе-то какое дело! - выкрикнула девица. - И вообще, кто ты такой будешь, хороший, расхороший, что прешь без спросу в чужую хату?

Накинулась на деда, зашипела:

- А те, пенек трухлявый, ты у меня... Я тебе... Зараза чачоточная!..

- Замолчи! - грубо оборвал ее Виктор. - Он человек, а не пенек. Уяснила?

Только теперь огляделся в полутьме.

Они стояли в довольно просторном коридоре, служившем и кухней, и столовой - все сразу. Чисто, уютно. На полу ковровая дорожка. Правда, вид портили погнутая раскладушка и прислоненный к ней замызганный матрас, свернутый и перевязанный бельевым шнуром. Дед, наверное, и ютился здесь, в коридоре, на этой самой развалюхе-раскладушке, которую нормальные люди давно бы выбросили на свалку.

- Ты что же это делаешь, голубушка зеленоглазая! - наступая, бросал Виктор девице в лицо. - Он тебе дед, понимаешь, дед! Родной! А ты!

Надо было находить убедительные, правильные слова, но они куда-то пропали. Да и какие еще слова этой девице? Ей бы сейчас солдатского ремня с латунной бляхой, перетянуть пару раз, да так, чтобы рубашку натягивала и плакала. Слова! Они сейчас лахудре этой что холостые выстрелы в мишень!

- Он же воевал! Слышишь, Родину защищал! Тебя б такой пригоженькой, златокудренькой на свете не было, если б не дед твой! Поняла?!

Ничего дедова внучка не поняла, не понимала, не хотела понимать. Она стояла и презрительно щурилась. И Виктор словно поперхнулся, оборвал свою пламенную речь.

- Все? - нагло играя глазами, спросила она. Полы плаща разошлись, бесстыдно оголяя груди.

- Прикрой красоту свою, - стараясь быть выдержанным, сказал Виктор. - Не все. Давай поговорим спокойно.

- Да пошел ты! - процедила девица. - Проваливай, Дон Кихот зачуханный!.. Макс, Рафик! - громко позвала она и отдернула занавеси на двери в комнату. - Проводите гостя за порог!

Ага, вот в чем дело. В комнате находятся двое субъектов, пока себя ничем не выдававших.

Не став дожидаться новоявленных швейцаров, Виктор довольно невежливо отстранил рыжекудрую и шагнул в комнату.

Стало понятным, почему эти Макс и Рафик не подавали до сей минуты никаких признаков своего присутствия. Они поспешно одевались.

За широким платяным шкафом, отгородившем от комнаты закуток, где стояла тахта, заправлял в брюки рубашку тот, кого, судя по его кавказской внешности, звали Рафиком. На тахте, натянув на себя простыню до ноздрей, возлежала еще одна девица - Рафикова подруга.

Макс сидел уже одетый на диване со скомканными простынями. К дивану был придвинут стол, уставленный бутылками и тарелками. Прямо-таки шикарно сервирован стол, ничего не скажешь, невольно отметил Виктор. Шампанское, водочка, буженина, колбаски, лаваш, ножички, вилочки, рюмашечки, салфеточки. Недурственно.

- Я вас приветствую, веселящаяся публика! - с уничтожающей иронией сказал Виктор, галантно сделав поклон.

Макс и Рафик переглянулись, а девица на тахте фыркнула, как кобылка. На лице у внучки, вставшей у окна, появилась нехорошая улыбка.

- Ну? - угрюмо процедил Макс, не разжимая губ и медленно поднимаясь из-за стола.

- Что «ну»? - развел руками Виктор. - Нехорошо, варяги! Пьем, гуляем, а ветерану Великой Отечественной войны и стопочку не поднесете. Ладно б стопочку, а то из дому выгнали. Плохо, неуважаемые мсье и мадемуазели, извиняюсь, продажные дамы. Подонством это называется. Да-с! - иронизировал Виктор, чувствуя, как в нем внутри поднимается, словно курок на боевой взвод, ненависть ко всей этой компании. - Дедушка! - крикнул он в прихожую, где напротив двери в комнату стоял онемевший от всего происходящего старик. Выпить хочешь? За свое здоровье? Иди, не стесняйся, добры молодцы нальют. Они добрые, правда, судари? Подумаешь, сто граммов! Два каких-то разнесчастных рубля, денежек у них, дедуль, как перхоти у шелудивого. Рафик, наверное, тюльпанчики-гвоздички продает. Интеллектуальное дело! Это

не за каким-то паршивым, грязным станком стоять или там на стройке кирпичи тягать. Пусть дураки этим занимаются, раз ума у них нет. А у Макса, конечно же, наследство огромное, которое ему отписал американский дядюшка. Ну а во сколько ж целковых, джентльмены, позвольте у вас поинтересоваться, обходится один сеанс, так сказать, пылкой любви очаровательных фей? Понимаю, понимаю - коммерческая тайна.

Макс, еще раз выцедив из себя угрожающее «Ну?», надвигался на Виктора, багровея лицом и медленно поднимая руки с растопыренными пальцами - не иначе собирался ударить Виктора.

Шалишь, брат! Вид у толстого Макса устрашающий, но для Виктора это все равно что если б на него шел клоун с бутафорскими боксерскими перчатками.

Рафик по-прежнему стоял у шкафа.

Девица на тахте задергала под простынкой ногами - то ли от страха, то ли от предвкушения зрелища, когда громила Макс начнет учить уму-разуму какого-то соплидона.

- Не надо, сынок, - тронул Виктора сзади за плечо дед, от испуга он охрип, - уходи. Прибьют ведь, фашисты эти!

Уйти? Трусливо бросить деда? Не-ет... Теперь он крепко повязан веревочкой с ним и никому не позволит порвать ту веревочку. Если на то пошло, Виктор не только деда защищает от этих подонков, сволочей. А и своего родного деда, которого никогда не видел, который на сандомирском плацдарме лежать остался. Память ребят, кто упал там, в Афгане, кто пылью захлебывался, кровью камни кропил, язык в сожженном без воды рту об зубы расцарапывал, кто свое тело бросал и пулю ловил душманскую, чтоб друга собой прикрыть. Пашку, дружка дорогого, обе ноги под Кандагаром оставившего, и Пашку сына, в честь друга названного. «Но пассарам!» - как говаривали бойцы интербригад в Испании. Они не пройдут!

- Спокойно, батя! - на секунду обернулся к старому.

И в этот момент Макс успел рвануть Виктора за ворот.

Удар в пах - и Макс, скрючившись, со стоном отползает к столу, пытается подняться, но не может.

Заохал, заахал дед и ринулся было в комнату, не понятно и не известно за чем. Виктор легонько плечом оттолкнул его назад, опять бросил коротко:

- Спокойно, батя.

Девушка на тахте взвизгнула и судорожно скомкала на груди простыню, вжимаясь в стену, точно Виктор собирался бить теперь ее. Рыжекудрая внучка метнулась ближе к Рафику. Тот отлип от шкафа и спокойно, лениво даже, будто ничего особенного не произошло, сказал:

- Некрасиво, маладой чалавек. Гость, а дерешься. Нэхарашо.

И вдруг мгновенным броском метнулся к столу, схватил массивную чешского стекла пепельницу и швырнул ее в Виктора. Тот успел увернуться.

Сзади вскрикнул дед. Виктор обернулся. Дед руками схватился за лицо и со стоном опускался на пол. Сквозь пальцы обильно текла кровь, заливала ордену.

Виктора заколотило.

В глазах враз потемнело. Он рванулся было к Рафику, но тут же остановил себя, опустился на колени перед дедом. Дед с трудом прохрипел:

- Уходи же, сынок, не губи себя.

Каким-то неведомым чувством уловил Виктор момент грозившей опасности. Успел повернуться и, заваливаясь на спину, резко подсесть ногами Рафика с раздутыми от злобы ноздрями, перехватывая и выворачивая его руку с ножом в самый последний момент, когда кавказец уже падал на Виктора.

Напоровшись на собственный нож, Рафик хлюпнул протяжно, дернулся несколько раз и затих. Столкнув его с себя, Виктор медленно поднялся. Заикаясь, сказал:

- Г-готов...

И следом вскинулся душераздирающий вопль девиц:

- А-а-а!

- Убивают!!

- Милиция!!!

Макс не кричал, он икал.

- Молчать! - рванул глотку Виктор.

Когда вопли враз оборвались, твердо сказал:

- Деда перевяжите. Живо! А милицию и скорую я вызову сам...

ЗАПАХИ ИЗ ДЕТСТВА

Когда жарким летним днём я слышу нерезкий, приятный для меня запах отработанного машинного масла, передо мной возникают картины одного дня далёкого детства. Я переношусь на много лет в прошлое и становлюсь шестилетним русоволосым мальчиком. Босым, с цыпками на ногах. В трусиках, сшитых из старой дедовой гимнастерки. В маечке, совсем выцветшей, когда-то синей, с рубиновыми пятнами от раздавленных за пазухой вишен. Мальчиком с облупившимся носом и ощущением полного счастья, выражав* шимся тогда просто словом «хорошо!»

Недалеко от дома, за низиной, заливавшейся вешней водой, которая стояла там до середины июня и где мы с другом Шуркой любили часами бродить, разгоняя головастиков, попевало поле.

В то доброе солнечное утро на поле что-то заурчало, за-тарахтело, и я, желая лучше рассмотреть, что же там происходит, мгновенно оказался на стенке, сложенной из камня, ветхой и старой, служившей забором, рискуя свалиться сам и завалить её.

Золотистое поле было как море - уходило далеко к горизонту. Ветерок гнал волны, они тёмными впадинами и светлыми гребнями перекатывались, то пригибая, то распрямляя колосья.

Я увидел комбайн. Это был старенький прицепной «Коммунар». Пуская от натуги густые струи дыма, его тащил «Натик» - гусеничный трактор без кабины. А на мостике за штурвалом, широко расставив ноги, стоял дядя Тимофей, который жил далеко, на другом конце села, до которого, тем не менее, я хорошо знал. Он иногда заходил к моему деду, и они вспо-

минали войну и погибших однополчан, горюнились, пели песню про фронтовую землянку. Суровела бабка и прикладывала платочек к глазам - вспоминала погибшего сына, моего дядю Павла, убитого еще в сорок первом, когда меня не было и на свете. Уходила в маленькую комнату моя мать, и оттуда слышался тяжёлый ее вздох, скорее похожий на стон.

Мой отец погиб уже в сорок пятом, в апреле. Осталась одна-единственная его фотография, самая дорогая для меня. Маленькая пожелтевшая фронтовая фотография... Выцветшая надпись: «Память дней Отечественной войны. Жене Тоне. Германия 1945 г.»

Потом дядя Тимофей уходил, а дед, проводив его, долго сидел на крыльце, дымя самокруткой.

«Коммунар» плыл, рассекая поле, и после него, как след корабля, оставалась ровная полоса скошенного хлеба и пушистые копны соломы. Мне вдруг страшно захотелось стать рядом с дядей Тимофеем высоко на мостике, широко, как он, расставить ноги и крепко держать штурвал в руках, подчиняя своей воле это загадочное громыхающее железное существо. Я спрыгнул со стенки и побежал...

Вблизи комбайн был еще громадней и громыхал так, что ничего не было слышно. Дядя Тимофей передал штурвал помощнику, спрыгнул на землю и подошёл ко мне.

- Ну? - спросил он, заложив руки в карманы брюк. Спросил строго, и я струсил. Сейчас он прогонит меня. Съёжившись, я молчал. Он улыбнулся, потрепал за волосы. И я понял, что дядя Тимофей совсем не строгий. - Помогать пришел?

- Да! - отвечал я совершенно серьёзно.

- Ну, что ж! Рады, рады помощникам, - сказал он тоже серьёзно. - Пошли.

Мы догнали комбайн и на ходу, придерживаясь за поручни, взобрались на площадку. Весь дрожа от напряжения, комбайн разноголосо гудел и жадно, как руками, хватал мотвилком налитые колосья, бросая их в ненасытную гать, выплёвывая затем в копнитель солому и бережно, тонкой струйкой, ссыпая зерно в бункер. Мелкая пыль и полова забивали глаза, лезли в рот, щекотали в носу. Сразу же выступил пот. На мотор оседала соломенная пыль, пропитывалась маслом

и пригорала. Помощник время от времени смахивал её веником, но пыль тут же скапливалась снова и темнела, впитывая в себя масло. Мотор дышал жаром и дымился. От него пахло свежей, будто только что поджаренной, корочкой хлеба.

- Масло ест! Как в прорву всё равно льёшь! Кольца надо менять! - ругался дядя Тимофей. А я не мог понять, как это железный мотор может есть масло, и спросил об этом дядю Тимофея. Оказывается, масло, каким кормили мотор, совсем не похоже на то, которое едят люди. Теперь я знал, что на свете есть чёрное масло, даже немножко голубоватое, и совсем жидкое, его любят есть всякие моторы. Я был горд, что знаю то, чего не знает мой лучший друг Шурка.

И вот настал тот момент, о котором я мечтал, которого ждал с таким нетерпением! Дядя Тимофей, ничего не говоря, подтолкнул меня к штурвалу. С замирающим сердцем я прикоснулся к этому чудесному волшебному колесу с ручками. Я был хозяином удивительной машины, умной и послушной! Я был отважным Капитаном на мостике боевого корабля, несущегося по волнам безбрежного моря!

...Потом был обед, мы ели пшеничный суп с плавающими в нём маленькими кусочками сала. Суп привёз старый дед Анчутин на своей водовозке, видно, такой же старой, как и он сам.

После обеда меня сморило, я проспал под копной часа два на старой замасленной телогрейке.

А потом я опять стоял за штурвалом, разгребал зерно в бункере и наблюдал за бесконечно бегущей лентой хедера, на которую падали колосья, уносясь в утробу комбайна.

Вечером мать сняла с меня, уже с сонного, пропыленного, промасленного, потерявшие цвет майку и трусики, искупала в деревянном корыте и уложила в мягкую прохладную постель.

А передо мной всё плыло и плыло золотое поле...

Так уж получилось, я не стал хлеборобом, давно уехал из села - и живу в городе. Но всякий раз, когда подходит хлебная страда, меня охватывает волнение, и я представляю, как сейчас где-то, забравшись куда-нибудь повыше, какой-то мальчишка с восхищением смотрит на степной корабль, гордо и величаво выплывающий на золотистый простор.

Как жаль, что мальчишка уже не я...

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОБУЖДЕНИЕ ЧУВСТВ.....	5
СКИФСКИЙ КУРГАН.....	245
КРЕСТ.....	438
ВСПЛЕСК.....	508
ТЕПЛЫЙ СЕНТЯБРЬ.....	565
ТУМАН.....	573
БИЛЕТ ДО МАГАДАНА.....	596
ЛЕШАНАЯ БАЛКА.....	621
БОЖЬЕ НАКАЗАНИЕ.....	632
ЧЕМОДАН.....	640
ЗАПАХИ ИЗ ДЕТСТВА.....	652